РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

АЛЬФОНС ДОДЕ

ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА

●

БЕССМЕРТНЫЙ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1974

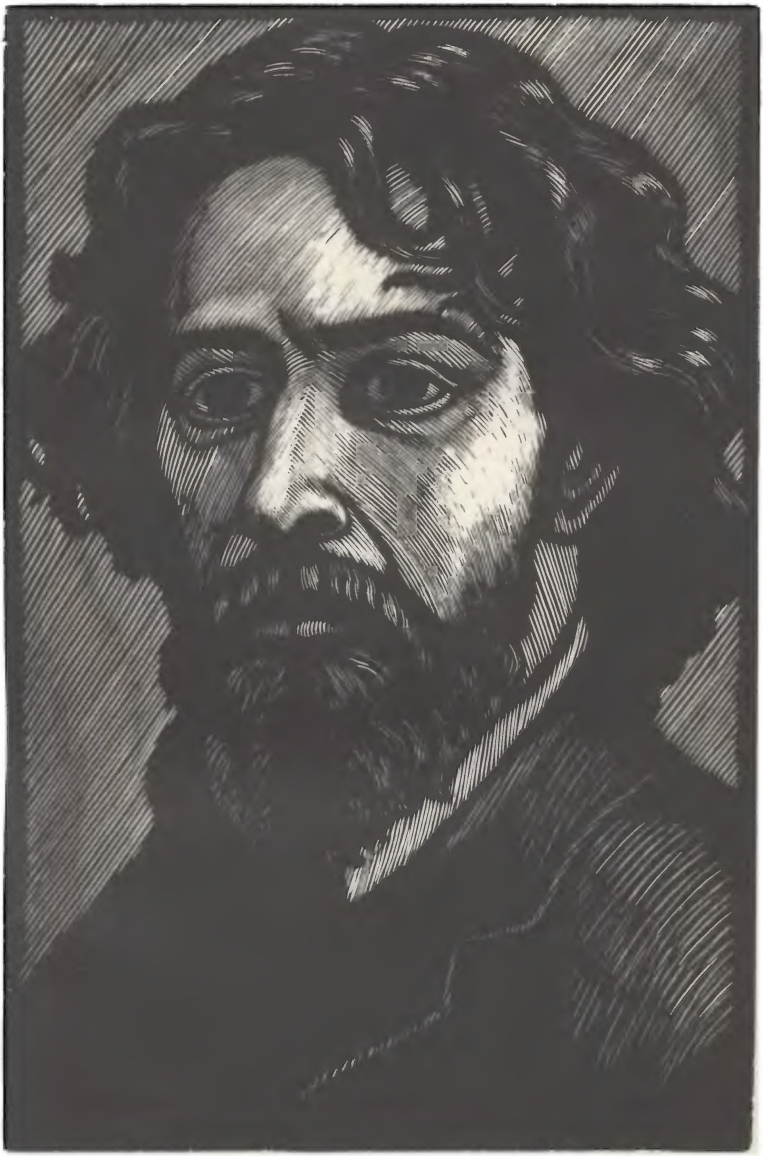
Вступительная статья
А. Пузикова

И (Франц)
Д 60

Иллюстрации
Ф. Константинова

Д $\frac{70304\text{-}133}{028\,(01)\text{-}74}$ Подписное

© Издательство «Художественная литература», 1974 г.



АЛЬФОНС ДОДЕ, ЮМОРИСТ И САТИРИК

Альфонс Доде (1840—1897) родился в Провансе, в городе Ниме. Раннее детство его протекало на фабрике, принадлежавшей отцу. Доде хорошо запомнил пустынный фабричный двор, покинутые строения с дверьми, хлопающими от порывов ветра, высокие олеандры, распространявшие горький аромат. Детское воображение превращало заброшенный и неуютный уголок в необитаемый остров, на котором можно бесконечно играть в Робинзона — любимого героя одной из первых прочитанных книг. В романе «Малыш» Доде подробно рассказал об этой поре своего детства, о счастливых, неомраченных днях в кругу согласной семьи.

Все изменилось в 1848 году, когда его отец неожиданно разорился. Фабрику пришлось закрыть и переехать в Лион. Начались годы учения, сначала в церковной школе, затем в Лионском лицее. Альфонс и его старший брат Эрнест в полной мере испытали на себе, что такое клеймо бедности. Дети богатых родителей встретили их враждебно, старались унизить, сторонились общения с ними. Шли годы, приближался срок окончания лицея. Дела отца вконец расстроились. Эрнест, так и не окончивший лицей, уже трудился в почтовой конторе, а вскоре и Альфонс отправился учительствовать в коллеж городка Але. Ему было шестнадцать лет, когда он оказался среди маленьких сорванцов, сразу же почувствовавших его неопытность и беззащитность. Однако жизнь в коллеже продолжалась недолго. В ноябре 1857 года Альфонс переехал в Париж, где Эрнест работал в редакции одной из роялистских газет.

В романе «Малыш» и в книге «Тридцать лет в Париже» Доде красочно описал этот первый свой день в столице. Он испытал истинную радость оттого, что покинул Але и вновь встретился с братом. Но впереди была полная неизвестность. Началось полубогемное существование. Доде часто меняет жилища, недоедает. Единственное его развлечение — посещения Латинского квартала. Здесь пестрая толпа студентов и приезжей молодежи обсуждает вопросы поли-

тики, литературы, театра. Именно тут встретил Доде Гамбетту и Жюля Валлеса — будущего писателя и коммунара. Вскоре он стал посетителем не только Латинского квартала, но и литературных салонов. Через год ему удалось опубликовать свою первую книгу — сборник стихов «Возлюбленные», написанных в духе Мюссе. Книга имела известный успех и помогла проникнуть в одну из популярных газет — «Фигаро». Спустя некоторое время он становится третьим секретарем приближенного Наполеона III — герцога де Морни. Должность-синекура оставляет ему уйму свободного времени. Теперь он может писать, не очень заботясь о завтрашнем дне.

Во время одной из поездок в Прованс Доде пишет рассказ-очерк, с которого началась работа над циклом «Письма с мельницы».

«Письма с мельницы» (отдельное издание вышло в 1869 г.) явились первым значительным произведением Доде. Они и по сей день остаются одной из самых читаемых книг. Доде во всех подробностях знал жизнь Прованса, знал его природу, населяющих его людей. Сердцу художника были милы выжженные солнцем поля, цветущие виноградники, покрытые лесами горы и даже обжигающий ветер — мистраль. Маленькие рассказы и сказки, составляющие сборник, звучат как стихотворения в прозе — столько в них внутреннего изящества, неподдельной поэзии, неповторимого аромата. То веселые и озорные, то печальные, они бесконечно разнообразны по своим темам, лишены всякой искусственности и книжности. Все эти истории Доде черпал в беседах с крестьянами, в старинных легендах и преданиях, передаваемых из поколения в поколение, в общении с природой Прованса. Описывая неповторимую красоту Прованса, Доде скорбит, что своеобразный колорит любимого края разрушается. Ветряные мельницы вытесняются паровыми, строятся железные дороги, ставятся телеграфные столбы, портятся нравы. И Доде как бы спешит увековечить облик своей чудесной родины.

В 1868 году вышел «Малыш», первый роман Доде. Книга носит автобиографический характер, хотя многие эпизоды, по словам писателя, рождены его фантазией. «Малыш» — это лирический дневник ребенка, постепенно взрослеющего и постигающего окружающий его мир. Маленький Даниэль еще ни в чем и ни перед кем не виноват, но жизнь обрушивает на него свои удары. И мы с волнением следим за его судьбой, переживая вместе с ним отъезд матери, смерть старшего брата, огорчения в школе, одиночество и растерянность в лицее. Мы переживаем все эти несчастья Даниэля с такой силой потому, что перед нами предстает душа еще не искушенного жизнью человека.

Перед героем Доде раскрывается правда действительности в простейшем ее противоречии: бедность и богатство. Даниэль воспринимает эту узаконенную несправедливость как нечто должное, против чего невозможно бороться. Вот почему наше сочувствие к Малышу мало-помалу остывает. Его мягкотелость, пассивный эгоизм начинает отталкивать читателя. А финал романа, когда автор пытается навязать читателю вывод о бессмысленности борьбы, вызывает протест. Роман «Малыш» с его достоинствами и недостат-

ками — произведение характерное, во многом определившее последующее творчество Доде.

Доде было тридцать лет, когда началась франко-прусская война. Незадолго до этого он опубликовал прославившую его первую часть «Необычайных приключений Тартарена из Тараскона» (1869). Известный и даже модный писатель мог бы избежать участия в военных событиях, но патриотические чувства побудили его вступить в Национальную гвардию. Во время осады Парижа Доде стремился попасть в самые горячие, самые опасные места схваток с пруссаками. Вскоре наступают дни Парижской коммуны, и Доде покидает Париж. Коммуна представляется ему результатом политики демагогов, сумевших увлечь за собой нестойкие, колеблющиеся массы. Однако он полон презрения и к тем, кто еще недавно, в дни Империи, превращал свою жизнь в поток непрерывных наслаждений, а теперь позорно бежит из Парижа. «О, если бы мне пришлось выбирать между бешеными коммунарами, которые взбирались на укрепления с коркой хлеба в мешке, и подобными хлыщами, без сомнения, я остался бы с коммунарами».

Записные книжки Доде пополняются даже в эти тревожные дни все новыми и новыми заметками, которые послужат впоследствии материалом для таких произведений, как «Письма к отсутствующему» (1871), «Рассказы по понедельникам» (1873), «Робер Эльмон. Дневник отшельника» (1874).

Эти произведения свидетельствуют о новом направлении в творчестве писателя, о его возросшем интересе к социальной теме. Лучшее из них — «Рассказы по понедельникам» — посвящено прошедшей войне. Недавний баловень Второй империи, Доде резко осуждает режим Наполеона III и его бесславное окружение. Он рисует бездарных генералов, забывшего свой воинский долг маршала, продажных судей, изменников, поставивших свое личное благополучие выше интересов Франции. Но Доде с гордостью говорит о простом народе, который проявляет истинно патриотические чувства и беспримерное мужество. Сержант Эрню не отдал пруссакам знамени полка, за которое пожертвовали жизнью два его товарища («Знаменосец»); простой кузнец уходит из дома, чтобы, заменив сына-дезертира, защищать родину («Плохой зуав»); маленький эльзасец взволнованно повествует о том, как старый и грозный учитель Амель дает свой последний урок французского языка. Старый учитель, облачившись в парадную форму, превращает свой последний урок в урок патриотизма: «Пока народ, обращенный в рабство, твердо владеет своим языком, он как будто владеет ключом от своей темницы...» Эти слова поэта Мистраля, которые теперь произносит господин Амель, на всю жизнь запомнятся маленьким школьникам, раньше так небрежно относившимся к своим ученическим обязанностям («Последний урок»).

В 70—80-е годы Доде создает романы, характерные значительно обострившимся интересом писателя к современным проблемам.

Роман «Фроман-младший и Рислер-старший» Доде посвящает семье и браку в буржуазном обществе. Он хотел бы видеть современную семью здоровой и крепкой и потому пытается доискаться причин, которые ее разрушают.

Судьбы героев связаны с обойной фабрикой. Фабрика — это идол, которому должны поклоняться ее хозяева, ее служащие, ее рабочие. В ходе повествования Доде приходит к важным обобщениям. Собственность, деньги, материальный расчет — вот истинные причины, которые чаще всего порождают трагедии в современном обществе и, в частности, в семье буржуа.

Имя Доде завоевывало все бо́льшую популярность. После «Фромана и Рислера» он был безоговорочно отнесен к реалистической школе. Этому способствовала и его личная дружба с такими писателями-реалистами, как Эд. Гонкур, Г. Флобер, Э. Золя, И. Тургенев. С 1874 года Доде — постоянный участник «обедов пяти», которые продолжались в течение ряда лет и которые творчески обогащали каждого из их участников.

Следующим крупным произведением Доде был роман «Джек» (1875). Как и в «Малыше», Доде значительную часть произведения посвящает описанию детства своего героя. Однако судьба Джека несравненно печальнее судьбы Даниэля. Незабываемы картины страшной гимназии Моронваля, где погибает маленький Маду — «дагомейский король». Джек бежит из гимназии, но попадает в еще более тяжелые условия. Он работает на заводе в Эндре, где небо тускнело от черного дыма, где все заполнял грохот, гул, свист, лязг. Так двенадцатилетний Джек начинает свою трудовую жизнь. И его ждет еще более тяжелая работа в кочегарке на пароходе. Он возвращается домой инвалидом и вскоре умирает. Ведя своего героя по жизни, Доде показывает, как неприглядна действительность, обрекающая на страдания тысячи людей, именуемых «простым народом». Но именно здесь, среди рабочих, Джек находит сочувствие и понимание. Однако писателю не удались образы революционно настроенных рабочих. Мысль о смирении, о бесполезности борьбы проходит через многие страницы романа. Умению сопротивляться жизнь мало научила и Джека, он остается пассивным и безвольным перед сковавшей его несправедливостью.

Работу над «Набобом» (1877) Доде начал еще до того, как был написан «Джек». В романе огромное количество действующих лиц и несколько параллельных интриг. Писатель задался целью правдиво и всесторонне описать жизнь Второй империи и во многом достиг цели.

Набоб (Жансуле) — «мещанин во дворянстве». Родившись в бедной семье торговца старыми гвоздями, он удачно спекулировал в Тунисе и превратился в мультимиллионера. Вернувшись в Париж, он хотел бы купить себе признание и славу. Но Париж не Восток. Простоватый Жансуле попадает в руки отпетых авантюристов и погибает в неравной борьбе с ними. Вокруг этой центральной фигуры разместилось множество других персонажей романа, которые дают возможность писателю показать пеструю, противоречивую жизнь Франции эпохи Второй империи.

В 1879 году вышел роман «Короли в изгнании», весьма злободневный для своего времени. В Европе, особенно в странах Балканского полуострова, одна за другой рушились монархии. Народные восстания, «как землетрясения» (слова А. Доде), сметали королевские династии. Сама Франция еще сов-

сем недавно была свидетельницей крушения империи. Поверженный монарх стал характерной фигурой времени. Но каждый знал, что в головах многих низложенных венценосцев зреют замыслы реванша, что у них есть сторонники. Вот почему роман Доде приобретал политическую окраску, сразу же замеченную современниками. Любопытно отметить, что остроту романа почувствовала и царская цензура, запретив эту книгу к распространению в России.

В Париже живет целая толпа низложенных монархов. Но Доде сосредоточивает свое внимание на судьбе иллирийского короля Христиана II и его супруги, королевы Фредерики. Христиан II смиряется со своей участью, давая волю низменным инстинктам, предаваясь разнузданному разгулу. И только величественная Фредерика с удивительным достоинством переносит все страдания и унижения. Она готовит поход в Иллирию, но терпит неудачу. Доде показывает, что это вовсе не случайность, так как только горстка фанатиков может еще верить в возможность возрождения монархии там, где она потерпела поражение. Потеряв Иллирию и всякую надежду вернуть прошлое, Фредерика обретает нечто более важное — человечность. Опасаясь потерять сына, она становится обыкновенной женщиной-матерью и в этом своем новом качестве вызывает сочувствие автора и читателя.

В романе «Нума Руместан» (1881) Доде обращается к политической жизни Третьей республики. Он рисует весьма типичный для буржуазного парламентаризма образ политического деятеля — лгуна, краснобая, позера, ловкого демагога, человека морально нечистоплотного. Нума двуличен. Ему ничего не стоит переметнуться от бонапартистов к легитимистам, от легитимистов к республиканцам. Но толпа идет за ним, так как верит его речам, его никогда не выполняемым обещаниям.

Не менее злободневным оказался и следующий роман Доде — «Евангелистка» (1889), направленный против ожививших свою деятельность клерикалов.

С романом «Сафо» читатели впервые познакомились в 1884 году, когда он фельетонами печатался в газете «Эко де Пари». В центре романа женщина легкого поведения — Фанни Легран, подружка поэтов, музыкантов, художников. Доде создал психологически сложный образ. Фанни Легран наделена незаурядными способностями: она умна, начитанна, у нее хороший голос, она музыкальна. От всего ее облика исходит подлинное обаяние. Она способна искренне любить, способна жертвовать собою. В нее влюбляется юноша Жан Госсен из благовоспитанной буржуазной семьи, но мораль его среды не позволяет полностью отдаться вспыхнувшему чувству. Слабохарактерный, безвольный, он борется с самим собой, мечется между страстью и «долгом» и в конце концов порывает с Фанни.

Реалистическое творчество А. Доде глубочайшим образом связано с той демократической линией во французской литературе, которую представляли Бальзак, Флобер, Золя, Мопассан. Доде не был «доктором социальных наук»,

как назвал себя Бальзак, не был ученым-экспериментатором, каким хотел себя видеть в литературе Золя. У него отсутствовала целостная концепция жизни и общества, а его политические взгляды проделали лишь небольшую эволюцию от умеренного легитимизма к позициям умеренного республиканизма. Доде — наблюдатель частного, но чутье подлинного реалиста не раз выводило его на дорогу больших обобщений. Об ограниченности творческих задач, которые ставил перед собой писатель, хорошо сказал Гюисманс: «Золя смотрит на действительность в телескоп, Доде — в микроскоп, один воспроизводит ее в увеличенном, другой в уменьшенном виде». И все же Доде в чем-то дополняет таких гигантов, как Бальзак, Флобер, Золя. У него своя манера видеть мир, подкупающий лиризм, единственный в своем роде юмор, переходящий порою в весьма едкую сатиру.

«Необычайные приключения Тартарена из Тараскона», появившиеся в 1869 году, принесли А. Доде огромный и заслуженный успех. И сейчас эта книга стоит в ряду лучших произведений французской литературы.

На первый взгляд «Приключения Тартарена» примечательны прежде всего своим непревзойденным юмором, порою даже кажется, что главным героем ее является смех. И действительно, народный провансальский юмор пронизывает эту чудесную книгу. «Провансалец любит посмеяться,— писал Доде,— смех является для него выражением всех чувств... самых страстных и самых нежных» («История моих книг»).

Однако «Тартарен» написан не только для того, чтобы порадовать читателя искрящимся провансальским смехом. Внешняя развлекательность романа не мешает писателю делать глубокие обобщения, тонкие зарисовки современной действительности. Так некогда Рабле сравнил свою книгу о Гаргантюа и Пантагрюэле с причудливым и затейливым ларцом, который скрывает бесценное содержимое. «А посему,— говорил он,— раскройте мою книгу и вдумайтесь хорошенько, о чем в ней говорится. Тогда вы уразумеете, что снадобье, в ней заключенное, совсем не похоже на то, что сулил ларец: я хочу сказать, что предметы, о которых она толкует, вовсе не так пелепы, как можно было подумать, прочитав заглавие...»

У книги Доде есть много общего с книгой Рабле, и Анатоль Франс не без оснований заметил, что «Тартарен — такой же народный тип, как Гаргантюа». Но есть у Доде и другой предшественник: Сервантес с его несравненным «Дон Кихотом». Только в Тартарене соединены оба героя прославленного испанца — Дон Кихот и Санчо Панса.

Как всегда, Доде идет от конкретных наблюдений. Через пятнадцать лет после опубликования романа он точно указал родину своего героя. Она лежит в милях пяти-шести от Тараскона. «Там, будучи еще ребенком, я видел, как чах баобаб в горшке из-под резеды... Именно там пели дуэт из «Роберта Дьявола»...»

Доде изображал реальную жизнь южного провинциального городка, мещанскую узость интересов его обитателей, которые «охотятся за фуражками», играют в карты, поют забытые романсы, сплетничают, болтают, фан-

тазируют, для которых прибытие зверинца — уже целое событие, запоминающееся на всю жизнь. Тартарен — плоть от плоти этих добродушных, тупых и самовлюбленных обывателей. Однако он всех их превзошел не только своим диковинным садом, где растут карликовые баобабы, пальмы, берберийские фиговые деревья, и не только редкостным оружием, развешанным на стенах его кабинета, но и своим фантазерством. Тартарену достаточно помечтать о чем-либо, чтобы желаемое принять за действительное. Он только собирался поехать в Шанхай — и уже поверил, что эта поездка состоялась. Быть героем Тараскона очень удобно, так как для этого не требуется ни усилий, ни забот, ни риска. Фантазия Тартарена делала его похожим на Дон Кихота. Он проглатывал множество книг об экзотических странах, мечтал о подвигах, о геройстве. Но то был один из Тартаренов. Другой Тартарен — Тартарен — Санчо Панса любил покой, обильную еду и хорошую постель. Только *тогда, когда слава «великого»* человека подверглась испытанию, он решил покинуть Тараскон и отправился в Африку.

История всех приключений Тартарена могла бы остаться лишь забавным анекдотом, если бы не характер Тартарена и не наблюдательность его автора.

Вторая империя благоприятствовала расцвету мещанских вкусов, пустозвонству, показной красивости. В стране преследовалось все передовое и свободолюбивое. Вместе с тем французский буржуа чувствовал себя при режиме Наполеона III вполне удовлетворенным и спокойным за будущее. Героическая пора его жизни ушла в прошлое, и слово «революция», которое когда-то вело его на штурм Бастилии, стало бранным словом. Буржуазия наслаждалась жизнью, отделывала свои дома в стиле аристократических особняков, покупала бездарные копии знаменитых картин, угоднически выражала свою преданность императору, была преисполнена самодовольства. Тартаренство процветало повсеместно, и образ Тартарена становится большим социальным символом этой фальшивой жизни.

С другой стороны, в романе мы находим много примет времени, и прежде всего примет экспансионистской политики Второй империи. Не случайно Тартарен собирается в Шанхай: ведь туда же направлены и помыслы французских политиков, стремящихся колонизовать Китай. Не случайно Тартарен устремляется в Алжир, где французские колонизаторы нещадно грабили страну. Как бы невзначай роняет Доде одну фразу за другой о положении в Алжире, но у читателей создается весьма определенное представление о жизни в этой колонии. Город Алжир разделен на два квартала — европейский и туземный. Первый ничем не отличается от французских городов, второй же остался таким, каким он был во времена средневековья. В Алжире постоянно действуют гражданские и военные суды. Тартарен, видимо, наслышан о правосудии в Алжире, и он всерьез боится, что его расстреляют. Дело, дескать, обычное. Доде одной фразой высмеивает россказни о «цивилизаторской миссии» французов: «Мы цивилизуем, прививая... наши пороки...» Тартарен поражен обилием военных на улицах Алжира, а позднее он узнаёт,

что здесь полно всяких проходимцев и авантюристов. Жертвой одного из них он становится сам. По поводу белых правителей Алжира делается весьма выразительное замечание: «Для того чтобы управлять Африкой, не нужна ни светлая голова, ни голова вообще». Так, казалось бы, невинный смех Доде оказывается острой политической сатирой на современную ему Францию.

Доде создал тип литературного героя, который намного пережил эпоху, его породившую. Тартарен вырос в определенных условиях, в определенной среде, но он необыкновенно живуч, и мы можем с ним встретиться и в наши дни. Как Дон Кихот, Тартюф, Дон Жуан и другие типические образы, прочно вошедшие в наше сознание, он выражает определенные черты человеческого характера: пустозвонство, нелепое прожектерство, фразерство.

В статье «О том, как я учился писать» М. Горький приводит в качестве примера классического использования законов типизации произведения Шарля де Костера, Ромена Роллана и Альфонса Доде с его знаменитым Тартареном из Тараскона.

Мысль продолжить историю приключений Тартарена пришла Доде много лет спустя. За эти годы смех Доде стал горше. В его книгах возникают серьезные социальные конфликты, все меньше появляется благородных героев, которые в решительный момент встают на защиту добродетели. Рок социальной жизни неотвратим, и каждый получает свою долю страдания без надежды на то, что его выручат случайные обстоятельства, какой-нибудь добрый гений. Казалось бы, писатель навсегда отошел от тем своего раннего творчества, от искрящегося смехом «Тартарена». Но вот в 1885 году появляется вторая часть его знаменитого произведения — «Тартарен на Альпах».

Швейцарские приключения Тартарена общим своим тоном напоминают приключения в Алжире. И здесь рассказано о комических приготовлениях Тартарена к поездке на Альпы, о его немыслимом альпинистском снаряжении, вызывающем смех, недоумение и даже испуг у прохожих. Так же как и Алжир, Швейцария оказывается совсем не такой, какой представлял ее себе Тартарен. Вместо дикой, первозданной природы он находит здесь роскошные гостиницы и отели, отличные дороги и толпы отдыхающих.

Доде сталкивает своего героя с многочисленными туристами, представляющими всю Европу — Европу богачей и бездельников. Писатель вовсе не жалует эту публику — холодную, равнодушную, пустую. От сравнения с ней Тартарен и другие тарасконцы только выигрывают. Доде рисует карикатурный портрет стареющего дипломата, растерявшего «слова и мысли»; жрецов науки, «пропахших плесенью»; чопорного лорда; пессимиста, начитавшегося Шопенгауэра и Гартмана. Их высокомерию и надутости, их равнодушию и скуке Доде противопоставляет веселость и доброжелательность Тартарена и его тарасконских спутников. В первой части автор мягко разоблачал своего героя и смеялся над его пустым тщеславием и наивностью. Счастливый конец каждого приключения Тартарена был как бы заранее предрешен. Здесь

же Тартарену приходится сталкиваться с вещами весьма серьезными и волей-неволей задумываться над ними.

Важным эпизодом второй части является встреча Тартарена с русскими террористами, скрывающимися в Альпах от преследования русского царизма. Молодая девушка Соня и ее умирающий брат Борис, бежавший с каторги, друзья Сони — Манилов и Болибин — люди действия, у которых слово не расходится с делом. В изображении Доде они тоже мечтатели, возымевшие смелость подняться против всесильного самодержавия, но их мечта имеет смысл и конечную цель, а беззаветная храбрость оправдана. Так, возвысив своего героя в сравнении с праздношатающимися туристами, Доде возвращает нас к истинной сущности Тартарена.

В конце второй части трилогии ставятся все точки над «i». Испугавшись надвигающейся снежной бури, Тартарен и тарасконец Бомпар решают вернуться назад. Связавшись одной веревкой, они оказываются по разные стороны скалы и, думая, что один из них падает в бездну, одновременно обрубают веревку. Каждый из них считает себя виновным в гибели другого. Но совесть недолго мучает Бомпара, так же как и Тартарена. И в этом взаимном предательстве, которое, к счастью, не влечет за собой беды, мы видим всю нешуточную опасность беспримерного себялюбия таких «славных» с виду и таких добродушных тарасконцев.

По сравнению с «Приключениями Тартарена» общий фон второй части трилогии значительно помрачнел. Умирает брат Сони — Борис, Тартарен и компания тарасконцев попадает по ложному доносу в тюрьму, в самом Тарасконе идет глухая борьба за популярность между Тартареном и Костекальдом.

Прошло еще пять лет, прежде чем появилась заключительная часть трилогии о Тартарене — «Порт-Тараскон» (1890). Теперь уже не один Тартарен, а многие тарасконцы пытаются совершить «подвиг», пускаясь в невиданную авантюру. Предводительствуемые Тартареном, они основывают на одном из затерявшихся островов Тихого океана тарасконскую колонию. Однако на этот раз их поступками руководит не только жажда славы, но и желание обогатиться.

Фон третьей части трилогии о Тартарене становится еще более мрачным. Колонисты встречают на острове людоедов и взаправду гибнут. Вместо обетованной земли они находят богом забытый остров, где льют тропические дожди, свирепствует лихорадка, а почва отказывается принимать привезенные из Франции злаки. Обманутые лжегерцогом Монским, оказавшимся авантюристом, тарасконцы попадают в отчаянное положение.

Конфликт между необузданной фантазией тарасконцев и жестокой действительностью приобретает трагические или, скорее, трагикомические масштабы. Наивность и благодушие тарасконцев еще кое-как могли процветать под небом Прованса, но они исчезают перед лицом невыдуманных испытаний. Доде и в этих драматических обстоятельствах находит место для смеха, но юмор его часто уступает место горькой иронии.

«Порт-Тараскон» — пародийная утопия, разоблачение мечты буржуазного обывателя одним махом разбогатеть или приумножить свое состояние. Тарасконцы двинулись в неизвестность, соблазненные сногсшибательной рекламой герцога Монского. Но разбогатеть они не могут не только потому, что стали жертвой ловкого авантюриста, но и потому, что не способны к труду. «Нам положительно недостает меньшой братии»,— говорит Тартарен, имея в виду простых крестьян и рабочих. Некогда Санчо Панса на какой-то миг стал губернатором острова, теперь в этой роли оказывается Тартарен. Но, в отличие от своего испанского прототипа, он не проявляет большой мудрости. Образ правления в Порт-Тарасконе — пародия на государственные установления в метрополии. «Администрация у нас деятельная»,— записывает в дневнике Паскалон, но «...мы не столько заняты делом, сколько междуведомственной перепиской». Всевозможные «ответственные посты» здесь поручены людям, меньше всего к ним подготовленным. «Братство» колонистов не разрушило сословных и классовых перегородок, и бедняге Паскалону, несмотря на громкий титул, подаренный ему Тартареном, отказывают в руке дворянки Клоринды. Женщины здесь в голосовании не участвуют. Колония тарасконцев в карикатурном виде воспроизводит порядки Третьей республики, а мечта буржуазного обывателя не трудясь побольше заработать приводит его к мысли огнем и мечом покорить соседние племена.

Так незаметно трагикомический рассказ о колонистах из Тараскона возвращает нас во Францию, управление которой, по мысли Доде, весьма далеко от совершенства. Отсутствие «меньшой братии» и неудача с попыткой колонизовать соседние острова привели бы тарасконцев к гибели, если бы однажды у берегов Порт-Тараскона не появилось английское судно и не напомнило им, что злосчастный остров принадлежит английской короне. Покинутый всеми, кроме верного Паскалона, Тартарен еще долго тешит себя на тарасконский лад, сравнивая свою судьбу с судьбой Наполеона, но в конце концов и его глаза открываются. После оправдательного приговора Тартарен с горечью признается Паскалону, что если он и напоминает Дон Кихота, то Дон Кихота «напыщенного, ожиревшего, недостойного своей мечты». Добродушный Тартарен, ставший колонизатором, в первый раз терпит полное поражение, и автор не приходит к нему на помощь.

Доде не расставался с Тартареном более двадцати лет. Отдельные части трилогии как бы обозначали различные отрезки пути, им пройденные. От лирических рассказов «Писем с мельницы» и беззаботной веселости первой части «Тартарена из Тараскона» он пришел к горькому юмору и едкой иронии. К «Порт-Тараскону» особенно применимы слова Золя, сказанные им по поводу манеры Доде смеяться и высмеивать: «Оружие Доде — ирония, тонкая и острая, как шпага».

Роман «Бессмертный» (1888) — одно из последних крупных произведений А. Доде — написан через три года после «Тартарена на Альпах». И это, пожалуй, единственная его книга, в которой улыбка, даже убийственная, и

ронии, даже острая, как шпага, уступают место открытой, неподслащенной сатире. История академика Леонара Астье-Рею, которого обманул переплетчик Фаж, продавший ему поддельные автографы великих людей, вводит нас в главный храм французской науки — Академию. Словами одного из своих персонажей, честного и независимого художника Ведрина, Доде дает уничтожающую характеристику Французской академии, которая не создает больше никаких духовных ценностей, превратилась в некий салон, где «бессмертные», дрожа перед начальством, боятся сказать хотя бы одно вольное слово. О зависимости академика от официальных кругов свидетельствует случай с Астье-Рею, которого снимают с исполняемой должности за неосторожную фразу: «Тогда (то есть во времена Орлеанского дома), как и в настоящее время, Францию захлестнула волна демагогии». Прославленная Французская академия представляет собой скопище бездарных людей. «Скудость мыслей», «ограниченный ум» — вот что такое Астье-Рею даже в глазах своей собственной жены. Но и другие не лучше. Член Академии нравственных и политических наук князь д'Атис стал академиком благодаря книге, в которой он не написал ни одного слова; Ланибуар попал в Академию после бесчисленных унижений перед влиятельной женщиной; все творчество Луазильона состояло из двух докладов и книги «Путешествия в Андорскую долину». Это он о себе сказал: «Какой превосходный вышел бы из меня лакей!»

И до романа «Бессмертный» Доде неоднократно высмеивал Академию. Резкие отзывы о ней впервые мы встречаем в романе «Малыш»; смешная фигура бесталанного академика нарисована в одном из рассказов сборника «Жены художников» («Признания академического мундира»); гротескная сцена заседания Академии запечатлена в романе «Короли в изгнании»; наконец, эпиграф к роману «Бессмертный» взят писателем из его заявления, сделанного в 1884 году (газета «Фигаро»): «Я не выставляю, никогда не выставлял и никогда не выставлю своей кандидатуры в Академию».

Овеянная многовековой славой, Французская академия внушала к себе когда-то неподдельное уважение. Среди академиков действительно были люди, составившие славу Франции. Да и во времена Доде членами Академии были В. Гюго, И. Тэн, Э. Ренан, Л. Пастер; но подавляющее число академических кресел занимали люди посредственные. Академия была прибрана к рукам, и во дворце Мазарини, где расположились ее залы, насаждались нравы, угодные правящим классам. Состав Академии, ее деятельность, порядок выборов в нее выявляли с особой очевидностью противоречия в области научной и культурной жизни. На примере Французской академии наглядно выступали две культуры: одна — официальная, мертворожденная, но угодная властям, другая — прогрессивная, независимая, оппозиционно настроенная к существующим порядкам.

За пределами Академии оставались ученые и писатели, чье научное и художественное творчество было признано во Франции и за ее границами. Те же, кто пытался проникнуть в стены Академии, претерпевали горькие

унижения и чаще всего отвергались. Писатель упоминает в романе «Бессмертный» слова П. Мериме: «В настоящее время я занимаюсь самым унизительным и скучным делом: добиваюсь кресла в Академии», а еще раньше Доде рассказал в одном из очерков о мытарствах Альфреда де Виньи, пытавшегося стать академиком. Друзья Доде резко враждебно относились к институту Академии. Отказался от академического кресла Ги де Мопассан. Эд. Гонкур, в противовес официальной Академии, организовал свою, «гонкуровскую» Академию. Э. Золя, который считал, что «раз Французская академия существует, я должен быть ее членом», безуспешно выставлял несколько раз свою кандидатуру. В статье «Дождь венков», посвященной литературным академическим премиям, Золя писал: «Попробуйте собрать все эти удостоенные премий произведения — вам будет чем поразвлечься».

Таким образом, роман «Бессмертный» приобретал большое социальное звучание, он поднимал вопрос не только о нравах Академии, но и об оценке творчества художника в буржуазном обществе, об остром конфликте художника с официальными властями.

«Академическим мундирам» и злосчастному Фрейде, возымевшему намерение стать академиком и бесполезно растратившему свой талант и свои нравственные устои, Доде противопоставляет скульптора Ведрина, равнодушного к успеху, к суждениям публики и академическим премиям. Он работает не ради славы, не ради денег, а из потребности «выразить свои мысли, из потребности творить».

В романе «Бессмертный» заметное место занимает и другая сатирическая линия — история Поля Астье, сына академика Леонара Астье-Рею. Поль Астье предстает перед нами как преуспевающий архитектор, который, пользуясь услугами художника Ведрина, завоевывает себе незаслуженную славу. Поль Астье — откровенный циник, стремящийся разбогатеть любой ценой и любыми средствами. Он грабит мать и отца, обманывает друзей, пытается с помощью выгодной женитьбы приобрести состояние. У Поля обворожительная внешность и подлая душа. Об этом типе законченного, но преуспевающего негодяя М. Горький писал: «Тогда во Франции, живущей всегда быстрее всех других стран, создалась атмосфера душная и сырая, в которой, однако, очень хорошо дышалось Полю Астье и всем людям его типа, исповедовавшим прямолинейный материализм и относившимся скептически ко всему, что было идеально и призывало к переустройству жизни»[1].

Современное общество в представлении Поля Астье — те же джунгли, в которых ведется жестокая борьба за существование, и в ней побеждает сильнейший. В пьесе «Борьба за существование» Доде вновь выводит на сцену в качестве центрального персонажа Поля Астье, обратившегося к теории Дарвина и, так сказать, с научной точки зрения пытавшегося оправдать аморализм своего поведения. В буржуазных кругах делались неоднократные

---

[1] М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 23. М., Гослитиздат, 1953, с. 127.

попытки взвалить на учение Дарвина вину за разнузданность и аморальность нового поколения буржуазной молодежи.

В 1890 году Поль Лафарг отметил этот чудовищный поход против дарвинизма. В статье «Дарвинизм на французской сцене» он осудил реакционное толкование великого учения, но в ней же он критиковал и Доде с его пьесой, считая, что тот льет воду на мельницу антидарвинской кампании. Но вряд ли Лафарг был прав. Словами персонажа пьесы Антони Кассада Доде как бы отвечает на этот упрек: «Да... закон лесов и пещер... Но, благодарение богу, мы далеко ушли от этого... Конечно, я тут обвиняю не великого Дарвина, а лицемерных бандитов, которые ссылаются на его имя, тех людей, которые хотят из наблюдений и выводов ученого вывести закон и систематически применять его. Ничего не может быть великого без добра, без жалости, без человеческой солидарности».

Романом «Бессмертный», по существу, завершается творчество Доде, хотя в 1895 и в 1898 годах (посмертно) выходят еще два его романа — «Маленький приход» и «Опора семьи». Но они не принадлежат к числу лучших.

Доде был наделен тем счастливым талантом, которому свойственно создавать образы-типы. Именно к таким образам-типам можно отнести и Тартарена, и Руместана, и Поля Астье. Художественный вклад писателя во французскую литературу очень значителен. Черпая материал из живой действительности, опираясь всегда на свои наблюдения, Доде не был рабом фактов. Творческое воображение, талант давали ему возможность создавать произведения большой жизненной правды, а его природная доброта, хотя и не обретала политической целеустремленности, все же связывала его с демократически настроенными общественными кругами. «Он,— по словам А. Франса,— поднимал униженных... воодушевлял слабых».

А. ПУЗИКОВ

ПЕРЕВОД Н. ЛЮБИМОВА

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРТАРЕНА ИЗ ТАРАСКОНА

Другу моему
Гонзагу Прива

Во Франции все немножко тарасконцы

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ

В ТАРАСКОНЕ

I

Сад с баобабом

Мое первое посещение Тартарена из Тараскона я запомнил на всю жизнь; с тех пор прошло лет двенадцать — пятнадцать, а я все так ясно вижу, словно это было вчера. Бесстрашный Тартарен жил тогда при въезде в город, в третьем доме налево по Авиньонской дороге. Хорошенькая тарасконская вилла, впереди садик, сзади балкон, ослепительно белые стены, зеленые ставни, а у калитки — целый выводок маленьких савояров, играющих в классы или дремлющих на самом солнцепеке, подставив под голову ящик для чистки обуви.

Снаружи дом ничего особенного собою не представлял.

Никому бы и в голову не пришло, что перед ним жилище героя. Но стоило войти внутрь, и — ах, черт побери!..

Во всем строении, от погреба до чердака, чувствовалось нечто героическое, даже в саду!..

О, сад Тартарена! Другого такого не было во всей Европе! Ни одного местного дерева, ни одного французского цветка, сплошь экзотические растения: камедные деревья, бутылочные тыквы, хлопчатник, кокосовые пальмы, манго, бананы, пальмы, баобаб, индийские смоковницы, кактусы, берберийские фиговые деревья,— можно было подумать, что вы в Центральной Африке, за десять тысяч миль от Тараскона. Конечно, все это не достигало здесь своей естественной величины: так, например, кокосовые пальмы были ничуть не выше свеклы, а баобаб (дерево-великан, *arbos gigantea*) превосходно чувствовал себя в горшке из-под резеды. Ну и что же?

Для Тараскона и это было хорошо, и те высокопочтенные горожане, которые по воскресеньям удостаивались чести полюбоваться Тартареновым баобабом, возвращались домой в полном восторге.

Можете себе представить, с каким волнением проходил я впервые по этому чудесному саду! Но что я испытал, когда меня провели в кабинет героя!..

Кабинет Тартарена — одна из городских достопримечательностей — выходил окнами в сад, а баобаб произрастал как раз против стеклянной двери кабинета.

Вообразите большую комнату, сверху донизу увешанную ружьями и саблями; все виды оружия всех стран мира были здесь налицо: карабины, пищали, мушкетоны, ножи корсиканские, ножи каталонские, ножи-револьверы, ножи-кинжалы, малайские криссы, караибские стрелы, кремневые стрелы, железные перчатки, кастеты, готтентотские палицы, мексиканские лассо,— чего-чего тут только не было!

И словно для того, чтобы душа у вас совсем ушла в пятки, на стальных лезвиях и на ружейных прикладах сверкало могучее, беспощадное солнце... Единственно, что вас несколько успокаивало, это умиротворяющий дух порядка и чистоты, царивший над всеми этими орудиями истребления. Всему здесь было определено свое место, все сияло, блестело, все имело, точно в аптеке, свой ярлычок; кое-где виднелась краткая заботливая надпись:

Стрелы отравлены, не прикасайтесь!

Или:

Ружья заряжены, осторожно!

Если б не эти надписи, я бы не отважился сюда войти.

Посреди кабинета стоял круглый столик. На столике бутылка рому, турецкий кисет, «Путешествие капитана Кука», романы Купера, Густава Эмара, рассказы об охоте — охоте на медведя, соколиной охоте, охоте на слонов и т. д. А за столиком сидел человек лет сорока — сорока пяти, низенький, толстый, коренастый, краснолицый, в жилетке и фланелевых кальсонах, с густой, коротко подстриженной бородкой и горящими глазами; в одной руке он держал книгу, а другой размахивал громадной трубкой с железной покрышкой и, читая какой-нибудь сногсшибательный рассказ об охотниках за скальпами, оттопыривал нижнюю губу и строил ужасную гримасу, что придавало симпатичному лицу скромного тарасконского рантье выражение той же добродушной свирепости, какою дышал весь дом.

Это и был Тартарен, Тартарен из Тараскона, бесстрашный, великий, несравненный Тартарен из Тараскона.

II

Несколько слов о славном городе Тарасконе. Охотники за фуражками

В то время, о котором я рассказываю, Тартарен из Тараскона не был еще нынешним Тартареном, великим Тартареном из Тараскона, широко известным на юге Франции. Но и тогда уже он был королем Тараскона.

Чему же обязан он своим королевским достоинством?

Прежде всего надо вам сказать, что в том краю все люди — охотники, и стар и млад. Охота — страсть тарасконцев, и это повелось еще со времен баснословных, когда в окрестных болотах свирепствовал Тараск, а тарасконцы устраивали на него облавы. Как видите, давность изрядная.

Итак, каждое воскресное утро тарасконцы вооружаются и идут за город; за спинами у них сумки, за плечами ружья, стон стоит от лая собак, воя хорьков, звуков труб и охотничьих рогов. Величественное зрелище... Вот только, к сожалению, дичь перевелась, совсем-совсем перевелась.

Тварь, хоть она и тварь, в конце концов, сами понимаете, стала остерегаться.

На пять миль вокруг Тараскона все норы пусты, все гнезда брошены. Ни дрозда, ни перепелки,— хоть бы один крольчонок, хоть бы самый маленький чекан.

А между тем живописные тарасконские холмики, пахнущие миртом, лавандой, розмарином, до того очаровательны, превосходный мускатный, набухающий сладким соком виноград, уступами спускающийся к Роне, тоже чертовски соблазнителен!.. Да, но там, дальше — Тараскон, а в маленьком царстве зверей и птиц Тараскон на очень плохом счету. Перелетные птицы даже отметили его большим крестом на своих маршрутах, и как только дикие утки, вытянутыми треугольниками спускаясь к Камарге, издали завидят городские колокольни, вожак тотчас начинает кричать во все горло: «Вон Тараскон!.. Вон Тараскон!» — и стая делает крюк.

Словом, местная дичь состоит из одного матерого, продувного зайца, чудом уцелевшего от тарасконских бранных потех и упорно не покидающего здешних мест. Этого зайца знают в Тарасконе решительно все. У него есть даже кличка. Его прозвали Быстроногий. Известно, что его нора находится в черте владений Бомпара,— кстати сказать, это обстоятельство вдвое и даже втрое подняло цену на его землю,— но убить зайца так никому и не удалось.

В настоящее время за ним все еще гоняются два-три безумца.

Остальные махнули рукой, и Быстроногий с давних пор был отнесен к числу местных суеверий, хотя по природе своей тараскон-

цы весьма мало суеверны и, когда представляется случай, едят даже рагу из ласточек.

— Да, но если дичь в Тарасконе — такая редкость,— скажете вы — чем же тогда тарасконские охотники занимаются по воскресеньям?

Чем занимаются?

Ах, боже мой! Они отправляются в поле, мили за две, за три от города. Объединяются человек по пять, по шесть, устраиваются поудобней под сенью колодезного сруба, старой стены или же оливкового дерева, достают из ягдташей порядочный кусок тушеной говядины, лук, колбасу, анчоусы — и начинается нескончаемый завтрак, запиваемый превосходным ронским вином, от которого хочется смеяться и петь.

Потом, как следует нагрузившись, они встают, подзывают собак, заряжают ружья и начинают охотиться. Это значит, что каждый из них берет свою фуражку, изо всех сил подбрасывает ее в воздух и бьет по ней влет дробью разного калибра — пятым, шестым, вторым номером, смотря по уговору.

Кому удалось попасть в цель чаще других, того провозглашают королем охоты, и вечером он, как триумфатор, под звуки рогов и лай собак возвращается в Тараскон, а на стволе его ружья красуется изрешеченная фуражка.

Вряд ли стоит говорить, что в городе идет бойкая торговля охотничьими фуражками. Иные шапочники в расчете на незадачливых охотников продают заранее продырявленные, изодранные фуражки, но, кроме аптекаря Безюке, их никто не покупает. Это же нечестно!

Как охотник за фуражками Тартарен из Тараскона не имел себе равных. Каждое воскресное утро он отправлялся на охоту в новой фуражке и каждый воскресный вечер возвращался с фуражкой рваной. В домике с баобабом весь чердак был завален этими славными трофеями. Вот почему тарасконцы считали Тартарена своим предводителем, а так как он знал досконально охотничий устав и прочел научные труды и руководства по всем видам охоты, начиная с охоты за фуражками и кончая охотой на бирманского тигра, то его признавали за верховного охотничьего судью и во всех спорных случаях прибегали к его посредничеству.

Ежедневно, от трех до четырех, у оружейного мастера Костекальда можно было видеть важного толстяка с трубкой в зубах, восседавшего в зеленом кресле посреди магазина, который был битком набит охотниками за фуражками, охотники же стоя переругивались. Это творил суд Тартарен из Тараскона — Нимрод и Соломон в одном лице.

III

Нэт! Нэт! Нэт! Еще несколько слов о славном городе Тарасконе

У могучего тарасконского племени страсть к охоте сочетается с другой страстью — к романсам. Городок, кажется, небольшой, а романсы распевают в количестве просто невероятном. Всякого рода сентиментальный хлам всюду у нас давно пожелтел, покоясь в старых-престарых папках, зато в Тарасконе он вечно молод и вечно свеж. Все, все они тут. У каждой семьи свой любимый романс, и в городе это хорошо известно. Известно, например, что любимый романс аптекаря Безюке:

Сияй, о звездочка моя...

Оружейника Костекальда:

Придешь ли ты в тот край лачуг убогих?

Податного инспектора:

Ах, будь я невидимкой,
Меня б не увидать!

(*Шуточная песенка*)

И так у всех тарасконцев. Два-три раза в неделю они собираются друг у друга и поют. Замечательно, что это всегда одни и те же романсы и что, сколько ни поют их славные тарасконцы, ни у кого никогда не возникало желания разучить что-нибудь новенькое. Романсы переходят по наследству от отца к сыну, и никто ничего не меняет: это священно. Более того, никто ни у кого не перенимает. Костекальдам никогда бы не пришло в голову спеть романс Безюке, а Безюке — спеть романс Костекальдов. Кажется, за сорок лет романсы должны бы набить им оскомину. Но нет! Каждый крепко держится за свой романс, и все довольны.

По части романсов, как и по части фуражек, первое место занимал Тартарен. Превосходство его зиждилось вот на чем: у Тартарена из Тараскона не было своего романса. Его собственностью были все романсы.

Все!

Однако заставить его спеть не мог бы и сам черт. Пресыщенный сплошными успехами, герой Тараскона предпочитал погружаться в чтение книг про охоту или проводить вечера в Клубе, нежели рисоваться у нимского фортепьяно при свете двух тарасконских свечей. Принимать участие в этих музыкальных вечерах он считал ниже своего достоинства... И все же, когда в аптеке у Безюке шел домашний концерт, он иной раз как бы невзначай туда заходил и, уступая настойчивым просьбам, соглашался спеть со

старой г-жой Безюке знаменитый дуэт из «Роберта Дьявола»... Кто этого не слышал, тот ничего не слыхал... Проживи я еще хоть сто лет, я до самой смерти не забуду, как великий Тартарен торжественно направлялся к фортепьяно, облокачивался, строил гримасу и старался придать своему добродушному лицу, на которое падал зеленый свет от шаров аптечной витрины, демоническое, свирепое выражение Роберта Дьявола. Едва он принимал позу, как по всему залу пробегал трепет: казалось, сейчас произойдет нечто необычайное... И вот, после некоторого молчания, старая г-жа Безюке, сама себе аккомпанируя, начинала:

В тебя я верю свято,
Тобой душа полна,
Но я потрясена (2 раза),
Так не губи ж себя ты
И не губи меня!

Тут она шепотом говорила: «Теперь вам, Тартарен»,— и Тартарен из Тараскона, вытянув руку, сжав кулак и раздув ноздри, трижды произносил ужасным голосом, который, точно удар грома, раскатывался в недрах фортепьяно: «Нет!.. Нет!.. Нет!..» — причем у него, как у настоящего южанина, это звучало: «Нэт!.. Нэт!.. Нэт!..» Тогда старая г-жа Безюке повторяла еще раз:

Так не губи ж себя ты
И не губи меня!

— *Нэт!.. Нэт!.. Нэт!..*— еще громче ревел Тартарен, и тут все и кончалось... Как видите, пение длилось недолго, но выходило это у него так сильно, так выразительно, до того сатанински, что вся аптека содрогалась от ужаса, и его потом еще несколько раз заставляли повторить: «Нэт!.. Нэт!..»

Наконец Тартарен отирал лоб, улыбался дамам, подмигивал мужчинам, а затем, после такого триумфа, шел в Клуб и там небрежно ронял:

— Я сейчас пел у Безюке дуэт из «Роберта Дьявола».

И он сам этому верил — вот что удивительнее всего!..

IV

Они!

Тартарен из Тараскона пользовался в городе большим влиянием, и этим он был всецело обязан своим разносторонним способностям.

Во всяком случае, одно можно сказать наверное: этот хват сумел покорить всех.

Армия в Тарасконе была за Тартарена. Бравый командир Бравида́, он же каптенармус в отставке, говорил о нем: «Он у нас молодец!» — а уж кто-кто, но Бравида, стольких обмундировав на своем веку, должен был разбираться, кто молодец, а кто нет.

Судейское сословие тоже было за Тартарена. Председатель суда, старик Ладевез, не раз говорил о нем на заседаниях:

— Вот это характер!

Наконец, за Тартарена был народ. Его могучее телосложение, поступь, повадка боевого коня, которому не страшна никакая пальба, слава героя, неизвестно откуда взявшаяся, а также неоднократные раздачи медяков и тумаков маленьким чистильщикам, которые располагались у его калитки, сделали из него местного лорда Сеймура, любимца тарасконских рынков. В воскресенье вечером, когда Тартарен во фланелевой куртке с поясом возвращался с охоты, вздев фуражку на ружейный ствол, ронские грузчики на пристани почтительно кланялись ему и, подмигивая друг другу на мощные бицепсы, игравшие на его руках, переговаривались восхищенным шепотом:

— Ну и силач!.. У него *двойные мускулы!*

Двойные мускулы!

Только в Тарасконе можно услышать нечто подобное!

Однако, наперекор всему, несмотря на многообразие талантов, на двойные мускулы, на любовь народа и лестное мнение бравого командира Бравида, то бишь каптенармуса в отставке, Тартарен не был счастлив: жизнь в маленьком городишке тяготила, угнетала его. Великому тарасконцу скучно было в Тарасконе. В самом деле: для такой героической натуры, для такой отважной и пылкой души, бредившей битвами, скачкою в пампасах, грандиозной охотой, песками пустынь, смерчами и ураганами, непременные воскресные облавы на фуражки и судебные разбирательства у оружейника Костекальда — все это было слишком мелко... Милый, бедный великий человек! Ну как тут было не зачахнуть с тоски!

Тщетно, стремясь расширить кругозор и немного отдохнуть от Клуба и от Рыночной площади, окружал он себя баобабами и другими африканскими растениями; тщетно вешал одно оружие на другое, один малайский крисс на другой; тщетно забивал себе голову чтением романов и, подобно бессмертному Дон Кихоту, пытался силою своей мечты вырваться из тисков беспощадной действительности... Увы! Что бы ни предпринимал он для утоления жажды приключений, все только распаляло ее. Один вид многочисленного оружия держал его в состоянии неутихающего гнева и раздражения. Стрелы и лассо взывали к нему: «На бой! На бой!» В ветвях баобаба шелестел ветер далеких странствий и нашептывал ему опасные советы. А тут еще Густав Эмар и Фенимор Купер...

Сколько раз в душные летние дни, окруженный мечами, в полном одиночестве читая книгу, Тартарен внезапно вскакивал, рыча бросал книгу, устремлялся к стене и срывал с гвоздя какое-нибудь оружие!

Бедняга забывал, что он у себя дома, в Тарасконе, что на нем фуляровый платок и кальсоны,— он претворял только что прочитанное в жизнь и, возбуждаясь от звука собственного голоса, кричал, потрясая топором или томагавком:

— Теперь пусть только они ворвутся!

Они? Кто *они?*

Тартарен и сам толком не знал... *Они* — это все, что нападает, воюет, кусает, разрывает когтями, скальпирует, воет, ревет... *Они* — это краснокожий сиу, пляшущий вокруг столба, к которому привязан несчастный белый. Это бурый медведь Скалистых гор, который переваливается с ноги на ногу и облизывается окровавленным языком. Затем это туарег, кочующий в пустыне, малайский пират, абруццкий бандит... Наконец, *они* — это просто *они*!.. *Они* — значит война, путешествия, приключения, слава.

Но увы! Сколько ни звал *их* бесстрашный тарасконец, сколько ни вызывал *их* на бой — *они* все не шли... Да и что бы они, горемыки, стали в Тарасконе делать?

А Тартарен между тем все-таки их поджидал; особенно по вечерам, отправляясь в Клуб.

V

Тартарен отправляется в Клуб

Рыцарь-тамплиер, собирающийся сделать вылазку против осадивших его неверных, китайский солдат, под знаменем тигра готовящийся к схватке, воинственный команч, выходящий на тропу войны,— все это ничто в сравнении с Тартареном из Тараскона, вооружающимся с головы до ног перед тем, как отправиться в Клуб, а отправляется он туда в девять вечера, через час после вечерней зори.

«К бою готовьсь!» — как говорят матросы.

На левую руку Тартарен надевал железную перчатку с шипами, в правую брал трость со шпагой внутри, в левом кармане у него был кастет, в правом — револьвер. На груди, между сюртуком и жилеткой, скрывался малайский крисс. Но уж насчет отравленных стрел — ни-ни! Это — оружие вероломное!..

Перед самым уходом он в тишине и сумраке кабинета некоторое время упражнялся: фехтовал, стрелял в стену, играл мускулами, затем брал ключ от калитки и важною медлительною по-

ступью шел через сад. По-английски, господа, по-английски! Вот она, истинная храбрость! Пройдя сад, он отворял тяжелую железную калитку. Он отворял ее рывком, так что снаружи она ударялась об ограду... Если бы *они* стояли за оградой, от *них* бы мокрого места не осталось!.. Вот только, к несчастью, *они* не стояли за оградой.

Тартарен выходил за калитку, мгновенно оглядывался по сторонам, поспешно запирал калитку двойным поворотом ключа и — в путь!

На Авиньонской дороге ни одной живой души. Двери заперты, огни погашены. Темным-темно, лишь кое-где в ронском тумане мигает фонарь...

Величавый и непоколебимый, Тартарен из Тараскона мерно шагал в ночном мраке, высекая из булыжника искры железным наконечником трости... Где бы он ни шел — по бульвару, по улице или по переулку, он неизменно держался середины дороги, что является весьма благоразумной мерой предосторожности, ибо так вы всегда увидите надвигающуюся опасность, а главное — так вам не грозит нечто, иной раз выливающееся по вечерам из окон на тарасконские улицы. Подобная осмотрительность вовсе не означала, однако, что Тартарен испытывал страх... Нет, он только остерегался!

Лучшее доказательство того, что Тартарен не испытывал страха, заключается в следующем: в Клуб он шел не бульварами, а через весь город, то есть самым длинным, самым темным путем, бесконечно колеся по всяким мерзким закоулкам, в конце которых зловеще поблескивала Рона. Бедняга все надеялся, что на повороте одной из таких трущоб внезапно вырастут из темноты *они* и бросятся на него сзади. *Им* бы не поздоровилось, можете мне поверить... Но по иронии судьбы ни разу, ну то есть ни разу в жизни, Тартарену не повезло на неприятную встречу. Хоть бы собака, хоть бы пьяный. Никого!

Изредка все же фальшивая тревога бывала. Шаги, приглушенные голоса... «Внимание!» — говорил себе Тартарен, замирал на месте, вглядывался в темноту, нюхал воздух, по способу индейцев припадал ухом к земле... Шаги приближались. Голоса звучали отчетливее. Сомнений нет! Это *они*! *Они* сейчас подойдут.

И вот уже Тартарен с загоревшимся взглядом, тяжело дыша, весь подобрался, точно ягуар, вот сейчас он прыгнет, издав воинственный крик, как вдруг из темноты слышатся приветливые голоса тарасконцев, спокойно окликающих его:

— Э! Глянь-ка... Да это Тартарен! Здравствуйте, Тартарен!

Проклятие! Это аптекарь Безюке с семейством,— он только что спел свой романс у Костекальдов.

— Добрый вечер! Добрый вечер! — в ярости, что обознался, цедил сквозь зубы Тартарен и, с остервенением взмахнув тростью, исчезал во тьме.

Прежде чем войти в Клуб, бесстрашный тарасконец еще некоторое время расхаживал в ожидании взад и вперед возле дома... Наконец ему надоедало *их* ждать, и, окончательно убедившись, что *они* и на сей раз не появятся, Тартарен бросал последний вызывающий взгляд в темноту и злобно шептал: «Никого!.. Никого!.. Никогда — никого!»

Затем доблестный муж садился играть с капитенармусом в безик.

VI

Два Тартарена

Как же, черт побери, могло случиться, что с этой страстью к приключениям, с этой потребностью в сильных ощущениях, с этим помешательством на странствиях, на бешеной скачке очертя голову Тартарен из Тараскона безвыездно жил в Тарасконе?

А между тем это так. Бесстрашный тарасконец дожил до сорока пяти лет и ни разу не ночевал за городом. Он не совершил даже пресловутого путешествия в Марсель, которым каждый уважающий себя провансалец отмечает свое совершеннолетие. Дальше Бокера он не заходил, а ведь это уж не так далеко — только мост перейти. К несчастью, проклятый мост так часто сносило бурей и потом он такой длинный, такой непрочный, а Рона в этом месте такая широкая, что... словом, вы меня понимаете, Тартарен из Тараскона предпочитал сушу.

У нашего героя, надо сознаться, были две совершенно разные натуры. «Я чувствую в себе двух человек»,— сказал кто-то из отцов церкви. С полным правом это можно было бы сказать о Тартарене, ибо у него была душа Дон Кихота: те же рыцарские порывы, тот же идеал героизма, то же помешательство на всем необычайном и великом, но, к несчастью, он не обладал телом прославленного идальго, телом костлявым и тощим, этим подобием тела, для которого жизнь материальная не таила в себе никаких соблазнов, способного двадцать ночей не снимать доспехов и двое суток питаться горсточкой риса... Напротив, тело у Тартарена было солидное, весьма упитанное, весьма грузное, весьма плотоядное, весьма изнеженное, весьма привередливое, отличавшееся чисто обывательскими наклонностями, любившее удобства, — пузатое и коротконогое тело бессмертного Санчо Пансы.

Дон Кихот и Санчо Панса в одном лице! Вы не можете себе представить, до чего трудно им было ужиться! Вечные стычки! Вечные

раздоры!.. Вот вам чудный диалог между двумя Тартаренами, Тартареном — Дон Кихотом и Тартареном — Санчо,— диалог, достойный пера Лукиана или Сент-Эвремона...

Тартарен — Дон Кихот, начитавшись Густава Эмара, приходит в возбуждение и восклицает:

— Я уезжаю!

Тартарен — Санчо, помышляя только о своем ревматизме, говорит:

— Я остаюсь.

Тартарен — Дон Кихот *(в крайнем возбуждении)*. Покрой себя славой, Тартарен!

Тартарен — Санчо *(крайне хладнокровно)*. Тартарен, прикройся фланелью!

Тартарен — Дон Кихот *(все сильнее и сильнее возбуждаясь)*. О, славные двустволки! О, кинжалы, лассо, мокасины!

Тартарен — Санчо *(все хладнокровнее и хладнокровнее)*. О, милые вязаные жилеты! О, милые теплые-претеплые наколенники! О, славные фуражки с наушниками!

Тартарен — Дон Кихот *(вне себя)*. Топор! Дайте мне топор!

Тартарен — Санчо *(звонит горничной)*. Жаннета, шоколаду!

Жаннета приносила дивный шоколад, горячий, душистый, с пеночкой, и вкусные анисовые сухарики, и при виде этого Тартарен — Санчо заливался смехом, заглушая крики Тартарена — Дон Кихота.

Вот почему так получалось, что Тартарен из Тараскона безвыездно жил в Тарасконе.

VII

Европейцы в Шанхае. Международная торговля. Монголы. Был ли Тартарен из Тараскона обманщиком? Мираж

И все же однажды Тартарен чуть было не уехал в далекое путешествие.

Три брата Гарсиа-Камюс, тарасконцы, обосновавшиеся в Шанхае, предложили ему заведовать там одною из их торговых контор. О такой-то жизни он как раз и мечтал. Большие дела, целая армия подчиненных, сношения с Россией, Персией, Турцией — короче говоря, международная торговля. Надо было слышать, как торжественно звучали в устах Тартарена эти слова: «Международная торговля!..»

Торговый дом Гарсиа-Камюс, кроме всего прочего, имел то преимущество, что на него время от времени нападали монголы. Тут уж все двери на запор. Служащие брались за оружие, над зданием взвивался консульский флаг, и — бах! бах!— по монголам из окон.

Мне нет надобности говорить вам, с каким восторгом принял это предложение Тартарен — Дон Кихот; к несчастью, Тартарен— Санчо тянул к себе, а так как он всегда перетягивал, то все и разладилось.

В городе об этом было немало толков. Уедет? Не уедет? Бьемся об заклад, что да. Бьемся об заклад, что нет. Это было настоящее событие... Тартарен так и не уехал, но все же эта история послужила ему к чести. Для Тараскона чуть-чуть не уехать в Шанхай — все равно что уехать. Столько было разговоров о путешествии Тартарена, что в конце концов всем стало казаться, что он уже вернулся из путешествия, и по вечерам клубные завсегдатаи расспрашивали его о жизни в Шанхае, о местных нравах, климате, опиуме, о международной торговле.

Тартарен, знаток в этой области, охотно сообщал все подробности, а с течением времени доблестный муж и сам поверил, что ездил в Шанхай, и, рассказывая в сотый раз о налете монголов, он уже, не моргнув глазом, говорил:

— Тогда я вооружаю моих служащих, поднимаю консульский флаг, и — бах, бах!— по монголам из окон.

При этих словах весь Клуб содрогался...

— Но в таком случае ваш Тартарен — отъявленный лгун.

— Нет! Вовсе нет! Тартарен не лгун...

— Но ведь он же отлично знал, что не был в Шанхае!

— Конечно, знал. А вот...

А вот послушайте, что я вам скажу. Нужно самым решительным образом заявить, что репутация лгунов, которую северяне создали южанам, не соответствует действительности. На юге нет лгунов — ни в Марселе, ни в Ниме, ни в Тулузе, ни в Тарасконе. Южанин не лжет — он заблуждается. Он не всегда говорит правду, но он сам верит тому, что говорит... Его ложь — это не ложь, это своего рода мираж...

Да, мираж!.. А чтобы в этом удостовериться, поезжайте-ка на юг — увидите сами. Вы увидите страну чудес, где солнце все преображает и все увеличивает в размерах. Вы увидите, что провансальские холмики высотой не более Монмартра покажутся вам исполинскими, а что античный храм в Ниме — эту комнатную безделушку — можно принять за Собор Парижской богоматери. Вы увидите... Ах, если есть на юге лгун, то только один — солнце!.. Оно увеличивает все, к чему ни прикоснется!.. Что представляла

собою Спарта в пору своего расцвета? Обыкновенный поселок. Что представляли собою Афины? В лучшем случае — провинциальный городишко... И все же в истории они рисуются нам как два огромных города. Вот что из них сделало солнце...

Так нечего после этого удивляться, что то же самое солнце, озаряя Тараскон, сумело превратить отставного каптенармуса Бравида в бравого командира Бравида, репу — в баобаб, а человека, чуть было не уехавшего в Шанхай,— в человека, там побывавшего!

VIII

Зверинец Митен. Атласский лев в Тарасконе. Торжественная и грозная встреча

А теперь, показав частную жизнь Тартарена из Тараскона до того, как слава коснулась его чела и увенчала неувядаемыми лаврами, поведав о том, как протекала жизнь этого героя в обычной обстановке, поведав его радости, горести, мечты и надежды, поспешим перейти к самым ярким страницам его биографии и к тому необычайному происшествию, после которого беспримерная судьба Тартарена так высоко его вознесла.

Это было однажды вечером, у оружейника Костекальда. Тартарен из Тараскона показывал нескольким любителям устройство игольчатого ружья, которое тогда еще только-только входило в моду... Вдруг дверь отворяется, и в магазин вбегает испуганный охотник за фуражками.

— Лев!.. Лев!.. — кричит он.

Всеобщее оцепенение, ужас, растерянность, кутерьма. Тартарен берет ружье наизготовку. Костекальд спешит запереть дверь. Все обступают охотника, забрасывают вопросами, наседают на него, и в конце концов выясняется следующее: зверинец Митен, возвращаясь с Бокерской ярмарки, остановился на несколько дней в Тарасконе и только что со всеми своими удавами, тюленями, крокодилами и великолепным атласским львом расположился на Замковой площади.

Атласский лев в Тарасконе! Это что-то небывалое. О, как гордо переглянулись тут наши бравые охотники за фуражками, как просияли их мужественные лица и какими крепкими рукопожатиями молча обменялись они во всех углах оружейного магазина! Волнение было столь велико, столь внезапно, что никто не вымолвил слова...

Даже сам Тартарен. Бледный, дрожащий, все еще не выпуская из рук игольчатого ружья, он стоял в раздумье возле прилавка. Атласский лев, здесь, совсем близко, в двух шагах! Лев! Царь зве-

рей, славящийся своей отвагой и свирепостью, предел охотничьих мечтаний Тартарена, нечто вроде премьера той фантастической труппы, которая разыгрывала в его воображении такие чудесные драмы!..

Господи боже мой, лев!..

Да еще атласский! Этого великий Тартарен вынести не мог... Вся кровь бросилась ему в голову.

Глаза у него засверкали. Судорожным движением он вскинул игольчатое ружье на плечо и, обращаясь к бравому командиру Бравида, то бишь к капитенармусу в отставке, громовым голосом произнес:

— Идемте, командир!

— Э, э!.. Э, э!.. А мое ружье?.. Вы взяли мое ружье!..— попытался робко возразить осторожный Костекальд, но Тартарен уже вышел на улицу, а за ним гордо вышагивали все охотники за фуражками.

Когда они вошли в помещение зверинца, там уже толпился народ. Тарасконцы, племя героическое, но отвыкшее от потрясающих зрелищ, ринулись к балагану и взяли билеты с бою. Пышнотелая г-жа Митен была очень довольна... В кабильском костюме, с обнаженными до локтей руками, с железными браслетами на щиколотках, с хлыстом в одной руке и с живым, но уже ощипанным цыпленком в другой, эта знаменитая дама обходилась с тарасконцами крайне любезно, а так как и у нее были двойные мускулы, то она пользовалась у гостей не меньшим успехом, чем ее питомцы.

Появление Тартарена с ружьем заставило всех вздрогнуть.

На всех этих храбрых тарасконцев, которые только что совершенно спокойно прогуливались подле клеток, безоружные, беспечные, никакой опасности не подозревавшие, напал вполне понятный страх при виде их великого Тартарена, с ужасающим смертоносным оружием вошедшего в балаган. Значит, тут есть чего бояться, если даже он, герой... В мгновение ока толпа отхлынула от клеток. Дети испуганно кричали, дамы поглядывали на дверь. Аптекарь Безюке под тем предлогом, что идет за ружьем, улизнул...

Однако мало-помалу поведение Тартарена ободрило смельчаков. Невозмутимый, с высоко поднятой головой, бесстрашный тарасконец медленным шагом обошел весь балаган, ни на минуту не задержался возле бассейна с тюленем, бросил презрительный взгляд на длинный, усыпанный отрубями ящик, где удав переваривал живого цыпленка, и как вкопанный остановился перед клеткою льва...

Торжественная и грозная встреча! Лев Тараскона и лев Атласа лицом к лицу... По одну сторону Тартарен, выставив ногу вперед, обеими руками оперся на ружье, по другую сторону лев, испо-

линский лев, разлегшись на соломе, положил свою головищу с желтой гривой на передние лапы и осовело моргает... Оба спокойно глядят друг на друга.

Но — странное дело! То ли игольчатое ружье раздражило льва, то ли почуял он врага всей львиной породы, только лев, до сих пор смотревший на тарасконцев с царственным пренебрежением и зевавший им в лицо, внезапно разгневался. Сначала он фыркнул, глухо заворчал, выпустил когти, потянулся, затем встал, поднял голову, тряхнул гривой, разинул чудовищную пасть и устрашающе зарычал на Тартарена.

Вопль ужаса был ему ответом. Обезумевшие тарасконцы бросились к выходу. Бросились все: женщины, дети, грузчики, охотники за фуражками, даже бравый командир Бравида... Один лишь Тартарен из Тараскона не пошевельнулся... Исполненный решимости, непоколебимый, он по-прежнему стоял перед клеткой, и глаза его метали молнии, а лицо приняло знакомое всему городу свирепое выражение... Мгновение спустя, когда охотники за фуражками, которых несколько успокоило его поведение, а также прочность решеток, приблизились к своему вождю, они услышали, как он, глядя на льва, прошептал:

— Да, вот это охота!

В тот день Тартарен из Тараскона не сказал больше ни слова.

IX

Особого рода мираж

В тот день Тартарен из Тараскона не сказал больше ни слова, но, на свою беду, он уже слишком много сказал...

На другой день в городе только и разговору было что о предстоящем отъезде Тартарена в Алжир и об охоте на львов. Будьте свидетелями, дорогие читатели, что сам доблестный муж об этом и не заикнулся, но, понимаете ли, мираж...

Словом, весь Тараскон только и говорил что об его отъезде.

На бульваре, в Клубе, у Костекальда люди взволнованно подбегали друг к другу:

— Ну что, слыхали?.. Про отъезд Тартарена, а?

Нужно заметить, что в Тарасконе все фразы начинаются с «ну что», и произносится это: «ну чтэ», а кончаются неизменным «а», и произносится это: «э».

В тот день, чаще чем когда-либо, эти «э» и «ну чтэ» гремели так, что стекла звенели.

Больше всех был удивлен, узнав, что он едет в Африку, сам Тартарен. Но вот что значит тщеславие! Вместо того чтобы прямо

сказать, что он никуда и не собирается ехать, что у него и в мыслях этого никогда не было, бедняга Тартарен в первый раз, как с ним заговорили об этом путешествии, уклончиво промямлил:

— Гм... Гм... Возможно... Пока еще ничего не могу вам сказать.

Во второй раз, уже несколько свыкшись с этой мыслью, он ответил:

— Вероятно.

В третий раз:

— Решено.

Наконец, вечером, сначала в Клубе, а потом и у Костекальдов, воодушевленный пуншем, рукоплесканиями, ярким освещением, упоенный успехом, какой имела в городе весть об его отъезде, несчастный торжественно заявил, что ему наскучила охота за фуражками и что в ближайшее время он едет охотиться на крупных атласских львов...

Сообщение это было встречено оглушительным «ура». Затем снова пунш, рукопожатия, объятия и — до полуночи — серенады с факелами перед домиком с баобабом.

Недоволен был только Тартарен — Санчо. Его брала оторопь при одной мысли о путешествии в Африку и об охоте на львов. Вернувшись домой, он, в то время как под окнами в честь хозяина все еще раздавались серенады, устроил Тартарену — Дон Кихоту ужасную сцену, назвал его помешанным, фантазером, сумасбродом, трижды безумцем и во всех подробностях описал бедствия, которыми грозит ему эта экспедиция: кораблекрушения, ревматизм, тропическая лихорадка, дизентерия, чума, слоновая болезнь, проказа и тому подобное...

Напрасно Тартарен — Дон Кихот клялся, что будет осторожен, что будет тепло одеваться, что запасется в дорогу всем необходимым, Тартарен — Санчо ничего не хотел слушать. Бедняге чудилось, что его уже растерзали львы, что его, словно Камбиза, засосали пески пустыни, и другому Тартарену только тогда удалось немного успокоить его, когда он ему объяснил, что это еще не так скоро, что спешить некуда и что, собственно говоря, они же еще не уехали.

В самом деле: ведь никто не пускается в такое путешествие без надлежащей подготовки. Это, черт возьми, дело нешуточное, налегке туда не полетишь.

Прежде всего тарасконец решил перечитать все книги знаменитых путешественников по Африке, путевые очерки Мунго Парка, Кайе, доктора Ливингстона и Анри Дюверье.

В книгах этих он вычитал, что бесстрашные следопыты, прежде чем пускаться в дальние странствия, долгое время приучали

себя обходиться без еды, без питья, приучали себя к форсированным переходам, ко всякого рода лишениям. По их примеру Тартарен начал питаться одной *кипяченой водичкой. Кипяченой водичкой* тарасконцы называют горячую воду с плавающими в ней ломтиками хлеба, головкой чесноку, тмином и лавровым листом. Диета строгая,— можете себе представить, как морщился при виде этого блюда бедняга Санчо!..

К питанию *кипяченой водичкой* Тартарен из Тараскона присовокупил и другие разумные меры. Во-первых, чтобы привыкнуть к долгим переходам, он заставлял себя каждое утро раз семь-восемь подряд обходить город — то скорым шагом, то гимнастическим, прижав локти к туловищу и, по обычаю древних, держа во рту два белых камешка.

Затем, чтобы не бояться ночной прохлады, тумана, росы, он каждый вечер выходил в сад и, спрятавшись за баобаб, выстаивал с ружьем часов до десяти, до одиннадцати.

Наконец, пока зверинец Митен оставался в Тарасконе, охотники за фуражками, поздней ночью возвращавшиеся от Костекальда домой через Замковую площадь, могли видеть во мраке таинственную фигуру, неизменно расхаживавшую взад и вперед за балаганом.

Это Тартарен из Тараскона приучал себя слушать без содрогания львиный рык в ночной темноте.

X

Перед отъездом

Пока Тартарен применял всякого рода героические средства, взоры Тараскона были обращены на него; никто ни о чем другом и не думал. Охота за фуражками влачила самое жалкое существование, романсы сходили на нет. Фортепьяно в аптеке Безюке изнывало от скуки под зеленым чехлом, на котором сохли, брюшком кверху, шпанские мухи... Из-за экспедиции Тартарена вся жизнь в городе замерла.

Надо было видеть, какой успех имел тарасконец в гостиных! Его рвали на части, за него боролись, его выпрашивали друг у друга на время, его похищали. Наивысшим счастьем для дамы было пойти с Тартареном под руку в зверинец Митен и послушать его объяснения перед клеткой со львом: как нужно охотиться на этих лютых зверей, куда целиться, с какого расстояния, как часто бывают несчастные случаи, и т. д. и т. д.

Тартарен отвечал на любые вопросы. Он прочитал Жюля Жерара и знал все приемы охоты на львов как свои пять пальцев,

точно сам вдоволь на них поохотился. И рассказывал он об этом необыкновенно увлекательно.

Но особенно хорош он был вечерами, у председателя суда Ладевеза или у бравого командира Бравида, то бишь каптенармуса в отставке, когда после ужина подавалось кофе, сдвигались стулья и по просьбе присутствующих он начинал рассказ о своей будущей охоте...

Облокотившись на стол и придвинув к себе чашку с кофе, герой сдавленным от волнения голосом рассказывал о тех опасностях, которые ожидали его в дальних краях. Он говорил о долгих засадах в безлунные ночи, о малярийных болотах, о реках, отравленных олеандровыми листьями, о снегах, о палящем солнце, о скорпионах, о тучах саранчи; еще он говорил о повадках крупных атласских львов, о том, как они нападают, об их необычайной силе, об их свирепости в период спаривания...

Затем, воспламененный своим собственным рассказом, он вскакивал из-за стола и, выбежав на середину столовой, подражал львиному рыку, выстрелу из карабина — бах! бах!— свисту разрывной пули — фюить! фюить!— размахивал руками, рычал, опрокидывал стулья...

Зрители бледнели. Мужчины переглядывались, качали головами, дамы закатывали глаза, тихонько взвизгивая от ужаса, старики воинственно потрясали своими длинными палками, а в соседней комнате мальчуганы, которых спозаранку укладывали спать, проснувшись от рычания и выстрелов, пугались и просили зажечь свет.

А между тем Тартарен все не уезжал.

XI

На шпагах, господа, на шпагах... Но не на булавках!

Да и собирался ли он уехать?.. Биограф Тартарена затруднился бы ответить на этот щекотливый вопрос.

Так или иначе, зверинец Митен выехал из Тараскона три с лишним месяца тому назад, а истребитель львов по-прежнему не трогался с места... Как знать: быть может, простодушный герой наш, ослепленный новым миражем, сам глубоко поверил, что уже съездил в Алжир. Быть может, когда он повествовал о своей будущей охоте, воображению его рисовалось, что он уже поохотился на львов,— рисовалось не менее отчетливо, чем консульский флаг, который он вывешивал в Шанхае, и стрельба, которую он — бах! бах! — открывал по монголам.

К несчастью, если Тартарен из Тараскона и на сей раз оказался жертвой миража, то все остальные тарасконцы этого избежали. Когда, после трехмесячного ожидания, выяснилось, что охотник еще и одного чемодана не уложил, поднялся ропот.

— Это будет как с Шанхаем! — усмехаясь, говорил Костекальд.

Словцо оружейника имело в городе огромный успех, ибо никто уже не верил в Тартарена.

Простаки и трусы вроде Безюке, которые и от блохи готовы броситься наутек и которые, прежде чем выстрелить, непременно жмурятся,— они-то как раз были особенно беспощадны. В Клубе, на эспланаде — всюду с насмешливым видом подходили они к бедному Тартарену:

— *Ну чтэ*, как же наше путешествие?

В магазине Костекальда к мнению Тартарена никто больше не прислушивался. Охотники за фуражками отреклись от своего вождя!

Затем посыпались эпиграммы. Председатель суда Ладевез, который в часы досуга охотно приударял за провансальской музой, сочинил на местном наречии песенку, получившую широкое распространение. В ней шла речь об одном знаменитом охотнике по имени мэтр Жерве, грозное оружие которого должно было истребить всех африканских львов поголовно. К несчастью, его окаянное ружье отличалось странной особенностью: сколько ни спускай курок, *а пуля все ни с места*.

А пуля все ни с места! Вы понимаете намек?..

Никто и оглянуться не успел, как песенку подхватил народ, и, когда Тартарен шел по улице, грузчики на пристани и маленькие чистильщики у его калитки распевали хором:

Ружье на славу у Жерве,
Заряжено исправно.
Ружье на славу у Жерве,
А пуля все ни с места.

Однако при его приближении певуны умолкали — во внимание к двойным мускулам.

О, непостоянство тарасконских увлечений!..

Великий человек делал вид, что ничего не замечает, ничего не слышит, на самом же деле эта подпольная мелочная война, которая велась отравленным оружием, досаждала ему жестоко; он чувствовал, что Тараскон от него уходит, что народ переносит свою любовь на других, и это было ему невыносимо тяжело.

Хорошо подсесть к котлу популярности, но гляди, как бы он не опрокинулся, иначе вот как ошпаришься!..

Затаив душевную боль, Тартарен улыбался и, как ни в чем не бывало, продолжал вести мирный образ жизни.

Однако время от времени личина жизнерадостной беспечности, которую он нацепил на себя из самолюбия, внезапно спадала. Тогда горечь и негодование сгоняли с его лица улыбку...

И вот однажды утром маленькие чистильщики, по обыкновению, распевали у него под окнами «Ружье на славу у Жерве», и голоса этих паршивцев донеслись в комнату к бедному великому человеку в то самое время, когда он сидел перед зеркалом. (Тартарен носил бороду, но она у него росла столь стремительно, что он принужден был постоянно за ней следить.)

Вдруг окно с шумом распахнулось, и Тартарен в одной сорочке, в ночном колпаке, с намыленной щекой, потрясая бритвой и кисточкой, громовым голосом крикнул:

— На шпагах, господа, на шпагах!.. Но не на булавках!

И вот эти-то замечательные слова, достойные войти в историю, по ошибке были обращены к каким-то соплякам, ростом не выше их ящиков, к рыцарям, совершенно не владеющим шпагой!

XII

Разговор в домике с баобабом

Среди всеобщего отступничества одна только армия сохраняла верность Тартарену.

Бравый командир Бравида, он же каптенармус в отставке, выказывал ему прежние знаки уважения. «Он у нас молодец!» — упорно твердил Бравида, а я склонен думать, что его мнение имело несколько больше веса, чем мнение аптекаря Безюке... Ни разу бравый командир не намекнул Тартарену на путешествие в Африку, однако, видя, что недовольство растет, он решился заговорить об этом прямо.

Однажды вечером, когда несчастный Тартарен сидел один у себя в кабинете и его одолевали мрачные думы, к нему торжественно вошел бравый командир в черных перчатках и застегнутом на все пуговицы сюртуке.

— Тартарен,— внушительно произнес старый каптенармус,— Тартарен, надо ехать!

И он продолжал стоять на пороге, неумолимый и властный, как веление долга.

Тартарен из Тараскона понял, что́ заключалось в этом: «Тартарен, надо ехать!»

Бледный как полотно, он встал, умиленным взором обвел свой прелестный, уютный, теплый, окутанный мягким светом кабинет,

широкое и такое удобное кресло, книги, ковер, длинные белые шторы на окнах, за которыми качались тоненькие веточки, затем подошел к бравому командиру, взял его руку и, крепко пожав ее, со слезами в голосе, но твердо проговорил:

— Я поеду, Бравида!

И он сдержал свое слово: уехал. Но только не сразу... Нужно было собраться.

Прежде всего он заказал Бомпару два больших, окованных медью сундука, снабженных длинными пластинками с надписью:

ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА
ОРУЖИЕ

Оковка и гравировка заняли немало времени. Таставену он заказал великолепный дорожный альбом для дневника и путевых заметок: охота охотой, а ведь в дороге все-таки приходят разные мысли.

Затем он выписал из Марселя целую гору консервов, мясной бульон в таблетках, походную палатку новейшего образца, которую можно было в одну минуту разбить и свернуть, высокие сапоги, два зонта, непромокаемое пальто и синие очки, предохраняющие от глазных заболеваний. Наконец, аптекарь Безюке, составлявший для Тартарена походную аптечку, не поскупился на липкий пластырь, арнику, камфару и уксус для обтираний.

Бедный Тартарен! Он заботился не о себе,— всеми этими мерами предосторожности и трогательными знаками внимания он надеялся утишить гнев Тартарена — Санчо, который, с тех пор как отъезд был решен, не давал ему покоя ни днем, ни ночью.

XIII

Отъезд

Наконец торжественный, великий день настал.

С зарей весь Тараскон был уже на ногах, он наводнил Авиньонскую дорогу и занял подступы к домику с баобабом.

У окон, на крышах, на деревьях — всюду народ: ронские лодочники, грузчики, чистильщики обуви, мещане, ткачихи, шелкопрядильщицы, члены Клуба — одним словом, весь город; потом бокерцы с того берега, огородники из предместья в повозках с брезентовым верхом, виноделы, восседавшие на стройных мулах, радовавших глаз лентами, кистями, бантами, увеселявших слух бубенцами и колокольчиками, и даже хорошенькие, с голубыми лентами, повязанными вокруг головы, девушки из Арля, сидевшие

за спиной у своих кавалеров на крупах серых камаргских лошадок.

Толпа толкалась, теснилась у дома Тартарена, славного г-на Тартарена, который отправлялся к *тэркам* убивать львов.

Для Тараскона Алжир, Африка, Греция, Персия, Турция, Месопотамия составляют одну обширную, весьма неопределенную, почти баснословную страну, и все это вместе называется *тэрки* (турки).

Охотники за фуражками, гордые триумфом своего вождя, мелькали в этой толпе и оставляли за собой как бы борозды славы.

Перед домиком с баобабом две большие тачки. Время от времени калитка отворяется, и тогда видно, что по саду важно разгуливает несколько человек. Носильщики выносят чемоданы, ящики, спальные мешки и укладывают на тачки.

При появлении каждого нового тюка по толпе пробегает трепет. Предметы называются вслух: «Это походная палатка... А это консервы... Аптечка... Ящики с оружием...» Охотники за фуражками дают пояснения.

Около десяти часов толпа всколыхнулась. Калитка растворилась настежь.

— Он!.. Он!..— раздался крик.

То был он... Когда он появился, в толпе послышались возгласы изумления:

— *Тэрок!*

— В очках!

В самом деле: Тартарен из Тараскона, уезжая в Алжир, счел своим долгом надеть алжирский костюм. Широкие пузырившиеся шаровары из белого полотна, короткая, на металлических пуговицах куртка в обтяжку, живот стянут красным поясом, шириною в два фута, голая шея, бритая голова, гигантская *шешья́* (красная феска) с голубой кистью — и какой длины кистью!.. Сверх того два тяжелых ружья, по одному на каждом плече, большой охотничий нож за поясом, на животе патронташ, сбоку револьвер в кожаной кобуре. Вот и все...

Ах да, виноват, я совсем забыл про очки, огромные синие очки,— они были весьма кстати, ибо смягчали чересчур свирепый вид нашего героя.

— Да здравствует Тартарен!.. Да здравствует Тартарен! — ревела толпа.

Великий человек улыбнулся, но не поклонился,— ему мешали ружья. Притом теперь он хорошо знал, чего стоит любовь толпы; в глубине души он, может быть, даже проклинал жестоких сограждан, по милости коих он принужден был уехать и бросить

свой милый, уютный домик — белый домик с зелеными ставнями... Однако внешне он этого никак не выразил.

Величественный и непреклонный, впрочем, немного бледный, он вышел на шоссе, окинул взором тачки и, удостоверившись, что все в порядке, бодрым шагом двинулся к вокзалу, ни разу даже не оглянувшись на домик с баобабом. Следом за ним шествовали бравый командир Бравида, то бишь каптенармус в отставке, и председатель суда Ладевез, за ними оружейник Костекальд и все охотники, за ними двигались тачки, а замыкал шествие народ.

На вокзале Тартарена встретил сам начальник станции, участник Африканской кампании 1830 года; он долго, с чувством жал ему руку.

Курьерский поезд Париж — Марсель еще не приходил. Тартарен со своей свитой проследовал в зал ожидания. Во избежание давки начальник станции распорядился закрыть за ними решетчатые двери.

Четверть часа Тартарен, окруженный охотниками за фуражками, прохаживался по залам ожидания. Он говорил с ними о своем путешествии, об охоте, обещал каждому прислать по львиной шкуре. Охотники записывались у него на шкуры, как на кадриль.

Спокойный и кроткий, точно Сократ, принимающий цикуту, бесстрашный тарасконец для каждого находил ласковое слово, всех одарял улыбками. Со всеми он был прост и приветлив, будто хотел, уезжая, оставить после себя след своего обаяния, след сожалений и приятных воспоминаний. Слушая своего вождя, охотники за фуражками прослезились, а некоторые почувствовали даже угрызения совести, как, например, председатель суда Ладевез и аптекарь Безюке.

В углах зала ожидания плакали железнодорожные служащие. Народ, прильнув к решеткам, кричал: «Да здравствует Тартарен!»

Наконец раздался звонок. Глухой грохот и вслед за тем пронзительный свисток потрясли своды вокзала...

— Занимайте места! Занимайте места!

— Прощайте, Тартарен!.. Прощайте, Тартарен!..

— Прощайте все!..— пробормотал великий человек и запечатлел на щеках бравого командира Бравида поцелуй всему своему милому Тараскону.

Затем он вскочил на подножку и вошел в вагон, где было полно парижанок, и при виде этого странного человека, обвешанного карабинами и револьверами, парижанки обомлели от ужаса.

XIV

Марсельская гавань. Сейчас отходим! Сейчас отходим!

Первого декабря 186... года, в полдень, при свете зимнего провансальского солнца, в чудный ясный, лучистый день, к великому изумлению марсельцев, на улице Канебьер высадился *тэрок*, да еще какой *тэрок*!.. Такого они никогда прежде не видели, а уж *тэрок*-то в Марселе, слава тебе господи, предостаточно!

Вряд ли стоит пояснять, что *тэрок*, о коем идет речь,— это Тартарен, великий Тартарен из Тараскона: вместе со своими ящиками, аптечкой и консервами он двигался по направлению к пристани пароходного общества «Туаш», где стоял пакетбот «Зуав», который должен был доставить его *туда*.

В ушах у Тартарена все еще гремели рукоплескания тарасконцев, южное солнце и запах моря пьянили его, и он шел сияющий, гордо подняв голову, с ружьями за плечами, и глядел во все глаза на чудную Марсельскую гавань — он видел ее впервые и был ослеплен... Тарасконцу казалось, что все это сон. Ему представлялось, что он — Синдбад Мореход, скитающийся по одному из сказочных городов «Тысячи и одной ночи».

Всюду, куда ни посмотришь, целый лес мачт и рей, перекрещивающихся в разных направлениях. Флаги всех государств: русские, греческие, шведские, тунисские, американские... Вдоль всей набережной корабли с торчащими, как строй штыков, бушпритами. Под бушпритами наяды, богини, девы Марии и другие деревянные раскрашенные фигуры, по имени которых назван тот или иной корабль. Все это обсосано, обглодано морской водой, все это мокро́, покрыто плесенью... Кое-где, меж кораблей, клочок моря, словно широкая муаровая лента, забрызганная маслом... Тучами летающие чайки кажутся сквозь сплетение рей причудливыми пятнами на голубом небе. На всех языках перекликаются юнги.

На набережной, между прорытых от мыловаренных заводов сточных канав с густой темно-зеленой водой, насыщенной растительным маслом и содой, кишит племя таможенных чиновников, комиссионеров, извозчиков с их двуколками, в которые впряжены корсиканские лошадки.

Магазины готового платья, самого разнообразного, закопченные бараки, где матросы варят себе пищу, продавцы трубок, обезьянок, попугаев, канатов, парусины, фантастического как попало наваленного хлама, среди которого можно найти старые кулеврины, большущие позолоченные фонари, старые тали, старые, поломанные якоря, старые снасти, старые блоки, старые ру-

поры, подзорные трубы времен Жана Барта и Дюге-Труэна. Орут сидящие на корточках продавщицы съедобных ракушек. Матросы проносят котлы с варом, дымящиеся чугуны, громадные корзины с осьминогами, которых они моют в мутноватой воде фонтанов.

Повсюду потрясающее обилие всевозможных товаров: шелковых тканей, минералов, леса, свинцовых болванок, сукон, сахару, стручков, рапса, лакрицы, сахарного тростника. Смесь Востока и Запада. Горы голландского сыру, который генуэзцы красят собственноручно в красный цвет.

А там — хлебная пристань; грузчики, взобравшись на высокие мостки, сыплют на берег зерно из мешков. Зерно потоком золота струится в белом дыму. Мужчины в красных фесках мерным движением трясут его в больших ситах из ослиной кожи, а потом грузят на повозки, и повозки удаляются, сопровождаемые целым полчищем женщин и детей с метелками и корзинками... Дальше — док: огромные корабли, лежащие на боку,— их опаливают огнем костров, сложенных из хвороста, и таким образом очищают от водорослей,— реи, погрузившиеся в воду, запах смолы, оглушительный стук, поднимаемый плотниками, которые обшивают деревянные борта судов большими медными листами.

Кое-где между мачтами просветы. В них Тартарену были видны вход в гавань, беспрестанное движение судов, то английский фрегат, отбывавший на Мальту, нарядный, сверкавший чистотой, с офицерами в желтых перчатках, то крупный марсельский бриг: он отчаливал под крики и ругань, а на корме его стоял толстый капитан в сюртуке и шелковой шляпе и подавал команду на провансальском наречии. Иные корабли на всех парусах уносились в море. Иные, залитые солнцем, словно плывя по воздуху из еле видной дали, медленно подходили к гавани.

И потом этот ужасный, немолчный шум: грохот повозок, матросское: «Ставь паруса!» — брань, песни, свистки пароходов, барабаны и горны с форта св. Иоанна, с форта св. Николая, звон колоколов кафедрального собора, звон колоколов церкви св. Виктора. А надо всем этим мистраль: он подхватывает эти гулы, эти возгласы, крутит их, подбрасывает, сливает со своим собственным ревом, и получается сумасшедшая, дикая, героическая музыка, напоминающая зов мощного путевого рога, при звуках которого хочется куда-то умчаться, унестись далеко-далеко, хочется крыльев.

Под этот манящий звук рога бесстрашный Тартарен из Тараскона и отбыл в страну львов...

ЭПИЗОД ВТОРОЙ

У ТЭРОК

I

Плавание. Пять положений шешьи. На третий день. Спасите!

Я хотел бы, дорогие читатели, быть не просто художником, а великим художником, чтобы в начале второго эпизода представить вашему взору различные положения, какие принимала *шешья* Тартарена из Тараскона в продолжение его трехдневного плавания на «Зуаве» из Франции в Алжир.

Прежде всего я показал бы вам ее в момент отплытия, на палубе: вот она, героическая, великолепная, венчает прекрасную голову тарасконца. Далее я показал бы вам ее по выходе из гавани, когда «Зуава» начало слегка подбрасывать на волнах: вот она, дрожащая, изумленная, как бы ощущающая первые признаки морской болезни.

Затем я показал бы вам ее в Лионском заливе, когда судно уходило все дальше и дальше от берега, а море заметно хмурилось: вот она борется с ветром, от страха становится торчком на голове героя, а ее громадная кисть из голубой шерсти топорщится, противоборствуя туману и вихрю... Четвертое положение — в шесть часов вечера, в виду берегов Корсики. Злополучная *шешья* перевешивается через борт и испытующе, с тоской озирает море... Наконец, пятое и последнее положение: в тесной каюте, на узкой койке, похожей на ящик комода, нечто бесформенное, стеная, мечется в отчаянии по подушке. Это *шешья*, та самая *шешья*, у которой был такой геройский вид при отъезде; сейчас она низведена до степени обыкновенного ночного колпака, надвинутого на уши бледному, конвульсивно вздрагивающему больному...

Ах, если бы тарасконцы видели их великого Тартарена, распростертого в ящике от комода, при тусклом, унылом свете, проникающем в иллюминаторы, дышащего противным запахом кухни и мокрого дерева, тошнотворным запахом пакетбота! Если бы они слышали, как он кряхтит при каждом обороте винта, через каждые пять минут требует чаю и писклявым детским голосом бранит официанта,— как бы они раскаялись, что заставили Тартарена уехать!.. Честное слово биографа, бедный *тэрок* являл собою жалкое зрелище. Застигнутый врасплох морской болезнью, несчастный Тартарен не в состоянии был ослабить свой алжирский пояс, освободиться от своих бранных доспехов. Толстая рукоятка охотничьего ножа давила ему грудь, кобура револьвера врезалась в бок. А в довершение всего — воркотня Тартарена — Санчо, который хныкал и бранился не переставая:

— Дурак ты, дурак!.. Говорил я тебе!.. В Африку ему захотелось... Ну, вот тебе твоя Африка!.. Что, хороша?..

Мучительнее всего было то, что, лежа у себя в каюте, несчастный Тартарен сквозь собственные стоны слышал, как в кают-компании пассажиры ели, смеялись, играли в карты, пели. На «Зуаве» собралось веселое, многолюдное общество. Офицеры, возвращавшиеся в свой полк, дамы из марсельского «Алькасара», странствующие актеры, богатый мусульманин, совершавший очередное паломничество в Мекку, черногорский князь, большой шутник, подражавший Равелю и Жилю Пере... Никто из них морской болезнью не страдал, все они охотно пили шампанское с капитаном «Зуава», тучным марсельцем, который любил пожить в свое удовольствие, имел две семьи — одну в Марселе, другую в Алжире — и которому очень шла его весело звучавшая фамилия Барбасу.

Тартарен из Тараскона ненавидел всех этих дрянных людишек. От их веселья ему становилось еще хуже...

Наконец, в середине третьего дня, на пароходе вдруг поднялся страшнейший переполох, и это вывело нашего героя из состояния длительного оцепенения. На носу зазвонил колокол. По палубе затопали тяжелые матросские сапоги.

— Вперед!.. Задний ход!..— хриплым голосом кричал капитан Барбасу.

Затем: «Стоп машина!» Остановка, сильный толчок, и все... Пакетбот тихо покачивался, точно воздушный шар на привязи...

Это необычное затишье навело на тарасконца страх.

— Спасите! Тонем! — закричал он диким голосом и, сделав над собой сверхъестественное усилие, вскочил и со всеми своими доспехами устремился на палубу.

II

К оружию! К оружию!

Пароход вовсе не тонул, он просто причаливал.

«Зуав» стал на рейде; вода здесь была глубока и темна, и весь этот красивый, но почти совсем пустынный рейд был мрачен и тих. Напротив, на холме, белел Алжир; его иссиня-белые домики, лепясь один к другому, спускались к морю. Точь-в-точь выставка белья на Медонском холме. А надо всем этим раскинулось синее атласное небо, синее-синее!..

Достославный Тартарен, слегка приободрившись, смотрел вокруг и почтительно внимал черногорскому князю, который, стоя рядом с ним, называл кварталы города: Касбах, Верхний город, Бабассунская улица. Этот черногорский князь был прекрасно

воспитан; к тому же он отлично знал Алжир и свободно изъяснялся по-арабски. Приняв все это во внимание, Тартарен решил поддерживать с ним знакомство... Оба стояли у самого борта, и вдруг Тартарен увидел, что снаружи в защитную сетку вцепилась шеренга больших черных рук. Почти тотчас же перед ним выросла курчавая голова негра, и не успел он и рта раскрыть, как палубу заполонили набежавшие со всех сторон корсары, человек сто,— черные, желтые, полуголые, страшные, безобразные.

Тартарен узнал этих корсаров... Это были те самые, то есть *они*, пресловутые *они*, с которыми он так долго искал по ночам встречи на улицах Тараскона. Наконец-то *они* осмелились показаться!

...В первую секунду Тартарен обмер от неожиданности. Когда же корсары бросились к вещам, сорвали с них брезент, а затем принялись грабить судно, в Тартарене проснулся герой — он выхватил охотничий нож и, крикнув пассажирам: «К оружию! К оружию!» — первый ринулся на пиратов.

— Эй, эй! Что случилось? Что с вами? — выйдя из рубки, спросил капитан Барбасу.

— Ах, это вы, капитан!.. Скорей, скорей, вооружайте экипаж!

— Свят, свят, свят! Это зачем же?

— Да разве вы не видите?..

— А что такое?..

— Да вот же они... перед вами... пираты...

Капитан Барбасу смотрел на него в полном недоумении. В эту минуту громадина негр с аптечкой нашего героя на спине пробежал мимо них.

— Мошенник!.. Куда ты?..— взвыл тарасконец и, взмахнув кинжалом, бросился за ним.

Барбасу догнал его и, держа за пояс, рявкнул:

— Стойте смирно, тысяча чертей!.. Какие это пираты!.. Пиратов давно нет... Это носильщики.

— Носильщики?..

— Ну да, носильщики, они перетаскивают вещи на берег... Спрячьте-ка нож, отдайте мне ваш билет и идите вон за тем негром: он малый славный, он вас доставит на берег и даже проводит до гостиницы, если хотите!..

Тартарен, слегка смущенный, отдал билет и спустился вслед за негром по веревочной лестнице в большую лодку, плясавшую на волнах у борта парохода. Все его вещи — чемоданы, ящики с оружием, консервы — были уже там, а так как ими завалили всю лодку, то ждать других пассажиров не имело смысла. Негр, как обезьяна, вскарабкался на багаж, уселся на корточки и об-

хватил руками колени. Другой негр сел за весла... Оба смотрели на Тартарена, посмеиваясь и скаля белые зубы.

Великий тарасконец стоял на корме и, придав своему лицу то свирепое выражение, которое повергало в трепет его сограждан, нервно крутил рукоять ножа: что бы ни говорил Барбасу, он еще далеко не убедился в благонамеренности этих носильщиков, цвет кожи которых напоминал черное дерево,— уж очень они были не похожи на славных тарасконских грузчиков...

Через пять минут шлюпка пристала к берегу, и Тартарен сошел на узкую берберийскую набережную, где триста лет тому назад каторжник испанец по имени Мигель Сервантес под палками алжирских надсмотрщиков вынашивал дивный роман, который он озаглавил впоследствии «Дон Кихот».

III

Обращение к Сервантесу. Высадка. Где же тэрки? Тэрок нет. Разочарование

О Мигель Сервантес Сааведра! Если правда, что там, где жили когда-то великие люди, какая-то частица их души носится и реет в воздухе до скончания века, значит, то, что осталось от тебя на берберийском побережье, наверное, затрепетало от восторга при виде того, как высаживался на берег Тартарен из Тараскона, этот изумительный тип француза-южанина, в котором воплотились оба героя твоей книги — Дон Кихот и Санчо Панса...

День стоит жаркий. На залитой солнцем набережной — пять-шесть таможенников, алжирцы, поджидающие вестей из Франции, мавры, поджавшие под себя ноги и покуривающие длинные трубки, мальтийские матросы, тянущие громадные сети, а в петлях этих сетей тысячи сардинок сверкают, точно серебряные монетки.

Но едва Тартарен ступил на сушу, как вся набережная пришла в движение и преобразилась. Орда дикарей, еще более отталкивающих, чем корсары на корабле, поднялась с камней и бросилась на приезжего. Рослые арабы, накинувшие шерстяные бурнусы прямо на голое тело, маленькие мавры в лохмотьях, негры, тунисцы, маонцы, мзабиты, гостиничная прислуга в белых фартуках — все это кричало, орало, цеплялось за его платье, вырывало друг у друга его багаж: один тащил консервы, другой аптечку, и, забивая ему уши невообразимой тарабарщиной, сыпало какими-то совершенно невероятными названиями гостиниц...

Сбитый с толку всей этой кутерьмой, бедный Тартарен бросался то туда, то сюда, бранился, чертыхался, метался, устремлялся в погоню за своими вещами и, стараясь изо всех сил, чтобы

эти варвары его поняли, обращался к ним по-французски, по-провансальски, прибегал даже к латыни — к латыни Пурсоньяка: *rosa*, *bonus*, *bona*, *bonum*[1] — это все, что он знал... Напрасный труд. Его никто не слушал... К счастью, какой-то человек в мундире с желтым воротом вмешался в схватку, как гомеровский бог, и палкой разогнал весь этот сброд. Это был алжирский полицейский. В самых учтивых выражениях он посоветовал Тартарену остановиться в Европейской гостинице, поручил его заботам служащих этой гостиницы, и те, погрузив на несколько тележек его пожитки, повели Тартарена в гостиницу.

В Алжире Тартарен из Тараскона на каждом шагу широко раскрывал глаза. Он-то себе представлял волшебный, сказочный восточный город, нечто среднее между Константинополем и Занзибаром... А попал он в самый настоящий Тараскон... Кофейни, рестораны, широкие улицы, четырехэтажные дома, небольшая площадь с макадамовой мостовой, где военный оркестр играл польки Оффенбаха, мужчины за столиками пили пиво и закусывали пышками, гуляли дамы, девицы легкого поведения, военные, опять военные, на каждом шагу военные... и ни одного *тэрка!*.. За исключением Тартарена. Переходя площадь, он даже почувствовал себя неловко. Все на него смотрели. Военный оркестр смолк, и полька Оффенбаха повисла в воздухе.

С двумя ружьями за плечами, с револьвером на боку, суровый и величественный, как Робинзон Крузо, Тартарен чинно шествовал мимо всего этого люда, но при входе в гостиницу силы его оставили. Отъезд из Тараскона, гавань в Марселе, плавание, черногорский князь, пираты — все это путалось и кружилось у него в голове... Пришлось на руках внести его в номер, снять с него доспехи, раздеть... Думали было послать за доктором, но герой наш только добрался до подушки — и сейчас же захрапел до того громко и заливисто, что хозяин гостиницы почел медицинскую помощь излишней, и все почтительно удалились.

IV

Первая засада

На городских часах пробило три, когда Тартарен пробудился. Он проспал весь вечер, всю ночь, все утро и прихватил еще добрую половину дня. И не удивительно: *шешья* столько всего натерпелась за трое суток!..

Первой мыслью героя, едва он раскрыл глаза, было: «Я в стране львов!» И — нечего греха таить — от одного сознания, что

[1] Роза, хороший, хорошая, хорошее *(лат.)*.

львы совсем близко, в двух шагах, можно сказать, под рукой и что с ними предстоит помериться силами — брр!.. мороз подрал у него по коже, и он бесстрашно юркнул под одеяло.

Однако мгновение спустя веселый уличный шум, синее-синее небо, яркое солнце, потоками вливавшееся в комнату, вкусный завтрак, поданный ему в постель, распахнутое окно, выходившее прямо на море, и, наконец, бутылка отличного критского вина, которым все это было спрыснуто, вернули Тартарену его геройский дух.

— На львов! На львов! — сбросив с себя одеяло, воскликнул он и проворно оделся.

План его был таков: никому ни слова не сказав, уйти из города прямо в пустыню, дождаться ночи, засесть в засаду и — бах! бах!— в первого же льва... Наутро вернуться к завтраку в Европейскую гостиницу, принять поздравления алжирцев и послать тележку за убитым зверем.

Итак, он поспешно вооружился, взвалил на спину походную палатку, так что ее здоровенный шест торчал у него над головой, и, поневоле держась прямо, как палка, вышел на улицу. Чтобы не раскрывать своих замыслов, он ни у кого не стал спрашивать дорогу, а круто повернул направо, дошел до Бабассунских ворот, где из грязных лавчонок на него смотрели алжирские евреи, забившиеся по углам, как пауки, пересек Театральную площадь и, миновав предместье, вышел на пыльную Мустафскую дорогу.

На этой дороге творилось что-то невероятное. Омнибусы, фиакры, двуколки, фуры, громадные возы с сеном, в которые были впряжены волы, эскадроны африканских стрелков, стада крохотных осликов, негритянки, продававшие лепешки, повозки с эльзасскими переселенцами, кавалеристы в красных плащах — все это двигалось в вихре пыли, под крики, пение и звуки труб, между двумя рядами хибарок, у дверей которых рослые маонки расчесывали себе волосы, кабачков, битком набитых солдатами, мясных лавок и живодерен.

«Что же это мне наврали про Восток? — думал великий Тартарен.— Здесь еще меньше *тэрок*, чем в Марселе».

Вдруг он увидел прямо перед собой выбрасывающего длинные ноги, надутого, как индюк, великолепного верблюда. Сердце у Тартарена сильно забилось.

Вот уже верблюды! Значит, и львы недалеко. В самом деле: минут через пять он увидел целое войско охотников на львов, двигавшееся ему навстречу с ружьями за плечами.

«Трусы!— поравнявшись с ними, подумал наш герой.— Трусы! Выходить на льва целым отрядом, да еще и с собаками!» Он не допускал мысли, что в Алжире можно охотиться на что-нибудь

другое, кроме львов. Однако у охотников был такой добродушный вид — вид торговцев, почивших от дел,— а в охоте на львов с собаками на своре и с ягдташами у пояса было что-то до того патриархальное, что Тартарен, слегка заинтригованный, не выдержал и обратился к одному из этих господ:

— Ну что, приятель, хорошо поохотились?

— Недурно,— ответил охотник, испуганным взглядом окинув внушительные воинские доспехи Тартарена.

— Много убили?

— А как же... Порядочно... Вот посмотрите.

И алжирский охотник показал на свой ягдташ, до отказа набитый кроликами и бекасами.

— То есть как? В ягдташи?.. Вы кладете их в ягдташи?

— А куда же еще прикажете их класть?

— Значит, они... совсем маленькие?..

— Есть маленькие, есть и побольше,— пояснил охотник.

Он спешил домой и, прибавив шагу, быстро нагнал товарищей.

Бесстрашный Тартарен в изумлении продолжал стоять прямо среди дороги... Затем, подумав с минуту, он сказал себе: «А, это они мне очки втирают.!.. Ничего они не убили...» И продолжал свой путь.

Между тем дома и прохожие попадались все реже. Спускалась ночь, очертания предметов расплывались... Тартарен из Тараскона шагал еще с полчаса... Наконец остановился... Была уже глубокая ночь. Ночь безлунная, и только частые звезды пронизывали ее мрак. На дороге ни души... Наш герой утешился мыслью, что львы не дилижансы и что ходить по большим дорогам им не расчет. Он свернул в поле... Что ни шаг — рытвины, кусты, колючки. Не беда! Он шел все дальше и дальше... И вдруг — стоп! «Здесь пахнет львом»,— решил Тартарен и, повернувшись сперва направо, потом налево, дважды с силой втянул в себя воздух.

V

Бах! Бах!

Перед ним простиралась дикая пустыня, заросшая причудливыми растениями, теми самыми восточными растениями, которые так похожи на ощетинившихся зверей. Их громадные тени, казавшиеся еще длиннее при бледном свете звезд, тянулись по земле во всех направлениях. С правой стороны неясно очерчивалась тяжелая громада гор — быть может, Атлас!.. Слева глухо рокотало невидимое море... Где же и водиться диким зверям, как не здесь?

Положив одно ружье перед собой, а другое взяв в руки, Тар-

тарен стал на колено и замер в ожидании... Так он прождал час, другой... Никого!.. Тут он вспомнил, что знаменитые истребители львов, о которых он читал в книгах, никогда не ходят на охоту без козленка: они привязывают его, сами располагаются в нескольких шагах, дергают его за веревку, а он блеет. За неимением козленка тарасконец решил прибегнуть к звукоподражанию и жалобно заблеял: «Мэ-э-э! Мэ-э-э!..» Сперва совсем тихо, ибо в глубине души он все-таки побаивался, как бы лев и правда его не услыхал... Затем, убедившись, что никто не появляется, заблеял громче: «Мэ-э-э!.. Мэ-э-э!..» Опять никого!.. Тогда, сгорая от нетерпения, он проблеял несколько раз подряд: «Мэ-э-э! Мэ-э-э! Мэ-э-э!..» — столь громогласно, что на козленка это уже мало было похоже, а скорее напоминало быка...

Внезапно впереди, в нескольких шагах от него, что-то темное, громадное припало к земле. Тартарен притаился... Это «что-то» нагнулось, обнюхало землю, отскочило... напружилось, пустилось вскачь, затем вернулось и вдруг остановилось как вкопанное... Вне всякого сомнения, это был лев!.. Теперь уже явственно были видны четыре короткие лапы, могучая шея и два глаза, два больших глаза, блестевших во тьме... На прицел! Пли! Бах! бах!.. Готово! Вслед за тем прыжок назад, охотничий нож крепко зажат в руке.

В ответ на выстрел тарасконца послышался отчаянный рев.

— Вот оно!— вскричал славный Тартарен и, широко расставив свои крепкие ноги, приготовился к битве со зверем, но зверю было совсем не до этого: он с ревом умчался во всю прыть. Тартарен, однако, не шевелился. Он поджидал львицу... Совсем как в книгах!

На беду, львица не появлялась. Прождав часа три, тарасконец почувствовал, что силы ему изменяют. Было сыро, холодно, с моря дул резкий ветер.

«Что, если я посплю до рассвета?» — сказал он себе и, чтобы не схватить ревматизма, решил разбить палатку... Но — черт бы ее побрал, эту палатку: устройство ее оказалось столь хитроумным, столь хитроумным, что ему так и не удалось ее раскрыть.

Целый час он корпел, пыхтел — проклятая палатка все не раскрывалась... Бывают зонтики, которые так с нами шутят во время самого ливня... Выбившись из сил, тарасконец швырнул это приспособление на землю и, ругаясь, как истинный провансалец, лег прямо на него.

— Та́-та́, ра́-та, та-ра-та́!

— Это еще что?.. — подскочив, воскликнул Тартарен.

Это африканские стрелки трубили зорю в мустафских казармах... Истребитель львов в полном изумлении протер глаза...

Он-то думал, что кругом пустыня!.. А знаете, где он спал? На грядке артишоков, между цветной капустой и свеклой. В его Сахаре произрастали овощи... Совсем близко, на прелестном зеленом склоне Верхнего Мустафы, блестели обрызганные утренней росой белые алжирские виллы: точь-в-точь окрестности Марселя, его дачи и мызы.

У спящей природы был вид мещанки-огородницы, и это крайне удивило бедного Тартарена и привело его в прескверное расположение духа.

«Местные жители сошли с ума,— говорил он себе.— Разводить артишоки под носом у льва!.. Ведь я же все-таки не грезил... Львы сюда заходят... И вот доказательство...»

Доказательством являлись кровавые пятна, которые зверь, убегая, оставлял за собой. Нагибаясь над следом, то и дело оглядываясь по сторонам и сжимая револьвер в руке, отважный тарасконец шагал-шагал через артишоки и, наконец, вышел к полоске овса... Примятый овес, лужа крови, а в луже крови лежал на боку, с зияющей раной в голове... угадайте кто?

— Да лев же, черт побери!..

Увы! Осел, один из тех малюсеньких осликов, которых так много в Алжире и которых там называют «вислоухенькими».

VI

Появление львицы. Страшная битва. Сбор молодцов

Первым душевным движением Тартарена при виде злосчастной жертвы была досада. В самом деле: вислоухенький — это немножко не то, что лев!.. Затем досада сменилась жалостью. Бедный вислоухенький был так мил, у него была такая добродушная мордочка! Бока его, еще теплые, поднимались и опускались, как волны. Тартарен стал на колени и концом своего алжирского пояса попытался остановить у несчастного животного кровотечение. Великий человек, ухаживающий за маленьким осликом,— ничего трогательнее этого нельзя себе представить!

Почувствовав мягкое прикосновение пояса, вислоухенький, в котором еще теплилась жизнь, раскрыл большой серый глаз и запрядал длинными ушами, точно хотел сказать: «Благодарю!.. Благодарю!» Последняя судорога свела все его тело от головы до хвоста, и больше он уже не шевельнулся.

— Черныш! Черныш! — внезапно послышался чей-то сдавленный от волнения голос.

Вслед за тем зашуршали ветки ближних кустов...Тартарен едва успел вскочить и приготовиться к обороне... То была львица!

Грозная, рыкающая, она явилась в образе старой эльзаски, в косынке, с большим красным зонтом, и так громко звала она своего ослика, что ей отвечало и ближнее и дальнее эхо Мустафы. Тартарен, разумеется, предпочел бы иметь дело с разъяренной львицей, чем с этой старой ведьмой... Тщетно пытался несчастный объяснить ей, как было дело, что Черныша он принял за льва... Старуха была уверена, что Тартарен смеется над ней, и с неистовым криком: «У, сатана проклятый!»— она принялась охаживать нашего героя зонтом. Слегка растерявшись, Тартарен защищался все же, как мог, отбивался карабином, пыхтел, отдувался, подпрыгивал, кричал: «Сударыня, полно!.. Сударыня, полно!..» Куда там! Сударыня была глуха к его мольбам, что подтверждалось возрастающей силой ее ударов.

К счастью, на поле сражения появилось третье лицо. Это был муж эльзаски, тоже эльзасец, содержатель трактира, отлично считавший в уме. Поняв, с кем имеет дело, поняв, что убийца счастлив был бы возместить убытки, он обезоружил свою супругу и живо поладил с Тартареном.

Тартарен уплатил двести франков, тогда как ослик стоил не больше десяти: это обычная цена вислоухеньким на арабских базарах. Затем бедного Черныша похоронили под фиговым деревом, и эльзасец, которого развеселил блеск тарасконских дуро, пригласил героя заморить червячка в своем заведении, стоявшем при дороге, совсем близко отсюда. Алжирские охотники завтракали у него каждое воскресенье: эта долина была их излюбленным местом охоты, ибо кролики тут водились в изобилии.

— А львы? — осведомился Тартарен.

Эльзасец взглянул на него с явным изумлением.

— Львы?

— Ну да... львы... Вам приходилось их видеть? — уже менее уверенно продолжал бедный Тартарен.

Трактирщик прыснул:

— Вот грех тяжкий!.. Львы... Да что им тут делать?

— Разве их нет в Алжире?..

— Честное слово, я их отродясь не видел... А ведь я двадцать лет живу в этой провинции. Что-то, помнится, я про них слышал... Не то в газетах... Но только это далеко отсюда, где-то на юге...

Они подошли к кабачку. Это был обыкновенный загородный кабачок, как где-нибудь в Ванве или Пантене, с засохшей веткой над дверью, с биллиардными киями, намалеванными на стене, и с нестрашной вывеской:

СБОР МОЛОДЦОВ

Сбор молодцов!.. О, Бравида! Какие приятные воспоминания!

VII

История омнибуса, мавританки и жасминовых четок

Это первое приключение кого угодно могло бы обескуражить, однако люди Тартареновой закалки не так-то легко сдаются.

«Львы — на юге?— думал наш герой.— Ну что ж, поеду на юг!»

Съев все до последнего кусочка, Тартарен встал, поблагодарил хозяина, в знак полного примирения расцеловался со старухой, пролил последнюю слезу над незадачливым Чернышом и, нимало не медля, повернул обратно в Алжир с твердым намерением уложить вещи и сегодня же уехать на юг.

К несчастью, Мустафская дорога со вчерашнего дня стала как будто еще длиннее,— жара, пыль! Палатка тяжеленная!.. Почувствовав, что не в силах идти пешком, Тартарен сделал знак первому же нагнавшему его омнибусу и вскочил на подножку...

Бедный Тартарен из Тараскона!.. Насколько же лучше было бы для его доброго имени, для его славы, если б он не связывался с этой роковой колымагой, а продолжил бы пешее хождение, рискуя рухнуть под давлением атмосферы, походной палатки и тяжелых двуствольных ружей!..

Тартарен вошел. Омнибус был полон. В глубине, уткнувшись в молитвенник, сидел алжирский мулла с окладистой черной бородой. Напротив— молодой мавр, из купцов, курил толстую папиросу. Дальше — мальтийский матрос и несколько мавританок, закутанных в белые чадры, так что видны были только глаза. Дамы эти ездили помолиться на кладбище Абд-эль-Кадер, но это мрачное путешествие, видимо, не опечалило их. Прикрываясь чадрами, они болтали, смеялись, ели хрустевшее на зубах печенье.

Тартарену показалось, что они поглядывают на него. Особенно одна, сидевшая напротив, как впилась в него глазами, так потом всю дорогу их уже не отводила. Хотя дама была под чадрой, однако живость ее больших черных подведенных глаз, прелестное тонкое запястье, все в золотых браслетах, время от времени выглядывавшее из-под покровов, самый звук ее голоса, изящный поворот головы, в котором было даже что-то детское,— все говорило о том, что покровы скрывают обворожительное, молодое, красивое тело... Несчастный Тартарен не знал, куда деваться. Безмолвный призыв дивных восточных глаз смущал его, волновал, терзал; его бросало то в жар, то в холод...

В довершение всего он ощутил прикосновение дамской туфельки: она скользила по его грубым охотничьим сапогам, эта крохотная туфелька, скользила и шмыгала красной мышкой... Как быть? Ответить на этот взгляд, на это движение? Да, но что потом?.. Любовное похождение на Востоке — это что-то ужасное!.. Пламен-

ному южному воображению славного Тартарена уже представлялось, что он попадает в руки евнухов, что ему рубят голову, зашивают в кожаный мешок и швыряют в море и его самого, и его отрубленную голову. Это его несколько охладило... Туфелька между тем продолжала в том же духе, глаза, смотревшие на него в упор, раскрывались все шире и шире, как два огромных черных бархатистых цветка, и словно молили: «Сорви нас!..»

Омнибус остановился на Театральной площади, в начале Бабассунской улицы. Мавританки, путаясь в длинных шароварах и движением, исполненным дикой грации, придерживая чадры, одна за другой вышли из омнибуса. Соседка Тартарена встала после всех и, подняв голову, прошла мимо него так близко, что он ощутил на своем лице ее дыхание — букет юности, жасмина, печенья и мускуса.

Тарасконец не устоял. Опьяненный любовью, готовый на все, он бросился за мавританкой... Услышав за собой лязг его доспехов, она обернулась, приложила палец к чадре, как бы говоря: «Тсс!»— и быстрым движением другой руки бросила ему ароматные четки из цветов жасмина. Тартарен нагнулся поднять их, но так как герой наш был слегка тучноват да к тому же увешан доспехами, то эта операция продолжалась довольно долго...

А когда он, прижав к сердцу жасминовые четки, выпрямился, мавританки и след простыл.

VIII

Львы Атласа, спите!

Львы Атласа, спите! Спите спокойно в своих логовах, среди алоэ и диких кактусов!.. Еще несколько дней Тартарен из Тараскона вас не тронет. Пока что все его орудия войны — ящики с оружием, аптечка, походная палатка, консервы — мирно лежат в запакованном виде в Европейской гостинице, в углу 36-го номера.

Спите безмятежно, огромные рыжие львы! Тарасконец охотится за мавританкой. После встречи в омнибусе несчастному все время чудится, будто по его ноге, объемистой ноге заядлого охотника, семенит красная мышка, а в ветре с моря, касающемся его уст, он неизменно улавливает запах, напоминающий ему предмет его страсти,— запах печенья и аниса.

Подайте Тартарену его берберийку!

Но это совсем не так просто! Найти в городе со стотысячным населением особу, о которой ничего не известно, кроме запаха, туфелек и цвета глаз! Только безумно влюбленный тарасконец способен отважиться на подобное приключение.

Самое ужасное — это что под своими длинными белыми чад-

рами все мавританки похожи одна на другую; притом эти дамы редко выходят из дому, и, чтобы их увидеть, нужно подняться в Верхний город, арабский город, город *тэрков*.

Настоящее разбойничье гнездо этот Верхний город! Грязные узенькие улочки, взбирающиеся по отвесным горам между двумя рядами подозрительных домишек, кровли которых сходятся, образуя туннель. Низенькие двери, крошечные оконца, безмолвные, унылые, зарешеченные. Справа и слева мрачные притоны, где угрюмые *тэрки* с головами корсаров, сверкая белками и скаля зубы, курят длинные трубки и о чем-то шепчутся, точно замышляют что-то недоброе...

Сказать, что наш Тартарен без волнения шел по этому страшному городу,— значит сказать неправду. Нет, он был крайне взволнован; по этим темным улицам, в которых едва умещался его толстый живот, наш доблестный муж двигался с величайшей осторожностью, оглядываясь по сторонам, держа указательный палец на спусковом крючке револьвера. Совсем как в Тарасконе, по дороге в Клуб! Каждую секунду он ждал, что сзади на него нападет орава евнухов и янычар, но желание увидеться с дамой сердца придавало ему титаническую силу и отвагу.

Целую неделю бесстрашный Тартарен не выходил из Верхнего города. Он то часами простаивал перед мавританскими банями и ждал, когда оттуда выйдут, поеживаясь на свежем воздухе, и разлетятся стайками пахнущие чистотой женщины, то, присев на корточки возле какой-нибудь мечети, потел и пыхтел, стаскивая тяжеленные сапоги, прежде чем войти в святилище.

Порой, когда уже темнело и тарасконец, измученный поисками, равно бесплодными как возле бань, так и в мечети, проходил мимо мавританских домов, до него доносились монотонное пение, приглушенный звон гитары, рокот тамбурина и тихий женский смех, от которого у него сильно билось сердце.

«Может быть, она там!»— думал он.

Если на улице никого не было, он подходил к дому, приподнимал тяжелый молоток и робко стучал в низенькую дверь... Пение и смех мгновенно смолкали. За стеной слышалось только невнятное перешептывание, похожее на шорох в птичнике, который погружается в сон.

«Приготовимся! — говорил себе наш герой.— Сейчас что-нибудь произойдет!..»

Но чаще всего происходило вот что: на голову ему выливали полный горшок холодной воды или же его обсыпали апельсинными корками и косточками от берберийских фиг.... Ничего более существенного не случилось ни разу...

Львы Атласа, спите спокойным сном!

IX

Князь Григорий Черногорский

Целых две недели злосчастный Тартарен искал свою алжирскую даму, и весьма вероятно, что он искал бы ее и по сие время, если бы провидение, пекущееся обо всех влюбленных, не пришло к нему на помощь в обличье черногорского вельможи. Вот как было дело.

Зимой по субботам в самом большом театре Алжира устраиваются балы-маскарады, точь-в-точь такие же, как в парижской Опере. Это самые заурядные, скучнейшие провинциальные балы-маскарады. Полупустой зал, подонки Бюлье и Казино, податливые девицы, следующие за армией, помятые арлекины, какие-то типы, нарядившиеся вконец обнищавшими грузчиками, пять-шесть прачек-маонок, пустившихся во все тяжкие, но сохранивших от прежней добродетельной жизни запах чеснока и шафранного соуса... Самое, однако, любопытное происходит не здесь, а в фойе, превращенном ради такого случая в игорный зал... Вокруг длинных зеленых столов толчется возбужденная пестрая толпа: получившие отпуск тюркосы, которые ставят монеты, взятые взаймы, мавританские купцы из Верхнего города, негры, мальтийцы, колонисты из провинциальной глуши — эти тащились сорок миль только для того, чтобы поставить на карту плуг или пару волов... Все бледны, дрожат, как в лихорадке, у всех стиснуты зубы, и у всех — присущий игрокам особенный взгляд: мутный, исподлобья, устремленный на одну и ту же карту, отчего глаза у них начинают косить.

Немного подальше — алжирские евреи, играющие целыми семьями. На мужчинах восточные одеяния, чудовищными по своей безвкусице дополнениями которых служат синие чулки и плисовые фуражки. Женщины — полные, бледные; тесные, расшитые золотом корсажи не дают им пошевельнуться... Сгрудившись вокруг столов, все это племя визжит, совещается, считает по пальцам, играет по маленькой... В редких случаях, после длительного обсуждения, старый патриарх с бородой, как у Саваофа, отделяется от своих и решается поставить семейный дуро... И теперь уже до конца партии не потухнуть блеску в иудейских глазах, впившихся в стол, этих страшных черных глазах как бы из магнита, от взгляда которых золотые монеты сами начинают кружиться по зеленому сукну и в конце концов притягиваются, точно кто-то легонько тянул их за нитку...

И потом эти ссоры, драки, ругательства, какие только существуют на свете, неистовые крики на всех языках, поножовщина, внезапное исчезновение денег, появление полиции!

И вот как-то вечером на одну из таких вакханалий явился великий Тартарен, дабы развлечься, забыться и обрести душевный покой.

Наш герой пробирался один в толпе, думая о мавританке, как вдруг за одним из игорных столов, заглушая звон золота, раздались возбужденные голоса:

— А я вам говорю, милсдарь, что у меня недостает двадцати франков!..

— Милсдарь!..

— Я вас слушаю, милсдарь!..

— Да знаете ли, милсдарь, с кем вы разговариваете?

— Сделайте одолжение, милсдарь, назовитесь!

— Я — князь Григорий Черногорский, милсдарь!..

Услышав это имя, Тартарен пришел в волнение и, счастливый и гордый тем, что наконец отыскался очаровательный черногорский князь, с которым он свел знакомство на пакетботе, пробился вперед.

К несчастью, княжеский титул, ослепивший простодушного тарасконца, не произвел ни малейшего впечатления на офицера стрелкового полка, повздорившего с князем.

— Я счастлив!..— насмешливо проговорил офицер и обратился к зрителям:— Григорий Черногорский... Кому это хоть что-нибудь говорит?.. Никому!

Возмущенный Тартарен сделал шаг вперед.

— Позвольте... Я знаю *кнэвя!* — твердо вымолвил он с сильным тарасконским акцентом.

Офицер смерил его взглядом и пожал плечами:

— Ах, вот как? Прекрасно!.. В таком случае поделите между собой пропавшие двадцать франков, и кончен разговор.

С этими словами он повернулся и исчез в толпе.

Пылкий Тартарен хотел было броситься за ним, но князь удержал его:

— Оставьте... Я сам с ним разделаюсь.

И, подхватив Тартарена под руку, он поспешил увести его.

Очутившись на площади, князь Григорий Черногорский снял шляпу, протянул нашему герою руку и, силясь припомнить его фамилию, начал с запинкой:

— Господин Барбарен...

— Тартарен!— робко поправил тот.

— Тартарен, Барбарен — не все ли равно? Мы теперь друзья до гроба!

И доблестный черногорец с остервенением потряс ему руку... Можете себе представить, как был горд тарасконец!

— *Кнэвь!.. Кнэвь!..*— повторял он в восторге.

Через четверть часа оба уже сидели «Под платанами» — в уютном ночном заведеньице, терраса которого спускалась прямо к морю, и тут, спрыснув отменный «салат по-русски» превосходным критским вином, они сдружились окончательно.

Трудно себе представить более обаятельного человека, чем этот черногорский князь. Тонкий, стройный, курчавый, завитой, тщательно выбритый, украшенный какими-то необыкновенными орденами, с бегающими глазками и вкрадчивыми движениями, он говорил с чуть заметным итальянским акцентом и был отчасти похож на безусого Мазарини; вдобавок он кстати и некстати сыпал цитатами из Тацита, Горация и Юлия Цезаря.

По его словам, он принадлежал к древней династии, но еще в десятилетнем возрасте пострадал за свои либеральные убеждения: родные братья добились его изгнания, и вот с тех пор он, философ, движимый любознательностью, а также для развлечения, странствует по свету... И — потрясающее совпадение: князь прожил три года в Тарасконе! Когда же Тартарен выразил удивление по поводу того, что ни разу не встречался с ним ни в Клубе, ни на эспланаде, его высочество ответил уклончиво: «Я почти не выходил...» Тарасконец же из деликатности воздержался от дальнейших расспросов. В жизни высоких особ столько таинственного!

Как бы то ни было, князь Григорий оказался приятнейшим человеком. Потягивая розовое критское вино, он терпеливо слушал рассказ Тартарена о мавританке, а так как он знал всех здешних дам наперечет, то даже вызвался в самом скором времени разыскать ее.

Пили много и долго. Пили за алжирских дам, за свободную Черногорию...

А внизу, у самой террасы, плескалось море, и волны во мраке ночи бились о берег так, словно кто-то встряхивал мокрые простыни. Воздух был тепел, небо усеяно звездами.

В ветвях платанов пел соловей...

По счету уплатил Тартарен.

X

Назови мне имя твоего отца, и я скажу тебе название этого цветка

Ох и мастера же эти черногорские князья поддевать на удочку!

Проведя с тарасконцем вечерок «Под платанами», наутро, спозаранку, князь Григорий был уже у него в номере.

— Скорей, скорей, одевайтесь! Мавританка ваша отыскалась... Ее зовут Байя... Двадцать лет, прекрасна, как ангел, и уже вдова...

— Вдова? Это мне повезло! — радостно воскликнул славный Тартарен, опасавшийся восточных мужей.

— Да, но она находится под неусыпным надзором брата...

— А, черт!..

— Свирепого мавра, который торгует трубками на Орлеанском базаре...

Молчание.

— Ну, ничего! — продолжал князь.— Вы не робкого десятка, вас такая безделица не остановит. А затем можно будет купить у этого корсара несколько трубок, и, я думаю, он сдастся... Ну одевайтесь, одевайтесь... сердцеед вы этакий!

Бледный, взволнованный, пылая страстью, тарасконец спрыгнул с кровати и, поспешно застегивая просторные фланелевые кальсоны, спросил:

— Что же мне делать?

— Напишите вашей даме, только и всего, и попросите назначить свидание.

— А разве она знает французский язык?— с разочарованным видом спросил простодушный Тартарен, мечтавший о Востоке без всякой примеси.

— Ни единого слова не знает,— не моргнув глазом, ответил князь.— Вы мне будете диктовать, а я буду переводить.

— Ах, князь, как вы добры!

И тарасконец молча зашагал большими шагами по комнате— он собирался с мыслями.

Вы, конечно, понимаете, что алжирской мавританке так не напишешь, как какой-нибудь бокерской гризетке. На великое счастье нашего героя, в памяти его было живо все, что он прочел на своем веку, и это дало ему возможность, мешая напыщенную речь индейцев Густава Эмара с «Путешествием на Восток» Ламартина и отдаленными реминисценциями из «Песни песней», сочинить самое наивосточное письмо, какое только можно себе представить.

Начиналось оно:

«Как страус в песчаной пустыне...»

А кончалось:

«Назови мне имя твоего отца, и я скажу тебе название этого цветка...»

Вместе с письмом настроенный на возвышенный лад Тартарен намеревался, по восточному обычаю, послать букет цветов «со значением», но князь Григорий решил, что лучше купить у брата несколько трубок: так-де суровый нрав его, несомненно, смягчится, а даме это тоже не может не доставить удовольствия, так как она завзятая курильщица.

— Идемте скорей покупать трубки! — сразу загоревшись, воскликнул Тартарен.

— Нет, нет!.. Я пойду один. Я сумею купить подешевле.

— Как? Вы хотите сами?.. О князь, князь!..

Тут доблестный муж, крайне смущенный, протянул кошелек услужливому черногорцу и попросил его ничего не жалеть, лишь бы дама осталась довольна.

К сожалению, хорошо задуманное предприятие вопреки ожиданиям не увенчалось скорым успехом. Как будто бы растроганная до глубины души красноречием Тартарена и уже заранее на все почти согласная мавританка и рада была бы принять его у себя, но брат оказался человеком щепетильным, и, чтобы усыпить его совесть, пришлось закупать у него трубки десятками, сотнями, целыми ящиками...

«На кой черт Байе такая пропасть трубок?» — изредка спрашивал себя бедняга Тартарен, но по-прежнему не скупился.

В конце концов, накупив горы трубок и излив море восточной поэзии, он добился свидания.

Я не стану рассказывать вам о том, как билось у тарасконца сердце во время приготовлений к свиданию, с какой лихорадочной тщательностью он подстригал, помадил и опрыскивал духами свою жесткую бороду, бороду охотника за фуражками, и с какой предусмотрительностью рассовал он на всякий случай по карманам два-три револьвера и кастет с железными шипами.

Князь с его неизменной услужливостью явился на первое свидание в качестве переводчика. Дама жила в верхней части города. У дверей ее дома дымил папиросой юный мавр лет тринадцати — четырнадцати. Это и был знаменитый Али, пресловутый *брат*. Увидав гостей, он два раза постучал в дверь и деликатно удалился.

Дверь отворилась. На пороге появилась негритянка; она молча провела гостей узким внутренним двором в прохладную комнатку, где их ожидала дама, полулежавшая на низком диване... На первый взгляд она показалась тарасконцу меньше ростом и полнее мавританки в омнибусе... Да уж это она ли? Сомнение молнией прорезало мозг Тартарена, но тотчас погасло.

Все было обворожительно у этой женщины: и голые ножки, и пухлые пальчики, унизанные перстнями, и розовые щеки, и стройный стан, а под корсажем из золотой парчи и под разводами пестрого платья проступали округлые, соблазнительные очертания тела, цветущего, но уже начинающего полнеть... Во рту у нее дымился янтарный мундштук и окутывал ее облаком белого дыма.

Войдя, тарасконец прижал руку к сердцу и, вращая выпученными, полными страсти глазами, отвесил ей самый что ни на есть мавританский поклон. Байя с минуту молча смотрела на него, потом

вдруг, выронив янтарный мундштук, упала навзничь и закрыла лицо руками, и теперь видна была только ее белоснежная шея, сотрясавшаяся, точно мешочек с жемчугом, от дикого хохота.

XI

Сиди Тарт'ри бен Тарт'ри

Зайдите как-нибудь в сумерки в одну из алжирских кофеен Верхнего города, вы еще и теперь можете там услышать, как мавры толкуют между собой, подмигивая и посмеиваясь, о некоем Сиди Тарт'ри бен Тарт'ри, любезном и богатом европейце, который несколько лет назад проживал в верхнем квартале с одной дамочкой, местной жительницей, по имени Байя.

Нетрудно догадаться, что этот самый Сиди Тарт'ри, оставивший по себе столь веселую память во всей Касбахской округе, есть не кто иной, как наш Тартарен...

Ничего не поделаешь! В жизни святых и в жизни героев бывают часы ослепления, смятения, слабости. Знаменитый тарасконец не составляет исключения — вот почему целых два месяца, позабыв о львах и о славе, он упивался восточной любовью и, подобно Ганнибалу в Капуе, утопал в неге белого Алжира.

Доблестный муж нанял в самом сердце арабского города хорошенький домик в местном вкусе, с внутренним двором, банановыми деревьями, прохладными галереями и фонтанами. Там он и жил, вдали от городского шума, вместе со своей мавританкой, сам с головы до ног превратившись в мавра, посасывая с утра до вечера кальян и объедаясь вареньем с мускусом.

Разлегшись на диване прямо против Тартарена, Байя под гитару мурлыкала нечто монотонное или же, чтобы развлечь своего повелителя, исполняла танец живота, держа в руке зеркальце, любуясь своими белыми зубками, кривляясь и ломаясь.

Так как дама не знала ни слова по-французски, а Тартарен — ни слова по-арабски, то разговор у них часто иссякал,— словоохотливому тарасконцу это было в наказание за болтливость, которою он грешил в аптеке у Безюке и в оружейном магазине у Костекальда.

Но даже и в этом наказании таилась особая прелесть: то было некое сладостное оцепенение, выражавшееся в том, что Тартарен за целый день не говорил ни слова и только слушал бульканье кальяна, треньканье гитары да тихий плеск фонтана на выложенном мозаикой дворике.

Кальян, баня и любовь заполняли всю его жизнь. Тартарен и его возлюбленная выходили из дому редко. Кое-когда Сиди Тарт'ри

садился на доброго мула, его дама вспрыгивала на круп, и они отправлялись есть гранаты в маленький садик, который он купил неподалеку... Но хоть бы раз он спустился в европейскую часть города! Кутящие зуавы, алькасары, где полно офицеров, вечный лязг сабель под аркадами — этот Алжир, представлявшийся ему столь же безобразным, как любая кордегардия на Западе, он терпеть не мог.

В общем, тарасконец был счастлив. Особенно Тартарен — Санчо, большой любитель турецких сладостей,— тот был в полном восторге от своей новой жизни... У Тартарена — Дон Кихота при мысли о Тарасконе и обещанных львиных шкурах нет-нет да и просыпалась совесть... Но — ненадолго: один взгляд Байи, одна ложка чертовски вкусного душистого варенья, дурманящего, как напиток Цирцеи,— и грустные мысли рассеивались.

По вечерам приходил князь Григорий помечтать вслух о свободной Черногории... Отличаясь неутомимой услужливостью, этот любезный господин исполнял у них обязанности переводчика и даже, в случае нужды, домоправителя, совершенно бескорыстно, из любви к искусству... Кроме него, Тартарен принимал у себя только *тэрок*. Эти корсары со свирепым выражением лица, которые еще так недавно, сидя в своих темных лавчонках, внушали ему необоримый страх, при ближайшем знакомстве оказались добродушными, безобидными купцами, золотошвеями, кондитерами, кальянщиками; все это были люди благовоспитанные, услужливые, себе на уме, осмотрительные, мастаки по части игры в карты. Чуть не каждый вечер эти господа приходили к Сиди Тарт'ри, обыгрывали его, поедали его варенье, а ровно в десять воссылали благодарения пророку и скромно удалялись.

После ухода гостей Сиди Тарт'ри и его верная подруга проводили остаток вечера на террасе — широкой белой террасе, которая служила их дому кровлей и господствовала над городом. Вокруг множество других террас, таких же белых, озаренных тихим светом луны, уступами спускалось к морю. Ветер доносил звон гитар.

...Внезапно в вышине мягко вспыхивала ясная, как созвездие, полнозвучная мелодия: на минарете ближней мечети появлялся красавец муэдзин, и его белый силуэт отчетливо вырисовывался на темной синеве ночи; дивным голосом, разносившимся далеко кругом, он славословил аллаха.

Байя выпускала из рук гитару, и ее большие глаза, устремленные на муэдзина, казалось, жадно впивали слова молитвы. И пока длилось пение, она вся дрожала от восторга, словно восточная святая Тереса... Тартарен взволнованно смотрел на нее и думал о

том, какая это, должно быть, могучая и прекрасная вера, если она способна вызывать такой молитвенный жар.

Тараскон, закрой от стыда свои очи! Твой Тартарен помышляет о вероотступничестве.

XII

Нам пишут из Тараскона

В один прекрасный день Сиди Тарт'ри под безоблачным небом, овеваемый теплым ветерком, верхом на муле возвращался, на сей раз без подруги, из своего садика... Раскорячив ноги, потому что мешали сумки, набитые лимонами и арбузами, сложив руки на животе и покачиваясь всем корпусом в лад *трюх-трюху* своего мула, убаюканный звяканьем огромных стремян, сомлевший от неги и зноя, доблестный муж ехал среди чудесной природы.

Внезапно, при въезде в город, он был пробужден громовым голосом, который его окликал:

— Такое-сякое чудо морское!.. Да никак это господин Тартарен?

Услышав свою фамилию, услышав веселые звуки южного говора, тарасконец поднял голову и увидел совсем рядом добродушное загорелое лицо Барбасу, капитана «Зуава»,— капитан пил абсент и курил трубку на пороге маленькой кофейной.

— А, Барбасу, доброго здоровья! — остановив мула, воскликнул Тартарен.

Вместо ответа Барбасу вытаращил на него глаза — и давай хохотать, так хохотать, что Сиди Тарт'ри от великого смущения съехал с седла на арбузы.

— Ах, дорогой господин Тартарен, какой на вас тюрбан!.. Так, значит, вы правда заделались *тэрком*?.. А как плутовка Байя? Все поет «Красавицу Марко»?

— «Красавицу Марко»!— с возмущением повторил Тартарен.— Да будет вам известно, капитан, что особа, о которой вы говорите,— честная мавританская девушка, и по-французски она не знает ни слова.

— Байя? По-французски ни слова?.. Да вы что, с луны свалились?

Тут славный капитан захохотал еще громче.

Заметив, однако, что лицо у бедного Сиди Тарт'ри вытянулось, он спохватился:

— Впрочем, может быть, это другая... Я, наверно, спутал... Но только видите ли, господин Тартарен, я бы вам все-таки посоветовал держаться подальше от алжирских мавританок и от черногорских князей!..

Тартарен, изобразив на своем лице свирепость, вытянулся на стременах.

— *Кнэзь* — мой друг, капитан!

— Хорошо, хорошо, только не сердитесь!.. Не хотите ли абсенту? Нет? Что от вас передать землякам? Ничего не надо? Ну, ну! Счастливо вам попутешествовать!.. Да, кстати, дружище: у меня добрый французский табак, отсыпьте себе на несколько трубок... Да берите, берите! От него вам вреда не будет... Это окаянный восточный табак заморочил вам голову.

Тут капитан принялся за абсент, а Тартарен в глубоком раздумье затрусил домой... Хотя он по своему душевному благородству и не поверил капитану Барбасу, однако эти наветы огорчили его, а кроме того, южный выговор капитана и его провансальские ругательства вызвали у Тартарена легкие угрызения совести.

Байю он не застал. Она была в бане... Негритянка показалась ему безобразной, дом— скучным... Не зная, куда деваться от тоски, он сел у фонтана и принялся набивать трубку табаком Барбасу. Табак был завернут в обрывок «Семафора». Когда он его развернул, ему бросилось в глаза название родного города.

Нам пишут из Тараскона

Весь город в тревоге. Истребитель львов Тартарен, выехавший охотиться на крупных африканских хищников из семейства кошачьих, в течение нескольких месяцев не подает о себе вестей... Что же случилось с нашим доблестным соотечественником?.. Кто знал эту горячую голову, этого смельчака, этого неутомимого искателя приключений, тот не может без волнения задавать себе этот вопрос... Поглотил ли его, как и многих других, песок пустыни? Или же его растерзало своими смертоносными клыками одно из тех атласских чудовищ, шкуры которых он обещал принести в дар муниципалитету?.. Мучительная неизвестность! Однако негры-купцы, приехавшие на Бокерскую ярмарку, уверяют, что в пустыне им повстречался европеец, приметы которого сходятся с приметами Тартарена, и что европеец этот направлялся в Тимбукту... Да хранит господь нашего Тартарена!

Прочитав эту заметку, тарасконец покраснел, побледнел, задрожал. Его мысленному взору предстал весь Тараскон: Клуб, охотники за фуражками, зеленое кресло у Костекальда и надо всем этим — парящие, будто распластавший крылья орел, громадные усы бравого командира Бравида.

И тут Тартарену из Тараскона от одного сознания, что он, малодушный, целыми днями сидит, поджав под себя ноги, на циновке, в то время как у него на родине все убеждены, что он изничтожил львов, стало стыдно, и он заплакал.

Вдруг наш герой вскочил с криком: «На львов! На львов!»— бросился в пыльный чулан, где покоились походная палатка, аптечка, консервы, ящик с оружием, и вытащил их на двор.

Тартарен — Санчо приказал долго жить, остался лишь Тартарен — Дон Кихот.

Произведя осмотр своего имущества, вооружившись, снарядившись, обувшись в высокие сапоги, написав несколько слов князю и поручив его заботам Байю, вложив в конверт несколько смоченных слезами голубых кредиток, бесстрашный тарасконец, не теряя ни минуты, сел в дилижанс и укатил по Блидахской дороге, а негритянка, оставшись одна во всем доме, так и обмерла, когда увидела, что кальян, тюрбан, туфли — весь этот мусульманский хлам Сиди Тарт'ри валяется как попало под трехлистными пальметтами галереи...

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ

У ЛЬВОВ

I

Сосланный дилижанс

Это был старый допотопный дилижанс, обитый по старинной моде толстым синим, совершенно выцветшим сукном с громадными помпонами из грубой шерсти, которые за несколько часов пути в конце концов натирали вам спину до синяков. У Тартарена из Тараскона было место сзади, в углу; он расположился поудобнее и в ожидании той минуты, когда на него пахнёт мускусом от крупных африканских хищников из семейства кошачьих, по необходимости удовольствовался приятным запахом старого дилижанса, причудливо сочетающим в себе множество запахов: мужских, конских, женских, запахи кожи, провизии и прелой соломы.

В заднем отделении дилижанса собралось довольно разношерстное общество: монах-траппист, евреи-купцы, две кокотки, догонявшие свою воинскую часть — 3-й гусарский полк, фотограф из Орлеанвиля... Но, несмотря на всю прелесть и разнообразие этого общества, Тартарен был не расположен беседовать,— с лямкой на плече, с карабинами между колен, он по-прежнему предавался размышлениям... Его внезапный отъезд, черные глаза Байи, страшная охота, на которую он отправлялся,— от всего этого голова у него шла кругом, а тут еще европейский дилижанс с его добродушным, патриархальным обличьем, неожиданно оказавшийся в Африке: он смутно напоминал Тартарену Тараскон его юности, поездки за город, завтраки на берегу Роны, вызывал вереницу воспоминаний...

Постепенно стемнело. Кондуктор зажег фонари... Ветхий дилижанс, скрипя, подпрыгивал на старых рессорах, лошади бежали рысью, бубенчики звенели... Время от времени наверху, под брезентом империала, слышался ужасающий скрежет железа... Это скрежетало военное снаряжение.

Тартарен из Тараскона в полусне с минуту еще смотрел, как смешно подскакивают при толчках пассажиры, смотрел на эту пляску странных теней, потом глаза у него слиплись, мысль затуманилась, и дальше он лишь смутно различал визг колес да оханье дилижанса...

Вдруг чей-то старческий голос, хриплый, сиплый, надтреснутый, назвал тарасконца по имени:

— Господин Тартарен! Господин Тартарен!

— Кто это?

— Это я, господин Тартарен. Вы меня не узнаете?.. Я старый дилижанс, курсировавший двадцать лет тому назад между Тарасконом и Нимом... Я часто вас возил, вас и ваших друзей, когда вы ездили охотиться за фуражками в Жонкьер или в Бельгард... Сперва я вас и не узнал: шапочка на вас, как у *тэрка*, и потом вы пополнели, но как только раздался ваш храп,— ах, разэтакий такой! — тут уж я сразу догадался!

— Ладно! Ладно! — слегка задетый, пробормотал Тартарен, но, сейчас же смягчившись, спросил: — А как ты сюда попал, старина?

— Ах, милый господин Тартарен, я попал сюда не по своей воле, можете мне поверить!.. Как только Бокерская железная дорога была закончена, меня признали ни на что больше не годным и отправили в Африку... И не я один подвергся этой участи! Сосланы почти все французские дилижансы. Нашли, что мы слишком реакционны, и вот мы теперь все здесь, отбываем каторгу... у вас во Франции это называется «алжирские железные дороги».

Тут старый дилижанс тяжело вздохнул, а затем продолжал:

— Ах, господин Тартарен, как я тоскую о моем милом Тарасконе! Хорошее то было время,— я был тогда молод! Посмотрели бы вы на меня утром, перед самым отъездом: вымыт я чисто-начисто, до блеска, колеса смазаны и сверкают, как новенькие, фонари — точно два солнца, брезент просмолен на совесть! А как это здорово, когда кучер щелкнет, бывало, несколько раз бичом на мотив: «Эй, Тараск, эй, Тараск, попадешь в тартарары!» — а кондуктор, с рожком на перевязи, в форменной фуражке набекрень, забросит одним махом свою всегда злую собачонку на брезент империала, крикнет: «Пошел! Пошел!» — и вскочит на козлы! Тут моя четверка, звеня бубенцами, под лай собак и гуденье рожка

трогается, окна распахиваются, и весь Тараскон с гордостью смотрит, как мчится по большой дороге дилижанс.

Какая это прекрасная, широкая дорога, господин Тартарен, и в каком порядке она содержится! Километровые столбы, кучки щебня на равном расстоянии одна от другой, справа и слева прелестные оливковые рощи, виноградники... И через каждые десять шагов — постоялый двор, через каждые пять минут — остановка... А какие почтенные люди были мои пассажиры! Мэры и священники, ездившие в Ним, кто — к префекту, кто — к епископу, шелкопрядильщики, чинно возвращавшиеся домой из Мазе, школьники, разъезжавшиеся на каникулы, крестьяне в вышитых рубашках, с утра хорошенько побрившиеся, а наверху, на империале, вы все, господа охотники за фуражками,— вы всегда были такие веселые, и, возвращаясь домой вечером, уже при свете звезд, каждый из вас так мило пел *свой* романс!..

Теперь не то... Бог знает, кого я только не вожу! Каких-то басурманов, от которых я набираюсь насекомых, каких-то негров, бедуинов, солдафонов, проходимцев, нахлынувших сюда из разных стран, колонистов в отрепьях, отравляющих меня своим вонючим табаком,— и все это говорит на таком языке, в котором сам господь бог ничего не поймет... А потом вы же видите, какой за мной здесь уход! Никогда не почистят, никогда не помоют. На меня жалеют даже масло, чтобы смазать колеса. Вместо прежних рослых, добрых, смирных моих коней — маленькие арабские лошадки, а в них точно бес сидит: лягаются, кусаются, подпрыгивают на бегу, словно козы, копытами ломают оглобли... Ай, ай!.. Вот оно!.. Начинается!.. А дороги! Здесь еще сносно, потому что начальство близко, а дальше и вовсе бездорожье. Пробирайся наугад, через горы и долы, сквозь заросли карликовых пальм и мастиковых деревьев... Определенных остановок нет. Где кондуктору вздумается, там и остановка: то у одной фермы, то у другой.

Иной раз из-за этого шалопая я даю крюку мили в две, оттого что ему заблагорассудилось навестить приятеля и выпить с ним абсенту или шипучки... А потом — гони, кучер, наверстывай! Солнце палит, пыль жжет. Ничего, гони! Зацепился, опрокинулся... Гони вовсю! Реки — вплавь, простужаешься, мокнешь, тонешь... Гони! Гони! Гони! А вечером меня, насквозь мокрого, ставят на ночевку во двор караван-сарая,— это в моем-то возрасте и с моим-то ревматизмом! — и я должен спать под открытым небом, на самом сквозняке. Ночью шакалы и гиены обнюхивают мой кузов, воры забираются ко мне погреться... Вот до чего я дожил, дорогой господин Тартарен, и такую жизнь мне суждено вести, пока в один прекрасный день, растрескавшись на солнце, прогнив от ночной сырости, я не почувствую, что больше не могу, и не свалюсь

где-нибудь на повороте этой треклятой дороги, и арабы на останках моего дряхлого скелета не сварят себе кускус.

— Блидах! Блидах! — крикнул кондуктор, отворяя дверцу.

II

Входит маленький господин

Сквозь запотевшие стекла Тартарен из Тараскона с трудом разглядел красивое здание супрефектуры и перед ним площадь правильной формы, окруженную аркадами, обсаженную апельсинными деревьями, а посреди площади в розовом предутреннем тумане маршировали какие-то ненастоящие, словно бы оловянные солдатики. В кофейнях отворялись ставни. На углу — овощной рынок... Все это было очаровательно, но львами здесь и не пахло.

«На юг!.. Дальше на юг!» — прошептал добрый Тартарен, забиваясь в уголок.

В эту минуту дверца отворилась. Струя свежего воздуха ворвалась в дилижанс и вместе с запахом апельсинного цвета принесла на своих крыльях маленького господина в коричневом сюртуке, старенького, сухонького, морщинистого, степенного, с лицом в кулачок, в черном шелковом галстуке длиною в пять пальцев, с кожаным портфелем и с зонтиком — типичного деревенского нотариуса.

Обозрев бранные доспехи тарасконца, маленький господин, усевшийся как раз напротив него, видимо, очень удивился и с тягостной назойливостью принялся рассматривать Тартарена.

Лошадей перепрягли, дилижанс двинулся дальше... Маленький господин все смотрел на Тартарена... Наконец Тартарен не вытерпел.

— Вас это удивляет? — спросил он и, в свою очередь, уставился на маленького господина.

— Не удивляет, а мешает,— невозмутимо ответил тот.

И правда: походная палатка, револьвер, два ружья в чехлах, охотничий нож — все это, не считая дородности самого Тартарена из Тараскона, занимало довольно много места...

Ответ маленького господина возмутил его.

— А что же, мне на льва с вашим зонтиком прикажете идти? — вызывающе спросил великий человек.

Маленький господин посмотрел на свой зонтик, мягко улыбнулся и все так же хладнокровно спросил:

— Так вы, сударь...

— Тартарен из Тараскона, истребитель львов!

Произнеся эти слова, бесстрашный тарасконец тряхнул, словно гривой, кисточкой своей *шешьи*.

Весь дилижанс оторопел.

Монах-траппист перекрестился, девицы взвизгнули от страха, а фотограф из Орлеанвиля, мечтая о высокой чести сфотографировать истребителя львов, приблизился к нему.

Не смутился один лишь маленький господин.

— А вы уже много убили львов, господин Тартарен? — сохраняя полнейшее спокойствие, осведомился он.

Тарасконец за словом в карман не полез:

— Да, сударь, я убил много львов!.. Я хотел бы, чтобы у вас было столько же волос на голове.

При этих словах весь дилижанс расхохотался — на голом черепе у маленького господина торчало три рыжих волоска.

В разговор вмешался орлеанвильский фотограф:

— Опасная у вас профессия, господин Тартарен!.. Бывают ужасные мгновенья... Вот, например, бедный Бомбонель...

— А, да, охотник на пантер!..— довольно презрительно заметил Тартарен.

— А вы его знаете? — спросил маленький господин.

— Вот так так!.. Как же не знать?.. Раз двадцать вместе охотились.

Маленький господин улыбнулся.

— Вы, значит, и на пантер охотитесь, господин Тартарен?

— Так, иногда, от нечего делать...— сердито буркнул тарасконец и, гордо подняв голову, отчего сердца двух девиц сразу так и запылали, добавил: — Это вам не лев!

— В сущности, пантера — это большая кошка...— робко заметил орлеанвильский фотограф.

— Совершенно верно! — подтвердил Тартарен; он был не прочь несколько принизить Бомбонеля, особенно в глазах дам.

Тут дилижанс остановился, кондуктор отворил дверцу и обратился к старичку.

— Вам выходить, сударь,— сказал он весьма почтительным тоном.

Маленький господин встал и вышел из дилижанса, но, прежде чем затворить за собой дверцу, сказал:

— Позвольте, господин Тартарен, дать вам один совет.

— Какой совет, сударь?

— А вот послушайте! Вы мне внушаете симпатию, и я хочу вас предупредить... Скорей возвращайтесь в Тараскон, господин Тартарен!.. Здесь вам делать нечего... В глубине страны осталось всего несколько пантер, ну да это же мелочь! Разве это для вас дичь?.. А со львами все кончено. В Алжире их больше нет... Мой друг Шассен недавно убил последнего.

Тут маленький господин поклонился, затворил за собой дверцу и, смеясь, удалился вместе со своим портфелем и зонтиком.

— Кондуктор! — изобразив на своем лице свирепость, заговорил Тартарен.— Кто этот старикашка?

— Как? Вы не знаете? Да ведь это господин Бомбонель!

III

Львиная обитель

Тартарен из Тараскона слез в Милианахе, а дилижанс продолжал свой путь на юг.

Двое суток терпеть жестокую тряску, две ночи подряд, не смыкая глаз, смотреть в окно, не покажется ли где-нибудь в поле или на обочине дороги громадная тень льва,— столь длительное бодрствование, несомненно, заслуживало нескольких часов отдыха. А затем, сказать по правде, после недоразумения с Бомбонелем честному тарасконцу, несмотря на его вооружение, свирепое выражение лица и красную феску, было неловко перед орлеанвильским фотографом и двумя девицами из 3-го гусарского.

Итак, он шел по широким милианахским улицам мимо красивых деревьев, мимо фонтанов, но, ища гостиницу поудобнее, бедняга все думал о том, что сказал ему Бомбонель... А если это правда? Если в Алжире нет больше львов?.. К чему тогда все эти скитания, к чему столько усилий?

Внезапно, повернув за угол, герой наш столкнулся нос к носу... угадайте с кем?.. С великолепным львом,— перед входом в кофейню царственно восседал на собственном заду лев, купая в солнечных лучах рыжую гриву.

— Что же мне морочили голову, будто их тут нет?..— отскочив, воскликнул Тартарен.

Услышав этот возглас, лев опустил голову и, взяв в пасть деревянную миску, стоявшую перед ним на тротуаре, смиренно протянул ее в сторону оцепеневшего Тартарена... Проходивший мимо араб бросил в миску два су,— лев завилял хвостом... Тут Тартарен понял все. Он увидел то, что вначале ему помешало увидеть волнение: толпу, обступившую жалкого слепого ручного льва, и двух ражих негров с дубинами, водивших его по улицам, как савояр носит сурка.

Кровь бросилась тарасконцу в голову.

— Негодяи! — громовым голосом крикнул он.— Так унижать благородное животное!..

Он подскочил ко льву и вырвал из его царственных челюстей презренную миску... Оба негра, решив, что это вор, взмахнули дубинами и бросились на тарасконца... Поднялась отчаянная ку-

терьма... Негры колотили, женщины визжали, дети хохотали. Старый еврей-сапожник кричал из своей мастерской: «К мировому шудье! К мировому шудье!» Даже лев, погруженный в вечную тьму, издал нечто вроде рычания, и несчастный Тартарен после неравной борьбы грохнулся прямо на монеты и мусор.

В это время какой-то человек раздвинул толпу, единым словом заставил попятиться негров, одним мановением руки заставил шарахнуться женщин и детей, поднял Тартарена, почистил, отряхнул и усадил его, тяжело дышавшего, на тумбу.

— Кого я вижу? *Кнэзь*, это вы?.. — потирая бока, воскликнул добрый Тартарен.

— Да, да, мой храбрый друг, это я... Получив ваше письмо, я оставил Байю на попечение брата, сломя голову промчался пятьдесят миль в почтовой карете и подоспел как раз вовремя, чтобы вырвать вас из лап этих скотов, этих дикарей... Но, боже правый, как это вам удалось попасть в такую передрягу?

— У меня не было другого выхода, *кнэзь*... Я не могу видеть несчастного льва с миской в зубах, униженного, побежденного, посрамленного, служащего посмешищем всей этой мусульманской черни...

— Вы ошибаетесь, мой благородный друг. Напротив, они чтут этого льва, преклоняются перед ним. Это священное животное принадлежит большому львиному монастырю, основанному триста лет тому назад Мухаммедом бен Аудом; монастырь отчасти напоминает огромную строгую обитель траппистов, но только рыкающую, пахнущую хищниками: там особого рода монахи вскармливают и приручают сотни львов, а потом братья-сборщики обходят с ними всю Северную Африку... Пожертвования, которые собирают братья, идут на содержание монастыря и его мечети, и вот отчего эти два негра сейчас так вспылили: они убеждены, что за каждый грош, за каждый украденный или потерянный грош из собранной милостыни лев тут же их растерзает.

Слушая этот неправдоподобный и тем не менее правдивый рассказ, Тартарен из Тараскона даже посапывал от удовольствия.

— Во всем этом для меня существенно вот что,— заключил он: — Что бы ни говорил уважаемый Бомбонель, а львы в Алжире еще есть!..

— Еще как есть! — с восторгом подхватил князь.— Завтра же мы с вами обследуем долину Шелиффа, и вот там вы увидите!..

— Что я слышу, *кнэзь*?.. Вы тоже собираетесь на охоту?

— Черт возьми! Неужели вы думаете, что я позволю вам одному бродить по африканским дебрям, среди этих диких племен, язык и обычаи которых вам неведомы?.. Нет, нет, доблестный Тартарен, я вас не оставлю!.. Я буду вашим неизменным спутником.

— О, *князь, князь!..*

Весь сияя, Тартарен прижал к груди доблестного князя Григория и с гордостью подумал о том, что и у него, как у Жюля Жерара, Бомбонеля и других знаменитых истребителей львов, есть свой князь-чужестранец, который будет сопровождать его на охоту.

IV

Караван в пути

На другое утро, чуть свет, бесстрашный Тартарен и не менее бесстрашный князь Григорий в сопровождении не то пяти, не то шести носильщиков-негров вышли из Милианаха и начали спускаться в долину Шелиффа по очаровательной крутой тропинке, на которую падала густая тень от кустов жасмина, туи, рожкового дерева и дикой оливы, между изгородями садиков, принадлежавших туземцам, под журчанье множества родников, весело сбегавших с уступа на уступ... Настоящий ливанский пейзаж!

Князь Григорий был так же обвешан оружием, как и великий Тартарен, но его преимущество составляло необыкновенное, великолепное кепи с золотым галуном и вышитыми серебром дубовыми листьями, что придавало его высочеству некоторое сходство с мексиканским генералом или же с начальником станции в каком-нибудь придунайском государстве.

Это залихватское кепи очень занимало тарасконца; когда же он, преодолевая неловкость, обратился к князю за разъяснениями, тот с важным видом ответил: «Мой головной убор незаменим во время путешествий по Африке»,—и, смахивая рукавом пыль с козырька, начал рассказывать своему простодушному спутнику о том, какую важную роль играет кепи в наших взаимоотношениях с арабами, о том, что ни одна принадлежность военной формы не внушает им такого ужаса, как именно кепи, и что гражданские власти сочли за благо надеть кепи на всех своих служащих, начиная с дорожного мастера и кончая податным инспектором. Короче, по словам князя выходило так, что для того, чтобы управлять Африкой, не нужна ни светлая голова, ни голова вообще. Нужно кепи, красивое кепи с галуном, которое блестело бы на шесте, как шляпа Гесслера.

Так, беседуя и философствуя, путники следовали дальше. Босоногие носильщики, крича, как обезьяны, прыгали с уступа на уступ. Громыхали оружейные ящики. Сверкали ружья. Встречные туземцы низко склонялись перед волшебным кепи... Начальник управления по делам арабов, вышедший со своей супругой подышать свежим воздухом на крепостной вал Милианаха, заслышав необычайный шум, увидев сверканье ружейных стволов среди

ветвей и вообразив, что это набег, приказал опустить подъемный мост, бить сбор всех частей и немедленно объявил город на осадном положении.

Славное начало для похода на львов!

На беду, к концу дня дела пошли хуже. Один из негров, несших пожитки, наелся липкого пластыря из походной аптечки, и у него начались дикие боли в животе. Другой, напившись камфарного спирту, мертвецки пьяный, растянулся на обочине дороги. Третьего, того, который нес дорожный альбом, прельстила позолота застежек, и, вообразив, что это сокровища Мекки, он стремглав пустился бежать с альбомом в Заккар... Надо было обсудить положение... Караван сделал привал и стал держать совет в прозрачной тени старой смоковницы.

— По-моему,— заговорил князь, пытаясь, но безуспешно, развести таблетку мясного бульона в усовершенствованной кастрюле с тройным дном,— по-моему, с этого дня мы должны отказаться от носильщиков-негров... Как раз недалеко отсюда арабский базар. Хорошо было бы там остановиться и купить несколько вислоухих...

— Нет, нет!.. Никаких вислоухих!.. — живо перебил его великий Тартарен, у которого при одном воспоминании о Черныше все лицо пошло красными пятнами, и с лицемерным видом прибавил:— Как же это маленькие ослики потащат всю нашу кладь?

Князь усмехнулся.

— Вы ошибаетесь, мой прославленный друг. На вид алжирский вислоухий тощ и слабосилен, но крестец у него крепкий... А иначе он бы не вынес всего того, что ему приходится выносить... Поговорите-ка с арабами... Вот как они объясняют систему нашего колониального управления: наверху, — говорят они,— сидит *мусью*, губернатор, и своей большущей дубиной бьет офицеров, офицеры в отместку бьют солдата, солдат бьет колониста, колонист бьет араба, араб бьет негра, негр бьет еврея, еврей, в свою очередь, бьет осла, а бедному маленькому ослику бить некого, вот он и вытягивает спину и переносит все. Ваши ящики он тоже отлично понесет, можете быть уверены.

— Все равно,— возразил Тартарен из Тараскона.— Я полагаю, что ослы испортят нам общий вид каравана... Я бы предпочел что-нибудь более восточное... Вот если бы, к примеру, нам обзавестись хотя бы одним верблюдом...

— Да сколько вашей душе угодно,— сказал его высочество, и караван двинулся к арабскому базару.

Базар находился в нескольких километрах отсюда, на берегу Шелиффа... Тысяч пять или шесть одетых в лохмотья арабов копошились на солнцепеке и вели шумный торг среди глиняных кувшинов с черными маслинами, горшков с медом, мешков с пряно-

стями, среди высившихся грудами сигар, среди пылавших очагов, где жарились истекавшие жиром бараньи туши, среди боен, устроенных под открытым небом, боен, где голые негры, по колена в крови, с окровавленными руками, свежевали короткими ножами козлят, висевших на жердях.

Вон палатка, вся в пестрых заплатах,— в углу склонился над толстой книгой вооружившийся очками мавр-нотариус... Здесь — толпа народа, яростные крики: идет игра в рулетку; рулетка — на мерке для зерна, вокруг кабилы, которые чуть что — за ножи... Немного дальше топот, смех и веселье: смотрят, как еврей-купец вместе со своим мулом барахтается в Шелиффе... А сколько собак, ворон, скорпионов! А что мух, что мух!..

Зато верблюдов не оказалось. В конце концов все же нашли одного, от которого мзабиты давно уже мечтали отделаться. Это был самый настоящий верблюд — жилец пустыни, верблюд классический, облезлый, печальный, с длинной, как у бедуина, головой и с горбом, который от слишком долгого поста сделался дряблым и уныло свисал набок.

Тартарену верблюд так понравился, что он изъявил желание погрузить на него решительно все... Уж это мне помешательство на Востоке!..

Верблюд опустился на колени. На него навьючили вещи.

Князь устроился у него на шее. Тартарен для пущей важности взобрался на самый горб, между двумя ящиками, расположился со всеми удобствами, приосанился и, с высоты своего величия поклонившись всему сбежавшемуся сюда базару, подал знак к отправлению... Ах ты, черт, если бы тарасконцы могли его сейчас видеть!..

Верблюд выпрямился и, выбрасывая вперед длинные узловатые ноги, припустился во весь свой мах...

О, ужас! Всего каких-нибудь несколько скачков — и вот уже Тартарен смертельно побледнел, а его героическая *шешья* принимает одно за другим те положения, какие приходилось ей принимать на «Зуаве». Чертов верблюд качался, как фрегат на волнах.

— *Кнэзь, кнэзь*!— лепетал мертвенно-бледный Тартарен, цепляясь за сухую паклю, росшую на верблюжьем горбу.— *Кнэзь*, давайте слезем!.. Я боюсь... боюсь посрамить Францию...

Куда там! Верблюд разогнался, и теперь уже никакая сила не могла бы остановить его. Четыре тысячи босоногих арабов бежали сзади, размахивали руками, хохотали как сумасшедшие и сверкали на солнце сотнями тысяч белых зубов...

Великий человек из Тараскона принужден был покориться своей участи. Уныло мотался он на горбе. Какие только положения не принимала его *шешья*, и... и Франция была посрамлена.

V

Ночная засада в олеандровой роще

Несмотря на всю живописность этого верхового животного, наши истребители львов из уважения к *шешье* принуждены были от него отказаться. Словом, дальше они опять пошли пешком, и караван, делая небольшие переходы без всяких приключений двигался к югу: тарасконец — впереди, черногорец — сзади, между ними — верблюд с оружейными ящиками.

Экспедиция продолжалась около месяца.

В течение этого месяца грозный Тартарен в поисках неуловимых львов странствовал от дуара к дуару по бескрайней долине Шелиффа в страшном и забавном французском Алжире, где ароматы древнего Востока сливаются с резким запахом абсента и казармы, во французском Алжире, являющем собой помесь Авраама с Зузу, сочетание чего-то волшебного и простодушно шутовского, как бы страницу из Ветхого завета в пересказе сержанта Раме или бригадира Питу... Любопытное зрелище для тех, кто умеет видеть... Дикий и уже испорченный народ, который мы цивилизуем, прививая ему наши пороки... Жестокая, безответственная власть фантастических башага, которые с важным видом сморкаются в широкие ленты ордена Почетного легиона и ни за что ни про что велят бить людей палками по пяткам. Неправый суд очкастых кадиев, этих тартюфов от Корана и от закона, которые, сидя под пальмами, думают только о Пятнадцатом августа и о повышениях и продают свои приговоры, как Исав — первородство, за чечевичную похлебку или, вернее, за кускус в сахаре. Распутные, вечно пьяные каиды, бывшие денщики какого-нибудь там генерала Юсуфа, хлещут шампанское с маонскими прачками и наедаются до отвала жареной бараниной, в то время как перед их палатками туземцы мрут с голоду и вырывают у собак объедки с господского стола.

А вокруг, куда ни глянь, невозделанные поля, выжженная трава, голые кусты, заросли кактусов и мастиковых деревьев — вот она, житница Франции!.. Житница — только, увы, без жита, зато изобилующая шакалами и клопами. Заброшенные дуары, туземцы, в ужасе бегущие куда глаза глядят, пытающиеся спастись от голода и устилающие дороги своими телами. Кое-где попадаются французские селения: дома обветшали, поля не засеяны, ненасытная саранча пожирает все вплоть до занавесок на окнах, а колонисты все до одного в кофейной: пьют абсент и обсуждают проекты реформ и конституции.

Вот что увидел бы Тартарен, прояви он малейшую наблюдательность, но, весь отдавшись своей львиной страсти, тарасконец

шел вперед, не глядя по сторонам, вперив неподвижный взор в воображаемых чудищ, которые все не появлялись.

Так как походная палатка упорно не желала раскрываться, а таблетки мясного бульона — растворяться в воде, караван вынужден был утром и вечером делать привалы в арабских селениях. Благодаря кепи князя Григория наших охотников всюду встречали с распростертыми объятиями. Они останавливались у ага, в их своеобразных дворцах — больших белых домах без окон, где кальян вполне уживается с комодом красного дерева, смирнские ковры — с новейшими лампами, кедровые ларцы, набитые турецкими цехинами,— с часами, украшенными фигурками в стиле Луи-Филиппа... Всюду в честь Тартарена устраивались пышные празднества — *диффа*, джигитовки... По случаю его прибытия целые *гумы*, сверкая на солнце бурнусами, палили из ружей. Затем, после пальбы, радушный ага подходил к Тартарену и предъявлял счет... Вот что такое арабское гостеприимство.

А львов все нет как нет! Их здесь не больше, чем на Новом мосту!..

И все же тарасконец духом не падал. Бесстрашно углубляясь все дальше и дальше на юг, он целыми днями прокладывал себе дорогу в чаще, шарил карабином в ветвях карликовых пальм, у каждого куста кричал: «Кш! Кш!» А вечером, перед сном, небольшая двух-трехчасовая засада... Напрасный труд! Лев не показывался.

Но вот как-то вечером, часов около шести, когда караван пробирался сквозь лиловую чащу мастиковых деревьев, где жирные, отяжелевшие от зноя перепела там и сям подпрыгивали в траве, Тартарену из Тараскона почудилось — но только далекоедалекое, но только едва-едва слышное, но только едва-едва не заглушаемое ветром — чудесное рычание, которому он столько раз внимал в Тарасконе, расхаживая взад и вперед за балаганом Митен.

Сперва наш герой решил, что это ему показалось... Однако еще секунда — и по-прежнему отдаленное, но уже более явственное рычание послышалось снова, и на этот раз в ответ ему со всех сторон залаяли дуарские собаки, у верблюда задрожал от ужаса горб, загромыхали консервы и ящики с оружием.

Сомнений нет. Это лев... Скорей, скорей в засаду! Нельзя терять ни минуты.

Поблизости находился древний, увенчанный белым куполом *марабут* (гробница святого), над дверью которого, в нише, были выставлены огромные желтые туфли покойного, а по стенам развешена уйма самых разнообразных приношений: пóлы от бурнуса, золотые нитки, пряди рыжих волос... Тартарен из Тараскона оставил здесь князя с верблюдом, а сам пошел искать место для засады.

Князь Григорий изъявил желание последовать за ним, но тарасконец воспротивился: ему хотелось встретиться со львом один на один. На всякий случай он попросил его высочество никуда отсюда не уходить и передал ему на сохранение свой бумажник, туго набитый ценными бумагами и банковыми билетами,— он боялся, как бы лев не разорвал его своими когтями. Затем наш герой пошел на разведку.

В ста шагах от марабута, на берегу полувысохшей речки, подернутая дымкою сумерек, трепетала на ветру олеандровая рощица. Здесь Тартарен и устроил засаду по всем правилам: опустился на одно колено, карабин взял наизготовку, а большой охотничий нож грозно воткнул прямо перед собой в прибрежный песок.

Настала ночь. Розовый воздух полиловел, затем стал темно-синим... Внизу, меж голышей, словно ручное зеркальце, блестела прозрачная лужица. Это был водопой хищников. На противоположном склоне чуть белела тропинка, которую их огромные лапы проложили среди мастиковых деревьев. Этот таинственный спуск к реке невольно бросал в дрожь. А тут еще незримая жизнь африканских ночей: шорох задетой ветки, бархатные лапы подкрадывающихся зверей, пронзительный вой шакалов, а в небе, на высоте ста — двухсот метров, огромные станицы журавлей, летящие с криком избиваемых младенцев,— не правда ли, есть от чего смутиться?

Тартарен и был смущен! И даже очень. У бедняги зуб на зуб не попадал! Нарезной ствол карабина выбивал о рукоять охотничьего ножа, воткнутого в землю, дробь кастаньет... Ничего не поделаешь! Иной раз трудно бывает взять себя в руки, да и потом, если бы герои никогда не испытывали страха, в чем же была бы тогда их заслуга?..

Ну да, Тартарен испытывал страх, испытывал все время. Тем не менее он держался молодцом час, другой, но всякий героизм имеет свои пределы... Вдруг тарасконец слышит, что совсем близко, на высохшем речном дне под чьими-то ногами осыпаются камешки. Он в ужасе вскакивает, посылает наугад две пули в ночную тьму и без оглядки бежит к марабуту, а в песке остается торчать его нож — в память о самом сильном испуге, какой когда-либо овладевал душой истребителя чудищ.

— *Кнэзь*, ко мне!.. Лев!..

Молчание.

— *Кнэзь*, *кнэзь!* Вы тут?

Князя тут не было. На белую стену марабута, залитую лунным сиянием, один только добрый верблюд отбрасывал причудливую тень своего горба... Князь Григорий удрал с бумажником и банковыми билетами... Целый месяц его высочество дожидался такого случая...

VI

Наконец!..

По прошествии чреватой событиями и трагической ночи, когда наш герой пробудился чуть свет и окончательно удостоверился, что князь сбежал со всей его мошной,— сбежал и уже не вернется, а он остался один в маленькой белой гробнице, обманутый, обворованный, брошенный, один в этом диком Алжире, не считая верблюда, и в кармане у него завалялось всего-навсего несколько мелких монет,— только тут впервые тарасконец разочаровался. Разочаровался в Черногории, разочаровался в дружбе, разочаровался в славе, разочаровался даже во львах, и, как Христос в Гефсиманском саду, великий человек горько заплакал.

И так он, все еще в раздумье, сидел у входа в марабут, уронив голову на руки, зажав карабин между колен, а верблюд не спускал с него глаз, как вдруг кустарник зашевелился, и ошеломленный Тартарен в десяти шагах от себя увидел гигантского льва; лев приближался, высоко закинув голову и издавая страшный рев, и от этого рева задрожали стены марабута, сплошь увешанные всякой всячиной, и подпрыгнули даже туфли святого, покоившиеся в нише.

Один лишь тарасконец не дрогнул.

— Наконец! — воскликнул он, подскочив, и приставил приклад к плечу.

Бах! Бах! Фюить! Фюить!.. Готово... В голове у льва две разрывные пули... В одну минуту к огнедышащему небу Африки ужасающим фейерверком взметнулись кусочки мозга, капли дымящейся крови и клочья рыжей шерсти. Затем все рассеялось, и Тартарен увидел... двух рослых разъяренных негров, которые мчались на него с дубинами. Двух негров из Милианаха!

О, горе! То был ручной лев, жалкий слепец из Мухаммедовой обители,— вот кого сразили тарасконские пули.

На сей раз, клянусь Магометом, Тартарен отделался дешево. Негры-сборщики, эти исступленные фанатики, конечно, разорвали бы его в клочки, не пошли христианский бог ему на помощь ангела-хранителя в образе сельского стражника Орлеанвильской общины, с саблей под мышкой прибежавшего на место происшествия по глухой тропе.

При виде муниципального кепи негры тотчас же присмирели. Величественный и невозмутимый, человек с бляхой составил протокол, велел взвалить на верблюда львиные останки и, предложив истцам и ответчику следовать за ним, направился в Орлеанвиль, а там это дело было передано в суд. Началась длинная, томительная процедура.

После Алжира диких племен Тартарену из Тараскона довелось познать другой Алжир, не менее забавный и не менее страш-

ный,— Алжир городской, Алжир судов и адвокатов. Он познакомился с подозрительными стряпчими, обделывающими грязные делишки в кофейнях, с судейской богемой, с делами в папках, пропахших абсентом, с белыми галстуками, залитыми дешевым шампанским; он познакомился с судебными исполнителями, поверенными, ходатаями по делам, со всей этой тощей и голодной саранчой, облепляющей гербовую бумагу, съедающей колониста со всеми потрохами, обдирающей его по листку, точно маисовый початок...

Прежде всего надлежало выяснить, на чьей территории был убит лев: на гражданской или на военной. В первом случае дело подлежало рассмотрению в гражданском суде; во втором случае Тартарен должен был предстать перед военным трибуналом, и при одном слове «трибунал» впечатлительный тарасконец уже рисовал себе, как его расстреливают у крепостной стены или как его гноят в подземелье...

Эти две территории недостаточно четко разграничены в Алжире — вот что самое ужасное... Наконец, после целого месяца беготни, хлопот, ожидания на солнцепеке во дворах арабских присутственных мест, было установлено, что хотя, с одной стороны, лев был убит на военной территории, но, с другой стороны, Тартарен, когда стрелял, находился на территории гражданской. Дело, следовательно, слушалось в гражданском суде, и наш герой был приговорен к возмещению убытков в размере двух тысяч пятисот франков, не считая судебных издержек.

Откуда взять такие деньги? Несколько пиастров, уцелевших от налета, совершенного князем, давным-давно ушли на оплату гербового сбора и на абсент для судейских.

Несчастный истребитель львов вынужден был продавать по частям, карабин за карабином, свои оружейные ящики. Он продал кинжалы, малайские криссы, кастеты... Бакалейный торговец купил у него консервы. Аптекарь — все, что осталось от липкого пластыря. Высокие сапоги, и те вслед за усовершенствованной походной палаткой перекочевали к старьевщику, который поставил их рядом с кохинхинскими диковинами... После того как вся сумма была выплачена, у Тартарена ничего больше не осталось, кроме львиной шкуры и верблюда. Шкуру он тщательно упаковал и отправил в Тараскон бравому командиру Бравида. (Что сталось с этой необыкновенной добычей, мы увидим дальше.) С помощью же верблюда он рассчитывал добраться до Алжира, но только не сев на него верхом, а продав его и купив на эти деньги место в дилижансе, что, конечно, является наилучшим способом путешествия на верблюдах. К несчастью, сбыть с рук верблюда не так-то просто — никто не давал за него ни лиара.

Тем не менее Тартарен решил добраться до Алжира во что бы

то ни стало. Ему не терпелось увидеть вновь голубой корсаж Байи, свой домик, фонтаны и в ожидании денег из Франции отдохнуть под белыми пальметтами своей галереи. И наш герой не колебался: измученный, но не сломленный, без гроша в кармане, он решил, делая частые привалы, идти пешком.

Верблюд не покинул его в беде. Странное животное прониклось к своему хозяину непостижимой нежностью и, видя, что тот уходит из Орлеанвиля, благоговейно двинулось следом за ним, приноравливаясь к его шагу и не отставая ни на пядь.

Первое время Тартарен был даже растроган: эта верность, эта прошедшая через все испытания преданность умилила его; к тому же верблюд был крайне неприхотлив и питался неизвестно чем. Однако по прошествии нескольких дней тарасконцу наскучил унылый спутник, неуклонно следовавший за ним по пятам и напоминавший ему все его злоключения; к ощущению скуки постепенно примешалось чувство досады: его уже раздражал печальный вид верблюда, горб, гусиный шаг. Одним словом, Тартарен его невзлюбил и думал теперь только о том, как бы от него избавиться, но животное проявляло упорство... Тартарен попробовал потерять верблюда — верблюд отыскал его; попробовал спастись бегством — верблюд бегал быстрее... Он кричал на него: «Пошел!» — бросал в него камни. Верблюд останавливался и грустно смотрел на него, а потом, выждав с минуту, снова трогался в путь и неукоснительно каждый раз догонял его. Тартарен вынужден был смириться.

Когда же, прошагав восемь нескончаемо долгих дней, тарасконец, запыленный, выбившийся из сил, завидел издали, как сверкнули в зелени белые террасы окраинных домов Алжира, когда он оказался уже в пригороде, на шумной Мустафской улице, среди зуавов, бискарийцев, маонцев, толпившихся вокруг него и глазевших, как он шествует со своим верблюдом, последнее терпение у него лопнуло. «Нет, нет! — подумал он.— Это невозможно. Я не могу войти в Алжир с верблюдом!» Воспользовавшись затором в уличном движении, он свернул в поле и залег в канаве... Мгновение спустя он увидел, что наверху, по шоссе, встревоженно вытянув шею, вскачь промчался верблюд.

Тогда только, облегченно вздохнув, герой наш вылез из своего укрытия и окольной тропинкой, огибавшей его садик, возвратился в город.

VII

Катастрофа за катастрофой

Подойдя к своему мавританскому домику, Тартарен остановился в полном изумлении. День склонялся к закату, улица была безлюдна. Низкую стрельчатую дверь негритянка забыла притво-

рить, и из дома неслись смех, звон бокалов, хлопанье пробок от шампанского, а покрывал весь этот очаровательный содом женский голос, веселый и чистый; он пел:

Красавица Марко! Ты любишь
Потанцевать среди цветов?..

— Что за черт! — бледнея, прошептал Тартарен и бросился во двор.

Несчастный Тартарен! Какое зрелище его ожидало!.. Под арками галереи среди бутылок, печенья, разбросанных подушек, трубок, тамбуринов и гитар стояла Байя без голубой кофты, без корсажа, в рубашке из серебристого газа, в широких, бледно-розовых шароварах, в заломленной набекрень фуражке морского офицера и пела «Красавицу Марко»... У ее ног, на циновке, пресыщенный любовью и вареньем, Барбасу, коварный капитан Барбасу, слушал пение и помирал со смеху.

Появление Тартарена, отощавшего, изможденного, запыленного, с горящими глазами, в дыбом стоящей *шешье*, мгновенно прекратило эту прелестную оргию в турецко-марсельском вкусе. Байя взвизгнула, как испуганная левретка, и шмыгнула в дом. Барбасу, однако, ничуть не смутился,— он только еще громче захохотал.

— Ну, ну, господин Тартарен, что вы на это скажете? Убедились теперь, что она говорит по-французски?

Тартарен из Тараскона в бешенстве ринулся на него:

— Капитан!

— *Нэ волнэйся, дрэжэчек!* — крикнула мавританка и полным очаровательного задора движением перевесилась через балюстраду.

От неожиданности бедняга тарасконец плюхнулся прямо на тамбурин. Его мавританка умела говорить даже по-марсельски!

— Я вас предупреждал — держитесь подальше от алжирок!— наставительно заметил капитан Барбасу.— Это вроде вашего черногорского князя.

Тартарен насторожился:

— Вы знаете, где князь?

— Да, он отсюда недалеко! Он поселился на пять лет в уютной Мустафской тюрьме. Этого жулика поймали с поличным... Впрочем, его упрятывают не в первый раз. Его высочество где-то уже отбыл три года тюрьмы... Да позвольте! По-моему, как раз в Тарасконе.

— В Тарасконе?..— воскликнул Тартарен, которого внезапно осенило.— Так вот почему он знает только одну часть нашего города!..

— Ну разумеется!.. Вид на Тараскон из окон тюрьмы... Ах, дорогой господин Тартарен, в этой проклятой стране надо вечно быть начеку, иначе нарвешься на большие неприятности... Взять хотя бы вашу историю с муэдзином...

— Какую историю? С каким муэдзином?

— Вот тебе раз!.. С тем муэдзином, что напротив, с тем, что ухаживал за Байей... На днях об этом было в «Акбаре», и весь Алжир до сих пор покатывается со смеху... В самом деле, забавно: муэдзин, распевая молитвы на своем минарете, перед самым вашим носом объяснялся девице в любви и, призывая имя аллаха, назначал ей свидания...

— Стало быть, в этой стране все сплошь прохвосты? —взревел несчастный тарасконец.

Барбасу ответил на это философическим жестом.

— Понимаете, дорогой мой, новые страны... Ну, да не в этом дело! Послушайтесь вы моего совета: возвращайтесь как можно скорее в Тараскон.

— «Возвращайтесь»... Легко сказать... А деньги?.. Разве вы не знаете, как меня обчистили в пустыне?

— Эка важность! — со смехом сказал капитан.— «Зуав» отбывает завтра,— если хотите, я вас доставлю на родину... Согласны, дружище?.. Ну и отлично. Теперь вам только вот что надо: тут еще осталось на несколько бокалов шампанского, полпирога... Присаживайтесь! Кто старое помянет, тому глаз вон!..

Поколебавшись с минуту для приличия, Тартарен наконец согласился. Он сел, чокнулся с капитаном, на звон бокалов Байя сошла вниз и допела «Красавицу Марко», пиршество зашло далеко за полночь.

Часов около трех утра, проводив своего друга-капитана, добрый Тартарен с легкостью в мыслях, но с тяжестью в ногах возвращался домой, а когда он проходил мимо мечети, то невольно вспомнил проказника-муэдзина; это его насмешило, и в голове у него тут же составился блестящий план мести. Дверь была отперта. Он вошел, миновал длинный ряд коридоров, устланных циновками, поднялся наверх, потом еще выше и наконец очутился в маленькой турецкой молельне, где под самым потолком качался железный фонарь, отбрасывая на белые стены причудливые тени.

Муэдзин был тут: в высоком тюрбане и белом балахоне, он сидел на тахте и курил мостаганемскую трубку, а перед ним стоял большой стакан холодного абсента, к которому он, в ожидании того часа, когда ему надлежало призвать правоверных на молитву, благоговейно прикладывался... При виде Тартарена он от ужаса выронил трубку.

— Ни слова, поп!..— сказал приводивший свой план в исполнение тарасконец.— Давай сюда тюрбан и балахон!..

Турецкий поп, весь дрожа, отдал тюрбан, балахон — все, что от него потребовали. Тартарен облачился и торжественно прошествовал на минарет.

Вдали сверкало море. Белые кровли поблескивали в лунном свете. Ветер, дувший с моря, доносил запоздалые звуки гитар... Муэдзин из Тараскона собрался с духом, а затем, воздев руки, начал выкрикивать тонким голосом:

— *Ла алла ил алла*... Магомет — старый шут... Восток, Коран, башага, львы, мавританки — все это не стоит ломаного гроша!.. Нет больше *тэрок*... Остались одни прощелыги... Да здравствует Тараскон!..

Славный Тартарен, пользуясь диким наречием, представлявшим собою смесь арабского с провансальским, на все четыре стороны, на море, на город, на равнину, на горы, изрыгал весело звучавшие тарасконские проклятья, а ему внятно и торжественно отзывались муэдзины, сначала с ближних минаретов, потом с дальних, и правоверные, жившие на самом краю Верхнего города, набожно били себя в грудь.

VIII

Тараскон! Тараскон!

Полдень. «Зуав» разводит пары, сейчас отойдет. С балкона кофейной «Валентин» господа офицеры наводят подзорную трубу, а затем, по старшинству, с полковником во главе, подходят взглянуть на счастливый кораблик, который отправляется во Францию. Это любимое развлечение всего штаба... Внизу искрится водная гладь рейда. Казенная часть старых турецких орудий, врытых в землю вдоль набережной, ослепительно сверкает на солнце. Торопятся пассажиры. Бискарийцы и маонцы грузят вещи в лодки.

А у Тартарена из Тараскона вещей нет. Вот он со своим другом Барбасу идет по Морской улице, мимо небольшого базара, заваленного бананами и арбузами. Незадачливый тарасконец оставил на мавританском берегу вместе с оружейным ящиком и свои мечты, и теперь он с пустыми руками собирается отплыть в Тараскон... Только успевает он прыгнуть в капитанскую шлюпку, как с высокой площади, тяжело дыша, скатывается на набережную какое-то животное и галопом несется к нему. Это верблюд, преданный верблюд, целые сутки искавший своего хозяина по всему Алжиру.

Тартарен меняется в лице и делает вид, что верблюд не его, но верблюд приходит в исступление. Он мечется по набережной.

Он зовет своего друга, он умильно смотрит на него. «Возьми меня с собой! — кажется, говорит его грустный взгляд.— Возьми меня в лодку и увези прочь, прочь от этой бутафорской Аравии, от этого нелепого Востока с локомотивами и дилижансами, где такому одногорбому отщепенцу, как я, нет больше места в жизни. Ты — последний турок, я — последний верблюд... Так зачем же нам разлучаться, о Тартарен?..»

— Это не ваш верблюд? — спрашивает капитан.

— Нет, что вы! — отвечает Тартарен, содрогаясь при одной мысли, как бы он появился в Тарасконе с такой потешной свитой. И, без зазрения совести отрекшись от товарища по несчастью, он отталкивается от алжирской земли и приводит в движение лодку. Верблюд нюхает воду, вытягивает шею так, что хрустят суставы, со всего размаху бросается в море, плывет за шлюпкой к «Зуаву», и горб его пляшет на волнах, как тыква, а длинная шея торчит из воды, как водорез триремы.

Лодка и верблюд подплывают к пакетботу одновременно.

— А мне жаль дромадера! — говорит растроганный капитан Барбасу.— Возьму-ка я его, пожалуй, на борт... Приеду в Марсель и подарю Зоологическому саду.

С помощью канатов и блоков верблюда, отяжелевшего от морской воды, еле-еле втащили на палубу, и «Зуав» отвалил.

Плаванье продолжалось двое суток, и все это время Тартарен отсиживался у себя в каюте — не потому, чтобы море было неспокойно, и не потому, чтобы очень страдала *шешья*, а потому, что чертов верблюд, стоило хозяину появиться на палубе, оказывал ему преуморительные знаки внимания... Свет еще не видел такого навязчивого верблюда!..

В иллюминатор, куда Тартарен время от времени заглядывал, ему было видно, что синева алжирского неба час от часу бледнеет, и, наконец, однажды утром он, к великой своей радости, услышал, как в серебристом тумане звонили марсельские колокола. Приехали... «Зуав» бросает якорь.

У нашего героя вещей не было, а потому он тотчас же молча сошел с «Зуава», быстро зашагал по марсельским улицам, то и дело в испуге оглядываясь, не бежит ли за ним верблюд, и облегченно вздохнул лишь после того, как расположился в вагоне третьего класса, в прямом поезде до Тараскона... Обманчивая безопасность! Поезд и на две мили не отошел от Марселя, как уже все пассажиры прильнули к окнам. Кричат, чему-то удивляются. Тартарен тоже смотрит, и... что же он видит? Верблюда, милостивые государи, неотвратимого верблюда — он мчался по шпалам за поездом среди равнины Кро и не отставал. Тартарен в отчаянии забился в угол и закрыл глаза.

После такой неудачной экспедиции он рассчитывал вернуться домой инкогнито. Но присутствие этой громадины путало его карты. Как он возвращается, боже мой! Без единого су, без львов, без ничего... Зато с верблюдом!..

— Тараскон!.. Тараскон!..

Пора выходить...

О, ужас! Стоило *шешье* нашего героя показаться в раскрытой дверце, как громкий крик: «Да здравствует Тартарен!» — потряс застекленные своды вокзала. «Да здравствует Тартарен! Да здравствует истребитель львов!» Тут заиграла музыка, грянул хор... Тартарен рад был сквозь землю провалиться — он решил, что над ним издеваются... Но нет! Весь Тараскон в сборе, бросает шляпы, смотрит приветливо. Вот бравый командир Бравида, оружейник Костекальд, председатель суда, аптекарь, наконец, вся доблестная рать охотников за фуражками обступает своего вождя и с триумфом несет по вокзальной лестнице...

Вот он, особого рода мираж! Шкура слепого льва, отосланная командиру Бравида,— такова причина всей этой шумихи. Скромный трофей, выставленный в Клубе, поразил воображение тарасконцев, а потом и всего юга Франции. О Тартарене заговорил «Семафор». Была сочинена целая эпопея. Тартарен убил уже не одного, а десять, двадцать, невесть сколько львов! Благодаря этому Тартарен, когда высаживался в Марселе, был уже знаменитостью, сам того не подозревая, а восторженная телеграмма прибыла в его родной город на два часа раньше него.

Но своей высшей точки всеобщее ликование достигло, когда некое фантастическое животное, покрытое потом и пылью, показалось позади нашего героя и, спотыкаясь, стало спускаться по лестнице. На мгновение Тараскону почудилось, будто вновь объявился Тараск.

Тартарен успокоил своих сограждан.

— Это мой верблюд,— пояснил он.

И, уже находясь под влиянием тарасконского солнца, чудного солнца, от которого люди простодушно лгут, прибавил, поглаживая дромадера по горбу:

— Благородное животное! Всех моих львов я убил на его глазах.

Тут он дружески взял под руку командира Бравида, побагровевшего от счастья, и, сопутствуемый верблюдом, окруженный охотниками за фуражками, приветствуемый всей толпой, чинно направился к домику с баобабом и уже по дороге начал рассказ о своих необычайных охотничьих приключениях.

— Представьте себе,— говорил он,— однажды вечером, в Сахаре...

ТАРТАРЕН НА АЛЬПАХ

НОВЫЕ ПОДВИГИ ТАРАСКОНСКОГО ГЕРОЯ

I

Появление незнакомца в «Риги-Кульм». Кто он? Что говорилось за столом, накрытым на шестьсот персон. Рис и чернослив. Импровизированный бал. Незнакомец расписывается в книге для приезжающих. П. К. А.

Десятого августа 1880 года, в час сказочно прекрасного заката на Альпах, прославленного путеводителями Жоанна и Бедекера, непроницаемый желтый туман и хлопья снега в виде белых спиралей заволакивали вершину Риги *(Regina montium)* [1] и громадный отель, крайне необычно выглядевший среди этих диких горных хребтов: то был знаменитый «Риги-Кульм», сверкавший стеклами окон, словно обсерватория, построенный не менее прочно, чем крепость,— отель, куда на одни сутки толпами стекаются туристы, чтобы полюбоваться восходом и заходом солнца.

В ожидании второго звонка к обеду постояльцы этого необъятного роскошного караван-сарая скучали наверху, в своих номерах, или, пригретые влажным теплом калориферов, развалясь на диванах в читальном зале, уныло смотрели, как вместо обещанного дивного зрелища в воздухе кружатся белые мухи и как зажигаются у подъезда огромные фонари, поскрипывая на ветру двойными дверцами.

Стоило для этого тащиться такую даль, взбираться на такую крутизну... Эх, Бедекер!..

Вдруг что-то выплыло из тумана и, лязгая железом и производя нелепые телодвижения, вызывавшиеся обилием каких-то необыкновенных приспособлений, направилось к отелю.

Скучающие туристы, все эти английские *мисс*, забавно подстриженные «под мальчика», прильнули к стеклам и, шагах в два-

[1] Царицу гор *(лат.)*.

дцати различив сквозь метель некую фигуру, приняли ее сперва за отбившуюся от стада корову, потом за обвешанного инструментами лудильщика.

Шагах в десяти фигура вновь изменила обличье: за плечами у нее вырос арбалет, а на голове шлем с опущенным забралом, но чтобы среди горных высей возник средневековый лучник — это показалось еще менее вероятным, чем появление коровы или лудильщика.

Когда же владелец арбалета остановился на крыльце отдышаться и стряхнуть снег с желтых суконных наколенников, с такой же фуражки и вязаного шлема, из-под которого торчали лишь клочья темной с проседью бороды да огромные зеленые очки, похожие на стереоскоп, то оказалось, что это самый обыкновенный человек, толстый, коренастый, приземистый. Ледоруб, альпеншток, мешок за спиной, связка веревок через плечо, «кошки» и стальные крючья у пояса, стягивавшего английскую куртку с широкими язычками, дополняли снаряжение этого безукоризненного альпиниста.

На пустынных высях Монблана или Финстерааргорна такая оснастка показалась бы естественной, но в «Риги-Кульм», в двух шагах от железной дороги!..

Впрочем, альпинист шел с противоположной стороны, и вид его наколенников свидетельствовал о долгом переходе по снегу и грязи.

Недоуменным взглядом окинул он отель и все его пристройки,— по-видимому, он никак не ожидал встретить на высоте двух тысяч метров над уровнем моря столь внушительное здание, семиэтажное, многооконное, со стеклянными галереями, с колоннадами, с широким крыльцом, освещенным двумя рядами фонарей, придававших этой горной вершине сходство с площадью Оперы в зимние сумерки.

Но как ни был удивлен пришелец, а постояльцы отеля были еще больше удивлены, и едва он вошел в просторную прихожую, толпа любопытных повалила туда из всех зал: мужчины с биллиардными киями и развернутыми газетными листами, дамы с книгами или рукодельем; на верхней площадке лестницы тоже показались люди и, перегнувшись через перила, уставились на него.

Пришелец заговорил громоподобным голосом, этаким «южным басиной», звучащим, как цимбалы:

— Разэтакий такой! Ну и погодка!..

Внезапно смолкнув, он снял очки и фуражку.

У него захватило дух.

Слепящие огни, тепло, исходившее от газовых рожков и калориферов, после мрака и холода снаружи, затем эта пышная обста-

новка: высокие потолки, привратники в галунах и в адмиральских фуражках, на которых золотыми буквами было написано *Regina montium*, белые галстуки метрдотелей, целый батальон сбежавшихся по звонку швейцарок в национальных костюмах,— все это огорошило его, впрочем, только на одну секунду.

Заметив, что все на него смотрят, он приосанился, как артист перед битком набитым зрительным залом.

— Чем могу служить?..— процедил сквозь зубы шикарный директор в полосатой визитке, с холеными бакенами, завитой на манер дамского портного.

Альпинист, нимало не смутившись, спросил себе номер, «маленький удобный номерок», спросил так непринужденно, будто перед ним стоял не величественный директор, а старый школьный товарищ.

Он даже чуть было не вспылил, когда к нему подошла горничная, уроженка Берна, с подсвечником в руке, в плотно обтягивавшем ее золотом корсаже, с пышными тюлевыми рукавами, и спросила, не угодно ли ему подняться на лифте. Он был бы не менее возмущен, если б ему предложили совершить преступление.

— Чтобы я... чтобы я... на лифте!..— И от его крика, от его жеста пришли в движение все его доспехи.

Внезапно смягчившись, он сказал швейцарке:

— Нет, я по образу пешего хождения, моя кошечка...

И пошел вслед за ней, глядя в упор на ее широкую спину и всех по дороге расталкивая, меж тем как по отелю пробегала одна и та же скороговорка: «Это еще что такое?» — повторявшаяся на всех языках земного шара. Но тут раздался второй звонок к обеду, и о необыкновенном человеке тотчас же все позабыли.

Столовая в «Риги-Кульм» — зрелище воистину потрясающее.

На шестьсот персон накрыт был огромный, в виде подковы, стол, на котором длинными рядами, вперемежку с живыми растениями, стояли блюда, полные рису и чернослива, и в их светлом и темном отваре отражались неподвижные огоньки люстр и позолота лепного потолка.

Как за всеми швейцарскими табльдотами, рис и чернослив делили здесь обедавших на два враждебных лагеря, и по одному тому, какой взгляд бросали вы заранее на то или иное десертное блюдо, — взгляд, исполненный ненависти или вожделения,— можно было сразу определить, к какой партии вы принадлежите. Рисолюбы отличались худобой и бледностью, черносливцы — полнокровием.

В тот вечер черносливцев оказалось, во-первых, больше, а во-вторых, к ним примкнули наиболее важные особы, европей-

ские знаменитости, как, например, выдающийся историк, член Французской академии Астье-Рею, старый австро-венгерский дипломат барон фон Штольц, лорд Чипндейл (?), член Джокей-клоба со своей племянницей (гм! гм!), знаменитый профессор Боннского университета Шванталер и перуанский генерал с восемью дочерьми.

Между тем рисолюбы могли им противопоставить лишь таких светил, как бельгийский сенатор с семейством, супруга профессора Шванталера и возвращавшийся из России итальянский тенор, щеголявший своими запонками величиною с чайное блюдечко. Неловкость и натянутость, которые чувствовались за столом, по всей вероятности вызывались именно тем, что здесь столкнулись два противоположных течения. Иначе как же объяснить, что все эти шестьсот персон, надутые, хмурые, подозрительные, хранили упорное молчание и смотрели друг на друга с величайшим презрением? Поверхностный наблюдатель приписал бы это нелепой англосаксонской чванливости, которая в мире путешественников всюду задает теперь тон.

Нет, нет! Существа, еще не потерявшие образа человеческого, не возненавидят друг друга с первого взгляда, не станут только из-за того, что они незнакомы, задирать нос, кривить рот и смотреть свысока друг на друга. Тут кроется нечто иное.

Я вам уже сказал: рис и чернослив. Вот причина мрачного молчания, повисшего над обеденным столом в «Риги-Кульм», а между тем, принимая во внимание многочисленность разноплеменных гостей, обед мог бы здесь пройти так же шумно и оживленно, как если б он был устроен у подножья Вавилонской башни.

Когда альпинист вошел, вид залитой светом люстр трапезы молчальников привел его в некоторое замешательство; он громко откашлялся, но на него никто не обратил внимания, — тогда он сел с краю стола, в самом конце залы. Без доспехов, это был теперь обыкновенный турист, но в самой внешности этого человека, плешивого, с брюшком, с остроконечной густой бородкой, с величественным носом и добрыми глазами, глядевшими из-под пушистых сердитых ресниц, было что-то особенно привлекательное.

Кто же он: рисолюб или черносливец? Это пока еще представляло загадку.

Только успев сесть, он беспокойно заерзал на стуле, потом испуганно вскочил.

— А, чтоб его!.. Сквозняк!..— воскликнул он и устремился к свободному стулу в середине залы, прислоненному спинкой к столу.

Служанка, родом из кантона Ури, в белом переднике, увешанном серебряными цепочками, остановила его:

— Это место занято, сударь...

Но тут сидевшая рядом девушка, у которой видна была только шапка светлых волос над белоснежной шеей, сказала, не оборачиваясь, с сильным акцентом:

— Нет, оно свободно... Мой брат болен и сегодня не выйдет к столу.

— Болен? Болен? — участливо, почти встревоженно спросил альпинист, садясь за стол.— Надеюсь, не опасно, а?

Он произнес — «э». Эту частицу он вставлял во все свои фразы вместе со словами-паразитами, вроде: «Что, ну что, а ну, а да ну, ух ты, ишь ты, гляньте-ка, э-эх, все-таки», которые еще резче подчеркивали его южное произношение, а юной блондинке оно, по-видимому, не нравилось, потому что она, ничего ему не ответив, окинула его ледяным взглядом бездонно глубоких темно-синих глаз.

Сосед справа тоже не очень к себе располагал; это был итальянский тенор, ражий детина с низким лбом, маслеными глазками и воинственными усами, которые он начал сердито покручивать, как только его разъединили с хорошенькой соседкой. Но добрый наш альпинист любил поговорить за едой,— он считал, что это полезно для здоровья.

— Ишь ты! Какие красивые запонки!..— вслух заговорил он сам с собой, посматривая на манжеты итальянца.— На яшме вырезаны ноты — *прррэлэстно!..*

Его голос, в котором слышался металл, рокотал в полной тишине и не будил ни малейшего отзвука.

— Вы, наверно, певец? *Чтэ*?

— *Non capisco...*[1] — пробурчал себе под нос итальянец.

Альпинист с сокрушенным сердцем начал есть молча, но куски застревали у него в горле. Наконец, как только сидевший против него австро-венгерский дипломат потянулся дрожащей от старости сухонькой ручкой, которую обтягивала митенка, к горчичнице, он предупредительно подвинул ее.

— Пожалуйста, барон...

Он слышал, что все именно так обращались к дипломату. Но вот горе: бедный фон Штольц, несмотря на то что он производил впечатление человека хитроумного, искушенного в дипломатических тонкостях, давным-давно растерял все слова и мысли и теперь путешествовал в горах для того, чтобы вновь обрести их. Он поднял свой безжизненный взор, остановил его на незнакомом лице,

[1] Не понимаю... *(итал.)*

затем молча опустил. Нужно было, по крайней мере, десять старых дипломатов с такими же умственными способностями, как у него, чтобы совместными усилиями составить формулу самой обыкновенной благодарности.

При этой новой неудаче лицо альпиниста приняло свирепое выражение, и по той стремительности, с какой он схватил бутылку, можно было подумать, что он сейчас запустит ею в старого дипломата и проломит ему немудрую голову. Ничуть не бывало! Он просто-напросто решил предложить вина своей соседке, но она была поглощена беседой вполголоса с двумя молодыми людьми, сидевшими рядом с ней, поглощена приятным для слуха, оживленным щебетом на каком-то непонятном языке и не слыхала, что он к ней обратился. Она беспрестанно наклонялась к своим собеседникам. Над ее маленьким прозрачным розовым ушком блестели при свете люстр завитки светлых волос... Кто она: полька, русская, норвежка?.. Во всяком случае, северянка. Тут южанин невольно вспомнил песенку своего родного края и преспокойно стал ее напевать:

Севера звезда, графиня!
Вижу я: вас нынче вновь
Серебром осыпал иней,
Чистым золотом — Любовь.

Все обернулись: уж не сошел ли он с ума? Южанин покраснел и молча уткнулся в свою тарелку, но потом все же встрепенулся — только для того, чтобы оттолкнуть поданное ему сладкое блюдо.

— Опять чернослив!.. Да ни за что на свете!

Это было уже слишком.

Все задвигали стульями. Академик, лорд Чипндейл(?), боннский профессор и другие важные персоны из партии черносливцев встали и в знак протеста покинули зал.

Рисолюбы почти тотчас же последовали за ними, так как и другие десертные блюда были отвергнуты альпинистом не менее решительно.

Ни рис, ни чернослив!.. Но тогда что же?..

Все направились к выходу, и было что-то леденящее в этом молчаливом шествии поднятых носов и надменно поджатых губ мимо несчастного альпиниста,— подавленный всеобщим презрением, он остался один в огромной, ярко освещенной зале как раз в ту минуту, когда, накрошив хлеба, он собирался приготовить себе блюдо, которое так любят на юге!

Друзья мои, не презирайте никого! Презрение — это козырь в руках выскочек, позеров, уродов и глупцов, личина, за которой

прячется ничтожество, а иногда и низость, и которая прикрывает отсутствие ума, собственного мнения и доброты. Все горбуны исполнены презрения, все курносые морщат и задирают свой нос при виде носа прямого.

Добрый альпинист это знал. Ему было уже за сорок, он уже переступил через «роковой сороковой», он находился в той поре, когда человек подбирает и находит волшебный ключ, отмыкающий потайные двери жизни, за которыми открывается однообразная обманчивая анфилада; он отлично знал цену жизни, сознавал всю важность своего назначения, понимал, к чему обязывает его громкое имя, а потому его нимало не беспокоило, что о нем думают эти господа. Ведь ему стоит только назвать себя, крикнуть: «Это я!..» — и все эти надменно выпяченные нижние губы тотчас расплывутся в почтительной улыбке. Но инкогнито его забавляло.

Он страдал лишь оттого, что не мог разговаривать, шуметь, откровенничать, отводить душу, пожимать руки, фамильярно похлопывать по плечу, называть собеседников уменьшительными именами. Вот что угнетало его в «Риги-Кульм».

Особенно он страдал оттого, что не мог разговаривать!

«Этак и типун на языке вскочит...» — рассуждал сам с собой бедняга, слоняясь по отелю и не зная, чем заняться.

Он зашел в кафе, обширное и пустое, как собор в будни, подозвал официанта, назвал его «мой милый друг» и заказал «кофе, но только без сахару. *Чтэ?*». И хотя официант не спросил его: «А почему без сахару?» — альпинист поспешил добавить: «Эта привычка осталась у меня от того времени, когда я охотился в Алжире».

Ему не терпелось рассказать о своей замечательной охоте, но официант, неслышно, как привидение, ступая в своих мягких туфлях, полетел к лорду Чипндейлу,— тот, развалясь на диване, каркал: «Чимпэньского!.. Чимпэньского!» Выстрелила пробка, а затем в наступившей тишине было слышно лишь, как воет ветер в трубе монументального камина да прерывисто шуршит снег, ударяясь о стекла окон.

Читальный зал тоже наводил тоску: у всех в руках газеты, сотни голов склонились под рефлекторами над длинными зелеными столами. Время от времени слышится зевок, покашливанье, шелест переворачиваемых листов, и, возвышаясь над тишиной этой классной комнаты, спиной к печке стоят неподвижно два жреца официальной истории, Шванталер и Астье-Рею, оба величественные, оба одинаково пропахшие плесенью, по прихоти судьбы встретившиеся на вершине Риги после того, как они тридцать лет подряд ругательски ругали друг друга и в объяснительных запис-

ках выражались не иначе, как «Круглый дурак Шванталер... *Vir ineptissimus*[1] Астье-Рею...»

Можно себе представить, какой прием оказали они общительному альпинисту, когда он подсел к ним потолковать у огонька и понабраться от них ума-разума! От этих кариатид на него тотчас повеяло холодом, а он этого так не любил! Он встал и зашагал по залу — не только для того, чтобы замять неловкость, но и для того, чтобы согреться,— затем открыл библиотечный шкаф. Там валялось несколько английских романов вперемежку с толстыми Библиями и разрозненными томами «Записок Швейцарского клуба альпинистов». Он достал одну книгу и хотел было взять ее с собой, почитать перед сном, но вынужден был водворить на место, так как уносить книги из читального зала в номера не разрешалось.

Он опять начал бродить и наконец приотворил двери биллиардной,— там гонял шары итальянский тенор, играя торсом и манжетами, чтобы привлечь внимание своей хорошенькой соседки по табльдоту, сидевшей на диване между двумя молодыми людьми и читавшей им какое-то письмо. При появлении альпиниста она прервала чтение, а один из молодых людей, тот, что был выше ростом, поднялся с места,— это был настоящий мужепес с волосатыми ручищами, с грязными черными патлами и нечесаной бородой. Он сделал два шага навстречу вошедшему и посмотрел на него вызывающим и до того свирепым взглядом, что добрый альпинист, не потребовав никаких объяснений, благоразумно и с достоинством сделал пол-оборота направо.

— Неприветливый все-таки народ эти северяне!..— сказал он громко и, чтобы показать дикарю, что он его не боится, хлопнул дверью.

Последним прибежищем оставался салон. Альпинист туда вошел — ах, пропади он пропадом, этот салон!.. Ну и мрачно же было там, если б вы только знали! Мрачно, как в Сен-Бернардском монастыре, где монахи выставляют напоказ замерзших, которых они выкопали из-под снега,— выставляют в самых разнообразных положениях, в каких те закоченели. Вот что такое салон в «Риги-Кульм».

Дамы, все до одной застывшие, молчаливые, сидели группами на диванах, расставленных вдоль стен, некоторые поодиночке раскинулись в креслах. Мисс, все до одной, сидели, точно скованные холодом, за круглыми столиками, у ламп, и держали в руках кто альбом, кто журнал, кто вышиванье. Среди них находились генеральские дочки — восемь маленьких перуанок, бросавшихся в глаза шафранным цветом лица, подвижностью черт и тем конт-

[1] Болван *(лат.)*.

растом, какой составляли их яркие ленты с серо-зелеными тонами английских платьев, эти бедные «жаркостранки», которых так легко было себе представить гримасничающими, прыгающими по верхушкам кокосовых пальм и которые еще в большей степени, чем другие жертвы, вызывали чувство жалости своей вынужденной немотой и закоченелостью. А в глубине салона, у фортепьяно, виднелся зловещий силуэт старого дипломата— его маленькие безжизненные руки в митенках лежали на клавиатуре, бросавшей на его лицо желтоватый отсвет...

Силы и память изменили бедному фон Штольцу, и он безнадежно запутался в польке собственного сочинения: он проигрывал несколько тактов, но, забыв коду, всякий раз начинал сызнова и в конце концов, играя, уснул, а за ним, потряхивая причудливо взбитыми локонами или чепцами, отделанными кружевом, похожим на корочку от слоеного пирога,— чепцами, которые так любят англичанки и которые в мире путешественников являются признаком хорошего тона,— стали погружаться в сон и все дамы.

Появление альпиниста не пробудило их, и он, проникшись всей этой леденящей душу атмосферой уныния, рухнул на диван, но тут вдруг в прихожей весело и громко заиграла музыка: три бродячих музыканта, из тех, что обходят все швейцарские отели, из тех, что носят длинные, до колен, сюртуки и у которых такие жалобные лица, явились с арфой, флейтой и скрипкой в «Риги-Кульм».

При первых же звуках музыки альпинист так и подпрыгнул.

— Ух ты! Браво!.. Музыку сюда!

И скорей бежать, скорей все двери настежь, скорей угощать музыкантов, поить их шампанским, и сам он при этом хмелеет, но не от вина, а от музыки. Он подражает флейте, подражает арфе, прищелкивает у себя над головой пальцами, вращает глазами, приплясывает, к великому изумлению туристов, со всех концов сбежавшихся на шум. И вдруг наш альпинист, завидев в дверях жену профессора Шванталера, уроженку Вены, толстушку с такими задорными глазками, что, несмотря на сплошь седые волосы, она кажется гораздо моложе своих лет, загоревшись при звуках вальса Штрауса, который раззадоренные музыканты играют с чисто цыганским остервенением, подбегает к ней, обнимает за талию и увлекает, крича остальным: «Что же вы? Что же вы?.. Танцуйте!»

Толчок дан — и вот уже все оттаяли, все закружились и понеслись. Танцуют в прихожей, в салоне, вокруг длинного зеленого стола в читальном зале. А ведь это он их так расшевелил, вот молодчина! Сам он, однако, больше не танцует — прошелся несколько туров и запыхался. Но он распоряжается балом, подгоняет музыкантов, подбирает пары, бросает боннского профессора

в объятия к какой-то старой англичанке, на чопорного Астье-Рею напускает самую резвую из перуанок. Сопротивляться бесполезно. От этого ужасного альпиниста исходят какие-то токи, от которых вы срываетесь с места, от которых у вас вдруг становится легко на душе. И — ух ты, ух ты! Презрения, ненависти как не бывало. Нет больше ни рисолюбов, ни черносливцев — вальсируют все. Безумие распространяется, охватывает все этажи, и в широком пролете лестницы видно, как на площадке седьмого этажа кружатся, будто заводные куклы, служанки-швейцарки в своих тяжелых пестрых юбках.

И пусть на дворе бушует ветер, раскачиваются фонари, гудит телеграфная проволока, пусть крутятся снежные вихри на пустынной вершине. Здесь уютно, тепло, и на всю ночь хватит и тепла и уюта.

«Пойду-ка я все-таки спать...» — говорит себе добрый альпинист, ибо он человек благоразумный, ибо он из того края, где быстро воспламеняются, но еще быстрее гаснут. Посмеиваясь в свою седоватую бороду, он пробирается, он крадется так, чтобы ускользнуть от фрау Шванталер, которая после тура вальса всюду ищет его, вцепляется в него, все хочет «плясирен... танцирен...».

Он берет ключ, подсвечник и на площадке второго этажа останавливается на минутку, чтобы полюбоваться делом рук своих, взглянуть на этих сидней, которых он заставил веселиться, которых он растормошил.

Тяжело дыша после прерванного вальса, к нему подбегает швейцарка и протягивает ему вместе с пером книгу для приезжающих:

— Будьте любезны, сударь, распишитесь...

Он колеблется. Стоит или не стоит сохранять инкогнито?

А впрочем, какое это имеет значение? Если даже весть о его прибытии и разнесется по отелю, все равно никто не догадается, зачем он приехал в Швейцарию. А зато любопытно будет посмотреть завтра утром, как вытянутся физиономии у всех этих «инглишменов», когда они узнают... Девчонка наверняка проболтается... То-то все удивятся, то-то все будут ошеломлены!..

— Как? Это он?.. Он!..

Мысли эти мелькнули у него в голове, стремительные, скользящие, как удары смычка. Он взял перо и небрежною рукою под именами Астье-Рею, Шванталера и других знаменитостей поставил имя, которое должно было затмить все предыдущие,— то есть свое имя. Затем он поднялся к себе в номер, даже не полюбовавшись тем впечатлением, какое он произвел на служанку,— так он был уверен в эффекте.

Швейцарка заглянула и прочла:

А под этим:

П. К. А.

Уроженка Берна, прочтя это, совсем не была ошеломлена. Она понятия не имела, что означают буквы: П. К. А. Она ничего не слыхала о «Дардарене».

Э-эх, дикарка!

II

Тараскон — поезд стоит пять минут! Клуб альпинцев. Что такое П. К. А. Кролики садковые и кролики капустные. «Вот мое завещание». Мертвецкий сироп. Первый подъем. Тартарен вынимает очки

Когда название «Тараскон» звучит, как фанфара, в поезде Париж — Лион — Средиземное море под чистым, струящимся провансальским небом, головы любопытных пассажиров выглядывают из всех окон экспресса, и от вагона к вагону идет перекличка:

— А вот и Тараскон!.. Посмотрим, каков Тараскон!

А между тем ничего особенного в нем как будто и нет: мирный, чистенький городок, башни, кровли, мост через Рону. Места эти славятся и привлекают к себе беглый взор пассажиров, во-первых, тарасконским солнцем, чудотворством миража, порождающего столько неожиданностей, столько вымыслов, столько забавных нелепостей, а во-вторых, этим маленьким жизнерадостным народцем ростом с чечевичное зернышко, отражающим и воплощающим в себе инстинкты всего французского юга, народом живым, подвижным, болтливым, взбалмошным, потешным, впечатлительным.

Летописец Тараскона на достопамятных страницах своей истории (назвать ее точнее ему не позволяет скромность) некогда попытался нарисовать картину счастливых дней маленького городка, жители которого посещали Клуб, распевали романсы, причем у каждого из них был свой любимый романс, и за неимением дичи устраивали любопытную охоту за фуражками. Потом вспыхнула война, и для Тараскона тоже настало грозное время, время его героической обороны: эспланаду заминировали, к Клубу и к Театральному кафе немыслимо было пробраться, жители, все, как один, вступили в вольные дружины, нацепили нашивки в виде скрещенных костей и черепа, все, как один, отрастили бороды и сверху донизу увешались секирами, палашами и американскими револьверами,— бедняги боялись близко подойти друг к другу на улице.

Много лет прошло с тех пор, много календарей было брошено в печь, но Тараскон ничего не забыл: отказавшись от прежних пустых развлечений, он думал теперь только о том, как бы развить

в себе силу и ловкость для будущего реванша. Стрелковые и гимнастические общества, у каждого из которых была своя форма, свое снаряжение, свой оркестр и свое знамя, фехтование, бокс, бег, борьба, в которой принимали участие даже лица из высшего круга, вытеснили охоту за фуражками и платонические охотничьи беседы у оружейника Костекальда.

Наконец, Клуб, тот самый старый Клуб, отказавшись от буйотты и безика, превратился в Клуб альпинцев по образцу знаменитого лондонского Эльпайн-клоба, слава которого гремит даже в Индии. Различие между этими двумя клубами заключается в следующем: тарасконцы, вместо того чтобы, покинув родимый край, стремиться достигнуть чужеземных высот, довольствуются тем, что́ у них под рукой или, вернее, под ногой, за чертой города.

Альпы в Тарасконе?.. Альп, правда, нет, но зато есть Альпины: эта цепочка горок, благоухающих тмином и лавандой, не слишком крутых и не очень высоких (всего 150—200 метров над уровнем моря), голубыми волнами застилает горизонт перед глазами путников, странствующих по дорогам Прованса, и каждую такую горку фантазия местных жителей постаралась украсить баснословным и в то же время выразительным названием: Страшная гора, Край света, Пик великанов и т. д.

Любо смотреть, как в воскресное утро тарасконцы, все до одного в гетрах, опираясь на альпенштоки, с мешками и палатками за плечами, с горнистами впереди, отправляются совершать подъем, о котором, не щадя красок и употребляя самые сильные выражения, вроде «наводящие ужас обрывы, пропасти, теснины», как будто речь идет о восхождении на Гималаи, даст потом отчет местная газета «Форум». Понятно, что благодаря подобным забавам местные жители значительно окрепли и у них появились двойные мускулы, которые прежде составляли преимущество одного лишь Тартарена, доброго, неустрашимого, героического Тартарена.

Если Тараскон — олицетворение юга, то Тартарен — олицетворение Тараскона. Он не только первый его гражданин, он его душа, его гений, он воплощение всех его сумасбродств. Всем известны его былые подвиги, его певческие триумфы (о незабываемый дуэт из «Роберта Дьявола» в аптеке у Безюке!) и потрясающая одиссея его охоты на львов в Алжире, откуда он вывез великолепного верблюда, последнего алжирского верблюда, который впоследствии изнемог под бременем лет и почестей и чей остов доныне покоится в городском музее среди прочих тарасконских достопримечательностей.

Зато сам Тартарен отлично сохранился: все такие же у него прекрасные зубы, все такой же меткий глаз, несмотря на то что ему перевалило за сорок, и прежнее пылкое воображение, прибли-

жающее и увеличивающее предметы не хуже любого телескопа. О нем и сейчас бравый командир Бравида с полным основанием мог бы сказать: «Он у нас молодец...»

Молодец-то молодец, да только на свой особый образец. В Тартарене, как во всяком тарасконце, уживаются две ярко выраженные породы —кролика садкового и кролика капустного. Кролик садковый — непоседа, смельчак, сорвиголова, кролик капустный— домосед, любит лечиться и безумно боится переутомления, сквозняка и всевозможных случайностей, которые могут оказаться роковыми.

Общеизвестно, что благоразумие не мешало Тартарену в случае необходимости действовать храбро, даже героически. Позволительно, однако, задать себе вопрос: что же он собирался делать на Риги *(на Regina montium)* в таком возрасте и после того, как он столь дорогою ценой приобрел право на отдых и благоденствие?

На этот вопрос мог бы ответить один лишь вероломный Костекальд.

Костекальд, по роду своих занятий оружейник, представляет собою тип, довольно редкий в Тарасконе. Зависть, низкая, черная зависть, залегающая в злобной складке его тонких губ и чем-то вроде клубов желтого пара исходящая из его печени, заканчивает его широкое, тщательно выбритое, с правильными чертами лицо сплошь в каких-то вмятинах, точно от ударов молотка, напоминающее изображения Тиберия или Каракаллы на старинных медалях. Зависть — это у него своего рода болезнь, и он даже не пытается ее скрыть; со свойственным ему бурным тарасконским темпераментом он сплошь да рядом не выдерживает и так говорит о своем недуге:

— Вы себе не представляете, как это мучительно...

Виновником Костекальдовых мучений был, разумеется, Тартарен. Столько почестей одному человеку! Везде и всюду он! И Костекальд вот уже двадцать лет медленно, незаметно, подобно древоточцу, забравшемуся в золоченого идола, подтачивает изнутри его громкую славу, долбит ее, подрывает. Когда вечерами в Клубе Тартарен рассказывал о своей охоте на львов, о скитаниях по необозримой Сахаре, Костекальд беззвучно посмеивался и недоверчиво покачивал головой.

— Ну, а как же шкуры, Костекальд?.. Ведь он же прислал нам львиные шкуры, и они висят в клубной зале!..

— Ах, ах, ах!.. А вы думаете, в Алжире мало скорняков?

— А следы пуль, эти круглые дыры в головах?..

— Ну и что? Разве во времена охоты за фуражками неопытные стрелки не покупали у наших шапочников простреленные дробью дырявые фуражки?

Разумеется, эти подвохи бессильны были поколебать славу Тартарена — истребителя хищных зверей, но в качестве альпиниста он был далеко не так неуязвим, и Костекальд этим пользовался и метал громы и молнии по поводу того, что председателем Клуба альпинцев избран человек, с годами явно «отяжелевший», да к тому же привыкший в Алжире к мягким туфлям и просторной одежде, еще больше располагающей к лени!

В самом деле, Тартарен редко принимал участие в восхождении на горы; он предпочитал напутствовать альпинцев, а потом, на торжественных заседаниях, вращая глазами и с такими интонациями, от которых бледнели дамы, читать потрясающие отчеты об экспедиции.

Напротив, Костекальд, жилистый, поджарый, «Петушья Нога», как его называли, лез всегда впереди всех; он облазил Альпины и на неприступных вершинах водрузил клубное знамя с изображением Тараска на звездном поле. Тем не менее он был всего лишь вице-президентом, В. П. К. А. Но он развил такую бешеную деятельность, что на предстоящих выборах Тартарена провалили бы наверняка.

Испытанные друзья Тартарена —аптекарь Безюке, Экскурбаньес и бравый командир Бравида — предупредили его, и на душе у нашего героя стало ужасно мерзко; в нем поднялась волна негодования, которую у натур возвышенных всегда вызывают неблагодарность и несправедливость. Он уже готов был махнуть на все рукой и покинуть родину, то есть перейти мост и поселиться в Бокере, у вольсков, но, впрочем, быстро успокоился.

Бросить свой домик, сад, изменить столь милым его сердцу привычкам, отказаться от президентского кресла в Клубе альпинцев, который он же и учредил, от пышных инициалов П. К. А., которые составляли украшение и отличительный знак его визитных карточек, бумаги для писем и даже подкладки его шляпы? Нет, это невозможно, ни, ни, ни! И тут его осенила счастливая мысль.

В сущности говоря, подвиги Костекальда представляли собою прогулки по Альпинам, не больше. Почему бы Тартарену в течение трех месяцев, которые еще оставались до перевыборов, не затеять какое-нибудь грандиозное предприятие? *Напрррмэр*, водрузить клубный стяг на вершине одной из самых высоких гор в Европе — на Юнгфрау или на Монблане?

Какой триумф по возвращении, какая пощечина Костекальду, когда «Форум» поместит отчет об этом восхождении! Пусть-ка он тогда попробует оспаривать у Тартарена президентское кресло!

Тартарен тотчас же принялся за дело: тайно от всех выписал себе уйму специальных трудов —«Восхождения на горы» Вимпера,

«Ледники» Тиндаля, «Монблан» Стефана д'Арва, записки Английского и Швейцарского клубов альпинистов — и забил себе голову множеством альпинистских терминов, смысл которых оставался ему, однако, не совсем ясен,— всеми этими «каминами, кулуарами, фирнами, сераками, моренами и трещинами».

По ночам ему снились страшные сны: то будто он скользил без конца по льду, то стремглав летел в бездонную расселину, на него рушились обвалы, острые льдины пронзали ему грудь. И долго потом, уже проснувшись и напившись шоколаду,— по своему обыкновению, в постели,— он находился под тяжелым, гнетущим впечатлением от дурного сна. И тем не менее, встав с постели, он все утро усердно тренировался.

Через весь Тараскон тянется бульвар, который у местных жителей получил название Городского круга. Каждое воскресенье, после обеда, тарасконцы, люди косные, несмотря на всю живость их воображения, обходят этот круг, и непременно в одном направлении. Тартарен приучил себя обходить его восемь, а то и десять раз в течение утра, причем нередко и в обратном направлении. Он шел, заложив руки за спину, решительным, медленным, уверенным, настоящим «горным» шагом, и при виде его лавочники, напуганные столь явным нарушением местных обычаев, терялись в догадках.

У себя, в своем экзотическом садике, он учился прыгать через расселины, то есть перескакивал через бассейн, в котором среди водорослей плавали карпы; дважды при этом он падал в воду и вынужден был переодеваться. Но эти неудачи еще пуще его раззадоривали: будучи подвержен головокружениям, он, к великому ужасу старой служанки, которая никак не могла взять в толк, к чему все эти фокусы, ходил по узкой закраине колодца.

Одновременно он заказал хорошему авиньонскому слесарю «кошки» системы Вимпера и ледоруб системы Кеннеди; запасся он также спиртовкой, двумя непромокаемыми плащами и двумястами футов веревки собственного изобретения, сплетенной из проволоки.

Прибытие этих предметов, а также таинственные разъезды, которых потребовало их изготовление, возбудили у тарасконцев живейшее любопытство. В городе говорили: «Президент что-то затевает». Но что именно? Разумеется, нечто сногсшибательное, ибо, пользуясь прекрасным выражением бравого и склонного к нравоучениям командира Бравида, каптенармуса в отставке, изъяснявшегося исключительно поговорками, «орел на мух не охотится».

Даже самым близким друзьям Тартарен не поверил своей тайны. Только на заседаниях Клуба все замечали, как дрожал у него голос и какие ослепительные молнии загорались у него во

взоре, когда он обращался к Костекальду, косвенному виновнику новой экспедиции, трудность и опасность которой по мере ее приближения становились ему все яснее. Злосчастный Тартарен не закрывал на это глаза — напротив, экспедиция рисовалась ему в необыкновенно мрачном свете, настолько, что он даже счел необходимым привести в порядок свои дела и составить духовное завещание, а между тем для таких жизнелюбов, как тарасконцы, изъявление последней воли — это нож острый, и большинство из них умирает, так и не составив завещания.

И вот представьте себе ясное июньское утро, безоблачный, роскошный небосвод, растворенную дверь кабинета, ведущую в маленький садик с заботливо посыпанными песком дорожками, садик, где четко вырезываются на земле недвижные лиловые тени экзотических растений и где чистый звук звонкой струйки воды выделяется среди радостных криков маленьких савояров, играющих у калитки в классы, и, наконец, самого Тартарена в мягких туфлях, в просторной фланелевой одежде, довольного, счастливого, с трубкой в зубах, пишущего и вслух перечитывающего только что написанное:

ВОТ МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Конечно, можно приказать своему сердцу молчать, можно взять себя в руки, а все же, что ни говорите, это мучительные мгновения. Однако ни рука, ни голос у Тартарена ни разу не дрогнули, пока он распределял между своими согражданами те сокровища из разных стран, которые он собрал, за которыми он так ухаживал и которые хранились у него в домике в таком образцовом порядке:

Клубу альпинцев — баобаб *(arbos gigantea)*; пусть он стоит на камине в зале заседаний;

Бравида — карабины, револьверы, охотничьи ножи, малайские криссы, томагавки и прочие виды оружия;

Экскурбаньесу — все чубуки, индейские трубки, наргиле, трубочки для курения гашиша и опиума;

Костекальду — да, да, Тартарен не забыл и Костекальда! — знаменитые отравленные стрелы («Не прикасайтесь!»).

Быть может, этот последний пункт был составлен не без тайной надежды, что предатель наколется на стрелу и умрет; во всяком случае, из самого текста завещания это отнюдь не явствовало, и заканчивалось оно словами, дышавшими поистине божественной кротостью:

«Прошу моих дорогих альпинцев не забывать своего президента. Пусть они простят моему врагу, как прощаю ему я, несмотря на то что он главный виновник моей смерти...»

Тут Тартарен невольно остановился — слезы так и хлынули у него из глаз. Его мысленный взор нарисовал такую картину: вот он, разбившись, лежит у подножья высокой горы, вот его кладут на повозку, а затем отсылают в Тараскон его изуродованные останки. О, сила провансальского воображения! Он уже присутствовал на собственных похоронах, слышал заупокойное пение, слышал речи над своей могилой: «*Бэдный Тартарррен, вэчная ему память!..*» И, затерянный в толпе друзей, он сам себя горько оплакивал.

Однако вид кабинета, сплошь залитого солнцем, лучи которого играли на рядах оружия и трубок, и песенка фонтана, доносившаяся из сада, вернули его к действительности. Зачем же все-таки умирать? Зачем даже уезжать? Кто его гонит? Что за идиотское честолюбие! Рисковать жизнью ради президентского кресла и инициалов!..

Но это была опять-таки слабость, столь же мимолетная, как и предшествовавшая ей. В пять минут завещание было закончено, скреплено подписью и огромной черной печатью, после чего великий человек занялся последними приготовлениями к отъезду.

Тартарен садковый снова восторжествовал над Тартареном капустным. О тарасконском герое можно было сказать то же, что было сказано о Тюренне: «Его плоть не всегда была готова идти на битву, но дух его вел помимо него».

В тот же вечер, когда часы на ратуше пробили десять, когда улицы опустели и словно расширились и лишь кое-где запоздало стучал дверной молоток да перекликались впотьмах сдавленные, охрипшие от страха голоса: «*Ннэ*, спокойной ночи!..» — а затем хлопали двери, кто-то крался по темному городу, где фасады домов были освещены лишь фонарями, а розовые и зеленые шары освещали фасад стоявшей на Малой площади аптеки, в окне которой четко очерчивался силуэт Безюке, дремавшего за конторкой над фармакопеей. Этот скромный аванс Безюке брал у себя ежевечерне, от девяти до десяти, с тем чтобы, как он выражался, быть пободрее, если ночью потребуются его услуги. Между нами говоря, это была чистейшая тарасконада, потому что никто никогда его не будил и, чтобы спать спокойно, он сам же отвязывал на ночь проволоку у звонка.

Внезапно в аптеку вошел Тартарен, таща на спине плащи, с дорожным мешком в руках, до того бледный и расстроенный, что аптекарь перепугался не на шутку, ибо его пламенному тарасконскому воображению тотчас представилось нечто ужасное.

— Несчастный!.. Что с вами?.. Вас отравили?.. Скорей, скорей рвотного!

И, опрокидывая склянки, он заметался по комнате. Чтобы удержать Безюке, Тартарену пришлось схватить его в охапку.

— Да выслушайте вы меня, *чэрррт побери!*

В голосе его слышалась сдержанная досада актера, которому сорвали эффектный выход. Все еще держа железною рукою аптекаря, замершего за прилавком, Тартарен спросил его шепотом:

— Мы одни, Безюке?

— Ну да!..— сказал тот, с безотчетным страхом оглядываясь по сторонам.— Паскалон спит (Паскалон был его ученик), маменька тоже, а что?

— Закройте ставни,— не ответив на вопрос, скомандовал Тартарен.— Нас могут увидеть с улицы.

Безюке, дрожа всем телом, повиновался. Старый холостяк, он всю жизнь прожил с матерью и был тих и застенчив, как девушка, что составляло резкий контраст с его загрубелой кожей, толстыми губами, большим крючковатым носом и длинными усами — одним словом, с наружностью пирата из еще не покоренного Алжира. Подобные противоречия в Тарасконе нередки, ибо головы тарасконцев просятся на полотно — до того они выразительны, до того ярко в них запечатлелись характерные особенности римлян и сарацин, обладатели же их занимаются безобидными ремеслами и проживают в тишайшем захолустном городке.

Так, например, Экскурбаньес, похожий на конкистадора, сподвижника Писарро, содержит галантерейную лавочку и вращает горящими глазами, продавая на два су ниток, а Безюке, наклеивающий ярлычки на коробочки с лакрицей и на пузырьки с *sirupus gummi*[1], напоминает старого пирата — грозу берберийских берегов.

Как только ставни с помощью болтов и задвижек были плотно затворены, Тартарен, любивший называть собеседников просто по именам, начал так:

— Послушайте, Фердинанд...

И он тут же все и выложил, излил все, что накипело у него в сердце, всю свою досаду на неблагодарных сограждан, рассказал о происках Петушьей Ноги, о том, что соперник собирается провалить его на выборах, и о том, как он, Тартарен, намерен парировать удар.

Прежде всего надо держать его замысел в тайне и открыть только тогда, когда это будет необходимо, когда от этого будет зависеть успех его затеи, которому, впрочем, всегда может помешать какая-нибудь случайность, какая-нибудь страшная катастрофа...

---

[1] Камедным сиропом *(лат.)*.

— А, черт вас возьми, Безюке, да не свистите же вы, когда с вами разговаривают!

Это у Безюке вошло в привычку. Он был несловоохотлив от природы, что вообще не часто встречается в Тарасконе и благодаря чему аптекарь и заслужил доверие президента, но своим толстым губам он постоянно придавал форму буквы О, и из его раскрытого рта дыхание вырывалось с каким-то присвистом, точно он всем на свете смеялся в лицо, даже во время самых серьезных разговоров.

Вот и теперь: наш герой намекал на возможность своей близкой кончины и, кладя на прилавок большой запечатанный пакет, говорил: «Вот тут мое завещание, Безюке,— своим душеприказчиком я назначаю вас», а Безюке, который никак не мог отстать от своей дурной привычки, все только насвистывал: «Фью! Фью! Фью!»; однако в глубине души он был очень взволнован и сознавал всю важность своей роли.

Между тем час расставания был уже недалек, и аптекарь предложил выпить за успех предприятия «чего-нибудь вкусненького. *Чтэ?..* По стаканчику эликсира Гарюс!». Раскрыв и обшарив несколько шкафчиков, он наконец вспомнил, что ключи от Гарюса у маменьки. Если разбудить ее, то придется объяснять, в чем дело. Решено было заменить эликсир «Мецким сиропом», прохладительным напитком, скромным и вполне невинным, который изобрел сам Безюке и о котором он помещал в «Форуме» такого рода объявления: «Мецкий сироп, десять су с посудой, полезно и приятно». «Мертвецкий сироп, десять су с посудой, черви бесплатно»,— переиначивал злобный Костекальд, не выносивший чужого успеха. Однако своим ужасным каламбуром Костекальд достиг лишь увеличения спроса на мертвецкий сироп, и тарасконцы от него в полном восторге.

Приятели совершили возлияние, обменялись еще несколькими словами, обнялись, и Безюке засвистел себе в усы, по которым катились крупные слезы.

— *Ннэ*, прощайте!..— чувствуя, что и сам сейчас заплачет, буркнул Тартарен, а так как железная штора над дверью была спущена, то герой наш принужден был выбираться из аптеки на четвереньках.

Это было начало его дорожных испытаний.

Три дня спустя он сошел с поезда в Фицнау, у подножья Риги́. Для разгона, для тренировки он избрал Риги отчасти по причине ее небольшой высоты (1800 метров, раз в десять выше Страшной горы — самой высокой из Альпинских гор!), отчасти потому, что с нее открывается дивная панорама Бернских Альп, белых и розовых, теснящихся вокруг озер и словно ждущих,

когда альпинист остановит на какой-нибудь из высот свой выбор и двинется на приступ.

Тартарен был уверен, что дорогой его узнают и, может быть, даже станут за ним следить, ибо по наивности своей воображал, что он так же знаменит и широко известен во всей Франции, как и в Тарасконе, а потому, прежде чем попасть в Швейцарию, нарочно дал крюку и только уже на самой границе облекся в доспехи. И хорошо сделал: во французских вагонах все его снаряжение ни за что бы не поместилось.

Но, несмотря на то что швейцарские купе на редкость удобны, наш альпинист, с непривычки путавшийся во всех своих приспособлениях, наступал пассажирам на ноги альпенштоком, зацеплял их на ходу крючьями, и куда бы он ни входил — в вокзал, в отель или же на пакетбот,— всюду на него вместе с возгласами удивления обрушивались толчки и проклятья, и все провожали его злобными взглядами, причину которых он не мог себе уяснить и от которых страдала его любвеобильная и общительная натура. А тут еще серое, затянутое тучами небо и проливной дождь.

В Базеле дождь поливал маленькие беленькие домики, уже и так чисто-начисто вымытые руками служанок и дождевою водой. В Люцерне дождь поливал сваленные на пристани тюки и чемоданы, имевшие такой вид, будто их только что вытащили из воды после кораблекрушения. Когда же Тартарен сошел с поезда в Фицнау, на берегу Озера четырех кантонов, то здесь ливень низвергался на зеленеющие склоны Риги, по которым ползли черные тучи, потоками прядал со скал, обдавал водяною пылью, стекал со всех кампей, со всех еловых иголок. Никогда еще тарасконцу не приходилось видеть столько воды.

Он зашел в трактир и спросил себе кофе со сливками, с медом и с маслом, а надо заметить, что это действительно очень вкусно, и Тартарен наслаждался этим еще в пути. Подкрепившись и вытерев уголком салфетки липкую от меда бороду, он решил немедленно начать свой первый подъем.

— *Э, чтэ,*— заговорил он, взваливая на спину мешок,— за сколько времени можно подняться на Риги?

— За час, за час с четвертью, сударь. Но торопитесь,— до отхода поезда только пять минут.

— Поезд на Риги?.. Да вы что, шутите?

В мутное трактирное окно ему показали отходивший поезд. Два больших крытых вагона без вентиляции приводились в движение локомотивом с короткой пузатой трубой, похожей на котел,— этаким чудовищным насекомым, впившимся в гору и, пыхтя, карабкающимся по ее отвесным склонам.

Мысль о том, чтобы подняться на гору в этой отвратительной

машине, привела в негодование обоих Тартаренов — и садкового и капустного. Первому показался нелепым этот механический способ подъема на Альпы. Что же касается второго, то висящие в воздухе мосты, через которые лежал железнодорожный путь, и перспектива падения с тысячеметровой высоты, стоит только поезду чуть-чуть сойти с рельсов, наводили его на весьма печальные размышления, и основательность их подтверждалась видом маленького кладбища в Фицнау, у самой горы,— этих белых могильных холмов, что лепились один к другому, точно белье, развешанное во дворе прачечной. Очевидно, кладбище устроено здесь не зря — чтобы в случае чего путешественники могли воспользоваться его гостеприимством.

«Пойду-ка я пешком,— сказал себе отважный тарасконец.— Это будет для меня упражнением. А ну!..»

И, внимательно следя за движениями своего альпенштока, чтобы не осрамиться перед трактирной прислугой, теснившейся на пороге, и не слушая ее наставлений, тронулся в путь. Сперва он шел в гору по дороге, которая была вымощена крупным неровным булыжником, так же суживавшимся кверху, как суживается к концу переулок в южном городке, и по обочинам которой тянулись еловые желоба для стока воды.

Справа и слева — бесконечные фруктовые сады, влажные и тучные луга, прорезанные такими же, как вдоль дороги, водостоками — выдолбленными деревянными колодами. От этого на всей горе, сверху донизу, воздух полнился немолчным плеском, а когда альпинист задевал на ходу своим ледорубом ветви дуба или орешника, всякий раз поднимался такой шум, словно Тартарена сверху поливали из лейки.

— Свят, свят, свят, сколько воды! — вздыхал южанин.

Но дело приняло совсем уже скверный оборот, когда мостовая неожиданно кончилась и Тартарену пришлось шлепать по воде и перепрыгивать с камня на камень, чтобы не промочить гетры. В довершение всего хлынул дождь, он лил не переставая, от него не спасала никакая одежда, и с каждым шагом у Тартарена усиливалось ощущение холода. Когда он останавливался передохнуть, ему чудилось, будто он затонул в широко раскинувшемся шуме воды, поглотившем все остальные звуки; оглядываясь назад, он смотрел, как облака длинными и тонкими стеклянными палочками протягиваются к озеру и как блестят в просветах домики Фицнау, похожие на только что покрытые лаком игрушки.

Навстречу Тартарену попадались мужчины, дети — все они шли, пригнув головы, сгорбившись под тяжестью плетушек с провизией для какой-нибудь виллы или пансиона, балконы которых вырисовывались на склоне горы.

— «Риги-Кульм»? — чтобы удостовериться, та ли это дорога, спрашивал Тартарен.

Но его странное одеяние, в особенности вязаный шлем, закрывавший ему лицо, наводило страх на прохожих, и они, вытаращив глаза, молча прибавляли шагу.

Однако и эти встречи становились все реже. Последним живым существом на его пути была старуха — под огромным красным зонтом, воткнутым в землю, она полоскала белье в водостоке.

— «Риги-Кульм»? — спросил ее альпинист.

Старуха подняла на него бессмысленные испуганные глаза, выставив подпиравший ей голову зоб величиною с колокольчик вроде тех, какие подвешивают швейцарским коровам. Пристально посмотрев на Тартарена, она разразилась неудержимым хохотом, и от этого хохота рот у нее растянулся до ушей, а щелки глаз совсем закрыло морщинами; когда же она вновь раскрывала глаза, то вид Тартарена, стоявшего перед нею как вкопанный, с ледорубом на плече, всякий раз приводил ее в еще более веселое расположение духа.

— Громы небесные! Если б это не женщина...— пылая гневом, проворчал тарасконец. Он пошел дальше — и заблудился в ельнике, где ноги так и разъезжались на мокром мху.

Выше пейзаж изменился. Ни троп, ни деревьев, ни пастбищ. Мрачные голые скаты, крутые обрывы, по которым приходилось взбираться на четвереньках, наполненные желтой грязью рвы, которые Тартарен переходил медленно, нащупывая дно альпенштоком и, как точильщик, высоко поднимая ноги. Ежеминутно поглядывал он на маленький компас, висевший у него, точно брелок, на длинной цепочке для часов, но то ли под влиянием высоты, то ли под влиянием резких колебаний температуры стрелка компаса словно ополоумела. Ориентироваться самому не представлялось возможным: в десяти шагах ничего не было видно из-за густого желтого тумана, а затем пошел мелкий дождь со снегом, началась гололедица, и подъем делался все труднее и труднее.

Вдруг Тартарен остановился — впереди что-то смутно белело... Береги глаза!..

Он вступил в полосу вечных снегов...

Тотчас же достал он из футляра очки и прочно насадил их на переносицу. Минута была торжественная. Слегка взволнованный и вместе с тем гордый, Тартарен вообразил, что он одним рывком приблизился на тысячу метров к вершинам и к великим опасностям.

Дальше Тартарен продвигался с особенной осторожностью, все время думая о расселинах и трещинах, о которых столько написано в книгах, и в глубине души проклиная обитателей трак-

тира, посоветовавших ему идти прямо и без проводника. А вдруг он взбирается не на ту гору? Ведь он идет уже больше шести часов, а подняться на Риги можно и за три часа. Дул ветер, холодный ветер, и во мгле сумерек кружил снег.

Ночь застигла его на дороге. Где бы найти хоть какую-нибудь лачугу, хотя бы выступ скалы, чтобы укрыться от непогоды? Вдруг он увидел прямо перед собой, на пустынном и голом плоскогорье, нечто вроде деревянной дачи с вывеской, на которой, несмотря на изрядные размеры букв, он с трудом разобрал: «Фо-тогра-фия Ри-ги-Кульм». В ту же минуту чуть поодаль показался громадный трехсотоконный отель, празднично светившийся в вечернем мраке огнями своих фонарей.

III

Тревога на вершине Риги. Спокойствие! Спокойствие! Альпийский рог. Что Тартарен, проснувшись, обнаружил на зеркале. Замешательство. Проводника вызывают по телефону

— Кто идет?.. Кто там?..— весь превратившись в слух и напряженно вглядываясь в темноту, восклицал Тартарен.

Во всем отеле слышалась беготня, хлопанье дверей, пыхтенье, крики: «Скорей, скорей!..» А снаружи доносились призывные звуки трубы, резкие вспышки пламени освещали оконные стекла и занавески...

Пожар!..

Тартарен вскочил с постели, оделся, обулся и бегом пустился вниз по лестнице, — там еще горел газ и по ступенькам спускался шумливый рой мисс в наскоро надетых шапочках, в зеленых шалях, в красных шерстяных платках — словом, во всем, что попалось им под руку, когда они вставали.

Чтобы подбодрить себя и успокоить барышень, Тартарен, торопясь и всех расталкивая, вопил: «Спокойствие! Спокойствие!» — голосом пронзительным, как у морской чайки, сдавленным, отчаянным, каким иногда кричат во сне, голосом, от которого даже у храбрых людей душа в пятки уходит. А эти юные мисс смеялись, глядя на него: наверно, он казался им очень смешным. Ну, да что с них взять, в этом возрасте разве думают об опасности?

К счастью для Тартарена, следом за девицами шел престарелый дипломат, весьма легкомысленно одетый: из-под пальто у него выглядывали белые кальсоны и кончики тесемок.

Наконец-то мужчина!..

Размахивая руками, Тартарен подбежал к нему.

— Ах, барон, какое несчастье!.. Вы что-нибудь знаете?.. Где это?.. С чего началось?

— А? Что?..— ничего не понимая, лепетал оторопевший барон.

— Да ведь пожар!..

— Какой пожар?..

У бедного дипломата был до того подавленный и до того глупый вид, что Тартарен оставил его в покое и опрометью кинулся к выходу «подавать помощь»...

— Помощь! Помощь! — повторял барон, а за ним пятеро слуг, которые до этого стоя спали в прихожей и теперь в полном недоумении переглядывались.

Как только Тартарен вышел на крыльцо, он сразу понял, что ошибся. Никакого пожара. Собачий холод, кромешная тьма, сквозь которую пробивается лишь слабый свет смоляных факелов,— их пламя колеблется, на снегу от них длинные кроваво-красные полосы.

На нижней ступеньке крыльца игрок на альпийском роге выревывал жалобную, однообразную, состоявшую всего из трех нот пастушескую мелодию, которой в «Риги-Кульм» имеют обыкновение будить поклонников солнца и возвещать им, что дневное светило скоро взойдет.

Уверяют, будто первый его отблеск загорается на самой вершине горы, за отелем. Чтобы не сбиться, Тартарену нужно было только держаться того направления, откуда доносился неумолкаемый смех мисс. Но он шел медленно,— его одолевала дремота, ноги после шестичасового подъема слушались плохо.

— Это вы, Манилов?.. — внезапно послышался в темноте звонкий женский голос.— Помогите мне... Я потеряла туфлю.

Тартарен узнал чужеземный щебет своей юной соседки по табльдоту, разглядел ее стройный силуэт на тускло отсвечивавшем снегу.

— Я не Манилов, сударыня, но я рад быть вам полезным...

Слегка вскрикнув от испуга и от неожиданности, девушка отшатнулась, но Тартарен этого не заметил,— он уже наклонился и шарил по скошенной, хрустевшей от мороза траве.

— *Э*, да вот она!..— торжествующе воскликнул он.

Отряхнув миниатюрную туфельку от снега, он опустился на одно колено и галантнейшим тоном попросил в награду сделать ему такую милость — позволить обуть Золушку.

Золушка, более суровая, чем в сказке, ответила в высшей степени сухо: «Нет!» — и запрыгала на одной ножке, стараясь попасть другой ногой, которую обтягивал шелковый чулок, в коричневую туфельку. Но это ей так бы и не удалось без помощи

нашего героя, который, почувствовав на своем плече прикосновение крошечной ручки, весь так и загорелся.

— У вас хорошее зрение,— сказала она в знак благодарности, ощупью пробираясь рядом с ним дальше.

— Привычка выслеживать зверя, сударыня.

— А вы разве охотник?

Она произнесла это с оттенком насмешки и недоверия. Чтобы убедить ее, Тартарену надо было только назвать свое имя, но, как все носители славных имен, он отличался скромностью и в то же время любил пококетничать. Желая немножко поинтриговать ее, он сказал:

— *Ну дэ, я эхэтник*...

— А на какого же зверя вы чаще всего охотитесь? — продолжая над ним потешаться, допытывалась она.

— На диких зверей, на крупных хищников...— думая поразить ее, ответил Тартарен.

— И много вы их нашли на Риги?

Галантный тарасконец за словом в карман не лез: он уже собирался ответить ей комплиментом, что на Риги он видел только газелей, как вдруг его прервали на полуслове две приближавшиеся тени.

— Соня!.. Соня!..— звали они.

— Мне надо идти...— сказала она и, повернувшись к Тартарену, глаза которого, привыкшие к темноте, различили черты ее красивого бледного лица в обрамлении мадридской мантильи, добавила уже серьезно: — Опасную охоту вы затеяли, милейший... Как бы вам не сложить здесь кости...

И она тотчас же исчезла во мраке вместе со своими спутниками.

Угрожающая интонация, с какой это было сказано, дошла до сознания тарасконца позднее, а сейчас он был озадачен обращением «милейший», которое не подобало ни его сединам, ни его полноте, и внезапным уходом девушки как раз в тот момент, когда он собирался назвать себя и полюбоваться произведенным впечатлением.

Он сделал несколько шагов в сторону удалявшейся группы и услышал невнятный говор, покашливанье и чиханье сбившихся в кучу и с нетерпением ожидавших восхода солнца туристов, наиболее смелые из которых взобрались на небольшую вышку, выделявшуюся на исходе ночи белизною оснеженных столбов.

На востоке протянулась полоска света, и его приветствовали новый призыв охотничьего рога и облегченный вздох туристов, похожий на тот, который вызывает у театральной публики третий

звонок. Сначала едва заметная, как щель от неплотно прикрытой крышки, полоска света мало-помалу распространялась и расширяла горизонт. Но снизу поднимался густой желтый туман, и чем ярче разгоралась заря, тем он становился въедливее и плотнее. Это был как бы занавес, отделяющий сцену от зрителей.

Потрясающее зрелище, обещанное путеводителями, не состоялось. Взамен предлагались вниманию причудливые фигуры невыспавшихся вчерашних танцоров,— накрывшись шалями, одеялами, всем чем угодно, вплоть до пологов, они вырисовывались нелепыми и забавными китайскими тенями. Из-под разнообразных головных уборов: шелковых и пуховых шапочек, капоров, шляпок, фуражек с наушниками выглядывали опухшие со сна лица, выражавшие полную растерянность,— такие лица бывают у потерпевших кораблекрушение, выброшенных на необитаемый остров и настороженно вглядывающихся в даль, не мелькнет ли где парус.

Не видать, нет, не видать!

Впрочем, некоторые добросовестно старались различить гребни гор. С вышки доносилось кудахтанье перуанского семейства, окружившего какого-то верзилу в клетчатом ульстере до пят, а верзила, не моргнув глазом, описывал невидимую панораму Бернских Альп, указывая и называя вслух повитые туманом горы:

— Налево вы видите Финстераарготн, высота — четыре тысячи двести семьдесят пять метров... Вон там Шрекгорн, Веттергорн, Монах, Юнгфрау — обратите внимание, сударыни, какие у нее изящные очертания...

«Бывают же такие нахалы!..— сказал себе Тартарен и, подумав немного, добавил: — А ведь голос-то у него все-таки знакомый!»

Особенно было ему знакомо произношение этого человека, то южное *прррэизншэние*, которое, как запах чеснока, распознается на расстоянии. Однако, занятый мыслью разыскать юную незнакомку, он не стал задерживаться и продолжал тщетно вглядываться в группы туристов. Должно быть, она, по примеру прочих, вернулась в отель,— всем в конце концов надоело дрогнуть тут и для согревания притоптывать ногами.

Сгорбленные спины, прикрытые шотландскими пледами, бахрома от которых волочилась по снегу, постепенно удалялись, исчезали в сгущавшемся тумане. Скоро на всем холодном, пустынном плоскогорье, которое облегал серый саван, не осталось никого, кроме Тартарена и игрока на альпийском роге, продолжавшего уныло дуть в свой огромный инструмент, точно пес, лающий на луну.

Этот бородатый старикашка носил тирольскую шляпу с зелеными кистями, свисавшими ему на спину,— на шляпе, как на фуражках у служащих отеля, золотыми буквами было написано: *Regina montium*. Тартарен подошел и сунул ему мелочь,— он видел, что так делали другие туристы.

— Пойдем-ка спать, старина,— сказал он и, с тарасконской развязностью похлопав его по плечу, добавил:— А уж и врут про солнечный восход на Риги! *Чтэ?*

Старик продолжал дуть в рог, выводя состоявшую из трех нот ритурнель и смеясь беззвучным смехом, от которого у него стягивались морщины у глаз и тряслись зеленые кисти.

Тартарен все же не жалел ни о чем. Встреча с хорошенькой блондинкой вознаградила его за прерванный сон, ибо, хотя ему и шел пятый десяток, он, однако, сохранил сердечный жар и романтическое воображение — этот пылающий очаг жизни. Когда он, поднявшись к себе в номер, лег и закрыл глаза, ему все еще казалось, будто в руке у него крошечная невесомая туфелька, а в ушах звучал прерывистый голосок девушки: «Это вы, Манилов?»

Соня... Какое красивое имя!.. Конечно, она — русская, а молодые люди, путешествующие вместе с ней,— разумеется, друзья ее брата... Потом все смешалось, прелестная златокудрая головка слилась с другими расплывчатыми сонными грезами — со склонами Риги, с водопадами в сутанах брызг и пены. И вскоре героический храп великого человека, звучный и ритмичный, наполнил его номерок и добрую часть коридора.

После первого звонка к завтраку Тартарен, прежде чем сойти вниз, пожелал удостовериться, тщательно ли расчесана у него борода и ладно ли сидит на нем альпинистский костюм, но тут его бросило в дрожь. Приклеенное двумя облатками к зеркалу незапечатанное анонимное письмо заключало в себе недвусмысленную угрозу:

«Чертов француз! Тебе не укрыться под маской. На сей раз мы тебя пощадили, но если ты еще когда-нибудь попадешься нам на узкой дорожке, то берегись!»

Тартарен был огорошен; он несколько раз перечел письмо, но так ничего и не понял. Кого беречься? Чего беречься? Как это письмо сюда попало? Конечно, когда он спал,— ведь по возвращении с заревой прогулки он его не заметил. На его звонок явилась горничная с широким, плоским, бледным, изрытым оспой лицом, похожим на швейцарский сыр, но он ничего не мог от нее добиться, кроме того, что она «шестный девушка» и никогда не позволит себе без зова войти к мужчине.

— Что за притча! — повторял крайне взволнованный Тартарен, так и этак вертя в руках письмо.

В первую минуту он заподозрил Костекальда: узнав о его намерении совершить восхождение и решив сорвать ему этот замысел, Костекальд строит каверзы, запугивает его. Однако по зрелом размышлении это показалось ему неправдоподобным, и в конце концов он остановился на том, что письмо написано в шутку... Может быть, это юные мисс, которые так весело хохочут прямо ему в лицо... Молоденькие англичанки и американки так бесцеремонны!

Прозвонил второй звонок. Тартарен спрятал анонимное письмо в карман: «Там разберемся!..» Свирепое выражение, которое он придал в эту минуту своему лицу, должно было свидетельствовать о его бесстрашии.

За столом — опять неожиданность. Вместо хорошенькой соседки, которую «чистым золотом осыпала Любовь», он увидел ястребиную шею старой англичанки, букли которой сметали крошки со скатерти. Кто-то из сидевших поблизости сообщил, что девушка и ее спутники уехали с утренним поездом.

— Дьявольщина! Меня провели!..— громко воскликнул итальянский тенор, тот самый, который накануне заявил Тартарену, что не понимает по-французски. Очевидно, за ночь он выучился! Тенор вскочил, швырнул салфетку и убежал, совершенно ошеломив тарасконца.

Из вчерашних гостей за табльдотом оставался теперь один Тартарен. Так всегда бывает в «Риги-Кульм»: тут редко кто задерживается долее суток. Зато обстановка не меняется — шеренги соусников неизменно делят общество на два враждебных лагеря. Сегодня утром численное превосходство было явно на стороне рисолюбивого воинства, усиленного несколькими знатными особами, и черносливцы держались, как говорится, тише воды, ниже травы.

Тартарен не примкнул ни к тем, ни к другим, и, чтобы избежать широковещательных заявлений, он еще до десерта поднялся к себе в номер, собрал вещи и спросил счет — *Regina montium* с ее табльдотом глухонемых ему опостылела.

Стоило Тартарену прикоснуться к ледорубу, крючьям и веревкам, стоило ему облачиться во все свои доспехи, и его вновь охватила альпинистская страсть, он сгорал от нетерпения «взять» настоящую гору, где нет ни фуникулеров, ни фотографов. Он лишь колебался между Финстерааргорном, как более высокой горой, и Юнгфрау, как горой более знаменитой, красивое название которой своей девственной белизной напоминало ему девушку из России.

Взвешивая все «за» и «против», он в ожидании счета рассматривал в громадном, мрачном и безлюдном зале развешанные по стенам большие раскрашенные фотографии ледников, покрытых снегом горных склонов и славящихся своею опасностью горных проходов. Вот альпинисты тащатся, как муравьи, один за другим, по острому краю синей ледяной глыбы, вон там громадная расселина с серо-зелеными краями,— через нее перекинут мостик, по которому ползет на коленях дама, а за ней, приподняв сутану, аббат.

Тарасконский альпинист так и впился обеими руками в свой ледоруб. Ведь он понятия не имел о том, с какими это сопряжено трудностями. А теперь уж поздно!..

Вдруг он стал бледен как полотно.

Прямо перед ним в черной раме висела гравюра с известного рисунка Гюстава Доре, запечатлевшего катастрофу на горе Сервен: четыре человека сорвались с почти отвесного ледяного склона и, кто ничком, кто навзничь, катятся, раскинув руки и силясь что-нибудь нащупать, за что-нибудь ухватиться, уцепиться за порванную веревку, на которой только что держалось ожерелье из человеческих жизней и которая теперь стремительно влечет навстречу смерти, увлекает в пропасть груду тел вместе с ледорубами, зелеными вуалями, со всеми пожитками, еще так недавно радовавшими людей и вдруг оказавшимися для них гибельными.

— Вот тебе раз! — невольно вырвалось у перепуганного Тартарена.

Это восклицание услышал метрдотель, а так как он был человек весьма учтивый, то и счел своим долгом успокоить тарасконца. Оказалось, что подобные происшествия случаются все реже и реже. Конечно, осторожность необходима; главное, нужно подыскать хорошего проводника.

Тартарен спросил, нельзя ли указать ему кого-нибудь понадежнее... Бояться-то он не боится, но взять себе в спутники верного человека все-таки не мешает.

Метрдотель призадумался и с важным видом начал крутить бакенбарды.

— Надежного?.. Эх, жаль, вы раньше не сказали! Утром был тут у нас такой человек, вполне подходящий,— посыльный одного перуанского семейства...

— А горы-то он знает?— с видом многоопытного альпиниста спросил Тартарен.

— Он все горы знает: и швейцарские, и савойские, и тирольские, и индусские, все на свете, он все их излазил, знает как свои пять пальцев, про любую из них вам расскажет... Это просто

находка!.. Я думаю, он с удовольствием согласится... С таким человеком малого ребенка куда угодно пустить не страшно.

— А где он? Где мне его найти?

— В Кальтбаде, сударь,— он там снимает помещение для своих путешественников... Мы ему позвоним по телефону.

Телефон на Риги!

Этого только не хватало! Но Тартарен ничему уже не удивлялся.

Через пять минут метрдотель сообщил ему ответ.

Посыльный перуанцев уехал в Тельльсплатте и, по всей вероятности, там заночует.

Тельльсплатте — это часовня, воздвигнутая в память Вильгельма Телля, одна из многих швейцарских святынь. Туда стекались толпы путешественников — ради фресок, которые тогда заканчивал известный базельский художник.

Пароходом туда можно добраться за час, самое большее — за полтора. Тартарен тотчас же принял решение. Правда, на это уйдет целый день, но зато он почтит память Вильгельма Телля, одного из любимых своих героев, а кроме того, какая это будет удача, если он разыщет такого чудесного проводника и уговорит его отправиться вместе на Юнгфрау!

А ну, скорее в путь!..

Он поспешил уплатить по счету, в котором и заход и восход солнца значились в особой графе рядом со свечой и с прислугой, и, сопутствуемый ужасающим лязгом железа, сеявшим страх и трепет на его пути, двинулся к вокзалу, ибо тратить время на спуск пешком — это для такой ненастоящей горы, как Риги, право же, слишком много чести!

IV

На пароходе. Идет дождь. Тарасконский герой приветствует тени героев умерших. Правда о Вильгельме Телле. Разочарование. Тартарен из Тараскона никогда не существовал. «Эге! Да это Бомпар!»

Снег он оставил на Риги, а внизу, на озере, снова попал под дождь — мелкий, частый, неразличимый, нечто вроде пара, в котором едва заметно проступали очертания дальних ступенчатых гор, похожих на облака.

Дул фен и завивал барашками озеро, чайки летали так низко, словно их несла волна. Казалось, пароход вышел в открытое море.

И вспомнился Тартарену его отъезд из Марселя пятнадцать лет тому назад, когда он вздумал охотиться на львов, безоблачное, слепящее, раскаленное добела небо, синее море, но какое

синее: цвета синьки, подернутое рябью оттого, что дул мистраль, и усеянное блестками, сверкавшими, точно крупинки соли, горны, заливавшиеся в фортах, звон во все колокола, восторг, ликование, солнце, феерия первого путешествия!

А теперь все совсем другое: почерневшая от сырости, почти безлюдная палуба, на ней сквозь туман, как сквозь промасленную бумагу, виднеются редкие фигуры пассажиров в ульстерах и в плащах, а за ними — закутавшийся в дождевик рулевой, стоящий неподвижно, с торжественным и зловещим видом, под объявлением на трех языках:

ОБРАЩАТЬСЯ К РУЛЕВОМУ С РАЗГОВОРАМИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Объявление повесили зря, так как на «Винкельриде» никто ни с кем не разговаривал: ни на палубе, ни в салонах первого и второго классов, до отказа набитых угрюмыми пассажирами, спавшими, читавшими, зевавшими среди ручного багажа, разложенного на скамейках. Так, по всей вероятности, выглядит партия ссыльных, которых на другой же день после государственного переворота отправляют в изгнание.

Время от времени хриплый рев парохода возвещал близость пристани. На палубе шаркали ноги, скрипели перетаскиваемые чемоданы. Из тумана выплывал берег и медленно приближался, открывая взору темно-зеленые склоны гор, виллы, зябко прятавшиеся в мокрый кустарник, грязные, обсаженные тополями дороги, тянувшиеся вдоль дорог роскошные отели, названия которых золотыми буквами были обозначены на вывесках,— «Отель Мейера», «Отель Мюллера», «Озерный»,— и в их заплаканных окнах скучающие лица туристов.

Пароход пришвартовывался, люди сходили, всходили, все одинаково забрызганные грязью, мокрые, молчаливые. На набережной — мелькание зонтов и быстро отходивших омнибусов. Затем по воде начинали бить колеса, вспенивая ее своими плицами, берег отступал назад и растворялся в тумане вместе с отелями Мейера, Мюллера и «Озерным», а во всех этажах отелей, в распахивавшихся на секунду окнах появлялись трепетавшие платки и протянутые руки, как бы говорившие: «Смилуйтесь, сжальтесь, возьмите нас с собой!.. Если б вы знали!..»

Изредка «Винкельрид» встречался с другим каким-нибудь пароходом, название которого обозначалось черными буквами на белом кожухе — «Германия», «Вильгельм Телль»: такая же мрачная палуба, такие же отливавшие зеркальным блеском плащи, столь же невеселая прогулка — независимо от того, в каком направлении двигались пароходы-призраки, и при встрече пассажиры смотрели друг на друга тоскливыми глазами.

И подумать только, что все эти люди путешествовали ради собственного удовольствия и что ради собственного удовольствия очутились в плену пансионеры отелей Мейера, Мюллера и «Озерного»!

И здесь, как и в «Риги-Кульм», особенно угнетала, мучила, сковывала Тартарена — сильнее, чем холодный дождь и пасмурное небо,— невозможность поговорить. Правда, внизу он увидел знакомые лица: члена Джокей-клоба с племянницей (гм! гм!), академика Астье-Рею и профессора Шванталера, двух непримиримых врагов, обреченных целый месяц жить бок о бок, прикованных Компанией Кука к одному и тому же круговому маршруту, и еще кое-кого, но никто из этих прославленных чернослив цев не желал узнавать тарасконца, чей шлем, железные доспехи и веревка, перекинутая через плечо, делали, однако, его фигуру весьма заметной и совершенно своеобразной. Все они точно стыдились вчерашнего бала, той необъяснимой веселости, которою их заразил этот пылкий толстяк.

Одна лишь фрау Шванталер, маленькая, пухленькая фея с розовым улыбающимся личиком, подошла к своему кавалеру и, словно собираясь танцевать менуэт, приподняла двумя пальчиками юбку.

— Плясирен... танцирен... ошень карашо,— лепетала милая дама.

Было ли это только воспоминание, или ей снова захотелось ритмичного кружения? Как бы то ни было, она впилась в Тартарена, но он, чтобы отделаться от нее, поднялся на палубу: он предпочитал промокнуть до костей, лишь бы не попасть в смешное положение.

А дождь все лил, и небо было все такое же мутное! И, как назло, целый отряд «Армии спасения» был взят на борт в Беккенриде: десять толстых девиц с глупыми лицами, в платьях цвета морской воды и в шляпках «Гринэуэй» жались друг к дружке под тремя громадными красными зонтами и распевали псалмы под гармонику, а на гармонике играл человек, похожий на Давида Ла Гамма, долговязый, костлявый, с безумными глазами. Неуверенные, фальшивившие голоса девиц, пронзительные, как голос чайки, пробивались, прорывались сквозь дождь и клубы черного дыма, которые пригнетал ветер. Ничего более унылого Тартарен не слыхал за всю свою жизнь.

В Бруннене воинство, набив карманы путешественников тощими брошюрками духовно-нравственного содержания, сошло с парохода. И стоило гармонике и пению несчастных вопленицсмолкнуть, как небо местами очистилось и в просветах заголубело.

Пароход между тем вошел в озеро Ури, затененное, зажатое между двумя неприступными горами, а справа, у подножья Зеелисберга, внимание туристов привлекло то самое Грютлийское поле, где Мельхталь, Фюрст и Штауффахер поклялись освободить свою отчизну.

Тартарен, глубоко взволнованный, невзирая на всеобщее изумление, благоговейно обнажил голову и трижды взмахнул фуражкой, дабы почтить память героев. Кое-кто из пассажиров, неверно истолковав этот жест, ответил ему учтивым поклоном.

Наконец пароход сипло взвыл, и этот вой многократно повторило в узком проходе эхо. Надпись на дощечке, которую вывешивали на палубе перед каждой новой пристанью, как на публичных балах перед каждой новой фигурой кадрили, на сей раз возвещала: «Телльсплатте».

Приехали.

Часовня стоит в пяти минутах ходьбы от пристани, у самого озера, как раз на той скале, на которую во время бури прыгнул из лодки Гесслера Вильгельм Телль. С неизъяснимо блаженным чувством шел Тартарен берегом озера вслед за путешественниками, избравшими круговой маршрут Кука («по историческим местам»), и вспоминал, воскрешал в памяти главнейшие эпизоды великой драмы, которую он знал, как свою собственную биографию.

Вильгельм Телль во все времена был его идеалом. Когда в аптеке у Безюке гости играли в «Кто что любит» и каждый писал на бумажке, которую потом тщательно складывал, какого поэта, какое дерево, какой запах, какого героя, какую женщину он больше всего любит, то в одной из записок неизменно стояло:

Любимое дерево? — Баобаб.
Любимый аромат? — Запах пороха.
Любимый писатель? — Фенимор Купер.
Кем бы я хотел быть? — Вильгельмом Теллем...

И вся аптека единодушно восклицала: «Это Тартарен!»

Представьте же себе теперь, как он был счастлив и как билось у него сердце, когда он подходил к часовне, которую воздвиг в память Вильгельма Телля благодарный народ! Ему казалось, что сам Вильгельм Телль, с луком и стрелами, весь еще пропитанный озерной водой, сейчас отворит ему дверь.

— Сюда нельзя!.. Я тут работаю... Сегодня музей закрыт...— раздался в часовне громкий голос, еще усиленный гулкими сводами.

— Член Французской академии Астье-Рею!

— Профессор Шванталер!..

— Тартарен из Тараскона!..

В стрельчатом окне над порталом показался взобравшийся сюда по лесам и видный почти до пояса живописец в рабочей блузе, с палитрой в руке.

— Мой *famulus*[1] сейчас вам отворит, господа,— сказал он почтительно.

«Я так и знал, ей-ей! — подумал Тартарен.— Мне надо было только назвать себя».

Тем не менее он из деликатности уступил дорогу другим и скромно вошел в часовню последним.

Живописец, красавец мужчина с шапкой золотых волос, придававших ему сходство с художником эпохи Возрождения, встретил посетителей, стоя на приставной лестнице, которая вела на леса, устроенные для росписи верхней части часовни. Фрески, изображавшие главные эпизоды жизни Вильгельма Телля, были закончены, кроме одной, воспроизводившей сцену с яблоком на площади в Альтдорфе. Над этой сценой как раз сейчас и трудился живописец, а его юный *famulus*, как он его называл, с волосами архангела, с голыми руками и босыми ногами, в средневековом одеянии, позировал ему для фигуры сына Вильгельма Телля.

Все эти исторические личности в красных, зеленых, желтых и синих одеждах, изображенные на узких улицах или под сводами древних башен больше чем в натуральную величину, чтобы их хорошо было видно снизу, вблизи производили не совсем выгодное впечатление, но так как путешественники ехали сюда восхищаться, то они выразили живописцу свое восхищение. К тому же никто из них ничего не смыслил в живописи.

— На мой взгляд, все это очень колоритно! — изрек Астье-Рею, держа в руке саквояж.

А Шванталер, со складным стулом под мышкой, тоже в грязь лицом не ударил и продекламировал две строчки из Шиллера, добрая половина коих застряла, впрочем, в его густой бороде. Тут заахали дамы, и некоторое время только и было слышно:

— *Schön!.. Oh! Schön!..*[2]

— *Yes... lovely...*[3]

— Упоительно, дивно...

Можно было подумать, что действие происходит в кондитерской.

Внезапно возгремел некий голос и, точно звук трубы, спугнул всеобщее благоговейное молчание:

— А по-моему, так никто не стреляет... Он у вас арбалет неправильно держит...

---

[1] Прислужник *(лат.)*.

[2] Прекрасно... О! Прекрасно!.. *(нем.)*

[3] Да... прекрасно... *(англ.)*

Можете себе представить изумление живописца при виде небывалого альпиниста, который с крюком в руке, с ледорубом на плече, рискуя при каждом своем повороте кого-нибудь сокрушить, стал наглядно доказывать ему, что движение Вильгельма Телля передано неверно!

— Уж я-то это дело знаю... Можете не сомневаться...

— Да вы кто такой?

— Как кто такой?.. — воскликнул сильно задетый тарасконец.

Так, значит, это не перед ним распахнулась дверь часовни?

— Спросите, кто я такой, у пантер Заккара и у львов Атласа,— сказал он, приосанившись,— быть может, они вам ответят.

Все в ужасе шарахнулись.

— Но почему же все-таки я неверно передал движение? — спросил живописец.

— А ну, смотрите на меня!

Тартарен дважды топнул ногой так, что пыль поднялась столбом, и, нацелившись из ледоруба, точно из арбалета, принял соответствующую позу.

— Чудесно! Он прав... Стойте так...

И, обратившись к «фамулусу», живописец крикнул:

— Картон, уголь, живо!

В самом деле: тарасконец, коренастый, широкоплечий, выставивший вперед голову в вязаном шлеме с подбородником и, сверкая своим маленьким глазом, целившийся в перепуганного «фамулуса», представлял собою превосходную натуру.

О, волшебная сила воображения! Ему уже казалось, что перед ним на площади Альтдорфа стоит его сын, которого у него, кстати сказать, никогда не было. Одну стрелу Тартарен собирается метнуть из арбалета, а другая у него за поясом,— ею он пронзит сердце тирана. И так он это живо себе представил, что и окружающие были заворожены.

— Это Вильгельм Телль! — сидя на скамейке и с лихорадочной поспешностью набрасывая эскиз, повторял живописец.— Ах, милостивый государь, как жаль, что я не знал вас прежде! Я писал бы с вас...

— Да что вы! Вы находите некоторое сходство? — не меняя позы, спросил польщенный Тартарен.

Да, живописец именно таким представлял себе своего героя.

— И черты лица тоже?

— Это не важно!..— Немного отодвинувшись, живописец взглянул на эскиз. — Мужественное, энергичное выражение — это все, что нужно. Ведь о Вильгельме Телле ничего неизвестно,— может быть, он никогда и не существовал.

Тартарен от неожиданности выронил арбалет:

— А, идите вы!..[1] Никогда не существовал!.. Что вы мне сказки рассказываете?

— Спросите у этих господ...

Астье-Рею, уперев свой тройной подбородок в белый галстук, торжественно возгласил:

— Это датская легенда.

— *Isländische...*[2] — с не менее величественным видом заявил Шванталер.

— Саксон Грамматик рассказывает, что некий отважный лучник по имени Тоб или Пальтаноке...

— *Es ist in der Vilkinasaga geschrieben...*[3]

Оба вместе:

...был приговорен датским королем Гарольдом Голубые Зубы...

...dass der Isländische König Necding...[4]

Уставившись в одну точку, вытянув руки, не глядя друг на друга и ничего не слушая, они говорили одновременно поучающим, безапелляционным тоном, тоном профессора, вещающего с кафедры неоспоримые истины. Они горячились, выкрикивали даты, имена: «Юстингер Бернский! Иоанн Винтертурский!..»

Постепенно все посетители втянулись в этот жаркий, яростный спор. Все размахивали складными стульями, зонтами, чемоданами, а несчастный живописец, опасаясь за прочность лесов, бегал от одного к другому и просил успокоиться. Как только буря утихла, он опять взялся за свой эскиз и стал искать таинственного альпиниста, чье имя могли ему сообщить только пантеры Заккара и львы Атласа, но альпиниста и след простыл.

Альпинист в это время быстрым и нервным шагом поднимался вверх по узкой дорожке, обсаженной буками и березами, к отелю «Телльсплатте», где должен был ночевать посыльный перуанцев, и, в пылу разочарования рассуждая вслух, с остервенением втыкал альпеншток в размытую дождями землю.

Вильгельм Телль никогда не существовал! Вильгельм Телль — легенда! И это ему прехладнокровно заявляет живописец, которому поручено расписать часовню Телльсплатте! Тартарен обви-

---

[1] «А, идите вы!..» и «А, чтоб!..»— распространенные в Тарасконе ругательства, смысл коих не совсем ясен. Дамы — и те употребляют их иногда, но неизменно смягчая: «А, чтоб!.. извините за выражение!..»

[2] Исландская... *(нем.)*

[3] В «Вилькина-саге» написано... *(нем.)*

[4] ...что исландский король Некдинг... *(нем.)*

нял его в святотатстве, негодовал на наш век, век отрицания, разрушения, нечестия, век ничего не уважающий: ни славы, ни величия, черт побери!

Так же вот через двести — триста лет, когда речь зайдет о Тартарене, найдутся новые Астье-Рею и Шванталеры и станут доказывать, что Тартарен никогда не существовал, что это провансальская или же берберийская легенда! Тяжело дыша от возмущения и от крутого подъема, он остановился и присел на скамейку.

Отсюда в просветах между деревьями виднелось озеро и белые стены часовни, похожей на только что воздвигнутый мавзолей. Рев парохода и плеск шлепающегося в воду причала возвещали прибытие новых туристов. С путеводителями в руках они собирались на берегу, а потом, воздевая руки, передавая друг другу легенду о Вильгельме Телле и сопровождая свою речь скупыми жестами, направлялись к часовне. И тут вдруг, благодаря неожиданному обороту мыслей, все представилось Тартарену в смешном виде.

Он подумал о том, что вся история Швейцарии зиждется на этом вымышленном герое; в честь его на площадях маленьких городов воздвигаются часовни, а в музеях больших городов — статуи, устраиваются патриотические празднества, на которые стекаются со знаменами представители всех кантонов. И потом банкеты, тосты, речи, крики «ура», пение, слезы, душащие грудь,— все это ради великого патриота, который, как всем хорошо известно, никогда и не существовал.

А еще говорят про Тараскон! Такой тарасконады и там ни за что никому не придумать!

Придя в веселое расположение духа, Тартарен двинулся бодрым шагом вперед и скоро вышел на Флюэленскую дорогу, возле которой вытянул свой длинный фасад с зелеными ставнями отель «Теллсплатте». В ожидании звонка к обеду пансионеры ходили взад и вперед по дороге, где что ни шаг, то выбоина, мимо облицованного ракушками фонтана, мимо вереницы карет с опущенными оглоблями и перешагивали через лужи, в которые глядел медно-красный закат.

Тартарен спросил о проводнике. Ему ответили, что он обедает.

— А ну, ведите меня к нему!

Это было сказано таким повелительным тоном, что, несмотря на священный ужас, который здесь испытывали при одной мысли, что придется побеспокоить столь важную особу, служанка повела альпиниста через весь отель, где его появление вызывало легкий столбняк, к драгоценному проводнику, кушавшему отдельно в маленькой комнате окнами во двор.

— Милостивый государь! — держа на плече ледоруб, заговорил Тартарен.— Прошу меня извинить...

Но он тут же осекся, а посыльный, длинный, тощий, с салфеткой у подбородка, окутанный облаком душистого пара, поднимавшегося от тарелки с горячим супом, уронил ложку:

— Э, да это господин Тартарен!

— Эге! Да это Бомпар!

В самом деле: перед ним сидел Бомпар, бывший буфетчик Тарасконского клуба, малый славный, но отягощенный чудовищным воображением, по причине чего он за всю свою жизнь не сказал ни единого слова правды и был прозван в Тарасконе «Выдумщиком». Заслужить в Тарасконе репутацию выдумщика — судите после этого сами, что же он должен был собой представлять! Так вот он, этот несравненный проводник, облазивший Альпы, Гималаи и даже Лунные горы!

— А! Ну, теперь я понимаю...— произнес Тартарен, слегка разочарованный и все же обрадованный встречей с земляком, в восторге от того, что слышит родной говор.

— Вы уж, господин Тартарен, пообедайте со мной. *Чтэ?*

Тартарен немедленно согласился — он предвкушал удовольствие посидеть за маленьким уютным столиком, накрытым на две персоны, без этих сеющих смуту соусников, удовольствие чокаться, говорить за едой, есть превкусные вещи, все самое свежее, отменно приготовленное, ибо содержатели отелей прекрасно ухаживают за господами посыльными: кормят их отдельно, подают им лучшие вина и изысканнейшие блюда.

И уж тут посыпались всякие «*э, ну чтэ*, все-таки»!

— Так это ваш голос я слышал нынче ночью там, на вышке?..

— *Кнэчно!..* Я предлагал барышням полюбоваться... А до чего же хорош восход солнца на Альпах, правда?

— Чудо как хорош! — сказал Тартарен; заговорил он сперва не совсем уверенно, только чтобы не противоречить собеседнику, но быстро воспламенился, и нельзя было не даться диву, слушая, как два тарасконца восторженно славят пиршество для глаз, которое им будто бы открылось на Риги. Можно было подумать, что это выдержки из Жоанна и Бедекера.

С каждой минутой разговор становился все задушевнее, откровеннее, начались уверения, излияния, и от этих излияний навертывались непрошеные слезы на блестящие, живые глаза, в которых, несмотря на всю провансальскую чувствительность обоих собеседников, ни на минуту не угасали искорки шутливости и лукавства. Впрочем, этим и ограничивалось сходство двух друзей, так как во всем остальном Бомпар, поджарый, подсушенный, обветренный, покрытый морщинами, которыми его наградила профессия, являл собою полную противоположность Тартарену, низкорослому, плотному, румяному, с гладкой кожей.

Чего только не навидался милейший Бомпар с тех пор, как покинул Клуб! Ненасытное воображение влекло его все вперед и вперед, перебрасывало из страны в страну, подвергало всевозможным превратностям судьбы! И он повествовал о своих приключениях, описывал представлявшиеся ему счастливые случаи, когда он мог бы разбогатеть, рассказывал о том, как он упускал эти случаи, о том, какая неудача постигла, например, его последнее изобретение, дававшее возможность сократить военный бюджет за счет расходов на солдатскую обувь...

— И знаете, каким образом?.. Ах, боже мой, да это же так просто!.. Я предлагал подковать солдат.

— А, идите вы! — ужаснулся Тартарен.

Но Бомпар продолжал совершенно спокойно, с характерным для него видом тихо помешанного:

— Ведь правда, замечательная идея? Ну и вот, а министерство даже не сочло нужным мне ответить... Ах, дорогой господин Тартарен, я так бедствовал, я так нуждался, прежде чем мне удалось поступить на службу в Компанию...

— В какую Компанию?

Бомпар с таинственным видом понизил голос до шепота:

— Тсс! Потом, только не здесь... Ну, а что новенького у вас в Тарасконе? — спросил он обычным своим голосом.— Вы мне еще не рассказали, какими судьбами очутились вы у нас в горах...

Настала очередь Тартарена изливать душу. Беззлобно, но с оттенком предзакатной грусти, тоски, охватывающей с годами великих художников, необыкновенных красавиц, всех покорителей народов и сердец, рассказал он про отступничество сограждан, про заговор, имевший целью отнять у него пост президента, и про свое решение совершить геройский подвиг — совершить великое восхождение, водрузить тарасконское знамя выше, чем кто-либо водружал его до сих пор, доказать наконец тарасконским альпинистам, что он всегда был достоин... всегда был достоин...

Тут голос у Тартарена дрогнул, и он вынужден был умолкнуть, но немного погодя продолжал:

— Вы меня знаете, Гонзаг...

Невозможно передать, сколько сердечности, сколько сближающей нежности вложил он в трубадурское имя Бомпара. Это все равно, как если бы он пожал ему руку и приложил ее к своему сердцу...

— Вы меня знаете! *Чтэ?* Вы знаете, я не струсил, когда нужно было идти на львов, и во время войны, когда мы с вами вместе организовали оборону Клуба...

Бомпар кивнул головой, и лицо его приняло мрачное выражение,— он как сейчас видел все это перед собой.

— Так вот, мой друг, чего не могли сделать ни львы, ни пушки Круппа, то удалось Альпам... Мне страшно.

— Не говорите этого, Тартарен!

— Почему? — с невыразимой кротостью в голосе молвил герой.— Я говорю правду...

Просто, без малейшей рисовки рассказал он о том, какое впечатление произвел на него рисунок Доре, воспроизводящий катастрофу в Сервене, которая так и стоит у него перед глазами. Подобные опасности пугают его, и вот почему, услыхав про необыкновенного проводника, способного предотвратить их, он решил вверить свою судьбу Бомпару.

— Вы ведь никогда не были проводником, Гонзаг? — спросил он самым естественным тоном.

— Как не бывал!..— с улыбкой ответил Бомпар.— Только я совершал не все, о чем рассказываю...

— Само собой! — поддержал его Тартарен.

— Выйдем на дорогу,— шепнул Бомпар,— там можно говорить свободнее.

Надвигалась ночь. Теплый, влажный ветер гнал разорванные облака по небу, где хотя и смутно, но все еще виден был серый пепел дотлевавшего заката. Приятели шли рядом по направлению к Флюэлену; оба похожие на тени, они двигались молча, натыкаясь на безгласные тени проголодавшихся туристов, шедших обратно в отель,— двигались до тех пор, пока дорога не превратилась в длинный, тянущийся вдоль берега туннель, местами открытый со стороны озера наподобие террасы.

— Остановимся здесь...— Голос Бомпара гулко, подобно пушечному выстрелу, прокатился под сводами туннеля.

Они сели на парапет и невольно залюбовались чудесным видом на озеро, к которому сбегали густо разросшиеся черные ели и буки. Дальше виднелись более высокие горы, вершины которых тонули во мраке, а за ними еще и еще — те представляли собой нечто совсем уже неясное, голубоватое, похожее на облака. Между ними в расселинах залегли едва различимые белые полосы ледников. И вдруг эти ледники засверкали радужными бликами — желтыми, зелеными, красными. Гору освещали бенгальским огнем.

Из Флюэлена взлетали ракеты и рассыпались многоцветными звездами, венецианские фонари мелькали на невидимых лодках, сновавших по озеру,— оттуда доносились звуки музыки и веселый смех.

Точь-в-точь декорация для феерии, заключенной в рамку геометрически правильных, холодных гранитных стен туннеля.

— Какая, однако, забавная страна Швейцария!..— воскликнул Тартарен.

Бомпар расхохотался.

— Какая там Швейцария!.. Во-первых, никакой Швейцарии на самом деле и нет!

V

Откровенный разговор в туннеле

— Швейцария в настоящее время, господин Тартарен,— а, да что там!..— просто обширный курзал, открытый с июня по сентябрь, только и всего, казино с панорамами, куда люди отовсюду съезжаются развлекаться, и содержит его богатейшая Компания, у которой миллионов этих самых куры не клюют, а правление ее находится в Женеве и в Лондоне. Можете себе представить, сколько потребовалось денег, чтобы взять в аренду, причесать и приукрасить весь этот край с его озерами, лесами, горами и водопадами, чтобы просодержать целое войско служащих и статистов, чтобы отстроить на вершинах гор отели с газом, с телеграфом, с телефоном!..

— А ведь верно,— вспомнив Риги, вслух думает Тартарен.

— Как же не верно!.. А вы еще ничего не видели... Заберитесь подальше — во всей стране вы не найдете ни единого уголка без эффектов и бутафории, как за кулисами в оперном театре: водопады, освещенные *a giorno*[1], турникеты при входе на ледники, а для подъема — сколько угодно гидравлических двигателей и фуникулеров. Только ради своих английских и американских клиентов Компания заботится о том, чтобы некоторые наиболее известные горы — Юнгфрау, Монах, Финстераааргорн — казались дикими и опасными, хотя на самом-то деле риска там не больше, чем в других местах.

— Ну, хорошо, мой друг, а расселины, эти страшные расселины... Если туда упасть?

— Вы упадете на снег, господин Тартарен, и даже не ушибетесь. Внизу, на дне расселины, непременно найдутся носильщики, охотники или еще кто-нибудь; вас поднимут, почистят, отряхнут да еще любезно спросят: «Не надо ли понести вещи, сударь?..»

— Да что вы мне голову морочите, Гонзаг?

Но Бомпар, придав себе еще больше важности, продолжает:

— Содержание этих расселин составляет один из самых крупных расходов Компании.

---

[1] Ярким светом *(итал.)*.

На минуту в туннеле воцаряется молчание, и вокруг тоже все затихает. Погасают разноцветные огни, не взлетают больше ракеты, и не скользят по озеру лодки. Но зато восходит луна, и под ее неуловимым голубоватым светом с врезающимися в него клиньями глубокой тени все становится каким-то неправдоподобным...

Тартарен не знает, верить или не верить приятелю. Он припоминает все то необычайное, что ему довелось видеть за эти несколько дней,— восход солнца на Риги, комедию с Вильгельмом Теллем,— и ему начинает казаться, что в россказнях Бомпара доля правды есть: ведь в каждом тарасконце краснобай уживается с простаком.

— А как же все-таки вы объясните, мой друг, страшные катастрофы... Сервенскую, например?..

— Это произошло шестнадцать лет назад, господин Тартарен, Компании тогда еще не было.

— Ну, а случай на Веттергорне в прошлом году, когда погибли два проводника вместе с путешественниками?..

— А, черт подери, да ведь надо же хоть чем-нибудь приманить альпинистов!.. Англичане не полезут на гору, где никто никогда не сломил себе шею... Веттергорн с некоторых пор захирел, а после этого незначительного происшествия сборы немедленно поднялись.

— Ну, а как же два проводника?..

— Целы и невредимы, так же как и путешественники. Проводников только убрали с глаз долой, полгода продержали за границей... Дорогостоящая реклама, но Компания достаточно богата, чтобы позволить себе такую роскошь.

— Послушайте, Гонзаг...

Тартарен встал и положил руку на плечо бывшему буфетчику.

— Ведь вы не желаете мне зла. *Чтэ?* Ну так вот, скажите мне по чистой совести... Сами знаете, альпинист я неважный.

— Очень даже неважный, что верно, то верно!

— А как вы думаете: могу я все-таки без особого риска попытаться взойти на Юнгфрау?

— Головой вам ручаюсь, господин Тартарен... Доверьтесь проводнику, только и всего!

— А если у меня голова закружится?

— Закройте глаза.

— А если я поскользнусь?

— Ну и что ж такого?.. Здесь все как в театре... Все предусмотрено. Опасности ни малейшей...

— Ах, если б вы все время находились при мне и напоминали мне об этом!.. Пожалуйста, голубчик, сделайте доброе дело, пойдемте вместе!..

На что бы лучше! Но, увы, до конца сезона Бомпар связан с перуанцами. Тартарен выразил удивление по поводу того, что Бомпар принял на себя обязанности посыльного, прислужника.

— Ничего не поделаешь, господин Тартарен!.. Наше дело маленькое... Компания имеет право распоряжаться нами, как ей заблагорассудится.

И тут Бомпар давай перечислять все свои превращения за три года: проводник в Оберланде, игрок на альпийском роге, заядлый охотник на серн, ветеран, служивший еще при Карле X, протестантский пастор, проповедующий в горах...

— Это еще что такое? — с изумлением спрашивает Тартарен.

— Да, да! — не моргнув глазом, продолжает Бомпар.— Если бы вы путешествовали по немецкой Швейцарии, то не раз могли бы заметить на головокружительной высоте пастора, проповедующего под открытым небом со скалы или с кафедры, которой ему служит неотесанная деревянная колода. Вокруг него в живописных позах располагаются пастухи, сыровары с кожаными фуражками в руках, женщины, одетые и убранные так, как принято у них в кантоне. Вид прелестный: луга, травянистые или же только что скошенные, потоки, сбегающие с гор на дорогу, стада, позвякивающие тяжелыми колокольцами на каждом уступе, и все это — э-эх! — все это одна декорация, все это фигуранты. Но об этом знают только служащие Компании: проводники, пасторы, посыльные, трактирщики, и в их интересах не разглашать тайны, иначе можно лишиться клиентов.

Огорошенный альпинист молчит, что всегда является у него признаком наивысшего потрясения. В глубине души у него еще остаются некоторые сомнения в достоверности Бомпаровых сведений, но все же он приободряется,— восхождение на Альпы уже не кажется ему таким страшным, и его беседа с Бомпаром становится все веселее. Приятели говорят о Тарасконе, о том, что́ они оба вытворяли в молодости.

— Кстати о проказах,— вдруг вспоминает Тартарен,— со мной сыграли славную шутку в «Риги-Кульм»... Представьте себе, нынче утром...

И он рассказывает о письме, приклеенном к зеркалу, особенно подчеркивая обращение «Чертов француз».

— Ведь это мистификация! *Чтэ?..*

— Не знаю... Может быть...

Бомпару дело все же представляется серьезнее. Он спрашивает, не вышло ли у Тартарена на Риги с кем-либо истории, не сказал ли он чего-нибудь лишнего.

— Чего-нибудь лишнего? Да будет вам! С англичанами да с немцами рта не раскроешь — они немы как рыбы: это у них называется хорошим тоном.

Подумав, Тартарен, однако, вспоминает, что он повздорил — и притом крупно — с каким-то казаком, неким Ми... Милановым.

— Маниловым,— поправляет Бомпар.

— А вы его знаете?.. По-моему, этот самый Манилов обозлился на меня из-за русской девушки...

— Да, да, из-за Сони...— озабоченно бурчит Бомпар.

— А вы и ее знаете? Ах, мой друг, это жемчужина, это очаровательная серенькая куропаточка...

— Соня Васильева... Она выстрелом из револьвера убила на улице председателя военно-полевого суда генерала Фелянина, который приговорил ее брата к пожизненной каторге.

Соня — убийца! Этот ребенок, эта блондиночка... Тартарену не верится. Но Бомпар приводит неопровержимые доказательства, описывает во всех подробностях это громкое дело. Вот уже два года, как Соня живет в Цюрихе, где поселился потом ее чахоточный брат Борис, бежавший из Сибири. Все лето она заставляет его дышать чистым горным воздухом. Бомпар часто встречал их в кругу друзей, таких же, как они, заговорщиков, эмигрантов. Васильевы, люди очень неглупые, очень энергичные, все еще довольно состоятельные, возглавляют партию нигилистов вкупе с Болибиным, который убил шефа жандармов, и Маниловым, который в прошлом году устроил взрыв в Зимнем дворце.

— А, прах их побери! — восклицает Тартарен.— Приятные, однако, соседи были у меня в «Риги»!

Да, но это еще только цветочки. Бомпар не сомневается, что пресловутая записка исходила от этих молодых людей. Знает он все их нигилистические фокусы! Царь каждое утро находит подобные предостережения у себя в кабинете или под салфеткой...

— Но к чему все эти угрозы? — бледнея, говорит Тартарен.— Что я им сделал?

Бомпар полагает, что они приняли его за шпиона.

— Меня? За шпиона?

— Ну да!

Во всех нигилистических центрах — в Цюрихе, Лозанне, Женеве — русское правительство содержит многочисленную тайную агентуру и тратит на это большие деньги. Совсем недавно оно подговорило бывшего начальника французской полиции и человек десять корсиканцев под разными личинами следить и наблюдать за русскими изгнанниками с тем, чтобы в конце концов схватить их. А ведь тарасконского альпиниста с его очками и с его выговором не мудрено принять за соглядатая.

— Черт побери! Теперь мне понятно...— бормочет Тартарен.— По пятам за ними всюду ходит проклятый итальянский тенор... Это, конечно, сыщик... А мне-то что же все-таки делать?

— Самое главное — старайтесь не попадаться им на глаза, они же вас предупредили.

— А, пошли они с их предупреждением!.. Первому, кто ко мне приблизится, я размозжу голову вот этим самым ледорубом.

И глаза тарасконца сверкнули во мраке туннеля. Но на Бомпара это не действует успокоительно: он знает, как ужасна ненависть нигилистов, ненависть, которая расставляет ловушки, ведет подкопы, взрывает. Тут недостаточно быть таким молодцом, каков наш тарасконский президент,— отныне будь начеку: осмотри кровать в гостинице, прежде чем лечь, осмотри стул, прежде чем сесть, осмотри борт на пароходе, ибо он может неожиданно подломиться — и ты ушел на дно. А кушанья, а стаканы, вымазанные невидимым ядом!

— Бойтесь киршвассера, которого вам нальют в вашу флягу, парного молока, которое вам принесет пастух. *Они* ни перед чем не останавливаются, уверяю вас!

— Как же теперь быть? Я пропал! — упавшим голосом говорит Тартарен и, схватив своего приятеля за руку, умоляет:— Посоветуйте мне, Гонзаг!

После минутного раздумья Бомпар намечает план. Выехать завтра чуть свет, переехать озеро, перебраться через Брюннигский перевал и заночевать в Интерлакене. На следующий день — Гриндельвальд и Малая Шейдек. Еще через день — Юнгфрау! А затем, не теряя ни минуты, скорей, скорей в Тараскон!

— Завтра же еду, Гонзаг...— решительно заявляет наш герой, устремив полный ужаса взор к таинственному горизонту, окутанному непроглядным ночным мраком, и к холодно поблескивающей озерной глади, под которой так и чудятся ему всевозможные козни...

VI

Брюннигский перевал. Тартарен попадает в лапы к нигилистам. Исчезновение итальянского тенора и авиньонской веревки. Новые подвиги стрелка по фуражкам. Бах! Бах!

— *Сатитесь!.. Сатитесь ше!*

— Куда же я, черт побери, сяду? Все места заняты! Меня никуда не пускают...

Это происходило в самом конце Озера четырех кантонов, на Альпнахском берегу, сыром, болотистом, как дельта; почтовые

экипажи собираются тут целыми обозами, берут пассажиров, сходящих с пароходов, и переправляют их через Брюнниг.

С утра зарядил мелкий дождь — каждая его капля была не больше острия иголки. Добрый Тартарен, связанный по рукам и ногам своим снаряжением, толкаемый почтовыми и таможенными чиновниками, громоздкий, шумный, точно музыкальный клоун на ярмарке, каждое движение которого заставляет звучать то треугольник, то барабан, то бубен, то цимбалы, бегал от экипажа к экипажу. У всех дверок его встречал один и тот же вопль ужаса, одно и то же недовольное, ворчливое: «Полно́!» — произносимое на всех языках, и каждый пассажир считал своим долгом расставить пошире локти, чтобы занять побольше места и не пустить такого опасного, такого громыхающего соседа.

Несчастный потел, пыхтел, кричал: «А, черт вас всех дери!» — и отчаянно размахивал руками в ответ на возгласы нетерпения, которые неслись из всех дилижансов: «Пошел!», «*All right!*», «*Andiamo!*», «*Vorwärts!*»[1]. Лошади бились, кучера ругались. Под конец вмешался почтальон, краснорожий верзила в мундире и плоской фуражке: он распахнул дверцу полузакрытого ландо, впихнул туда Тартарена, как тюк, и, застыв в величественной позе возле крыла экипажа, протянул руку за *Trinkgeld*[2].

Униженный, возмущенный своими соседями, которые встретили его *manu militari*[3], Тартарен, сделав вид, что не замечает их, засунул портмоне поглубже в карман и поставил ледоруб рядом с собой, и все это он делал в сердцах, все это выходило у него нарочито грубо,— можно было подумать, что он сошел с парохода, курсирующего между Дувром и Кале.

— Здравствуйте!..— вдруг послышался знакомый нежный голос.

Тартарен вскинул глаза и замер от ужаса: он увидел перед собой хорошенькое розовое личико Сони, сидевшей напротив, под поднятым верхом, рядом с высоким молодым человеком, столь плотно закутанным в пледы и одеяла, что виден был только его мертвенно-бледный лоб, на который свисали пряди волос, такие же тоненькие и золотистые, как дужки его очков, очков для близоруких; вне всякого сомнения, это был ее брат. С ними ехал еще один человек, которого Тартарен узнал сразу,— Манилов, тот самый, что взрывал Зимний дворец.

Соня, Манилов... Ну, значит, мышеловка!

Вот где они приведут в исполнение свою угрозу! На Брюннигском крутом перевале, где с обеих сторон пропасти. И тут наш

[1] Отлично! *(англ.)* Поехали! *(итал.)* Вперед! *(нем.)*
[2] Чаевыми *(нем.)*.
[3] Здесь: враждебно *(лат.)*

герой, озаренный внезапным страхом, раскрывшим ему всю глубину опасности, мгновенно представил себе, как он лежит на каменистом дне пропасти, как он повисает на самой вершине дуба. Бежать? Но как и куда? Экипажи тронулись, вот они уже мчатся в ряд под звуки рожка, стайки мальчишек суют в дверцы букетики эдельвейсов. Обезумевший Тартарен решил было, не дожидаясь покушения, напасть самому и раскроить альпенштоком череп сидевшему рядом с ним казаку, но, поразмыслив, счел за благо воздержаться. Всего вероятнее, эти люди попытаются напасть на него позднее, в местах безлюдных, а до тех пор он еще, пожалуй, успеет дать тягу. Да и потом, никаких проявлений недоброжелательства с их стороны больше не замечалось. Соня ласково улыбалась ему своими красивыми бирюзовыми глазами, высокий бледный молодой человек смотрел на него с любопытством, а Манилов, явно смягчившись, любезно подвинулся, чтобы Тартарену было куда положить мешок. Может быть, они поняли свою ошибку, прочитав в «Риги-Кульм», в книге для приезжающих, славное имя Тартарена?.. Решив окончательно в этом удостовериться, он заговорил непринужденно и благожелательно:

— Какая приятная встреча, молодые люди!.. Но только позвольте мне наконец представиться... Вы же не знаете, кто я, а я-то отлично знаю, кто вы.

— Тсс! — приставив к губам пальчик, обтянутый шведской перчаткой, произнесла улыбающаяся Соня и показала на козлы: рядом с кучером сидели под одним зонтом тенор в манжетах и еще один русский юноша; оба смеялись и разговаривали друг с другом по-итальянски.

В выборе между агентом полиции и нигилистами Тартарен не колебался.

— А вы хоть знаете, что это за человек? — спросил он шепотом, приблизив свое лицо к свежему личику Сони, а она в ответ моргнула ему, и ясные ее глаза вдруг стали строгими и суровыми.

Герой вздрогнул, но так, как вздрагивают в театре: он испытывал то блаженное состояние, когда по телу у вас бегают мурашки и вы поудобнее усаживаетесь в кресле, чтобы еще внимательнее следить за крайне запутанной интригой. Его лично это уже не касалось, наконец-то рассеялись мучительные ночные страхи, отравившие то удовольствие, которое ему всегда доставляло по утрам кофе по-швейцарски, кофе с маслом и с медом, и вынуждавшие его держаться на пароходе как можно дальше от борта, и теперь он дышал полной грудью и находил, что жизнь прекрасна, а что эта русская девушка в дорожной шапочке, в фуфайке, доходившей ей чуть не до самого подбородка, обтягивавшей руки и

обрисовывавшей ее еще слишком тоненькую, но безукоризненно изящную фигурку, неотразимо очаровательна. И какое же она еще дитя! Все у нее детское: и этот чистый смех, и пушок на щеках, и та милая грация, с какою она укрывает пледом ноги своему брату: «Как ты себя чувствуешь?.. Тебе не холодно?» Ну кто поверит, что этой маленькой худенькой ручке в замшевой перчатке хватило сил и духу убить человека!

Спутники ее теперь тоже не кажутся ему столь кровожадными, как прежде. Они смеются от души, только у больного смех превращается в сдержанную, страдальческую улыбку, застывающую на его бескровных губах, а шумнее всех смеется Манилов: совсем еще юный, несмотря на свою клочковатую бороду, он резвится, как школьник на каникулах, временами на него нападает буйная веселость.

Третий спутник, по фамилии Болибин, беседовавший на козлах с итальянцем, тоже веселился напропалую; он поминутно оборачивался, чтобы перевести рассказы мнимого певца о его успехах в петербургской опере, о его победах, о том, как по окончании гастролей поклонницы преподнесли ему запонки, на которых выгравированы три ноты: *la*, *do*, *re*, то есть *l'adoré*[1]. Этот каламбур, без конца повторявшийся в ландо, развеселил всех, а тенор еще пуще заважничал и все покручивал ус, с таким дурацки победоносным видом поглядывая на Соню, что Тартарен невольно усомнился: да полно, уж не самые ли обыкновенные перед ним туристы и не самый ли это настоящий тенор?

Экипажи между тем мчались во весь опор, проезжали мосты, огибали озерца, катились мимо цветущих лугов, мимо прекрасных, омытых дождем и безлюдных садов; был воскресный день, и попадавшиеся навстречу крестьяне шли в праздничных одеждах, а женщины все были с длинными косами и все до одной надели на себя серебряные цепочки. Дорога, змеясь, начала подниматься в гору, между буковой и дубовой рощей. Слева с каждым поворотом все шире и все пленительнее открывался вид на реки и долины, где белели колокольни церквей, а вдали сверкала под лучами невидимого солнца снежная вершина Финстераарготна.

Вскоре пошли места дикие и унылые. С одной стороны — глубокая тень, вкривь и вкось растущие по отлогому склону деревья, в чаще которых рокочет вспененный поток; справа — нависшая над дорогой громадная скала, ощетинившаяся ветками, торчащими из расселин.

В ландо никто уже не смеялся. Все, запрокинув головы, пытались разглядеть, где же кончается это гранитное ущелье.

---

[1] Обожаемый *(франц.)*.

— Ни дать ни взять леса Атласа!.. Ну, точь-в точь!..— с важностью сказал Тартарен, но, видя, что на него никто не обращает внимания, добавил: — Вот только рычания львов не хватает.

— А вы слышали, как рычат львы? — спросила Соня.

Он да не слышал!..

— Я Тартарен из Тараскона, сударыня...— с мягкой и снисходительной улыбкой заявил Тартарен.

Экие варвары! Что Тартарен, что какой-нибудь там Дюпон — это им решительно все равно. Они даже имени такого никогда не слыхали.

Однако он не обиделся и на вопрос девушки, было ли ему страшно, когда рычали львы, ответил:

— Нет, сударыня... Мой верблюд дрожал подо мной, как в лихорадке, а я осматривал курки так же спокойно, словно передо мной было стадо коров... На расстоянии это примерно звучит так... Вот!..

Чтобы дать Соне точное представление о том, как рычит лев, он самым густым своим басом издал грозное: «Р-р-р!..» — и, отраженное скалой, оно потом еще усилилось и раскатилось. Лошади взвились на дыбы. Во всех экипажах пассажиры в ужасе повскакали с мест, силясь понять, что же произошло, доискиваясь причины переполоха, а так как верх ландо был приподнят, то они сейчас же узнали альпиниста по его шлему и по его неумещающейся амуниции.

— Да что же это за скотина! — повторяли они.

А он, сохраняя полнейшее хладнокровие, продолжал подробно объяснять, как нужно нападать на льва, как нужно его добивать и снимать с него шкуру, как он приделал к своему карабину бриллиантовую мушку, чтобы вернее целиться ночью. Девушка, наклонившись к нему, слушала его очень внимательно, и ноздри ее чуть вздрагивали.

— Говорят, Бомбонель все еще охотится. Вы с ним знакомы? — спросил ее брат.

— Да,— без особого восторга ответил Тартарен.— Он недурной охотник... Но у нас есть и получше.

Тонкий намек!

— Понятное дело, охота на крупных хищников сопряжена с сильными волнениями,— меланхолически продолжал он.— И когда их нет, то в душе образуется пустота, а чем ее заполнить — не знаешь.

Манилов понимал по-французски, хотя и не говорил; он слушал Тартарена с таким напряженным вниманием, что его мужицкий лоб проре́зала крупная морщина, похожая скорее на рубец, потом засмеялся и что-то сказал своим друзьям.

— Манилов утверждает, что вы наш собрат,— пояснила Тартарену Соня.— Мы, как и вы, охотимся на крупных хищников.

— Ну да, правильно... На волков, на белых медведей.

— Да, на волков, на белых медведей и на других вредных животных.

Тут снова раздался смех, шумный, долго не смолкавший, но на сей раз язвительный и злобный, смех, обнажавший зубы и показывавший Тартарену, в каком дурном и опасном обществе он путешествует.

Экипаж неожиданно остановился. Подъем делался круче, и дорога в этом месте описывала большой круг вплоть до верхней точки Брюннигского перевала, куда, если двинуться прямиком по откосу, чудесной буковой рощей, можно дойти минут за двадцать. После утреннего дождя везде было скользко и мокро, но пассажиры, воспользовавшись прояснением, почти все вышли из экипажей и двинулись гуськом по узкой тропинке для санок.

Из ландо, в котором сидел Тартарен — а оно ехало позади всех,— мужчины вышли. Соне показалось, что уж очень грязно, и она предпочла остаться; когда же альпинист, слегка замешкавшись из-за своего снаряжения, стал после всех вылезать из ландо, она сказала ему вполголоса:

— Останьтесь со мной за компанию!..

При этом у нее был такой лукавый вид, что воображению бедного Тартарена, потрясенного до глубины души, тотчас представился прелестный, хотя и неправдоподобный роман, и его старое сердце учащенно забилось.

Однако его постигло разочарование: девушка, высунувшись из ландо, с тревогой следила за Болибиным и итальянцем, о чем-то оживленно беседовавшими на самом краю санной тропинки, меж тем как Манилов и Борис уже стали по ней взбираться.

Мнимый тенор, видимо, колебался. Он инстинктивно чувствовал, что ему опасно оставаться одному в обществе этих трех мужчин. Наконец он решился, и Соня долго смотрела ему вслед, водя по своей пухлой щечке букетом лиловых цикламенов, этих горных фиалок, темные листья которых оттеняют яркость цветка.

Лошади шли шагом, кучер слез с козел и шел впереди со своими товарищами, все пятнадцать экипажей, наезжавших один на другой из-за крутизны подъема, двигались порожняком, в полной тишине. Тартарен, крайне взволнованный, предчувствуя что-то недоброе, не смел поднять глаза на свою соседку,— он боялся, что из-за одного какого-нибудь слова или взгляда станет если не главным, то, во всяком случае, второстепенным действующим лицом драмы, которая, казалось ему, должна вот-вот разыграться.

Но Соня не обращала на него внимания, взгляд у нее был отсутствующий, и она все еще рассеянно гладила фиалками свою покрытую легким пушком щеку.

— Итак,— заговорила она после долгого молчания,— теперь вы знаете, кто мы, я и мои друзья... Что же вы о нас думаете? Что думают о нас французы?

Тартарен то краснел, то бледнел. Он боялся каким-нибудь неосторожным словом вооружить против себя столь мстительных людей. А с другой стороны, как можно вступать в союз с убийцами? Поэтому он заговорил иносказательно:

— Сударыня! Вот вы мне только что заявили: охотники на гидр и на чудищ, на деспотов и на хищников — это-де собратья. Я же вам на это отвечу, как ответил бы член братства святого Губерта... Я лично держусь того мнения, что и против диких зверей надлежит пользоваться лишь узаконенным оружием... Жюль Жерар, наш знаменитый охотник на львов, применял разрывные пули... Я этого не одобряю, я никогда так не поступал... На льва и на пантеру я хаживал с добрым двуствольным карабином, становился прямо против зверя, и — бах! бах! — по пуле в каждом глазу.

— В каждом глазу!..— воскликнула Соня.

— Я ни разу не промахнулся.

Он глубоко верил в то, что говорил.

Девушка посмотрела на него с наивным восторгом и вслух подумала:

— Лучше всего действовать наверняка.

Внезапно захрустели ветки, наверху зашевелился кустарник, кем-то раздвигаемый так быстро и ловко, что Тартарен, у которого все мысли были заняты охотничьими приключениями, тотчас вообразил, будто он в Заккаре караулит зверя. С обрыва бесшумно спрыгнул Манилов и очутился возле самого экипажа. На его исцарапанном колючками лице сверкали маленькие глазки, окруженные сетью морщин, с бороды и всклокоченных волос стекала вода, которой его обрызгал кустарник. Тяжело дыша, ухватившись короткими, толстыми, волосатыми руками за ручку дверцы, он сказал что-то по-русски Соне, и та живо обратилась к Тартарену:

— Веревку!.. Скорей!..

— Ве-веревку?..— пролепетал герой.

— Скорей, скорей!.. Вам ее вернут.

Без дальних слов она своими изящными пальчиками, затянутыми в перчатки, помогла ему отцепить знаменитую веревку, изготовленную в Авиньоне. Манилов, радостно захрюкав, схватил всю связку и с гибкостью дикой кошки в три прыжка скрылся в чаще кустарника.

— Что там такое?.. Что они затевают?.. У него такой свирепый вид...— бормотал Тартарен, не решаясь прямо высказать свою мысль.

Манилов — и свирепость! Ах, как плохо он его знает! Лучше, мягче, отзывчивее человека в целом свете не сыщешь. И тут Соня, глядя на Тартарена своими ясными синими глазами, рассказала один эпизод, по ее мнению, характерный для этой исключительной натуры: однажды ее друг, выполняя опасное поручение Революционного комитета, вскочил в сани, в которых он должен был мчаться от погони, и сейчас же пригрозил кучеру, что выпрыгнет из саней, если тот будет бить и погонять лошадь, а между тем от быстроты ее бега зависело его спасение.

Тартарен нашел, что это черта истинно античная. Затем, подумав о том, сколько людей пострадало из-за Манилова, неповинного в этих жертвах, как неповинны бывают в своих жертвах землетрясение или вулкан, из-за Манилова, который вместе с тем не мог допустить, чтобы в его присутствии мучили животное, альпинист по простоте душевной спросил девушку:

— А что, при взрыве в Зимнем дворце много погибло народу?

— Очень много,— печально ответила Соня.— А тот человек, которого нужно было уничтожить, уцелел.

И тут она с сокрушенным видом умолкла. Она опустила голову, ее длинные золотистые ресницы касались бледно-розовых щек — в эту минуту она была как-то особенно хороша. Плененный красотою молодости, той свежестью, какой дышала эта странная девочка, Тартарен пожалел, что навел Соню на грустные мысли.

— Борьба, которую мы ведем, наверно, кажется вам жестокой, бесчеловечной?

Она произнесла эти слова, наклонившись к нему, лаская его своим дыханием и взглядом. И герой наш заколебался...

— Если народ угнетают, если народ душат и необходимо его освободить, то всякое оружие хорошо и законно, ведь правда?..

— Разумеется, разумеется...

По мере того как Тартарен отступал, девушка становилась все настойчивее:

— Вы мне говорили о том, что надо чем-то заполнить душевную пустоту. Не кажется ли вам, что гораздо благороднее и интереснее пожертвовать своей жизнью ради великого дела, чем рисковать ею ради того, чтобы убить льва или взлезть на ледник?

— В самом деле...— увлекшись и совсем потеряв голову, пробормотал Тартарен, снедаемый бешеным, неодолимым желанием поцеловать маленькую горячую руку, которую Соня для большей убедительности положила ему на плечо совершенно так же, как ночью на «Риги-Кульм», когда он нашел ее туфлю. Нако-

нец он не выдержал и взял эту руку, которую облегала перчатка, в свои.— Послушайте, Соня,— заговорил он своим добродушным басом, в котором теперь звучали отеческие и интимные нотки, — послушайте, Соня...

Его прервала неожиданная остановка ландо. То была вершина Брюннигского перевала. Пассажиры и кучера спешили к экипажам — всем хотелось наверстать время и как можно скорее добраться до ближайшего селения, где предстояло позавтракать и переменить лошадей. Трое русских заняли свои места, место итальянца пустовало.

— Он сел в один из передних экипажей,— ответил на вопрос кучера Борис и обратился к Тартарену, который был явно встревожен: — Надо будет взять у него вашу веревку. Он унес ее с собой.

Тут в ландо снова раздался хохот, а храбрый Тартарен попрежнему пребывал в мучительном неведении; он не знал, чему же верить и что же думать об этих убийцах, которые так веселятся и у которых такой невинный вид. Укутывая больного плащами и пледами, так как теперь от быстрой езды стало еще холоднее, Соня переводила на русский язык свой разговор с Тартареном; особенно мило выходило у нее это: «Бах! Бах!»,— которое спутники потом повторяли за ней, восхищаясь героем, и только Манилов недоверчиво покачивал головой.

Станция!

Посреди большого села на площади стоит старый трактир с прогнившим деревянным балконом и с проржавленной вывеской. Здесь останавливается вереница экипажей, и, пока выпрягают лошадей, проголодавшиеся путешественники стремглав несутся к трактиру и набиваются в выкрашенную зеленой краской и пахнущую сыростью залу на втором этаже, где стол бывает накрыт не больше чем на двадцать персон. А наехало шестьдесят, и вот отчего минут пять продолжается невообразимая толкотня, раздаются крики, вокруг соусников идет яростная перебранка между рисолюбами и черносливцами — к великому ужасу хозяина, который, хотя почтовые дилижансы всегда прибывают вовремя и пора бы, кажется, к этому привыкнуть, сам уже сбился с ног и загонял служанок, а служанки тоже всегда мечутся как угорелые, им вся эта сутолока на руку: можно подавать только половину блюд, обозначенных на карте, можно давать какую угодно сдачу, так, чтобы швейцарские беленькие су сходили за пятьдесят сантимов.

Соне эта бестолочь надоела.

— Не позавтракать ли нам в экипаже?.. — предлагает она.

Молодые люди сами идут раздобывать кушанья; прислуге не до них. Манилов возвращается, потрясая холодной бараньей ножкой. Болибин несет хлеб и сосиски, однако наилучшим провиантмейстером оказался Тартарен. Собственно говоря, ему представлялся удобный случай, воспользовавшись суматохой, улизнуть от своих спутников или, во всяком случае, разузнать про итальянца, но он об этом и не подумал — теперь его занимает одна мысль: как он будет завтракать с «малюткой» и как он покажет Манилову и другим, на что способен расторопный тарасконец.

Когда он, храня сосредоточенный и важный вид, сходит с крыльца, держа в своих могучих руках большой поднос с тарелками, салфетками, изысканными кушаньями и швейцарским шампанским с золотой головкой, Соня хлопает в ладоши и выражает ему свое восхищение:

— Как же это вам удалось?

— Сам не знаю... Так как-то!.. Мы, тарасконцы, народ дошлый.

О, блаженные минуты! На всю жизнь запомнится нашему герою этот милый завтрак почти что на Сониных коленях,— завтрак, фоном которому служит опереточная декорация: сельская площадь, деревья, рассаженные в шахматном порядке, а под их сенью поблескивают позолота и шелк прогуливающихся парами, разряженных, как куклы, швейцарок.

Какой вкусный хлеб, какие сочные сосиски! Само небо словно улыбается сотрапезникам,— оно такое приветливое, доброе, неяркое! Дождь, конечно, идет, но чуть-чуть, и моросит-то он, кажется, только для того, чтобы разбавить швейцарское шампанское, небезопасное для головы южанина.

Подле веранды пристроился тирольский квартет: два великана и два карлика в тяжелых и ярких лохмотьях, словно оставшихся у них от распродажи прогоревшего ярмарочного балагана, орут что есть мочи, и голоса их сливаются со звоном тарелок и стаканов. Они уродливы, глупы, неповоротливы, их тощие шеи вытягиваются от напряжения. Но Тартарен в восторге,— к великому изумлению сельчан, обступивших распряженное ландо, он швыряет певцам пригоршнями мелочь.

— *Та страствует Вранция!* — слышится чей-то дрожащий голос.

Из толпы выходит высокий старик в каком-то необыкновенном голубом мундире с серебряными пуговицами и фалдами до пят, в гигантском кивере, похожем на кадку для кислой капусты, и под тяжестью этого кивера с высоким султаном старик идет, балансируя руками, точно канатный плясун.

— *Старий зольтат... королевской квартии. Карль Тесьятий...*

А тарасконец, в чьей памяти еще живы рассказы Бомпара, хохочет, подмигивает старику и говорит вполголоса:

— Слыхали мы это, старина...

Но все же дает ему серебряную монету и наливает полный стакан вина; старик берет его и тоже подмигивает и смеется, хотя сам не знает чему. Затем, вынув из угла рта огромную фарфоровую трубку, поднимает стакан и пьет «за успехи Компании», и это окончательно утверждает Тартарена в мысли, что перед ним сослуживец Бомпара.

Э, да не все ли равно, за что пить!

Стоя в ландо, Тартарен высоко поднимает стакан и со слезами на глазах громогласно провозглашает тост сперва «за Францию, за родину...», потом за гостеприимную Швейцарию и говорит, что он счастлив отдать ей должное и во всеуслышание выразить благодарность за радушный прием, оказываемый ею всем побежденным, всем изгнанникам. Затем обращается к своим спутникам и, понизив голос, желает им поскорее вернуться домой, свидеться с дорогими родителями, с верными друзьями, желает им отличиться на славном поприще, желает скорейшего окончания междоусобицы,— нельзя же, мол, так мучиться всю жизнь!

Пока он произносит тост, глаза Сониного брата насмешливо и холодно улыбаются за дымчатыми стеклами очков. Манилов вытянул шею, сдвинул свои насупленные брови, и на лице у него написано: скоро ли этот толстый барин перестанет болтать? А Болибин, похожий на маленькую уродливую обезьянку, вскарабкавшуюся на плечи к тарасконцу, сидит на козлах и строит рожи, отчего его измятое, желтое, как у татарина, лицо становится еще смешнее.

Одна только Соня слушает Тартарена вполне серьезно, силясь понять, что же это за странный тип. Думает ли он о том, что говорит? Соответствуют ли истине его рассказы о себе? Сумасшедший ли он, комедиант или просто болтун, как уверяет Манилов, у которого слово с делом не расходится и в устах которого определение «болтун» приобретает особенно обидный смысл?

Разгадка близка. Провозгласив тост, Тартарен садится, но тут вдруг раздается выстрел, за ним другой, третий, где-то совсем близко, и герой наш в сильном волнении вскакивает, навастривает уши, встревоженно нюхает воздух.

— Кто стрелял?.. Где это?.. Что случилось?..

Этот фантазер мысленно сочиняет целую драму: вооруженное нападение на экипажи, удобный случай защитить жизнь и честь прелестной девушки. Да нет, выстрелы гремели просто-напросто в *Stand'e*[1], где сельская молодежь каждое воскресенье стреляет

[1] Балагане *(нем.)*.

по мишеням. Лошадей еще не запрягли, и Тартарен, как ни в чем не бывало, предлагает спутникам пойти посмотреть стрельбище. У него свои соображения, у Сони, согласившейся с ним пойти, свои. Предводительствуемые старым королевским гвардейцем, качающимся из стороны в сторону под своим громадным кивером, они переходят площадь, за ними следует толпа любопытных.

Этот крытый соломой «штанд» на четырехугольных столбах из свежеоструганной ели напоминает наш самый что ни на есть деревенский ярмарочный тир, с тою лишь разницей, что сюда любители приходят со своим оружием — шомполками старой системы и что стрелки они довольно меткие. Сложив руки на груди, Тартарен оценивает выстрелы, громко делает замечания, дает советы, но сам не стреляет. Русские наблюдают за ним и подают друг другу знаки.

— Бах!.. Бах!..— передразнивает его повадку и его тарасконский акцент Болибин.

Тартарен оборачивается, он покраснел, внутри у него все кипит.

— За мной дело не станет, молодой *челвэк*... Бах-бах так бах-бах... Сколько вам будет угодно!

Зарядить старый двуствольный карабин, который, по всей вероятности, служил не одному поколению охотников на серн, недолго: бах!.. бах!..— и готово дело. Обе пули попадают куда нужно. Со всех сторон восторженные крики. Соня торжествует, Болибин уже не смеется.

— Это еще что,— говорит Тартарен,— вот я вам сейчас покажу...

«Штанда» ему уже недостаточно, он ищет цель, он должен что-нибудь сокрушить, толпа в ужасе шарахается от этого небывалого альпиниста, коренастого, свирепого, с карабином в руке, заявляющего старому королевскому гвардейцу, что он сейчас на расстоянии пятидесяти шагов разобьет у него в зубах трубку. Старик с дикими воплями скрывается в толпе, и только его султан дрожит мелкой дрожью над головами теснящихся сельчан. Однако Тартарену непременно надо всадить во что-нибудь пулю.

— А ну-ка, прах его возьми, по-тарасконски!..

И с этими словами матерый стрелок по фуражкам изо всех сил напрягает свои двойные мускулы, подбрасывает головной убор, бьет по нему влет и пробивает.

— Браво! — кричит Соня и просовывает в дырочку, проделанную пулей в суконной фуражке, букет горных фиалок, которым она еще недавно поглаживала себе щеку.

С этим прелестным трофеем Тартарен садится в ландо. Гудит рожок, экипажи трогаются, лошади мчатся во весь дух по так называемому Бриенцскому спуску — по прекрасной дороге, пробитой в скалах в виде карниза и отделенной от пропасти глубиной больше чем в тысячу футов всего лишь тумбочками, стоящими в двух метрах одна от другой. Но Тартарен уже не замечает опасности и не наслаждается окрестными видами, не смотрит на Мейрингенскую долину, над которой вьется светлый пар, на реку с ровными берегами, на озеро, на селения, лепящиеся одно к другому вдали, на горы, заслоняющие горизонт, на ледники, которые порой сливаются с облаками и при каждом повороте переставляются вокруг дороги, как декорация: то удаляются, то открываются взору.

Преисполненный нежных чувств, герой наш любуется прелестной малюткой, сидящей напротив него, и думает, что слава — это лишь призрак счастья, что грустно доживать век одинокому в своем величии, как Моисей, что этот хрупкий северный цветок, пересаженный в тарасконский садик, оживил бы однообразную жизнь его владельца и что цветок этот несравненно прекраснее и благоуханнее вечнозеленого баобаба, *arbos'* а *gigantea* в горшочке. А Соня смотрит на Тартарена своими детскими глазами, хмурит свой высокий, задумчивый и упрямый лоб и о чем-то мечтает. Но кто может угадать, о чем мечтают девушки?

VII

Тарасконские вечера. Где он? Недоумение. Цикады на Городском кругу зовут Тартарена домой. Муки тарасконского страстотерпца. Клуб альпинцев. Что произошло в аптеке. Ко мне, Безюке!

— Вам письмо, господин Безюке!.. Из Швейцарии, да!.. Из Швейцарии! — на склоне дня весело кричал почтальон, быстрым шагом направляясь к аптекарю с противоположного конца Малой площади и размахивая чем-то в воздухе.

Безюке, сидевший в одной жилетке возле своего дома и дышавший свежим воздухом, вскочил, выхватил из рук почтальона письмо и унес в свое святилище, насквозь пропитанное смешанным запахом эликсиров и сушеных трав, но не распечатал до тех пор, пока не ушел почтальон, которого он в награду за добрую весть угостил и подкрепил стаканчиком чудного мертвецкого сиропа.

Целых две недели ждал Безюке этого письма из Швейцарии, целых две недели он изнывал от нетерпения! Наконец-то оно пришло! И как только Безюке увидел мелкий, убористый, но твердый почерк на конверте, увидел название почтовой конторы

«Интерлакен» и большой фиолетовый штемпель «Отель Юнгфрау, содержатель Мейер», из глаз у него брызнули слезы, а его усищи, как у берберийского корсара, задрожали, и сквозь них просочился легкий добродушно-ребячий посвист.

«Конфиденциально. Прочитав, уничтожить».

Слова эти, выведенные огромными буквами в начале страницы, этот телеграфно-аптекарский стиль (что-то вроде: «Наружное. Перед употреблением взбалтывать») так взволновали аптекаря, что он стал читать письмо вслух таким голосом, каким говорят в бреду:

«Со мной случилось нечто ужасное...»

Но в соседней комнате его могла услышать г-жа Безюке, дремавшая после ужина, мог услышать и ученик, мерными ударами пестика что-то толокший в лаборатории. Понизив голос, Безюке несколько раз прочитал письмо, и лицо его покрылось смертельной бледностью, а волосы в буквальном смысле слова встали дыбом. Он оглянулся по сторонам — трах!.. трах!..— письмо в мелкие клочья и скорей в корзину! Да, но ведь обрывки могут найти и сложить. Безюке лезет за ними под стол, но в эту минуту его окликает старчески дрожащий голос:

— *Э*, Фердинанд, это ты?

— Я, маменька...— отвечает несчастный корсар и от ужаса всем своим мощным телом застывает на четвереньках под столом.

— Что ты там делаешь, сокровище мое?

— Что делаю?.. М-м... Готовлю глазные капли для мадемуазель Турнатуар.

Маменька вновь погружается в дремоту, а пестик ученика, на минуту притихший, возобновляет свои медлительные удары и, подобно ходу маятника, убаюкивает и дом и Малую площадь, сомлевшие в духоте летнего вечера. А Безюке ходит большими шагами перед аптекой, и лицо его то розовеет, то зеленеет, в зависимости от того, мимо какого шара лежит сейчас его путь. Он размахивает руками, бормочет бессвязные слова: «Несчастный... погиб... роковая любовь... Как его вызволить?» — но, несмотря на расстройство чувств, он все же провожает веселым свистом драгун, которые, возвращаясь с ученья, исчезают под сенью платанов Городского круга.

— А, здравствуйте, Безюке!..— окликает его вынырнувшая из пепельно-серого сумрака чья-то спешащая тень.

— Куда это вы, Пегулад?

— Да в Клуб, куда же еще!.. На вечернее заседание... Насчет Тартарена и насчет выборов президента... Вам тоже надо пойти.

— Ну да, ну да, я приду!..— отвечает аптекарь, которого внезапно озаряет гениальная мысль.

Он возвращается домой, надевает сюртук и ощупывает карманы, чтобы удостовериться, здесь ли ключ от входной двери и американский кастет, без которого ни один тарасконец не отважится выйти на улицу после того, как пробили зорю. Потом зовет: «Паскалон!.. Паскалон!..» — зовет тихонько, чтобы не разбудить старушку.

С восторженной душой фанатика, с низким лбом, с глазами как у бешеной козы, с пухлыми щечками, на которых играл нежный золотистый румянец, словно на поджаристых бокерских булочках, аптекарский ученик Паскалон был еще совсем юн и уже лыс, точно вся полагавшаяся ему растительность пошла на его курчавую рыжеватую бороду. В дни больших альпинских празднеств Клуб неизменно поручал ему нести знамя, и оттого П. К. А. внушал юнцу страстную любовь, пламенное, хотя и безмолвное благоговение — благоговение свечи, горящей пред алтарем на Пасху.

— Паскалон! — шепотом сказал аптекарь, кончиком уса щекоча ему ухо.— Я получил известие от Тартарена... Известие тревожное...

Ученик побледнел.

— Успокойся, дитя мое,— может, еще все обойдется... Аптеку я, понимаешь ли, оставляю на тебя... Если спросят мышьяку — не давай, опиума тоже, ревеню тоже... Ничего не давай. Если я к десяти часам не вернусь, закрой ставни и ложись. Вот так!

Безюке двинулся решительным шагом и, ни разу не обернувшись, растворился во тьме, объявшей Городской круг, а Паскалон сейчас же бросился к корзине посмотреть, нет ли там обрывков таинственного письма, которое принес почтальон, жадными дрожащими руками стал в ней рыться и наконец вывалил все ее содержимое на конторку.

Кто знает, как быстро возбуждаются тарасконцы, тот легко себе представит переполох, начавшийся в городе после внезапного исчезновения Тартарена. Ах, ах, ах, э-эх, ну что ты скажешь,— тарасконцы совсем потеряли голову, тем более что дело было в августе и от жары у них едва не трескались черепа и не вываливались мозги! С утра до вечера в городе только об этом и говорили, имя «Тартарен» беспрестанно слетало и с поджатых губ почтенных дам в чепцах, и с накрашенных губ гризеток с бархатками в волосах: «Тартарен, Тартарен...» — а на Городском кругу под сенью отягченных белой пылью платанов ошалелые цикады, стрекоча в дрожащем от зноя воздухе, словно давились двумя звучными слогами: «Тар-тар... Тар-тар...»

Толком никто ничего не знал, а потому, разумеется, каждый располагал точными сведениями и подробно объяснял, куда и зачем уехал президент. Слухи ходили самые невероятные. По одной версии, он поступил в монастырь к траппистам, по другой — увез Дюгазон, по третьей — переселился на необитаемый остров, чтобы основать колонию под названием «Порт-Тараскон», по четвертой — путешествует по Центральной Африке и разыскивает Ливингстона.

— А, да ну, Ливингстона!.. Ливингстон два года тому назад умер...

Но тарасконское воображение ни с временем, ни с пространством не считается. И вот что любопытно: россказни о траппистах, колониях, дальних путешествиях — то были идеи самого Тартарена, мечты этого вечно бодрствующего сонливца, которыми он в свое время поделился с друзьями, и вот теперь друзья буквально не знали, на что подумать; тая обиду на Тартарена за то, что он не посвятил их в свои замыслы, они в присутствии посторонних напускали на себя крайнюю сдержанность и с видом заговорщиков многозначительно переглядывались. Экскурбаньес подозревал, что обо всем осведомлен Бравида, а Бравида говорил:

— Аптекарю, наверное, все известно. Недаром он глядит в сторону, как собака, стащившая кость.

По правде сказать, тайна сия была для аптекаря власяницей — она причиняла ему страшные мучения, он испытывал нестерпимый зуд, то краснел, то бледнел и беспрестанно косил глазами. Вспомните, что несчастный был тарасконец, и теперь скажите, найдется ли во всем мартирологе более страшная пытка, нежели муки святого Безюке, знавшего нечто и вынужденного молчать.

Вот почему в тот вечер, несмотря на ужасающее известие, он шел на заседание бодрым шагом человека, которому вдруг на душе стало легче... *Накнэц-то!* Теперь он может говорить, может поделиться, может рассказать о том, что его так тяготило! И, торопясь избавиться от гнета, он на ходу бросал полунамеки гулявшим на Городском кругу. День выстоял жаркий, и теперь, хотя время было позднее — часы ратуши показывали без четверти восемь и в темноте становилось жутковато,— народ высыпал на улицы; обыватели, пока их дома проветривались, сидели на лавочках и дышали воздухом, ткачихи, разгуливавшие впятером, а то и вшестером и державшиеся за руки, накатывались на встречных волнами болтовни и смеха. И всюду разговор шел о Тартарене. Аптекаря останавливали по дороге и спрашивали:

— Ну что, господин Безюке, писем все нет?..

— Есть, друзья мои, есть... Прочтите завтрашний «Форум»...

Он прибавил шагу, но обыватели шли за ним, привязывались

к нему, и на всем Городском кругу стоял шум голосов и топот ног, пока наконец человечье стадо не остановилось перед большими, ярко освещенными квадратами открытых окон Клуба.

Заседания происходили в той зале, где прежде играли в буйотту, а длинный стол, покрытый тем же самым зеленым сукном, был теперь столом канцелярским. В самом центре возвышалось президентское кресло с вышитыми на спинке буквами: П. К. А., а сбоку стоял стул секретаря. Сзади висело развернутое знамя Клуба, а под ним — широкая глянцевитая карта, на которой были нанесены Альпины с обозначением их названий и высот. По углам стояли стоймя, точно биллиардные кии, почетные альпенштоки, отделанные слоновой костью, а на витрине были выставлены редкости, найденные в горах: кристаллы, кремни, окаменелости, два морских ежа и саламандра.

За отсутствием Тартарена в президентском кресле восседал помолодевший, сияющий Костекальд. Стул полагался Экскурбаньесу, исполнявшему обязанности секретаря, но этот лохматый, волосатый, бородатый непоседа испытывал неодолимую потребность шуметь и суетиться и никак не мог усидеть на месте. По всякому поводу он махал руками, топал ногами, устрашающе рычал; неистовый, дикий восторг выражался у него в криках: «Хо-хо-хо!» — переходивших затем в грозный воинственный клич на тарасконском наречии: «*Двайте шумэть!...* Давайте шуметь!..» За медную глотку, от которой у вас лопались барабанные перепонки, Экскурбаньеса прозвали «Гонгом».

Вокруг на волосяных диванах сидели члены президиума.

На самом видном месте — каптенармус в отставке Бравида, которого весь Тараскон называл «командиром»; этот коротышка, чистюля стремился за свой маленький ростик, придававший ему сходство с кадетиком, вознаградить себя тем, что отпускал усы, как у Верцингеторикса, отчего лицо его приобретало мрачное выражение.

Затем — узкое, худое, изможденное лицо податного инспектора Пегулада, последнего, кто спасся во время гибели «Медузы». В Тарасконе никогда не переводились последние спасенные пассажиры «Медузы». Одно время таких было даже трое, но они обвиняли друг дружку в самозванстве и нигде не появлялись вместе. Из всех троих единственным настоящим был Пегулад. Он вместе со своими родителями потерпел крушение на «Медузе», будучи полугодовалым младенцем, что не мешало ему описывать *de visu*[1] во всех подробностях голод, шлюпки, плоты и рассказывать о том, как он схватил капитана за горло и крикнул: «В рубку, под-

[1] В качестве очевидца *(лат.)*.

лец!..» И это полугодовалый младенец! А, чтоб!.. Впрочем, он всем смертельно надоел этой историей, за пятьдесят лет все уже выучили ее наизусть, всем она набила оскомину, но она давала ему право ходить с унылым и безучастным видом: «После того, что мне пришлось испытать...» — говорил он, и говорил зря, так как именно этому обстоятельству он был обязан тем, что при всех режимах ему удавалось сохранить за собой должность податного инспектора.

Рядом с ним сидели братья Роньонас, шестидесятилетние близнецы, никогда не расставшиеся, вечно ссорившиеся и говорившие друг про друга чудовищные вещи. Их старые, облезлые, неправильной формы головы, одна от другой постоянно отворачивавшиеся, были до того похожи, что их можно было вычеканить на медали в виде двуликого Януса.

А там дальше — председатель суда Бедарид, адвокат Баржавель, нотариус Камбалалет и страшный доктор Турнатуар, о котором Бравида говорил, что он готов пустить кровь даже репе.

Зала освещалась газом, поэтому здесь было особенно жарко, и члены президиума заседали без сюртуков, отчего вся обстановка приобретала значительно менее торжественный характер. Впрочем, заседание происходило при закрытых дверях, каковым обстоятельством решил воспользоваться вероломный Костекальд, чтобы возможно скорее, не дожидаясь возвращения Тартарена, назначить день выборов. Уверенный в победе, он ликовал заранее, и как только Экскурбаньес огласил повестку дня, интриган сейчас же вскочил, и его тонкие губы искривила злорадная усмешка.

— Бойся того, кто улыбается, еще не начав говорить,— пробормотал командир.

Костекальд, сделав вид, что не слышит, подмигнул своему закадычному другу Турнатуару и желчным тоном заговорил:

— Господа! Наш президент ведет себя по меньшей мере странно, мы ничего о нем не знаем...

— Неправда!.. Президент прислал письмо...

Безюке, весь дрожа, шагнул к столу, однако, поняв, что нарушает порядок, сейчас же изменил тон и, подняв руку, как в таких случаях полагалось, попросил слова для внеочередного сообщения.

— Говорите! Говорите!

Костекальд сразу весь пожелтел, поперхнулся и кивком головы предоставил слово аптекарю. После этого, только после этого, Безюке заговорил:

— Тартарен у подошвы Юнгфрау... Он собирается взойти... Он просит знамя Клуба!..

Мгновенно воцарившуюся тишину нарушало лишь прерывистое дыхание заседавших да потрескиванье газа. Потом вдруг раздалось оглушительное «ура!», все закричали: «Браво!» — затопали ногами, но все это покрывал «гонг» Экскурбаньеса, издававшего воинственный клич: «Хо-хо-хо! *Двайте шумэть!*» — а снаружи ему вторила возбужденная толпа.

Костекальд все желтел и желтел и отчаянно звонил в президентский колокольчик. Наконец Безюке, вытирая потный лоб и тяжело дыша, как будто он только что взбежал на шестой этаж, заговорил снова.

Неужели все-таки знамя Клуба, которое президент намерен водрузить на девственных вершинах, завяжут, упакуют и пошлют большой скоростью, как простой тюк?

— Ни за что!.. Хо-хо-хо!..— ревел Экскурбаньес.

Не лучше ли направить к президенту депутацию в составе трех членов президиума — тех, кому выпадет жребий?..

Аптекарю не дали договорить. Единодушным «ух ты!» предложение Безюке было принято и одобрено, и билетики были вытащены в следующем порядке: 1) Бравида, 2) Пегулад, 3) аптекарь.

Второй номер отказался. Длительное путешествие пугало его: увы! после бедствия, которое он потерпел на «Медузе», он все никак не мог оправиться и чувствовал себя неважно.

— Я поеду вместо вас, Пегулад!..— сразу весь придя в движение, рявкнул Экскурбаньес.

Ну, а Безюке не может оставить аптеку. В его руках здоровье всего Тараскона. Малейшая оплошность ученика — и один смертельный исход за другим!

— А, чтоб!..— воскликнули члены президиума и все, как один, встали со своих мест.

Аптекарю ехать нельзя, это ясно, но он пошлет Паскалона, Паскалону можно доверить знамя — это для него дело привычное! Тут новая буря восторга и новый удар «гонга», а на Городском кругу толпа взревела так, что Экскурбаньес высунулся в окно и своим бесподобным голосом тотчас покрыл этот рев:

— Друзья мои, Тартарен нашелся! Он на пути к славе!

Он успел еще прибавить: «Да здравствует Тартарен!» — и во все горло прокричать свой воинственный клич, а затем ему оставалось лишь наслаждаться диким ревом неясно различимой, колыхавшейся и бурлившей в облаке пыли огромной толпы, осеняемой ветвями деревьев Городского круга, с которых неслось оглушительное тремоло цикад, трещавших, словно белым днем, в свои маленькие трещоточки.

Костекальд вместе со всеми членами президиума стоял у окна и все это слышал, и вдруг он, пошатываясь, двинулся назад, к креслу.

— Эй, глянь!.. Что это с Костекальдом?..— заметил кто-то.— Какой он желтый!

Все бросились к нему. Страшный доктор Турнатуар вытащил было сумку, где у него лежали инструменты, но оружейник с искаженным от боли лицом чистосердечно признался:

— Ничего... Ничего... Не надо... Я знаю, что со мной... Это зависть!

Бедный Костекальд! Должно быть, он очень страдал.

А в это самое время на другом конце Городского круга, в аптеке на Малой площади, ученик аптекаря, сидя за хозяйской конторкой, терпеливо собирал и складывал обрывки письма, которые Безюке забыл извлечь из корзины. Многих клочков не хватало, и оттого необыкновенное послание, загадочное и зловещее, напоминавшее карту Центральной Африки с белыми пятнами, с надписями *terra incognita*[1], как ни старалось встревоженное воображение наивного знаменосца добраться до его смысла, выглядело таким образом:

люблю безумно
спиртов чикагские консервы
не могу вырв нигилист
казни условия ужасн ради
ее Вы меня знаете, Ферди
знаете мой либеральный образ мыслей,
но отсюда до цареубийства
трашные последствия
Сибирь виселица обожаю
Ах! жму твою верную ру
Тар Тар

VIII

Достопамятный разговор Юнгфрау с Тартареном. В гостиной у нигилистов. Дуэль на охотничьих ножах. Страшный сон. «Вы ко мне, господа?» Необычный прием, оказанный тарасконской депутации содержателем отеля Мейером

Как все шикарные отели Интерлакена, мейеровский отель «Юнгфрау» находится на Хоэвег — широком проспекте, обсаженном двумя рядами ореховых деревьев и отдаленно напоминавшем

[1] Неизвестная земля *(лат.)*.

Тартарену милый его сердцу Городской круг, но только на проспекте не было ни солнца, ни пыли, ни цикад — дождь лил целую неделю не переставая.

Тартарен занимал на втором этаже прекрасную комнату с балконом. По утрам, когда Тартарен по старой привычке, которой он придерживался в путешествиях, брился перед зеркальцем, прикрепленным к оконной ручке, первое, что поверх нив и лугов, поверх ельника, поверх амфитеатра сумрачных лесистых гор бросалось ему в глаза,— это Юнгфрау, возносившая над облаками свою покрытую снегом девственной белизны рогоподобную вершину, на которой всегда задерживался мимоходом луч невидимой утренней зари. И тогда между бело-розовой альпийской вершиной и тарасконским альпинистом происходил краткий, однако не лишенный значительности разговор.

— Скоро ли, Тартарен? — строго спрашивала Юнгфрау.

— Сейчас, сейчас...— приподняв большим пальцем кончик носа и поспешно добриваясь, отвечал герой.

Затем он второпях надевал клетчатый костюм альпиниста, уже несколько дней праздно висевший на вешалке.

— Ах, я разэтакий такой! — ругал он себя.— Этому нет названия...

Но тут снизу, сквозь зелень мирт, заглядывавших в окна второго этажа, до него доносился негромкий, но внятный голос.

— Здравствуйте!..— увидев его на балконе, говорила Соня.— Ландо подано... Да ну скорее, ленивец!..

— Иду, иду...

В одну минуту грубая шерстяная рубашка заменялась тонким крахмальным бельем, а альпинистские никер-бокеры — зеленой со стальным отливом курткой, от которой, бывало, на воскресных музыкальных вечерах сходили с ума тарасконские дамы.

Лошади били копытами землю, а в ландо уже сидели Соня и ее больной брат, который день ото дня худел и бледнел, несмотря на здоровый климат Интерлакена. Но в самый момент отъезда с бульварной скамейки неизменно вставали и, грузно раскачиваясь, точно горные медведи, направлялись к экипажу два знаменитых гриндельвальдских проводника — Рудольф Кауфман и Христиан Инебнит, с которыми он сговорился о подъеме на Юнгфрау и которые каждое утро приходили справляться, когда ему будет угодно начать восхождение.

Эти два проводника в грубых башмаках с подковами, во фланелевых куртках, протертых на спине и плечах мешком и веревками, их наивные и серьезные лица, несколько французских слов, которые они с трудом выговаривали, теребя свои широкополые войлочные шляпы,— все это было настоящей пыткой для

Тартарена. Сколько он ни говорил им: «Не беспокойтесь... я вас тогда извещу...» — каждый день он встречал их на том же самом месте и отделывался от них с помощью какой-нибудь монеты прямо пропорционально силе своего раскаяния. В восторге от такого способа «брать Юнгфрау», проводники с важным видом опускали *Trinkgeld* в карман и под мелким дождем отправлялись степенным шагом к себе в село, а Тартарен пребывал в смущении и в отчаянии от своей бесхарактерности. Ну, а там — дивный воздух, цветущие долины, отражавшиеся во влажных Сониных зрачках, прикосновение маленькой ножки к его башмаку... Нет, к черту Юнгфрау! Герой наш не думал теперь ни о чем, кроме своей страсти, вернее, кроме той цели, которую он преследовал, а именно — обратить на путь истинный бедную маленькую Соню, эту невольную преступницу, из любви к брату поставившую себя вне закона и вне общества.

Вот что удерживало его в Интерлакене, в одном отеле с Васильевыми. В его годы, при его солидности, он не смел и мечтать о том, чтобы это дитя полюбило его. Но Соня была такая милая, такая смелая, такая отзывчивая по отношению ко всем пострадавшим ее соратникам, она так любила своего брата, который вернулся к ней из сибирских рудников весь в язвах, отравленный ярь-медянкой, обреченный на смерть от чахотки, чей приговор был неумолимее приговоров всех военно-полевых судов, вместе взятых! Право, тут было от чего растаять!

Тартарен предлагал увезти их в Тараскон и устроить в залитом солнцем домике на окраине города, славного маленького города, где никогда не бывает ненастья и где вся жизнь проходит в песнях и в празднествах. Увлекшись, он напевал веселую народную песенку на мотив фарандолы и в такт барабанил пальцами по шляпе:

Эй, Тараск, эй, Тараск,
Не лети стремглав с горы!
Эй, Тараск, эй, Тараск,
Попадешь в тартарары!

Но тонкие губы Сониного брата становились еще тоньше от иронической усмешки, а Соня отрицательно качала головой. Пока русский народ стонет под пятой тирана, ни солнца, ни празднеств для нее не существует. Как только брат выздоровеет — ее грустные глаза говорили другое,— они непременно вернутся в Россию, чтобы пострадать и умереть за великое дело.

— Но ведь вы бросите бомбу в одного тирана, а на его место явится, черт возьми, новый!.. И опять начинай с начала!.. — кричал Тартарен.— А ведь годы-то идут, да! Уходит молодость, самое счастливое время, время любви...

Его тарасконская манера произносить слово «время» через три *р* и его выпученные глаза смешили девушку. Потом она становилась серьезной и замечала, что могла бы полюбить только такого человека, который освободил бы ее родину. Пусть он будет некрасив, как Болибин, неотесан и груб, как Манилов,— такому человеку она отдастся, будет с ним жить на началах свободной любви до тех пор, пока будет представлять интерес как женщина, пока она ему не разонравится.

«Свободной любовью» нигилисты и нигилистки называли незаконную связь, в которую они по взаимному согласию вступали друг с другом. И об этой примитивной форме брака Соня говорила просто, с самым невинным видом, говорила о ней с тарасконцем, добропорядочным буржуа, мирным обывателем, готовым, впрочем, провести остаток дней подле этой обворожительной девушки даже на началах свободной любви, если б только она не ставила других убийственных, чудовищных условий.

Так они беседовали обо всех этих в высшей степени деликатных предметах, а вокруг тянулись поля, озера, горы, леса, и с каждого поворота сквозь холодное сито непрерывного дождя, преследовавшего нашего героя во всех его альпийских странствиях, взору Тартарена, как будто нарочно, чтобы испортить ему чудесную прогулку, неизменно открывалась снежная вершина Юнгфрау. Возвращались к завтраку, садились за громадный стол, рисолюбы и черносливцы возобновляли молчаливую войну, но Тартарена она теперь совершенно не интересовала — внимательный, заботливый, он сидел рядом с Соней и следил за тем, чтобы Борису сзади не дуло, он расточал все свое обаяние светского человека и проявлял хозяйственные способности заправского капустного кролика.

Потом Тартарен пил чай у русских, в маленькой гостиной на первом этаже, открытые окна которой выходили на бульвар, на краешек цветника. Тут снова наступали блаженные минуты — пока Борис дремал на диване, у Тартарена с Соней шел тихий, задушевный разговор. Шумел самовар, в приотворенную дверь вместе с лиловым блеском обвивавших ее глициний вливался запах влажной зелени. Немножко больше солнца, тепла — и тарасконцу почудилось бы, что русская девушка вместе с ним ухаживает за садиком с баобабом.

Вдруг Соня вздрагивала:

— Уже два часа!.. А почта?..

— Я пойду схожу,— вызывался добрый Тартарен, и лишь по звуку его голоса, по решительному, театральному жесту, каким он застегивал куртку и брал трость, можно было судить о важности предпринимавшегося им шага, по-видимому довольно

простого, — сходить на почту за корреспонденцией для Васильевых.

Нигилисты, в особенности их главари, находились под неослабным надзором местных властей и русской тайной полиции, а потому они прибегали к некоторым предосторожностям: так, например, письма и газеты высылались им до востребования, причем на конвертах проставлялись только их инициалы.

В Интерлакене Борис совсем ослабел, и Тартарен, чтобы Соне не нужно было оставлять брата одного, чтобы избавить ее от томительно долгого ожидания у почтового окошечка под любопытными взорами, взял на себя этот ежедневный труд, сопряженный с опасностью и риском. Почта находилась всего в десяти минутах ходьбы от отеля, на шумной, широкой, составлявшей продолжение бульвара улице, по обеим сторонам которой тянулись кафе, пивные и магазины для иностранцев, заваленные альпенштоками, гетрами, ремнями, биноклями, дымчатыми стеклами, флягами и дорожными мешками,— все это словно нарочно было выставлено на витринах, чтобы устыдить альпиниста-отступника. По улице двигались вереницы туристов, шли лошади, проводники, мулы, мелькали голубые вуали, зеленые вуали, в такт иноходи мулов позвякивали погребцы, в такт шагам раскачивались стальные крючья, но к этому вечному празднику герой наш оставался равнодушен. Он даже не чувствовал порывов налетавшего с гор холодного, пахнувшего снегом ветра — все внимание его было поглощено тем, как бы направить по ложному следу сыщиков, которые, казалось ему, так и ходят за ним по пятам.

Первый солдат авангарда, стрелок, настильным огнем обстреливающий стены вражеского города, не продвигается вперед с такой осторожностью, с какой тарасконец проходил небольшое расстояние от отеля до почты. Если сзади ему чудился звон шпор, он, чтобы пропустить полицейского вперед, останавливался у фотографии и начинал внимательно рассматривать витрину, перелистывал иногда английскую, иногда немецкую книгу или неожиданно оборачивался и сталкивался нос к носу то с шедшей на рынок толстой трактирной кухаркой, бросавшей на него свирепый взгляд, то с безобидным туристом, заядлым черносливцем, который, приняв его за сумасшедшего, в испуге шарахался на мостовую.

Возле окошек почты, почему-то выходивших прямо на улицу, Тартарен, прежде чем подойти, долго шагал взад и вперед и заглядывал в лица встречным, потом вдруг бросался к окошку, просовывал в него и голову и плечи, лепетал нечто нечленораздельное, так что его всегда переспрашивали и тем повергали в еще больший трепет, и, завладев наконец таинственным имуществом,

возвращался в отель задворками, делая громадный крюк, причем рука его судорожно сжимала в кармане пачку газет и писем, которую он при малейшей опасности готов был разорвать или даже проглотить.

Манилов и Болибин почти всегда дожидались почты у своих друзей. Из экономии и из предосторожности они жили не в отеле. Болибин поступил в типографию, а Манилов, превосходный столяр-краснодеревщик, работал на заказ. Тарасконец их недолюбливал. Один из них смущал его своими гримасами, насмешливыми взглядами, другой отпугивал своим угрюмым видом. А кроме того, оба они занимали слишком много места в Сонином сердце.

— Это герой! — говорила про Болибина Соня и рассказывала, как он в центре Петербурга три года подряд выпускал один, без чьей-либо помощи, революционный листок. Три года он никуда не выходил, даже не показывался в окне и спал в большом чулане, в котором квартирная хозяйка запирала его каждый вечер вместе с печатным станком.

А Манилов, который в ожидании удобного случая полгода прожил в подвале Зимнего дворца и спал на динамите! За это он поплатился адскими головными болями, нервным расстройством и манией преследования, которую в нем развили налеты полиции, располагавшей неточными сведениями, что революционеры что-то готовят, и пытавшейся застать врасплох работавших во дворце мастеровых. За время своих редких выходов Манилов встречался на Адмиралтейской площади с представителем Революционного комитета, и тот, не останавливаясь, спрашивал его шепотом:

— Готовы?

— Нет еще...— не шевеля губами, отвечал Манилов.

Наконец, в один из февральских вечеров, он на этот неизменный вопрос ответил в высшей степени хладнокровно:

— Готово...

И почти тотчас же в подтверждение его слов раздался страшный взрыв, свет во всем дворце внезапно погас, площадь погрузилась во мрак, и эту кромешную тьму прореза́ли стоны, вопли ужаса, трубные сигналы, галоп кавалерии и пожарной команды, мчавшейся с носилками.

Тут Соня сама себя прерывала.

— Ведь правда, это ужасно? — спрашивала она.— Столько человеческих жертв, столько усилий, такая смелость, изобретательность — и все напрасно!.. Нет, нет, массовые убийства — это плохой способ... Кого выслеживают, тот всегда спасается... Самое правильное и самое гуманное — идти на царя, как вы идете на льва: надо твердо решиться, надо взять с собой оружие, стать

у окна на пути его следования и, когда он будет проезжать в карете...

— Ну да... *кнэчно*...— растерянно бормотал Тартарен, делая вид, что не понимает намека, и сейчас же заводил спор на философскую, вообще на отвлеченную тему с кем-либо из многочисленных гостей, сидевших у Васильевых. Надо заметить, что Болибин с Маниловым были далеко не единственными их посетителями. Что ни день, появлялись новые лица: юноши и девушки, по виду — бедные студенты и восторженные учительницы, белокурые, румяные, с таким же упрямым лбом и таким же по-детски сердитым выражением лица, как у Сони. Все они были на нелегальном положении, все это были эмигранты, некоторые из них были даже в свое время приговорены к смертной казни, но их юношеский пыл от этого нисколько не охладел.

Они громко хохотали, громко разговаривали, большей частью по-французски, и Тартарен очень скоро почувствовал себя с ними легко. Они называли его «дядюшка» и любили за детскость и простодушие. Немножко он им, пожалуй, надоедал своими охотничьими рассказами, тем, что он каждый раз засучивал рукава до бицепсов и показывал след от когтей пантеры или давал пощупать на шее ямку в том месте, куда атласский лев вонзил свои клыки, и еще тем, пожалуй, что слишком быстро сходился с людьми, обнимал их за талию, хлопал по плечу и через пять минут после первого знакомства называл по именам: «Послушайте, Дмитрий... Вы меня знаете, Федор Иванович...» Во всяком случае, довольно скоро сходился. Но все же он им нравился своей толщиной, своей приветливостью, доверчивостью, своим честолюбием. Они читали при нем письма, строили планы, придумывали пароли, чтобы сбить с толку полицию, и вся эта конспиративная кухня пленяла воображение тарасконца. Хотя насилие было чуждо его натуре, однако иной раз он не выдерживал и принимал участие в обсуждении их человекоубийственных замыслов, одобрял, возражал, давал советы, которые ему подсказывал опыт — опыт великого полководца, шествовавшего доро́гой войны, владевшего всеми видами оружия и выходившего на крупных хищников один на один.

Если при нем говорили, например, об убийстве одного жандармского чина, которого нигилист заколол кинжалом в театре, Тартарен замечал, что удар был нанесен неправильно, и показывал, как надо обращаться с кинжалом.

— Гляньте: вот так, снизу вверх! Так уж себя не поранишь...

Войдя в роль, он продолжал:

— Предположим, мы с вашим деспотом встретились на медвежьей охоте и остались с глазу на глаз. Да... Он стоит там, где

вы сейчас, Федор, я здесь, вот у этого столика, и у каждого из нас охотничий нож. «Государь! Нам с вами предстоит рукопашный бой...»

Тут он выходил на середину комнаты, готовясь к прыжку, упирался своими короткими ногами в пол и, пыхтя, как дровосек или пекарь, устраивал самое настоящее сражение, которое заканчивалось его торжествующим криком в ту минуту, когда он наносил противнику удар снизу вверх, вонзал в него, черт побери, кинжал по самую рукоятку и выпускал кишки.

— Вот как это делается, милые мои детки!

Но зато какие страшные угрызения совести, какие муки испытывал Тартарен потом, когда он, надев ночной колпак, оставался один на один со своими мыслями перед стаканом сладкой воды, которую он обыкновенно пил на ночь, и когда чары Сониных синих глаз и тот хмель, что испаряли все эти отчаянные головы, были уже над ним не властны!

В самом деле, с кем он связался? До их царя ему никакого дела нет, и вообще все эти их истории его не касаются... А вдруг его в один прекрасный день схватят, посадят и выдадут московским властям?.. Все эти казаки, чтоб их, шутить не любят... В темноте и при горизонтальном положении фантазия Тартарена, и без того обладавшая непостижимой силой, разыгрывалась, и пред его мысленным взором, как на «складных картинках», которые ему показывали в детстве, проходили многообразные чудовищные пытки, которым его подвергнут: вот он, как Борис, в рудниках добывает ярь-медянку, работает по пояс в воде, весь организм у него подточен, отравлен. Он бежит, скрывается в окутанных снегом лесах, за ним гонятся татары с собаками, нарочно выдрессированными для охоты на людей. Он изнемогает от холода и голода, его хватают, вешают между двумя разбойниками, и перед казнью его напутствует поп с лоснящейся гривой, от которого разит водкой и тюленьим жиром, меж тем как в Тарасконе, в погожий воскресный день, при блеске солнца и звуках музыки, толпа, неблагодарная, изменчивая толпа подводит сияющего Костекальда к креслу П. К. А.

Под тягостным впечатлением одного из таких страшных снов у него вырвался крик отчаяния: «Ко мне, Безюке!..» — и он послал аптекарю конфиденциальное письмо, насквозь мокрое, ибо он потел от страха. Но стоило Соне крикнуть в окно всего-навсего: «Здравствуйте!» — и он вновь подпадал под ее обаяние, вновь испытывал мучительную нерешительность.

Как-то вечером он два часа подряд слушал в курзале волнующую музыку; когда же несчастный возвращался оттуда в отель, то позабыл всякую осторожность, и слова, которые он так долго

в себе удерживал: «Я люблю вас, Соня!» — невольно слетели с его уст, в то время как рука его сжимала опиравшуюся на него Сонину руку. Соня не выразила удивления; при свете газовых фонарей, освещавших вход в отель, Тартарен заметил лишь, что она сильно побледнела.

— Что ж, меня надо заслужить!..— сказала она с прелестной загадочной улыбкой, сверкнув своими белыми зубками.

Тартарен только хотел было ответить, поклясться, что совершит какое-нибудь преступное безумство, но в эту минуту к нему подошел служивший в отеле посыльный.

— Вас там, наверху, спрашивают...— сказал он.— Какие-то господа... Вас разыскивают!

— Меня? Разыскивают?.. А, чтоб!.. Что им нужно?

И тут перед ним вырисовалась картина № 1: Тартарена хватают и выдают... Разумеется, в глубине души он струсил, но показал себя истинным героем. Прежде всего он отскочил от Сони.

— Бегите, спасайтесь...— глухо произнес он.

Затем, гордо подняв голову, с решимостью во взоре, он, точно на эшафот, стал подниматься по лестнице, но тут его охватило столь сильное волнение, что ему пришлось держаться за перила.

Поднявшись, он заметил, что в глубине коридора, у дверей его номера, стоят какие-то люди, заглядывают в замочную скважину, стучат, зовут: «Эй, Тартарен!»

Он сделал несколько шагов вперед; во рту у него все пересохло, и он еле выговорил:

— Вы ко мне, господа?

— Ну да, конечно, к вам, дорогой президент!..

Маленький старичок, суетливый и сухонький, во всем сером, который, казалось, принес на своей куртке, на шляпе, на гетрах, на длинных отвисших усах всю пыль Городского круга, бросился к нашему герою на шею и потерся об его нежные, холеные щеки своей загрубевшей кожей, какая и должна была быть у каптенармуса в отставке.

— Бравида!.. Какими судьбами?.. И Экскурбаньес здесь!.. А это кто?..

В ответ раздалось блеянье:

— Э-это я, дорогой учи-и-итель!..

И тут, стуча по стене чем-то вроде длинной удочки, конец которой был обернут в серую бумагу, в клеенку и перевязан веревкой, выступил вперед аптекарский ученик.

— А, ба, да это Паскалон!.. Ну, поцелуемся, малыш!.. А это что у него такое?.. Да поставь же ты это куда-нибудь!..

— Бумагу... бумагу сними!..— шептал командир.

Юнец проворно стащил обертку, и перед взором подавленного Тартарена развернулось тарасконское знамя.

Депутаты сняли шляпы.

— Дорогой президент! — торжественно и твердо произнес Бравида, хотя голос у него все-таки дрожал.— Вы просили знамя — мы вам его привезли. Вот!..

Глаза у президента стали большими и круглыми, как яблоки.

— Я? Просил знамя?..

— Как? Разве вы не просили?..

Фамилия «Безюке» все объяснила Тартарену.

— Ах да, *кнэчно!..*— воскликнул он.

Он сразу все понял, сразу обо всем догадался и, тронутый невинной ложью аптекаря, попытавшегося воззвать к его чувству долга и к его чести, пробормотал, отдуваясь:

— Ах, друзья мои, как это хорошо! Какую услугу вы мне оказали!..

— Да здравствует *прррезидэнт!..*— взвизгнул Паскалон, потрясая орифламмой.

Тут раздался «гонг» Экскурбаньеса, и его воинственный клич: «Хо-хо-хо! *Двайте шумэть!..*» — докатился до подвального этажа. Во всех номерах отворились двери, в них просунулись головы любопытных, но, напуганные стягом, черными волосатыми людьми, которые махали руками и выкрикивали какие-то непонятные слова, тотчас же скрылись. Никогда еще в стенах мирного отеля «Юнгфрау» не было такого содома.

— Пойдемте ко мне,— почувствовав некоторую неловкость, предложил Тартарен.

Они ощупью стали пробираться в темной комнате, нашаривая спички, как вдруг кто-то грохнул в дверь, от этого мощного удара она распахнулась, и на пороге появилось желтое, надменное, надутое лицо содержателя отеля Мейера.

Мейер хотел было войти, но его остановили сверкнувшие в темноте страшные глаза, и он, не заходя в номер, с неприятным немецким акцентом процедил сквозь зубы:

— Нельзя ли *потыше?..* А то вы у меня все насидитесь в полиции...

В ответ на дерзкое выражение «насидитесь» раздалось нечто подобное реву буйвола. Хозяин на шаг отступил, но все же огрызнулся:

— Знаем мы, кто вы такие! За вами слежка. Я не потерплю в моем отеле таких людей, как вы!..

— Господин Мейер! — тихо, вежливо, но весьма твердо сказал Тартарен.— Прикажите подать мне счет... Я с этими господами завтра утром отправляюсь на Юнгфрау.

О, родная земля, о, малая отчизна — частица великой! Как только Тартарен услышал тарасконский говор, как только от складок голубого знамени на него пахнуло воздухом родного края, он тотчас же вырвался из сетей любви и вернулся к своим друзьям, к своим обязанностям, к славе.

А ну, вперед!

IX

В «Ручной серне»

Очаровательна была на другой день прогулка пешком из Интерлакена в Гриндельвальд, где надо было сговориться с проводниками насчет подъема на Малую Шейдек. Очаровательно было торжественное шествие П. К. А., опять надевшего гетры и дорожный костюм и опиравшегося с одной стороны на костлявое плечо командира Бравида, а с другой — на мощную длань Экскурбаньеса, причем оба спутника были горды тем, что ведут и поддерживают своего дорогого президента, несут его ледоруб, мешок, альпеншток, меж тем как то спереди, то сзади, то сбоку прыгал, точно молодой пес, фанатик Паскалон, во избежание скандалов, подобных вчерашнему, несший знамя свернутым и накрепко перевязанным.

Веселое расположение духа, в каком находились спутники Тартарена, сознание исполненного долга, белая-белая Юнгфрау, точно дым, поднимавшаяся к небу,— всего этого было более чем достаточно, чтобы герой наш забыл то, что он здесь оставил, оставил, может быть, навсегда и даже не простившись. Когда же они вышли на окраину Интерлакена, Тартарен на ходу поплакал сперва в жилетку Экскурбаньесу: «Послушайте, Спиридион»,— потом в жилетку Бравида: «Вы меня знаете, Пласид...» Дело в том, что по иронии судьбы этого лихого вояку звали Пласидом, а Спиридионом — этого толстокожего буйвола с низменными инстинктами.

К сожалению, тарасконцы, не столько сентиментальные, сколько галантные, сердечным делам не придают большого значения. «Кто теряет женщину и пятнадцать су, тот теряет только деньги»,— наставительно заметил Пласид, и такого же мнения придерживался Спиридион. Что касается невинного Паскалона, то он страшно боялся женщин и краснел до ушей, когда при нем называли Малую Шейдек,— он полагал, что речь идет о какой-то особе легкого поведения. Несчастный влюбленный поневоле прекратил свои излияния и прибегнул к наиболее верному способу, а именно — стал утешать себя сам.

Да и какую печаль не рассеяла бы живописная дорога, которая тянулась сперва мимо извилистой, белой от пены реки, чей рокот, как гром, отдавался в ельнике, покрывавшем крутые ее берега, а затем спускалась в узкую, глубокую и сумрачную лощину!

Тарасконские депутаты с каким-то благоговением, с каким-то священным ужасом глядели вокруг. Так чувствовали себя спутники Синдбада Морехода, когда впервые увидели манговые деревья и всю гигантскую тропическую флору берегов Индии. До сих пор тарасконцы знали только свои лысые каменистые горки и никогда не думали, что может быть столько деревьев сразу на таких высоких горах.

— Это еще что!.. Вот вы увидите Юнгфрау! — говорил П. К. А., наслаждаясь их изумлением и сознанием, что он растет в их глазах.

Словно для того, чтобы оживить пейзаж, смягчить его суровость, на дороге мелькали кавалькады, катились поместительные ландо, и в их окнах были видны вуали, развевавшиеся на ветру, и лица пассажиров, с любопытством разглядывавших депутацию, сомкнувшуюся вокруг своего вождя. Время от времени попадались палатки с деревянными игрушками, на обочинах стояли как вкопанные девочки в соломенных шляпках с широкими лентами и в пестрых платьях, пели в три голоса песни и предлагали малину и эдельвейсы. Порою альпийский рог посылал в горы свою унылую ритурнель, ущелья отражали и усиливали ее звуки, а потом она постепенно сходила на нет, точно облако, превращающееся в пар.

— Как красиво! Ну прямо орган...— похожий на святого с витража, со слезами на глазах лепетал, придя в экстаз, Паскалон.

Экскурбаньес ревел во всю мочь, и эхо разносило окрест его тарасконский выговор:

— Хо-хо-хо!.. *Двайте шумэть!..*

Однако двухчасовая ходьба среди однообразного пейзажа, хотя бы это был пейзаж зелено-голубой, с ледниками в глубине и звучный, как часы с музыкой, все-таки утомительна. Грохот потоков, трехголосные хоры, игрушечники и маленькие цветочницы — все это опостылело нашим путешественникам, а главное — сырость, пар на дне этой воронки, куда совсем не заглядывало солнце, чмокающая под ногами земля, заросшая цветущими водяными растениями.

— Тут недолго и плеврит схватить,— поднимая воротник, ворчал Бравида.

Потом стали сказываться усталость, голод, дурное расположение духа. Трактира нигде не было. Экскурбаньес и Бравида

набили себе животы малиной и теперь жестоко страдали. Паскалон, этот ангел во плоти, которому бессовестные спутники взвалили на плечи не только знамя, но и ледоруб, и мешок, и альпеншток,— и тот утратил свойственную ему жизнерадостность и перестал скакать.

На одном из поворотов, когда они переходили Лючинен по крытому мосту, какие строят в этих краях, где так часты снежные заносы, их оглушило отчаянное завывание рога.

— Ну, ну, довольно, довольно!..— в ужасе возопила депутация.

Человек гигантского роста, прятавшийся в засаде у обочины дороги, вынул изо рта длинную еловую трубу, доходившую до самой земли и оканчивавшуюся резонатором, который придавал этому доисторическому инструменту звучность артиллерийского орудия.

— Спросите его, нет ли тут поблизости трактира,— сказал президент Экскурбаньесу, который, обладая громадным апломбом и карманным словариком, считал, что в немецкой Швейцарии он может служить депутации переводчиком. Но не успел он достать словарь, как незнакомец заговорил на прекрасном французском языке:

— Трактир, господа?.. Ну конечно!.. До «Ручной серны» два шага... Позвольте, я вас провожу.

Дорогой он им про себя рассказал, что несколько лет прослужил комиссионером в Париже, на углу улицы Вивьен.

«Тоже, значит, состоит на службе в Компании, черт его дери»,— подумал Тартарен, однако решил оставить своих спутников в блаженном неведении. Сослуживец Бомпара очень им всем пригодился, так как, хотя над входом в «Ручную серну» красовалась французская вывеска, говорили здесь на скверном немецком языке.

Немного погодя тарасконская депутация, усевшись вокруг огромной сковороды, на которой им была подана яичница с картофелем, восстановила свои силы и доброе расположение духа, столь же необходимое южанам, как солнце их родному краю. Выпили изрядно, покушали плотно. После многочисленных тостов за президента и за успех его начинания Тартарен, которого с первого же момента заинтересовала вывеска, обратился к игроку на роге, замаривавшему червячка в углу:

— Стало быть, у вас здесь водятся серны?.. Я думал, в Швейцарии они повывелись.

Тот прищурился.

— Нельзя сказать, чтобы их тут было много, но все-таки мы вам покажем.

— Да президенту пострелять хочется, вот что!..— вне себя от восторга воскликнул Паскалон.— Он бьет без промаха.

Тартарен пожалел, что не взял с собой карабина.

— Подождите, я поговорю с хозяином.

Оказалось, что хозяин прежде охотился на серн. Он предложил свое ружье, порох, дробь и даже вызвался проводить путешественников в такое место, где водятся серны.

— А ну, вперед! — сказал Тартарен.

Он рад был доставить альпинцам удовольствие похвалиться меткостью своего вождя. Правда, это задержка. Ну, ничего, Юнгфрау подождет!

Выйдя из трактира черным ходом, они прошли садик, занимавший не больше пространства, чем цветник при доме начальника железнодорожной станции, отворили калитку и сразу очутились в глубокой теснине, где росли только ели да колючий кустарник.

Трактирщик пошел вперед, и вскоре тарасконцы увидели, что он уже очень высоко забрался, размахивает руками, бросает камни — вероятно, для того, чтобы поднять серну. С великим трудом добрались они до него по кремнистым отвесным склонам, особенно тяжким для людей, вроде наших добрых тарасконских альпинистов, только что вставших из-за стола и не привыкших лазать по горам. А тут еще духота, дуновение близкой грозы, гнавшее медлительные тучи по верхам гор, над самой головой у путешественников.

— А, чтоб!..— охал Бравида.

— А ну их всех! — ворчал Экскурбаньес.

— Извините за выраже-е-ение!..— блеющим голосом прибавлял за них кроткий Паскалон.

Внезапно проводник подал им знак молчать и не двигаться.

— С оружием в руках не разговаривают,— строго заметил Тартарен из Тараскона, и все ему повиновались, хотя вооружен был только президент.

Все стояли не шевелясь и затаив дыхание. Вдруг Паскалон крикнул:

— Гляньте-ка, серна, гляньте-ка!..

В ста метрах от них, укрепившись всеми четырьмя ножками на самом краю скалы, красивое, словно выточенное из дерева животное светло-рыжей масти бесстрашно смотрело на пришельцев. Тартарен, по своему обыкновению не спеша, вскинул ружье и хотел было прицелиться, но серна уже исчезла.

— Это ты виноват,— сказал командир Паскалону.— Ты свистнул... Это ее спугнуло.

— Да разве я свистел?

— Ну, значит, Спиридион...

— Да бог с вами! Я и не думал.

Все, однако, слышали резкий продолжительный свист. Но президент их успокоил,— он сказал, что серны при приближении опасности с шумом выпускают из ноздрей воздух. Какой же Тартарен молодчина! Он и в охоте на серн смыслил не меньше, чем в любой другой! По зову проводника все снова пустились в путь. Однако подъем становился все труднее, гора все круче, справа и слева зияли пропасти. Тартарен шел впереди и ежеминутно оборачивался, чтобы помочь депутатам, протянуть им руку или же карабин.

— Руку! Если можно, руку! — молил доблестный Бравида, безумно боявшийся заряженных ружей.

Снова знак проводника, снова остановка, снова все задирают головы вверх.

— На меня капнуло! — растерянно пробормотал командир.

В ту же минуту загремел гром, но его покрыл голос Экскурбаньеса:

— Тартарен! Серна!

Серна, перемахнув через впадину, золотистым бликом скользнула мимо них так быстро, что Тартарен не успел прицелиться, но продолжительный свист, исходивший из ее ноздрей, они все же расслышали.

— Вот я ее сейчас, разэтакую такую! — крикнул президент.

Но депутаты воспротивились. Экскурбаньес, вспылив, заметил, что президент, как видно, поклялся их доконать.

— Дорогой учи-и-итель!..— робко заблеял Паскалон.— Я слыхал, что, если серну загнать на край пропасти, она становится опасной и может броситься на охотника.

— Ну так не будем загонять ее на край пропасти! — грозно заломив фуражку, воскликнул Бравида.

Тартарен обозвал их мокрыми курицами. Внезапно в самый разгар ссоры их всех скрыла друг от друга плотная и теплая пелена дождя, пахнувшего серой, и сквозь нее они тщетно перекликались:

— Эй, Тартарен!

— Пласид, где вы?

— Учи-и-ите-е-ель!

— Спокойствие! Спокойствие!

Поднялась настоящая паника. Налетевший вихрь разорвал тучу, как кисею, клочья ее, цепляясь за кусты, затрепыхались на ветру, из тучи ударила зигзагообразная молния и с ужасающим треском упала прямо под ноги путешественникам.

— Моя фуражка!..— закричал Спиридион.

Буря сорвала со Спиридиона фуражку, волосы у него под-

нялись дыбом и трещали от пробегавших по ним электрических искр. Путешественники попали в центр грозы, в самую кузницу Вулкана. Бравида первый пустился бежать со всех ног, другие депутаты бросились было за ним, но их остановил крик П. К. А., думавшего за всех:

— Несчастные!.. Берегитесь молнии!..

Но дело было не только в этой, вполне реальной, впрочем, опасности, о которой он их предупреждал,— бежать по изборожденным трещинами откосам, которые ливень превратил в сплошные потоки и водопады, не представлялось возможным. Обратный путь был поистине ужасен: альпинцы шли медленным шагом под обломным ливнем, при вспышках молнии, сопровождавшихся ударами грома, поминутно скользили, падали, останавливались. Паскалон крестился, по тарасконскому обычаю громко призывал «святую Ангелину и Марию Магдалину», Экскурбаньес поминал «разэтакого такого», а шедший в арьергарде Бравида испуганно оглядывался.

— Что это еще за сатанинское отродье сзади нас?..— говорил он.— Свистит, скачет, потом вдруг останавливается...

Из головы у храброго воина не выходила мысль о рассвирепевшей серне, бросающейся на охотников. Тихонько, чтобы не напугать товарищей, он поделился своими опасениями с Тартареном, и тот мужественно пошел вместо него в арьергарде; промокнув до костей, Тартарен шагал, гордо подняв голову, с той молчаливой решимостью, какую придает сознание неотвратимой опасности. Но зато, когда президент вернулся в трактир и удостоверился, что все милые его сердцу альпинцы под кровом, растираются, сушатся вокруг огромной кафельной печи в комнате на втором этаже, куда снизу поднимался запах уже заказанного грога, ему вдруг показалось, что его знобит, и он стал бледен как смерть.

— Мне что-то нехорошо...— объявил он.

«Что-то нехорошо» — это страшное своей неопределенностью и краткостью выражение означает у тарасконцев любое заболевание: чуму, холеру, *vomito nero*[1], черную оспу, перемежающуюся лихорадку, паралич, ибо все эти болезни мерещатся тарасконцу при малейшем недомогании.

Тартарену что-то нехорошо! Следовательно, нечего было и думать о том, чтобы двигаться дальше, да и вся депутация мечтала отдохнуть. Тартарену сейчас же нагрели постель, принесли горячего вина, и после второго стакана президент почувствовал, как по всему его изнеженному телу разливается тепло и бегают му-

[1] Желтую лихорадку *(итал.)*.

рашки, а это был добрый знак. Подложив себе под спину две подушки, накрыв ноги периной, надев на голову вязаный шлем, он с особым наслаждением прислушивался к завываниям бури, дышал приятным запахом ели, исходившим от неоклеенных стен деревенской комнаты с маленькими мутными окошечками, и смотрел на милых его сердцу альпинцев, со стаканами в руках обступивших его ложе, смотрел на их галльские, сарацинские, римские физиономии, которым придавали еще более причудливый вид пологи, ковры и занавески, заменившие им обычное их одеяние, все еще дымившееся возле печки. Забывая о себе, Тартарен участливо спрашивал их:

— Ну, как вы, Пласид?.. А вам, Спиридион, кажется, нездоровилось?..

Нет, Спиридиону уже здоровилось. Когда он узнал, что президент тяжело болен, у него все как рукой сняло. Бравида, у которого на любой случай жизни были припасены тарасконские поговорки, цинично заметил:

— Захворал твой сосед — так и знай: полегчает тебе!..

Потом они заговорили про свою охоту и воодушевились при воспоминании о некоторых опасных эпизодах, о том, например, как на них бросилась рассвирепевшая серна. Не сговариваясь, они в простоте души уже придумывали всякие небылицы, которые будут потом рассказывать дома.

Внезапно в комнату влетел, стыдливым движением Полиевкта натягивая на себя голой рукой занавеску, вышитую голубыми цветами, перепуганный Паскалон, бегавший вниз на кухню за новой порцией грога. Он совсем задохнулся и лишь несколько мгновений спустя еле слышно произнес:

— Серна!..

— Что серна?..

— Она там, на кухне... Греется!..

— Ну да!..

— Не валяй дурака!..

— Подите посмотрите, Пласид!..

Бравида не решился. Вместо него туда прошел на цыпочках Экскурбаньес и тут же с искаженным от ужаса лицом возвратился... Час от часу не легче: серна пила теплое вино!..

И то сказать, бедная серна заслужила это угощение: она так бешено мчалась в горах, хозяин нынче совсем ее загонял, а ведь обыкновенно он, чтобы убедить путешественников, как легко она поддается дрессировке, заставлял ее показывать разные фокусы в комнате.

— Непостижимо! — отказываясь что-либо понять, воскликнул Бравида.

А Тартарен в это время надвинул шлем на глаза, чтобы депутаты не заметили добродушно-насмешливого выражения, какое приняло его лицо при мысли о безопасной Швейцарии Бомпара со всеми ее эффектами и со всеми ее статистами, на каждом шагу напоминавшей ему о себе.

X

Восхождение на Юнгфрау. «Гляньте: быки!» Шипы Кеннеди никуда не годятся, спиртовка тоже. В домике Клуба альпинистов появляются люди в масках. Президент падает в расселину. Там он теряет очки. На вершине! Тартарен превращается в бога

В отеле «Прелестный вид» на Малой Шейдек сегодня утром большой наплыв туристов. Несмотря на дождь и ветер, столы накрыты на веранде, под навесом, среди груд альпенштоков, фляг, подзорных труб, резных часов с кукушкой, и взорам завтракающих туристов слева представляется чудная Гриндельвальдская долина, лежащая тысячи на две метров ниже веранды, справа — Лаутербрунненская долина, прямо, чуть ли не на расстоянии ружейного выстрела, величественные девственные склоны Юнгфрау, ее фирновые поля, ее ледники, ее светящаяся, все вокруг озаряющая белизна, от которой стаканы кажутся еще прозрачнее, а скатерти белее.

Всеобщее внимание привлекал, однако, караван шумных бородачей, только что прибывших кто верхом на лошади, кто на муле, кто на осле, а кто даже на носилках и перед подъемом устроивших себе обильный завтрак, проходивший весьма оживленно; при этом поднятый ими шум составлял полную противоположность торжественной скуке, царившей у рисолюбов и черносливцев, собравшихся на Малой Шейдек, среди которых были такие знаменитости, как лорд Чипндейл, бельгийский сенатор с семейством, австро-венгерский дипломат и другие. Можно было подумать, что сидящие за одним столом бородачи собираются подниматься на гору все вместе, потому что каждый из них принимал живейшее участие в приготовлениях, поминутно вскакивал, бросался отдавать распоряжения проводникам, осматривал провизию, и все они с одного конца террасы на другой перекликались дикими голосами:

— Эй, Пласид! Гляньте: миска в мешке или нет?

— Не забудьте спиртовку! А?

Только перед самым отходом выяснилось, что большинство составляют провожающие, что из всего каравана собирается совершить подъем только один человек, но зато какой человек!

— Ну что, друзья, все готово? — спросил добрый Тартарен, и в его радостном, ликующем тоне не улавливалось ни единой тревожной нотки в связи с возможными опасностями путешествия, ибо последние его сомнения относительно швейцарских подделок рассеялись нынче же утром, когда он увидел перед двумя гриндельвальдскими ледниками кассу, турникет и вывеску: «За вход на ледник — 1 франк 50 сантимов».

Итак, наш герой мог спокойно наслаждаться торжественными проводами и приятным сознанием, что все на него смотрят, все ему завидуют, что юные бесцеремонные мисс, коротко подстриженные «под мальчика», которые так мило шутили над ним в «Риги-Кульм», сейчас приходят в восторг, сравнивая этого низенького человека с громадной горой, на которую он должен взойти. Одна из них набрасывала его портрет в альбоме, другая почла за честь прикоснуться к его альпенштоку.

— Чимпэньского!.. Чимпэньского! — неожиданно каркнул мрачный, долговязый, багроволицый англичанин, подходя к Тартарену с бутылкой и стаканом. Чокнувшись с героем, он представился: — Лорд Чипндейл, сэр... А вы?

— Тартарен из Тараскона.

— *Oh yes!..*[1] Тартерин... Очень хорошее имя для лошади,— заметил лорд, видимо, заядлый спортсмен.

Австро-венгерский дипломат тоже подошел подержать руку альпиниста между своими митенками и все старался вспомнить, где он мог его видеть.

— Очень рад!.. Очень рад!.. — мямлил он, не зная, о чем говорить дальше, и наконец прибавил: — Сердечный привет супруге... — У него вошло в привычку обрывать этой светской фразой церемонию представления.

Проводники между тем торопили — надо было засветло добраться до домика Клуба альпинистов, где совершающие подъем обыкновенно останавливаются после первого перехода; нельзя было терять ни минуты. Тартарен с ними согласился, сделал общий поклон и, отечески улыбнувшись шалуньям мисс, громовым голосом произнес:

— Паскалон, знамя!

Знамя взреяло, южане обнажили головы (в Тарасконе любят театральность!), и под нескончаемые крики: «Да здравствует Тартарен! Хо-хо!.. *Двайте шумэть!..*» — колонна двинулась в таком порядке: впереди два проводника несли мешок, провизию и вязанки дров, за ними Паскалон с орифламмой и, наконец, П. К. А. и депутаты, которые должны были проводить его до ледника Гугги.

---

[1] Вот как!.. *(англ.)*

Это шествие с хлопавшим на ветру знаменем по влажному подножью ледника, по его то голым, то завьюженным гребням напоминало отчасти деревенскую процессию в день поминовения усопших.

Вдруг командир испуганно крикнул:

— Гляньте: быки!

В самом деле, по низинкам быки щипали отаву. Бывший военный боялся этих животных до сумасшествия, он ничего не мог с собой поделать, и по этому случаю вся депутация, не решившись покинуть его, вынуждена была остановиться. Паскалон передал знамя одному из проводников. После объятий, кратких напутствий и предостережений: «*Нна*, прощайте!», «Будьте все-таки осторожны!..» — они наконец расстались. Никто из депутатов даже не подумал отправиться в путь вместе с президентом: уж очень высокая гора, чтоб ее! Чем ближе к ней, тем она выше, всюду разверзаются бездны, из белого хаоса, как уверяют — непроходимого, торчат острые пики. Нет, лучше наблюдать восхождение с Малой Шейдек.

Разумеется, нога президента Клуба альпинцев до этого никогда не ступала на ледник. Все, что он видел вокруг, не имело ничего общего с тарасконскими горками, душистыми и сухими, как пакетик с ветиверией. И все же эти подступы к Гугги производили на него впечатление чего-то уже виденного, напоминали ему охоту в Провансе, на Камарге, неподалеку от моря. И здесь трава, выгоревшая, как бы опаленная огнем, становилась все ниже и ниже. Кое-где лужицы, болотца, о существовании которых предупреждал чахлый тростник, вон там — морена, похожая на движущуюся песчаную дюну, на груду разбитых раковин или кучу мелкого угля, а вдали — ледник с его иззелена-голубыми курчавившимися волнами, увенчанными белыми гребнями, с его безмолвной застывшей зыбью. Ветер, дувший оттуда, резкий, свистевший в ушах, так же пронизывал и дышал такою же здоровою свежестью, как и ветер морской.

— Нет, благодарю вас... У меня «кошки»...— сказал Тартарен проводнику, когда тот предложил ему надеть шерстяные чулки поверх башмаков.— «Кошки» системы Кеннеди... усовершенствованные... очень удобные...

Он кричал так, как будто разговаривал с глухим, чтобы его легче понял Христиан Инебнит, который знал французский язык не лучше своего товарища Кауфмана. Сидя на валуне и разговаривая с проводниками, он в то же время привязывал ремнями, которые они ему дали, к подобию башмаков три громадных стальных зуба. Сто раз он подвергал испытанию эти «кошки» системы Кеннеди в садике с баобабом, тем не менее эффект был неожидан-

ный. Под тяжестью нашего героя зубья вонзились в лед с такой силой, что все попытки вытащить их оказались напрасными. Пригвожденный ко льду, Тартарен пыхтел, бранился, отчаянно размахивал руками и альпенштоком и в конце концов вынужден был позвать ушедших вперед проводников, убежденных в том, что они имеют дело с опытным альпинистом.

Вырвать его с корнем оказалось немыслимо, а потому проводники сочли за благо отвязать ремни, «кошки» оставить во льду и заменить их шерстяными чулками. После этого президент продолжал свой путь, хотя уже с великим трудом и превозмогая усталость. Он не привык ходить с палкой, она у него путалась под ногами, стальной наконечник при слишком сильном упоре скользил, и Тартарен чуть не падал. Он попробовал заменить ее ледорубом, но идти с ледорубом оказалось еще труднее, оттого что, гонимый какой-то неистовой окаменевшей бурей, ледяной прибой становился все более мощным и накатывал один неподвижный вал на другой.

Неподвижность эта была, впрочем, только кажущаяся, ибо сухой треск, глухое урчание, движение огромных ледяных глыб, переставлявшихся медленно, как декорации,— все говорило о том, что внутри застывшей массы идет своя жизнь, идет игра коварной стихии. И на глазах у нашего альпиниста, не дальше, чем он мог добросить альпеншток, образовывались расселины, бездонные колодцы, куда без конца сыпались осколки льда. Герой наш падал, один раз даже провалился по пояс в зеленоватую воронку, но с головой все же не ухнул благодаря своим широким плечам.

Видя, что он такой неловкий и в то же время такой спокойный и самоуверенный, видя, что он все хохочет, напевает, размахивает руками, как во время сегодняшнего завтрака, проводники вообразили, что так на него подействовало швейцарское шампанское. Да и могли ли они подумать что-либо иное о прославившемся своими горными походами президенте Клуба альпинцев, о котором его товарищи говорили не иначе, как сопровождая свою речь восторженными кликами и повышенно жестикулируя? Они взяли его под руки с почтительной твердостью полицейских, сажающих в экипаж подгулявшего сынка богатых родителей, знаками и междометиями попытались обратить его внимание на опасность, доказать ему необходимость достигнуть хижины до наступления темноты, запугивали его холодом, расселинами, обвалами. Концами своих ледорубов они показывали ему огромные ледяные горы, ослепительно сверкавшую, высившуюся до самого неба наклонную фирновую стену.

Но добрый Тартарен только посмеивался:

— А, подумаешь, расселины... А, подумаешь, обвалы...

Он прыскал, подмигивал проводникам и толкал их локтями в бок, давая понять, что его не проведешь, что закулисная сторона ему известна.

Проводники тоже в конце концов заразились весельем тарасконских песенок. И когда они останавливались на какой-нибудь устойчивой глыбе, чтобы дать минутку передохнуть господину альпинисту, то непременно «йоделировали» на швейцарский лад, но только не громко, так как боялись обвалов, и не долго, оттого что время было уже позднее. Наступавший вечер давал о себе знать резким похолоданием, а главное, тем, как странно вдруг потускнели все эти снега, все эти громоздившиеся одна на другую, нависшие льдины, которые и при пасмурном небе переливают всеми цветами радуги, но которые, как только день угасает и возносится к вечно ускользающим от взора вершинам, начинают изливать бледное, безжизненное, призрачное сиянье, сродное сиянью луны. Матовый свет, мерзлота, тишина, и во всем — смерть. И добрый Тартарен, несмотря на всю свою живость и сердечный жар, все же приуныл, как вдруг отдаленный птичий крик, призыв «куропатки снегов», неожиданно прозвучавший в этой пустыне, привел ему на память выжженное солнцем поле, рдяный закат и тарасконских охотников, сидящих на пустых ягдташах под прозрачной тенью оливкового дерева и вытирающих потные лбы. Это воспоминание ободрило его.

Но вот Кауфман показал наверх — там виднелось нечто напоминавшее вязанку дров, лежащую на снегу:

— *Die Hütte*[1].

То была хижина альпинистов. Казалось, до нее рукой подать, а на самом деле пришлось идти добрых полчаса. Один из проводников пошел вперед, чтобы развести огонь. Наступила ночь, режущий лицо ветер носился по окоченелой земле. Тартарен уже неясно сознавал, что с ним творится; проводник крепко держал его за руку, а он спотыкался, подпрыгивал, и, несмотря на то что в воздухе захолодало, на нем не было сухой нитки. Вдруг в нескольких шагах сверкнул огонек, приятно запахло луковой похлебкой.

Пришли.

Трудно себе представить что-нибудь более первобытное, чем эти стоянки, устроенные в горах Швейцарским клубом альпинистов. Это одна-единственная комната с наклонными деревянными нарами для спанья, которые занимают почти все помещение и оставляют лишь весьма небольшое пространство для очага и для длинного стола, прибитого, так же как и скамейки вокруг него, к полу. Стол был уже накрыт: три чашки, оловянные ложки, спи-

[1] Хижина *(нем.)*.

ртовка для варки кофе, две открытые коробки чикагских консервов. Тартарену обед показался изумительно вкусным, хотя луковая похлебка припахивала дымком, а пресловутая патентованная спиртовка, на которой литр кофе должен был быть готов в течение трех минут, не действовала.

За десертом Тартарен запел — это был для него единственный способ общения с проводниками. Он спел им песенки своего родного края: «Тараск», «Авиньонки». Проводники ответили ему песенками на ломаном немецком языке: «*Mi Vater isch en Appenzeller... aou... aou...*»[1] Эти два молодца с чертами резкими и грубыми были точно вытесаны из скалы; растительность, покрывавшая их впалые щеки, напоминала мох, их светлые глаза, подобно глазам матросов, привыкли к широким пространствам. И ощущение простора и близости моря, возникшее у Тартарена недавно, на подступах к Гугги, снова появилось у него сейчас, когда он смотрел на этих ледовых моряков, сидя в тесной, низкой, дымной, похожей на каюту хижине, куда сверху капала вода, в которую мгновенно превращался от жары снег, и прислушиваясь к сильным порывам с размаху налетавшего на хижину ветра — ветра, от которого все сотрясалось, от которого трещали нары, колебался огонь в лампе и который потом неожиданно замирал и сменялся такой безмерной, такой потрясающей тишиной, как будто наступал конец света.

В хижине уже кончали обедать, как вдруг снаружи послышались тяжелые шаги людей, берущих подъем, и все приближающиеся голоса. Дверь затряслась от стука. Тартарен, крайне встревоженный, взглянул на проводников: ночное нападение? На такой высоте?.. Стук в дверь усилился.

— Кто там? — хватаясь за ледоруб, окликнул герой.

Но в хижину уже ввалились два огромных янки в белых холщовых масках, в одежде, мокрой от снега и пота, и два их проводника — одним словом, целый караван, возвращавшийся с вершины Юнгфрау.

— Пожалуйте, милорды,— сказал тарасконец, встречая их широким гостеприимным жестом, но милорды, не дожидаясь его приглашения, расположились со всеми удобствами.

Стол был в одну минуту захвачен, приборы убраны, чашки и ложки, как того требовал порядок, заведенный во всех этих альпийских домиках, перемыты горячей водой и приготовлены для вновь прибывших, башмаки милордов дымились у очага, а сами милорды разулись, обернули ноги в солому и принялись за вторично изготовленную луковую похлебку.

Американцы, отец и сын, представляли собой двух рыжих

---

[1] Мой отец — альпийский отшельник... у-у-у... у-у-у... *(нем.)*.

великанов с грубыми и волевыми чертами, свойственными пионерам. У отца на одутловатом, загорелом, облупившемся лице были широко раскрыты совершенно белые глаза. И по тому, как неуверенно шарил он вокруг чашки и ложки, по тому, как заботился о нем сын, Тартарен скоро догадался, что это знаменитый слепой альпинист, о котором ему говорили в отеле «Прелестный вид» и в существование которого он отказывался верить,— альпинист, прославившийся своими подъемами еще в юности, а теперь, несмотря на свои шестьдесят лет и на слепоту, возобновлявший вместе с сыном все свои былые походы. Уже потеряв зрение, он взбирался на Веттергорн и на Юнгфрау и собирался «брать» Сервен и Монблан,— он был уверен, что горный воздух, холодный, пахнущий снегом, доставлявший ему неизъяснимое наслаждение, возвращает ему утраченную бодрость.

— А все-таки,— обратился Тартарен к одному из носильщиков, так как сами янки оказались необщительными и на все его подходы отвечали только *yes* и *no*[1],— как же при его слепоте ему удается брать опасные места?

— О, у него нога настоящего горца! А кроме того, при нем неотлучно сын, следит за ним, ставит ему ноги куда нужно... Так или иначе, несчастных случаев с ним никогда не бывает.

— Тем более что несчастные случаи здесь не так уж страшны? *Чтэ?*

Тартарен заговорщицки подмигнул озадаченному носильщику, а затем, лишний раз убедившись, что «все это сплошное вранье», улегся на нарах, завернулся в одеяло, натянул вязаный шлем на глаза и, несмотря на свет, шум, табачный дым и запах лука, заснул крепким сном...

— Мосье!.. Мосье!..

Один из проводников расталкивал его перед отходом, а другой в это время разливал по чашкам кофе. Пока Тартарен шел сперва к столу, потом к двери, спящие, на которых он наступал по дороге, провожали его ворчаньем и бранью. Как только он вышел наружу, его охватил холод, ослепил сказочно прекрасный лунный свет, лежавший на белой пелене снегов, на застывших ледяных водометах, и в этом свете густыми черными тенями вырезывались иглы, пики, глыбы. Это был уже не полуденный искрящийся хаос, не безжизненное сочетание серых тонов вечера, но раскиданный по холмам целый город с мрачными улицами, с таинственными проездами, с подозрительными закоулками между мраморных памятников и осыпающихся развалин, мертвый город с широкими пустынными площадями.

---

[1] Да, нет *(англ.)*.

Два часа! Если идти быстро, добраться до вершины можно к полудню.

— А ну! — бодрым голосом сказал П. К. А., устремляясь точно на штурм крепости.

Но проводники его удержали. Предстоят опасные переходы — нужно связаться.

— Ну да, еще связываться!.. А впрочем, как вам угодно...

Христиан Инебнит прошел вперед, протянув между собой и Тартареном три метра веревки, и точно такое же расстояние отделяло теперь Тартарена от второго проводника, шедшего сзади и несшего провизию и знамя. Тарасконец чувствовал себя крепче, чем накануне, ибо он теперь окончательно во всем убедился и не придавал значения трудностям пути, если только можно было назвать путем ужасный ледяной гребень, по которому они осторожно ступали,— гребень шириной всего в несколько сантиметров и до того скользкий, что Христиану приходилось вырубать в нем ступеньки.

Линия гребня искрилась между двумя бездонными провалами. Не подумайте, однако, что Тартарен трусил. Ничуть! Так только, легкие мурашки пробегали по его телу, как это бывает с новичком, который при вступлении в масонскую ложу подвергается первым испытаниям. Он аккуратно ставил ноги на ступеньки, вырубленные головным проводником, повторял за ним все его движения и хранил при этом такое же невозмутимое спокойствие, как в садике с баобабом, когда он, к великому ужасу красных рыбок, упражнялся в хождении по краю бассейна. В одном месте гребень до того сузился, что пришлось сесть на него верхом, и вот в то время как они медленно продвигались таким способом вперед, помогая себе руками, справа, под ними, раздался оглушительный взрыв.

— Обвал! — сказал Инебнит и замер на все время, пока грохотало эхо, тысячекратное, бескрайнее, заполонившее собою весь небосвод и перешедшее к концу в долгий громовой раскат, который то ли удалялся, то ли постепенно затихал. А мгновение спустя надо всем уже вновь расстилался и все покрывал саван безмолвия.

Пройдя гребень, они двинулись по фирновому полю с довольно пологим склоном, но длины бесконечной. Так они поднимались больше часа, а затем узенькая розовая полоска обозначила высоко-высоко над ними вершины гор. Занималась заря. Как истый южанин, враг сумрака, Тартарен затянул песнь радости:

Солнце яркое Прованса!
Твой дружок, шалун мистраль...

Вдруг веревку спереди и сзади сильно тряхнуло, и Тартарен запнулся как раз на середине куплета.

— Шш!.. Шш!..— зашикал на него Инебнит, показывая ледорубом на грозный ряд исполинских, громоздившихся одна на другую глыб, почти лишенных упора и от малейшего сотрясения воздуха готовых обрушиться.

Тарасконец, однако, отлично понимал, в чем тут дело. Провести его на мякине было невозможно, и он снова запел во все горло:

...Припадет к волне Дурансы
И, хмельной, несется вдаль.

Проводники, видя, что им не унять разошедшегося певуна, пошли в обход ледяных глыб, но вскоре путь им преградила громадная расселина, на зеленоватых стенах которой уже играл первый быстролетный луч зари. Через нее перекинулся так называемый «снежный мост», до того тонкий и хрупкий, что едва на него шагнули — и он весь развеялся вихрем белой пыли, увлекая за собой вниз переднего проводника и Тартарена, повисших на веревке, которую сдерживал теперь только проводник, шедший сзади, Рудольф Кауфман, изо всех своих недюжинных сил горца вцепившись в ледоруб, глубоко воткнутый в лед. Но держать двух человек над пропастью он еще кое-как мог, вытащить же их у него не хватало мочи, и, стиснув зубы, напрягши мускулы, он сидел на корточках на значительном расстоянии от расселины и не видел, что там происходило.

Ошеломленный падением, ослепленный снегом, Тартарен некоторое время, словно игрушечный паяц, болтал ногами и руками, затем веревка выпрямила его, и он повис над пропастью носом к стене льда, которую полировало его дыхание, в позе кровельщика, чинящего водосточную трубу. Он видел, как бледнело прямо над его головой небо, как меркли последние звезды, а под ним зияла пропасть, окутанная непроницаемым мраком, и от нее веяло холодом.

Вскоре, однако, он оправился от потрясения, и к нему вернулись его обычная самоуверенность и доброе расположение духа.

— Эй, вы там, папаша Кауфман, смотрите не заморозьте нас! *Чтэ?* Здесь сквозняк, а веревка окаянная режет бока.

Кауфман не мог ему ответить — разжать зубы значило ослабеть. А Инебнит кричал из глубины:

— Мосье!.. Мосье!.. Ледоруб!..

Дело в том, что свой ледоруб он выронил при падении. Подвешенных разделяло изрядное расстояние, и передать это тяжеловесное орудие Инебниту оказалось для Тартарена делом отнюдь не простым. Инебниту же оно было нужно для того, чтобы сделать во льду ступеньки, за которые он мог бы держаться руками и ногами.

Тяжесть, висевшая на веревке, убавилась таким образом наполовину, после чего Рудольф Кауфман, рассчитывая каждое свое

движение, крайне осторожно начал подтаскивать к себе президента, и наконец тарасконская фуражка показалась над краем расселины. Вслед за ним выбрался Инебнит, и оба горца обменялись короткими фразами, какими обмениваются люди несловоохотливые, когда грозная опасность уже минует. Они все еще были взволнованы, от затраченных усилий руки и ноги у них дрожали, так что Тартарен счел необходимым предложить им киршвассеру для подкрепления. Сам же он был бодр, спокойно отряхивался и, отбивая ногами такт, напевал, чем привел своих проводников в немалое изумление.

— *Брав, брав, француз!..*— хлопая его по плечу, повторял Кауфман.

А Тартарен только посмеивался. «Шутник! — говорил он себе.— Ведь я же знал, что это не опасно...»

А проводники в это время думали, что такого альпиниста они не запомнят.

Все трое начали взбираться на громадную, вышиной от шестисот до восьмисот метров отвесную стену, в которой надо было вырубать ступеньку за ступенькой, а это занятие отнимало много времени. Под лучами яркого солнца все вокруг сверкало нестерпимою для глаз белизною, а между тем очки тарасконца остались на дне пропасти и от солнца и яркого света силы начали ему изменять. Вскоре Тартарен почувствовал страшную слабость — это был приступ горной болезни, а последствия и морской и горной болезни совершенно одинаковы. Спина у него отнялась, голова кружилась, ноги подкашивались и заплетались, так что проводники вынуждены были подхватить его под руки, как накануне, и, все время поддерживая, в конце концов они втащили его на самый верх ледяной стены. До вершины Юнгфрау оставалось теперь каких-нибудь сто метров, но хотя снег стал твердым, упругим и идти было легче, все же этот последний переход занял массу времени, оттого что П. К. А. чувствовал себя все хуже и изнемогал от усталости.

Внезапно проводники отпустили его и, махая шляпами, начали восторженно «йоделировать». Поднялись! Эта точка в девственной пустыне, этот белый, слегка округленный гребень — вот она, их цель, а для доброго Тартарена это конец сомнамбулического столбняка, в котором он пребывал уже целый час.

— Шейдек! Шейдек! — кричали проводники, показывая вниз, где на зеленеющем плоскогорье, далеко-далеко, выступал из тумана отель «Прелестный вид», казавшийся отсюда не более игральной кости.

На пространстве, отделявшем их от отеля, развертывалась дивная панорама: ряд поднимавшихся уступами снеговых полей,

золотых, оранжевых под лучами солнца или же налитых густою холодною синевою, нагромождение льдов самого причудливого строения — в виде башен, стрел, игол, ребер, гигантских горбов, как будто там, внизу, покоился давно исчезнувший с лица земли мастодонт или же мегатерий. Лучи всех цветов радуги играли, сходились на поверхности обширных ледников, низвергавших свои недвижные водопады, куда сливались мелкие застывшие потоки, верхний слой которых, гладкий, ослепительно сверкавший, мало-помалу таял на солнце. Но на большой высоте яркий блеск смягчался, здесь мерцал тусклый и холодный свет, и от этого света, от тишины и безлюдья необозримой белой пустыни с ее таинственными складками Тартарена бросило в дрожь.

Над отелем взвился дымок, донеслись глухие выстрелы. Оттуда увидели наших альпинистов и в их честь стали палить из пушки. Мысль, что на него смотрят, что все эти мисс, знатные рисолюбы и черносливцы навели на него бинокли, напомнилаТартарену о его великой миссии. О знамя Тараскона! Тартарен выхватил тебя из рук проводника и несколько раз помахал тобою! Затем он, не выпуская из рук знамени, воткнул в снег свой ледоруб и с величественным видом сел на него лицом к публике. Он находился между солнцем и поднимавшимся сзади туманом, и тут, вследствие преломления световых лучей (явление частое на вершинах гор), на небе вырисовался исполинский Тартарен, коренастый, широкоплечий, с бородой, выбившейся из-под шлема, похожий на одного из легендарных скандинавских богов, сидящих на облаках.

XI

Назад, в Тараскон! Женевское озеро. Тартарен предлагает осмотреть темницу Бонивара. Краткий разговор среди роз. Вся компания под замком. Злосчастный Бонивар. Где нашлась авиньонская веревка

После восхождения у Тартарена опух и облупился нос, кожа на щеках потрескалась. Пять дней он просидел безвыходно в своем номере в отеле «Прелестный вид». Пять дней подряд он ставил себе компрессы и разгонял липкую, пресную тоску этих дней игрою в крестики с депутатами или же диктовал им пространный, подробный, обстоятельный отчет о своем путешествии для прочтения на заседании Клуба альпинцев и для напечатания в «Форуме». Когда же общее состояние разбитости прошло и на благородном лице П. К. А., все еще сохранявшем цвет этрусской вазы, осталось лишь несколько волдырей, струпьев и царапин, депутация во главе с президентом отправилась обратно в Тараскон через Женеву.

Мы не станем описывать их дорожные приключения, то смятение, какое вызывала компания южан в тесных вагонах, на пароходах и за табльдотами своим пением, криками, слишком бурною любвеобильностью, своим знаменем и альпенштоками,— дело в том, что со времени восхождения П. К. А. на Юнгфрау все депутаты вооружились палками, а на палках были кругами выжжены подобранные в рифму названия высот, на которые всходили знаменитые альпинисты.

Монтре!

Здесь депутаты, по предложению своего предводителя, решили на день, на два остановиться и осмотреть хваленые берега Лемана, а главное — Шильонский замок с его легендарной темницей, в которой некогда томился великий патриот Бонивар и которую прославили Байрон и Делакруа.

По правде сказать, Тартарена не очень интересовал Бонивар — приключение с Вильгельмом Теллем пролило ему свет на швейцарские легенды,— но в Интерлакене он узнал, что Соня уехала в Монтре вместе с братом, которому стало хуже, и это задуманное им паломничество в исторические места было для него только предлогом, чтобы повидаться с девушкой и, кто знает, может быть, уговорить ее уехать с ним в Тараскон.

Спутники его, разумеется, были самым искренним образом убеждены, что они едут почтить память великого женевского гражданина, историю которого им рассказал П. К. А. Более того, пристрастие к театральным жестам внушило им мысль — высадившись в Монтре, развернуть знамя и торжественной процессией под нескончаемые крики: «Да здравствует Бонивар!» — идти в Шильон. Президент постарался умерить их пыл.

— Сначала позавтракаем, а там видно будет...— заметил он.

И они сели в омнибус, принадлежавший пансиону Мюллера и в ряду с другими омнибусами стоявший у плавучей пристани.

— Гляньте-ка: полицейский! Что это он на нас так смотрит?— сказал Паскалон, влезая в омнибус последним из-за знамени, доставлявшего в дороге столько мучений бедному аптекарскому ученику.

Встревожился и Бравида:

— Да, правда... Чего ему от нас нужно? Что он на нас так уставился?..

— Он меня узнал, вот и все,— скромно заметил Тартарен и издали улыбнулся ваадскому полицейскому в длинном синем плаще, долго смотревшему вслед омнибусу, который катился меж прибрежных тополей.

В Монтре был базарный день. Вдоль озера тянулись ряды со всех сторон открытых лавчонок, торговавших фруктами, зеленью,

дешевыми кружевами, цепочками, бляшками, застежками — всеми этими блестящими, точно вылепленными из снега или выточенными изо льда безделушками, которые навешивают на себя швейцарки. И тут же, рядом,— сутолока маленькой гавани: беспрестанно сновали взад и вперед ярко окрашенные прогулочные лодки, с больших парусных бригантин выгружали мешки и бочки, слышались звонки и сиплые гудки пакетботов, на набережной возле кафе и пивных, возле лавок цветочниц и старьевщиков толкался народ. Все бы это залить солнечным светом — и можно было бы подумать, что это какая-нибудь средиземноморская гавань, между Ментоной и Бордигерой. Но солнца не было, и наши путешественники рассматривали эту красивую местность сквозь облако тумана, который поднимался от голубого озера по ступенькам лестниц, карабкался вверх по мощеным улицам, а на вершине горы, над несколькими ярусами домов, сливался с черными тучами, что клубились среди темной зелени и готовы были вот-вот пролиться дождем.

— А, черт! Не люблю я озер!..— ворчал Спиридион Экскурбаньес, протирая окно, чтобы посмотреть на дальние ледники и на полотнища белого пара, застилавшего горизонт впереди.

— И я не люблю,— вздохнул Паскалон.— Мгла, стоячая вода... просто хоть плачь.

Бравида тоже выразил неудовольствие: он боялся схватить воспаление седалищного нерва.

Тартарен резко их оборвал. Неужели им не хочется рассказать дома, что они видели темницу Бонивара и начертали свои имена на исторических стенах рядом с именами Руссо, Байрона, Виктора Гюго, Жорж Санд, Эжена Сю? Но, не окончив своей тирады, президент внезапно смолк и изменился в лице... Перед ним мелькнула знакомая шапочка, из-под которой выбивались белокурые локоны... Даже не остановив омнибуса, замедлившего ход на подъеме, он крикнул изумленным альпинцам: «Увидимся в отеле!..» — и спрыгнул на мостовую.

— Соня!.. Соня!..

Он боялся, что не догонит ее,— так она спешила, такой быстрой тенью скользил по стенам домов стройный ее силуэт.

Соня обернулась, остановилась.

— А, это вы!..— сказала она и, поздоровавшись, пошла вперед.

Тартарен, отдуваясь, пошел с ней рядом и начал извиняться за свое вынужденное исчезновение: приехали друзья, надо было во что бы то ни стало совершить восхождение... Следы этого путешествия у него еще до сих пор на лице... Она слушала молча, не оборачиваясь к нему, все уторапливая шаг и глядя прямо перед собой неподвижным, ушедшим внутрь взглядом. Рассматривая ее в

профиль, Тартарен нашел, что она побледнела, черты уже утратили детскую наивность и мягкость,— напротив, в них проступило то жесткое, решительное, что раньше давало себя знать только в голосе: ее непреклонная воля; от прежней Сони остались лишь девичья стройность и золотистые локоны.

— А как поживает Борис? — слегка смущенный ее молчаливостью и веявшим от нее холодом, спросил Тартарен.

— Борис?..— Она вздрогнула.— Ах да, правда, вы ведь ничего не знаете... Ну так идемте, идемте!..

По обеим сторонам загородной улицы, куда они наконец вышли, тянулись виноградники, спускавшиеся к озеру, и виллы с прелестными, усыпанными песком палисадниками, с террасами, увитыми плющом и тонувшими в цвету роз, петуний и мирт, росших в горшках и кадках. Навстречу усталой походкой больных людей шли иностранцы с осунувшимися лицами и сумрачным взглядом—такие фигуры часто попадаются в Ментоне и в Монако, только там все скрашивает и скрадывает солнечный свет, а здесь, под низким пасмурным небом, цветы казались свежее, а страдание выступало рельефнее.

— Сюда,— сказала Соня, отворяя чугунную решетчатую дверцу под белым каменным фронтоном, на котором было что-то написано по-русски золотыми буквами.

Тартарен не сразу сообразил, что это такое... Небольшой садик с подстриженными аллеями, с убитыми щебнем дорожками, полный вьющихся роз, переброшенных от одного зеленого дерева к другому, желтых и белых роз, наполнявших узкое пространство своим благоуханием и сочетанием красок. Под этими гирляндами, среди этого могучего цветения — несколько стоячих и лежачих плит с именами и датами; на одной из таких каменных плит, совсем новенькой, было высечено:

БОРИС ВАСИЛЬЕВ, 22-х лет

Он умер несколько дней тому назад, почти тотчас же по приезде в Монтре. Кладбище для иностранцев, где под сенью цветов покоятся русские, поляки, шведы, те слабогрудые из холодных стран, которых посылают в эту северную Ниццу, потому что южное солнце для них слишком горячо и переход слишком резок, явилось для Бориса как бы уголком его родины.

Соня и Тартарен некоторое время стояли молча и неподвижно перед этой новой плитой, которая выделялась своею белизною на черноте свежеразворошенной земли. Девушка, опустив голову, вдыхала запах густо разросшихся роз и старалась удержать слезы в покрасневших глазах.

— Бедняжка!..— с участием сказал Тартарен и, взяв в свои

сильные, грубые руки кончики ее пальцев, спросил: — Что же вы теперь будете делать?

Она посмотрела на него в упор сухими, блестящими глазами, в которых не дрожала больше ни одна слезинка:

— Через час я уезжаю.

— Уезжаете?

— Болибин уже в Петербурге... Манилов ждет меня у границы... Я опять бросаюсь в самое пекло. Вы еще о нас услышите.

Затем она, чуть заметно улыбаясь и не сводя своих синих глаз с внезапно забегавших, прятавшихся от нее глаз Тартарена, добавила:

— Кто меня любит, тот последует за мной!

Легко сказать — последовать! Сонина возбужденность привела Тартарена в ужас. Кладбищенская обстановка охлаждала его любовный пыл. В то же время ни в коем случае нельзя было показывать, что он смалодушничал. И, жестом Абенсерага приложив руку к сердцу, герой наш заговорил:

— Вы знаете меня, Соня...

Она не дала ему договорить.

— Болтун! — пожав плечами, сказала она.

Гордо подняв голову, она пошла меж розовых кустов к выходу и ни разу не оглянулась... «Болтун!»... Больше она не сказала ни слова, но в тоне ее слышалось такое презрение, что добрый Тартарен покраснел до корней волос и посмотрел, нет ли кого поблизости, не слышал ли кто-нибудь их разговор.

К счастью для нашего тарасконца, переживания не оставляли в нем глубокого следа. Через пять минут он уже весело шагал по гористым улицам Монтре, разыскивая пансион Мюллера, где альпинцы должны были ждать его к завтраку, и всем своим обликом выражал глубокое облегчение, радость от сознания, что с этой «опасной связью» покончено. Доро́гой он энергично встряхивал головой в подкрепление тех убедительных доводов, которые не захотела слушать Соня и которые он мысленно приводил сейчас себе самому: ну да, конечно, деспотизм... С этим он согласен... Но перейти от слов к делу — а, ну их!.. Да и потом, что это за занятие — убивать деспотов? Что, если все угнетенные народы воззовут к нему, как арабы к Бомбонелю, когда вокруг их селения бродила пантера? Не разорваться же ему на части, в самом деле!

Этот его разговор с самим собой внезапно прервала наемная карета, промчавшаяся мимо него во весь опор. Тартарен едва успел отскочить на тротуар.

— Ты что, не видишь, скотина?

Но его грозный окрик тотчас же сменился возгласом изумления:

— Кто это?.. Господи Иисусе!.. Не может быть!..

Бьюсь об заклад, что вы не догадаетесь, кого он увидел в старой карете!.. Депутацию, депутацию в полном составе: Бравида, Паскалона, Экскурбаньеса,— прижавшись друг к другу вплотную, они сидели на задней скамейке, бледные, растерянные, должно быть, потерпевшие поражение в бою, а напротив них Тартарен разглядел двух полицейских с ружьями. Все эти неподвижные, безмолвные профили, показавшиеся в узкой рамке окошка, промелькнули, словно в кошмарном сне. Подобно тому как недавно Тартарена пригвоздили ко льду «кошки» системы Кеннеди, так и сейчас он прирос к земле, глядя вслед бешено мчавшейся фантастической колымаге, за которой погналась выпорхнувшая из школы стайка мальчишек с сумками за спиной, и вдруг кто-то крикнул над самым ухом Тартарена:

— А вот и четвертый!..

В ту же минуту его схватили, скрутили, связали и втолкнули в наемный экипаж к полицейским, один из которых оказался офицером, вооруженным громадным палашом, и палаш этот он зажал между колен, так что эфес касался верха кареты.

Тартарен начал было говорить, объяснять: тут явное недоразумение... Он сказал, кто он, откуда, сослался на французского консула, торговавшего швейцарским медом. С этим самым консулом по фамилии Ихенер он встречался на бокерских ярмарках. Но, видя, что стража упорно молчит, он решил, что это какой-нибудь новый эффект из Бомпаровой феерии, и, с лукавым видом обратившись к офицеру, сказал:

— Ну, ну, это вы нарочно! *Чтэ?*.. Ох, выдумщик!.. Да я же знаю, что вы это нарочно!

— Молчать! А не то я вам живо рот заткну!..— страшно вращая глазами, как будто он вот сейчас проткнет Тартарена палашом, гаркнул офицер.

Тартарен так и осел. Он уже больше не шевельнулся и все смотрел в окно на полоски озерной воды, на высокие горы, покрытые влажною зеленью, на отели с затейливыми крышами, с золочеными вывесками, видными издалека, на мельканье корзин и плетушек, точно перед ним были склоны Риги, и, опять-таки словно на Риги, глазам его открылась забавная железная дорога, а по ней взбиралась по отвесной стене к Глиону опасная заводная игрушка, и, в довершение сходства с *Regina montium*, ливмя лил дождь, облака и волны касались друг друга, шел непрерывный обмен влагой между дождливым небом и туманным Леманом, между туманным Леманом и дождливым небом.

Карета прогромыхала по подъемному мосту, где в мелочных лавчонках торговали замшевыми изделиями, перочинными но-

жами, крючками для ботинок, гребенками, и, проехав под низким сводом башенных ворот, остановилась во дворе старинного замка; двор этот зарос травою, в каждом его углу высилась круглая башня с караулкой,— караулки держались на деревянных подпорках и были окружены черной железной решеткой. Куда их привезли? Тартарен понял это из разговора доставившего их офицера с тюремным надзирателем, толстяком в феске, позвякивавшим связкой заржавленных ключей:

— В секретную, в секретную!.. Но у меня нет больше мест, все занято... Остается только посадить его в темницу Бонивара.

— Ну так посадите его в темницу Бонивара, — приказал офицер.— Поделом вору и мука...

И приказ его был исполнен.

Шильонский замок, о котором П. К. А. два дня подряд толковал любезным его сердцу альпинцам и в который по иронии судьбы вдруг, ни с того ни с сего, упрятали его самого, представляет собой один из наиболее посещаемых памятников старины во всей Швейцарии. Давным-давно здесь была летняя резиденция графов Савойских, потом — тюрьма для государственных преступников, потом — склад оружия и боевых припасов, а теперь это всего лишь предлог для экскурсии, так же как «Риги-Кульм» или Теллсплатте. Тем не менее здесь оставались полицейский пост и «каталажка» для пьяниц и для драчунов. Но и те и другие столь редки в мирном Ваадском кантоне, что каталажка вечно пустует и надзиратель складывает там на зиму дрова. Вот почему прибытие партии заключенных привело надзирателя в прескверное расположение духа; особенно он был недоволен тем, что теперь нельзя будет показывать посетителям знаменитую темницу, а в это время года туристы представляли для крепости самую значительную статью дохода.

Разгневанный тюремщик повел Тартарена, тот, не оказывая ни малейшего сопротивления, следовал за ним. Несколько шатких ступеней, сырой, пахнущий погребом коридор, на огромных петлях дверь толщиной в целую стену — и перед ними открылось обширное подземелье с земляным полом и сводчатым потолком, который поддерживали тяжелые романские колонны с некогда вделанными в них и до сих пор сохранившимися железными кольцами,— к этим-то кольцам и приковывали государственных преступников. В узкие бойницы, откуда виден был лишь клочок неба, вместе со слабым светом вливались шорох и плеск озерных струй.

— Вот вы и дома,— сказал тюремщик.— Только далеко не заходите, там каменные мешки.

Тартарен в ужасе попятился:

— Каменные мешки? Господи Иисусе!..

— Ничего, братец мой, не поделаешь!.. Мне сказали посадить вас в темницу Бонивара, я вас в темницу Бонивара и сажаю... А теперь, ежели вы человек со средствами, вам можно будет предоставить некоторые удобства, например, матрац и одеяло на ночь.

— Прежде всего поесть! — взмолился Тартарен, у которого, на его счастье, не отобрали кошелька.

Надзиратель принес свежего хлеба, пива, колбасы, и новоявленный шильонский узник, со вчерашнего дня ничего не евший, изнемогавший от усталости и треволнений, с жадностью накинулся на еду. Пока он ел, сидя на каменной скамье, тюремщик при свете, проникавшем в отдушину, дружелюбно его рассматривал.

— Не могу понять, что вы натворили, за что к вам применяют такие строгости,— сказал он.

— Черт побери, я тоже не могу понять, ничего не могу понять! — с полным ртом проговорил Тартарен.

— Одно можно сказать с уверенностью, что вы, видать, человек неплохой и, конечно, не захотите лишить бедного отца семейства его доходов, ведь правда?.. Ну так вот... Там, наверху, ждет целая компания: приехали посмотреть темницу Бонивара... Будьте так любезны, обещайте мне сидеть смирно и не пытайтесь бежать...

Добрый Тартарен поклялся, и через пять минут темницу заполонили его старые знакомые по «Риги-Кульм» и Телльсплатте: круглый дурак Шванталер, инептиссимус Астье-Рею, член Джокей-клоба со своей племянницей (гм! гм!..) — словом, все те, кто путешествовал по круговому маршруту Кука. Боясь, как бы его не узнали, несчастный Тартарен от стыда прятался за колонны, крался и отступал все дальше и дальше, по мере того как к нему приближалась группа туристов во главе с надзирателем, жалобным голосом произносившим затверженные фразы:

— Здесь злосчастный Бонивар...

Туристы двигались медленно: их задерживал спор вечно враждовавших ученых, готовых каждую минуту начать рукопашную схватку, размахивавших один — складным стулом, другой — саквояжем, и благодаря неверному свету, просачивавшемуся в отдушины, их тени причудливо растягивались на сводах.

Отступая, Тартарен подошел прямо к каменному мешку; это был темный, ничем не огороженный колодец, и от него веяло гнилостным, ледяным дыханием минувших столетий. Тартарен в испуге отпрянул, забился в угол, надвинул фуражку на глаза, но тут на него подействовал запах сырости, исходивший от стен, и он выдал свое присутствие оглушительным чохом, заставившим туристов попятиться.

— Да это Бонивар!..— воскликнула бойкая молодая парижанка в шляпке фасона времен Директории, та самая, которую член Джокей-клоба выдавал за свою племянницу.

Тарасконец, однако, нашелся.

— Какие они уютные, эти каменные мешки, а?..— сказал он самым естественным тоном, как будто он тоже из любознательности пришел осмотреть темницу и присоединился к другим путешественникам, а те заулыбались, сразу узнав альпиниста из «Риги-Кульм», устроителя всем памятного бала.

— Э, мосье!.. Плясирен, танцирен!..

Перед ним предстала нелепая фигура маленькой феи Шванталер, готовой хоть сейчас протанцевать с ним кадриль. А ему как раз было до танцев! Не зная, как отвязаться от этой крохотульки, он предложил ей руку и весьма любезно показал свою темницу, кольцо, к которому узник приковывался цепью, и впадины, вытоптанные его ногами на каменных плитах вокруг одной и той же колонны. Он держал себя в высшей степени непринужденно, и милой даме в голову не могло прийти, что водит ее тоже государственный преступник, жертва людской несправедливости и жестокости. Ужасен был зато момент расставания, когда злосчастный Бонивар проводил плясунью до двери и с улыбкой светского человека попрощался с ней:

— Нет, извините... Я, видите ли, еще тут побуду...

Тут он раскланялся, а следивший за ним тюремщик, ко всеобщему изумлению, захлопнул за ним дверь и задвинул засов.

Какой позор! Беднягу даже в пот ударило, когда до него донеслись восклицания удалявшихся туристов. К счастью, в течение дня эта пытка больше не повторялась. По случаю дурной погоды посетителей не было. В темнице ветер так и гулял,— а Тартарену чудилось, будто это стонут заживо погребенные в каменных мешках,— шумело озеро, все изрешеченное дождевыми каплями, волны бились о стены, доплескиваясь до самых отдушин, и на узника летели оттуда брызги. Порой доносились звон пароходного колокола и шлепанье колес по воде. Спускался хмурый, ненастный вечер, в сумерках темница как будто бы стала больше — все это навевало на Тартарена особенно мрачные думы.

Чем объяснить арест, заключение в этой жуткой тюрьме?.. Быть может, Костекальд?.. Последний предвыборный маневр?.. А может быть, русской полиции стали известны неосторожно сказанные им слова, его знакомство с Соней, и полиция потребовала выдачи?.. Но тогда зачем же арестовывать депутатов?.. В чем можно обвинить этих незадачливых туристов? Легко себе представить их ужас и отчаяние, хотя, впрочем, они все-таки не под этими каменными сводами, не в темнице Бонивара, где с наступлением тем-

ноты забегали огромные крысы, тараканы, бесшумные пауки с безобразными мягкими лапами.

Но вот что значит чистая совесть! Несмотря на крыс, на холод, на пауков, великий Тартарен в страшной тюрьме для государственных преступников, населенной тенями замученных, заснул таким же крепким сном, открыв рот и сжав кулаки, и так же громко захрапел, как и тогда, между небом и пропастями, в домике Клуба альпинистов. И ему казалось, что он все еще спит, когда поутру его разбудил тюремщик.

— Вставайте, префект приехал!.. Сейчас будет вас допрашивать... Ежели сам префект соизволил себя побеспокоить, стало быть, вы злодей отъявленный,— добавил он с ноткой почтительности в голосе.

Какой там злодей! Но переночевать в сырой и грязной тюрьме и не иметь возможности хотя бы слегка привести себя в порядок— да тут и впрямь сойдешь за злодея! И в бывшей конюшне замка, переделанной под казарму, где к оштукатуренным стенам прислонены составленные в козлы ружья, Тартарену, бросившему ободряющий взгляд на альпинцев, рассаженных между полицейскими, становится стыдно за свой неопрятный вид перед префектом с холеной бородкой, в безукоризненно сидящем на нем черном костюме, а префект сразу же учиняет ему строжайший допрос:

— Вы — Манилов? Так?.. Русский подданный... В Петербурге вы устроили взрыв... потом бежали в Швейцарию и здесь совершили убийство.

— Ничего подобного... Это ошибка, недоразумение...

— Молчать, а не то я вам живо рот заткну!.. — обрывает его офицер.

— Отпираться бесполезно...— продолжает безукоризненно одетый префект.— Вам знакома эта веревка?

А, черт, это же его веревка! Веревка из проволоки, которую для него сплели в Авиньоне! К вящему изумлению депутатов, он опускает глаза и говорит:

— Да, знакома.

— На этой веревке был повешен человек в Унтервальдском кантоне...

Тартарен, содрогаясь, клянется, что он ни сном, ни духом...

— Сейчас разберемся!

И тут вводят итальянского тенора. Нигилисты повесили этого тайного агента полиции на дубовом суку, на Брюннигском перевале, но его каким-то чудом спасли дровосеки.

Сыщик смотрит на Тартарена:

— Нет, это не он!

Потом на депутатов:

— И это не те... Произошла ошибка.

Префект в бешенстве обращается к Тартарену:

— Так зачем же вы здесь?

— А это уж у вас надо спросить!.. — с апломбом невинности заявляет президент.

После краткого объяснения тарасконских альпинистов освобождают, и они удаляются из Шильонского замка, подавляющую романтическую унылость которого они теперь чувствуют, как никто. Они заезжают в пансион Мюллера, захватывают свои вещи, знамя, платят за вчерашний завтрак, который им так и не дали съесть, затем несутся на вокзал и уезжают в Женеву. Идет дождь. В слезящихся окнах мелькают названия аристократических дачных мест — Кларан, Веве, Лозанна: красные домики, садики, где капает с ветвей редкостных растений, окутанных влажной пеленой, островерхие крыши, террасы отелей.

Альпинисты расположились в углу длинного швейцарского вагона на двух скамейках, друг против друга, вид у них у всех расстроенный и пришибленный. Бравида с кислой миной жалуется на боли и то и дело обращается к Тартарену с убийственной иронией в голосе:

— *Ниэ*, вот мы и осмотрели темницу Бонивара... Ведь вам так хотелось ее осмотреть... Надеюсь, вы на нее теперь насмотрелись. *Чтэ*?..

Экскурбаньес, впервые в жизни притихший, уныло смотрит на озеро, которое неотступно преследует тарасконцев в окне вагона.

— Бог ты мой, сколько воды!.. Теперь уж я ни за что не буду больше купаться...

Паскалон запуган; держа знамя между колен и прячась за него, он озирается, как затравленный заяц... А Тартарен?.. О, Тартарен по-прежнему величествен и невозмутим, наслаждается чтением газет, пришедших с юга Франции, целой пачки газет, доставленных в пансион Мюллера,— все они перепечатали из «Форума» рассказ о том, как он поднимался на Юнгфрау, рассказ, им самим продиктованный, но значительно расширенный и приукрашенный безудержными восхвалениями. Внезапно из груди героя вырывается крик, неистовый крик, и докатывается до противоположного конца вагона. Пассажиры вскакивают. Что это, крушение? Нет, просто-напросто заметка в «Форуме». Тартарен читает ее альпинцам:

— Послушайте: «Говорят, что В. П. К. А. Костекальд, только что поправившийся после желтухи, которой он болел несколько дней, едет в Швейцарию с целью совершить восхождение на Монблан и подняться еще выше, чем Тартарен...» Ах, разбойник! Он

хочет затмить мой подъем на Юнгфрау... Ну, погоди, я у тебя из-под ног выбью твою гору... Шамони в нескольких часах езды от Женевы,— я поднимусь на Монблан раньше, чем он! Вы поедете со мной, друзья?

Бравида противится. А, чтоб!.. Довольно с него приключений.

— Больше чем достаточно...— сипит спавший с голоса Экскурбаньес.

— А ты, Паскалон? — ласково обращается к нему Тартарен.

— Учи-и-итель!..— не смея поднять на него глаза, блеет ученик.

И этот оставляет его!

— Хорошо! — торжественно и грозно изрекает герой.— Я поеду один, и вся слава достанется мне... А ну, давайте сюда знамя!

XII

Отель Бальте в Шамони. Пахнет чесноком! Нужна ли при восхождении на Альпы веревка? Shake handes![1] Последователь Шопенгауэра. На привале в Гран-Мюле. «Тартарррен! Мне нужно с вами поговорить...»

Колокольня Шамони девять раз прозвонила в вечернем сумраке, дрожавшем от холодного дождя и ветра. На улице было темно, во всех домах погасли огни, освещены были только отели: их подъезды и окна, выходившие во двор,— это бодрствовал газ, а вокруг, при тусклом отблеске, падавшем со снеговых вершин, и матовом мерцании луны на ночном небе, становилось еще темнее.

В отеле Бальте, одном из лучших и наиболее посещаемых отелей в этом альпийском селении, многочисленные путешественники и пансионеры, измученные дневными экскурсиями, один за другим расходились по своим номерам, и под конец в большом зале остались только английский священник, молча игравший в шашки со своей супругой, его бесчисленные дочки в нагрудниках и в фартуках из небеленого холста, усердно строчившие пригласительные записки на ближайшее евангелическое богослужение, и молодой швед, худой и бледный, который сидел у жарко горевшего камина и, попивая грог из киршвассера и сельтерской воды, мрачно смотрел на пламя. Время от времени запоздалый турист в мокрых гетрах и плаще, с которого струились потоки, появлялся в зале, останавливался у большого барометра, висевшего на стене, стучал по нему пальцем, смотрел, какую погоду на завтра

[1] Рукопожатие! *(англ.)*

обещает ртуть, и, удрученный, шел спать. Никто не произносил ни слова, не было заметно никаких других признаков жизни, кроме потрескивания дров в камине, шуршанья дождя по стеклам окон да сердитого рокота Арва под деревянным мостом в нескольких шагах от отеля.

Вдруг дверь отворилась, и в залу ввалился с чемоданами и плащами швейцар в расшитой серебром ливрее, а за ним четыре продрогших альпиниста, ошеломленных внезапным переходом от мрака и холода к теплу и свету.

— Господи, твоя воля! Вот так погодка!..

— А ну, дайте-ка нам поесть!

— Нагрейте-ка нам постели!

Сливавшиеся голоса тарасконцев шли откуда-то из глубины их кашне, меховых шапок, фуражек с наушниками, и прислуга не знала, кого слушать, пока наконец приземистый толстяк, которого они называли «прррезидэнтом», их всех не перекричал.

— Прежде всего книгу для приезжающих! — приказал он.

Перелистывая ее закоченелой рукой, он вслух называл имена путешественников, за истекшую неделю побывавших в отеле:

— «Доктор Шванталер с супругой...» Опять! «Член Французской академии Астье-Рею...»

Просматривая книгу, он бледнел всякий раз, как ему попадалась фамилия, похожая на ту, которую он искал. Наконец, прочитав еще несколько страниц, этот низкорослый человечек с торжествующим хохотом швырнул книгу на стол и подпрыгнул, как мальчишка, чего уж никак нельзя было от него ожидать при его комплекции.

— Его тут нет, понимаете? Он еще не приехал... А больше он нигде не мог остановиться. Подставили мы ножку Костекальду... «Костекальд, Костекальд, провались в тартарары!..» А теперь, друзья мои, давайте поедим супу!..

И, поклонившись дамам, добрый Тартарен вместе с шумной и голодной депутацией направился в столовую.

Да, да, вместе со всей депутацией, даже с Бравида... Послушайте, да разве могло быть иначе?.. Что бы сказали на родине, если б они вернулись без Тартарена? Каждый из них отлично это себе представлял. И весь буфет на женевском вокзале оказался свидетелем волнующей сцены при расставании: слез, объятий, душераздирающих прощаний со знаменем; следствием же этих прощаний было то, что в ландо, которое П. К. А. нанял до Шамони, набилась вся компания. Дорога здесь чудесная, но тарасконцы сидели с закрытыми глазами, завернувшись в плащи, наполняя экипаж звучным храпом и не обращая внимания на дивные виды, открывшиеся сквозь сетку дождя прямо от самого Салан-

ша,— виды на пропасти, леса, пенистые водопады и то показывавшуюся, то исчезавшую заоблачную вершину Монблана. Пресыщенные подобного рода красотами, наши тарасконцы думали только о том, как бы отоспаться после бессонной ночи под шильонскими замка́ми. Даже и теперь, расположившись на одном конце длинной пустой столовой отеля Бальте, они молча, жадно ели разогретый суп и остатки других обеденных блюд и думали о том, как бы поскорей добраться до постели. Вдруг Спиридион Экскурбаньес, завороженно двигавший челюстями, оторвался от своей тарелки и, понюхав воздух, воскликнул:

— Ух ты!.. Пахнет чесноком!..

— А ведь верно, приятный запах...— подтвердил Бравида.

И тут все тарасконцы, ободренные этим напоминанием об отчизне, этим запахом местных тарасконских блюд, которого Тартарен уже давно не вдыхал, в приливе чревоугодия заерзали на стульях. Запах шел из маленькой смежной комнаты, где ужинал в одиночестве какой-то путешественник — по-видимому, важная особа, потому что колпак шеф-повара ежеминутно показывался в окне кухни, прислуживавшей девушке передавались маленькие накрытые блюда, и она уносила их в отдельный кабинет.

— Наверно, какой-нибудь южанин,— прошептал тихий Паскалон.

А президент, помертвев при мысли о Костекальде, распорядился:

— Пойдите посмотрите, Спиридион... а потом скажите нам...

Громовой хохот раздался в отдельном кабинете, едва лишь переступил его порог славный тарасконский «Гонг», исполнявший приказ своего начальника, и вслед за тем Экскурбаньес вывел оттуда за руку носатого верзилу с плутоватыми глазами, с повязанной вокруг шеи салфеткой, как у заядлого гастронома.

— Э, Бомпар!..

— Эге, Выдумщик!

— Эге-ге, Гонзаг, здравствуйте!.. Ну как дела?

— Я, господа, стало быть, к вашим услугам...— говорил посыльный, пожимая всем руки и усаживаясь за один стол с тарасконцами, чтобы поесть белых грибов с чесноком приготовления г-жи Бальте, ненавидевшей, как и ее муж, общий стол.

То ли здесь имело значение тарасконское кушанье, то ли радостная встреча с земляком, с очаровательным Бомпаром, отличавшимся несокрушимой силой воображения, но только усталость и сонливость с тарасконцев мгновенно стряхнуло, на столе появилось шампанское, и, с пеной на усах, они еще долго потом смеялись, орали, размахивали руками, обнимались, объяснялись друг другу в любви.

— Теперь уж я вас не покину, нет! — говорил Бомпар.— Мои перуанцы уехали... Я свободен...

— Свободны?.. В таком случае пойдемте завтра со мной на Монблан?

— Как? Вы завтра идете на Монблан? — спросил Бомпар без восторга.

— Да, я хочу стащить его у Костекальда... Он явится — глядь, а Монблана-то и нет!.. Так вы пойдете со мной, Гонзаг? *Чтэ?*

— Пойду... Пойду... Вот только как погода... В эту пору подъем не всегда возможен.

— Ну да, не всегда возможен!..— проговорил Тартарен, подмигнув и улыбнувшись многозначительной улыбкой, которую Бомпар, однако, не понял.

— Пойдемте пить кофе в залу... Посоветуемся со стариком Бальте. Он это должен знать, ведь он сам когда-то был проводником, двадцать семь раз совершал восхождение.

— Двадцать семь раз! Ух ты! — в один голос воскликнули депутаты.

— Бомпар всегда преувеличивает...— сказал П. К. А. недовольным тоном, в котором можно было уловить оттенок зависти.

В зале дочки священника по-прежнему были поглощены писанием пригласительных записок, папенька с маменькой клевали носами над шашками, а долговязый швед с таким же унылым видом помешивал ложечкой свой грог с сельтерской водой. Нетрудно, однако, догадаться, что нашествие тарасконских альпинистов, воспламененных шампанским, несколько оживило юных письмоводительниц. Никогда еще эти прелестные девушки не видели, чтобы люди, пьющие кофе, так быстро меняли выражение лица, чтобы они так дико вращали глазами.

— А сахару, Тартарен?

— Что вы, командир?.. Вы же знаете... после Африки...

— Ах да, виноват!.. *Э!* Вот и господин Бальте!

— А ну, присаживайтесь, господин Бальте!

— Да здравствует господин Бальте!.. Хо-хо!.. *Двайте шумэть!*

Старик Бальте, которого окружили и сдавили незнакомые люди, спокойно улыбался. На широком бритом лице у этого крепкого савояра, рослого, сутулого, плечистого, ходившего медленным шагом, весело и молодо глядели хитрые глазки, что не шло к его лысине, облысел же он после того, как однажды едва не замерз на рассвете в снегах.

— Вам, господа, угодно взойти на Монблан? —спросил он, обводя тарасконцев почтительным и вместе с тем насмешливым взглядом.

Тартарен хотел было ответить, но Бомпар прервал его:

— Время упущено, верно?

— Нет, почему же?..— возразил бывший проводник.— Вот этот господин из Швеции отправляется завтра, а к концу недели я жду двух американцев, которые тоже хотят подняться. Один из них даже слепой.

— Я знаю. Я встретился с ним на Гугги.

— А вы были на Гугги?

— Неделю тому назад, когда взбирался на Юнгфрау...

Тут евангелические проповедницы вздрогнули, перестали водить перьями по бумаге и повернули головы в сторону Тартарена, который теперь в глазах этих англичанок. завзятых альпинисток, занимавшихся всеми видами спорта, приобретал особый интерес. Он поднимался на Юнгфрау!..

— Знатный поход! — сказал старик Бальте, с удивлением глядя на П. К. А.

А Паскалон, особенно сильно конфузившийся в присутствии дам, пробормотал, краснея и запинаясь:

— Учи-и-итель! Расскажите про эту... как ее... расселину...

Президент улыбнулся:

— Дитя!..

И все же он повел рассказ о своем падении — сперва с небрежным и равнодушным видом, а затем с бурными телодвижениями: задрыгал ногами, изображая, как он повис на конце веревки над пропастью, замахал будто бы связанными руками, призывая на помощь. Девицы вздрагивали и пожирали его глазами, холодными глазами англичанок, которые от удивления становятся круглыми.

Наступившее молчание нарушил Бомпар:

— На Чимборасо при переходе через пропасть мы не связывались веревкой.

Депутаты переглянулись. Этой тарасконадой Бомпар заткнул за пояс всех.

— Ай да Бомпар, ну и ну!.. — в простодушном изумлении пролепетал Паскалон.

Но старик Бальте, приняв сообщение Бомпара о подъеме на Чимборасо всерьез, восстал против такого способа переходить трещины — не связываясь веревкой. Он утверждал, что подъем на ледники невозможен без веревки, без прочной веревки, из манильской пеньки. Кто-нибудь один поскользнется — другие его удержат.

— При условии, если веревка не оборвется, господин Бальте,— вспомнив сервенскую катастрофу, вставил Тартарен.

Но хозяин отеля веско проговорил.

— На Сервене веревка не оборвалась... Это проводник, шедший сзади, обрубил ее ледорубом...

Тартарен возмутился.

— Прошу прощения, сударь,— продолжал Бальте,— но проводник был прав... Он понял, что удержать других невозможно, и перерезал веревку, чтобы спасти жизнь себе, своему сыну и тому путешественнику, которого он с сыном сопровождал... Если б он на это не решился, так было бы семь жертв вместо четырех.

Возгорелся спор. Тартарен считал, что связаться одной веревкой — это все равно что дать клятву на жизнь и на смерть. Воодушевленный присутствием дам, все более и более оживляясь, он подкреплял свои слова фактами, ссылками на присутствующих:

— Вот, например, завтра я свяжусь одной веревкой с Бомпаром — ну, так это с моей стороны не просто мера предосторожности, это обет богу и людям быть с моим спутником заодно и скорей погибнуть, нежели вернуться без него, черт побери!

— Я тоже даю обет, *Тартарррен!..*— с другого конца стола крикнул Бомпар.

Торжественная минута!

Священник в сильном волнении встал, подошел к нашему герою и пожал ему руку английским способом — как будто орудовал насосом. Его примеру последовала супруга, а за нею — девицы, причем у них у всех *shake hands* было столь мощным, словно они накачивали воду на шестой этаж. Должен сознаться, что депутаты особого энтузиазма не проявили.

— Ну, а я того же мнения, что и господин Бальте,— заявил Бравида.— В таких случаях каждый должен беречь свою шкуру, ей-богу! Я вполне понимаю этого проводника, который обрубил ледорубом веревку...

— Вы меня удивляете, Пласид,— строго заметил Тартарен и, наклонившись к самому его уху, прошептал: — Перестаньте, несчастный! На нас смотрит Англия...

Лихой вояка, который в глубине души, конечно, еще таил злобу на Тартарена за экскурсию в Шильон, сделал такое движение, которое означало: «Плевать я хотел на Англию...»,— и, вероятно, получил бы изрядную взбучку от президента, возмущенного таким цинизмом, но в это время тоскующий молодой человек, пресыщенный грогом и скукой, заговорил на скверном французском языке. Он тоже считал, что проводник поступил правильно, перерезав веревку: избавить от необходимости жить четырех несчастных, еще молодых, то есть обреченных еще некоторое время влачить свое существование, одним взмахом руки вернуть им покой, вновь погрузить их в небытие — какой это благородный, какой это великодушный поступок!

— Что с вами, молодой человек? — вскричал Тартарен.— Можно ли в ваши годы говорить о жизни с таким равнодушием и презрением? Что она вам сделала?

— Ничего, она мне просто наскучила...

Он изучал философию в Христиании и, проникшись идеями Шопенгауэра и Гартмана, пришел в конце концов к заключению, что жизнь мрачна, нелепа, бессмысленна. Будучи близок к самоубийству, он, по настоянию родных, отложил книги в сторону и отправился путешествовать, но всюду его преследовала скука, всюду он сталкивался с унылым убожеством жизни. Он сказал, что Тартарен и его друзья — первые жизнерадостные существа, которых он встретил.

Добрый П. К. А. расхохотался:

— Такой уж мы народ, молодой человек! Тарасконцы все такие. Благодатный край. С утра до вечера там смеются, поют, а все остальное время пляшут фарандолу. Вот так!.. Во!..

И тут он стал выписывать ногами с изяществом и легкостью крупного майского жука, расправляющего крылья.

Но депутаты не обладали железными нервами и неистощимой бодростью своего предводителя.

— *Прррезидэнт* опять разошелся...— ворчал Экскурбаньес.— Ведь уж полночь.

Бравида, выйдя из терпения, вскочил:

— А ну, пошли спать! У меня спина разболелась...

Тартарен, вспомнив о завтрашнем восхождении, согласился, и тарасконцы, захватив подсвечник, стали подниматься по широкой гранитной лестнице, ведшей в номера, а старик Бальте пошел готовить провизию и нанимать мулов и проводников.

— Ого! Снег!..

Это были первые слова доброго Тартарена, когда он проснулся на другое утро и увидел, что стекла запушил иней и что в комнате вдруг стало белым-бело. Но, прикрепив зеркальце для бритья к оконной задвижке, он сразу понял свою ошибку: это отсвечивал Монблан, прямо перед ним сверкавший под лучами дивного солнца. Тартарен отворил окно, и в комнату ворвался бодрящий ветер ледников, от которого приятно закололо щеки, а вместе с ним звон бесчисленных колокольчиков и завыванье рогов: это вслед за пастухами брели стада. На Тартарена пахнуло чем-то здоровым, первобытным, чего он до сих пор в Швейцарии не ощущал.

Внизу его дожидались толпившиеся проводники и носильщики. Швед уже сидел на муле, а среди любопытных, сомкнувших вокруг него кольцо, можно было видеть семейство священника,

всех этих бойких девиц в утренних туалетах, пришедших еще раз обменяться *shake hands* с тарасконским героем, занимавшим их воображение.

— Погода отличная! Поторапливайтесь! — кричал хозяин, лысина которого сверкала на солнце, как валун.

Сам Тартарен не мешкал, но для него было далеко не легким делом растормошить депутатов, которые должны были сопровождать его до Пьер-Пуантю — дальше мулы уже не прошли бы. Никакие просьбы и уговоры не могли заставить командира встать с постели; надвинув на уши ночной колпак, повернувшись лицом к стене, он на все упреки президента отвечал циничной тарасконской поговоркой:

— Кто хвалится, что рано встает, тот спит до полудня...

А Бомпар твердил:

— Да ну его, этот Монблан!.. Все враки...

Он встал только после того, как П. К. А. отдал официальное распоряжение.

Наконец караван тронулся в путь по узким улицам Шамони, и выглядело это шествие весьма торжественно: впереди восседал на муле Паскалон с развернутым знаменем, а замыкал шествие важный, как китайский богдыхан, в окружении проводников и носильщиков, шагавших по бокам его мула, добрый Тартарен, одетый по всем правилам заядлого альпиниста, щеголявший новыми очками с выпуклыми дымчатыми стеклами и знаменитой авиньонской веревкой, которую он вновь раздобыл известно какой ценой.

Все на него глазели почти с таким же любопытством, как на знамя, и он радовался, что производит на толпу сильное впечатление, любовался живописными улицами савоярского селения, столь не похожего на швейцарские села, начищенные до блеска, напоминающие новенькую игрушку или ярмарочный балаган, являющие собою полнейшую противоположность этим крошечным, вросшим в землю лачугам, бóльшая часть которых отведена под хлев, лачугам, стоящим рядом с роскошными шестиэтажными отелями, сверкающие вывески которых режут глаз, так же как расшитая серебром фуражка швейцара, черный фрак и туфли метрдотеля режут глаз рядом с чепчиками крестьянок, фланелевыми куртками ткачей и широкополыми войлочными шляпами угольщиков. На площади стояли распряженные ландо, дорожные кареты и навозные телеги; стадо свиней разгуливало на солнцепеке, у почтовой конторы, откуда вышел англичанин в белой панаме, держа в руке пачку писем и номер «Таймса», который он читал на ходу, даже не просмотрев корреспонденцию. Кавалькада тарасконцев двигалась мимо всего этого под топот мулов, под воинствен-

ные крики Экскурбаньеса, чей «гонг», отогревшись на солнце, обрел былую силу, под колокольчики стад, что разбрелись по уступам ближних гор, и под шум реки, выбивавшейся из-под ледника, белой от пены, искрившейся так, словно она несла на своих волнах солнце и снег.

На окраине села Бомпар подъехал к президенту и, дико вращая глазами, сказал:

— *Тартарррен!* Мне нужно с вами поговорить...

— Хорошо, потом...— сказал П. К. А.; он вел в это время философский спор с юным шведом и старался победить его мрачный пессимизм, восторгаясь чудными видами, открывавшимися вокруг: пастбищами с огромными пространствами света и тени и темно-зелеными лесами, увенчанными фирновым гребнем ослепительной белизны.

После двух бесплодных попыток приблизиться к Тартарену Бомпар вынужден был оставить его в покое. Перебравшись через Арв по небольшому мосту, караван двинулся дальше по узкой, извивавшейся между елей тропе, где мулы, пробираясь гуськом, затейливыми башмачками своих копыт прочерчивают малейшие изгибы крутизн, и, чтоб не утерять равновесия, тарасконцы напрягали все свое внимание и сдерживали мулов при помощи: «Легче, легче!.. А, чтоб!..»

В домике на Пьер-Пуантю, где Паскалон и Экскурбаньес должны были дожидаться возвращения альпинистов, Тартарен стал распоряжаться насчет завтрака, устраивать носильщиков и проводников и опять не прислушался к нашептываниям Бомпара. Но — странное дело! Несмотря на хорошую погоду, хорошее вино, чистый воздух (они находились на высоте двух тысяч метров над уровнем моря), за завтраком настроение у всех было подавленное, однако на это обстоятельство обратили внимание лишь много спустя. Поодаль шутили и смеялись проводники, а за столом тарасконцев царила тишина, которую нарушал лишь обычный шум трапезы: звон стаканов, стук тарелок, ложек, вилок и ножей по струганому столу. Неизвестно, что было тому причиной: присутствие ли мрачного шведа, приметное ли беспокойство Гонзага или же некое предчувствие, но только вид у альпинистов, двинувшихся к Боссонскому леднику, откуда, собственно, и начиналось настоящее восхождение, был столь же унылый, как у батальона, шагающего без музыки.

Ставя ногу на лед, Тартарен невольно улыбнулся при воспоминании о Гугги и о своих усовершенствованных «кошках». Какая громадная разница между новичком, которого он представлял собой тогда, и первоклассным альпинистом, за какового он почитал себя теперь! Он чувствовал себя так уверенно в тяжелых баш-

маках, которые нынче утром швейцар подбил ему четырьмя большими гвоздями, он научился обращаться с ледорубом, и ему теперь уже, в сущности, не нужен был проводник, который не столько поддерживал его, сколько просто указывал путь. После недавнего обвала ледник, блеск которого скрадывали дымчатые очки, был занесен снегом, а в снегу там и сям зияли предательские скользкие зеленоватые озерца. Сохраняя полнейшее спокойствие, зная по опыту, что это совершенно безопасно, Тартарен шел по самому краю расселин с гладкими, сверкавшими на солнце стенами, которым не видно было конца, шагал между нависших глыб и думал только о том, чтобы не отстать от шведского студента, неутомимого ходока, чьи длинные гетры с серебряными пряжками, плотно обтягивавшие тонкие, худые голени, поднимались вместе с альпенштоком, составлявшим как бы третью его ногу. Несмотря на трудность пути, философский спор двух альпинистов все еще продолжался, и на оледеневшем пространстве, гулком, как поверхность реки, непринужденно, хотя и с легкой одышкой, рокотал густой бас:

— Вы знаете меня, Отто...

А на Бомпара между тем сыпались все беды. Еще утром он был глубоко убежден, что Тартарен только хвастается, что ни на какой Монблан он не пойдет, так же как президент, конечно, и не думал ходить на Юнгфрау, а потому несчастный буфетчик надел самый обыкновенный костюм, не подбил гвоздями башмаки, не применил своего собственного изобретения, которое, как известно, состояло в том, что он предлагал подковать солдат, и не взял даже альпенштока, ибо на Чимборасо альпенштоков не признают. Он взял с собой только тросточку, которая очень шла к его шляпе с голубой лентой и к ульстеру, но, подойдя к леднику, он ужаснулся, оттого что, само собой разумеется, Выдумщик никогда никаких восхождений не совершал — все это были одни разговоры. Однако, посмотрев с высоты морены, как легко Тартарен передвигается по льду, он приободрился и решил следовать за ним до стоянки Гран-Мюле, где предстояла ночевка. Но добрался он до нее не без труда: едва ступив, он опрокинулся навзничь, затем сейчас же упал на ладони, потом на колени.

— Ничего, благодарю вас, это я нарочно...— уверял он проводников, пытавшихся его поднять.— По-американски, да!.. Как на Чимборасо!

Принятое им положение показалось ему удобным, и он пополз вперед на четвереньках, в шляпе на затылке, разметая снег полами ульстера, как бурый медведь своим мехом. При этом он не терял присутствия духа и рассказывал шедшим с ним рядом, что таким способом он поднялся в Андах на гору высотою в десять тысяч метров. Он только не счел нужным сообщить, сколько вре-

мени он поднимался, но, вероятно, довольно долго, судя по тому, что в Гран-Мюле он прибыл на целый час позднее Тартарена, весь в грязи и в снегу, с застывшими в легких перчатках руками.

По сравнению с хижиной в Гугги та, которая на средства общины Шамони была выстроена в Гран-Мюле, по-настоящему комфортабельна. Когда Бомпар вошел в кухню, где вовсю топилась печь, Тартарен и швед уже сушили там обувь, а хозяин, некое ископаемое с седыми космами, разложил перед ними сокровища своего маленького музея.

В этом мрачном музее были собраны вещи, которые хозяин сохранил на память обо всех катастрофах, случившихся на Монблане за те сорок лет, что он держал здесь гостиницу, и, доставая вещи с витрины, старик рассказывал их печальную историю... С этим клочком сукна, с этими пуговицами от жилетки связано воспоминание об одном русском ученом, которого на леднике Бренвы унес ураган... Вот эта челюсть осталась от одного из проводников знаменитой экспедиции, состоявшей из одиннадцати путешественников и носильщиков, погибших в снежную бурю... В лучах заходящего солнца, при тусклом отблеске фирна, игравшем на стеклах окон, выставка скорбных реликвий производила особенно тягостное впечатление, как и похожие один на другой рассказы старика, тем более что в патетических местах он придавал своему дрожащему голосу особую задушевность и, развертывая кончик зеленой вуали, принадлежавшей одной англичанке, которую в 1827 году погребла под собой лавина, даже выдавливал из себя слезы.

Как ни успокаивал себя Тартарен давностью событий, как ни убеждал себя, что в те времена Компания еще не организовала безопасных восхождений, от воплей савоярского плакальщика у него сжалось сердце, и он вышел на воздух.

Тьма уже затопляла низины. Помертвелые Боссоны выступали из мрака совсем близко, а еще розовую вершину Монблана ласкало закатное солнце. Южанин только начал было успокаиваться от этой улыбки природы, как вдруг сзади него выросла тень Бомпара.

— А, это вы, Гонзаг!.. Я, как видите, дышу воздухом... Старик навел на меня тоску своими россказнями...

— *Тартарррен!..*— сказал Бомпар, стискивая ему руку.— По-моему, уже довольно, пора кончать эту дурацкую экспедицию.

Великий человек вытаращил на него глаза:

— Что вы городите?

И тут Бомпар нарисовал ему жуткую картину тех опасностей, которые подстерегают его здесь на каждом шагу: расселины, лавины, вихри, бури...

— Ох уж этот мне Выдумщик! — прервал его Тартарен.— А на что же Компания?.. Монблан, наверное, так же хорошо приспособлен, как и другие горы.

— Приспособлен?.. Компания?..— пробормотал огорошенный Бомпар: он совсем забыл про свою тарасконаду.

Тогда Тартарен повторил слово в слово все, что тот рассказывал про акционерную Швейцарию, про заарендованные горы, про бутафорские расселины. Выслушав его, бывший клубный буфетчик расхохотался.

— Как? И вы поверили?.. Да ведь я вас просто морочил... Кто, кто, а уж тарасконцы-то на этот счет мастера!..

— Значит, и Юнгфрау не приспособлена? — спросил крайне взволнованный Тартарен.

— Конечно, нет!

— А если бы веревка оборвалась?..

— О мой бедный друг!..

Герой наш, задним числом ужаснувшись, побледнел, закрыл глаза и впал в нерешительность...

Этот пейзаж, грозящий гибелью во льдах, холодный, мрачный, взрытый провалами, эти причитания старого трактирщика, еще рыдавшие у него в ушах... «А, чтоб вас всех, извините за выражение!..» Но тут он вспомнил своих *согрpражданн*, вспомнил о том, что ему предстоит водрузить на вершине знамя, и сказал себе, что с таким хорошим проводником, с таким надежным товарищем, как Бомпар... Да и потом, поднялся же он на Юнгфрау!.. Почему бы не попытаться взойти на Монблан?

Тартарен положил свою широкую ладонь на плечо другу и твердым голосом заговорил:

— Послушайте, Гонзаг...

XIII

Катастрофа

Темной-претемной ночью, без луны, без звезд, без небосвода, на мерцающей белизне покрытой снегом кручи тянется длинная веревка, к которой привязаны одна за другой крошечные боязливые фигурки, а впереди, метрах в ста, красным пятном словно ползет по снегу фонарь. Звонкие удары ледоруба о наст да скатывающиеся вниз обломки льда нарушают безмолвие фирна, приглушающего шаги каравана. Время от времени вскрик, придушенный стон, стук тела, падающего на лед, и вслед за тем—зычный голос с конца веревки:

— Смотрите не сорвитесь, Гонзаг!

Дело в том, что бедняга Бомпар отважился сопровождать своего друга Тартарена до самой вершины Монблана. С двух часов ночи — а теперь на президентских часах с репетицией уже четыре — несчастный посыльный ползет на карачках, и его, как настоящего каторжника, прикованного к цепи, тащат вперед, толкают, а он скользит, спотыкается, пытается удержать различные междометия, готовые сорваться у него с языка в связи с каким-нибудь новым злоключением, лавины грозят ему со всех сторон, от малейшего сотрясения, от более или менее сильного колебания прозрачного воздуха могут произойти обвалы снега и льда. Страдать молча — какая же это пытка для тарасконца!

Внезапно караван останавливается. Тартарен спрашивает, что случилось, слышатся тихие переговаривающиеся голоса, энергичный шепот.

— Ваш товарищ не желает идти дальше,— заявляет швед.

Порядок движения нарушен, человеческая цепь растягивается, одно звено находит на другое, и вот уже они все на краю громадной расселины, которая на языке альпинистов называется «трещиной». До сих пор через такие трещины они переправлялись ползком по лестнице, перекинутой с одного края на другой. На сей раз трещина оказалась очень широкой, противоположный край выше этого футов на восемьдесят — на сто. Придется спуститься на дно суживающейся книзу ямы по ступенькам, которые надо будет вырубить ледорубом, и таким же способом выбраться наверх. Но Бомпар отказывается наотрез.

Наклонившись над пропастью, которая в темноте кажется бездонной, он следит за тем, как мелькает во мгле фонарик проводника, вырубающего ступени. Тартарен тоже не очень спокоен и подбадривает себя увещаниями, с которыми обращается к своему другу:

— А ну, Гонзаг, смелей!

Затем, понизив голос до шепота, он взывает к его чувству чести, напоминает про Тараскон, про знамя, про Клуб альпинцев.

— А, да ну его, этот Клуб!.. Я к нему никакого отношения не имею,— цинично заявляет тот.

Тогда Тартарен берется сам переставлять ему ноги — это, мол, легче легкого.

— Для вас это, может быть, и легко, а для меня — нет!..

— Да вы же сами говорили, что привыкли...

— Ну да, конечно, привык... Но к чему? Мало ли к чему я привык... привык курить, спать...

— А главное, лгать,— обрывает его президент.

— Нет, что вы! Преувеличивать!..— не моргнув глазом, поправляет Бомпар.

Однако под угрозой, что его оставят здесь одного, он, пересилив себя, начинает медленно, осторожно спускаться по ужасной лестнице, вроде тех, что бывают на мельницах... Еще труднее подняться на противоположную стену, отвесную и гладкую, как мрамор, выше тарасконской башни короля Рене. Снизу мигающий фонарик в руке проводника представляется ползучим светлячком. Но ничего не поделаешь, надо взять себя в руки, а то ведь снег под ногами оседает, у подножья ледяной стены, в широкой промоине, которую не столько видишь, сколько чувствуешь, журчит и булькает вода, и оттуда веет холодом подземных глубин.

— Смотрите не сорвитесь, Гонзаг!..

Эта фраза, которую Тартарен произносит ласковым, почти умоляющим тоном, приобретает грозный смысл, ибо альпинисты, ползущие друг над другом и цепляющиеся руками и ногами за малейший выступ, связаны между собой не только веревкой, но и мерностью движений, а потому падение или простая неловкость одного может навлечь опасность на всех. И какую опасность, черт побери! Достаточно послушать, как подскакивают, летя вниз, обломки льда и какое гулкое эхо будят они при падении во всех расселинах, во всей неведомой глуби, чтобы вообразить себе пасть чудовища, подстерегающего вас и готового проглотить при маломальски неверном шаге.

Но что там еще? Долговязый швед, взбирающийся впереди Тартарена, останавливается, и его подбитые железом каблуки касаются фуражки П. К. А. Напрасно проводники кричат ему: «Вперед!..», а президент: «Идите же, молодой человек!..» — никакого внимания. Швед вытягивается во весь рост, а затем, почти не держась, наклоняется, и лучи восходящего солнца скользят по его жидкой бородке и освещают странное выражение его широко раскрытых глаз.

— Взгляните, какая крутизна! — говорит он Тартарену, показывая вниз.— Вот бы отсюда сорваться!..

— Ого! Могу себе представить... Вы бы нас всех за собой увлекли... Поднимайтесь!..

Но швед не двигается.

— Удобный случай покончить все счеты с жизнью,— продолжает он,— перейти в небытие через недра земли, покатиться от пропасти к пропасти, как вот этот осколок льда, который я сейчас толкаю ногой...

И швед, до жути низко наклонившись, слушает, как подпрыгивающий кусок льда бесконечно долго звенит в предрассветном сумраке.

— Несчастный! Что вы делаете? — помертвев от ужаса, кричит Тартарен и, судорожно цепляясь за мокрую стену, продол-

жает свою вчерашнюю пламенную речь во славу жизни: — В жизни есть и хорошее, черт побери!.. В ваши годы, такой красивый юноша, как вы... Неужто вы не верите в любовь? *Чтэ?*

Нет, его собеседник не верит в любовь. Любовь идеальную выдумали поэты, другого рода любовь — это потребность, которой он никогда не испытывал...

— Ну да! Ну да!.. Это правда: поэты все немножко тарасконцы, они всегда прибавляют. Но все-таки *бабочка* — так у нас называют дам — это неплохо. А там пойдут дети, славные крошки, похожие на вас.

— Да, дети, источник страданий! Моя мать, с тех пор как я появился на свет, плачет, не осушая глаз.

— Послушайте, Отто, вы меня знаете, мой милый друг...

Всеми силами своей отзывчивой, благородной души Тартарен старается расшевелить, встряхнуть эту жертву Шопенгауэра и Гартмана, двух шутов гороховых, с которыми он, разэтакие они такие, хотел бы встретиться на узкой дорожке и рассчитаться за тот вред, что они причинили юношеству...

Представьте себе этот философский спор, происходящий на высокой ледяной стене, холодной, зелеповатой, сырой, чуть озаренной бледным лучом рассвета, насаженные на вертел человеческие тела, лепящиеся к стене вверх по ступенькам, зловещее клокотанье воды, доносящееся снизу, из глубины зияющих беловатых бездн, и брань проводников, грозящих отвязаться и покинуть путешественников. Наконец, Тартарен, видя, что никакие уговоры на безумца не действуют и не уменьшают его тяги к самоубийству, советует ему броситься с самой высокой точки Монблана:

— Оттуда, сверху,— это другое дело, это пожалуйста. Красивая смерть среди стихий... Но здесь, в каком-то подвале... Да это же просто бредни!..

Он произносит это так выразительно, так отрывисто и в то же время так убедительно, что швед сдается, и вот они уже один за другим влезают на самый верх ужасной трещины.

Путники отвязываются, делают привал, чтобы хоть немножко промочить горло и заморить червячка. Рассвело. Холодное, тусклое солнце освещает величественный амфитеатр пик и копий, над которыми, все еще на высоте полутора тысяч метров, вздымается Монблан. В сторонке, разводя руками и покачивая головой, о чем-то совещаются проводники. Напружившись, выгнув спину, они грузно лежат в коричневых куртках на совершенно белом снегу, и при взгляде на них кажется, будто это сурки готовятся к зимней спячке. Бомпар и Тартарен, прозябшие и встревоженные, оставив шведа одного доедать завтрак, подходят к проводникам

как раз в ту минуту, когда старший с мрачным видом говорит другим:

— Курит он трубку, курит — это уж как дважды два.

— Кто курит трубку? — спрашивает Тартарен.

— Монблан, сударь. Взгляните.

И с этими словами проводник показывает ему на самой вершине что-то вроде султана, белый дым, который ветром относит в сторону Италии.

— А когда Монблан курит трубку, что же это все-таки значит, любезный друг?

— Это значит, сударь, что на вершине свирепствует снежная буря и что скоро она придет сюда, к нам. А это, нелегкая побери, дело нешуточное!

— Вернемтесь! — зеленея, говорит Бомпар.

А Тартарен подхватывает:

— Да, да, *кнэчно!* Глупое самолюбие побоку!

Но тут вмешивается швед. Он заплатил деньги за то, чтобы его привели на Монблан, и никакая сила его не остановит. Если никто его не поведет, он пойдет один.

— Трусы! Трусы! — говорит он, обращаясь к проводникам тем же замогильным голосом, каким только что подбивал себя на самоубийство.

— А вот мы вам покажем, какие мы трусы... Связывайся — и в путь! — кричит старший проводник.

На сей раз решительно противится Бомпар. С него довольно, пусть его ведут обратно. Тартарен горячо поддерживает его.

— Вы же видите, что этот молодой человек сумасшедший!..— кричит он, показывая на шведа, который быстро шагает вперед под уже начинающейся метелью. Но коль скоро проводников обвинили в трусости, их ничто уже не в силах удержать. В сурках пробудился героизм, и Тартарен не может даже добиться, чтобы его с Бомпаром отвели в Гран-Мюле. Впрочем, тут недалеко: три часа ходьбы, три часа двадцать минут, если им боязно будет одним идти через большую трещину и они ее обойдут.

— Да, чтоб ее, нам будет боязно!..— откровенно признается Гонзаг, и обе партии расходятся в разные стороны.

И вот тарасконцы остаются одни. Связавшись веревкой, они осторожно двигаются по снежной пустыне; Тартарен идет впереди, с важным видом нащупывая дорогу ледорубом,— он проникнут сознанием лежащей на нем ответственности, и это сознание придает ему сил.

— Смелей, не падать духом!.. Ничего, выберемся!..— поминутно кричит он Бомпару. Так командир в бою заглушает в себе

самом страх, махая саблей и крича солдатам: «Вперед, растак вашу так!.. Не все пули метки!»

Но вот опасная расселина остается у них позади. Отсюда до их конечной цели серьезных препятствий больше не встретится. Но ветер бушует, ветер слепит глаза снегом. Идти дальше нельзя, иначе заблудишься.

— Остановимся на минутку,— говорит Тартарен.

Исполинская ледяная глыба предоставляет им приют в углублении, образовавшемся в нижней ее части. Путники залезают туда, расстилают непромокаемый плащ президента и раскупоривают флягу с ромом — всю остальную провизию захватили с собой проводники. По телу разливается блаженное тепло, а удары ледоруба, теперь уже чуть слышно доносящиеся с высоты, возвещают им, что экспедиция продвигается успешно. В сердце П. К. А. они отзываются сожалением о том, что он не дошел до вершины Монблана.

— Да ведь никто не узнает! — цинично возражает Бомпар.— Носильщики взяли с собой знамя, и в Шамони подумают, что это вы его водрузили.

— Вы правы, честь Тараскона спасена...— проникшись его доводами, заключает Тартарен.

А стихии свирепствуют, поднимается вьюга, снег валит хлопьями. Друзья молчат, в голове у них теснятся мрачные мысли, им приходит на память кладбищенская витрина старого трактирщика, его печальные рассказы, предание об американском туристе, которого нашли окаменевшим от голода и холода, с записной книжкой в судорожно сжатой руке,— с книжкой, куда он заносил все свои мытарства вплоть до последнего содрогания, когда у него выпал карандаш и он не дописал своей фамилии.

— У вас есть записная книжка, Гонзаг?

Тот сразу понимает, в чем дело.

— Ну да, еще записная книжка!.. Вы думаете, я останусь тут умирать, как тот американец?.. Надо отсюда выбраться! Идемте! Идемте!

— Немыслимо... Нас сейчас же унесет, как соломинку, и сбросит в пропасть.

— Ну так надо звать на помощь — трактир недалеко...

И Бомпар, став на колени и высунув голову наружу, похожий на корову, разлегшуюся на пастбище, ревет:

— На помощь! На помощь! Сюда!

— Караул!..— подхватывает Тартарен самым мощным своим басом, и по всей пещере прокатывается гром.

Бомпар хватает его за руку.

— Что вы делаете? Глыба!..

В самом деле, задрожала вся ледяная громада. Кажется,

стоит еще только дунуть — и масса нависшего льда обрушится прямо на них. Они замирают на месте, окутанные жуткой тишиной, но тишину вскоре пробивает отдаленный грохот, и он близится, растет, все вокруг собой заполняет, катится из пропасти в пропасть и, наконец, замирает где-то в преисподней.

— Несчастный! — бормочет Тартарен, думая о шведе и его проводниках, которых, конечно, подхватила и сбросила лавина.

А Бомпар качает головой.

— Наше дело тоже дрянь.

Положение у них в самом деле отчаянное: буря разгулялась, и они не смеют пошевелиться в своем ледяном гроте, не смеют нос высунуть наружу.

А тут, словно нарочно, чтобы у них еще мучительнее защемило сердце, внизу, в долине, накликая смерть, завыла собака. Вдруг Тартарен со слезами на глазах берет руки спутника в свои и, кротко глядя на него, дрожащими губами бормочет:

— Простите меня, Гонзаг, да, да, простите меня! Я был с вами резок, я назвал вас лгуном...

— А, вздор! Есть о чем говорить!

— Я меньше, чем кто-либо, имел на это право, я сам много лгал в своей жизни, и в этот страшный час я испытываю потребность излить, облегчить душу, обнаружить перед всеми свои обманы.

— Ваши обманы?

— Выслушайте меня, мой друг... Прежде всего никакого льва я не убивал.

— Этим вы меня не удивите...— хладнокровно замечает Бомпар.— Стоит ли из-за такой чепухи огорчаться?.. Это наше солнце виновато, мы родимся лгунами... Взять хоть бы меня... Сказал ли я за всю жизнь хоть одно слово правды?.. Только раскрою рот— и говорю уже не я: это юг Франции говорит во мне. Я рассказываю о людях, которых в глаза не видал, о странах, где никогда в жизни не был, и из всего этого получается такая хитросплетенная ложь, что в конце концов я сам в ней запутываюсь.

— Это все воображение, будь оно неладно! — вздыхает Тартарен.— Мы — лгуны в силу своего воображения.

— Но все наши небылицы никому никакого вреда не причинили, а вот такой злобный завистник, как Костекальд...

— Не напоминайте мне про этого негодяя! — прерывает его П. К. А. и в порыве ярости принимается его честить: — Разэтакий такой! Ведь обидно же в конце концов...

Но тут, заметив, что Бомпар в испуге замахал на него руками, он понижает голос:

— Ах да, глыба!..

Вынужденный выражать свой гнев шепотом, бедняга Тартарен чуть слышно продолжает изрыгать хулу на своего недруга, чудовищно и уморительно разевая рот:

— Обидно погибать во цвете лет из-за какого-то мерзавца, который теперь преспокойно попивает кофе на Городском кругу!..

Но пока он кипятится, погода меняется к лучшему. Уже не метет, не крутит, в разрывах туч проглядывает лазурь. Скорее в путь! Связавшись с Бомпаром веревкой, Тартарен опять идет впереди, затем оборачивается и прикладывает палец к губам:

— Но только, Гонзаг, все это между нами.

— Ну понятно!..

Они бодро идут вперед по колено в только что выпавшем снегу, словно чистой ватой прикрывшем следы каравана. Тартарен через каждые пять минут сверяется с компасом, но тарасконский компас, привыкший к жаркому климату, в Швейцарии испортился от холода. Стрелка играет в «углы», подскакивает, колеблется. И путники идут куда глаза глядят, ожидая, что черные скалы Гран-Мюле вот-вот вырастут перед ними из однообразной и безмолвной белизны пиков, игол и бугорков, окружающей их со всех сторон, слепящей, пугающей, ибо она прикрывает опасные расселины у них под ногами.

— Спокойствие, Гонзаг, спокойствие!

— Вот этого-то мне как раз и недостает,— сокрушенно отзывается Бомпар и хнычет: — Ой, ступня!.. Ой, нога!.. Пропали мы. Не выбраться нам отсюда...

После двух часов ходьбы на середине заметенного снегом крутого ската Бомпар в ужасе восклицает:

— *Тартарррен*, да ведь мы поднимаемся!

— А, черт, я сам вижу, что поднимаемся! — ворчит Тартарен, которому начинает изменять его выдержка.

— А по-моему, должен быть спуск.

— Да, но что же вы от меня хотите? Взойдем на самый верх,— может быть, с другой стороны начнется спуск.

В самом деле, потом начинается спуск, но спуск ужасный, сначала по фирну, затем по отвесному почти леднику, а вдали, за свечением предательских белых покровов, виднеется хижина на скале, маячащей в глубине провала, который отсюда кажется бездонным. Коль скоро с дороги в Гран-Мюле путники сбились, надо до наступления темноты добраться до этого пристанища, но ценою каких усилий, каких, быть может, потрясений!

— Главное, Гонзаг, держите меня крепче. *Чтэ?*

— А вы меня, *Тартарррен*.

Они обмениваются наставлениями, уже не видя друг друга, разделенные гребнем, за которым скрывается Тартарен, и один

из них продолжает карабкаться вверх, а другой начинает медленно, боязливо спускаться. Они уже не переговариваются, они напрягают все свои силы, чтобы не оступиться, не поскользнуться. Вдруг, уже на расстоянии метра от гребня, Бомпар слышит истошный вопль своего спутника, за этим следует неистовый, отчаянный рывок, и веревка натягивается... Бомпар упирается, старается за что-нибудь ухватиться, чтобы удержать спутника над бездной. Но веревка, должно быть, попалась старая, ее слишком туго натянули, и она рвется.

— А, чтоб!..

— А, черт!..

Эти два страшных крика раздаются одновременно, нарушив царящие окрест безмолвие и безлюдье, а затем наступает жуткая тишина, гробовое молчание, и ничто уже больше не прорезает его во всем этом обширном царстве девственных снегов.

К вечеру человек, отдаленно напоминавший Бомпара, призрак с волосами, стоявшими дыбом, забрызганный грязью, мокрый насквозь, добрел до трактира на Гран-Мюле, и там его оттерли, отогрели и уложили спать, он же на все вопросы в состоянии был ответить лишь несколькими бессвязными словами.

— Тартарен... погиб... оборвалась веревка...— повторял он, всхлипывая и воздевая руки к небу.

Наконец всем стало ясно: стряслась беда.

Пока старый трактирщик в ожидании, что к его коллекции присоединятся новые останки, причитал и прибавлял еще одну главу к повествованию о несчастных случаях на Монблане, швед и его проводники успели вернуться и с веревками, с лестницами, со всем спасательным снаряжением отправились на поиски злосчастного Тартарена, но — увы!— их усилия оказались тщетными.

На Бомпара точно столбняк нашел — он не мог сообщить им точные данные ни о самой драме, ни о том, где это произошло. Только на Дом-де-Гуте́ был найден обрывок веревки, застрявшей во впадине. Но — странное дело! Веревка была обрезана с двух концов каким-то острым орудием. Шамберийские газеты поместили снимок с веревки. Наконец, когда после многих походов, после тщательных розысков, продолжавшихся целую неделю, все убедились, что бедный *прррезидэнт* пропал, погиб безвозвратно, убитые горем депутаты выехали в Тараскон и взяли с собой Бомпара, потрясенный мозг которого все никак не мог свыкнуться с ужасным происшествием.

— Не напоминайте мне об этом! — говорил он, как только речь заходила о случившемся.— Никогда больше не напоминайте!

Вне всякого сомнения, к списку жертв Монблана присоединилась новая (и какая!) жертва.

XIV

Заключение

Более впечатлительного города, чем Тараскон, не было и нет в целом свете. В иной праздничный день, когда жители, все как один, высыпают на улицы, когда гремят тамбурины, когда на Городском кругу людно и шумно, пестрит в глазах от зеленых и красных юбок, от арльских косынок, а большие разноцветные афиши оповещают о борьбе взрослых и подростков, о бое камаргских быков, стоит какому-нибудь шутнику крикнуть: «Бешеная собака!..» или «Бык!..» — и все бегут, толкаются, мечутся, двери запираются на засовы, ставни хлопают, как во время грозы, и вот уже во всем Тарасконе пусто и тихо, ни одной живой души, ни звука, цикады — и те прячутся и настораживаются.

Такой вид имел Тараскон однажды утром, хотя утро это было не праздничное и не воскресное: лавки заперты, дома словно вымерли, улицы и площади стали как будто шире от тишины и безлюдья. *Vasta silentio*[1],—как говорит Тацит, описывая Рим в день похорон Германика, и это сравнение Тараскона с облекшимся в траур Римом тем более уместно, что в тарасконском соборе сегодня молились о упокоении Тартарена и все население оплакивало своего героя, свое божество, непобедимого обладателя двойных мускулов, оставшегося навсегда среди льдов Монблана.

И вот, в то время как опустевшие улицы полнились тяжкими ударами погребального колокола, мадемуазель Турнатуар, сестра доктора, по состоянию здоровья никогда не выходившая из дому и изнывавшая от скуки, сидела, по обыкновению, в большом кресле, смотрела в окно и слушала похоронный звон. Дом Турнатуаров стоит на Авиньонской дороге, почти напротив дома Тартарена, и это достопримечательное жилище, хозяин которого никогда не вернется, наглухо запертая садовая калитка, все, вплоть до ящиков для чистки обуви, принадлежавших маленьким савоярам, что сидели рядком возле ограды, надрывало душу хворой девицы, вот уже более тридцати лет пылавшей тайною страстью к тарасконскому герою. О, тайна стародевического сердца! Следить взглядом, когда он в свой обычный час выходил из дому, спрашивать себя: «Куда это он?..» — смотреть, в чем он сегодня: в альпинистском костюме или в зеленой со стальным отливом куртке,— все это доставляло ей особое наслаждение. Теперь она его уже не увидит. Она даже лишена последнего утешения — пойти помолиться за него вместе с другими тарасконскими дамами.

---

[1] Необозримое безмолвие *(лат.)*.

Внезапно длинное лицо мадемуазель Турнатуар, смахивавшей на белую лошадь, покрыл легкий румянец, ее тусклые глаза с красными веками широко раскрылись, а худая морщинистая рука сотворила крестное знамение... Да, это он, он шел по той стороне улицы... Сперва ей показалось, что это — видение. Но нет, это и впрямь Тартарен, живой Тартарен, но только побледневший, жалкий, оборванный, кравшийся по стенам, как нищий, как вор. Но, чтобы читателям стало ясно, почему он появился в городе тайком, нам нужно вернуться на Монблан как раз в тот момент, когда два друга находились на разных склонах Дом-де-Гуте́ и Бомпар вдруг почувствовал, что веревка рванулась как бы от падения привязанного к ней тела.

На самом деле веревка застряла между двух льдин, и Тартарен, почувствовав точно такой же рывок, тоже решил, что его товарищ сорвался и тащит его за собой. И вот в этот ужасный миг— боже мой, где мне только найти слова?..— их обоих охватил страх смерти, и они, забыв торжественный обет, принесенный ими в отеле Бальте, инстинктивным движением одновременно перерезали веревку: Бомпар — ножом, Тартарен — ледорубом, а затем каждый из них пришел в ужас от своего злодеяния, каждый из них счел себя убийцей своего друга, и тут оба они бросились бежать в противоположных направлениях.

В то самое время, когда тень Бомпара появилась на Гран-Мюле, тень Тартарена добралась до Авесейльской сторожки. Каким чудом Тартарен спасся, сколько раз он скользил и падал? Только Монблан мог бы на это ответить, ибо несчастный П. К. А. двое суток пребывал в полном оцепенении и не мог вымолвить ни единого слова. Едва лишь он пришел в себя, его препроводили в Курмайер, представляющий собою нечто вроде итальянского Шамони. В отеле, где он решил побыть впредь до окончательного выздоровления, только и разговору было что о страшной катастрофе на Монблане — точно такого же происхождения, как несчастный случай на Сервене: еще один альпинист сорвался в пропасть из-за того, что лопнула веревка.

Тартарен был уверен, что речь идет о Бомпаре, его мучила совесть, и он не смел ни догнать депутацию, ни возвратиться на родину. Он заранее читал на всех лицах и во всех взглядах: «Каин, где Авель, брат твой?..» Но он поиздержался, пообносился, а тут еще наступили сентябрьские холода, и все отели сразу как вымело,— пришлось все же собираться восвояси. Да ведь и то сказать: свидетелей его преступления не было. Ничто не мешает ему выдумать какую-нибудь историю. В дороге он было рассеялся, но уже совсем неподалеку от Тараскона, едва под голубым небом переливчато засверкали мягко очерченные Альпины, на Тартарена вновь

нахлынули стыд, раскаяние, боязнь суда. И, чтобы не поднимать шума, он сошел с поезда не в Тарасконе, а на предпоследней станции.

Сколько раз, бывало, проходил он, как триумфатор, по этой чудесной Тарасконской дороге, на которую падает тень только от телеграфных столбов, по хрустящему под ногами белому-белому песку, во главе альпинцев или же стрелков по фуражкам! А теперь кто бы узнал в грязном оборванце, сторожким взглядом бродяги высматривающем полицейских, прежнего Тартарена, бесстрашного, щегольски одетого? Хотя стояла осень, но все же сильно пекло, и Тартарен с наслаждением ел в холодке, возле телеги, купленный им у огородника арбуз, а огородник изливал ему свою ярость на тарасконских хозяек, ни одна из которых не пришла нынче на рынок «из-за того, что идет заупокойная обедня по каком-то горожанине, который свалился в яму где-то в горах. Ишь, ишь, звонят!.. Отсюда слыхать...».

Сомнений не оставалось: этот заунывный похоронный звон, донесенный теплым ветерком в пустую деревушку, раздавался по случаю кончины Бомпара!

Какая встреча великому человеку, возвращающемуся на родину!

Когда, быстрым движением отворив и захлопнув калитку, Тартарен вошел в свой садик и увидел обсаженные самшитом узенькие, чистенькие дорожки, бассейн и фонтан, красных рыбок, заметавшихся, чуть только хрустнул песок у него под ногами, гигантский баобаб в горшке из-под резеды, на одно мгновение его душу окутал уют этой норы капустного кролика, после стольких тревог и приключений он вдруг почувствовал себя в безопасности, впал в блаженно-умиленное состояние. Но тут колокола, проклятые колокола зазвонили еще громче, и от этих гулких унылых ударов сердце у Тартарена снова болезненно сжалось. В похоронном звоне ему слышался вопрос: «Каин, где Авель, брат твой? Тартарен, что сталось с Бомпаром?» И тут он, подавленный, пришибленный, к великому ужасу красных рыбок, беспомощно опустился на горячий от солнца край бассейна.

Колокола смолкли. Шум толпы схлынул с соборной паперти, и там осталась лишь бормочущая нищенка да каменные изваяния святых. Служба кончилась, весь Тараскон направляется к Клубу альпинцев, где в торжественной обстановке Бомпар должен рассказать о катастрофе, дать подробный отчет о последних минутах П. К. А. В зале заседаний наряду с членами Клуба занимают места представители привилегированных сословий — офицеры, священники, дворяне, богатые коммерсанты, и в настежь раскрытые окна, сливаясь с речами этих господ, врываются то мощные, то жалобные

звуки городского оркестра, расположившегося внизу на крыльце. Тарасконцы теснятся вокруг музыкантов, становятся на цыпочки, вытягивают шеи, пытаясь уловить хоть что-нибудь из того, что говорится на заседании, но окна высоко, и так бы вся эта огромная толпа и осталась в неведении, если бы не несколько сорванцов, которые взобрались на большой платан и оттуда швыряют в толпу различные сообщения, как швыряются вишневыми косточками.

— Глянь, Костекальд притворяется, что плачет. А сам, подлец, уже уселся в президентское кресло... А бедняга Безюке как сморкается! Какие глаза-то у него красные!.. Ишь, ишь, знамя-то обвязано крепом!.. Вон Бомпар идет с тремя депутатами к столу... Что-то кладет на стол... Начал говорить... Должно быть, здорово! Слезы у всех в три ручья...

В самом деле, фантастический рассказ Бомпара все сильнее ударял по сердцам слушателей. Память к Бомпару вернулась, а с нею и воображение... Проводники, убоявшись непогоды, на вершину Монблана с ними не пошли,—туда взошли только он, Бомпар, и его славный спутник, и в течение пяти минут они стояли с развернутым знаменем на самом высоком пике Европы, а затем Бомпар с глубоким волнением начал рассказывать об опасном спуске, о том, как Тартарен покатился на дно расселины, и о том, как он, Бомпар, обвязавшись веревкой в двести футов длиной, стал шаг за шагом обследовать пропасть:

— Двадцать раз, господа... да нет, что я говорю? Раз девяносто спускался я в эту ледяную бездну, но так и не нашел нашего несчастного *прррезидэнта*, и все же я утверждаю, что сорвался он именно туда, так как во впадинах мне удалось обнаружить его останки...

С этими словами он выложил на стол осколок челюстной кости, несколько волосков из бороды, лоскут от жилета, петлю от подтяжек — короче, целую коллекцию, вроде той, что собрана в Гран-Мюле...

При виде этой выставки собрание уже не сдерживало порывов отчаяния. Даже самые черствые сердца, как, например, приверженцы Костекальда, даже наиболее солидные люди, вроде нотариуса Камбалалета и доктора Турнатуара,— и те роняли слезы величиной с графинную пробку. Присутствовавшие на заседании дамы испускали душераздирающие вопли, заглушаемые воем Экскурбаньеса, блеяньем Паскалона и звуками похоронного марша, в медлительно-скорбном басовом ключе исполнявшегося оркестром.

Видя, что волнение и расстройство чувств достигли у присутствующих своего предела, Бомпар закончил рассказ и горестным

жестом указал, как на вещественные доказательства, на реликвии, хранившиеся в баночках:

— Вот все, дорогие сограждане, что осталось от нашего славного, от нашего любимого президента... Прочее нам возвратит ледник через сорок лет...

Тут он хотел было рассказать людям несведущим о недавнем открытии, касающемся равномерности движения ледников, но в это время его прервал скрип маленькой дверцы в глубине залы— кто-то вошел... И вдруг перед оратором предстал бледный, как привидение, Тартарен.

— Э, Тартарен!..

— Эге, Гонзаг!..

И таково свойство этого удивительного племени, верящего самым неправдоподобным историям, самым смелым выдумкам и так же легко их опровергающего, что появление великого человека, останки которого покоились тут же на столе, сильного впечатления ни на кого не произвело.

— Послушайте, это недоразумение,— сказал успокоенный, сияющий Тартарен, кладя руку на плечо человека, которого, как ему казалось, он погубил.— Я исходил Монблан с двух сторон. Поднялся по одному склону, спустился по другому — это и послужило основанием считать меня погибшим.

Тартарен умолчал, что с противоположного склона он съехал на спине.

— Чтоб ему пусто было, этому Бомпару! — сказал Безюке.— Он всю душу перевернул нам своей историей!..

Тут все засмеялись и стали пожимать друг другу руки, а на улице оркестр, который никакими силами не могли остановить, упорно продолжал играть похоронный марш в честь покойного Тартарена.

— Гляньте! Как сразу пожелтел Костекальд!..— прошептал Паскалон командиру Бравида, показывая на оружейника, поднявшегося, чтобы уступить место президенту, добродушное лицо которого так и сияло. А Бравида и тут остался верен своему пристрастию к поговоркам,— глядя на низверженного, вновь занявшего подчиненное положение Костекальда, он тихо сказал:

— Аббатом был, ан глядь: стал служкою опять.

И заседание продолжалось.

ПОРТ-ТАРАСКОН

ПОСЛЕДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛАВНОГО ТАРТАРЕНА

Леону Аллару,
тонкому и глубокому романисту,
автору «Вымыслов» и «Молчаливых жизней», его собрат и друг Альфонс Доде посвящает эту юмористическую книгу.

Это было в сентябре, и это было в Провансе, во время сбора винограда, лет пять-шесть тому назад.

Сидя в большом экипаже, запряженном парой камаргских лошадей, мчавших во весь дух поэта Мистраля, моего старшего сына и меня на тарасконский вокзал к скорому поезду Париж — Лион — Марсель, мы любовались угасавшим днем, матовым, бледным от зноя, истомленным, пылким и страстным, как лицо прекрасной южанки.

Несмотря на быструю езду, не чувствовалось ни малейшего движения воздуха. По обочинам рос испанский тростник, стройный, негнущийся, с длинными лентовидными листьями. И на всех этих проселочных дорогах, белых как снег, неправдоподобно белых, покорно хрустел песок под колесами и длинной вереницей тянулись тележки с черным виноградом, но только с одним черным, а сзади молча и чинно шагали рослые, статные, длинноногие, черноглазые парни и девушки. Всюду, куда ни посмотришь, целые гроздья черных виноградинок — в плетушках, в чанах; всюду, куда ни посмотришь, целые гроздья черных глаз — под загнутыми полями войлочных шляп виноградарей, под головными платками, концы которых женщины держали в зубах.

Порою где-нибудь на повороте в безоблачное небо упирался крест, на перекладине которого, с обоих концов, висели тяжелые черные гроздья, кем-то подвешенные по обету.

— Глянь!..— умиленно шептал мне Мистраль, с почти материнской гордостью улыбаясь этим проявлениям наивного язычества его родных провансальцев, а затем возвращался к своему рассказу, к какой-нибудь прелестной, благоуханной и златотканной сказке, рожденной на берегах Роны,— сказки эти он, как некий провансальский Гете, рассевал направо и налево обеими своими щедрыми руками, одна из которых — поэзия, а другая — правда.

О, словесное колдовство, о, чудодейственное сочетание времени дня, окрестных видов и величавой народной легенды, свиток которой поэт развертывал перед нами, пока мы ехали по узкой дороге, меж оливковых деревьев и виноградных лоз!.. Как хорошо мне было тогда, какой безоблачной и легкой казалась жизнь!

Внезапно глаза мои затуманились, тоска сжала мне сердце.

— Какой ты бледный, папа! — сказал мой сын.

А я едва нашел в себе силы прошептать, показывая на замок короля Рене, все четыре башни которого глядели, как я мчусь к ним из полевой дали:

— Тараскон!

Дело в том, что у меня с тарасконцами старые счеты. Я знал, что они на меня в большой обиде, что они на меня очень сердятся за мои шутки над их городом и над их великим человеком, знаменитым, бесподобным Тартареном. Я часто получал анонимные письма, угрожавшие мне: «Попробуй только проехать через Тараскон!» Другие обрушивали на мою голову месть героя: «Трепещите! У старого льва есть еще клюв и когти!»

Лев с клювом! Вот тебе на!

Но это еще что: начальник областного полицейского управления сообщил мне, что на одного парижского коммивояжера, на свое несчастье оказавшегося моим однофамильцем, а может быть, просто желавшего втереть людям очки, прибывшего в гостиницу и расписавшегося в книге для приезжающих: «Альфонс Доде», напали в дверях кафе какие-то грубияны и чуть было, по местному обычаю, не искупали в Роне:

Охотой иль неволей,
Но только в эти дни
Из башен Тараскона
Бултых — и прямо в Рону
Попрыгают они.

Этот старинный куплет 93-го года распевают здесь и поныне и снабжают мрачными комментариями, поясняющими драму, свидетелями которой явились в те времена башни короля Рене.

Итак, мне не очень улыбалось, чтобы меня вышвырнули из башни Тараскона, и я, странствуя по югу, всегда старался объезжать этот милый город. Но на сей раз злая судьба, желание обнять моего дорогого Мистраля, возможность попасть на скорый поезд только в Тарасконе — все это бросало меня прямо в пасть ко льву с клювом.

Один Тартарен — это бы еще куда ни шло: встреча с ним лицом к лицу, дуэль на отравленных стрелах под сенью деревьев Городского круга меня бы не испугала. Но гнев народа, и потом Рона, глубокая Рона!..

Ах! Смею вас уверить, что путь романиста не сплошь усеян розами...

Но — странное дело! Чем ближе мы подъезжали к городу, тем пустыннее становились дороги, тем реже попадались тележки с виноградом. Некоторое время спустя мы уже ничего не видели перед собой, кроме безжизненной белой дороги, а кругом царили простор и безлюдье глуши.

— Чудно́! — тихо сказал слегка озадаченный Мистраль.— Можно подумать, что сегодня воскресенье.

— Если б воскресенье, звонили бы колокола...— так же тихо ответил мой сын, ибо в тишине, окутывавшей и город и предместье, было что-то подавляющее. Ни удара колокола, ни крика, ни звона наковальни, всегда так явственно слышного в струящемся воздухе юга, ничего. Но вот в конце дороги показались первые здания окраины— маслобойня, свежеоштукатуренная таможня. Приехали.

Каково же было наше изумление, когда мы, въехав на мощеную улицу, обнаружили, что здесь никто не живет: двери и окна заколочены, ни кошек, ни собак, ни ребят, ни кур — ни души; у закопченного входа в кузницу нет больше двух колес, которые прежде стояли здесь по бокам; высокие рамы с сеткой, защищавшие тарасконские дома от мух, убраны с порогов,— они исчезли, как и сами мухи, как и чудесный запах супа с чесноком, запах, который в этот час клубами вырывался из кухонь.

Тараскон больше не пахнул чесноком — можете себе представить!

Мы с Мистралем в ужасе переглянулись. И то сказать: было от чего прийти в ужас. Приготовиться к реву разъяренной толпы, а вместо этого обрести мертвую тишину Помпеи!

В городе, где мы знали всех домовладельцев по именам, где каждая лавчонка была нам знакома с детства, ощущение пустоты и заброшенности еще усилилось. Закрыта аптека Безюке на Малой площади, оружейный магазин Костекальда тоже закрыт, кондитерская Ребюфа, где продавались «наилучшие» леденцы, тоже. Исчезли дощечка на двери нотариуса Камбалалета и написанная на полотне вывеска Мари-Жозефа-Спиридиона Экскурбаньеса, изготовителя арльской колбасы,— надо вам сказать, что арльская колбаса всегда изготовлялась в Тарасконе, считаю своим долгом указать на этот исторический парадокс.

Но что же все-таки сталось с тарасконцами?

Мы ехали мимо Городского круга, под прохладною тенью платанов, поднимавших гладкие белые стволы на равном расстоянии один от другого, и не слышали стрекотанья цикад. Цикады — и те улетели! А перед домом Тартарена, домом с закрытыми ставнями, таким же слепым и немым, как и дома соседние, у низкой ограды

знаменитого садика не осталось ни одного ящика для чистки обуви, и никто не кричал: «*Пчистим, гаспдин?*»

— Уж не холера ли? — сказал кто-то из нас.

В самом деле: когда в Тарасконе бывает эпидемия, население уходит из города, разбивает палатки на значительном от него расстоянии и пребывает там до тех пор, пока не пройдет зараза.

При слове «холера», которого все провансальцы безумно боятся, кучер ударил по лошадям, и несколько минут спустя мы подъехали к лестнице вокзала, который находится на одном уровне с высоким виадуком, возвышающимся над городом.

Здесь жизнь била ключом, слышались человеческие голоса, мелькали человеческие лица. По расходившимся во все стороны рельсам беспрерывно катились поезда, брали подъем, шли под уклон, останавливались, и тогда хлопали дверцы вагонов и выкрикивались названия станций:

— Тараскон! Поезд стоит пять минут... Пересадка на Ним, Монпелье, Сет...

Мистраль побежал к начальнику станции, старому служаке, уже около тридцати пяти лет протрубившему на этом вокзале.

— Э, господин Пикар!.. А тарасконцы? Где же они? Что вы с ними сделали?

Начальник станции подивился нашей неосведомленности:

— Как?.. Вы ничего не знаете?.. Да вы что, с луны свалились?.. Газет не читаете?.. А ведь тарасконцы раззвонили на всю вселенную о своем острове — острове Порт-Тараскон... Да, да, почтеннейший... Тарасконцы уехали... Уехали во главе со знаменитым Тартареном основывать колонию... И увезли с собой все, захватили с собой даже Тараска!

Тут он нас оставил и пошел на линию, чтобы отдать распоряжения, кого-то подстегнуть, а мы стали смотреть вниз, где в лучах заката высились башни, колокольни и колоколенки брошенного города и его древняя крепостная стена, которую солнце так чудесно разрумянило, что ее, право, можно было принять за поджаристую корку от паштета из дичи.

— А скажите, господин Пикар,— спросил Мистраль у начальника станции, с добродушной улыбкой возвращавшегося к нам и, по-видимому, нимало не огорченного кочевничеством Тараскона,— как давно они эмигрировали?

— Полгода назад.

— А какие-нибудь сведения о них есть?

— Никаких.

Увы! Некоторое время спустя мы получили эти сведения, сведения подробные и точные, что и дало мне возможность рассказать

вам об исходе доблестного маленького народца, последовавшего за своим героем, и о посыпавшихся на тарасконцев бедах.

Паскаль сказал: «Нужно, чтобы было и утешительное и истинное, но нужно, чтобы и это утешительное было основано на истинном». В истории Порт-Тараскона я пытался следовать его завету.

Мой рассказ основан на истинном, составлен по письмам эмигрантов, по «Мемориалу» юного секретаря Тартарена, по материалам, заимствованным из «Судебной газеты», и если все же вы кое-где наткнетесь на какую-нибудь из ряда вон выходящую тарасконаду, то, лопни мои глаза, не я ее выдумал![1]

Автор

КНИГА ПЕРВАЯ

I

Жалобы Тараскона на существующий порядок вещей. Быки. «Белые отцы». Тарасконец в раю. Осада и капитуляция Памперигустского аббатства

— Бранкебальм, дорогой мой!.. Я недоволен Францией!.. Правительство всюду сует свой нос.

Эти достопамятные слова, которые однажды вечером соответствующим тоном и с подобающими жестами произнес Тартарен в Клубе у камина, дают точное представление о том, что думали и говорили в Тарасконе-на-Роне за два, за три месяца до эмиграции. Обыкновенно тарасконец политикой не занимается: беспечный по природе, равнодушный ко всему, что не имеет к нему непосредственного отношения, он, по его собственному выражению, стоит за существующий порядок вещей. Однако с некоторых пор он пришел к выводу, что существующий порядок вещей требует существенных изменений.

— Правительство всюду сует свой нос! — твердил Тартарен.

Под этим «всюду» подразумевалось прежде всего запрещение боя быков.

Вы, конечно, знаете историю одного тарасконца, дурного христианина и первостатейного негодяя, который после смерти случайно проскочил в рай в тот момент, когда апостол Петр отвернулся, и потом ни за что не хотел оттуда уходить, как ни молил его все-

---

[1] Отсылаю читателей к газетам, в которых двенадцать лет назад освещался процесс «Новой Франции» и колонии Порт-Бретон, а также к изданной Дрейфусом любопытной книге участника этой экспедиции, доктора Бодуэна.

хвальный ключарь. Что же тогда предпринял первоверховный апостол? Он отрядил целый сонм ангелов кричать что есть мочи перед райскими вратами: «Эй! Эй!.. Быки!.. Эй! Эй!.. Быки!..» Так кричат в Тарасконе, когда начинается бой быков. Услышав это, разбойник изменился в лице:

— Разве у вас, апостол Петр, бывают здесь бои быков?

— Бои быков?.. А как же!.. Замечательные, я тебе скажу, бои, почтеннейший.

— Но где же... где же они происходят?

— Перед раем... Там, понимаешь, просторно.

Тарасконец стремглав бросился смотреть бой быков, и двери рая закрылись для него навсегда.

Привел я здесь эту легенду, такую же древнюю, как скамейки на Городском кругу, только для того, чтобы читатели могли себе представить, как обожают тарасконцы бой быков и как они возмутились, когда на этот вид зрелищ был наложен запрет.

За этим последовал указ о выселении «белых отцов» и о закрытии их прелестного монастыря в Памперигусте, сотни лет стоявшего на холмике, сером от тимьяна и лаванды, неподалеку от городской окраины, откуда видны среди сосен кружевные монастырские колоколенки, чей перезвон в прозрачном утреннем воздухе сливался с трелями жаворонков, а в сумерки — с печальными криками куликов.

Тарасконцы очень любили «белых отцов», ласковых, добрых, безобидных, умевших настаивать на душистых травах, росших на горке, великолепный эликсир. Любили они их и за паштеты из ласточек, и за их превкусные *памперu*, то есть за пирожки с тонкой золотистой корочкой, внутри которых была айва, откуда, собственно, и повелось название аббатства — Памперигуст.

И вот когда отцы, получив официальное уведомление о том, что им надлежит покинуть обитель, не подчинились приказу, тарасконская меньшая братия — тысячи полторы-две носильщиков, чистильщиков обуви, грузчиков, словом, так называемое простонародье,— заперлась вместе с честными иноками в Памперигусте.

Тарасконские мещане и завсегдатаи Клуба во главе с Тартареном, разумеется, тоже выразили желание поддержать это правое дело. Они не колебались ни одной минуты. Но без подготовки в подобные предприятия не пускаются. Поступать необдуманно — это к лицу меньшой братии.

Прежде всего потребовались соответствующие наряды. И наряды были заказаны, заказаны превосходные одеяния времен крестовых походов — длинные черные балахоны с большим белым крестом на груди и с вышитыми галуном скрещенными костями спереди, сзади, всюду. На вышиванье ушло особенно много времени.

Когда же все было готово, оказалось, что монастырь окружен. Войска, расположившись лагерем в полях и на кремнистых склонах холмика, сжали обитель тройным кольцом.

Красные штаны среди тимьяна и лаванды напоминали издалека буйно цветущие маки.

На дорогах можно было каждую минуту наткнуться на разъезд; у всадников вдоль бедра свешивался карабин, за поясом торчала кобура револьвера, сабля в ножнах хлопала коня по боку.

Но подобной дислокацией невозможно было запугать бесстрашного Тартарена и большинство клубных завсегдатаев, решивших во что бы то ни стало пробиться к монастырю.

Принимая все меры предосторожности, пускаясь на классические хитрости куперовских дикарей, они то ползли один за другим мимо погруженных в сон неприятельских палаток, то обходили часовых и разъезды, давая друг другу знать об опасности неумелым подражанием птичьим крикам, и, наконец, миновали расположение осаждающих войск.

Какую нужно было иметь храбрость, чтобы пойти на такой риск в лунную ночь, когда светло, как днем! Справедливость требует, впрочем, заметить, что в интересах осаждающих было пропустить в монастырь как можно больше народу.

Целью войска было взять монастырь не силой, а измором. Поэтому солдаты, завидев при месячном и звездном свете блуждающую тень, сейчас же отворачивались. Офицеры, которым не раз доводилось пить в Клубе абсент со знаменитым истребителем львов, узнавали Тартарена издали, несмотря на его маскарад, и дружески его приветствовали:

— Доброго здоровья, господин Тартарен!

Придя в обитель, Тартарен немедленно организовал оборону.

Этот молодец удосужился прочесть все книги об осаде и о блокаде. Сформировав тарасконское ополчение под командой бравого командира Бравида, он, исходя из опыта Севастополя и Плевны, заставил ратников ополчения рыть, рыть и рыть землю и окружил аббатство валами, рвами и всякого рода фортификационными сооружениями, кольцо которых все сжималось и сжималось, так что в монастыре нечем стало дышать, и осажденные как бы сами себя замуровали в толще своих укреплений, а осаждающим только этого и надо было.

В монастыре, превращенном в крепость, была введена военная дисциплина. При осадном положении так оно и следовало. Все делалось под бой барабана и под звуки труб.

Людей чуть свет будил барабан, рокотавший во дворе, в коридорах, под сводами. Барабан бил с утра до вечера — он скликал на молитву: тра́та-та́, призывал отца казначея: тра́та-та́та, отца

экономэ: тра́та-та́та-та́. Звуки труб, громкие, повелительные, отрывистые, резали слух. Трубили к вечерне, к утрене, к обедне. Это был позор для осаждающего войска, производившего гораздо меньше шума на просторе полей, тогда как на вершине холмика, за тонкими зубцами аббатства-крепости, трубный звук и барабанный бой, сливаясь с перезвоном колоколов, порождали торжествующую разноголосицу, и эта полувоинственная, полусвященная радостная песнь разносилась далеко окрест.

Между тем осаждающие, черт бы их душу взял, спокойно стояли себе станом, ни о чем не заботились, легко раздобывали съестные припасы и целыми днями пировали. Прованс, страна лакомств, производит столько вкусных вещей! Прозрачные золотистые вина, арльские сосиски и колбасы, нежные дыни, сочные арбузы, монтелимарская нуга — всем этим наслаждались правительственные войска, а в блокированном аббатстве только облизывались.

Итак, с одной стороны, солдаты, которым прежде и во сне не снился такой праздник, которые жирели до того, что на них лопались мундиры, и кони с округлившимися лоснящимися крупами, а с другой — увы! — бедные тарасконцы, точнее, бедные тарасконские простолюдины: они рано вставали, поздно ложились, выбивались из сил, вечно находились в движении, днем и ночью копали и возили на тачках землю; опаляемые солнцем и огнем факелов, они сохли и худели так, что жалость брала на них смотреть.

В довершение всего запасы их преподобий были на исходе: пампери и паштеты из ласточек подходили к концу.

Сколько еще можно держаться?

Этот вопрос обсуждался ежедневно на земляных валах и насыпях, трескавшихся от засухи.

— А эти трусы все не идут в атаку! — говорили тарасконцы, показывая кулак красным штанам, валявшимся на траве под соснами. Мысль же о том, чтобы самим идти в атаку, не приходила им в голову — так силен в этом храбром народце инстинкт самосохранения.

Один-единственный раз неугомонный Экскурбаньес предложил устроить грандиозную вылазку, выставив монахов вперед, и опрокинуть наемное войско.

Тартарен пожал своими могучими плечами и сказал ему в ответ:

— Дитя!

Затем он взял пылкого Экскурбаньеса под руку и, приведя его на самый верх контрэскарпа, широчайшим жестом обвел войсковые соединения, расположившиеся по уступам холма, и патрули, расставленные на каждой тропинке.

— Кто осаждает: они или мы?.. Разве мы должны идти на приступ?..

Вокруг послышался одобрительный шепот:

— Конечно... Он прав... Начать должны они, раз они осаждают...

И тарасконцы лишний раз убедились, что военную тактику Тартарен изучил лучше всех.

Тем не менее нужно было на что-то решиться.

И вот однажды в большой зале капитула, зале с высокими окнами и резной деревянной панелью, собрался совет, и отец эконом представил отчет о ресурсах крепости. Все «белые отцы» слушали его молча, выпрямившись на своих *пожалей-мою-старость*— этих ханжеских полусиденьях, на которых монахи сидели так, что казалось, будто они стоят.

Отчет отца эконома оказался ох каким плачевным! Сколько тарасконцы сожрали с начала осады! Столько-то сотен паштетов из ласточек, столько-то тысяч пампери, столько-то того, столько-то сего! От всех тех изделий, которые перечислил отец эконом и которыми монастырь вначале был вполне обеспечен, осталось мало, совсем мало, можно сказать — ничего.

У святых отцов вытянулись лица, они переглянулись, и каждый про себя решил, что если бы к ним не пришли на помощь, то при условии, что неприятель не прибегнул бы к крайним мерам, они могли бы, ни в чем решительно не нуждаясь, протянуть несколько лет. Отец эконом монотонно и уныло продолжал читать, как вдруг послышались крики.

Дверь в залу с шумом распахнулась, и на пороге появился Тартарен, весь красный, взволнованный, с трагическим выражением лица, с всклокоченной бородой, вздымавшейся над белым крестом. Отсалютовав шпагой сперва настоятелю, державшемуся прямо на своем *пожалей-мою-старость*, а затем поочередно всем членам капитула, он торжественно заявил:

— Ваше высокопреподобие! Я ничего не могу поделать с моими людьми... Они мрут с голоду... Все водоемы пусты. Мы должны или сдать крепость, или похоронить себя под ее обломками.

Тартарен умолчал о том, что́ являлось для него огромным лишением: он уже две недели не пил по утрам шоколаду, а между тем он спал и видел густой, дымящийся маслянистый шоколад, который он привык запивать холодной прозрачной водой, здесь же, в монастыре, ему приходилось довольствоваться солоноватой водой из водоемов.

Совет тотчас же встал, и все заговорили разом; решение было вынесено единодушно:

— Сдать крепость... Крепость необходимо сдать...

Один лишь отец Баталье, человек горячий, предложил взорвать монастырь остатками пороха и вызвался сам поджечь фитиль.

Но отца Баталье не стали слушать, и, как только спустилась ночь, монахи и ратники ополчения вместе с Экскурбаньесом, Бравида, Тартареном и прочими клубными завсегдатаями — одним словом, все защитники Памперигуста, оставив ключи в замочных скважинах, на сей раз без барабанов и горнов вышли из монастыря и вереницею озаренных луной призраков молча спустились с холма, провожаемые добродушными взглядами вражеских часовых.

Приснопамятная защита аббатства покрыла Тартарена неувядаемой славой, но после того, как войска заняли обитель «белых отцов», тарасконцы затаили злобу в сердце своем.

II

Аптека на Малой площади. Появление северянина. «С нами бог, ваша светлость!» Рай за морем

Некоторое время спустя после закрытия аббатства аптекарь Безюке в обществе своего ученика Паскалона и его преподобия отца Баталье вдыхал у дверей аптеки вечернюю прохладу.

Надо вам сказать, что тарасконцы приютили рассеявшихся монахов у себя. Каждая тарасконская семья пожелала взять к себе «белого отца». Люди зажиточные, как, например, лавочники, почтенные буржуа, брали на свое иждивение каждый по одному монаху, а ремесленники составляли товарищества и содержали святых отцов в складчину.

В любой лавке можно было видеть белую рясу с капюшоном. У оружейника Костекальда, среди ружей, карабинов и охотничьих ножей, за прилавком у галантерейного торговца Бомвьейля, из-за рядов катушек с шелковыми нитками, выглядывала большая белая птица, напоминавшая ручного пеликана. «Белые отцы» приносили в дом счастье. Обходительные, покладистые, всем довольные, скромные, они никого не стесняли, умели вовремя стушеваться, и вместе с тем от них исходил дух кротости и незлобия, тарасконцам несвойственный.

Казалось, сам господь посетил тарасконские жилища: мужчины перестали браниться и сквернословить, женщины больше не лгали или, вернее, почти не лгали, малыши были паиньками и держались прямо на своих высоких стульчиках.

Утром и вечером, перед завтраком и после ужина, когда полагалось читать: «Благослови...» и «Благодарим тебя...», большие

белые рукава, точно крылья ангела-хранителя, приосеняли собравшуюся за столом семью, и с этой почившей на них благодатью тарасконцы уже не могли не вести жизнь благочестивую и праведную.

Каждый из них гордился своим иноком, расхваливал его, хвастался им, в особенности же — аптекарь Безюке, которому благая судьба послала отца Баталье.

Порывистый, пылкий, проповедник по призванию, славившийся своим искусством рассказывать притчи и легенды, его преподобие отец Баталье был чудный малый, хорошо сложенный, загорелый, с глазами как угли, и притом настоящий сорвиголова. Плотная ряса с длинными складками придавала ему внушительный вид, несмотря на то, что одно плечо у него было выше другого и ходил он как-то боком.

Эти его мелкие недостатки становились совсем незаметными, когда, окончив проповедь, но все еще дрожа от волнения, потрясенный собственным красноречием, он сходил с кафедры и, задрав нос кверху, поспешно пробирался в толпе по направлению к ризнице. Его восторженные поклонницы на ходу отрезали ножницами кусочки от его белой рясы; по сему обстоятельству он получил прозвище «инока с фестончиками», и ряса его всегда была так изрезана и так быстро изнашивалась, что одевать отца Баталье являлось для монастыря делом весьма нелегким.

Итак, Безюке расположился с Паскалоном возле аптеки, а напротив верхом на стуле восседал отец Баталье. Они блаженствовали на свежем воздухе и наслаждались безмятежным покоем, ибо в это время дня в аптеку к Безюке никто уже не заходил. Равным образом ночью тарасконцы вольны были корчиться и извиваться от боли — доблестный аптекарь ни за какие блага в мире себя не тревожил: по ночам порядочные люди, дескать, не хворают.

Безюке и Паскалон слушали одну из тех прелестных историй, которые так хорошо умел рассказывать его преподобие, а в это время где-то далеко били вечернюю зорю, и она долетала сюда вместе со всею музыкой роскошного летнего заката.

Вдруг ученик вскочил и, весь красный, взволнованный, показывая на противоположную сторону площади, пролепетал:

— Вон господин Та-Та-Тартарен!

Читатели, верно, уже заметили, что Паскалон питал особое, необыкновенное уважение к этому великому человеку, жестикулирующая тень которого вырисовывалась в огнистой предвечерней мгле рядом с каким-то изысканно одетым незнакомцем в серых перчатках, молча шагавшим и, по-видимому, слушавшим своего спутника.

Кто-нибудь с Севера,— это было совершенно ясно.

На юге Франции северянина сразу можно узнать по сдержанности, по неторопливости и сжатости речи, подобно тому как южанин сейчас же выдает себя повышенной жестикуляцией и словоизвержениями.

Тарасконцам нередко приходилось видеть Тартарена в обществе иностранцев, ибо все проездом через Тараскон считали своим долгом посетить местную достопримечательность — знаменитого истребителя львов, досточтимого альпиниста, современного Вобана, покрывшего себя славой во время осады Памперигуста.

Наплыв посетителей открыл в истории Тараскона эру дотоле невиданного благоденствия.

Содержатели гостиниц богатели; в книжных магазинах продавалась биография великого человека; во всех витринах красовались его портреты — Тартарен был запечатлен на них в разных видах, знаменовавших различные этапы его героического жизненного пути: в костюме *тэрка*, в костюме альпиниста, в костюме крестоносца.

Но на сей раз с Тартареном был не обычный посетитель, не случайный залетный гость.

Перейдя площадь, герой величественным жестом указал на своего спутника:

— Дорогой Безюке и вы, ваше преподобие! Позвольте вам представить его светлость герцога Монского...

Герцога!.. А, чтоб!..

Герцога в Тарасконе еще не бывало. Тарасконцы чего-чего только не видели на своем веку: и верблюда, и баобаб, и львиную шкуру, и коллекцию отравленных стрел, и почетные альпенштоки... Но герцогов — никогда!

Безюке, слегка оробев при мысли, что столь высокая персона застала его врасплох, встал и поклонился.

— Ваша светлость!.. Ваша светлость!..— бормотал он.

Тартарен перебил его:

— Войдемте, господа,— нам нужно потолковать о важном деле.

Он пригнулся и с таинственным видом первый прошел в маленькую гостиную при аптеке, единственное окно которой, выходившее на площадь, служило витриной, где были выставлены заспиртованные зародыши, банки с солитерами, словно затянутыми в полосатое трико, и пакетики камфарных папирос.

Как истые заговорщики, они плотно затворили за собой дверь. В аптеке остался один Паскалон, которому Безюке дал наказ принимать посетителей, но ни под каким видом никого из них не подпускать к гостиной.

Озадаченный ученик принялся расставлять по полкам коробки с грудной ягодой, пузырьки с *sirupus gummi* и другие аптекарские товары.

По временам до него доносился шум, в котором он различал глухой голос Тартарена, произносившего какие-то необыкновенные слова: «Полинезия... земной рай... сахарный тростник, винокуренные заводы... Свободная колония». Затем послышался возглас отца Баталье: «Браво! Я согласен». Зато северянин говорил так тихо, что его совсем не было слышно.

Паскалон приложил было ухо к замочной скважине, как вдруг дверь с треском распахнулась, ибо ее — *manu militari*[1] — привела в движение мощная длань святого отца, и ученик откатился на противоположный конец аптеки. Но в суматохе никто не обратил на него внимания.

Тартарен остановился на пороге и, показав пальцем на головки мака, сушившиеся под потолком, с видом архангела, потрясающего мечом, воскликнул:

— С нами бог, ваша светлость! Нам предстоят великие дела!

За этим последовала путаница протянутых рук, которые одна другую искали, переплетались, одна другую пожимали, одна другую энергично встряхивали, как бы для того, чтобы навеки скрепить нерушимое обязательство. Разгоряченный этим порывом, Тартарен выпрямился, как будто бы вырос и вместе с герцогом Монским вышел из аптеки, чтобы продолжить обход города.

Два дня спустя на столбцах двух тарасконских газет — «Форума» и «Свирели» — появилось множество статей и реклам, касавшихся одного грандиозного начинания. Общий заголовок был набран крупными буквами: «СВОБОДНАЯ КОЛОНИЯ ПОРТ-ТАРАСКОН». Под ним были напечатаны сногсшибательные объявления: «Продается земля по пяти франков за гектар, дающая несколько тысяч франков годового дохода... Можно быстро и без всякого риска нажить состояние... Требуются колонисты».

Далее следовало описание острова, где должна была основаться предполагаемая колония, причем указывалось, что вокруг этого острова, купленного у короля Негонко герцогом Монским во время его путешествия, расположены другие острова, которые можно будет приобрести впоследствии, дабы расширить территорию колонии.

Климат райский, температура, несмотря на близость экватора, умеренная, между двадцатью пятью и двадцатью восемью, с колебаниями в пределах двух-трех градусов. Земля в высшей степени плодородная, обильно орошаемая; кругом леса; остров круто

---

[1] Здесь: страшным ударом *(лат.)*.

поднимается над уровнем моря, что даст возможность каждому выбрать себе высоту соответственно своему темпераменту. Съестного сколько угодно, деревья увешаны дивными плодами, в лесах и в полях водится разнообразная дичь, в реках полно рыбы. С точки зрения коммерческой и навигационной опять-таки все великолепно: чудный рейд, на котором может стоять целая флотилия, надежная гавань, защищенная молами, внутренний рейд, сухой док, набережная, дебаркадер, маяк, сигнальная мачта, паровые краны — все, что угодно.

Работы уже начаты китайскими и капакскими рабочими под руководством крупнейших инженеров по проектам выдающихся архитекторов. Колонистов ожидают комфортабельные помещения, а за доплату всего лишь в пятьдесят франков при помощи некоторых сложных комбинаций дома могут быть отделаны на любой вкус.

Можете себе представить, как разыгралось воображение тарасконцев, когда они прочитали об этих чудесах! В каждой семье строились планы. Один мечтал о зеленых ставнях, другой — о красивом подъезде. Кто предпочитал кирпич, а кто — песчаник.

Тарасконцы рисовали, раскрашивали и все пристраивали и пристраивали: недурно бы еще и голубятню, не мешало бы еще и флюгер.

— Ах, папа, а веранда?

— Ну что ж, дети мои, веранда так веранда!

Куда, мол, ни шло!..

Пока богатейшая фантазия славных жителей Тараскона трудилась над благоустройством идеальных помещений, все южные газеты успели перепечатать статьи из «Форума» и «Свирели», а все южные города и селения были наводнены проспектами с виньетками в виде пальм, кокосов, бананов, латаний — словом, тут была представлена вся экзотическая флора. Во всем Провансе велась яростная пропаганда.

По пыльным дорогам тарасконских пригородов крупной рысью мчался кабриолет Тартарена, и правил своим кабриолетом он сам, а рядом, тесно к нему прижавшись, сидел на передке отец Баталье, так что спины их служили опорой для герцога Монского, прикрывавшего лицо зеленой вуалью от заедавших его москитов, которые неотступно вились вокруг него жужжащими полчищами, жаждавшими крови северного человека, и жалили немилосердно, так жалили, что от их укусов у него распухло лицо.

Да, это был настоящий северянин! Ни одного жеста, ни одного лишнего слова, и какая выдержка!.. Он не заносился, он ничего не преувеличивал, он смотрел на вещи трезво. На него вполне можно было положиться.

И на маленьких площадях, затененных листвою платанов, в старинных предместьях, в засиженных мухами кабачках, в танцевальных залах — всюду произносились напутственные слова, проповеди, устраивались совещания.

Герцог Монский кратко и точно, с той простотой, какой требует нагая истина, перечислял красоты Порт-Тараскона и выгоды этого предприятия. Монах произносил пламенные речи в духе Петра Пустынника и призывал к эмиграции. Тартарен, окутанный дорожной пылью, словно пороховым дымом, выкрикивал своим зычным голосом громкие слова: «Торжество, победа, новое отечество»,— которые он решительным жестом как бы посылал куда-то далеко, через головы слушателей.

Иной раз устраивались дискуссии в форме вопросов и ответов:

— А что, ядовитые животные там водятся?

— Ни одного нет. Ни одной змеи. Даже москитов нет. Диких зверей тоже нет совершенно.

— Но говорят, в Океании живут людоеды?

— Что вы! Там все вегетарианцы...

— Правда, что дикари ходят нагишом?

— Это похоже на правду, но только далеко не все. Ну да мы их оденем.

Статьи, собрания — все это имело успех головокружительный. Простаки снимались с места сотнями, тысячами, число эмигрантов все возрастало — и не только за счет Тараскона: эмигранты прибывали со всего юга Франции! Даже из Бокера. Да, кстати: Тараскон считал жителей Бокера изрядными нахалами.

Эти два соседних города, разделенные одною лишь Роной, питают друг к другу вековую затаенную ненависть, которая, видимо, не пройдет никогда.

Если вы станете доискиваться причин, то обе стороны ответят вам ничего не значащими словами.

— Знаем мы этих тарасконцев...— с загадочным видом говорят бокерцы.

А тарасконцы, лукаво подмигивая, заявляют:

— Всем известно, что такое господа бокерцы.

Как бы то ни было, города эти друг с другом не общаются, мост перекинут между ними зря. Все равно никто по нему не ходит. Во-первых, по причине вражды, а во-вторых, вот почему: из-за силы ветра и ширины реки в этом месте переход через мост считается опасным.

Но хотя колонистов из Бокера и не принимали, однако вносить деньги никому не возбранялось. Пресловутые «пятифранковые гектары» (доход — несколько тысяч франков) разбирались нарасхват. Не менее охотно принимались от всех сочувствовавших этому

делу пожертвования на нужды колонии. «Форум» печатал списки пожертвований; среди них попадались вещи самые неожиданные:

От неизвестного: коробочка с бусами.
» » Комплект номеров «Форума».
» г-на Бекуле: сорок пять головных сеток из синели и бусы для индианок.
» г-жи Дурладур: полдюжины носовых платков и полдюжины ножей для церковного причта.
» неизвестной: вышитое знамя для хорового кружка.
» Магелоны из Андюза — чучело фламинго.
» семейства Марг: семьдесят два собачьих ошейника.
» неизвестного: расшитый галуном камзол.
» одной набожной марсельской дамы: риза, золотая обшивка на стихарь для кадилоносца и воздух для дароносицы.
» нее же: коллекция жесткокрылых под стеклом.

И в каждом списке непременно значилось приношение мадемуазель Турнатуар: «Полный комплект одежды для дикаря». Так добрая старая дева неукоснительно выражала свою заботу о диких племенах.

Целые ящики диковинных, фантастических даров, в которых сказывалась вся причудливость южного воображения, отправлялись в Марсель — в доки, на склады Свободной колонии. Центр деятельности герцога Монского находился там.

Дело у него было поставлено на широкую ногу; сидя в своем роскошном кабинете, он учреждал то Общество производства сахара из тростника, то Общество обработки трепангов — этой особой разновидности моллюсков, которые, как указывалось в объявлении, в большой цене у китайцев, потому что в Китае трепанги считаются лакомым блюдом. Каждый день у неутомимого герцога рождалась какая-нибудь новая идея, каждый день он затевал какое-нибудь грандиозное предприятие, а вечером того же дня оно претворялось в жизнь.

Между делом он организовал товарищество марсельских акционеров под председательством греческого банкира Кагараспаки, капиталы же этого товарищества он предложил поместить в турецкий банк Паменьяи-бен-Кага, солидность которого не вызывала сомнений.

Тартарен вел теперь самый беспокойный образ жизни — он то и дело сновал из Тараскона в Марсель, из Марселя в Тараскон. Он разжигал энтузиазм своих сограждан, вел среди них пропаган-

ду и вдруг садился на скорый поезд и мчался на какое-нибудь совещание, на заседание акционеров. Его преклонение перед герцогом росло день ото дня.

Всем он ставил в пример хладнокровного герцога Монского, благоразумного герцога Монского.

— Можете быть спокойны: уж кто-кто, а он не склонен к преувеличениям! У него не может быть тех миражей, в которых нас упрекал Доде.

В противоположность Тартарену герцог нигде не показывался, вечно прикрывался вуалью от москитов и совсем мало говорил. Северянин стушевывался перед южанином, постоянно выдвигал его вперед и предоставлял его неистощимому красноречию давать объяснения, обещания и всевозможные обязательства. Сам же отделывался одной фразой:

— В мой замысел посвящен только господин Тартарен.

Можете себе представить, как Тартарен этим гордился!

III

«Порт-тарасконская газета». Добрые вести из колонии. В Полигамии. Тараскон готовится сняться с якоря. «Не выезжайте, ради бога, не выезжайте!»

Однажды утром тарасконцы, проснувшись, увидели, что на всех перекрестках расклеена депеша следующего содержания:

«Сегодня на рассвете, приняв на борт вместе с судьбою целого народа всякую всячину для дикарей и партию земледельческих орудий, из Марселя вышло большое парусное судно «Фарандола» водоизмещением в тысячу двести тонн. На «Фарандоле» восемьсот эмигрантов, все до одного — тарасконцы; среди них военный губернатор колонии Бомпар, врач-фармацевт Безюке, его преподобие отец Везоль и нотариус Камбалалет, землемер колонии. Я сам проводил их в открытое море. Все идет отлично. Герцог сияет. Прикажите опубликовать.

Тартарен из Тараскона»

Телеграмма, расклеенная по всему городу усилиями Паскалона, которому она и была послана, обрадовала граждан. Город принял праздничный вид, жители высыпали на улицы, народ толпился вокруг каждого листка и читал депешу, радостная весть передавалась из уст в уста: «На «Фарандоле» восемьсот эмигрантов... Герцог сияет...» Сияли и все тарасконцы.

Это уже вторую партию эмигрантов, месяц спустя после первой, отбывшей на пароходе «Люцифер», отправлял таким образом

из Марселя в обетованную землю Тартарен, принявший на себя высокое звание и сложнейшие обязанности порт-тарасконского губернатора. Оба раза — такая же депеша, такой же восторг, и все так же сиял герцог. К несчастью, «Люцифер» застрял у входа в Суэц. С ним стряслась беда: сломался вал, и этот старый, купленный по случаю пароход вынужден был остановиться и ждать, пока «Фарандола» нагонит его и подаст ему помощь.

Происшествие это, которое можно было счесть дурным предзнаменованием, нисколько, однако, не охладило колонизационный пыл тарасконцев. Впрочем, на борту первого судна находилась одна меньшая братия. Вы же знаете, что простолюдинов всегда посылают вперед. На «Фарандоле» тоже находилась меньшая братия, но уже вперемежку с горячими головами, вроде нотариуса Камбалалета, землемера колонии.

Аптекарь Безюке, человек мирный, несмотря на свои огромные усы, любивший удобства, боявшийся и жары и холода, не питавший особого пристрастия к далеким путешествиям и опасным приключениям, долго не соглашался сесть на корабль.

Лишь диплом врача, которого он жаждал всю жизнь, мог его на это подвигнуть, и диплом этот присудил ему своею властью порт-тарасконский губернатор.

Чего-чего только наш губернатор не навыдавал, каких только дипломов и свидетельств, кого и кем только не назначал: одних — начальниками, других — заместителями начальников, третьих — секретарями, четвертых — уполномоченными, сановниками первого класса, сановниками второго класса, тем самым утоляя страсть своих сограждан к титулам, почестям, знакам отличия, мундирам и галунам.

Вот только отец Везоль в подобных поощрениях не нуждался. Этот душа-человек всегда был на все согласен, всем доволен и во всех случаях жизни говорил: «Слава тебе, господи!» Выгнали из монастыря — «Слава тебе, господи!». Загнали на большое парусное судно вместе с меньшою братией, вместе с судьбой целого народа и всякой всячиной для дикарей — все равно: «Слава тебе, господи!»

После ухода «Фарандолы» в Тарасконе остались лишь дворяне и мещане. И тем и другим не к чему было торопиться: пусть, мол, передовой отряд подаст о себе весть по приезде, тогда будет видно, как им поступить.

Тартарен пока тоже не уезжал: губернатор, организатор, осуществлявший идею герцога Монского, мог покинуть Францию только с последней партией. Но в ожидании чаемого дня он, по обыкновению, отдавал все свои силы, весь свой душевный жар тому делу, за которое взялся.

Без устали снуя между Тарасконом и Марселем, неуловимый, точно метеор, которого увлекает за собой какая-то неведомая сила, он появлялся то здесь, то там и исчезал снова.

— Не переутомляйтесь, учи-и-итель!..— блеял Паскалон по вечерам при виде доблестного мужа, который входил в аптеку, сгорбившись и обливаясь по́том.

Но Тартарен сейчас же выпрямлялся.

— Я отдохну *там*. За дело, Паскалон, за дело!

Ученик по совместительству с заведованием аптекой, которое перешло к нему после отъезда Безюке, занимал несколько еще более ответственных должностей.

Чтобы столь успешно начатая пропаганда не прекращалась, Тартарен издавал «Порт-тарасконскую газету», которую Паскалон по указаниям и под верховным руководством губернатора писал сам от первой до последней строчки.

Такого рода совмещение обязанностей было несколько невыгодно для аптеки: писание статей, чтение корректур, поездки в типографию — все это не оставляло времени для приготовления лекарств, но... Порт-Тараскон прежде всего!

Газета ежедневно давала жителям метрополии сведения о колонии. В каждом номере печатались статьи о ее естественных богатствах, о ее красотах, о том блестящем будущем, какое ее ожидает. Были там и отдел происшествий, и смесь, и рассказы на все вкусы.

Рассказы о путешествиях, об открытиях островов, о завоеваниях, о битвах с дикарями были рассчитаны на любителей приключений. Помещикам предлагались рассказы об охоте в лесах, о потрясающих уловах в обильных рыбою реках с описанием способов ловли, а также снастей, применяемых туземцами.

Люди, более мирно настроенные, как-то лавочники и домоседы-мещане, наслаждались описанием завтраков прямо на свежем воздухе, на травке, возле прядающего с камней ручья, под сенью причудливых, раскидистых деревьев. Тарасконцы мысленно переносились туда и словно ощущали во рту сок вкусных плодов— плодов манго, ананаса, банана.

«И при всем том ни единой мухи!» — уверяла газета, а в Тарасконе, как известно, мухи отравляли любую увеселительную прогулку.

Газета печатала даже роман под названием «Прекрасная тарасконка» о дочери колониста, похищенной сыном папуасского короля, и перипетии этой любовной драмы открывали широкий простор воображению молодежи. В финансовом отделе помещались сообщения о ценах на колониальные товары, объявления о выпуске земельных акций и акций сахарных и винокуренных заводов, а

также списки подписчиков и пожертвованных вещей, которые все продолжали поступать, в том числе одежда для дикарей от мадемуазель Турнатуар.

Ради таких частых приношений непорочной деве пришлось завести у себя дома самую настоящую мастерскую готового платья. Впрочем, не у нее одной в связи с предстоявшим переездом на неведомые далекие острова появились необычные заботы.

Как-то раз Тартарен спокойно сидел в своем домике, нежась в мягких туфлях и в халате и, однако, не бездействуя, ибо на столе перед ним были разбросаны бумаги и книги: описания путешествий Бугенвиля, Дюмон-Дюрвиля, сочинения о колонизации, труды о различных сельскохозяйственных культурах. Среди отравленных стрел, в двух шагах от баобаба, крохотная тень которого трепетала на шторах, он изучал «свою колонию» и забивал себе голову сведениями, почерпнутыми из книг. Между делом он подписывал кому-нибудь свидетельство, переводил какого-нибудь сановника из второго класса в первый или же, чтобы по возможности утишить честолюбивый пыл своих сограждан, учреждал на бумаге новую должность.

Он все еще трудился, тараща глаза и надувая щеки, как вдруг ему доложили, что какая-то дама под черной вуалью, отказавшаяся назвать свое имя, хочет с ним поговорить. Не пожелав войти к нему в дом, она осталась ждать в саду, и, услышав это, Тартарен, как был, в халате и в туфлях, устремился к ней.

День угасал, сумерки скрадывали очертания предметов, но ни наступившая темнота, ни густая вуаль не помешали Тартарену сейчас же узнать посетительницу по одним ее горящим глазам, сверкавшим сквозь тюль.

— Госпожа Экскурбаньес!

— Господин Тартарен! Перед вами глубоко несчастная женщина.

Голос у нее дрожал от слез. Добряк расчувствовался и заговорил с ней отеческим тоном:

— Бедная моя Эвелина! Скажите, что с вами?..

Тартарен звал по имени почти всех дам в городе,— он знал их еще девочками, потом, в качестве представителя муниципалитета, выдавал их замуж, он был их наперсником, другом, он был для них чем-то вроде дядюшки.

Он взял Эвелину за руку и стал ходить с ней вокруг бассейна с красными рыбками, а она начала рассказывать ему о своих горестях, о своих семейных неурядицах.

С тех пор как пошли разговоры о переселении в далекие края, Экскурбаньес при всяком удобном случае с видимым удовольствием говорил ей шутливо-угрожающим тоном:

— Вот увидишь, вот увидишь, дай нам только переехать в эту самую *Полигамию*...

Будучи женщиной крайне ревнивой, но в то же время простодушной, даже отчасти приглуповатой, она принимала эту шутку всерьез.

— Правда ли, господин Тартарен, что в этой ужасной стране мужчины могут жениться несколько раз?

Он мягко разуверил ее:

— Да нет же, милая Эвелина, вы ошибаетесь! Все дикари на наших островах моногамны. Нравы у них и без того строгие, а им еще предстоит перейти под начало к «белым отцам», так что с этой стороны опасаться нечего.

— А откуда же тогда название страны?.. Эта самая *Полигамия?..*

Тут только до Тартарена дошло озорство великого насмешника Экскурбаньеса, и он так и покатился со смеху:

— Ваш муж над вами подтрунивал, моя крошка. Страна называется не *Полигамия*, а *Полинезия*, что значит — группа островов, и опасного для вас тут ничего нет.

Сколько смеху было потом в Тарасконе!

Между тем дни шли за днями, а писем от эмигрантов не было— были только телеграммы, которые герцог пересылал в Тараскон из Марселя. Телеграммы эти, в спехе посылавшиеся из Адена, из Сиднея, во время остановок «Фарандолы», отличались чрезвычайной сжатостью.

Впрочем, тут не было ничего удивительного, если принять во внимание тарасконскую лень.

Собственно говоря, зачем писать письма? Достаточно телеграмм. А телеграммы, которые регулярно печатала «Порт-тарасконская газета», неизменно содержали в себе добрые вести:

«Путешествие чудесное, море как зеркало, все здоровы».

Для поддержания энтузиазма больше ничего и не требовалось.

Наконец однажды на первой странице газеты появилась следующая телеграмма, как всегда, пересланная из Марселя:

«Прибыли в Порт-Тараскон. Торжественный вход в гавань. Дружба с туземцами, вышедшими встречать на пристань. На ратуше развевается тарасконский флаг. В кафедральном соборе отслужен молебен. Все готово, приезжайте скорее».

Под этим была напечатана продиктованная самим Тартареном восторженная статья о новом отечестве, о молодом городе, о явной милости божьей, о знамени цивилизации, водруженном на девственной земле, о будущем, открытом для всех.

После этого никто уже не колебался. Облигации нового выпуска, по сто франков за гектар, раскупались так же ходко, как раскупаются свежие булки.

Третье сословие, духовенство, дворянство — весь Тараскон хотел теперь ехать. Переселенческая лихорадка, помешательство на переселении охватили весь город; даже самые упрямые, вроде Костекальда, самые равнодушные и недоверчивые из тарасконцев — и те превратились в самых ярых сторонников заморской колонизации.

Всюду с утра до вечера полным ходом шли приготовления. Ящики заколачивались прямо на улицах, заваленных соломой и сеном, слышалась непрерывная стукотня молотков.

Бодро настроенные мужчины работали в одних жилетах, напевали, насвистывали и, передавая друг другу инструменты, обменивались шутками. Женщины укладывали свои наряды, «белые отцы» — дароносицы, малыши — игрушки.

Судно, зафрахтованное для тарасконского высшего общества и окрещенное «Туту-пампам» (так все в Тарасконе называют тамбурин), представляло собою большой пароход, и вести его взялся тулонец Скрапушина, старый морской волк. Погрузка должна была состояться в самом Тарасконе.

Для корабля с такой небольшой осадкой Рона была достаточно полноводна, и он свободно дошел до тарасконской набережной, но самая погрузка заняла целый месяц.

Матросы расставляли в трюме бесчисленные ящики, будущие пассажиры заранее устраивались в каютах — и с каким увлечением, с какою предупредительностью друг к другу! Каждый старался быть полезным и приятным для своих спутников.

— Это место вам больше подходит? Сделайте одолжение!

— Эта каюта вам больше нравится? Пожалуйста!

И так во всем.

Тарасконская знать, обыкновенно такая чванливая,— все эти д'Эгбулиды, д'Эскюдели, привыкшие задирать нос,— держала себя теперь на равной ноге с мещанами.

Однажды утром, в самый разгар погрузки, пришло письмо от отца Везоля — это была первая почта непосредственно из Порт-Тараскона.

«Слава тебе, господи, мы приехали,— сообщал добрый инок.— Многого не хватает, а все же — слава тебе, господи!..»

Ни малейшего восторга и никаких подробностей.

Его преподобие упомянул лишь о короле Негонко и королевской дочке Лики-Рики, прелестной девочке, которой он, Везоль, подарил нитку бисера. В заключение он просил посылать что-нибудь более практичное, нежели обычные дары жертвователей. Вот и все.

О самом порте, о городе, о том, как колонисты устроились,— ни единого слова. Отец Баталье рвал и метал:

— Ваш отец Везоль — растяпа... Вот я ему задам по приезде!

В самом деле, от такого благодушного человека можно было ожидать менее сухого письма, однако дурное впечатление, которое оно произвело, потонуло в погрузочной суматохе, в оглушительном шуме переселения целого города.

Губернатор — иначе Тартарена теперь не называли — проводил все дни на палубе «Туту-пампама». Заложив руки за спину, он с улыбкой прохаживался взад и вперед среди груд самых разнообразных предметов, не нашедших себе места в трюме,— котомок, подсобных алтарных столиков, грелок,— и с высоты своего величия поучал:

— Ну куда столько, дети мои? Все это и там можно достать.

Сам он бросил и стрелы, и баобаб, и красных рыбок, а взял с собой американский тридцатидвухзарядный карабин, запас фланели и больше ничего.

И как он за всем смотрел, как зорко за всем следил — и на корабле и в городе! Он успевал побыть и на репетициях хорового кружка, и на Городском кругу, где происходили строевые занятия ратников ополчения.

Эта тарасконская военная организация, пережившая осаду Памперигуста, была еще усилена в предвидении защиты колонии и тех боевых действий, которые решено было предпринять для ее расширения. И Тартарен, в восторге от военной выправки ратников, часто в приказах выражал благодарность как им самим, так и их командиру Бравида.

И все же по временам губернаторское чело прорезала тревожная морщина.

Дело в том, что за два дня до отплытия «Туту-пампама» ронский рыбак по имени Барафор нашел в прибрежном ивняке герметически закупоренную бутылку, сквозь все еще прозрачное стекло которой можно было различить внутри что-то вроде свернутого листа бумаги.

Все рыбаки знают, что подобные находки следует передавать властям, а потому Барафор принес губернатору Тартарену таинственную бутылку, в которой находилось сногсшибательное послание:

«Европа,
Тараскон,
Тартарену.

Страшная катастрофа в Порт-Тарасконе. Остров, город, порт, все ушло под воду, все исчезло. Бомпар, как всегда, неподражаем и пал, как всегда, жертвой своего самоотвержения. Ради бога, не выезжайте! Пусть никто не трогается с места!»

Похоже было, что кто-то созорничал. Каким чудом бутылка могла доплыть по волнам из Океании до Тараскона?

И потом: «пал, как всегда» — ну разве это не мистификация? Как бы то ни было, подобное предзнаменование омрачало триумф Тартарена.

IV

Погрузка дракона. «Полный вперед!» Пчелы покидают улей. Запах Индии и запах Тараскона. Тартарен изучает папуасский язык. Дорожные развлечения

Вот вы все толкуете о живописности. Посмотрели бы вы на палубу «Туту-пампама» майским утром 1881 года — тогда бы вы поняли, что такое настоящая живописность! Все начальство было в полной парадной форме: начальник отдела здравоохранения Турнатуар, начальник сельскохозяйственного отдела Костекальд, главнокомандующий ополчением Бравида и еще человек двадцать поражали взор пестротою шитых серебром и золотом мундиров. На многих были еще красные с золотым галуном плащи, составлявшие форму одежды сановников первого класса. Среди этой разряженной толпы белым пятном выделялся отец Баталье, главный войсковой священник колонии и капеллан при губернаторе.

Особенно блистало ополчение. Большинство простых ратников было уже отправлено на других пароходах. Офицеры, с саблями на боку, с револьверами за поясом, рисовались своей стройной талией, выпячивали грудь под кокетливым доломаном с аксельбантами и нашивками и особенно гордились начищенными до блеска великолепными ботфортами.

Среди мундиров и сюртуков мелькали веселые, светлые, переливавшие всевозможными оттенками платья дам, их развевавшиеся на ветру ленты и шарфы, кое-где — тарасконские чепцы служанок. А надо всей этой толпой, над сверкавшим медью кораблем с поднятыми в небо мачтами вообразите себе чудесное праздничное солнце, затем вообразите широкую Рону, сливающуюся на горизонте с небом, волнующуюся, точно море, взъерошенную мистра-

лем, и вы получите полное представление о «Туту-пампаме» перед отплытием в Порт-Тараскон.

Герцог Монский не мог присутствовать при отправке корабля — его задержал в Лондоне выпуск новых акций. И то сказать: какая уйма денег нужна на содержание пароходов, экипажа, инженеров, на покрытие всех расходов по переселению! Сегодня утром герцог известил телеграммой, что деньги высланы. И все восхищались деловитостью северянина.

— Какой пример для нас с вами, господа! — восклицал Тартарен и всякий раз неукоснительно прибавлял: — Будем же ему подражать... Довольно увлечений!..

Надо отдать Тартарену справедливость, сам он держался очень спокойно, одет был просто и никому пыли в глаза не пускал, в отличие от других разряженных начальников, только на сюртуке у него красовалась надетая через плечо лента ордена первой степени.

С палубы «Туту-пампама» видно было, как на перекрестках появлялись группами колонисты, как они потом растекались по набережной, наконец их узнавали и называли по именам:

— А вот и Роктальяды!..

— *Э!* Господин Бранкебальм!

Крики, изъявления восторга!

Как только древняя вдова, графиня д'Эгбулид, которой было что-то около ста лет, в коричневой шелковой мантилье, держа в одной руке грелку, а в другой чучело старого попугая и тряся головой, стала проворно взбираться на палубу, ей была устроена бурная овация.

Дома запирались, в магазинах закрывались ставни, везде опускались шторы и жалюзи; город пустел с каждым мгновением, и оттого улицы стали как будто шире.

Когда все наконец взошли на корабль, настала минута всеобщего самоуглубления, торжественного молчания, а молчать было особенно хорошо под пыхтенье разводимых паров. Сотни глаз были устремлены на капитана — тот стоял в рубке и вот-вот должен был отдать приказ сниматься с якоря. Вдруг кто-то крикнул:

— А Тараск?..

Вы, наверное, слыхали про Тараска, про сказочное чудовище, от которого произошло название города — Тараскон. Напомню вам его историю вкратце: в давно минувшие времена это был страшный дракон, опустошавший устье Роны. Святая Марфа, после смерти Иисуса пришедшая в Прованс, отправилась в белой одежде к обитавшему среди болот зверю и на самой обыкновенной голубой ленте привела его в город — так непорочность и благочестие святой Марфы укротили и покорили зверя.

С тех пор тарасконцы через каждые десять лет устраивают праздник и водят по улицам сделанное из дерева и раскрашенного картона чудовище, помесь черепахи, змеи и крокодила, грубое, карикатурное изображение прежнего Тараска, ныне чтимого, как некий идол, живущего на счет города и известного во всей той стране под названием «отца-батюшки».

Уехать без «отца-батюшки» тарасконцам казалось немыслимым. Молодежь побежала за ним и сейчас же притащила на набережную.

Тут полились слезы и раздались восторженные крики, как будто в этом громоздком картонном чудище была заключена душа города, душа целого края.

Внутри корабля Тараск бы не поместился, а потому его устроили на палубе, и там он, с полотняным животом и расписной чешуей, смешной, огромный, возвышавшийся над бортами, похожий на чудовище из какой-нибудь феерии, дополнял то живописное, необычное зрелище, какое представляла собой отправка «Туту-пампама», ибо Тараск казался одною из тех химер, которые бывают изваяны на носу кораблей,— химер, правящих судьбами путешественников. Его почтительно окружили. Некоторые разговаривали с ним, ласкали его.

Тартарен подумал, как бы эта волнующая сцена не пробудила в сердцах его сограждан сожаления о покидаемой отчизне, и по его знаку капитан Скрапушина громовым своим голосом подал команду:

— Полный вперед!..

Вслед за тем загремели фанфары, раздался свисток, под винтом забурлила вода, но все эти звуки покрыл голос Экскурбаньеса:

— *Двайте шумэть!..*

Берег в одно мгновение отдалился. Город, башня короля Рене — все отступало, уменьшалось, тонуло в солнечном свете, игравшем на волнах Роны.

Тарасконцы, склонившиеся над бортом, спокойные, улыбающиеся, без волнения следили за тем, как уходит от них родина, как она исчезает вдали,— милый Тараск был теперь с ними, и они грустили не больше, чем пчелиный рой, меняющий улей под звон сковородок, или косяк скворцов, улетающих в Африку.

И в самом деле, Тараск покровительствовал им. Дивная погода, искрящаяся морская гладь, ни бури, ни ветра — на редкость благополучное плавание.

Только в Суэцком канале под жгучими лучами солнца путешественники слегка высунули языки, хотя на всех тарасконцах были головные уборы, которые они на себя надели в подражание Тартарену, а именно — обтянутые белым полотном пробковые шлемы

с вуалью из зеленого газа. Впрочем, они не очень страдали от этого пекла, их давно уже приучило к нему небо Прованса.

После Порт-Саида и Суэцкого канала, после Адена, после того, как осталось позади Красное море, «Туту-пампам» быстрым и ровным ходом пошел через Индийский океан, под молочно-белым небом, бархатистым, как одно из тех чесночных блюд, один из тех чесночных соусов, которые переселенцы ели за каждой трапезой.

В каком невероятном количестве потребляли они чеснок на корабле! Они взяли с собой огромный запас, и упоительный аромат чеснока был подобен струе за кормой — так запах Тараскона сливался с запахом Индии.

Путь корабля лежал теперь мимо островов, и острова эти всплывали на поверхность корзинами редкостных цветов, среди которых порхали, словно усыпанные драгоценными камнями, чудные птицы. Тихие прозрачные ночи, осиянные мириадами звезд, были точно пронизаны далекими, смутно различимыми звуками музыки и пляской баядерок.

Мальдивские острова, Цейлон, Сингапур были очаровательны, но тарасконки во главе с г-жой Экскурбаньес не позволяли мужьям сходить на сушу.

Свирепый инстинкт ревности заставлял их быть начеку в Индии с ее опасным климатом, с этими истомою дышащими испарениями, которые ощущались даже на палубе «Туту-пампама». Надо было видеть, как застенчивый Паскалон, плененный аристократической прелестью мадемуазель Клоринды дез Эспазет, высокой красивой девушки, по вечерам склонялся подле нее над бортом.

Добрый Тартарен, поглядывая на них издали, усмехался себе в усы,— он предчувствовал, что по приезде будет сыграна свадьба.

Заметим кстати, что с самого начала путешествия губернатор был решительно со всеми кроток и снисходителен и этим резко отличался от грубого и угрюмого капитана Скрапушина, который вел себя на корабле, как настоящий тиран: вспыхивал при малейшем вашем возражении и кричал, что он застрелит вас, «как собаку». Терпеливый и рассудительный, Тартарен не перечил капитану, старался даже оправдать его в глазах пассажиров и, дабы отвратить его гнев от ратников ополчения, подавал им пример неутомимой деятельности.

Утренние часы он посвящал изучению папуасского языка, а руководил им в этих занятиях его преподобие отец Баталье, бывший миссионер, знавший и этот язык, и еще много других.

Днем Тартарен собирал всех на палубе или же в кают-компании и читал лекции, в которых он делился с аудиторией только что приобретенными им самим познаниями относительно того,

как надо разводить сахарный тростник и что можно делать из трепангов.

Два раза в неделю преподавалась охота, так как, по слухам, колония изобиловала дичью,— это вам не Тараскон, где приходилось бить влет по фуражкам.

— Вы стреляете хорошо, дети мои, но вы стреляете чересчур поспешно,— говорил Тартарен.

У тарасконцев была слишком горячая кровь — надо было научиться держать себя в руках.

И Тартарен давал им превосходные советы, учил их менять темп стрельбы в зависимости от того, какую дичь выцеливаешь, учил их считать точно, как метроном:

— Для перепела — три темпа: раз, два, три — бах!.. Готово дело... Для куропатки,— тут он махал рукой, подражая полету птицы,— для куропатки достаточно двух: раз, два — бах!.. Можете подбирать — она убита.

Так проходили однообразные часы плавания, и каждый оборот винта приближал этих славных людей к осуществлению их мечтаний,— мечтали же они всю дорогу, тешили себя смелыми планами на будущее, в самом розовом свете представляли себе, что ожидает их по прибытии, говорили только о том, как они устроятся на новом месте, как распашут новь, какие введут улучшения на своих участках.

Воскресенье считалось днем отдыха, праздничным днем.

Отец Баталье с великой торжественностью служил на корме литургию. И когда он поднимал чашу с дарами, трубили трубы и воинственно били барабаны. После службы его преподобие рассказывал какую-нибудь занимательную притчу и преподносил ее не столько как проповедь, сколько как поэтическую мистерию, дышащую пламенной верой южан.

Вот одна из его повестей, наивных, как житие святого, изображенное на витражах ветхой деревенской церкви. А чтобы почувствовать всю ее прелесть, представьте себе только что надраенный пароход, сверкающий всеми своими медными частями, дам, усевшихся в кружок, губернатора в плетеном кресле, которого обступили начальники в парадной форме, ратников ополчения, выстроившихся по бокам, матросов на вантах — всех этих затаивших дыхание людей, не спускающих глаз с отца Баталье, стоящего на амвоне. Стук винта вторит звукам его голоса. В высокое ясное небо поднимается прямая и тонкая струя пара. В волнах плещутся дельфины. Морские птицы — чайки, альбатросы — с криками летят за кораблем, и сам кривобокий «белый отец» в тот миг, когда он машет своими широкими рукавами, напоминает одну из этих огромных птиц, взмахивающих крыльями перед полетом.

V

Подлинная история Антихриста, рассказанная его преподобием отцом Баталье на палубе «Туту-пампама»

— Снова в рай веду я вас, дети мои, в то обширное лазурное преддверье, где находится первоверховный апостол Петр со связкой ключей за поясом, всегда готовый распахнуть врата для избранных душ, как скоро они к нему явятся. К несчастью, с течением времени люди стали до того злыми, что даже лучшие из них после смерти не заходят выше чистилища, и доброму апостолу Петру остается только оттирать наждачной бумагой ржавчину с ключей да снимать паутину, прилепившуюся ко вратам, точно судебная печать. Временами ему чудится стук.

— Наконец-то!..— говорит он.— Кто-то идет... Насилу дождался...

С этими словами апостол отворяет окошечко, но вместо тени избранника он созерцает лишь планеты, неподвижные или же текущие в пространстве с тем еле слышным шумом, с каким спелый апельсин срывается с ветки, и только этот шум и нарушает царящее вокруг вечное, безграничное молчание.

Можете себе представить, как это должно быть обидно для доброго, любвеобильного апостола, как сокрушается он денно и нощно, какие жгучие, какие горючие слезы текут у него из очей, оставляя на щеках две глубокие борозды, подобные колеям дороги между Тарасконом и Монмажуром!

В конце концов постоянное одиночество истомило бедного ключаря, он затосковал у себя в преддверии, и вот как-то раз его навестил святой Иосиф и сказал ему в утешение:

— Какое тебе, в сущности, дело до того, что люди не подходят больше к твоим вратам?.. Чем тебе здесь плохо? Твой слух радует дивное пение, обоняние ласкают нежнейшие благовония...

Как раз в это время из пролета разверстых семи небес подул теплый ветерок, полный звуков и таких благоуханий, о которых, друзья мои, ничто не может дать вам представление, даже запах лимона и свежей малины, а ведь им только что дохнуло нам в лицо море с подветренной стороны, где виднеется пышный букет розовых островов.

— Ох! — вздохнул добрый апостол.— Мне в благословенном раю живется прекрасно, но я хотел бы, чтобы и все мои бедные чада были тут, со мной...

И вдруг неожиданно вознегодовал:

— Ах, мерзавцы, ах, дураки!.. Нет, Иосиф, господь еще слишком милостив к этим негодяям... Я бы на его месте не так с ними обошелся.

— А как бы ты с ними обошелся, мой милый Петр?

— Ого! Я бы этот муравейник пнул ногой — пропади пропадом весь род человеческий!

Святой Иосиф мотнул седой бородой... Какой же это будет страшенный пинок, коли он сокрушит землю!.. Еще куда ни шло турки, нехристи, азиаты, пусть они будут сметены во прах, но христианский мир воздвигнут на прочных основаниях, создан самим сыном божиим...

— Именно...— продолжал апостол Петр.— Но что Христос основал, то он же может и разрушить. Я бы вторично послал сына божия к этим висельникам, и сей Антихрист, то есть переодетый Христос, задал бы им такого звону!..

Добрый апостол говорил это в сердцах, особенно не вникая в смысл своих речей и уж никак не думая, что они дойдут до божественного учителя, но, к вящему его изумлению, перед ним неожиданно предстал сын человеческий с узелком на конце странического посоха, который он нес на плече, и мягко, но властно сказал:

— Пойдем, Петр... Я беру тебя с собой.

По бледному лицу Иисуса, по лихорадочному блеску его обведенных кругами глаз, сверкавших ярче, чем нимб, Петр сразу понял все и пожалел, что сболтнул. Дорого бы он дал, чтобы не состоялось это второе пришествие сына божия на землю, особенно чтобы не быть его спутником! Он заметался в отчаянии, руки у него задрожали.

— Ах, боже мой!.. Ах, боже мой!.. Куда же мне деть ключи?

В самом деле, брать с собой в далекое путешествие такую тяжелую связку — это большая обуза.

— А кто будет охранять врата?

Тут Иисус, читавший в его душе, улыбнулся и сказал:

— Оставь ключи в замочной скважине, Петр... Ты же сам отлично знаешь, что к нам сюда никто не ходит.

Он говорил мягко, но в его улыбке и голосе чувствовалось все же что-то неумолимое.

* * *

Как было предсказано в Священном писании, знамения небесные возвестили сошествие на землю сына человеческого, но люди, превратившиеся в ползучих тварей, давно уже не поднимали очей горé; поглощенные своими страстями, они проглядели явление учителя и его верного апостола, а те еще взяли с собой разнообразные одеяния и могли рядиться во что им только вздумается.

В первом же городе, куда они прибыли как раз накануне казни знаменитого разбойника Кровожада, на душе у которого было

много чудовищных злодеяний, рабочие, воздвигавшие ночью помост, пришли в изумление, увидев при свете факелов, что с ними заодно трудятся два неведомо откуда взявшихся незнакомца: один — стройный и горделивый, точно незаконнорожденный княжеский сын, с раздвоенной бородкой, с глазами, как драгоценные камни, а другой — уже согбенный, с добродушным и усталым выражением лица, с двумя желобками морщин на дряблых щеках. Потом, на рассвете, когда помост был сооружен, когда народ и городские власти собрались на казнь, плотной стеной окружив гильотину, оба чужеземца исчезли, но что-то они там успели наворожить, из-за чего вся механика оказалась испорченной, ибо после того, как осужденного бросили на помост, хорошо отточенный нож из наилучшей стали падал раз двадцать подряд, но даже не поцарапал преступнику кожу на шее.

Рисуете себе картину? Судьи растерянны, народ в ужасе, палач тузит своих подручных, рвет на себе слипшиеся от пота волосы, а Кровожад — этот изверг, конечно, был из Бокера и вдобавок ко всем прочим порокам отличался еще дьявольскою гордыней,— вертя своей бычьей шеей в кольце гильотины, злобно орет:

— Ну что?.. Ничего вам со мной не поделать!.. Такой уж я человек — никакая сила меня не берет!..

В конце концов полиция уволокла его обратно в тюрьму, а вокруг разломанного эшафота, трещавшего, взметавшего к небу искры, словно костер в Иванову ночь, плясала и завывала чернь.

С тех пор не только в этом городе, но и во всех цивилизованных странах смертные приговоры словно кто заколдовал. Меч закона не отсекал больше голов, а так как убийцы ничего, кроме смерти, не боятся, то скоро весь мир погряз в преступлениях, на улицах и на дорогах запуганным честным людям не стало проходу, а между тем душегубы, коими тюрьмы были набиты битком, жирели на казенных харчах, ударом каблука проламывали сторожам головы, выдавливали им большим пальцем глаза, а не то, потехи ради, раскалывали им черепа — любопытно, дескать, посмотреть, что там внутри.

Род человеческий редел на глазах, редел вследствие того, что правосудие было обезоружено, и, преисполнившись сострадания к людям, решив, что с них довольно, добрый апостол Петр с подобострастным смешком однажды заметил:

— Хороший урок мы им дали, учитель, долго будут помнить... А теперь, пожалуй, можно и восвояси?.. Дело вот в чем: я, знаете ли, беспокоюсь — наверно, я нужен там, наверху.

Сын человеческий чуть заметно улыбнулся.

— Вспомни, — сказал он, подняв палец: — «Что Христос основал, то он же может и разрушить!..»

При этих словах апостол Петр поник головой.

«Это я сболтнул, дети мои, это я сболтнул!» — подумал он.

* * *

Разговор учителя с апостолом происходил на злачной ниве, расстилавшейся по склону холма, у подножья которого великолепный столичный город всюду, куда ни оглянись, возносил свои купола, кровли, узорчатые звонницы и стрельчатые башни соборов, увенчанные разной формы крестами, сверкавшими в лучах мирно догоравшего заката.

— Уж, верно, тут у них есть и монастыри и церкви!..— стараясь отвратить гнев господа, сказал добрый старик.— Что ни говори, благолепие!

Но ведь вы же знаете, что Иисус до глубины души презирает пышную ханжескую обрядность фарисеев, презирает церкви, куда ходят только потому, что так принято, и монастыри, где изготовляют эликсир Гарюс и шоколад. Вот почему он молча ускорил шаг, и среди высоких хлебов, хорошо в том году уродившихся, мелькал лишь узелок с одеждой, покачивавшийся на конце странического посоха грозного истребителя человечества... А в том городе, куда они вошли, жил старый-престарый император, за свое необычайное могущество и необычайную справедливость признанный главою всех государей Европы, приковавший войну к лафетам пушек, применявший и силу, и все свое красноречие для того, чтобы удержать народы от взаимного истребления.

Между волками и собаками действовало молчаливое соглашение: пока император у власти, овцы могут пастись спокойно, ну, а уж потом, дескать, не взыщи! Вот почему все так дорожили добрым императором; любая мать, не задумываясь, позволила бы вскрыть себе вены и отдала бы ему свою бурную алую кровь.

И вдруг любовь превратилась в ненависть, по городу распространился исполненный адской злобы призыв:

— Убьем его!.. Этот добрый тиран — самый отвратительный из всех, ибо он отнял у нас даже право на бунт.

А теперь сами догадайтесь, что это за таинственный незнакомец с горящими глазами руководил разрушительными работами под императорским дворцом, под который был подведен подкоп и заложен динамит, во мраке подземелья, где по пояс в воде орудовали заговорщики, сами догадайтесь, кто изгонял из сердец жалость и страх и, когда раздался взрыв, исторг из всех грудей ликующий крик: «Ура!..»

О, бедный император! От него мало что осталось под обломками! Клочки обгорелой бороды да одна рука, от сильного жара скрутившаяся жгутом. И в тот же миг завыла сорвавшаяся с цепи война, небо потемнело от вороньих стай над границами, бойня как началась, так уж потом и не кончилась.

* * *

Меж тем как народы с помощью смертоносных орудий истребляли друг друга и всюду, насколько хватал глаз, пылали, точно факелы, взятые приступом города,— по дорогам, запруженным тележками без возчиков и бегущим скотом, по паровым полям, по берегам рек, красных от крови, мимо безжалостно потоптанных виноградников и посевов легкой стопою шел Иисус с неизменным посохом на плече, и лежал его путь в дальнюю-дальнюю страну, к прославленному врачу по имени Мов, а следом за Иисусом поспешал добрый старый апостол, тщетно пытавшийся умилостивить его.

Искусный целитель людей и животных, Мов стремился подчинить себе все силы природы и найти средство продления человеческой жизни, и он чуть-чуть не нашел его, он был почти у цели, как вдруг однажды по неосторожности его нового помощника, красивого бледного юноши, который после этого бесследно исчез, несколько склянок с летучими ядами остались на ночь незакупоренными, и доктор Мов, отворив утром свою дверь, пал бездыханный.

Таким образом, жизнь человеческая не только не была продлена, а, наоборот, укоротилась, ибо врач собирал у себя для изучения многое множество древних болезней, как, например, особые виды проказы: египетскую и средневековую, и зародыши их, выпущенные из реторт, распространились по всему миру и опустошили его. Как во времена древних иудеев, появилась несметная сила отвратительных чумных жаб; затем — лихорадки: желтая, злокачественная, перемежающаяся, возвращающаяся на третьи, на вторые сутки, чума, тифы — целый сонм исчезнувших было и вновь появившихся болезней, а также болезней, дотоле неведомых, и все они получили в народе общее название «болезни доктора Мова».

Храни вас господь, дети мои, от этой ужасной болезни!

Кости плавились, как стекло, мускулы сами выдергивались, как нитки. Боль была так сильна, что уже не хватало сил кричать. Прежде чем умереть, больные распадались на части, их тела, превратившись в кашу, валялись на дорогах, а чтобы подобрать их, у дорожных мастеров не хватало ни лопат, ни повозок.

— Ишь ты!.. Славно мы потрудились!..— говорил апостол Петр деланно веселым голосом, в котором, однако, слышались

слезы.— А теперь, учитель, не пора ли нам домой?.. Я уж соскучился.

Иисус отлично знал, что под этой личиной скуки скрывается великая жалость к людям, но, несмотря на свое мягкосердечие, он поклялся истребить их всех до единого. И то сказать: они его довели!.. Всякому терпению приходит конец.

И вот как-то раз, когда он ранним, розовым с прозеленью утром молча шел вместе со старым апостолом по деревне, внезапно сквозь мычанье коров и пенье петухов, приветствовавших восходящее солнце, до него долетел вопль человека, крик женщины, и крик этот, чередуя приливы и отливы, точно морская волна, то при потугах мощно вздымался, грозя просверлить небосвод, то, чуть отлегнет, замирал, переходя в тихий протяжный стон, стон, который узнает всякий, кто хоть когда-нибудь слышал его. Новое существо являлось на заре в мир. Иисус в раздумье остановился. Если они все еще рождаются, то какой же смысл уничтожать их?.. И, повернувшись к лачуге, из которой доносился вопль, он угрожающе простер свою белую руку.

— Смилуйся!.. Смилуйся, учитель, над крошками!..— всхлипнул добрый апостол Петр.

Господь быстро успокоил его.

Он сделает подарок и этому младенцу, и всем, которые народятся на земле. Петр не посмел спросить, какой же именно, но я вам скажу, друзья мои. Иисус стал наделять бедных агнцев опытом, и это был несчастный дар.

В самом деле, прежде опыт умирал вместе с человеком. А теперь, благодаря Иисусовым щедротам, опыт на земле стал накапливаться. Дети рождались печальные, старообразные, разочарованные. Едва открыв глазки, они уже видели конечную цель всего сущего, и в мире стало твориться что-то ужасное: младенцы кончали с собой, малые детки в отчаянии накладывали на себя ручонки.

Но этим дело не ограничилось: прóклятый богом род человеческий не желал исчезать,— несмотря ни на что, он упорно продолжал жить.

Тогда, чтобы поскорее разделаться с ним, Христос отнял у мужчин и женщин способность любить, отнял чувство прекрасного. На земле не осталось больше ничего светлого, люди уже не находили отрады ни в молитве, ни в сладострастии. Люди искали только забвения, не мечтали ни о чем, кроме сна... О, скорей бы уснуть!.. Только бы ни о чем не думать, только бы не жить...

Как видите, бедный род человеческий находился в весьма плачевном состоянии, да и это состояние, конечно, продолжалось бы недолго, так как неутомимый истребитель не мешкал. Он попрежнему в образе странника с узелком на конце посоха бродил

по свету, а за ним плелся его усталый, сгорбленный спутник, на щеках у которого борозды от проливаемых слез становились все глубже, по мере того как учитель, проходя по земле, насылал на людей извержения вулканов, циклоны и землетрясения.

Но вот однажды, ясным утром Успеньева дня, Иисус шествовал по водам так, как об этом рассказывается в Евангелии, и наконец очутился среди островов Океании, в той самой части Тихого океана, где плывем сейчас мы с вами.

С букета цветущих островов ветер донес до него голоса женщин и детей, распевавших провансальские песни.

— Э, да это никак тарасконцы! — воскликнул апостол Петр.

Иисус обернулся к нему.

— Наверно, эти тарасконцы дурные христиане?

— Ах, учитель, они уже давно исправились! — боясь, что по мановению божественной десницы остров, к которому они приближались, поглотят волны, поспешил ответить сердобольный апостол.

Вы, конечно, догадались, что остров этот был Порт-Тараскон, жители которого в Успеньев день устроили торжественную процессию.

И какую процессию, дети мои!

Впереди шли кающиеся, всякого рода кающиеся: синие, белые, серые, всех цветов, и звонили в колокольчики, сливавшие воедино свои хрустальные и серебристые звуки. За кающимися следовали общины женщин, и женщины эти были в длинных белых покрывалах, как обыкновенно изображают мучениц в раю. За ними несли древние хоругви, до того высокие, что вытканные на них святые с нимбами, вышитыми золотом по шелку, казалось, нисходили на толпу с неба. Далее несли чашу со святыми дарами под воздухом из красного бархата, тугим, тяжелым, увенчанным высокими султанами, рядом детский хор нес на длинных позолоченных палках большие зеленые фонари с зажженными свечечками. А сзади валил и стар и млад — народ молился и пел вовсю.

Процессия, обходя остров кругом, то спускалась на песчаный берег, то взбиралась на холмы и горы, и там, на вершинах, от больших раскачивавшихся кадил струился прямо к солнцу легкий сизый дымок.

— Как красиво!..— прошептал в изумлении апостол Петр и больше не прибавил ни слова,— после стольких тщетных усилий он уже не надеялся смягчить своего спутника, но на сей раз ошибся.

Сын человеческий, растроганный до глубины души этими порывами наивной веры, смотрел на развевающиеся хоругви Порт-

Тараскона и, стоя неподвижно на гребне волны, в первый раз пожалел о том, что сделался орудием смерти.

Внезапно он, подняв голову, обратил свое кроткое, бледное лицо к небу, и в безмолвии притихшего моря прозвучал его громовой, наполнивший собой вселенную голос:

— Отец! Отец! Повремени!..

И, разделенные световым пространством, отец и сын поняли друг друга без дальних слов.

* * *

На этом отец Баталье кончил свой рассказ. Взволнованные слушатели сидели молча, не шевелясь, как вдруг с капитанского мостика «Туту-пампама» раздался голос Скрапушина:

— Господин губернатор! Показался остров Порт-Тараскон. Через час станем на рейде.

Тут все вскочили, и поднялся неистовый гам.

VI

Прибытие в Порт-Тараскон. Никого. Высадка ополчения. Апте... Безю... Бравида устанавливает связь. Ужасная катастрофа. Татуированный аптекарь

— Что за черт!.. Никто не вышел нас встретить...— как только гул первых криков восторга утих, проговорил Тартарен.

Должно быть, с суши еще не успели заметить корабль.

Нужно дать знать о своем прибытии. И вот три пушечных выстрела прокатились над двумя длинными, поросшими влажною, тучною зеленью островами, между которыми стал пароход.

Все взоры обратились к ближнему берегу, к узкой песчаной полоске в несколько метров шириною; над этой полоской возвышалась крутая гора, и по ее обрывам с вершины в море низвергалась темно-зеленая растительность.

Когда раскаты пушечных выстрелов прекратили свою воркотню, неприветливые острова вновь окутала мертвая тишина. Нигде ни души. А главное, не видно ни порта, ни форта, ни города, ни молов, ни сухих доков — ничего!.. Это уж непостижимо.

Тартарен обратился к Скрапушина, который подал команду бросить якорь:

— Вы уверены, капитан?..

Вспыльчивый моряк разразился потоком брани. Ах, разэтакий такой, уверен ли он!.. Кто-кто, а уж он, разрази гром, свое дело знает!.. Уж корабль-то вести он умеет!..

— Принесите мне карту острова, Паскалон...— не теряя присутствия духа, сказал Тартарен.

К счастью, он располагал картой большого масштаба, и на ней были тщательно нанесены мысы, заливы, реки, горы — все вплоть до наиболее примечательных городских монументов.

Карту немедленно разложили, и Тартарен, окруженный всеми своими спутниками, водя по ней пальцем, принялся изучать ее.

Так, так... Здесь остров Порт-Тараскон... Другой остров, напротив, вот он... Мыс... Отлично... Налево коралловые рифы... Великолепно... Но тогда что же? Город, порт, жители — куда это все делось?

Слегка заикаясь, Паскалон робко высказал предположение, что, быть может, это шутка Бомпара, проказы которого были известны всему Тараскону.

— С Бомпара это станется...— заметил Тартарен.— Но такой благоразумный, такой положительный человек, как Безюке... Да и потом, сколько ни шути, а ведь целый город, порт и ремонтные доки под полой не спрячешь.

В подзорную трубу можно было разглядеть на берегу что-то вроде барака, но коралловые рифы не подпускали корабль ближе, а на таком расстоянии все заслоняла темно-зеленая листва.

Пассажиры, уже готовые к высадке, с узелками в руках, среди них — престарелая вдовица д'Эгбулид, не расставававшаяся с грелкой, в полном недоумении озирались вокруг, и этому всеобщему оцепенению поддался сам губернатор, ибо все слышали, как он вполголоса произнес:

— Странно, более чем странно!..

Впрочем, он тут же приосанился:

— Капитан, снарядите большую шлюпку! Командир Бравида, трубите сбор ратников ополчения!

Пока горнист выпевал свое «ту-ру-ру», пока Бравида производил перекличку, Тартарен, как ни в чем не бывало, успокаивал дам:

— Не волнуйтесь. Я уверен, что все объяснится...

Мужчинам, остававшимся на корабле, он говорил:

— Мы вернемся через час. До нашего возвращения пусть никто не трогается с места.

А пассажиры и не думали трогаться,— они обступили Тартарена и повторяли за ним:

— Да, да, господин губернатор... Все объяснится... Мы тоже уверены...

И в эту минуту Тартарен в их глазах вырастал до колоссальных размеров.

В шлюпке, кроме него, заняли места его секретарь Паскалон, капеллан отец Баталье, Бравида, Турнатуар, Экскурбаньес и ратники ополчения, все, как один, вооруженные до зубов, с саблями,

топорами, револьверами, карабинами, а Тартарен, разумеется, не забыл взять с собой пресловутый тридцатидвухзарядный винчестер.

Когда шлюпка подошла ближе к пустынному, без малейших признаков жизни берегу, показалась сколоченная из бревен и досок ветхая пристань на замшелых сваях, погруженных в стоячую воду. Неужели это тот самый мол, на который туземцы выходили встречать пассажиров «Фарандолы»? Просто невероятно! Чуть поодаль виднелось нечто похожее на старый барак с закрытыми железными, выкрашенными суриком ставнями, от которых неподвижная вода в затоне принимала кровавый отсвет. Деревянная крыша барака потрескалась, осела.

Едва успев высадиться, переселенцы побежали к бараку. Он и внутри оказался такой же развалиной, как и снаружи. Сквозь дырявую крышу были видны широкие ленты небесной лазури, покоробившийся, прогнивший пол проваливался, в щели уползали огромные ящерицы, на стенах кишмя кишели черные насекомые, липкие жабы мокли по углам. Тартарен, войдя первым, чуть не наступил на змею толщиной в руку. Всюду стоял противный, тошнотворный запах сырости, плесени.

Уцелевшие остатки перегородок указывали, что барак был разделен на ряд тесных помещений, не то вроде стойл в конюшне, не то вроде кают. На одной из перегородок крупными буквами было выведено: «АПТЕ... БЕЗЮ...» Остальное съела плесень. Однако и несведущий человек легко мог догадаться, что это означало: «Аптека Безюке».

— Я понял, в чем дело,— сказал Тартарен.—Климат на этом склоне горы нездоровый, и, попытавшись сначала устроиться здесь, они в конце концов обосновались по ту сторону.

Затем он решительным тоном приказал командиру Бравида повести ратников ополчения в разведку,— как только, мол, они взойдут на вершину и окинут взором весь остров, так, конечно, увидят дымящиеся трубы города.

— Устано́вите связь — сейчас же дайте нам знать ружейным залпом.

А он, Тартарен, останется здесь, внизу, в штаб-квартире, с секретарем, капелланом и другими.

Бравида и лейтенант Экскурбаньес построили своих людей и тронулись в путь. Ратники ополчения сначала хорошо держали строй, но идти вверх по горе, покрытой вязким и скользким мхом, было нелегко, и ряды скоро смешались.

Перейдя ручеек, ратники обнаружили на том берегу остатки мостков и кем-то забытый валек, уже зеленые от всюду набивав-

шегося и все разъедавшего мха. Немного дальше виднелись развалины какого-то строения, по-видимому, блокгауза.

Когда же разведчики наткнулись на сотни ям, расположенных на очень близком расстоянии одна от другой и предательски прикрытых сверху колючками и лианами, то боевой порядок ратников ополчения расстроился окончательно.

Несколько человек провалилось, спугнув своим падением, лязгом оружия и снаряжения жирных ящериц, вроде тех, что ползали в бараке. Ямы, однако, оказались невелики. Это были ряды неглубоких выемок.

— Похоже на старое кладбище,—заметил лейтенант Экскурбаньес.

На эту мысль навели его ветки, кем-то переплетенные как бы крестом, но теперь вновь зазеленевшие, мало-помалу принимавшие свое естественное положение, напоминавшие лозы дикого винограда. Во всяком случае, это было заброшенное кладбище; разведчики нигде не обнаружили ни одной кости.

Долго еще шли они вверх, с трудом продираясь сквозь частый кустарник, и наконец достигли вершины. Тут уже дышалось вольнее, воздух на горе беспрестанно освежался ветром, насыщенным запахами моря. Вдали простиралась широкая равнина, спускавшаяся к морю незаметно для глаза. По-видимому, город был именно там.

Один из разведчиков указал на столбы дыма, а Экскурбаньес весело крикнул:

— Чу!.. Тамбурины!.. Фарандола!..

Плясовой ритм фарандолы ни с чем нельзя было спутать. Порт-Тараскон шел к ним навстречу.

Уже видны были люди — из-за противоположного склона на том конце плоскогорья показалась толпа.

— Стой! — внезапно скомандовал Бравида.— Да это уж не дикари ли?

Впереди всей оравы под стук тамбуринов плясал высокий, худой чернокожий, в матросском тельнике, в синих очках, и потрясал томагавком.

Оба войска остановились и принялись рассматривать друг друга на расстоянии, как вдруг Бравида залился хохотом:

— Это уж он пересолил!.. Ах, проказник!..

И, вложив саблю в ножны, помчался вперед.

Ратники кричали ему вслед:

— Командир!.. Командир!..

Но он их не слушал, он бежал по направлению к танцующему и, полагая, что обращается к Бомпару, кричал:

— Узнал, узнал тебя, дружище!.. Уж это чересчур по-дикарски!.. Чересчур первобытно!..

Тот, вертя своим оружием, продолжал плясать. Когда же несчастный Бравида убедился, что перед ним настоящий канак, было уже поздно: тяжким ударом палицы дикарь пробил ему пробковый шлем, вышиб из его немудрой головы мозг, и Бравида растянулся на земле.

В то же мгновение взметнулся вихрь воплей, пуль и стрел. Видя, что командир убит, ратники ополчения инстинктивно открыли огонь, а затем пустились наутек, не заметив, что и дикари спасаются от них бегством.

Тартарен услыхал стрельбу.

— Они установили связь! — радостно воскликнул он.

Но немного спустя ликование у него в душе сменилось ужасом: его солдатики неслись сломя голову, перепрыгивая через кусты, кто без шапки, кто без сапог, и оглашали воздух устрашающим криком:

— Дикари!.. Дикари!..

Поднялась невероятная паника. Шлюпка отчалила и стала быстро удаляться. Губернатор бегал взад и вперед вдоль берега.

— Спокойствие!.. Спокойствие!..— кричал он осипшим голосом, голосом испуганной чайки, и этим только наводил еще больше страху на своих соотечественников.

Несколько минут на узкой песчаной полосе продолжалась кутерьма повального бегства, но так как никто толком не знал, куда бежать, то все в конце концов сбились в кучу. К тому же дикари не показывались; можно было устроить поверку, расспросить.

— А командир?

— Убит.

Выслушав рассказ Экскурбаньеса о роковой ошибке Бравида, Тартарен воскликнул:

— Бедный Пласид!.. Как это было неосмотрительно!.. Во враждебной стране!.. Стало быть, он не произвел разведки...

Тартарен немедленно отдал приказ расставить часовых, и отряженные в караул двинулись попарно медленным шагом, твердо решив не отрываться от главных сил. Потом всех созвали на совет, а Турнатуар между тем занялся перевязкой раненого, пораженного отравленной стрелой и чудовищно пухнувшего у всех на глазах.

Слово взял Тартарен:

— Прежде всего надо избегнуть кровопролития.

Он предложил послать отца Баталье с пальмовой ветвью: отец Баталье, мол, станет издали помахивать ею, а сам в это время

разведает, что творится у неприятеля и что сталось с первой партией переселенцев.

— А, да ну вас с вашей пальмой!..— вскричал отец Баталье.— Дайте-ка мне лучше ваш тридцатидвухзарядный винчестер.

— Что ж, если его преподобие не хочет идти, так я пойду сам,— объявил губернатор.— Но вам все-таки придется пойти со мной, господин капеллан, а то ведь папуасский язык я знаю неважно.

— Я тоже...

— Дьявольщина!.. Чему же вы меня тогда три месяца учили?.. Какого же языка уроки я брал на корабле?..

Отец Баталье, как истинный тарасконец, моментально вышел из положения, заявив, что он знает язык не здешних папуасов, а папуасов тамошних.

Во время этих пререканий вновь вспыхнула паника: в том направлении, куда ушли часовые, загремели ружейные выстрелы, и из чащи леса послышался отчаянный голос, кричавший с тарасконским акцентом:

— Не стреляйте!.. Не стреляйте, прах вас побери!..

Мгновение спустя из кустов выскочило какое-то необыкновенно безобразное существо, с ног до головы выпачканное в красной и черной краске, точно оно надело на себя костюм клоуна. Это был Безюке.

— Э!.. Да это Безюке!

— Эге! Ну как дела?

— Что тут происходит?..

— Где же остальные?

— Где город, порт, сухой док?

— От города,— ответил аптекарь, указывая на развалившийся барак,— осталось вот что, от жителей — вот кто.— Тут он указал на себя. — Но только прежде дайте мне что-нибудь накинуть, чтобы не видать было тех мерзостей, которыми эти негодяи меня изукрасили.

В самом деле, дикари острым концом стрелы нарисовали на его коже всякие пакости, какие только могло измыслить их грязное горячечное воображение.

Экскурбаньес дал ему свой плащ сановника первого класса, и, пропустив для бодрости водки, злосчастный Безюке с еще не утраченным им акцентом и по-тарасконски велеречиво начал рассказывать:

— Нынче утром вы пришли в горестное изумление, удостоверившись, что город Порт-Тараскон существует только на карте.

Представьте же себе, как мы, прибыв на «Люцифере» и на «Фарандоле»...

— Простите, я вас перебью,— заметив, что часовые на опушке леса подают тревожные сигналы, сказал Тартарен.— Лучше, если мы выслушаем вас на корабле,— там нам будет спокойнее. Здесь на нас могут напасть каннибалы.

— И не подумают... Ваши выстрелы обратили их в бегство... Они покинули остров, а я этим воспользовался и удрал от них.

Тартарен стоял на своем. Он считал необходимым, чтобы Безюке рассказал обо всем Большому совету. Положение было серьезное.

Шлюпке, которая с самого начала стычки трусливо держалась на расстоянии, дали знак подойти к берегу, а затем она переправила всех на корабль, где с нетерпением ждали, чем кончится первая рекогносцировка.

VII

Продолжайте, Безюке... Кто такой герцог Монский: обманщик он или нет? Адвокат Бранкебальм. Verum enim vero[1]*, «постольку» из «поскольку». Плебисцит. «Туту-пампам» исчезает вдали*

Мрачную одиссею первых порт-тарасконских поселенцев Безюке рассказывал в кают-компании «Туту-пампама» на заседании Совета, на котором присутствовали старейшины, губернатор, начальники, сановники первого и второго класса, капитан Скрапушина со всем своим штабом, а наверху, на палубе, другие пассажиры, сгорая от нетерпения и любопытства, улавливали только сдержанное гудение аптекарева баса и громкие возгласы его слушателей.

Прежде всего вскоре после погрузки, как только «Фарандола» вышла из Марсельского порта, временно исполнявший обязанности губернатора, он же начальник экспедиции, Бомпар внезапно заболел какой-то непонятной болезнью, по его словам, заразной, и его высадили на берег, полномочия же свои он передал Безюке... Счастливец Бомпар!.. Должно быть, он предвидел, что́ их ожидало на острове.

Стоявший в Суэце «Люцифер» не мог двигаться дальше по причине своего плачевного состояния, и его пассажиров пришлось взять на борт и без того уже перегруженной «Фарандоле».

А как они страдали от жары на этом проклятом судне! Наверху можно было изжариться на солнце, внизу было тесно и душно.

Когда же они прибыли в Порт-Тараскон, их постигло разоча-

---

[1] Но поистине *(лат.)*.

рование, оттого что они ничего не обнаружили: ни города, ни порта, ни каких-либо других построек, но им так хотелось размяться на свободе, что, высадившись на пустынном острове, они все-таки облегченно вздохнули, искренне обрадовались. Нотариус Камбалалет, он же землемер, посмешил их даже уморительной песенкой о землеустройстве океана. Потом стали думать о вещах серьезных.

— Мы тогда решили,— рассказывал Безюке,— отправить корабль в Сидней за строительными материалами и послать вам отчаянную телеграмму, которую вы, конечно, получили.

Тут со всех сторон раздались возгласы недоумения:

— Отчаянную телеграмму?..

— Какую телеграмму?..

— Мы никакой телеграммы не получали...

— Дорогой Безюке! — покрывая гул голосов, заговорил Тартарен.— Мы получили только одну вашу телеграмму, в которой вы нам сообщили, что туземцы вас хорошо встретили и что в соборе был отслужен молебен.

Аптекарь вытаращил глаза от изумления:

— Молебен в соборе? В каком соборе?..

— Потом все объяснится... Продолжайте, Фердинанд...— сказал Тартарен.

— Я продолжаю...— подхватил Безюке.

Повесть его между тем становилась все безотраднее.

Колонисты бодро принялись за дело. Земледельческие орудия у них были, и они начали распахивать новь, но почва оказалась убийственной, на ней ничего не росло. Потом пошли дожди...

Вопль аудитории снова прервал рассказчика:

— Разве здесь бывают дожди?..

— Да еще какие!.. Хуже, чем в Лионе... хуже, чем в Швейцарии... десять месяцев в году.

Слушатели были подавлены. Их взоры невольно обратились к иллюминаторам, в которые был виден густой туман и неподвижные облака над влажною темною зеленью острова.

— Продолжайте, Фердинанд,— сказал Тартарен.

И Безюке продолжал.

Вечные дожди, стоячая вода, тифы, малярия — от всего этого начало быстро разрастаться кладбище. К болезням присоединилась тоска, хандра. Самые стойкие — и те не могли больше работать: так ослабевало тело в этом сыром климате.

Питались консервами, а кроме того, папуасы, жившие на другом конце острова, притаскивали ящериц и змей, приносили на продажу все, что им удавалось наловить и настрелять, и под этим предлогом проникали в колонию, так что в конце концов к этим коварным существам привыкли и перестали их бояться.

Но однажды ночью дикари захватили барак,— нечистая сила лезла в двери, в окна, через крышу, завладела оружием, перебила всех, кто пытался оказать сопротивление, остальных увела в свой лагерь.

Целый месяц после этого шли кровавые пиры. Пленных одного за другим приканчивали ударами палицы, жарили, как поросят, на раскаленных камнях, а затем безжалостные каннибалы поедали их...

Крик ужаса, вырвавшийся у всего собрания, навел страх даже на тех, кто пребывал на палубе, а у губернатора едва хватило сил прошептать:

— Продолжайте, Фердинанд.

На глазах у аптекаря погибли его товарищи: кроткий отец Везоль, вечно улыбавшийся, со всем мирившийся, до самой смерти твердивший: «Слава тебе, господи!» — и нотариус Камбалалет, веселый землемер, нашедший в себе силы смеяться даже на угольях.

— И эти изверги заставили меня есть несчастного Камбалалета! — содрогаясь при одном воспоминании, добавил Безюке.

Наступило молчание, а потом вдруг желчный Костекальд, сразу пожелтев, с перекошенным от злобы лицом обратился к губернатору:

— Как же вы нам говорили, писали и заставляли писать других, что здесь нет людоедов?

Пришибленный губернатор опустил голову.

— Нет людоедов!..— подхватил Безюке.— Да они все людоеды! Человеческое мясо — это у них самое лакомое блюдо, особенно наше мясо, мясо белых тарасконцев: они до того к нему приохотились, что когда съели живых, так принялись за мертвых. Вы были на старом кладбище? Там ничего не осталось, ни одной косточки. Все до одной обглоданы, обсосаны, подчищены, как подчищаем мы тарелки после вкусного супа или после жареного мяса с чесноком.

— А как же вы-то, Безюке, уцелели? — спросил один из сановников первого класса.

Аптекарь полагал, что, живя среди склянок, возясь со всякими снадобьями: мятой, мышьяком, арникой, ипекакуаной, он в конце концов так пропитался ароматами лекарственных трав, что, по всей вероятности, не понравился дикарям, а может быть, наоборот: из-за аптечного запаха они берегли его на закуску.

— Что же мы теперь будем делать? — выслушав рассказ Безюке, спросил маркиз дез Эспазет.

— Как что делать?..— по обыкновению сердито заговорил Скрапушина.— Надеюсь, вы тут не останетесь?

— Ну уж нет!.. Конечно, нет!..— закричали со всех сторон.

— Хотя мне заплатили только за то, чтобы доставить вас сюда, я готов всех желающих увезти обратно,— заявил капитан.

В этот миг тарасконцы простили ему его дурной характер. Они позабыли, что он собирался перестрелять их всех, «как собак». Его обступили, благодарили, жали ему руку. Но тут, покрывая шум голосов, с большим достоинством заговорил Тартарен:

— Поступайте как хотите, господа, а я остаюсь. На меня возложены обязанности губернатора, и я должен их исполнить.

— Губернатора чего? — гаркнул Скрапушина.— Ведь ничего же нет!

Другие его поддержали:

— Капитан прав... Ведь ничего же нет!..

Но Тартарен упорствовал:

— Герцог Монский взял с меня слово, господа.

— Ваш герцог Монский — жулик,— сказал Безюке.— Он и раньше казался мне подозрительным, когда у меня еще не было доказательств.

— Где же они, ваши доказательства?

— В кармане я их с собой не ношу! — С этими словами аптекарь стыдливым жестом запахнул плащ сановника первого класса, коим он прикрывал свою татуированную наготу.— Но недаром умирающий Бомпар, сходя с «Фарандолы», сказал мне: «Бойтесь этого бельгийца,— он лгун...» Бомпар не договорил — он очень ослаб от своей болезни. Впрочем, каких вам еще доказательств? Достаточно того, что герцог загнал нас на этот бесплодный остров с губительным климатом, чтобы мы заселили его и распахали новь, достаточно его лживых телеграмм...

Совет пришел в волнение, все заговорили разом, одобряя Безюке и осыпая герцога бранью:

— Лгун!.. Врун!.. Паршивый бельгиец!..

Один лишь Тартарен героически защищал его:

— Пока я не получу веских доказательств, я не переменю своего мнения о герцоге Монском...

— А мы уже составили о нем мнение: он вор!..

— Он мог поступить опрометчиво, он мог быть плохо осведомлен...

— Не защищайте его, по нем плачет каторга!..

— Он меня назначил губернатором Порт-Тараскона, и я остаюсь в Порт-Тарасконе...

— Ну и оставайтесь тут один!

— Хорошо, останусь, если вы меня покинете. Только не увозите земледельческих орудий.

— Да ведь вам же говорят, что здесь ничего не растет! — вскричал Безюке.

— Значит, вы просто не сумели, Фердинанд.

При этих словах Скрапушина в сердцах ударил кулаком по столу, за которым заседал Совет.

— Он спятил!.. Я увезу его отсюда насильно, а при попытке к сопротивлению застрелю, как собаку.

— А ну, разэтакий такой, попробуйте!

Это, распалясь гневом, угрожающе воздев длань, выступил на защиту Тартарена отец Баталье.

Началась яростная перебранка, посыпались излюбленные тарасконские выражения, вроде: «Вы одурели... Вы мелете вздор... Вы порете несусветную дичь...»

Бог знает, чем бы все это кончилось, если бы не вмешался наконец начальник юридического отдела адвокат Бранкебальм.

Это был искусный оратор, пересыпавший свои доводы всевозможными перлами, вроде: «В том или ином случае, с одной стороны, с другой стороны»,— так что любая его речь, сцементированная по римскому способу, была не менее прочно построена, чем акведук Гарского моста. Искушенный в латыни, воспитанный на Цицероновой логике и красноречии, неизменно выводивший при помощи *verum enim vero* «постольку» из «поскольку», он воспользовался случайным затишьем, взял слово и, возведя ряд красивых, но бесконечно длинных периодов, в конце концов высказался за плебисцит.

Пусть пассажиры скажут «да» или «нет». С одной стороны, те, кто пожелает остаться, останутся. С другой стороны, те, кто пожелает уехать, отправятся в обратный путь на корабле, как только судовые плотники отремонтируют барак и блокгауз.

Примирительное предложение Бранкебальма было принято, и после этого сейчас же приступили к голосованию.

Весть о таком исходе дела переполошила тех, кто находился на палубе и в каютах. Всюду слышались жалобы и стенания. Бедняги вложили все свои средства в пресловутые гектары. Значит, они теряют все, значит, они должны отказаться от уже оплаченной земли, от надежды на колонизацию? Материальный интерес побуждал их остаться, но при взгляде на унылый пейзаж они впадали в нерешительность. Разрушенный барак, темная влажная зелень, за которой мерещились пустыня и каннибалы, перспектива быть съеденными, как съеден был Камбалалет,— все это ничего отрадного не сулило, и сердца переселенцев стремились к столь неблагоразумно покинутому Провансу.

Корабль с толпой эмигрантов напоминал разворошенный муравейник. Престарелая вдовица д'Эгбулид, не расставаясь ни с грелкой, ни с попугаем, бродила по палубе.

В шуме пререканий, предшествовавших голосованию, легко можно было уловить проклятья, посылавшиеся на голову бельгийца, «паршивого бельгийца»... О, теперь это был уже не его светлость герцог Монский!.. Просто — паршивый бельгиец... Слова эти произносились сквозь зубы, со сжатыми кулаками.

Как бы то ни было, из тысячи тарасконцев полтораста проголосовали за то, чтобы остаться с Тартареном. Большинство их, надо заметить, составляли высокие особы, которым губернатор пообещал оставить их должности и звания.

Когда приступили к дележу продовольствия между отъезжающими и остающимися, опять начались препирательства.

— Вы пополните запасы в Сиднее,— говорили мореплавателям островитяне.

— А вы будете охотиться и ловить рыбу,— возражали те.— Зачем же вам столько консервов?

Тараск тоже вызвал ожесточенные перекоры. Вернется ли он в Тараскон?.. Останется ли в колонии?..

Спор возгорелся жаркий. Скрапушина несколько раз грозился расстрелять отца Баталье.

Дабы водворить мир, адвокат Бранкебальм вынужден был вновь выказать всю свою Несторову мудрость и прибегнуть к хитроумным *verum enim vero*. Но ему стоило большого труда успокоить умы, помимо всего прочего возбужденные лицемерием Экскурбаньеса, который всеми силами старался подлить масла в огонь.

Курчавый, вихрастый, крикливый, со своим вечным девизом: *Двайте шумэть!..*— этот лейтенант ополчения был не просто южанин — он мог сойти за араба не только благодаря смуглому цвету кожи и вьющимся волосам, но и благодаря своей душевной низости, тщеславию, привычке танцевать на задних лапках перед сильным: на корабле — перед капитаном Скрапушина, окруженным матросами, на суше — перед Тартареном, окруженным ратниками ополчения. Каждому из них он по-разному объяснил, почему он избирает Порт-Тараскон.

Скрапушина он говорил:

— Я остаюсь, потому что моя жена должна родить, а если б не это...

А Тартарену:

— Ни за что на свете не поеду я с этим варваром.

Наконец, после долгих раздоров, дележ с грехом пополам был произведен. Тараск остался на корабле, островитяне же получили в обмен на него чугунную пушку и шлюпку.

Тартарен дрался за съестные припасы, за оружие, за каждый ящик с рабочим инструментом.

В течение нескольких дней взад и вперед беспрестанно сновали шлюпки, груженные всякой всячиной: ружьями, консервами, ящиками с тунцами и сардинами, паштетами из ласточек и пампери.

Одновременно в лесу раздавались удары топора, и одно за другим валились деревья — надо было срочно ремонтировать барак и блокгауз. Со стуком топоров и молотков сливались звуки горна. Днем вооруженные ратники ополчения охраняли работников на случай нападения дикарей, ночью располагались биваком на берегу. «Пусть попривыкнут к походной жизни»,— говорил Тартарен.

Простились уже перед самым отъездом, и, надо сказать, довольно холодно. Отъезжающие завидовали остающимся, что, впрочем, не мешало им подпускать шпильки:

— Пойдет у вас дело на лад — напишите: мы вернемся...

С другой стороны, как ни бодрились многие колонисты, а в глубине души они были бы рады сесть на корабль.

Наконец судно снялось с якоря, грянул орудийный салют, с суши ответила чугунная пушка, заряженная отцом Баталье, а Экскурбаньес заиграл на кларнете: «Счастливый путь вам, Дюмоле».

Да! А все-таки, когда «Туту-пампам» обогнул мыс и скрылся из виду, на глазах у многих провожающих навернулись слезы, и порт-тарасконский рейд показался им вдруг бескрайним.

КНИГА ВТОРАЯ

I

Порт-тарасконский мемориал. Дневник секретаря Паскалона

В дневнике упоминается обо всем, что говорилось и делалось в свободной колонии, когда ею правил Тартарен

20 сентября 1881 года. Я намерен отмечать здесь важнейшие события, которые произойдут в колонии.

Не знаю только, что со мной будет, до того я завален делами, я правитель канцелярии, на мне вся официальная переписка, а как выдастся свободная минутка, я на своем родном тарасконском наречии наспех строчу стихи: не должна же служба убивать во мне поэта!

Попробую все-таки; потом самому будет любопытно прочесть этот первый опыт истории великого народа. Я никому не говорил о своем начинании, даже губернатору.

После отбытия «Туту-пампама» прошла неделя, и я прежде всего считаю своим долгом отметить, что за это время наше положение улучшилось. Понемногу обживаемся. Тарасконский флаг, таких же цветов, как и флаг французский, только с изображением Тараска, развевается над блокгаузом.

Здесь разместилось правительство, то есть Тартарен, начальники и возглавляемые ими отделы. Холостые начальники, как, например, я, начальник отдела здравоохранения г-н Турнатуар и главнокомандующий артиллерией и флотом отец Баталье, живут в Правлении и столуются у Тартарена. Гг. Костекальд и Экскурбаньес, люди женатые, питаются и ночуют в городе.

Городом мы называем большой дом, заново отделанный плотниками с «Туту-пампама». Вокруг него разбили нечто вроде бульвара и дали ему громкое название Городского круга, как в Тарасконе. У нас уже образовалась привычка. Мы говорим: «Вечером мы идем в город... Вы были утром в городе?.. Не пойти ли нам в город?..» И это никого не удивляет.

Блокгауз отделен от города ручьем, который мы называем Малой Роной. Когда окно в моей канцелярии открыто, я слышу, как стучат вальками выстроившиеся в ряд под откосом и склоненные над водою прачки, слышу, как они поют, как они перекликаются на своем провансальском языке, языке красочном и сочном, и мне кажется, что я на родине.

Одно мне отравляет жизнь в Правлении — это пороховой погреб. Нам оставили изрядное количество пороху; сложен он в подвальном этаже вместе с разного рода провиантом, то есть с чесноком, консервами, крепкими напитками, а также с оружием, рабочим инструментом и сельскохозяйственными орудиями. Подвал накрепко запирается, но все равно: от одного сознания, что у вас под ногами столько горючих и взрывчатых веществ, вам становится не по себе, особенно ночью.

25 сентября. Вчера г-жа Экскурбаньес благополучно выродила [1] упитанного мальчика — это первый гражданин, записанный в порт-тарасконские акты гражданского состояния. Его весьма торжественно крестили в нашей маленькой, временной, построенной из бамбука и крытой широкими листьями церкви во имя святой Марфы Латаньерской.

На мою долю выпало счастье быть крестным отцом младенца и кумом мадемуазель Клоринды дез Эспазет; правда, моя кума ростом намного выше меня, но зато она такая хорошенькая, такая

---

[1] Так говорят в Тарасконе. «Мемориал» пестрит неправильными выражениями; исправить их, по-видимому, не сочли нужным.

славненькая, и ее еще красили блики солнечного света, проникавшего сквозь бамбуковую изгородь и между неплотно перевитыми ветвями навеса.

Весь город присутствовал при этой церемонии. Наш добрый губернатор произнес трогательную речь, всех нас умилившую, а отец Баталье рассказал одну из самых красивых своих легенд. В этот день, как в праздник, работы были повсюду приостановлены. После крестин на Городском кругу состоялось гулянье. Все ликовали; у нас было такое чувство, как будто новорожденный принес колонии счастье и надежду на лучшее будущее. Правительство раздало островитянам двойную порцию тушцов и пампери, и за обедом у всех было лишнее блюдо. Для нас, холостяков, зажарили кабана, которого убил маркиз — лучший стрелок на всем острове после Тартарена.

По окончании обеда, оставшись наедине с моим дорогим учителем и почувствовав все его отеческое ко мне расположение, я открылся ему в своей любви к мадемуазель Клоринде. Оказывается, учитель давно уже догадывался; он заулыбался, подбодрил меня и обещал замолвить словечко.

К несчастью, маркиза, урожденная д'Эскюдель де Ламбеск, кичится своим происхождением, а ведь я простой разночинец. Конечно, в нашем роду все, как на подбор, люди хорошие, безукоризненно честные, а все-таки мы чистокровные мещане. Кроме того, мне мешает моя застенчивость и легкое заиканье. Помимо всего прочего, я начинаю лысеть... Вот что значит в такие юные годы управлять целой канцелярией!..

Маркиз — это бы еще ничего! Ему только дай поохотиться... Это не маркиза с ее помешательством на родословной. Вот вам пример ее чванливости. В городе все по вечерам собираются в общей зале. Получается очень мило: дамы вяжут, мужчины играют в вист. И только г-жа дез Эспазет из надменности остается с дочерьми в своей каютке, до того тесной, что переодеваются они по очереди. В этой каморке повернуться негде, а она мало того что сама с дочерьми коротает там вечер, да еще и гостей принимает и поит их липовым цветом и ромашкой, только бы не смешиваться со всеми прочими — до того в ней сильно презрение к меньшой братии. Вот какие дела!

А все-таки я не теряю надежды.

29 сентября. Вчера губернатор собрался в город. Он обещал поговорить обо мне и по возвращении все рассказать. Можете себе представить, с каким нетерпением я его ждал! Однако, вернувшись, он не проронил ни слова.

За завтраком он нервничал; в разговоре с капелланом у него вдруг вырвалось:

— А знаете ли, нам тут, в Порт-Тарасконе, положительно недостает меньшой братии...

Так как это презрительное выражение «меньшая братия» не сходит с уст г-жи дез Эспазет де Ламбеск, то я заключил, что губернатор ее видел и что предложение мое отвергнуто, но узнать поточнее мне не удалось, потому что он сейчас же перешел на другую тему и заговорил о докладе Костекальда по поводу сельскохозяйственных культур.

А Костекальд доказывал, что положение безнадежно. Все попытки напрасны: маис, пшеница, картофель, морковь — ничто не взошло. Нет чернозема, нет солнца, на поверхности слишком много воды, а в подпочву влага не просачивается, посевы затоплены. Словом, оказалось, что Безюке еще несколько смягчил.

Нужно сказать, что начальник сельскохозяйственного отдела, быть может, нарочно сгустил краски, изобразил все в чересчур зловещих тонах. Скверный он человек, этот Костекальд! Завидует славе Тартарена и в глубине души ненавидит его.

Его преподобие отец Баталье, не любящий никаких подходов, прямо потребовал его отставки, но губернатор с присущей ему дальновидностью и со свойственной ему выдержкой заметил:

— Не увлекайтесь...

Встав из-за стола, он прошел в кабинет к Костекальду и, как ни в чем не бывало, спросил:

— Ну что, господин начальник, как же насчет культур?

Костекальд, не дрогнув ни единым мускулом, ехидно заметил:

— Я представил доклад господину губернатору.

— Полно, полно, Костекальд, ваш доклад что-то уж слишком мрачен!

Костекальд сразу весь пожелтел:

— Уж каков есть, а если он вам не нравится...

Это было сказано вызывающе, но они были не одни, и Тартарен сдержался.

— Костекальд! — сказал он, и его маленькие серые глазки засверкали.— Я с вами поговорю наедине.

Это было очень страшно, меня даже в пот бросило...

30 сентября. Так я и знал: мое предложение дез Эспазеты отвергли. Я слишком низкого происхождения. Бывать у них я могу по-прежнему, но надеяться не смею...

Но на что же они сами-то надеются?.. Кроме них, дворян в колонии больше нет. За кого же они рассчитывают выдать дочь? Ах, господин дез Эспазет, нехорошо вы со мной поступили!..

Что же делать?.. Как быть?.. Клоринда любит меня, я знаю, но она девушка благоразумная, она не пойдет на то, чтобы молодой

человек ее похитил, бежал с ней и где-нибудь обвенчался... Да и попробуй тут убеги! Ведь мы на острове, отрезаны от всего мира.

Откажи они мне, когда я был всего-навсего аптекарским учеником, это я бы еще понял. Но теперь, когда я занимаю такое высокое положение, когда у меня такое блестящее будущее...

Скольких девушек я осчастливил бы своими притязаниями! Да вот, далеко некуда ходить, малютка Бранкебальм: она хорошая музыкантша, сама играет на фортепьяно и своих сестер обучает; намекни я только — родители были бы в восторге!

Ах, Клоринда, Клоринда!.. Кончились дни счастья!.. И, как назло, с утра зарядил дождь, зарядил на весь день, все заливает, все покрывает мелкой штриховкой, на все набрасывает серую пелену.

Безюке не солгал. Идет дождь в Порт-Тарасконе, идет и идет!.. Дождь смыкает вокруг вас кольцо, обносит вас частой решеткой, частой, как в клетке для цикад. Нет больше горизонта. Есть дождь, только дождь. Он затопляет землю, подергивает рябью море, и море сливает с дождем падающим поднимающийся дождь брызг и водяной пыли.

3 октября. Губернатор правильно сказал: нам положительно недостает меньшой братии! Поменьше бы благородных отпрысков, поменьше сановников да побольше водопроводчиков, каменщиков, кровельщиков, плотников — тогда бы дела колонии пошли на лад.

Нынче ночью дождь все шел и шел, яростный водяной смерч пробил крышу в большом доме, город затоплен, все утро в Правление поступали жалобы.

Отделы валили друг на друга. Сельскохозяйственники заявили, что это дело секретариата, секретариат утверждал, что это подведомственно здравоохранению, а здравоохранение отсылало жалобщиков в морское ведомство на том основании, что это, мол, плотницкая работа.

В городе росло недовольство «существующим порядком».

А дыра в крыше все увеличивалась, сверху вода лилась потоками, во всех каютках затопляемые жильцы, раскрыв зонтики, злобно переругивались, кричали, возмущались правительством.

Хорошо еще, что мы не терпим недостатка в зонтах! Много их валяется среди всякой рухляди, которую мы привезли на обмен дикарям,— почти столько же, сколько ошейников для собак.

Чтобы остановить наводнение, некая девица Альрик, находящаяся в услужении у мадемуазель Турнатуар, взгромоздилась на крышу и прибила цинковый лист, который она взяла на складе. Губернатор поручил мне написать ей благодарственное письмо.

Упоминаю я об этом происшествии потому, что тут обнаружились слабые стороны нашей колонии.

Администрация у нас превосходная, деятельная, даже, я бы сказал, чересчур громоздкая, истинно французская, но для колонизации нам не хватает рабочих рук,— мы не столько заняты делом, сколько междуведомственной перепиской.

Еще меня поражает вот что: любая из наших важных птиц ведает тем, к чему она меньше всего пригодна и подготовлена. Взять хотя бы оружейника Костекальда: он всю жизнь провел среди пистолетов, сабель и всякого охотничьего снаряжения, а его назначили начальником сельскохозяйственного отдела. Экскурбаньес всех за пояс заткнул по части изготовления арльских колбас, а его после несчастного случая с Бравида поставили во главе военного ведомства и ополчения. Артиллерия и флот находятся в подчинении у отца Баталье только потому, что у него воинственный нрав, а если разобраться, так он лучше всего служит обедни и рассказывает разные истории.

В городе то же самое. Мелкие рантье, мануфактурщики, бакалейщики, пирожники — все эти почтенные граждане владеют земельными участками, но так как они ничего не смыслят в сельском хозяйстве, то и не знают, как к ним приступиться.

По-моему, один только губернатор действительно знает свое дело. Во всем-то он разбирается, все-то он видел, все читал, а главное, какая у него живость воображения!.. К сожалению, он слишком мягок и старается не замечать дурного. Так, например, он все еще не утратил доверия к этому негодяю бельгийцу, к этому обманщику — герцогу Монскому. Он все еще надеется, что тот явится сюда с колонистами, с запасом продовольствия, и каждое утро, как только я вхожу к нему в кабинет, прежде всего задает мне вопрос:

— А что, Паскалон, корабля нынче не видно?

И подумать только, что такой благожелательный, такой прекрасный человек, как наш губернатор, нажил себе врагов! Да, уже нажил. Он сам об этом знает и только посмеивается.

— Что меня недолюбливают — это вполне естественно,— говорит он мне иногда,— ведь я же для них «Существующий порядок»!

8 октября. Все утро был занят переписью населения, и ее данные я привожу здесь. Этот документ, относящийся к начальному периоду истории нашей колонии, тем более интересен, что составил его один из основателей колонии, один из тех, кто начал трудиться на ее благо, как только она возникла.

О каждом лице сделано краткое примечание, с тем чтобы сразу можно было определить, кто за, а кто против губернатора. В этом списке отсутствуют женщины и дети, поскольку в голосовании они не участвуют.

Данные переписи

Фамилия	Должность и звание	Особые отметки
Его превосходительство Тартарен	Губернатор, кавалер ордена 1-й степени.	
Тестаньер (Паскаль), именуемый Паскалоном	Правитель канцелярии, сановник 2-го класса.	Осмеливаюсь утверждать: человек превосходный.
Его преподобие отец Баталье	Командующий артиллерией и флотом, капеллан при губернаторе, сановник 1-го класса.	Мыслит здраво, но легко возбуждается.
Экскурбаньес Спиридион	Начальник военного ведомства, командующий ополчением и руководитель хорового кружка, сановник 1-го класса.	Взять на заметку
Д-р Турнатуар	Начальник отдела здравоохранения, главный врач колонии, сановник 1-го класса.	Превосходный человек.
Костекальд Фабий	Начальник сельскохозяйственного отдела, сановник 1-го класса.	Отвратительный человек.
Бранкебальм Цицерон	Начальник юридического отдела, сановник 1-го класса.	Человек очень хороший, но скучный.
Торкбьо Марий	Помощник правителя канцелярии, сановник 2-го класса.	Хороший человек.

Безюке Фердинанд	Помощник начальника отдела здравоохранения, заместитель главного врача и фармацевт колонии.	Хороший человек.
Галофр	Ризничий, он же инспектор артиллерии.	Очень хороший человек.
Рюжимабо Антонин	Сотрудник сельскохозяйственного отдела.	Очень плохой человек.
Барбан Сенека	Сотрудник сельскохозяйственного отдела.	Очень плохой человек.
Маркиз дез Эспазет	Лейтенант ополчения.	Хороший человек.
Бомвьейль Досифей	Колонист.	» »
Космиль Тимофей	»	» »
Эскара	»	» »
Барафор Альфонс	»	Подозрительный.
Рабина (моряк)	»	Хороший человек.
Кудонья (моряк)	»	Подозрительный.
Руменгас (моряк)	»	»
Дурладур (моряк)	»	Хороший человек.
Мьежвиль (моряк)	»	» »
Менфор (моряк)	»	» »
Буске (моряк)	»	» »
Лафранк (моряк)	»	» »
Траверсьер	»	» »
Буфартиг Нерон	Пирожник.	» »

Пертюс	Содержатель кофейни.	Очень плохой человек.
Ребюфа	Кондитер.	Хороший человек.
Бердула Марк	Барабанщик.	» »
Фуркад	Горнист.	» »
Бекуле	Горнист.	Плохой человек.
Везане	Ратник ополчения.	Подозрительный.
Мальбос	» »	Хороший человек.
Кесарг	» »	Очень плохой человек.
Бульярг	» »	» »
Абидос	» »	Хороший человек.
Труяс	» »	» »
Рейранглад	» »	» »
Толозан	» »	» »
Маргути	» »	Подозрительный.
Пру	»	»
Труш	» »	Хороший человек.
Сев	» »	Подозрительный.
Сорг	» »	Хороший человек.
Кад	» »	Очень хороший человек.
Пюэш	» »	Очень хороший человек.
Боск	» »	» »
Жув	» »	Хороший человек.
Трюфенюс	» »	Отвратительный человек.
Роктальяд	» »	» »
Барбюс	» »	» »
Барбуэн	» »	Плохой человек.
Руньонас	» »	Очень хороший человек.

Сосин	Ратник ополчения.	Очень хороший человек.
Соз	» »	Хороший человек.
Рур	» »	» »
Барбигаль	» »	» »
Меренжан	» »	Подозрительный.
Вентебрен	» »	Хороший человек.
Гаво	» »	Плохой человек.
Марк-Аврелий	» »	Очень хороший человек.
Кок де Мер	Хорист.	Хороший человек.
Понж-старший	»	» »
Гаргас	»	» »
Лапалюд	»	» »
Безус	»	» »
Понж-младший	»	Плохой человек.
Пишраль	»	Хороший человек.
Мезуль	Охотник.	» »
Устале	»	» »
Террон Марк-Антоний	»	» »

10 октября. Маркиз дез Эспазет и еще несколько искусных стрелков на время дождя устроили себе мишень из жестяных коробок, в которых раньше были тунцы, сардины и пампери, и день-деньской палили по ним из окон.

Теперь, когда новую каску или каскетку достать не так-то легко, бывшие стрелки по фуражкам превратились в стрелков по консервным банкам. Отличное, в сущности говоря, упражнение. Но Костекальд уверил губернатора, что на это идет много пороху, после чего был издан декрет, воспрещающий стрельбу по жестянкам. Стрелки по консервным банкам в ярости, дворянство ропщет. Зато Костекальд и вся его шайка потирают руки.

Но в чем же можно упрекнуть нашего бедного губернатора? Негодяй бельгиец оплел его, как и всех нас. И разве это его вина, что хлещет дождь и из-за ненастья нельзя устроить бой быков?

С этим злополучным боем быков сплошное невезенье, а уж как радовались тарасконцы, что им удастся его устроить,— нарочно привезли сюда коров и камаргского быка Римлянина, прославившегося на провансальских торжествах.

Из-за дождей скотину не выгоняли, все время держали в хлеву, и вдруг — до сих пор не выяснено, при каких обстоятельствах, я не удивлюсь, если окажется, что здесь замешан Костекальд,— Римлянин пропал.

Он бродит по лесам, совсем одичал, превратился в пастоящего бизона. И теперь уж никому в голову не придет вызывать его на бой,— того и гляди, он бросится в бой по собственному почину, вот все и бросаются от него врассыпную.

Что ж, и это, значит, вина Тартарена?..

II

Бой быков в Порт-Тарасконе. Приключения и схватки. Прибытие короля Негонко и его дочери Лики-Рики. Тартарен трется носом о нос короля. Великий дипломат

День за днем, страница за страницей, с той кропотливостью, которая чувствовалась в серой штриховке дождя, с той безнадежно тусклой однотонностью, с какой его сетка затягивала горизонт, ведет летопись жизни колонии лежащий у нас перед глазами «Мемориал». Однако, боясь наскучить читателям, мы лишь вкратце передадим содержание дневника нашего друга Паскалона.

Так как отношения между городом и губернатором становились все более натянутыми, то, чтобы не утратить окончательно своей популярности, Тартарен решился наконец устроить бой быков, но уже, разумеется, без Римлянина, который по-прежнему бродил где-то в дебрях, а только с тремя оставшимися коровами.

Эти три злосчастные камаргские коровенки, привыкшие в родной Камарге к вольному воздуху, к яркому солнцу, здесь, на острове, отощали, исхудали, да и было от чего: привезли их в Порт-Тараскон, загнали в сырой и темный сарай и за все время ни разу не выпустили. Ну да не беда. Все лучше, чем ничего.

Первым делом на песчаном берегу, где обыкновенно происходили строевые занятия ратников ополчения, сколотили помост, затем вбили колья и протянули между ними веревки,— так была огорожена арена.

Временно распогодилось, и, воспользовавшись этим, «Существующий порядок», разряженный, окруженный сановниками в парадной форме, уселся на возвышении, меж тем как колонисты, ратники, их жены, дочери и служанки толпились подле веревок, а дети бегали по кругу и кричали:

— Эй!.. Эй!.. Быки!..

В этот миг была забыта скука долгих дождливых дней, забыта злоба на бельгийца, паршивого бельгийца.

— Эй!.. Эй!.. Быки!..

Все с ума сходили от радости.

Но вот застучали барабаны.

Это был сигнал. В мгновение ока толпа отхлынула, и на арену, встреченная громким «ура!», вышла корова.

Ничего страшного она собой не представляла. Бедная оголодавшая коровка большими, отвыкшими от света глазами глядела по сторонам. Протяжно, жалобно мыча, отчего затряслись прицепленные к ее рогам ленты, она стала посреди цирка — и ни с места, пока наконец возмущенная толпа дубинами не прогнала ее с арены.

С другой коровой получилось иначе. Никакими силами нельзя было выгнать ее из сарая. Ее толкали, дергали за хвост, тащили за рога, тыкали вилами в морду — так она и не вышла.

Посмотрим теперь, как повела себя третья. Про нее говорили, что она очень сердитая, что ее легко раздразнить. И впрямь: она галопом влетела на арену, роя своими раздвоенными копытами землю, обмахиваясь хвостом и тычась во все стороны мордой... Наконец-то будет настоящий бой!.. Да, как бы не так! Собравшись с силами, корова перемахнула через веревку и, наставив рога на толпу, пробила себе путь прямехонько к морю.

Вода ей была сперва по колено, затем по холку, а она все шла себе да шла. Вскоре над водой остались только ее ноздри да полумесяц рогов. Так она молча и мрачно простояла здесь до самого вечера. Вся колония осыпала ее с берега бранью, свистела, бросала в нее камнями, причем и свист и ругань относились не только к ней, но и к бедному «Существующему порядку», сошедшему с возвышения.

Так как бой быков не удался, надо было чем-нибудь другим поднять упавший дух островитян. Наилучшим средством отвлечения была признана война, экспедиция против короля Негонко. После кончины Бравида, Камбалалета, Везоля и других славных тарасконцев этот мерзавец бежал со своими папуасами, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу. Говорили, впрочем, что он обретается мили за две, за три отсюда, где-то на соседнем острове, расплывчатые очертания которого, большую часть года задернутые завесой тумана, можно было различить в ясный день. Тартарен, будучи человеком миролюбивым, долго не решался предпринять поход, но в конце концов политические соображения взяли верх.

После того как была приведена в порядок и починена шлюпка и на ее носу установлена кулеврина, орудийную прислугу при

которой составляли отец Баталье и ризничий Галофр, однажды утром двадцать хорошо вооруженных ратников под командой Экскурбаньеса и маркиза дез Эспазета, сложив в шлюпку запас продовольствия, погрузились и вышли в море.

Отсутствовали они три дня, и дни эти показались колонистам отменно длинными. На исходе третьего дня островитяне, услышав донесшийся с моря пушечный выстрел, высыпали на берег и увидели, что шлюпка, словно подгоняемая ветром триумфа, едва касаясь носом волн, летит на всех парусах.

Она еще не успела пристать к берегу, а восторженные крики подплывавших и Экскурбаньесово *Двайте шумэть* уже возвестили островитянам блестящий успех экспедиции.

Каннибалам отомстили жестоко: сожжено множество селений, перебито, согласно показаниям всех без исключения участников похода, несколько тысяч папуасов. Цифра колебалась, но все же оставалась весьма внушительной. О событиях рассказывали тоже по-разному. Одно было несомненно: ратники привезли с собой человек шесть знатных пленников, в том числе самого короля Негонко и его дочь Лики-Рики, коих немедленно препроводили в Правление мимо толпы, рукоплескавшей победителям.

Ратники шли церемониальным маршем, увешанные, точно солдаты Христофора Колумба, возвращавшиеся после открытия Нового Света, множеством разных необыкновенных вещей: блестящими перьями, звериными шкурами, оружием и тряпьем дикарей.

Но больше всего глазели на пленников. Добрые тарасконцы разглядывали их со злорадным любопытством. Отец Баталье велел прикрыть их смуглую наготу одеялами, и они с грехом пополам в них завернулись. При мысли, что эти дикари, в таком наряде шествующие сейчас в Правление, съели отца Везоля, нотариуса Камбалалета и многих других, островитяне содрогались от омерзения, точно они были в зверинце и смотрели, как удавы, залегшие в складках шерстяной подстилки, переваривают пищу.

Король Негонко, высокий черный старик под шапкой курчавых и совершенно седых волос, с раздутым, как у грудного младенца, животом, привесив за бечевку к левой руке трубку из марсельской глины, шел впереди. Рядом с ним, блестя глазенками, в которых так и прыгали чертенята, шла маленькая Лики-Рики с коралловым ожерельем на шее и с браслетами из розовых раковин. За ними шли большие, длиннорукие черные обезьяны и, жутко улыбаясь, скалили острые зубы.

Островитяне попробовали было пошутить:

— Вот теперь будет работа для мадемуазель Турнатуар!

В самом деле: добродетельная старая дева, преследуемая своей навязчивой идеей, уже подумывала о том, как она оденет всех этих дикарей. Но при воспоминании о соотечественниках, съеденных каннибалами, любопытство тарасконцев перешло в ярость.

Раздались крики:

— Смерть им!.. Смерть им!.. Бей их!..

Экскурбаньес, желая прослыть лихим воякой, повторял слова Скрапушина:

— Перестрелять их всех, как собак!..

Чтобы остановить безумца, Тартарен предостерегающе поднял руку:

— Спиридион! Надо уважать законы войны.

Не торопитесь, однако, приходить в восторг от прекрасных слов губернатора — это была с его стороны особая политика, и только.

Горячий защитник герцога Монского, Тартарен в глубине души начал в нем сомневаться. А что, если он в самом деле нарвался на жулика? Тогда, значит, купчей крепости не существует, как не существует и всего остального, остров, будто бы проданный королем Негонко герцогу Монскому, не принадлежит тарасконцам, а земельные акции — простые бумажки.

Вот почему губернатор не только не перестрелял пленников, «как собак», но даже устроил папуасскому королю торжественную встречу.

Он прочитал книги всех мореплавателей, знал наизусть Кука, Бугенвиля, д'Антркасто и благодаря этому в грязь лицом не ударил.

Он подошел к королю и потерся носом о его нос. Дикарь был, видимо, изумлен, ибо подобный обычай давно уже исчез у этих племен. Полагая, однако, что так, наверно, принято в Тарасконе, король сопротивления не оказал. Глядя на них, и другие пленники, в том числе маленькая Лики-Рики, у которой нос был как у кошки, а вернее сказать — у которой совсем не было носа, захотели во что бы то ни стало проделать ту же церемонию с Тартареном.

После того как все вдоволь потерлись носами, надо было переходить с дикарями на язык слов. Отец Баталье заговорил с ними на «тамошнем» папуасском наречии, но так как оно ничего общего не имело со «здешним», пленники, разумеется, его не поняли. Цицерон Бранкебальм, немного знавший английский язык, попробовал заговорить с ними по-английски. Экскурбаньес пробормотал несколько слов по-испански, но тоже не имел успеха.

— Дайте им сначала поесть,— сказал Тартарен.

Открыли несколько коробок тунцов. На сей раз дикари поняли, с жадностью набросились на консервы и, уничтожив содержимое жестянок, принялись выскребывать их вымазанными маслом пальцами. Затем король, отнюдь, как оказалось, не дурак выпить, тяпнул водочки и, к великому изумлению Тартарена и всех прочих островитян, хриплым голосом затянул песню:

Охотой иль неволей,
Но только в эти дни
Из башен Тараскона
Бултых — и прямо в Рону
Попрыгают они.

Утробный голос вислогубого дикаря с черными от бетеля зубами придавал тарасконской песне какое-то дикое и жуткое звучание. Но откуда Негонко мог знать тарасконское наречие?

После минутного недоумения все объяснилось.

Прожив несколько месяцев по соседству со злосчастными пассажирами «Фарандолы» и «Люцифера», папуасы выучились говорить так, как говорят на берегах Роны. Конечно, они исказили этот язык, но все-таки при помощи жестов с ними можно было до чего-нибудь договориться.

И в конце концов договорились.

Когда короля Негонко спросили про герцога Монского, то король ответил, что он в первый раз о нем слышит.

Равным образом он заявил, что остров никогда никому не был продан.

Равным образом он заявил, что никакой купчей крепости не было совершено.

Ах, не было совершено?.. Ну что ж! И Тартарен, не моргнув глазом, на том же самом заседании составил купчую крепость. Бранкебальм, сей кладезь учености, изрядно потрудился над тем, чтобы придать ей безукоризненно строгую форму официального документа. Он вложил в нее все свое знание законов, вставил тьму всяких «ввиду того, что...», скрепил ее римским цементом, и получилось нечто сжатое и прочное.

Король Негонко уступал остров Порт-Тараскон за бочонок рому, десять фунтов табаку, два бумажных зонтика и дюжину собачьих ошейников.

В особом примечании специально оговаривалось, что Негонко, его дочь и их свита могут поселиться на западной оконечности острова, в той его части, куда никто не заходил из боязни наткнуться на Римлянина, знаменитого быка, превратившегося в бизона,— единственное опасное существо во всей колонии.

Все это было обделано и обстряпано на тайном зеседании за несколько часов.

Так благодаря дипломатическому искусству Тартарена порт-тарасконские земельные акции стали теперь представлять собой некую ценность, стали что-то значить, чего прежде с ними не случалось.

III

Дождь все идет. Повальная водянка. Суп с чесноком. Приказ губернатора. Чесноку не хватит. Чесноку хватит! Крестины Лики-Рики

А между тем все та же слякоть, все то же серое небо, и дождь льет, льет... По утрам в городе отворялись окна, протягивались руки:

— Идет дождь!

— Идет!..

Он шел беспрерывно, как и говорил Безюке.

Бедный Безюке! Несмотря на все невзгоды, какие довелось ему претерпеть вместе с пассажирами «Фарандолы» и «Люцифера», он все же остался в Порт-Тарасконе: из-за своей татуировки он не решался вернуться в земли христианские. Временно исполняющий обязанности губернатора скоро стал простым аптекарем и младшим врачом под началом у Турнатуара, но он мирился и с этим положением, лишь бы не показывать в цивилизованных странах свою чудовищную физиономию, раскрашенные и испещренные точками руки. Неудачи свои он вымещал на соотечественниках, которым приходилось выслушивать самые мрачные его предсказания. Если они жаловались на дождь, грязь, мокроту, он только пожимал плечами:

— Погодите!.. Это еще что!

И он не ошибался. Люди начинали хворать — на них действовали вечная сырость и отсутствие свежей пищи. Коров давно уже съели. На охотников надежда была плоха, хотя они могли похвалиться такими меткими стрелками, как маркиз дез Эспазет, и хотя правила Тартарена вошли у них в плоть и кровь: для перепела отсчитать «раз, два, три», для куропатки — «раз, два».

Да вот беда: ни куропаток, ни перепелов — ни черта тут не водилось, даже чайки и буревестники — и те не залетали с моря на эту сторону острова.

На охоте попадались лишь кабаны, да и то редко, или кенгуру, но убить кенгуру очень трудно, оттого что они все время прыгают и скачут.

Тартарен и сам толком не знал, до скольких нужно считать, прежде чем выстрелить в это животное. Когда маркиз дез Эспазет задал ему однажды этот вопрос, он ответил наобум:

— До шести, маркиз...

Дез Эспазет отсчитал шесть, но кенгуру от него убежала, и

вместо кенгуру он схватил отчаянный насморк, оттого что охотился под проливным, обложным дождем.

— Пойду-ка я сам на охоту,— заявил Тартарен.

Но из-за ненастной погоды он откладывал это предприятие, а дичи между тем становилось все меньше. Правда, жирные ящерицы на вкус были недурны, но их пресное белое мясо, которое пирожник Буфартиг консервировал по способу «белых отцов», в конце концов опротивело тарасконцам.

К отсутствию свежей пищи прибавилось новое лишение: тарасконцы не могли делать моцион. И то сказать: кому охота шлепать по лужам, по грязи, под дождем?

Городской круг залит, затоплен!

Лишь немногие храбрецы — Эскара, Дурладур, Менфор, Роктальяд — невзирая на проливень, выходили копать землю, распахивать свои «гектары» и упорно старались хоть что-нибудь вырастить, но вырастало во влажном тепле этой земли, которую вечно мочил дождь, нечто весьма странное: сельдерей за одну ночь вымахивал в огромное дерево, жесткое-прежесткое, капуста тоже достигала потрясающих размеров, но все у нее уходило в кочерыжку, длинную, как ствол пальмы, от картофеля же и от моркови пришлось совсем отказаться.

Безюке сказал правду: здесь или совсем ничего не росло, или уж росло до небес.

К этому ряду причин, способствовавших деморализации, прибавьте еще скуку, тоску по далекой отчизне, сожаление об уютных тарасконских беседках, настроенных вдоль позлащенного солнцем городского вала, и не удивляйтесь после этого, что число больных увеличивалось с каждым днем.

К счастью для больных, начальник отдела здравоохранения Турнатуар не верил в фармакопею и, вместо того чтобы пичкать их всякими снадобьями, «замикстуривать» их, как это делал Безюке, прописывал им «супцу с чесночком».

Действовало это безотказно, уж вы мне поверьте! Человек весь распух, ни гласа, ни воздыхания, просит послать за священником и за нотариусом. Приносят ему супцу с чесночком — три головки на небольшой чугунок, туда же три полные ложки свежего прованского масла, гренков — и человек, от слабости не могший говорить, неожиданно восклицает:

— А, чтоб!.. Как здóрово пахнет!..

Один запах уже возвращал его к жизни.

Скушает тарелочку, другую, а после третьей опухоль у него опадает, появляется голос, и он встает с постели, а вечером в общей зале уже играет в вист. Не следует, однако, забывать, что все это были тарасконцы.

Только одна-единственная больная — знатная дама из высшего круга, маркиза дез Эспазет, урожденная д'Эскюдель де Ламбеск,— отказалась от Турнатуарова снадобья. Суп с чесноком хорош для меньшой братии, но не для тех, кто ведет свое происхождение от крестоносца... Она не хотела об этом слышать, равно как и о свадьбе Клоринды с Паскалоном. А между тем состояние несчастной дамы внушало самые серьезные опасения. Ей по-настоящему было *нехорошо*. Под этим неопределенным названием в данном случае надо разуметь некое странное заболевание, род водянки, сущий бич наших южан-колонистов. Это была болезнь уродующая: у больных слезились глаза, живот и ноги пухли. Она напоминала «болезнь доктора Мова» из легенды о сыне человеческом.

Словом, несчастную маркизу «разнесло», как выражается автор «Мемориала». Кроткий и безутешный Паскалон каждый вечер отправлялся в город и всякий раз заставал такую картину: бедная женщина лежала в постели под громадным синим бумажным зонтом, прикрепленным к изголовью, охала и наотрез отказывалась от супа с чесноком, рослая Клоринда заботливо кипятила липовый цвет, а маркиз с видом философа набивал в углу патроны для завтрашней весьма сомнительной охоты.

В соседних клетушках вода стекала с раскрытых зонтов, пищали дети, в общей зале шли шумные споры, сталкивались различные политические убеждения. А дождь все барабанил по стеклам окон, по цинковой крыше, и целые водопады с шумом низвергались из водосточных труб.

Костекальд между тем продолжал интриговать: днем — в кабинете начальника сельскохозяйственного отдела, вечером — в городе, в общей зале, совместно с такими отпетыми негодяями, как Барбан и Рюжимабо, которые помогали ему распускать зловещие слухи и между прочим такой: «Чесноку не хватит!..»

А вдруг в самом деле нельзя будет достать спасительного, целительного чесноку, этой универсальной панацеи, хранящейся на складе правительства, которое, как уверял Костекальд, наложило на нее лапу? Страшно подумать!

Наветы начальника сельскохозяйственного отдела подхватил — да еще как громогласно! — Экскурбаньес. Существует старая тарасконская пословица: «Пизанские разбойники днем между собой дерутся, а по ночам вместе грабят». Пословица эта как нельзя лучше подходила к двуличному Экскурбаньесу, который в Правлении, при Тартарене, выступал против Костекальда, а по вечерам, в городе, подпевал злейшим врагам губернатора.

Тартарен, славившийся своей кротостью и терпением, не мог не знать про эти нападки. Когда он перед сном покуривал у

раскрытого окна трубку, до него вместе с ночными шорохами, вместе с журчаньем Малой Роны и сбегавших с горы ручейков, образовавшихся от дождей, долетали отголоски споров, сердитые голоса, взор его различал сквозь мглу огоньки, мерцавшие в окнах большого дома. И при мысли, что вся эта шумиха поднята Костекальдом, рука его судорожно цеплялась за подоконник, а глаза метали молнии в ночной мрак. Но так как волнение и сырость были ему вредны, он пересиливал себя, закрывал окно и преспокойно шел спать.

Страсти между тем до того разгорелись, что в конце концов он решился на крайние меры: уволил Костекальда и двух его приспешников, мало того — лишил его плаща сановника первого класса, а на его место назначил Бомвьейля, бывшего часовщика, смыслившего в земледелии, пожалуй, столько же, сколько его предшественник, но зато человека заведомо в высшей степени порядочного, помощниками же его вместо Рюжимабо и Барбана назначил бывшего клееночника Лафранка и бывшего торговца «наилучшими» леденцами Ребюфа — выбор был сделан на редкость удачный.

Декрет вывесили ранним утром на дверях большого дома, так что Костекальд, отправляясь на службу, сейчас же налетел на эту пощечину. И очень скоро всем стало ясно, насколько был прав Тартарен, что так смело действовал.

Часа через два перед резиденцией появилось человек двадцать недовольных, вооруженных до зубов.

— Долой губернатора!.. — кричали они.— Смерть ему!.. В Рону его!.. Вот его куда!.. Вот его куда!.. Пусть подает в отставку! В отставку!

За этим сбродом следовал почтенный Экскурбаньес и ревел громче всех:

— В отставку!.. *Двайте шумэть!..* В отставку!..

На их несчастье, дождь лил как из ведра, и в одной руке они держали ружье, а в другой — зонт. А правительство, со своей стороны, приняло меры.

Перейдя Малую Рону, мятежники подошли к блокгаузу и увидели такую картину.

В распахнутом настежь окне второго этажа был виден Тартарен со своим тридцатидвухзарядным винчестером, а за ним — преданные ему охотники во главе с маркизом дез Эспазетом, стрелки по фуражкам или, вернее, по консервным банкам, стрелки, которые на расстоянии трехсот шагов по счету «четыре» всадят пулю в кружок этикетки от ящика с пампери.

Внизу, на крыльце, отец Баталье, склонившись над чугунной пушкой, ждал только сигнала губернатора.

Это было до того неожиданно, до того грозен был вид приведенной в боевую готовность артиллерии, что бунтовщики тотчас же отступили, а Экскурбаньес, которому была свойственна внезапная смена настроений, начал танцевать под самым окном Тартарена дикий танец, который он цинично называл «пляской победы», и орать во всю мочь:

— Да здравствует губернатор!.. Да здравствует существующий порядок!.. *Двайте шумэть!..* Хо-хо-хо!

Сверху раздался зычный голос Тартарена, по-прежнему сжимавшего в руке винчестер:

— Разойдитесь по домам, господа недовольные!.. Я не хочу, чтобы вы стояли тут и мокли под дождем. Завтра мы соберем наш добрый народ и поставим вопрос о доверии. А пока что сохраняйте спокойствие, не то пеняйте на себя!

На другой день состоялось голосование, и «Существующий порядок» получил подавляющее большинство голосов.

Несколько дней спустя после смуты произошло событие радостное, а именно — крестины юной Лики-Рики, маленькой папуасской принцессы, дочери короля Негонко, воспитанницы его преподобия отца Баталье, довершившего ее обращение, начатое, «слава тебе, господи!», отцом Везолем.

Лики-Рики была прелестная маленькая обезьянка, ладная, статная, гибкая, пухленькая, а убор желтокожей принцессы составляли коралловое ожерелье и платье с голубыми полосками, которое ей сшила мадемуазель Турнатуар.

Крестным отцом у нее был губернатор, крестной матерью — г-жа Бранкебальм.

При крещении ей дали имя Марфы-Марии-Тартарены. По случаю убийственной погоды, которая стояла в тот день, как, впрочем, и до и после, крестить ее нельзя было в храме св. Марфы Латаньерской, оттого что его лиственный навес давным-давно обрушился и церковь была затоплена.

Все собрались на крестины в общей зале большого дома. Можете себе представить, какие воспоминания пробудил этот обряд в нежной душе Паскалона, еще так недавно принимавшего в нем участие вместе с Клориндой!

В этом месте его дневника, содержание коего мы передаем здесь в общих чертах, размазанными от слез чернилами были выведены слова:

«Бедный я и бедная она!»

А на другой день после крестин Лики-Рики произошла ужаснейшая катастрофа... Но события принимают слишком грозный характер — предоставим же слово «Мемориалу».

IV

Продолжение Паскалонова «Мемориала»

4 декабря. Сегодня у нас воскресенье, пошла уже вторая неделя рождественского поста; инспектор флота ризничий Галофр, выйдя нынче, по обыкновению, осмотреть шлюпку, таковой не обнаружил.

Кольцо и цепь вырваны, шлюпка исчезла.

Сперва он решил, что это очередная проделка Негонко и его шайки, которым мы по-прежнему не доверяем, но в отверстии, образовавшемся на месте вырванного кольца, торчал мокрый, грязный конверт, адресованный губернатору.

В конверт были вложены визитные карточки Костекальда, Барбана и Рюжимабо. На карточке Барбана заявили о своем выходе в отставку и расписались еще четыре ратника ополчения: Кесарг, Бульярг, Трюфенюс и Роктальяд.

За несколько дней до этого шлюпку, как нарочно, привели в порядок и сложили в нее запас продовольствия, ибо его преподобие отец Баталье решил предпринять еще одну экспедицию. Негодяям повезло. Они увезли с собой все, даже компас, не забыли и свои ружья.

И ведь подумать только: трое из них женаты, побросали жен и кучу детей! Жен — это еще туда-сюда, но детей!..

Вышеописанные события привели всю колонию в ужас. Пока у колонистов была шлюпка, оставалась надежда добраться когда-нибудь до материка, двигаясь от острова к острову, можно было рассчитывать на помощь извне, а теперь всякая связь с внешним миром, по-видимому, утеряна.

Отец Баталье пришел в неописуемую ярость,— он призывал на беглецов все кары небесные, назвал их разбойниками, ворами, дезертирами и еще почище. Экскурбаньес — и тот всюду ходил и кричал, что их самих надо перебить, «как собак», а их жен и детей приговорить к смертной казни через расстреляние.

Один лишь губернатор был невозмутим.

— Не увлекайтесь,— говорил он.— Ведь они все-таки тарасконцы. Их пожалеть надо — хлебнут они горя в дороге! Никто из них не умеет обращаться с парусом, только Трюфенюс, да и то еле-еле.

Затем ему пришла счастливая мысль воспитать брошенных детей на счет колонии. В глубине души, я думаю, он был рад, что ему удалось избавиться от своего заклятого врага и его присных.

В тот же день его превосходительство продиктовал мне очередной приказ, который был потом расклеен по городу.

Приказ

Мы, Тартарен, губернатор Порт-Тараскона и всех его владений, кавалер ордена первой степени и пр. и пр., призываем население сохранять полнейшее спокойствие.

Виновные будут неукоснительно преследоваться и привлекаться к ответственности по всей строгости закона.

Исполнение настоящего приказа возлагаю на командующего артиллерией и флотом.

Чтобы помешать дальнейшему распространению тревожных слухов, он велел мне в конце прибавить:

Чесноку хватит.

6 декабря. Приказ губернатора всем в городе очень понравился.

Позволительно, однако, спросить: «Преследовать виновных? Но каким способом? Где? Чем?» Ну да у нас недаром есть пословица: «Бери быка за рога, а на человека выходи со словом». Тарасконское племя обожает громкие фразы — вот отчего приказ губернатора был всеми принят на веру.

А тут еще разъяснилось, и вот уже все в восторге. На Городском кругу танцы, смех. Славный народ, и до чего же легко им управлять!

10 декабря. Я удостоился неслыханной чести: меня произвели в сановники первого класса.

Приказ об этом я обнаружил сегодня за завтраком у себя под тарелкой. Губернатор был, по-видимому, счастлив, что пожаловал мне высшее отличие. Теперь я сравнялся с Бранкебальмом, Бомвьейлем и его преподобием, и они все радуются моему повышению не меньше меня.

Вечером я пошел к дез Эспазетам — у них все уже было известно. Маркиз поцеловал меня при Клоринде, и та вся вспыхнула от радости. Одна лишь маркиза осталась равнодушна к моему новому достоинству. Она находит, что плащ сановника еще не возносит меня из моей низкой доли. Чего же ей еще нужно?.. Я уже сановник первого класса! И в таком юном возрасте!..

14 декабря. В Правлении происходит нечто необычайное, такое, что я не без смущения решаюсь поверить моему дневнику.

Губернатор питает нежные чувства!

И к кому? Бьюсь об заклад, что не отгадаете. К своей маленькой крестнице, принцессе Лики-Рики.

Да, да, Тартарен, наш великий Тартарен, отказавшийся от стольких прекрасных партий, не желавший никакой другой спутницы жизни, кроме славы, увлекся этой обезьянкой! Правда, обезьянка — царской крови, приняла христианскую веру, но в

душе осталась дикаркой: все такая же лгунья, лакомка, воровка, замашки и повадки у нее преуморительные! Одежда на ней вся в дырах; когда нет дождя, она залезает на самую макушку кокосовой пальмы и оттуда швыряет крепкие, как камень, орехи в наших стариков, норовит попасть им прямо в лысину — это у нее такая милая игра. Однажды она чуть не убила почтенного Мьежвиля.

А разница в возрасте? Тартарену за шестьдесят. Он поседел, располнел. Ей лет двенадцать, от силы пятнадцать, она в возрасте маленькой Флорансы, о которой поется в одной из наших песен:

Она еще малышка—
Не носит пояска.

И вот эта девочка, этот дикаренок будет нашей повелительницей!

Я уже давно замечал кое-что за губернатором. Взять, например, его заигрывания с папашей, старым разбойником Негонко,— он часто приглашал эту нечистоплотную, противную гориллу к нам обедать, хотя тот ест руками и напивается до того, что падает со стула.

Тартарен смотрел на это, как говорится, «сквозь пальцы», а когда маленькая принцесса в подражание своему родителю откалывала какую-нибудь штуку, скажем — наливала нам за ворот воды, мой дорогой учитель мило улыбался, бросал на нее отечески ласковый взор и, как бы прося извинить ее, говорил:

— Она еще дитя...

Но, несмотря на все эти и даже еще более очевидные признаки, я долго не хотел верить. А теперь уже всякие сомнения отпадают.

18 декабря. Сегодня на утреннем совещании губернатор объявил нам о своем намерении жениться на маленькой принцессе.

Он уверял, что это из политических соображений, что это дипломатический шаг, что этого требуют интересы колонии: Порт-Тараскон отрезан от мира, со всех сторон окружен океаном, союзников не имеет. Женясь на дочери папуасского короля, Тартарен предоставляет в распоряжение колонии армию и флот.

Никто из участников совещания ему не возражал.

Экскурбаньес первый вскочил и от восторга затопал ногами:

— Браво!.. Отлично!.. Когда же свадьба?.. Хо-хо-хо!..

Можно себе представить, какие гадости будет он говорить вечером в городе!

Цицерон Бранкебальм начал, по обыкновению, приводить неопровержимые доводы за и против: «Если, с одной стороны, колония... то нельзя не признаться, что, с другой... в том или ином

случае... *verum enim vero...*» — но в конце концов присоединился к мнению губернатора.

Бомвьейль и Турнатуар пошли по его стопам. Что касается отца Баталье, то он, видимо, был обо всем осведомлен заранее и неудовольствия не выразил.

И смешной же вид был, наверно, у нас: в кабинете царит торжественное одобрительное молчание, и мы, лицемеры, притворяемся, что верим, будто Тартареном руководят интересы колонии.

Внезапно добрые глаза Тартарена увлажнились слезами радости, и он прошептал:

— И потом, друзья мои, я должен вам сказать, что есть еще одна причина... Я люблю эту крошку.

Это было до того непосредственно, до того трогательно, что все мы невольно растаяли.

— Ну так женитесь, господин губернатор, женитесь!..

Тут все его обступили и стали жать ему руку.

20 декабря. Намерение губернатора вызвало в городе оживленные толки, но, в общем, все смотрят на дело проще, чем я мог предполагать.

Мужчины говорят об этом в шутливом тоне и не без яду,— тарасконцы ведь не могут не съязвить, когда обсуждаются чьи-нибудь любовные похождения.

Большинство дам отнеслись к затее Тартарена менее благоприятно, в особенности мадемуазель Турнатуар и ее окружение. Если уж он задумал жениться, то почему не на своей соотечественнице? Рассуждая таким образом, многие думают о самих себе или же о своих дочках.

Экскурбаньес, вернувшись вечером в город, согласился с дамами и указал на слабые стороны этого предприятия: тесть — мужлан, пьяница, каннибал; невеста тоже, по всей вероятности, отведала мяса тарасконцев. Тартарену стоит еще подумать.

Слушая, что говорит этот оборотень, я едва сдерживался и очень скоро ушел из общей залы, а то бы я наверняка влепил ему затрещину. У тарасконцев кровь-то ведь горячая, ух ты!

Из общей залы я прошел к дез Эспазетам. Маркиза очень ослабела, с постели не встает и все, бедняжка, отказывается от Турнатуарова супа с чесноком, а как только я вошел, она обратилась ко мне с вопросом:

— Ну так как же, господин камергер, будут у новой королевы придворные дамы?

Должно быть, она хотела надо мной посмеяться, а я сейчас же подумал о нас с Клориндой. Если Клоринда сделается фрейлиной или статс-дамой, то она переедет в резиденцию, и тогда мы сможем видеться постоянно... Какое бы это было счастье!..

Когда я вернулся, губернатор уже лег, но я не стал откладывать на завтра и поделился с ним своими планами, а он нашел, что я хорошо придумал. Потом я еще долго сидел у его постели, и мы толковали о наших сердечных делах.

25 декабря. Вчера вечером по случаю сочельника вся колония собралась в общей зале. Правительство, сановники — все праздновали наш чудный провансальский праздник за пять тысяч миль от родины.

После того как отец Баталье отслужил полу́ночницу, был подброшен «прикрой-огонь»: старший из нас взял полено, обнес его вокруг залы, бросил в огонь, а затем плеснул туда белого вина.

Принцесса Лики-Рики тоже была здесь и наслаждалась зрелищем, а также нугой, орешками, пряниками и прочими тарасконскими лакомствами, коими искусный пирожник Буфартиг украсил стол.

Были спеты старинные святочные песенки:

Царь мавританский — жалкий трус,
Хоть и глаза таращит дико.
В пещере плачет Иисус...
А ну, попробуй, царь, войди-ка!

Песни, пирожки, пылающий огонь, вокруг которого мы расселись,— все напоминало нам родину, несмотря на дождь, стучавший по крыше, и на зонтики, раскрытые по той причине, что потолок в общей зале протекал.

Неожиданно отец Баталье под аккомпанемент фисгармонии запел прекрасную песню Фредерика Мистраля о том, «как Жана Тарасконского корсары в плен взяли»,— о том, как некий тарасконец попал в лапы к туркам, как он не постыдился надеть тюрбан и совсем было собрался жениться на дочери паши, но однажды, выйдя на берег, вдруг услыхал провансальскую песню:

Моряки тарасконские пели.
И тогда,
Как под ударами весел вода,
Слезы в груди у него закипели.
Безродный вспомнил край родной,
И дрогнуло черствое сердце,
Невмоготу стала ему
Жизнь среди иноверцев.

При этих словах: «Как под ударами весел вода...» — мы все зарыдали. Сам губернатор, запрокинув голову, глотал слезы, его мощная грудь сотрясалась под лентой ордена первой степени. Как подумаешь, большое влияние на ход событий может иметь вот такая песенка великого Мистраля!

29 декабря. Сегодня в десять часов утра состоялось бракосочетание порт-тарасконского губернатора его превосходительства Тартарена с наследной принцессой Негонко.

Брачный договор подписали: его величество Негонко, поставивший вместо имени крестик, начальники отделов и наиболее видные сановники, затем в общей зале началось венчание.

Обряд был совершен просто, но торжественно: ратники ополчения были при оружии, и военные и штатские — все в полной парадной форме. Один только Негонко портил все дело. Он оскандалился и как король и как отец.

Зато принцесса, в белом платье, с коралловым ожерельем на шее, была обворожительна.

Вечером — великое торжество: всем — двойные порции съестного, пушечные выстрелы, ружейные салюты стрелков по консервным банкам, крики «ура!», песни, всеобщее ликование.

А дождь-то льет!.. А дождь-то лупит!..

V

Появление герцога Монского. Бомбардировка острова. Нет, это не герцог Монский. Спустите флаг, черт побери! Тарасконцам дается двадцать четыре часа на эвакуацию, хотя судна у них нет. Все, разделяющие с Тартареном трапезу, клянутся последовать за губернатором в плен

— Глянь! Глянь!.. Корабль!.. Корабль на рейде!

На крик ратника Бердула, собиравшего утром под проливным дождем черепашьи яйца, порт-тарасконские колонисты высунулись из всех окон и дверей своего заплесневелого ковчега, тысячью уст повторили, как эхо, за ратником Бердула: «Корабль! Глянь, глянь! Корабль!» — и вприпрыжку и вприскочку, точно в английской пантомиме, выбежали на набережную, сразу наполнив ее ревом, сильно напоминавшим рев тюленей.

Как только губернатору дали знать, он, застегивая на ходу свою куртку и весь сияя, несмотря на дождь, от которого подвластные ему островитяне прятались под зонтами, мигом примчался на набережную.

— Что, дети мои, не говорил ли я вам, что он приедет?.. Это герцог!..

— Герцог?..

— А кто же еще, по-вашему? Ну, конечно, это наш славный герцог Монский едет к нам с провиантом, везет нам оружие, инструмент и рабочие руки — я ведь их у него все время просил.

Посмотрели бы вы, как вытянулись лица у тех, кто особенно возмущался «паршивым бельгийцем»,— ведь это надо было иметь

наглость Экскурбаньеса, чтобы носиться вихрем по набережной и орать:

— Да здравствует герцог Монский! Хо-хо-хо! Да здравствует наш спаситель!..

Тем временем огромный корабль, возвышавшийся над водой, величественно приближался к рейду. Он дал свисток, выхаркнул пар, с грохотом бросил якорь, но, из-за коралловых рифов, очень далеко от берега, затем смолк и, поливаемый дождем, дальше не двинулся.

Колонисты недоумевали, почему на корабле не торопятся отвечать на их приветственные крики, на маханье зонтами и шляпами. Они нашли, что доблестный герцог суховат.

— Должно быть, он не уверен, что это мы.

— А может, он на нас сердится за то, что мы его бранили?

— Кто бранил? Я никогда его не бранил.

— Я тоже.

— А уж обо мне и говорить нечего...

Среди всеобщего смятения один лишь Тартарен не терял головы. Он отдал приказ поднять над резиденцией флаг и, дабы у герцога не оставалось уже никаких сомнений, выстрелить из пушки.

Пушка выпалила, тарасконский флаг затрепетал в воздухе.

В тот же миг на рейде раздался оглушительный взрыв, корабль скрылся в непроницаемом облаке дыма, а над головами островитян пронеслось с хриплым свистом нечто похожее на черную птицу и, ударившись в крышу склада, снесло целый угол.

На мгновение все остолбенели.

— Да они же в нас стреляют! — взвизгнул Паскалон.

По примеру губернатора колонисты, все, как один, попадали на землю.

— Значит, это не герцог,— шепнул Тартарен Цицерону Бранкебальму.

А тот, плюхнувшись в грязь рядом с ним, решил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы начать приводить свои несокрушимые доводы:

— Если, с одной стороны, не лишено вероятия... то, с другой стороны, можно предположить...

Новый разрыв снаряда прервал его разглагольствования.

Тут отец Баталье вскочил, стал диким голосом звать инспектора артиллерии ризничего Галофра и кричать, что сейчас они вдвоем откроют огонь по неприятелю из чугунной пушки.

— А я вам строго-настрого запрещаю! — завопил Тартарен. — Это безумие!.. Держите его!.. Не пускайте!..

Торкбьо и Галофр, подхватив святого отца под руки, при-

гнули его к земле, и как раз в эту минуту из корабельного орудия вылетел третий снаряд и опять в направлении флага. Очевидно, цвета тарасконского национального флага раздражали моряков.

Тартарен это понял. И еще он понял, что если флаг убрать, то обстрел прекратится.

— Спустите флаг, черт побери! — заорал он во всю силу легких.

И тогда закричали все:

— Спустите флаг!.. Да спустите же флаг!..

Флаг, однако, реял по-прежнему — ни военные, ни штатские не отваживались на столь опасное дело.

И опять девица Альрик подала пример самоотверженности. Она «взгромоздилась» на крышу и сняла злополучный флаг.

Только после этого корабль перестал обстреливать остров.

Немного погодя от судна отделились две шлюпки со сверкавшими оружием солдатами, и гребцы, мерно, по-военному, взмахивая длинными веслами, стали грести к берегу.

Когда они подошли ближе, островитяне разглядели, что на корме, над пенистою струей, развевается английский флаг.

До берега англичанам было еще далеко, и Тартарен успел встать, счистить грязь, приставшую к его одежде, послать за орденской лентой и второпях надеть ее поверх зеленой со стальным отливом куртки.

Когда обе шлюпки причалили, вид у него был уже вполне губернаторский.

Первым выпрыгнул из шлюпки надменный английский офицер в надетой набекрень треуголке, а вслед за тем на берегу выстроился целый десант моряков в бескозырках, на которых было написано «Томагавк».

Тартарен ждал их, выпятив для пущей важности нижнюю губу, как это он делал в особо торжественные минуты; справа от него стоял отец Баталье, слева — Бранкебальм.

Экскурбаньес, бросив своих соотечественников, побежал навстречу англичанам и уже готов был пуститься в пляс перед победителями.

Но офицер ее величества, не обращая внимания на этого паяца, подошел вплотную к Тартарену и спросил по-английски:

— Какой вы национальности?

Бранкебальм, понимавший английскую речь, ответил на том же языке:

— Тарасконской.

Офицер, услышав название, которого ему не приходилось встречать ни на одной морской карте, выкатил свои круглые, как блюдца, глаза и спросил еще более дерзким тоном:

— Что вы делаете на этом острове? По какому праву вы его занимаете?

Бранкебальм перевел его вопрос Тартарену, и тот велел ответить так:

— Передайте ему, Цицерон, что это наш остров, что нам его уступил король Негонко и что у нас имеется купчая крепость, составленная по всей форме.

Бранкебальму не было никакого смысла продолжать играть роль переводчика. Англичанин обратился к губернатору и на прекрасном французском языке переспросил:

— Негонко? В первый раз слышу... Нет такого короля Негонко.

Тартарен отдал распоряжение немедленно разыскать своего тестя-короля и привести сюда.

А пока что он предложил английскому офицеру пройти в Правление и ознакомиться с документами.

Офицер согласился и проследовал за ним, а шлюпку оставил под охраной моряков, приставивших ружья к ноге и примкнувших штыки. И какие штыки! Сверкающие и до того острые, что при взгляде на них по спине начинали бегать мурашки.

— Спокойствие, дети мои, спокойствие! — на ходу бормотал Тартарен.

Никто, собственно, не нуждался в подобного рода совете, за исключением, впрочем, отца Баталье, который все еще кипятился. Но за ним следили.

— Если вы не уйметесь, ваше преподобие, я вас свяжу! — обезумев от страха, твердил Экскурбаньес.

А в это время шли безуспешные поиски короля Негонко, всюду раздавались призывавшие его голоса. Наконец кто-то из ратников обнаружил его на складе — король надышался запахом чеснока и деревянного масла, упился спиртом, почти весь запас которого он влил в свою утробу, и теперь мирно храпел между двумя бочками.

В таком виде, грязный, вонючий, предстал он перед губернатором, но толку от него так и не добились.

Тогда Тартарен огласил купчую крепость, а затем показал крестик, который его величество поставил вместо подписи, государственную печать и подписи виднейших должностных лиц колонии.

Уж если, мол, не верить этому подлинному документу, подтверждающему право тарасконцев на остров, то чему же тогда верить?

Офицер пожал плечами:

— Милостивый государь! Этот дикарь — просто мошенник.

Он продал вам то, что никогда ему не принадлежало. Остров с давних пор является английским владением.

Приняв к сведению это заявление, внушительным дополнением к которому служили орудия «Томагавка» и штыки морской пехоты, Тартарен счел дальнейшие препирательства излишними, но зато сорвал злобу на своем недостойном тесте:

— Старый мерзавец!.. Как ты смел уверять нас, что это твой остров?.. Как ты смел нам его продавать?.. Как тебе не стыдно обманывать порядочных людей?..

Но Негонко тупо молчал — его недальний ум, ум дикаря, улетучился вместе с винными и чесночными парами.

— Уведите его!.. — крикнул Тартарен тем ратникам ополчения, которые его привели, и обратился к офицеру, с высокомерным и бесстрастным видом наблюдавшему за этой семейной сценой.— Во всяком случае, милостивый государь, моя честность вне подозрений.

— Это установит английский суд...— с высоты своего величия процедил тот.— Отныне вы мой пленник. Что касается жителей, то они должны в двадцать четыре часа эвакуировать остров, в противном случае мы их расстреляем.

— Расстреляете? Вот тебе на!.. — воскликнул Тартарен.— Прежде всего как же они эвакуируются? Судна-то ведь у нас нет. Разве что вплавь...

В конце концов англичанин, проникшись доводами Тартарена, согласился довезти колонистов до Гибралтара, с тем, однако, условием, что все оружие будет сдано, включая охотничьи ружья, револьверы и тридцатидвухзарядный винчестер.

Засим он, приставив к губернатору вооруженную охрану, отправился на фрегат завтракать.

Так как в Правлении в это время тоже обыкновенно завтракали, то, осмотрев все латании и кокосовые пальмы, росшие вокруг резиденции, и так и не обнаружив принцессы, сановники оставили для нее за столом место и принялись за еду.

Отец Баталье от волнения позабыл даже прочесть молитву.

Некоторое время все ели молча, уткнувшись в тарелки, как вдруг Паскалон встал и поднял стакан:

— Господа! Наш губернатор вое-енноплененный. Поклянемся же последовать за ним в пле-е-ен...

Тут все, не дав ему договорить, вскочили и, подняв стаканы, огласили резиденцию криками восторга:

— Непременно!

— Вот как бог свят, мы за ним последуем!..

— А как же!.. Хотя бы и на эшафот!..

— Хо-хо-хо!.. Да здравствует Тартарен!..— завывал Экскурбаньес.

А час спустя все, за исключением Паскалона, покинули губернатора, все, даже маленькая принцесса Лики-Рики, каким-то чудом обнаруженная на крыше резиденции. При первом же выстреле, не сознавая, что на крыше гораздо опаснее, она туда взобралась и, еле живая от страха, спустилась только после того, как придворные дамы издали показали ей раскрытую коробку сардин, служившую для нее не менее соблазнительной приманкой, чем для вылетевшего из клетки попугая что-нибудь сладенькое.

— Милое дитя мое! — торжественно обратился к ней Тартарен, как только ее подвели к нему.— Я военнопленный. Что бы вы предпочли? Отправиться со мной или же остаться на острове? Я думаю, что англичане позволят вам здесь остаться, но меня уж вы тогда больше не увидите.

Она взглянула на него в упор и, не задумываясь, звонким детским голоском прощебетала:

— Мой остается на остлов.

— Хорошо, вы свободны,— с покорным видом произнес бедный Тартарен, но сердце у него в эту минуту разрывалось на части.

А вечером, оставленный и женой и сановниками, он долго сидел, предаваясь размышлениям, у раскрытого окна в опустевшей резиденции, и только Паскалон делил с ним одиночество.

Вдали мерцали огни города, слышались возмущенные голоса колонистов, песни англичан, расположившихся на берегу, и ропот Малой Роны, вздувшейся от дождей.

Тартарен с тяжелым вздохом затворил окно и, повязав голову большим белым в горошинку платком, сказал своему верному секретарю:

— Что все от меня отреклись, это меня не очень удивило и не очень огорчило, но что и малютка... Откровенно говоря, я думал, что она сильнее ко мне привязана.

Отзывчивый Паскалон постарался утешить его. Что ни говори, но возвращаться в Тараскон с таким багажом, как эта принцесса-дикарка,— а в Тараскон они рано или поздно непременно вернутся,— было бы довольно оригинально, и когда жизнь у Тартарена снова наладится, то папуаска только бы стесняла, компрометировала его...

— Вспомните, дорогой учитель, как вас извел ве-ерблюд, когда вы возвращались из Алжира...

Но тут Паскалон запнулся и покраснел. Что ему пришло в голову сравнивать верблюда с принцессой королевской крови?

И, чтобы загладить свою бестактность, Паскалон обратил внимание Тартарена, что он сейчас в таком положении, в каком находился Наполеон, когда его взяли в плен англичане и когда его оставила Мария-Луиза.

— А ведь и правда,— весьма польщенный подобным сближением, согласился Тартарен.

И, утешенный сознанием, что у него общая судьба с великим Наполеоном, он спал потом всю ночь, не просыпаясь.

На другой день, к великой радости колонистов, Порт-Тараскон был эвакуирован. Потеря денег, несуществующие «гектары», грандиозная банковская операция «паршивого бельгийца», который их надул,— все казалось им теперь сущими пустяками, так счастливы были они вырваться из этого болота.

Во избежание столкновений с «Существующим порядком», на который они теперь сваливали всю вину, их посадили на корабль раньше Тартарена.

Когда их вели к шлюпкам, Тартарен выглянул в окно, но принужден был тотчас же скрыться, ибо все при виде его дружно засвистели и замахали кулаками.

Конечно, в солнечный день они были бы снисходительнее, но беда в том, что погрузка происходила под настоящим проливнем, и несчастные тарасконцы шлепали по грязи, унося на подошвах целые комья этой проклятой земли и кое-как прикрывая зонтиками свои убогие пожитки.

Когда все колонисты покинули остров, пришел наконец черед Тартарена.

Паскалон все утро провел в хлопотах, готовился к отъезду, увязывал архив колонии.

В последнюю минуту его осенила гениальная мысль посоветоваться с Тартареном, не надеть ли ему в дорогу плащ сановника первого класса.

— Надень, надень, это произведет на них впечатление! — сказал губернатор.

И он сам надел ленту ордена первой степени.

Внизу уже стучали ружейные приклады конвоя и рявкал офицер:

— Господин Тартарен! Господин губернатор! Пора!

Прежде чем сойти вниз, Тартарен в последний раз окинул взором этот дом, где он любил, где он страдал, где он познал все муки властолюбия и сердечного влечения.

Но тут он, заметив, что правитель канцелярии прячет под плащом какую-то тетрадь, спросил, что это такое, и попросил показать. Паскалону ничего другого не оставалось, как признаться дорогому учителю, что это мемориал.

— Ну что ж, продолжай, дитя мое,— ласково промолвил Тартарен и дернул его за ухо, подобно тому как Наполеон дергал за ухо своих гренадеров,— ты будешь моим маленьким Лас-Казом.

Вот уже второй день он упорно думал о схожести своей и Наполеоновой судьбы. Да, несомненно... Англичане, Мария-Луиза, Лас-Каз... Точно такие же обстоятельства и тот же характер. И оба южане, черт побери!

КНИГА ТРЕТЬЯ

I

Прием, оказанный англичанами Тартарену на борту «Томагавка». Последнее «прости» острову Порт-Тараскон. Губернатор беседует на палубе со своим маленьким Лас-Казом. Костекальд отыскался. Супруга командора. Тартарен первый раз в жизни стреляет в кита

Горделивая осанка Тартарена, поднявшегося на палубу «Томагавка», произвела на англичан сильное впечатление, но больше всего их поразила розовая орденская лента с вышитым на ней изображением Тараска, которую губернатор носил как масонский знак, а равно и Паскалонов плащ сановника первого класса, красный с черными полосами, длинный до пят.

Англичане, как известно, испытывают особое почтение к чинам, к служебному положению и к проявлениям мабулизма (от арабского слова *мабул* — простодушный, чудаковатый).

На верхней ступеньке трапа Тартарена встретил дежурный офицер и с великим почетом проводил в каюту первого класса. Паскалон последовал за ним и был вознагражден за свою преданность: ему отвели каюту рядом с губернатором, а между тем других тарасконцев, на которых англичане смотрели как на стадо презренных эмигрантов, загнали на нижнюю палубу и туда же впихнули весь бывший генеральный штаб острова, наказанный таким образом за малодушие и вероломство.

Каюту Тартарена отделял от каюты верного ему секретаря, во-первых, небольшой салон, где стояли диваны, где на стенах висело оружие и где красовались экзотические растения, а во-вторых, столовая, атмосферу которой освежали две глыбы льда, сверкавшие по углам в вазах.

К его превосходительству были приставлены для услуг метрдотель и два или три лакея, а тот принимал все почести с полнейшим равнодушием и на всякую любезность отвечал «*пррррэкрасно*» тоном властелина, привыкшего к знакам уважения и внимания.

Когда начали выбирать якорь, Тартарен, несмотря на дождь, поднялся на палубу сказать острову последнее «прости».

Остров обозначился перед ним нечетко, но сквозь серую пелену тумана все же можно было различить шайку разбойников во главе с королем Негонко, грабивших город и резиденцию и лихо отплясывавших на берегу фарандолу.

Стоило отбыть миссионеру отцу Баталье, стоило отбыть блюстителям порядка — и в новообращенных тотчас же заговорил могучий природный инстинкт.

Паскалону даже привиделся среди пляшущих стройный силуэт Лики-Рики, но он промолчал, так как не хотел огорчать губернатора, который, впрочем, ко всему относился в высшей степени безразлично.

Заложив руки за спину и застыв в величественной позе, точно памятник какому-нибудь историческому деятелю, тарасконский герой смотрел перед собой невидящим взглядом, все крепче задумываясь над общностью своей судьбы с судьбой Наполеона, к вящему своему удивлению отыскивая между великим человеком и собою все новые и новые черты сходства и простодушно сознаваясь, что даже слабости у них одинаковые.

— Ну вот хотя бы,— говорил он своему маленькому Ласказу: — Наполеон был страшно вспыльчив, и я тоже, особенно в молодости... Например, как-то раз я повздорил в Театральном кафе с Костекальдом, хватил кулаком по его чашке, по своей и разбил их вдребезги...

— Бонапарт в Леобене!.. — робко заметил Паскалон.

— Совершенно верно, дитя мое,— ласково улыбнувшись, сказал Тартарен.

Но, если вдуматься, больше всего сближало Тартарена с императором воображение, пламенное южное воображение. Воображение Наполеона отличалось широчайшим размахом. Достаточно вспомнить его поход в Египет, переход через пустыню на верблюде,— еще одно потрясающее совпадение: верблюд! — поход в Россию, мечты о завоевании Индии.

Ну, а вся жизнь Тартарена — что это, как не самая невероятная сказка?.. Львы, нигилисты, Юнгфрау, управление островом за пять тысяч миль от Франции! Разумеется, Тартарен не отрицал, что кое в чем уступает императору. Но зато он не проливал крови, морей крови, и не приводил в трепет весь мир, как *тэт*, другой...

Остров между тем уходил вдаль, а Тартарен, облокотившись о борт, продолжал разглагольствовать для галерки — для матросов, сметавших с палубы угольную пыль, и для вахтенных офицеров, подошедших его послушать.

В конце концов он всем наскучил. Паскалон отпросился на нос корабля, якобы для того, чтобы разузнать, что говорят о губернаторе тарасконцы, в полном оцепенении мокнувшие под дождем, а главное, для того, чтобы шепнуть своей милой Клоринде несколько утешительных и ободряющих слов.

Вернувшись через час, он нашел Тартарена в салоне,— его превосходительство во фланелевых кальсонах, повязав голову платком, устроился поудобнее на диване, точно это было в Тарасконе, в его уютном домике, покуривал трубочку и попивал превосходный шерри-гобблер.

— Ну, что же там говорят про меня добрые люди? — спросил отлично себя чувствовавший учитель.

Паскалон не скрыл от Тартарена, что они «очень на него злы». Их, как скот, загнали на нижнюю палубу, морят голодом, грубо с ними обращаются, и во всех своих невзгодах они винят губернатора.

Но Тартарен только пожал плечами. Он хорошо знает свой народ, уж вы ему поверьте! Все это высохнет в первое же солнечное утро.

— Народ не злопамятный, это верно,— согласился Паскалон,— но его мутит гадина Костекальд.

— Костекальд? Это еще что такое?.. При чем тут Костекальд?

Услыхав зловещее имя, Тартарен встревожился.

И тут Паскалон ему рассказал, как «Томагавк» встретил в море их общего недоброжелателя, умиравшего от голода и жажды в своей шлюпке, как он его подобрал и как потом Костекальд донес англичанам, что на их территории обосновались французские колонисты, и привел корабль к порт-тарасконскому рейду.

Глаза у губернатора засверкали:

— Ах, мерзавец!.. Ах, злодей!..

Успокоился он лишь после того, как Паскалон поведал ему злоключения бывшего сановника и его приспешников.

Трюфенюс утонул!.. Еще трое ратников сошли на берег за пресной водой — и попали к людоедам!.. Барбан умер от истощения прямо в лодке!.. А Рюжимабо съела акула.

— Какая там акула!.. Не акула, а сам негодяй Костекальд.

— Это еще что, господин гу-убернатор!.. Костекальд уверяет, что в открытом море, во время грозы, он при блеске молний увидел — угадайте, кого?..

— Очень нужно мне угадывать! А ну его к черту!

— Тараска... отца-батюшку!

— Какая чепуха!..

А впрочем, как знать?.. «Туту-пампам» мог потерпеть крушение, или, быть может, порывом ветра Тараска сбросило с палубы...

Тут стюард принес господину губернатору меню, а через несколько минут он и его секретарь уже сидели за столом, и им был подан чудный обед с шампанским: отменная семга, розоватый ростбиф, превосходно зажаренный, а на сладкое — восхитительный пудинг. Тартарену пудинг очень понравился, и он велел отнести изрядную его порцию отцу Батанье и Бранкебальму. А Паскалон припрятал несколько бутербродов с семгой. Бедненький! Надо ли говорить, для кого?

На второй день плавания, как только Порт-Тараскон скрылся из виду, наступила хорошая погода,— можно было подумать, что из всего архипелага один этот остров навлекал на себя туманы и дождь...

Каждое утро после завтрака Тартарен поднимался на палубу, садился на определенное место и заводил разговор с Паскалоном.

И у Наполеона, когда он находился на борту «Нортумберленда», было свое любимое место: он опирался на пушку, всегда на одну и ту же, за что ее и прозвали «пушкой императора».

Думал ли об этом великий тарасконец? Какое это было совпадение: случайное или не случайное? Возможно, что и не случайное, но это обстоятельство не должно умалять Тартарена в наших глазах. Разве Наполеон, сдаваясь англичанам, скрывал, что он вспоминает Фемистокла? «Я как Фемистокл...» А кто знает, о ком думал Фемистокл, подсаживаясь к огоньку, разведенному персами?.. Род человеческий до того стар! Мир его тесен, пути его исхожены... Все мы идем по чьим-либо стопам...

Впрочем, отдельные черты, о которых Тартарен упоминал в беседах со своим маленьким Лас-Казом, были присущи только ему, Тартарену из Тараскона, и к Наполеону никакого отношения не имели.

Тартарен говорил Паскалону о том, что детство свое он провел на Городском кругу; о том, что́ он, из молодых, да ранний, вытворял, возвращаясь ночью из Клуба; о том, что он сызмала бредил оружием, охотой на крупных хищников, но что здравый смысл латинянина не покидал его во время самых отчаянных шалостей, внутренний голос неизменно шептал ему: «Возвращайся пораньше, не простудись!..»

Из укромных уголков его памяти выплыла прогулка на Гарский мост, когда старая-престарая цыганка, посмотрев на линии его руки, предсказала:

— Когда-нибудь ты будешь королем.

Можете себе представить, как все потешались над ее предсказанием! А между тем оно сбылось.

Тут великий человек прервал себя:

— У меня, понимаете ли, получается ералаш — я ведь вам рассказываю не по порядку, а так, что вспомнится, но я думаю, что все это может вам пригодиться для «Мемориала»...

— Еще бы!

Помимо Паскалона, жадно впитывавшего в себя каждое слово своего героя, вокруг Тартарена усаживались молодые гардемарины, человек шесть, и с разинутым ртом слушали его рассказы.

Но самой внимательной его слушательницей была небрежно раскинувшаяся на бамбуковом шезлонге, чуть поодаль, жена командора, совсем юная, томная изящная креолка с бледно-розовым цветом лица, напоминавшим магнолию, и с большими черными глазами, задумчивыми, глубокими, ласковыми... Она просто упивалась повестями Тартарена.

Гордый за своего наставника, которого все слушали с таким живым любопытством, Паскалон стремился прославить его еще больше и заставлял рассказывать про охоту на львов, про восхождение на Юнгфрау, про оборону Памперигуста. И герой наш со свойственным ему простодушием шел на этот невинный сговор, сам увлекался и позволял перелистывать себя, как книгу, как книжку с картинками, иллюстрированную его выразительной тарасконской мимикой и «бах-бахами» его охотничьих приключений.

Креолка, зябко поеживаясь на шезлонге, вздрагивала при каждом его восклицании, и ее волнение означалось чуть заметным приливом розовой краски, легчайшими мазками ложившейся на ее акварельно нежное лицо.

Когда же за ней приходил ее муж, командор, похожий на Гудсона Лоу, с лицом злой куницы, она умоляла его: «Нет, нет!.. Погодите»,— украдкой бросала взор на великого тарасконца, и тарасконец ловил этот взор и нарочно для нее возвышал голос, стараясь придать ему какую-то особенно благородную интонацию и звучание.

Иной раз, возвращаясь после такой беседы к себе в каюту, он с небрежным видом спрашивал Паскалона:

— Что вам сказала супруга командора? Она, кажется, говорила обо мне? А?..

— Вы правы, учи-итель. Эта особа сказала мне, что она много о вас слышала.

— Это меня не удивляет,— не моргнув глазом, замечал Тартарен.— Я очень популярен в Англии.

Еще одна черта сходства с Наполеоном!

Однажды утром, поднявшись на палубу спозаранку, он, к крайнему своему изумлению, не нашел креолки на ее обычном месте. Но он тут же себя успокоил: день нынче ветреный, холодновато, брызги долетают до юта, оттого она, наверное, и не вышла: ведь она такая хрупкая, такая впечатлительная!

Казалось, волнение, поднявшееся на море, охватило всю палубу и весь экипаж.

Дело в том, что с парохода заметили кита — явление в тех местах довольно-таки редкое. Дыхал у него не было, и фонтанов он не пускал, из чего некоторые матросы заключили, что это самка, тогда как другие утверждали, что это кит особой породы. Обе стороны остались при своем мнении.

Кит находился как раз на пути следования корабля и податься в сторону не собирался, а потому один из офицеров пошел к капитану просить разрешения поохотиться. Капитан, по обыкновению злой, как черт, отказал на том основании, что нельзя терять драгоценное время, и позволил лишь в него пострелять.

До кита оставалось метров двести пятьдесят — триста, и он то показывался, то исчезал по прихоти сильной и бурной волны, так что попасть в него было нелегко.

Раз за разом гремели выстрелы, об успехе которых сообщали стоявшие на вантах марсовые, но кит оставался невредим, по-прежнему резвился и плескался на поверхности, и все на него смотрели, даже тарасконцы, хотя они мокли и дрогли на носу, так как волна окатывала там сильнее, чем на корме, где стояли джентльмены.

Присоединившись к молодым офицерам, пробовавшим свою меткость, Тартарен давал оценку выстрелам:

— Перелет!.. Недолет!..

— Попробуйте вы, учи-итель! — проблеял Паскалон.

При этих словах один из гардемаринов с юношеской живостью обратился к Тартарену:

— Пожалуйста, господин губернатор!

И протянул ему свой карабин. Надо было видеть Тартарена в ту минуту, когда он взял карабин, взвесил его на ладони и приставил к плечу. А Паскалон с гордым и в то же время робким выражением лица задал ему вопрос:

— Сколько раз надо отсчитать, когда стреляешь в кита?

— На эту дичь мне редко приходилось охотиться,— ответил герой,— но, по-моему, надо считать до десяти.

Тут он прицелился, отсчитал до десяти и, выстрелив, отдал карабин офицеру.

— Кажется, попали! — сказал гардемарин.

— Урраа!.. — закричали матросы.

— Я так и знал,— скромно заметил Тартарен.

Но тут послышался такой отчаянный вой, поднялась такая дикая суматоха, что на место происшествия прибежал сам капитан, которому показалось, будто на его судно напали пираты. На носу корабля топали ногами, размахивали руками, вопили, заглушая шум ветра и волн, тарасконцы:

— Тараск!.. Он стрелял в Тараска!.. В отца-батюшку!..

— А, чтоб!.. Что они городят? — бледнея, спросил Тартарен.

Теперь уже в десяти метрах от корабля безобразный идол Тараск из Тараскона вздымал над изумрудными волнами свою чешуйчатую спину, свою уродливую, как у химеры, голову с раскрашенными киноварью губами, кривившимися в злобной усмешке, и с налитыми кровью глазами.

Сделанный из крепчайшего дерева, сработанный на совесть, он выдерживал натиск волн с того самого дня, когда, как это стало известно впоследствии, порывом ветра его сбросило с палубы корабля, находившегося под водительством Скрапушина. Он носился по воле морских зыбей, он залоснился, оброс водорослями и ракушками, но крушения не потерпел, бушевавшие над ним чудовищные ураганы не причинили ему ни малейшего вреда и ущерба,— первую и единственную рану нанес ему Тартарен из Тараскона...

Он! Ему!

На лбу у бедного «отца-батюшки» зияла свежая рана.

Кто-то из английских офицеров воскликнул:

— Лейтенант Шип! Посмотрите, какое смешное животное!

— Это Тараск, молодой человек,— торжественно изрек Тартарен,— это наш предок, пращур, чтимый всеми добрыми тарасконцами.

Офицер пришел в крайнее изумление, да и было от чего: оказалось, что этот урод — пращур странного народца, черномазого, усатого, подобранного на диком острове, в океане, за пять тысяч миль от родины.

Заговорив о Тараске, Тартарен в знак особого уважения снял шляпу, но «отец-батюшка», уносимый волнами Тихого океана, уплыл уже далеко, и долго еще было ему суждено нетонущим обломком плыть по течению и оживать в рассказах моряков то гигантским спрутом, то морским змеем, к великому ужасу китоловов появляющимся то здесь, то там.

Пока Тараск не скрылся из глаз, герой наш молча смотрел ему вслед. Когда же от Тараска осталась лишь черная точка на фоне белеющих волн, он упавшим голосом произнес:

— Запомните, Паскалон: этот выстрел принесет мне несчастье!

И весь тот день он пребывал во власти тревожных дум, угрызений совести и священного ужаса.

II

Обед у командора. Тартарен выделывает па фарандолы. Как лейтенант Шип определил тип тарасконца. В виду Гибралтара. Месть Тараска

Неделю спустя, в жаркий и ясный полдень, когда тарасконцы приближались к благоуханным берегам Индии под небом все такого же молочного цвета, по волнам все такого же тихого, маслянистого моря, как и тогда, по пути в Порт-Тараскон, Тартарен в одних кальсонах отдыхал у себя в каюте, повязав свою большую голову платком, белым в горошинку, и длинные-предлинные концы этого платка торчали у него, точно спокойные уши некоего жвачного животного.

Неожиданно в каюту вбежал Паскалон.

— А?.. Что такое?.. Что случилось? — буркнул великий человек и сорвал с головы платок; он не любил кому бы то ни было показываться в таком виде.

— Кажется, вы одержали победу,— выпучив глаза, с трудом переводя дух и сильнее, чем когда-либо, заикаясь, проговорил Паскалон.

— Над кем?.. Над Тараском?.. Дьявольщина, я это слишком хорошо знаю!

— Нет,— прошелестел Паскалон,— над супругой командора.

— Ай, ай, ай! Бедняжка! Еще одна!.. Да, но почему вы так думаете?

Вместо ответа Паскалон подал ему печатную карточку, из которой явствовало, что лорд командор Уильям Плантагенет и леди Уильям Плантагенет приглашают его превосходительство губернатора Тартарена и правителя канцелярии г-на Паскалона сегодня у них отобедать.

— О, женщины, женщины!.. — воскликнул Тартарен; он сразу догадался, что приглашение исходило от жены командора, но никак не от ее мужа, который вряд ли был способен кого бы то ни было приглашать.

— Так как же, принять мне приглашение или не принять?..— с важным видом спросил себя Тартарен.— Положение военнопленного...

Паскалон, знавший его слабую струнку, напомнил, что на борту «Нортумберленда» Наполеон обедал у адмирала.

— В таком случае я согласен, — поспешил заявить губернатор.

— Но как только подавали вина, император с дамами удалялся,— добавил Паскалон.

— Ну что ж, тем более! Ответьте в третьем лице, что мы принимаем приглашение.

— Во фраке, учитель?

— Разумеется.

Паскалон хотел было надеть плащ сановника первого класса, но наставник ему не позволил,— он сам решил не надевать орденской ленты.

— Приглашают не губернатора, а Тартарена,— пояснил он секретарю,— это разница.

Молодчина Тартарен разбирался буквально во всем.

Обед, поистине царский, был сервирован в обширной, залитой светом, роскошно обставленной кают-компании, перегородки и пол которой были обшиты чудесной английской панелью, до того изящной, что ее планки, тончайшей филигранной работы, казались игрушечными.

Тартарен сидел на почетном месте, справа от леди Уильям. Приглашены на обед были еще только двое: лейтенант Шип и корабельный врач — оба понимали по-французски. За стулом каждого гостя с важным видом, вытянувшись в струнку, стоял лакей в нанковой ливрее. Особым великолепием отличались сервировка вин, высокопробное серебро с гербом Плантагенетов и стоявшая посреди стола драгоценная ваза с редкостными орхидеями.

Паскалон, на которого вся эта роскошь действовала подавляюще, заикался сильнее обычного еще и потому, что, когда к нему кто-нибудь обращался, рот у него, как нарочно, бывал набит. Он восхищался ненаигранным спокойствием Тартарена, как раз напротив которого сидел командор с оттопыренными, как у тигровой кошки, губами и с зелеными, в красных жилках, глазами, глядевшими из-под белых, как у всех альбиносов, ресниц. Тартарен, хаживавший на крупных хищников, плевать хотел на тигровых кошек — он с таким увлечением и так мило ухаживал за леди Уильям, как будто командор был за тридевять земель отсюда. Миледи тоже не скрывала своей симпатии к герою и бросала на него нежные, многозначительные взгляды.

«Несчастные! Ведь муж-то все видит»,— эта мысль не давала Паскалону покоя.

Но нет, муж ничего не видел,— казалось, он тоже с величайшим удовольствием слушает рассказы великого тарасконца.

По просьбе леди Уильям Тартарен рассказал историю Тараска, святой Марфы и голубой ленты. Рассказывал он о своем народе, о так называемом тарасконском племени, о его обычаях, о его переселении. Потом заговорил о своем образе правления, о своих планах, реформах, о новом кодексе, проект которого он разрабатывал. О кодексе он, между прочим, ни с кем до этого не го-

ворил, даже с Паскалоном, но кто может угадать, что́ зреет в объемистых черепных коробках у властей предержащих?

Он высказывал глубокие мысли, он был в ударе, он спел несколько народных песен, в частности песню о том, как Жана Тарасконского взяли в плен корсары и как он полюбил дочь султана.

Наклонившись к уху леди Уильям, каким страстным, вибрирующим полушепотом напевал он ей:

Он был полководец, в боях закаленный,
Сединой убеленный,
И лавры венчали его.
А дочь короля, молодая красотка,
Его полюбила
И молвила как-то ему...

Томная креолка, обыкновенно такая бледная, тут вдруг вся порозовела.

Когда он кончил петь, она спросила, что такое фарандола, о которой так много говорят тарасконцы.

— Ах, боже мой, это же так просто! Вот вы сейчас увидите!..— воскликнул добрый Тартарен.

Не желая ни с кем делить лавры, он сказал своему секретарю:

— Сидите смирно, Паскалон.

Затем встал и принялся выделывать па в ритме фарандолы: «Тра-та-та-там, та-та-тим, та-та-там...» К несчастью, корабль в это время тряхнуло,— Тартарен грохнулся, но сейчас же вскочил и, не унывая, первый посмеялся своей неудаче.

Несмотря на *cant* [1], несмотря на всю свою выдержку, англичане покатились со смеху и нашли, что губернатор просто очарователен.

Наконец подали вина. Леди Уильям сейчас же вышла, а следом за ней Тартарен, резким движением бросив салфетку, не поклонившись, не извинившись, строго придерживаясь легенды о Наполеоне, покинул кают-компанию.

Англичане в недоумении переглянулись и стали перешептываться.

— Его превосходительство вина не пьет...— сказал Паскалон; он счел необходимым объяснить выходку наставника и взять нить разговора в свои руки.

Секретарь тоже очень мило тарасконил, пил кларет, не отставая от англичан, развлекал их и потешал веселой болтовней и повышенной жестикуляцией.

---

[1] Чопорность *(англ.)*.

Когда все встали из-за стола, он, будучи уверен, что Тартарен присоединился на палубе к леди Плантагенет, не без тайного умысла предложил командору, заядлому шахматисту, сыграть с ним партию.

Два других гостя беседовали и покуривали возле них. Лейтенант Шип сказал на ухо доктору, по-видимому, что-то очень смешное, потому что доктор залился хохотом, а командор поднял голову и спросил:

— Что такое вам сказал лейтенант Шип?

Лейтенант повторил, и тут они все трое расхохотались еще громче, Паскалон же решительно ничего не мог понять.

А в это время наверху, овеваемый затихающим благовонным бризом, при ослепительном блеске заходящего солнца, купавшегося в море, игравшего на палубе и словно развесившего на всех снастях красную смородину, Тартарен, опершись о спинку кресла леди Уильям, рассказывал ей о своем романе с принцессой Лики-Рики и о том, как мучительно тяжело было им расставаться. Он знал, что женщины любят утешать и что поведать им муки наболевшего сердца — это лучший способ добиться успеха.

О, сцена прощания Тартарена с малюткой, которую сам Тартарен в таинственном полумраке рассказывал шепотом на ухо своей собеседнице! Кто не слыхал этого, тот вообще ничего не слыхал.

Я не берусь утверждать, что рассказ Тартарена полностью соответствовал действительности, что эта сцена не была им хоть сколько-нибудь приукрашена. Во всяком случае, он повествовал о событиях так, как бы ему хотелось, чтобы они происходили: бедная принцесса, пылкая, страстная, в душе у которой шла борьба между дочерним долгом и супружеской верностью, в конце концов вцепилась в героя своими маленькими ручонками и голосом, полным отчаяния, крикнула: «Возьми меня с собой! Возьми меня с собой!» А у него сердце обливалось кровью, но он отталкивал ее и вырывался из ее объятий: «Нет, дитя мое, так надо. Оставайся со своим старым отцом,— кроме тебя, у него никого нет...»

Рассказывая об этом, Тартарен самым настоящим образом плакал, и ему казалось, что прекрасные глаза креолки, устремленные на него, тоже наполняются слезами, а солнце в это время медленно погружалось в море и покидало горизонт, затопляемый фиолетовой мглой.

Внезапно к ним приблизились какие-то тени, и все очарование нарушил резкий, холодный голос командора:

— Поздно уже, дорогая, да и свежо,— идемте!

Она встала и, чуть заметно кивнув головой, вымолвила:

— Покойной ночи, господин Тартарен!

Он был потрясен той глубокой нежностью, какую она вложила в свои слова.

После этого он еще некоторое время прохаживался по палубе, и в ушах у него продолжало звучать: «Покойной ночи, господин Тартарен!» Но командор был прав: воздух быстро свежел, и Тартарен решил идти спать.

Проходя мимо маленького салона, Тартарен увидел в приотворенную дверь своего секретаря: тот с озабоченным видом сидел за столом, подперев одной рукой голову, а другой перелистывая словарь.

— Что это вы делаете, дитя мое?

Верный Паскалон рассказал ему о том, какое неприятное впечатление произвел его внезапный уход, о перешептывании возмущенных сотрапезников, а главное, о таинственной фразе лейтенанта Шипа, которую командор заставил его повторить и которая всех насмешила.

— Хоть я и недурно понимаю по-английски, а все-таки смысла не уловил, только слова запомнил и теперь пытаюсь уразуметь, что же означала вся фраза.

Выслушав доклад секретаря, Тартарен лег в постель, поудобнее, поуютнее вытянулся, повязал голову платком, пододвинул к себе большущий стакан с апельсинной водой и, закурив трубку, которую он всегда выкуривал перед сном, спросил:

— Вы кончили перевод?

— Да, дорогой учитель: «В сущности тарасконец — это тот же француз, только в увеличенном, непомерно увеличенном виде, точно отраженный в зеркальном шаре».

— И вы говорите, что они над этим покатывались?

— Все трое: и лейтенант, и доктор, и сам командор — никто не мог удержаться от смеха.

Тартарен пожал плечами и изобразил на своем лице сожаление:

— Известно, что англичанам редко выпадает случай посмеяться, вот они и рады всякой ерунде! Ну, дитя мое, пора спать, до завтра!

Немного погодя оба они заснули, и во сне один из них увидел Клоринду, а другой — супругу командора, ибо Лики-Рики была уже далеко.

Дни шли за днями и складывались в недели, путешествие превращалось в прелестную, очаровательную прогулку, и Тартарен, так любивший возбуждать к себе симпатию, приводить в восхищение, все время ощущал вокруг себя эту атмосферу и наблюдал самые разнообразные проявления этих чувств.

Он мог бы сказать о себе словами Виктора Жакмона[1], который в одном из своих писем выразился так: «Странно сложились мои отношения с англичанами! Эти люди, с виду такие бесстрастные, такие холодные друг с другом, мгновенно оттаивают от моей непринужденности. Они волей-неволей впервые в жизни становятся ласковы; я делаю их добрыми, я в двадцать четыре часа офранцуживаю любого англичанина».

На «Томагавке» все обожали Тартарена — и офицеры и матросы, обожали везде одинаково: и на носу и на корме. Всякие разговоры о том, что он военнопленный, что его дело будет передано в английский суд, были прекращены,— его собирались освободить в Гибралтаре.

А суровый командор, в восторге, что у него такой сильный партнер, как Паскалон, по вечерам часами держал злосчастного вздыхателя Клоринды за шахматной доской, чем приводил его в отчаяние, так как он не мог отнести Клоринде лакомые кусочки от своего обеда. Дело в том, что горемыки тарасконцы по-прежнему влачили в своей каторжной тюрьме жалкое существование эмигрантов, и для Тартарена это была пытка и мука — разливаясь соловьем на юте или же в печальный час заката ухаживая за леди Уильям, бросить случайный взгляд вниз и вдруг увидеть своих соотечественников, сбившихся в кучу, как убойный скот, под охраной часового, и с ужасом от него отворачивающихся, особенно явно после того, как он стрелял в Тараска.

Они не прощали губернатору его преступления, да и он сам не забыл этого выстрела, сулившего ему несчастье.

Уже прошли Малаккский пролив, Красное море, уже обогнули Сицилию, уже близок был Гибралтар.

Однажды утром показалась земля, и Тартарен с Паскалоном, призвав на помощь лакея, начали было укладывать вещи, как вдруг все ощутили толчок, какой бывает при остановке судна. «Томагавк» застопорил. Одновременно послышался приближающийся плеск весел.

— Посмотрите, Паскалон,— сказал Тартарен,— уж не лоцман ли это?..

В самом деле, к судну приставала шлюпка, но без лоцмана. На ней развевался французский флаг, в ней сидели французские матросы и еще два каких-то человека во всем черном и в высоких шляпах. Тартарен взыграл духом:

---

[1] Жакмон Виктор — известный французский путешественник.

— О! Французский флаг! Дайте мне посмотреть, дитя мое!

Он бросился к иллюминатору, но дверь внезапно отворилась, в каюту хлынули потоки света, и вслед за тем два полицейских чина в штатском платье, державшие себя грубо и нагло, предъявив приказ об аресте, разрешение на выдачу преступников и всякую прочую музыку, наложили лапу на несчастный «Существующий порядок» и на его секретаря.

Губернатор отшатнулся, побледнел и с достоинством произнес:

— Прошу не забываться — я Тартарен из Тараскона.

— Вас-то нам и надо!

И тут их обоих схватили — схватили без объяснения причин, оставив без ответа все их многочисленные вопросы, не потрудившись сообщить, в чем их преступление, за что их задержали и куда повезут. Сейчас они не испытывали ничего, кроме стыда, оттого что их вели в кандалах — им и правда надели наручники — мимо матросов, мимо гардемаринов, а затем, под смех и улюлюканье соотечественников, которые, перевесившись через борт, били в ладоши и кричали истошными голосами: «Вот это здорово!.. Так им и надо!.. Так им и надо!..» — посадили в шлюпку.

Тартарен рад был очутиться на дне морском.

Из военнопленного, под стать Наполеону или Фемистоклу, превратиться в обыкновенного жулика!

А тут еще супруга командора на него смотрит!

Положительно, он был прав: Тараск ему за себя мстил, и мстил жестоко.

III

Продолжение Паскалонова «Мемориала»

5 июля. Тарасконская тюрьма на Роне. Я только что с допроса. Теперь я понял, в чем нас обвиняют, губернатора и меня, почему нас тогда так неожиданно взяли на «Томагавке», схватили в тот момент, когда мы были наверху блаженства, на седьмом небе, выловили, как двух лангустов на чистом дне морском, надели наручники, переправили на французский корабль, доставили в Марсель, оттуда в Тараскон и посадили в секретную.

Нам предъявили обвинение в мошенничестве, в непреднамеренном убийстве и в нарушении закона об эмиграции. Ну, а как же я мог не нарушить этот треклятый закон, коли я до сих пор не подозревал о его существовании?

Два дня нас продержали в тюрьме, причем нам было строжайше запрещено вступать с кем-либо в разговоры,— а что может быть

ужаснее для тарасконца? — и наконец вызвали в суд к следователю г-ну Бонарику.

Бонарик начал свою карьеру в Тарасконе лет десять тому назад, меня он прекрасно знает, сто раз приходил ко мне в аптеку,— я ему приготовлял мазь от хронической экземы на щеке.

Тем не менее я должен был сообщить ему мое имя, фамилию, возраст, профессию, как будто он в первый раз меня видит. Мне пришлось показывать буквально все, что я знаю по делу о Порт-Тарасконе, и говорил я битых два часа без передышки. Его секретарь за мной не поспевал — вот до чего я разошелся. Ну, а потом: «Подследственный! Можете удалиться». Даже «до свиданья» не сказал.

В коридоре суда я столкнулся с бедным губернатором — мы не виделись с того дня, как нас засадили в тюрьму. Он сильно изменился.

Он успел пожать мне руку на ходу и ласково молвил:

— Мужайтесь, дитя мое! Правда — что масло: всегда наверх всплывает.

Больше он ничего не мог мне сказать — полицейские толкали его в спину.

Его ведут полицейские!.. Тартарен в оковах, и где? В Тарасконе!.. И потом — этот гнев, эта ненависть всего народа!..

В ушах у меня всегда будут звучать неистовые крики черни, всегда я буду чувствовать на себе ее жаркое дыхание, никогда я не забуду, как нас обоих, рассадив по разным отделениям тюремной кареты, везли в тюрьму.

Видеть я ничего не мог, но рев толпы слышал. На Рыночной площади карета остановилась,— об этом я догадался по запаху, который вместе с полосками золотистого света просачивался в щели кареты,— и в запахе помидоров, баклажанов, кавальонских дынь, красного перца и крупного сладкого лука я ощущал дыхание нашего города. Я так давно не ел этих чудных вещей, и у меня слюнки потекли, как только я вдохнул их аромат.

Народу собралось столько, что лошадям негде было проехать. Тараскон по-прежнему многолюден,— можно подумать, что никто из тарасконцев не потонул, никто из них не был убит или же съеден людоедами. Мне даже почудился голос землемера Камбалалета. Наверно, я ослышался,— ведь сам Безюке признался, что ел нашего незабвенного Камбалалета. Но что я слышал голос Экскурбаньеса — в этом я убежден. Тут уж нельзя было ошибиться — его голос покрывал все вопли:

— А ну, в воду его!.. В Рону! В Рону!.. *Двайте шумэть!* В воду Тартарена!..

Тартарена — в воду!.. Какой печальный исторический урок! Какая скорбная страница в «Мемориале»!

Я забыл упомянуть, что следователь вернул мне дневник, отобранный у меня на «Томагавке». Он сказал, что дневник представляет интерес, советовал мне продолжать, а по поводу нашего мрачного острова даже скаламбурил, улыбаясь в свои рыжие бакенбарды:

— Вы составили мемориал и описали остров Умориал.

Я сделал вид, что мне смешно.

С 5 по 15 июля. Тарасконская городская тюрьма находится в историческом замке с четырьмя башнями по углам, в старинном замке короля Рене — он стоит на берегу Роны и виден издалека.

Не везет нам с историческими замками. В Швейцарии нас всех приняли за нигилистов, а славного Тартарена — за нашего главаря, и посадили в темницу Бонивара, в Шильонский замок.

Правда, здесь не так мрачно. Свету много, от реки тянет свежестью, и не льет дождь — не то что в Швейцарии или в Порт-Тарасконе.

Моя одиночка очень узкая: четыре оштукатуренных стены, железная койка, стол, стул. Солнечный свет проникает в зарешеченное окно, выходящее прямо на Рону.

Отсюда во время Великой революции бросали якобинцев в воду под звуки широко известной песни:

Бултых — и прямо в Рону
Попрыгают они...

А так как репертуар народных песен не очень богат, то и нам поют все тот же зловещий куплетец. Я не знаю, где поместили бедного губернатора, но и он, вероятно, слышит крики, несущиеся по вечерам с берегов Роны, и они не могут не навевать на него мрачных дум.

Хоть бы посадили-то нас с ним в одну камеру!.. Впрочем, откровенно говоря, по приезде сюда я испытываю некоторое облегчение, мне приятно побыть один на один с самим собой, привести свои мысли в порядок.

Близость к великому человеку в конце концов до того утомительна! Он говорит с вами только о своей персоне и совершенно не входит в ваши интересы. На «Томагавке» я ни одной минуты не принадлежал себе, ни одной секунды не мог побыть с Клориндой. Сколько раз я говорил себе: «Она там!» Но улизнуть к ней мне не удавалось. Только пообедали — изволь играть в шахматы с командором, а потом весь остаток дня сиди около Тартарена: ведь после того, как я ему признался, что пишу «Мемориал», он не от-

пускал меня ни на шаг: «Напишите об этом... Не забудьте упомянуть о том-то...» И давай рассказывать случаи не только из своей жизни, а еще из жизни родителей, по правде сказать — мало интересные.

Не понимаю, как Лас-Каз мог это выдерживать несколько лет подряд! Император будил его в шесть часов утра, таскал за собой то пешком, то верхом, то в карете, и дорóгой — пожалуйте: «Вы помните, Лас-Каз, на чем мы остановились?.. Ну так давайте дальше... Когда я подписал мирный договор в Кампо-Формио...» У бедного наперсника свои заботы: больной ребенок, жена, которую он оставил во Франции, но какое до этого дело императору? Ему бы только рассказать о себе, оправдаться перед Европой, перед всем миром, перед потомством — и так каждый день, каждый вечер, годами! Стало быть, настоящим мучеником был на Святой Елене не Наполеон, а Лас-Каз!

Я теперь от этой пытки избавлен. Бог свидетель, я этого не добивался, но нас с ним разъединили, и у меня есть теперь досуг подумать о себе, о моей горькой доле, о моей горячо любимой Клоринде.

Считает ли она меня виновным? Она-то нет, а вот ее семья, все эти Эспазеты д'Эскюдель де Ламбеск?.. В их кругу человек нетитулованный всегда виноват. Во всяком случае, у меня уже ничего не осталось от былого величия, и они ни за что не отдадут за меня Клоринду. Придется мне, как видно, вернуться к Безюке, в его аптеку на Малой площади, и опять заняться склянками... Вот она, слава!

17 июля. Никто не навещает меня в тюрьме, а это дурной знак. Стало быть, на меня так же злы, как и на моего учителя.

Единственное развлечение, которое я могу себе позволить в тюремной камере,— это влезть на стол. Оттуда я смотрю в окно, и между прутьев решетки глазам моим открывается чудный вид.

Рона, дробя в своих водах солнечный свет, течет среди островков, покрытых взлохмаченной от ветра бледною зеленью. Быстролетными черными точками испещрили все небо стрижи. Их взвизги стремятся один другому вдогонку, то проносясь у самого моего окна, то падая с вышины, а внизу качается длинный висячий мост, до того легкий, что так и ждешь: вот сейчас ветер сорвет его и унесет, как шляпу.

По берегам стоят развалины старинных замков: Бокерского замка, у подножья которого прилепился город, Куртезонского, Вакейрасского. За их некогда толстыми, ныне осыпавшимися стенами устраивались «любовные турниры», и принцессы и королевы дарили свою любовь поэтам того времени — труверам, воспевавшим их, как ныне Паскалон воспевает свою Клоринду. Но, увы,

какие с тех отдаленных времен произошли перемены! От дивных чертогов остались ныне лишь ямы, заросшие бурьяном, а поэты хотя и славят знатных дам и девушек, да девушки-то их поднимают на смех.

Зато не так уныло выглядит Бокерский канал: там тесными рядами все идут и идут зеленые и желтые суда, а набережную усеяли красными пятнами мундиры разгуливающих офицеров, которых мне хорошо видно из моего высокого окна.

Бокерцы, наверно, радуются беде тарасконцев, падению нашей знаменитости, ибо слава Тартарена затмевала славу наших кичливых соседей.

Я помню, как в годы моего детства бокерцы похвалялись своею ярмаркой. Народ стекался к ним отовсюду — но только не из Тараскона: уж больно ненадежен висячий мост! Наплыв был огромный — на ярмарку съезжалось не менее пятисот тысяч душ!.. Однако год от году она редела. Бокерская ярмарка существует и поныне, но никто на нее не ездит.

В Бокере повсюду надписи: «Отдается внаймы... Отдается внаймы...» Если же случайно забредет туда путешественник или коммивояжер, то жители устраивают в его честь торжество: муниципальный совет встречает его с музыкой, бокерцы зазывают его к себе наперебой. С годами Бокер утратил свою былую славу, тогда как Тараскон приобрел известность... И все из-за Тартарена!

Вот о чем думал я, стоя на столе и глядя в окно. Солнце зашло, спустилась ночь, и вдруг на том берегу Роны на башне Бокерского замка вспыхнул яркий огонь.

Он горел долго, а я долго смотрел, как в глубокой ночной тишине, которую лишь по временам колебали мягким шорохом крыльев орланы, ложился на Рону красноватый отблеск, и что-то таинственное чудилось мне в нем. Уж не сигнал ли это?

Быть может, это какой-нибудь поклонник нашего великого Тартарена хочет устроить ему побег?.. Нет, неспроста загорелся огонь на самом верху полуразрушенной башни как раз напротив его темницы!

18 июля. Проезжая сегодня с допроса в тюремной карете мимо церкви св. Марфы, я услышал голос маркизы дез Эспазет, голос по-прежнему властный, с характерным провансальским акцентом: «*Клорэнда!.. Клорэнда!..*» — а затем нежный, ангельский голосок моей возлюбленной: «Иду, мама!»

Наверно, она шла в церковь помолиться за меня, за благоприятный исход дела.

Вернулся я в тюрьму крайне взволнованный... Я даже написал на провансальском языке стихи о том, что эта встреча явится для меня счастливым предзнаменованием.

Вечером в тот же час опять на Бокерской башне загорелся огонь. Светит он во мраке, будто костер в Иванову ночь. Вне всякого сомнения, это сигнал.

Тартарен, с которым я перекинулся несколькими словами в коридоре суда, тоже видел огонь сквозь решетку своей тюрьмы, а когда я ему сказал, что, наверное, друзья хотят устроить ему побег, как Наполеону с острова Святой Елены, он был потрясен таким совпадением:

— Ах, вот оно что! Наполеону с острова Святой Елены... пытались устроить побег?

Однако, немного подумав, он заявил, что никогда на это не решится.

— Конечно, не спуск с башни в триста футов вышиной по веревочной лестнице, которую раскачивает ночной ветер с реки, пугает меня. Можете не сомневаться, дитя мое!.. Я боюсь другого: подумают, что я уклонился от ответственности. Нет, Тартарен из Тараскона не побежит!

Ах, если бы все те, кто кричит, когда он проезжает мимо: «А ну, в Рону его, в Рону!..» — могли слышать наш разговор!.. И его еще обвиняют в мошенничестве! Его *сочли сообщником этого* подлеца герцога Монского!.. Какой вздор!.. Ну на что это похоже?..

Между прочим, он уже не заступается за герцога, он раскусил поганого бельгийца! В невиновности Тартарена убедятся все, он сумеет себя защитить — дело в том, что на суде Тартарен сам будет себя защищать. Я же из-за своего заикания не могу выступать публично, и меня будет защищать Цицерон Бранкебальм, стяжавший себе славу той несокрушимой силой логики, какой отличаются его судебные речи.

20 июля вечером. Как мучительно тяжелы для меня допросы! Трудность заключается не в том, чтобы защитить себя, а в том, чтобы, защищая себя, не потопить моего бедного учителя. Он был так неосторожен, он так слепо доверял герцогу Монскому! А потом из-за перемежающейся экземы г-на Бонарика никогда не знаешь, бояться тебе или надеяться. Экзема — это у моего следователя пункт помешательства. «Выступила» — он лезет на стену, «не выступила» — он «душа-человек».

Вот у кого «выступила» и так никогда и не сойдет, это у несчастного Безюке: за морем татуировка ничуть ему не мешала, но здесь, под тарасконским небом, он сам себе стал противен, никуда не выходит, прячется от всех в своей лаборатории, приготовляет травяные настойки, омлеты и к посетителям выходит не иначе как в бархатной маске, словно опереточный заговорщик.

До чего мужчины боятся физической боли, боятся всяких лишаев, пятен, экзем,— пожалуй, даже больше, чем женщины!

Оттого-то, наверно, он так и злится на Тартарена — он видит в нем источник всех своих мучений.

24 июля. Вчера меня опять вызвали к г-ну Бонарику,— по-видимому, в последний раз. Он показал мне бутылку, найденную ронским рыбаком на одном из островов, и дал прочитать письмо, которое было в этой бутылке:

«Тараскон. Городская тюрьма. Тартарену. Мужайся! Друг твой бодрствует на том берегу. Когда урочный час пробьет, он переправится.

Одна из жертв герцога Монского».

Следователь спросил, знаком ли мне почерк. Я ответил, что не знаком, но так как всегда надо говорить правду, то прибавил, что кто-то уже однажды пытался завести таким образом переписку с Тартареном: перед нашим отъездом из Тараскона ему доставили точно такую же бутылку с письмом, но он не придал ей никакого значения, полагая, что кто-то над ним подшутил.

Следователь сказал: «Хорошо». А потом, как всегда: «Можете идти».

26 июля. Предварительное следствие закончилось; объявлено, что дело будет слушаться на ближайших днях. Город бурлит. Судебное разбирательство начнется, вероятно, 1 августа. Теперь я уже не буду спать до самого суда. Да я и так уже давно не сплю в этой узкой конурке, накаленной, как печка. Приходится на ночь оставлять окно открытым, но тогда нет отбою от комаров, а по углам скребутся крысы.

За последние дни я имел несколько свиданий с Цицероном Бранкебальмом. Он с большой горечью говорил о Тартарене. Я чувствую, что он на него обижен за то, что тот не поручил ему защищать себя. Бедный Тартарен! Все против него.

Состав суда, насколько мне известно, обновлен. Бранкебальм назвал мне фамилии судей: председатель суда — Мульяр, члены суда — Бекман и Робер дю Нор. Никакие знакомства нам не помогут. Говорят, все трое — нездешние. Да это и по фамилиям видно.

По непонятной мне причине из обвинительного акта исключены два пункта: непреднамеренное убийство и нарушение закона об эмиграции. Явке в суд подлежат: Тартарен из Тараскона, герцог Монский — да, так он вам и явится! — и Паскаль Тестеньер, именуемый Паскалоном.

31 июля. Ночь провел в волнении и в тревоге. Завтра суд. Встал поздно. Смог только нацарапать на стене тарасконскую поговорку, слышанную мною не раз от Бравида, который знал их все до одной:

От бессонницы страдать,
Зря кого-нибудь прождать,
Без взаимности любить —
Что ужасней может быть?

IV

Судебный процесс на юге Франции. Сбивчивые показания. Тартарен клянется перед богом и людьми. Тарасконские узорщики. Рюжимабо съела акула. Неожиданный свидетель

Нет, прах их побери, судьи бедного Тартарена не были южанами! Чтобы убедиться в этом, достаточно было на них взглянуть в дышавший зноем августовский полдень в ломившейся от публики большой зале суда, где слушалось дело Тартарена.

Надо вам сказать, что август в Тарасконе — месяц нестерпимо жаркий. Жарко, как в Алжире, и меры принимаются здесь против этой небесной кары такие же, как и в африканских городах: еще до полудня улицы пустеют, из казарм запрещено выходить, перед каждой лавкой навес. Но из-за процесса Тартарена все эти местные обычаи пришлось нарушить, а потому нетрудно вообразить температуру в переполненной зале суда, в глубине которой трибуны были битком набиты дамами в платьях с оборками и в шляпках с перьями.

Часы на башне суда пробили два. В высокие, настежь распахнутые окна, на которых были спущены длинные желтые шторы, вливались струистый, переливчатый свет, оглушительный треск цикад, укрывавшихся в тени кустов боярышника и платанов Городского круга — больших деревьев с белой листвой, белой от пыли,— гул толпы, оставшейся наружи, и, как на арене перед боем быков, выкрики разносчиков: «Кому холодной воды?..»

Поистине, надо было быть тарасконцем, чтобы не изнемочь в духоте этой залы, а духота стояла такая, что ожидающий смертной казни — и тот, кажется, заснул бы здесь во время чтения приговора. Судьи совсем задыхались; они, все трое, не привыкли к знойному югу: и председатель суда Мульяр, лионец, выглядевший на юге белой вороной, с продолговатой седой головой и строгим взглядом философа, одним своим видом нагонявший тоску, и два члена суда — Бекман из Лилля и прибывший с еще более дальнего севера Робер дю Нор.

Как только началось заседание, эти господа, сразу осовев, уставились на большие световые квадраты, вычертившиеся на желтых шторах, а во время бесконечно долгой проверки свидетелей, коих было со стороны обвинения никак не меньше двухсот пятидесяти, судьи уже спали вовсю.

Спали и полицейские — они тоже не были уроженцами юга, а их жестокосердное начальство не позволило им снять хотя бы часть их тяжеленной амуниции.

Разумеется, в таких условиях трудно было решить дело по справедливости. К счастью, судьи изучили его заранее, иначе сквозь дремоту вряд ли бы что-нибудь дошло до их сознания, кроме треска цикад да жужжания мух, сливавшегося с гудением человеческих голосов.

После парада свидетелей товарищ прокурора Бомпар дю Мазе начал читать обвинительное заключение.

Вот это уж был настоящий южанин! Низенький, пузатенький, лохматый, косматый, с бородкой, завивавшейся, как черные стружки, с глазами навыкате, словно кто-то изо всех сил треснул его по затылку, с глазами, налитыми кровью, будто ему только что ставили мушки, с металлическим голосом, от которого звенело в ушах. А уж мимика, а телодвижения!.. Это была краса и гордость тарасконской прокуратуры. Его приходили слушать за несколько миль. Но на сей раз особую остроту его обвинительной речи придавало его родство с пресловутым Бомпаром, одной из первых жертв порт-тарасконского предприятия.

Никогда еще обвинитель не был столь ожесточен, столь возбужден, столь несправедлив, столь пристрастен, но ведь в Тарасконе любят все будоражащее и громозвучное!

Как развенчивал он бедного Тартарена, сидевшего рядом со своим секретарем между двумя полицейскими! С пеной у рта, топорща закрученные усы, он в такие жалкие лохмотья превращал его славное прошлое!

Паскалон совсем растерялся и от стыда закрыл лицо руками. Тартарен, напротив, слушал очень спокойно, с гордо поднятой головой и не отводя глаз в сторону,— он чувствовал, что его песня спета, что звезда его закатилась, он знал, что за взлетом обыкновенно следует падение — так уж устроен мир,— и был ко всему готов, а между тем Бомпар дю Мазе, все свирепея, обрисовывал его как самого заурядного мошенника, злоупотреблявшего своей призрачной славой, хваставшегося львами, которых он, вернее всего, и не убивал, восхождениями, которых он, вернее всего, и не совершал, связавшегося с авантюристом, с проходимцем, неким герцогом Монским, которого суд так и не мог разыскать. Он доказывал, что Тартарен еще хуже герцога Монского,— тот, по крайней мере, не эксплуатировал своих соотечественников, а Тартарен нажился на тарасконцах, обворовал их, зарезал без ножа, пустил по миру, довел до того, что они подбирали корки в помойных ямах.

— Впрочем, господа судьи, чего же еще можно ожидать от человека, стрелявшего в Тараска, нашего отца-батюшку?..

Эта заключительная часть его речи вызвала на трибунах патриотические рыдания, а с улицы им вторил рев толпы, ибо голос товарища прокурора, пробив двери и окна, достиг и ее слуха. Сам же товарищ прокурора, потрясенный до глубины души звуками собственного голоса, зарыдал и заверещал так громко, что судьи мгновенно проснулись — им показалось, что от страшного ливня попадали все водосточные трубы и желоба.

Бомпар дю Мазе говорил пять часов подряд.

Хотя жара еще не спала, но как раз когда он кончил, свежий ветер с реки стал надувать желтые шторы на окнах. Председатель суда Мульяр больше уже не засыпал,— изумление, в которое его, недавно сюда прибывшего, повергла страсть тарасконцев к вымыслам, было так сильно, что он все время потом бодрствовал.

Сам Тартарен подал пример этого очаровательного в своей наивности вранья, которое составляет, так сказать, аромат, букет здешних мест.

Допрос Тартарена мы по необходимости даем здесь в сокращенном виде, но вот один из его любопытных моментов. Тартарен вскочил и, подняв руку, произнес:

— Перед богом и людьми клянусь, что я этого письма не писал.

Речь шла о письме, которое Тартарен прислал из Марселя редактору «Порт-тарасконской газеты» Паскалону и в котором он подстегивал редактора и требовал, чтобы тот еще поддал пару, расписывая, как богат этот остров и какая там плодородная почва.

Нет, тысячу раз нет! Обвиняемый этого не писал. Он отрицает, он протестует.

— Не знаю, может быть, это герцог Монский, не явившийся в суд...

Как презрительно цедит он сквозь зубы это: «не явившийся в суд»!

Тут вмешивается председатель суда:

— Покажите письмо обвиняемому.

Тартарен берет письмо, смотрит и, как ни в чем не бывало, заявляет:

— Да, правда, это мой почерк. Письмо писал я, я позабыл.

При этих словах заплакал бы и тигр.

Немного погодя — еще один эпизод, с Паскалоном. На этот раз поводом послужила помещенная в вышеупомянутой газете статья о том, как принимали туземцы, король Негонко и первые поселенцы острова пассажиров с «Фарандолы» и «Люцифера» в порт-тарасконской ратуше, подробнейшим образом описанной автором.

Каждое слово статьи вызывало в зале дикий, неудержимый хохот, прерываемый воплями негодования. Паскалон — и тот был вне себя; сидя на скамье подсудимых, он выражал глубокое возмущение: это не он, ни за что не поставил бы он своей подписи под такой заведомой ложью.

Ему сунули под нос напечатанную статью с рисунками, сделанными по его указаниям, подписанную его фамилией, и вдобавок его собственный черновик, найденный в типографии Тринклага.

— Потрясающе! — вытаращив глаза, сказал бедный Паскалон.— У меня это совсем вылетело из головы!

Тартарен вступился за своего секретаря:

— Дело в следующем, господин председатель суда: слепо веря всем россказням герцога Монского, не явившегося...

— Ну да, теперь валите на герцога Монского — он все свезет! — в бешенстве прервал его товарищ прокурора.

— Я давал этому несчастному ребенку,— продолжал Тартарен,— идею для статьи и говорил: «Вышейте мне по этой канве узоры». Он и разузоривал.

— Это верно, я только разу-узоривал...— робко пролепетал Паскалон.

Ох уж эти узорщики! Председатель суда Мульяр понял, что это такое, во время опроса свидетелей: все они были тарасконцы, все до одного — сочинители, и все, как один, отказывались от того, что утверждали накануне.

— Но ведь вы же сами показывали это на предварительном следствии.

— Кто, я?.. А, да ну!.. Мне и во сне-то ничего подобного не снилось.

— Но вы же, однако, подписали.

— Подписал?.. Даже и не думал...

— Вот ваша подпись.

— Свят, свят, свят, а ведь и правда!.. Должен вам сказать, господин председатель суда, что я крайне изумлен.

И так было со всеми — никто не помнил своих показаний.

Судьи терялись, становились в тупик перед этими противоречиями, перед этой кажущейся недобросовестностью, ибо страсть к вымыслам, свойственная людям, населяющим страну солнечного света, и живость их воображения были недоступны холодным северянам.

С ошеломляющими сообщениями выступил Костекальд,— он показал, что его изгнали с острова, что из-за лихоимца и тирана Тартарена ему пришлось покинуть жену и детей. Потом, чего стоила драма в шлюпке: его несчастные товарищи один за другим

умирают страшной смертью. Рюжимабо захотелось освежиться он решил искупаться около самой шлюпки, внезапно к нему подплывает акула и разрывает его пополам.

— О, эта улыбка моего друга!.. Я вижу ее как сейчас. Он простирает ко мне руки, я плыву к нему, но вдруг по его лицу пробегает судорога, и он исчезает бесследно... лишь кровавый круг ширится на воде.

Костекальд дрожащею рукою обводит круг, а из глаз его текут слезы величиною с турецкий горох.

Услыхав фамилию Рюжимабо, Бекман и Робер дю Нор, как раз к этому времени очнувшиеся, наклонились к председателю, и пока стены суда сотрясались от громких рыданий публики, возбужденной рассказами Костекальда, три черные судейские шапочки все время покачивались из стороны в сторону.

Наконец председатель суда Мульяр задал свидетелю вопрос:

— Вы говорите, что Рюжимабо у вас на глазах съела акула. Но на суде только что упоминался в качестве свидетеля со стороны обвинения некий Рюжимабо, сегодня утром прибывший в Тараскон... Это не тот?..

— Ну да, конечно!.. Это я и есть!..— воскликнул бывший заместитель начальника сельскохозяйственного отдела.

— Как? Рюжимабо здесь? — не поведя бровью, сказал Костекальд.— Я его не видел, это для меня новость.

Тут одна из черных шапочек обратилась к нему с вопросом:

— Значит, он не был съеден, как вы только что утверждали?

— Я, видимо, спутал его с Трюфенюсом...

— Дьявольщина, я же здесь, вот он я, меня тоже никто не съел!..— раздался возмущенный голос Трюфенюса.

Костекальда это начало раздражать.

— Да не все ли равно? — заявил он.— Я знаю наверное, что кто-то был съеден акулой, я видел круг.

И, как ни в чем не бывало, продолжал давать показания.

Прежде чем отпустить его, председатель суда поинтересовался, как велико, по подсчетам свидетеля, число жертв. На это свидетель ему ответил:

— По меньшей мере *срок* тысяч. (Вместо *сорок* там говорят *срок*.)

Между тем по переписи значилось никак не более четырехсот островитян, а потому легко можно себе представить смятение председателя суда Мульяра и членов суда. Пот лил градом с этих несчастных — такого судебного разбирательства в их практике еще не было, никогда еще не приходилось им выслушивать столь противоречивые свидетельские показания. А свидетели все так же ожесточенно спорили, перебивали друг друга, вскакивали

с мест, вырывали друг у друга признания, а вместе с признаниями, кажется, готовы были вырвать и языки. И все со скрежетом зубовным и сатанинским смехом! На этом фантастическом, трагикомическом процессе речь шла только о съеденных, утонувших, вареных, жареных, пареных, проглоченных, татуированных, изрубленных на мелкие куски тарасконцах, сидевших тут же, на одной скамье, живых и здоровых, целых и невредимых, не потерявших ни единого зуба, без единой ссадины на теле.

Два-три свидетеля до сих пор еще не явились, но так как их ждали с минуты на минуту и так как они наверняка были на одну стать со всеми прочими, то судебный следователь Бонарик, хорошо знавший нравы своих сограждан, убедил председателя суда не поднимать вопроса о непреднамеренном убийстве.

А шумная и забавная вереница свидетелей все еще тянулась.

Публика тоже вела себя бурно: одних она освистывала, другим рукоплескала и без зазрения совести отвечала хохотом на ежеминутные угрозы председателя суда очистить залу, хотя, сбитый с толку всем этим гамом и неразберихой, он на самом деле и не думал очищать ее, а лишь, облокотившись на стол, то и дело хватался за свою раскалывавшуюся голову.

Воспользовавшись относительным затишьем, Робер дю Нор, высокий сухощавый старик с насмешливо поджатыми губами и длинными пушистыми седыми бакенбардами, в съехавшей на ухо шапочке, откинувшись на спинку кресла, проговорил:

— Короче, насколько я понимаю, не вернулся один Тараск.

При этих словах товарищ прокурора Бомпар дю Мазе неожиданно выпрыгнул, как чертик из коробочки:

— А мой дядя?..

— А Бомпар? — отозвалась вся зала.

— Я считаю своим долгом обратить внимание суда,— трубным гласом продолжал товарищ прокурора,— что мой дядя Бомпар пал одной из первых жертв. Я из деликатности не упомянул о нем в обвинительной речи, но факт остается фактом, что он, во всяком случае, не вернулся и никогда больше не вернется...

— Извините, господин товарищ прокурора,— вмешался председатель суда,— но мне только что прислал свою карточку некий господин Бомпар,— он желает дать показания... Не ваш ли это дядя?

Да, это был его дядя, Бомпар Гонзаг.

Его имя, хорошо известное всем тарасконцам, вызвало невообразимый шум. Публика, свидетели, обвиняемые — все повскакали с мест, полезли на скамейки, вытянули шеи и, задыхаясь от нетерпения и любопытства, стали искать глазами Бомпара. По

случаю такого переполоха председатель суда Мульяр объявил на несколько минут перерыв, и во время перерыва из залы пришлось вынести человек десять потерявших сознание полицейских, полумертвых от духоты и от бестолочи.

V

Бомпар перешел мост. История письма за пятью красными печатями. Бомпар призывает в свидетели весь Тараскон, но на его призыв никто не откликается. «Да прочтите же нам наконец письмо, черт бы вас побрал!» Лгуны северные и лгуны южные

— Это он, это Гонзаг!.. Глянь! Глянь!

— Как же он раздобрел!

— Какой же он бледный!

— Он стал похож на *тэрка*.

Тарасконцы давно его не видели, и теперь им трудно было его узнать: их славный Бомпар, прежде очень худой, с головой усатого палликара и с глазами как у бешеной козы, теперь раздался, его «разнесло», как принято говорить в Тарасконе, но усы у него были все такие же длинные и такие же безумные глаза на расплывшемся одутловатом лице.

Не глядя по сторонам, он шел за судебным приставом к решетке.

В о п р о с. Вы — Гонзаг Бомпар?

— По правде сказать, господин председатель суда, я уже начинаю в этом сомневаться, когда я вижу,— патетический жест в сторону скамьи подсудимых,— когда я вижу на этой позорной скамье нашу незапятнанную славу, когда я слышу, как оплевывают за этой решеткой олицетворение честности и глубокой порядочности...

— Спасибо, Гонзаг! — сдавленным от волнения голосом крикнул с места Тартарен.

Все оскорбления он переносил стойко, но сочувствие старого приятеля надрывало ему душу, и на глазах у него выступили слезы, как у ребенка, которого пожалели. А Бомпар между тем продолжал:

— Слушай, доблестный мой согражданин! Тебе не придется долго сидеть на этой поганой скамье, я принес доказательство... доказательство...

Пошарив в карманах, он вытащил оттуда марсельскую трубку, нож, старый кремень, огниво, клубок бечевки, метр, барометр, коробочку с гомеопатическими пилюльками и все это разложил на столе секретаря суда.

— Послушайте, свидетель Бомпар, когда же вы кончите? — нетерпеливо заметил председатель суда.

Его поддержал товарищ прокурора Бомпар дю Мазе:

— Да, да, дядюшка, поскорее!

Дядюшка обернулся к нему:

— Ну, ну, смотри ты у меня! Я с тобой еще рассчитаюсь за все, что ты позволил себе сказать о моем бедном друге!.. Ты у меня дождешься: я тебя наследства лишу, подлец!

На племянника эта угроза не произвела впечатления, а дядюшка опять начал рыться в карманах и выкладывать целую коллекцию самых разнообразных предметов, но в конце концов он все же нашел искомое: это был большой конверт за пятью красными печатями.

— Вот, господин председатель суда, из этого документа явствует, что герцог Монский — последний негодяй, каторжник и...

Еще секунда — и посыпались бы забористые словца. Но председатель прервал его:

— Хорошо. Дайте сюда документ.

Он вскрыл таинственный конверт и, прочитав письмо, передал его членам суда, а те, уткнув в него носы, стали внимательно вчитываться, не показывая, однако, какое впечатление оно на них производит. Вот уж настоящие-то северные судьи! Скрытные, замкнутые.

Но что же все-таки в этом треклятом письме? Ну да от таких типов разве добьешься толку?

Сидевшие в зале приподнимались, нагибались, приставив руку щитком к глазам, старались рассмотреть издали. Всю залу облетел вопрос:

— Что там такое? Что же это может быть, черт побери?

Так как двери и окна в суде были открыты, то все, что происходило здесь, немедленно вырывалось наружу, и оттого с Городского круга доносился сейчас грозный шум, слитный гул, по толпе пробегал трепет, точно зыбь на море, когда задувает ветер.

Полицейские теперь уже не спали, проснулись даже мухи, облепившие потолок, в залу вместе с вечерней прохладой врывался сквозняк, которого так боятся тарасконцы, и те из них, что сидели ближе к окнам, потребовали, чтобы их закрыли, «а то ведь тут насмерть распростудишься».

В сотый раз председатель суда взвизгнул:

— Тише, иначе я велю очистить залу!

И опрос продолжался.

В о п р о с. Свидетель Бомпар! Как и когда попало к вам в руки это письмо?

О т в е т. Перед отправкой «Фарандолы» из Марселя герцог, так называемый герцог Монский, назначил меня временно исполняющим обязанности порт-тарасконского губернатора и сунул

мне в руки этот пакет, запечатанный пятью красными печатями, хотя денег в нем не было. Он мне сказал, что в этом пакете его последние распоряжения, и велел не вскрывать его, пока мы не дойдем до одного из Адмиралтейских островов,— вот только я не знаю, под сколькими градусами широты и долготы они находятся. Ну да на конверте это указано, можете посмотреть...

В о п р о с. Да, да, я вижу... Так что же было потом?

О т в е т. Потом, господин председатель суда, я, как вы знаете, внезапно заболел заразной, *гнгррнозной* и какой-то там еще болезнью, и меня, умирающего, высадили в Шато-д'Ифе. На суше я корчился от боли, а письмо так и осталось у меня в кармане; болезнь отшибла у меня память, и, передавая свои полномочия Безюке, я забыл отдать ему письмо.

В о п р о с. Досадная забывчивость... Дальше?

О т в е т. Дальше, господин председатель суда, мне стало немножко легче, я уже мог встать и одеться, но еще не совсем поправился,— ах, если б вы видели, на что я был похож!.. И вот както раз сунул я руку в карман — глядь, конверт с красными печатями!..

П р е д с е д а т е л ь с у д а *(строго)*. Свидетель Бомпар! Не правильнее ли будет сказать, что конверт, который вам было велено распечатать за четыре тысячи миль от Франции, вы из любопытства предпочли вскрыть сейчас же, прямо в Марсельском порту, и, ознакомившись с содержанием письма, решили сложить с себя возложенную на вас колоссальную ответственность?

— Господин председатель суда! Вы не знаете Бомпара. Призываю в свидетели весь здесь присутствующий Тараскон.

Гробовое молчание было ответом на этот чисто ораторский прием. Бомпар, тот самый, которого сограждане прозвали Выдумщиком, хотя они и сами не отличались особой правдивостью, имел наглость призывать их в свидетели, что он никогда не лгал, и Тараскон на его призыв не откликнулся. Бомпар, однако, не смутился.

— Видите, господа судьи,— заявил он,— молчание — знак согласия...

И продолжал свой рассказ:

— Ну так вот, когда я нашел письмо, Безюке давно уже уехал, был уже далеко, передать ему письмо я не мог при всем желании. Тогда я решил прочитать письмо, и — представьте себе весь ужас моего положения!..

В еще более ужасном положении находилась сейчас публика, ибо она все еще не знала содержания лежавшего на столе письма, о котором здесь столько говорилось.

Все вытягивали шеи, но издали ничего не могли разглядеть,

кроме невольно привлекавших к себе внимание красных печатей на конверте, который, казалось, вырастал на глазах во что-то громадное.

Бомпар продолжал:

— Позвольте вас спросить: что я должен был делать, узнав обо всех этих ужасах? Догонять «Фарандолу» вплавь? Я уж было думал, да побоялся, что сил не хватит. Помешать отправке «Туту-пампама», показать моим соотечественникам этот гнусный конверт, умерить их восторги, окатить их ушатом холодной воды? Но меня бы побили камнями. Одним словом, я, понимаете ли, испугался... Я уже не смел показаться в Тарасконе — я не знал, что мне там говорить. Тогда я решил укрыться как раз напротив, в Бокере,— оттуда я-то мог все видеть, а меня бы никто не видел. Я занял там две должности: ярмарочного сторожа и смотрителя замка. Как вы сами понимаете, свободного времени у меня было достаточно. Поднявшись на старую башню, я в хорошую подзорную трубу наблюдал с того берега Роны за предотъездной суетой моих несчастных сограждан. И я сокрушался, убивался... Я простирал к ним руки, издали кричал им, как будто они могли меня услышать: «Стойте!.. Не уезжайте!..» Я пытался даже предостеречь их при помощи бутылки... Скажите им, Тартарен, скажите этим господам, что я пытался вас предостеречь!

— Подтверждаю! — сидя на своей позорной скамье, заявил Тартарен.

— Ах, господин председатель суда! Как тяжело мне было смотреть на«Туту-пампам», отбывающий в эту призрачную страну!.. Но мне стало еще тяжелее, когда мои сограждане возвратились и когда я узнал, что на том берегу томится в оковах, брошенный, точно горсть рябины, на солому, мой прославленный соотечественник Тартарен. Знать, что он, оклеветанный, в этой башне!..

Конечно, вы можете мне возразить, что я должен был раньше представить доказательство его невиновности, но когда уж станешь на скользкий путь, так потом черт знает как тяжко вернуться на правильный. Я начал с того, что промолчал, и мне все труднее и труднее было начать говорить, а кроме того, я боялся перейти мост, этот ужасный мост.

А все-таки я этот чертов мост перешел, прошел по нему нынче утром во время дикого урагана — я вынужден был ползти на четвереньках, как при восхождении на Монблан. Помните, Тартарен?

— Еще бы не помнить! — сожалея о своем славном прошлом, с горечью отозвался Тартарен.

— Как этот мост подо мною качался! Каких героических усилий стоил мне этот переход!.. Но я не люблю хвастаться. Одним

словом, я здесь, перед вами, и я вам принес доказательство, доказательство неопровержимое.

— По-вашему, оно неопровержимо? — заметил Мульяр с присущим ему спокойствием.— А где у нас гарантия, что это странное письмо, завалявшееся у вас в кармане, действительно написано герцогом Монским или, вернее, так называемым герцогом Монским? Вам, тарасконцам, верить нельзя! За семь часов я столько наслушался лжи...

При этих словах глухое рычание, точно в клетках диких зверей, раздалось в зале, на трибунах и докатилось до самого Городского круга.

Оскорбленный Тараскон выражал свое возмущение. А Гонзаг Бомпар только улыбнулся непередаваемой улыбкой:

— О себе, господин председатель суда, я бы не сказал, что в разговоре я чего-нибудь иной раз не присочиню, что меня можно было бы назначить директором бюро *Veritas*[1],— это было бы преувеличением. Но вы обратитесь к нему,— он указал на Тартарена,— правдивее этого человека нет во всем Тарасконе.

Тартарен без труда узнал почерк и подпись господина де Монса, так хорошо, к сожалению, ему знакомые. Затем он, все так же стоя, обратился к суду и, в ярости потрясая ужасной тайной за пятью красными печатями, сказал:

— Теперь, когда эта циничная бумажонка у меня в руках, я заклинаю вас, господин председатель суда, признать, что обманщики бывают не только на юге. И вы еще называете лгунами нас, тарасконцев! Нет, мы не лгуны, но у нас богатое воображение, мы говоруны, сочинители, разузориватели, неистощимые импровизаторы, напоенные соками нашей земли и солнечным светом, и мы сами попадаемся на удочку наших сногсшибательных, но невинных вымыслов.

Как не похожи мы на ваших северных лгунов, холодных, расчетливых, всегда преследующих какую-нибудь низкую цель, замышляющих, вроде автора этого письма, что-нибудь недоброе! О да, можно смело сказать, что по части лжи югу за севером не угнаться!..

В другое время Тартарен мог бы речью на такую тему потрясти тарасконскую публику. Но бедному великому человеку и его популярности пришел конец. Никто не слушал его. Всех занимало таинственное послание, которым он махал в воздухе.

Незадачливый оратор хотел еще что-то сказать, да не тут-то было.

Со всех сторон кричали:

---

[1] Истина *(лат.)*.

— Письмо!.. Письмо!..

— А, да ну, возьмите же у него письмо!

— Пусть прочтет письмо!

Уступая настойчивости толпы, председатель суда Мульяр изрек:

— Секретарь! Огласите документ.

Могучий вздох облегчения пронесся по зале, и затем уже в наступившей тишине было слышно лишь жужжание августовских мух да треск цикад, вторивших учащенному биению человеческих сердец.

Секретарь гнусавым голосом начал читать:

«Г-ну Гонзагу Бомпару, временно исполняющему обязанности губернатора Порт-Тарасконской колонии.

Вскрыть под 144°30′ восточной долготы на траверсе Адмиралтейских островов.

Любезный г-н Бомпар!

Всякой остроумной шутке бывает конец.

Немедленно поворачивайте на шестнадцать румбов и, не теряя спокойствия, везите ваших тарасконцев домой.

Ни острова, ни купчей крепости, ни Порт-Тараскона, ни аров, ни гектаров, ни винокуренных, ни сахарных заводов — ничего этого нет. Есть лишь блестящая финансовая операция, принесшая мне несколько миллионов, которые сейчас находятся в надежном месте, равно как и моя персона.

В сущности, это была милая тарасконада, которую ваши соотечественники во главе со знаменитым Тартареном, надеюсь, простят мне, — ведь она заняла их, развлекла и снова пробудила в них любовь к прелестному городку, который они было разлюбили.

Герцог Монский.

Никакой я не герцог и совсем не из Монса. Разве что из его окрестностей».

На этот раз угрозы председателя суда не оказали ни малейшего действия: в зале кричали, в зале орали, и этот рев вырвался на улицу, доплеснулся до Городского круга и эспланады, наполнил собою весь город! Ах, бельгиец, паршивый бельгиец, будь он здесь, его бы сейчас же из окна вниз головой — и в Рону!

Вопили мужчины, женщины, дети, и под этот вой председатель суда Мульяр вынес Тартарену и Паскалону оправдательный приговор, чем крайне огорчил Цицерона Бранкебальма, ибо выступление его так и не состоялось и все его *verum enim vero*, «по-

скольку» из «постольку», весь римский цемент его монументальной защитительной речи пропал даром.

Зала суда опустела, народ растекался по улицам, по Городскому кругу, по Большой и Малой площади и все еще изливал свой гнев в исступленных выкриках:

— Бельгиец!.. Паршивый бельгиец!.. Северный лгун!.. Северный лгун!..

VI

Продолжение и окончание Паскалонова «Мемориала»

8 октября. Вместе со службой в аптеке Безюке я вернул себе уважение сограждан и вновь, как прежде, зажил тихо и мирно на Малой площади, за желтым и зеленым шарами витрины, с той только разницей, что Безюке теперь прячется в лаборатории, точно не я ученик, а он, и яростно толчет пестиком в мраморной ступке свои снадобья. Время от времени он вынимает из кармана зеркальце и разглядывает татуировку. Несчастный Фердинанд! Ни мази, ни припарки ему не помогают, даже «суп с чесночком», который ему прописал доктор Турнатуар. Бесовская размалевка останется у него на всю жизнь.

Ну, а я отпускаю лекарства, наклеиваю ярлычки, продаю алоэ и ипекакуану, болтаю с посетителями и узнаю все городские сплетни. В базарные дни к нам приходит много народу: по вторникам и пятницам в аптеке полно. Сбор винограда идет хорошо, и крестьяне опять взялись пичкать себя лекарствами и намикстуриваться. Жители окрестных сел это обожают. Принять слабительное — для них праздник.

В остальные дни у нас тихо, редко когда прозвонит колокольчик. В свободное время я рассматриваю надписи на больших стеклянных и фаянсовых банках, расставленных по полкам: *sirupus gummi*, *assa foetida*[1], и греческую надпись ΦΑΡΜΑΚΟΠΕΙΑ[2] между двумя змеями над конторкой.

После стольких тревог и приключений приятно пожить в тишине и спокойствии. Я готовлю к печати том стихов на провансальском языке под названием «Ююбы». На севере ююба известна только как аптекарский товар — грудная ягода, а у нас это маленькие красные оливки, растущие на дереве со светлой листвой, и они так аппетитно похрустывают на зубах! Я соберу в этом томе мои стихи о природе, мои стихи о любви...

Ах! Я вижу Клоринду лишь изредка, когда она, высокая, стройная, проходит мимо аптеки, прыгая с одного булыжника

[1] Камедный сироп, асафетида *(лат.)*.
[2] Фармакопея *(греч.)*.

Малой площади на другой,— на острове она это называла «походкой кенгуру». Она идет с молитвенником в руках к поздней обедне, вместе с девицей Альрик, той самой, что громоздилась на крыши, а возвратившись в Тараскон, перешла от мадемуазель Турнатуар к дамам дез Эспазет. Ни разу Клоринда не посмотрела в сторону аптеки. Вернувшись к Безюке, я перестал для нее существовать.

Жизнь в городе вошла в привычную колею, тарасконцы ходят гулять на Городской круг, на эспланаду. Вечером идут в Клуб или в театр. Вернулись все, за исключением отца Баталье, который остался на Филиппинских островах, чтобы основать там новую общину «белых отцов». Обитель в Памперигусте мало-помалу оживает, туда вернулся, слава тебе, господи, его преподобие отец Везоль и еще кое-кто из иеромонахов, и колокола начали уже потихоньку позванивать, сперва один, потом другой. До трезвона еще дело не дошло, но, по всем признакам, мы его скоро услышим.

Теперь даже трудно себе представить, что за это время произошло столько событий! Как все это уже далеко и как быстро все забывает тарасконское племя! Вот уже наши охотники с маркизом дез Эспазетом во главе приоделись и каждое воскресное утро все так же неутомимо охотятся на несуществующую дичь.

А я по воскресеньям после завтрака отправляюсь засвидетельствовать свое почтение Тартарену. Вот он, домик с зелеными ставнями, стоящий на окраине города, вот и ящики маленьких чистильщиков обуви возле ограды, но везде все закрыто, везде тишина. Я отворяю калитку... Наш герой, заложив руки за спину, прогуливается по саду вокруг бассейна с красными рыбками или же сидит у себя в кабинете, окруженный криссами и отравленными стрелами. Но он даже не глядит на свою любимую коллекцию. Обстановка все та же, но как изменился человек! Хотя его и оправдали, но великий человек сам чувствует, что он пал, что он обесславлен, свергнут с пьедестала, и это его удручает.

Мы с ним беседуем. Иногда заходит доктор Турнатуар. В это печальное жилище он вносит свойственное ему оживление и шутки в духе Пургона. Бранкебальм тоже бывает здесь по воскресеньям. Тартарен поручил ему защищать себя. Одна тяжба у него в Тулоне с капитаном Скрапушина, который требует оплатить ему доставку колонистов на родину, другая тяжба со вдовой Бравида, вчинившей ему иск от имени своих несовершеннолетних детей. Если мой бедный добрый учитель проиграет оба процесса, то что же с ним будет? Ему уже столько стоила плачевная порт-тарасконская авантюра!

Как бы я хотел быть богатым!.. Безюке мне платит гроши, так что, увы! помочь Тартарену я не в состоянии.

10 октября. «Ююбы» выходят в Авиньоне у книгопродавца Руманийля — я счастлив. Еще одна приятная новость: 19-го числа сего месяца, в день св. Марфы, а также в честь возвращения тарасконцев во Францию будет устроена грандиозная кавалькада.

Местные поэты, Дурладур и я, должны представлять на аллегорической колеснице провансальскую поэзию.

20 октября. Вчера, в воскресенье, состоялась кавалькада. Поток колесниц, всадники в исторических костюмах, в руках у них длинные шесты с кошелями для сбора подаяний. Великое стечение народа, во всех окнах лица. А все-таки праздничного оживления, праздничного веселья не было. Вся изобретательность устроителей была не в силах заменить потерю нашего отца-батюшки. Чувствовалась зияющая пустота — недоставало колесницы с Тарасконом. При воспоминании о злополучном выстреле, сразившем его в Тихом океане, поднималась глухая злоба. Когда кортеж поравнялся с домиком Тартарена, послышался ропот. Костекальдова шайка разными выкриками подстрекала толпу, так что маркиз дез Эспазет, ехавший в костюме тамплиера верхом на коне, вынужден был обернуться и цыкнуть:

— Перестаньте, господа!..

Вид у него был грозный, и порядок водворился тотчас же.

Дул холодный, северный ветер. Мы с Дурладуром в плащах эпохи Карла VI, которые нам дали напрокат оперные артисты, гастролирующие сейчас в Тарасконе, мерзли отчаянно. Мы сидели на башне — наша колесница, запряженная шестью белыми быками, изображала замок короля Рене, причем самый замок был сделан из дерева и раскрашенного картона,— проклятый ветер пробирал нас до костей, и стихи, которые мы читали, держа в руках огромные лютни, так же дрожали от холода, как и мы сами.

— А, чтоб!.. Вот холодище! — твердил Дурладур.

А слезть нельзя: лестницы, по которым мы сюда взобрались, убраны.

На Городском кругу эта пытка стала уже совсем невыносимой... В довершение всего мне пришла мысль — вот что значит тщеславие влюбленного! — свернуть вбок и проехать мимо дома маркиза дез Эспазета.

И вот мы двинулись по улицам, до того узким, что там могла проехать только одна наша колесница. Угрюмый и безмолвный особняк маркиза, притаившийся за стеной из темного камня, был заперт, и все ставни на его окнах были закрыты как бы в знак того, что высший круг презирает развлечения меньшой братии.

Дрожащим голосом, протягивая кошель за подаянием, прочитал я стихи из «Ююб», но в доме никто не пошевельнулся, никто

не выглянул. Тогда я велел кучеру трогать. Не тут-то было: колесница ни с места, ее сдавило с обеих сторон. Попробовали сдвинуть — ни взад, ни вперед, застряла между двумя высокими стенами, и мы торчим этакими чучелами на картонных башнях, дрогнем от холода, а совсем близко от нас, на той же высоте, за закрытыми ставнями звучит чей-то приглушенный смех.

Положительно, замок короля Рене не принес мне счастья! Пока-то распрягли быков, пока-то притащили лестницы, чтобы нам можно было спуститься, — все это заняло столько времени!..

23 октября. Что такое жажда славы? Кто познал славу хотя бы однажды, тот уже не может без нее жить.

В воскресенье я был у Тартарена. Мы беседовали с ним в саду, гуляя по дорожкам, усыпанным песком, и вороха сухих листьев сыпались на нас из-за ограды с деревьев Городского круга. Глаза у Тартарена были грустные, и, заметив это, я напомнил ему о днях его торжества. Но ничто не могло утешить его, даже черты сходства между ним и Наполеоном.

— А, какой там Наполеон!.. Чепуха!.. Это солнце тропиков напекло мне голову. Сделайте одолжение, не говорите со мной больше об этом, пожалуйста!

Я смотрел на него с изумлением.

— А как же супруга командора...

— Ах, оставьте! Супруга командора все время надо мной смеялась!

Несколько шагов мы прошли молча.

Порывы ветра, крутившего листья, доносили до нас крики маленьких чистильщиков обуви, игравших за калиткой в пробки.

Немного погодя Тартарен мне сказал:

— Теперь мне все ясно. Тарасконцы раскрыли мне глаза, они как бы сняли с них катаракты.

Таким я никогда еще не видел Тартарена.

Проводив меня до калитки, он вдруг крепко сжал мне руку.

— Ты знаешь, мой мальчик, вот это все пойдет с молотка. Скрапушина выиграл у меня процесс, и вдова Бравида тоже, несмотря на все доводы Бранкебальма... Он славный малый, да только у него уж чересчур прочная кладка: его римский акведук рухнул и своей тяжестью придавил нас обоих.

Я робко предложил ему свои скромные сбережения. Я отдал бы их ему с радостью, но Тартарен отказался.

— Спасибо, дитя мое! Я надеюсь, что за оружие, за разные достопримечательности, за редкостные растения я выручу порядочную сумму. Если не хватит — продам дом. Словом, там видно будет. Прощай, мой мальчик... Это все пустяки.

Истинно философский взгляд на вещи!..

31 октября. Сегодня у меня тяжелый день. Я отпускал в аптеке лекарство жене Трюфенюса для ее ребенка, страдающего головными болями, но в это время на Малой площади заскрипели колеса, и я невольно поднял глаза. По звуку я сразу узнал рессорную колымагу вдовы д'Эгбулид. В карете сидела сама старуха, рядом с собой она поместила чучело попугая, а напротив сидела моя Клоринда и еще кто-то, но кто именно — я так и не разглядел, оттого что стоял против света; мне бросились в глаза только голубой мундир и расшитое кепи.

— Кто это там с дамами?

— Внук вдовы, виконт Шарлексис д'Эгбулид, офицер егерского полка. Разве вы не знаете, что через месяц мадемуазель Клоринда должна с ним обвенчаться?

Меня это как громом поразило. Я стал бледен как смерть.

Ведь я все еще не терял надежды!

— О, это настоящий брак по любви! — продолжала терзать мое сердце г-жа Трюфенюс. — Но только вы слыхали когда-нибудь поговорку: «Брак по любви — веселые ночи да грустные дни»?

Ну что ж, а все-таки я лично ничего бы не имел против такого брака!

5 ноября. Вчера у Тартарена состоялась распродажа. Я-то сам там не был, но вечером зашел в аптеку Бранкебальм и рассказал мне все по порядку.

Это было, наверно, очень печальное зрелище. Распродажа ничего не дала Тартарену. Происходила она, как это у нас заведено, прямо у входа. И все пошло за сущую безделицу, а ведь народу собралось много. Оружие из разных стран, отравленные стрелы, кинжалы, ятаганы, револьверы, тридцатидвухзарядный винчестер — все пошло прахом... За бесценок пошли великолепная шкура атласского льва, альпеншток, этот его почетный посох — память о Юнгфрау; все диковины, все богатство, весь этот музей нашего города проданы за ничтожную цену... А все потому, что утрачена вера!..

А баобаб в горшочке, которым тридцать лет подряд любовалась вся округа! Когда его поставили на стол, когда оценщик объявил: «*Arbos gigantea*, целые селения могут поместиться под его тенью...» — в ответ раздался дикий хохот. Тартарен в это время гулял с двумя приятелями в садике, и смех до него долетел.

— Милым моим тарасконцам тоже сняли катаракты,— без всякой горечи сказал Тартарен.— Теперь они прозрели. Но они жестоки.

Печальнее всего, что распродажа дала очень мало, пришлось продать дом дез Эспазетам, которые приобрели его для молодых.

А куда же денется бедный великий человек? Перейдет ли он мост, как он сам туманно выражался? Приютит ли его в Бокере старый друг Бомпар?

В то время как Бранкебальм, стоя посреди аптеки, рисовал мне эту мрачную картину, из другой комнаты в полуотворенную дверь выглянул Безюке со своей неизгладимой разрисовкой и, хохоча, словно папуасский демон, крикнул:

— Как я рад!.. Как я рад!..

Можно подумать, что это Тартарен его татуировал.

7 ноября. Завтра, в воскресенье, мой дорогой учитель должен покинуть город и перейти мост... Как же так? Тартарен из Тараскона превратится в Тартарена из Бокера! Послушайте хотя бы, как это звучит... Совсем не то!.. И еще этот мост, ужасный мост! Мне хорошо известно, что Тартарен и не такие препятствия преодолевал... Все-таки на подобный шаг решаются в гневе, а потом берут свои слова обратно. Нет, я еще далеко не уверен!

10 декабря, воскресенье. Семь часов вечера. Я вернулся домой убитый горем. Едва хватит сил написать несколько слов в дневнике.

Все кончено, он ушел, он перешел мост.

Мы собрались проводить его вчетвером: Турнатуар, Бранкебальм, Бомвьейль и я, по дороге нас еще нагнал бывший ратник ополчения Мальбос.

У меня сердце сжималось от боли при виде голых стен и облетевшего сада. Тартарен даже не смотрел по сторонам.

Нас, тарасконцев, спасает наше непостоянство. Благодаря этому мы не так сильно горюем, как другие народы.

Ключи от дома он отдал Бранкебальму.

— Передайте ключи маркизу дез Эспазету,— сказал он.— Я на него не сержусь за то, что он не пришел проститься,— это естественно. Как говорил Бравида:

Вельможи любовь,
С бутылочкой дружба —
Все это ушло,
Назад не вернется.

И, обратившись ко мне, добавил:

— Тебе это тоже должно быть немножко знакомо, мой мальчик!

Трогателен был этот намек на Клоринду. В такой момент он все-таки подумал обо мне!

Когда мы вышли на Городской круг, поднялся сильный ветер. И все мы невольно подумали: «А как сейчас на мосту?»

А он, видимо, нисколько не был обеспокоен. Дул мистраль, и по этому случаю улицы как вымело. Встретились нам только музыканты из военного оркестра, игравшего на эспланаде; громоздкие инструменты и без того стесняли их движения, а тут еще надо было одной рукой придерживать полы шинелей, распахивавшихся от ветра.

Тартарен цедил слова и шел с нами как будто бы на прогулку. По своему обыкновению, он говорил о себе, и только о себе:

— Я, знаете ли, болен местной болезнью. Уж очень я увлекался приглядкой!

«Приглядкой» у нас в Тарасконе называется все, что манит взор, все, к чему мы стремимся и что не дается нам в руки. Это пища мечтателей, людей, наделенных воображением. И Тартарен говорил правду: никто не посвящал столько досуга «приглядке», сколько он.

Я тащил чемодан, шляпную картонку и пальто моего героя, поэтому плелся сзади и слышал не все. Слова относил ветер, который, чем ближе мы подходили к Роне, становился все резче. Я уловил лишь, что Тартарен ни на кого не сердится и что он смотрит на свою жизнь взглядом все приемлющего философа:

— ...Бездельник Доде написал обо мне, что я — Дон Кихот в обличье Санчо... Он прав. Этот тип Дон Кихота, напыщенного, изнеженного, ожиревшего, недостойного своей мечты, довольно часто встречается в Тарасконе и его окрестностях.

Дойдя до ближайшего поворота, мы увидели спину бежавшего Экскурбаньеса,— поравнявшись с магазином оружейника Костекальда, сегодня утром назначенного муниципальным советником, он заорал во всю глотку:

— Хо-хо!.. *Двайте шумэть*!.. Да здравствует Костекальд!

— Я и на него не в обиде,— сказал Тартарен.— Должен, однако, заметить, что Экскурбаньес — это воплощение худшего, что есть в тарасконском юге! Я имею в виду не его крики,—хотя, по правде сказать, он орет где надо и где не надо,— а его непомерное тщеславие, его угодливость, которая толкает его на самые низкие поступки. При Костекальде он кричит: «Тартарена в Рону!» Чтобы подольститься ко мне, он то же самое крикнет и о Костекальде. А не считая этого, дети мои, тарасконское племя — чудесное племя, без него Франция давно бы зачахла от педантизма и скуки.

Мы подошли к Роне. Прямо напротив нас догорал печальный закат, в вышине проплывали облака. Ветер словно бы утих, но все-таки мост был ненадежен. Мы остановились у самого моста,— Тартарен не уговаривал нас провожать его дальше.

— Ну, простимся, дети мои...

Он со всеми расцеловался — начал с Бомвьейля, как самого старшего, а кончил мною. Я обливался слезами и даже не мог вытереть их, потому что все еще держал чемодан и пальто,— слезы мои, можно сказать, выпил великий человек.

Тартарен был взволнован не меньше нас. Наконец он взял свои вещи: пальто на руку, картонку в одну руку, чемодан в другую.

— Смотрите, Тартарен, берегите себя!..— сказал ему на прощанье Турнатуар.— Климат в Бокере нездоровый... В случае чего супцу с чесночком... Не забудьте!

На это ему Тартарен, подмигнув, ответил:

— Не беспокойтесь... Знаете, как говорят про одну старуху? «Чем больше старуха старела, тем больше старуха умнела — и помирать не хотела». Так вот и я.

Мы долго смотрели ему вслед,— он шел по мосту несколько грузным, но уверенным шагом. Мост так весь и качался у него под ногами. Несколько раз Тартарен останавливался и придерживал слетавшую шляпу.

Мы издали кричали ему, стоя на месте:

— Прощайте, Тартарен!

А он был так взволнован, что даже не оборачивался и в ответ не произносил ни слова,— он только махал нам картонкой, как бы говоря:

— Прощайте!.. Прощайте!..

Три месяца спустя. Воскресенье, вечер. Я вновь открываю свой «Мемориал», давно уже прерванный, эту старую зеленую тетрадь с измятыми уголками, начатую за пять тысяч миль от Франции, тетрадь, с которой я не расставался нигде, ни на море, ни в темнице, и которую я завещаю моим детям, если, конечно, они у меня будут. Тут еще осталось немножко места, и я этим воспользуюсь и запишу: нынче утром по городу разнеслась весть — Тартарен приказал долго жить!

Три месяца ничего о нем не было слышно. Я знал, что он живет в Бокере у Бомпара, помогает ему сторожить ярмарочное поле и охранять замок. В сущности говоря, это тоже «приглядка». Я скучал по моему дорогому учителю и все собирался навестить его, но из-за окаянного моста так и не собрался.

Как-то раз я смотрел издали на Бокерский замок, и показалось мне, что на самом-самом верху кто-то наводит на Тараскон подзорную трубу. По-видимому, это был Бомпар. Потом он ушел в башню, но сейчас же вернулся с каким-то очень полным мужчиной, похожим на Тартарена. Полный мужчина посмотрел в подзорную трубу, а потом стал делать знаки руками, как будто он кого-то узнал. Но все это было так от меня далеко, все это было

такое маленькое, едва-едва различимое,— вот почему этот случай очень скоро изгладился из моей памяти.

Сегодня с самого утра ко мне привязалась беспричинная тоска, а когда я пошел в город побриться — по воскресеньям я всегда бреюсь,— меня поразило небо, пасмурное, холодное, тусклое: в такие дни особенно четко вырисовываются деревья, скамейки, тротуары, дома. Войдя к цирюльнику Марку Аврелию, я поделился с ним своим впечатлением:

— Какое нынче странное солнце! Не светит и не греет... Уж не затмение ли?

— Как, господин Паскалон, разве вы не знаете?.. О затмении писали в газетах еще в начале месяца.

Марк Аврелий взял меня за нос и, поднеся бритву к самому моему лицу, спросил:

— Слыхали новость?.. Кажется, наш великий человек отправился на тот свет.

— Какой великий человек?

При слове «Тартарен» я вздрогнул и чуть было не порезался о Марк-Аврелиеву бритву.

— Вот что значит покинуть родину!.. Он не мог жить без Тараскона...

Цирюльник сказал истинную правду.

Жизнь без славы, жизнь без Тараскона — конечно, это была для Тартарена не жизнь.

Бедный дорогой учитель! Бедный великий Тартарен!.. Но какое же, однако, стечение обстоятельств!.. Солнечное затмение в день его смерти!

И до чего же чудной у нас народ! Бьюсь об заклад, что весь город тяжело переживает его кончину, но тарасконцы делают вид, что это им как с гуся вода.

А дело-то в том, что после истории с Порт-Тарасконом, в которой проявились их чересчур увлекающиеся, любящие все на свете преувеличивать натуры, они теперь стараются прослыть людьми в высшей степени трезвыми, в высшей степени уравновешенными, хотят показать, что они исправились.

Ну, а если говорить по чистой совести, то мы совсем не исправились, мы перегибаем палку в другую сторону, только и всего.

Мы уже не утверждаем: «Вчера в цирке было более пятидесяти тысяч зрителей». Мы утверждаем обратное: «Вчера в цирке было от силы человек шесть».

Но ведь это тоже преувеличение.

БЕССМЕРТНЫЙ

Инсинуации некоторых газет, усмотревших в «Бессмертном» выражение мелочной обиды отвергнутого кандидата, вынуждают меня предпослать новому изданию романа письмо, написанное мною в редакцию «Фигаро» пять лет тому назад:

«Я не выставляю, никогда не выставлял и никогда не выставлю своей кандидатуры в Академию».

А. Д.

Париж, 1888.

ПЕРЕВОД Э. ШЛОСБЕРГ

Дорогому Филиппу Жилю, самому истому парижанину из моих собратьев по перу, посвящаю я эти очерки нравов.

I

В «Словаре современных знаменитостей» издания 1880 года статья, посвященная Астье-Рею, гласит:

«Астье, известный под именем Астье-Рею (Пьер-Александр-Леонар), член Французской академии, родившийся в 1816 году в Сованьи (Пюи-де-Дом), в семье бедных земледельцев, с самого раннего возраста проявил редкие способности к истории. Основательное изучение предмета, какого уже не встретишь в наше время, начатое в Риомском коллеже и законченное в коллеже Людовика XIV, куда он впоследствии вернулся преподавателем, широко раскрыло перед ним двери Высшей нормальной школы. По окончании курса наук он стал читать историю в Мандском лицее. Там им было написано «Исследование о Марке Аврелии» (удостоенное премии Французской академии). Приглашенный спустя год г-ном де Сальванди в Париж, молодой даровитый ученый сумел оправдать оказанное ему просвещенное внимание, выпустив в свет одну за другой книги: «Великие министры Людовика XIV» (удостоена премии Французской академии), «Бонапарт и Конкордат» (также отмечена премией Французской академии) и замечательное «Введение к истории Орлеанского дома» — величественное преддверие к труду, которому историк посвятил впоследствии двадцать лет своей жизни. На этот раз Академия, лишенная возможности украсить ученого новыми лаврами, включила его в число своих избранников. Астье и ранее в известной мере не чужд был академическим кругам благодаря своему браку с м-ль Рею, дочерью покойного Полена Рею, знаменитого архитектора, члена Академии надписей и изящной словесности, внучкой маститого Жана Рею, старейшего члена Французской академии, автора «Писем к Урании» и изысканного переводчика Овидия, бодрая старость которого является предметом восхищения всего дворца Мазарини.

Известно, с каким благородным бескорыстием Леонар Астье, призванный своим другом и коллегой г-ном Тьером к исполнению

обязанностей архивариуса министерства иностранных дел, через несколько лет (в 1878 г.) отказался от этой должности, не желая подчинять свое перо и беспристрастное суждение историка требованиям современных правителей. Но и лишенный дорогих его сердцу архивов, писатель сумел использовать свои досуги. В течение двух лет он выпустил три последних тома своего фундаментального труда и готовит к печати монографию «Новое о Галилее» на основании весьма любопытных и доселе не опубликованных документов. Все произведения Астье-Рею находятся в продаже у Пти-Секара, книгопродавца Академии».

Поскольку издатель «Словаря знаменитостей» предоставляет каждому заинтересованному лицу самому рассказать о себе, полная достоверность этих биографических данных не подлежит ни малейшему сомнению. Но для чего было писать, что Леонар Астье-Рею сам отказался от должности архивариуса, когда решительно всем известно, что его сместили, рассчитали, как лакея, за опрометчивую фразу, случайно вырвавшуюся у этого историка Орлеанского дома (том V, с. 327): «Тогда, как и в настоящее время, Францию захлестнула волна демагогии...»

И куда только может завести метафора! Оклад в двенадцать тысяч франков, квартира на набережной Орсе, отопление, освещение, не говоря уже о богатейшей сокровищнице исторических документов, где зародились его книги,— все это унесла за собой «волна демагогии», его волна! Несчастный ученый был безутешен. Даже по прошествии двух лет сожаление о былом благополучии, о почестях, связанных с утраченной должностью, все так же терзало его душу, особенно остро в некоторые дни недели, в некоторые числа месяца и главным образом в дни Тейседра.

Тейседр был просто-напросто полотер. С незапамятных времен являлся он в дом по средам, и в тот же день после обеда г-жа Астье принимала гостей в рабочем кабинете мужа, единственной приличной комнате во всей квартире на четвертом этаже дома по Бонской улице — некогда роскошных, но крайне неудобных апартаментах с высокими потолками. Можно себе представить, какое беспокойство причиняли эти среды знаменитому историку, повторяясь из недели в неделю и отрывая его от кропотливой, строго размеренной работы. Он возненавидел полотера, своего земляка, с желтым лицом, жестким и плоским, под стать его кругу воска,— этого Тейседра, который под предлогом, что он из Риома, тогда как «гошподин Аштье вшего иш Шованья», толкал без всякого почтения тяжелый стол, заваленный тетрадями,

заметками и докладами, и гонял ученого мужа из комнаты в комнату, заставляя его забираться на антресоли, надстроенные над кабинетом, где, несмотря на свой небольшой рост, Астье принужден был сохранять сидячее положение. В эту каморку, все убранство которой состояло из ветхого, обитого штофом кресла, старого ломберного стола и шкафчика для дел, свет проникал со двора через верхнюю часть большого сводчатого окна в кабинете ученого. В стене получалось нечто вроде двери, какие бывают в оранжереях,— низенькой и застекленной, сквозь которую был виден с головы до ног историк, согнувшийся в три погибели над работой, точно кардинал Ла-Балю в своей клетке. Здесь сидел он однажды утром, не отрывая глаз от какой-то старой, неразборчивой рукописи, как вдруг, заглушая грохот, производимый в квартире Тейседром, у входной двери зазвенел колокольчик.

— Это вы, Фаж? — спросил ученый своим глубоким, звучным басом.

— Нет, гошподин Аштье. Это ваш шынок.

Двери по средам открывал полотер, потому что Корантина одевала барыню.

— Как поживает мэтр? — крикнул Поль Астье, направляясь в комнату матери.

Академик ничего не ответил. Его всегда задевало ироническое обращение сына, называвшего его «мэтр, дорогой мэтр», как бы в насмешку над тем почетным званием, которым его обычно величали.

— Пусть господин Фаж подымется ко мне, как только он придет,— сказал ученый, не обращаясь непосредственно к полотеру.

— Ладно, гошподин Аштье...

И дом снова стал сотрясаться от грохота.

— Здравствуй, мама!

— Ах, это ты, Поль!.. Войди же!.. Осторожно с оборками, Корантина.

Госпожа Астье надевала юбку перед зеркалом. Это была высокая, стройная женщина, еще довольно красивая, несмотря на сухую кожу и поблекшее лицо. Не меняя положения, она подставила сыну напудренную щеку, к которой он едва прикоснулся остроконечной белокурой бородкой: оба они были не склонны к сердечным излияниям.

— Молодой барин завтракать останется? — спросила Корантина, толстая крестьянка с лоснящимся рябым лицом, которая, сидя на ковре, точно пастушка на лугу, подшивала подол черной поношенной юбки своей госпожи. Тон, каким это было сказано, и сама поза Корантины, исполнявшей в доме различные обязанности

за более чем скромное вознаграждение, говорили о том, что она чувствует себя здесь своим человеком.

Нет, Поль не останется завтракать. Он спешит. Внизу у подъезда его кабриолет, он заехал, чтобы сказать два слова матери.

— Твой новый английский кабриолет?.. Посмотрим!..

Госпожа Астье подошла к открытому окну и слегка раздвинула жалюзи, на которых полосами играло яркое майское солнце, раздвинула как раз настолько, чтобы рассмотреть щегольской легкий экипаж, сверкавший новизной кожи и лакированным деревом, и лакея в ливрее с иголочки, державшего под уздцы лошадь.

— Ах, сударыня, вот прелесть-то!..— прошептала Корантина, тоже глядя в окно.— Ну до чего в нем хорош, наверно, ваш сынок!

Мать сияла. В домах напротив открывались окна. Прохожие останавливались около экипажа, появление которого взбудоражило всю эту часть Бонской. Отослав служанку, г-жа Астье села на край кушетки и сама принялась чинить юбку, ожидая, что скажет сын; она уже догадывалась, в чем дело, хотя казалась всецело поглощенной своей работой. Поль Астье, откинувшись в кресле, тоже молчал, играя веером из слоновой кости, старой безделушкой матери, знакомой ему чуть ли не со дня рождения. Глядя на мать и на сына, нельзя было не поразиться их сходству: одинаково смуглая кожа креолов с едва проступающим румянцем, та же гибкость стана, серые непроницаемые глаза и в обоих лицах едва уловимый изъян — тонкий, слегка искривленный нос, придающий лицу хитрое и насмешливое выражение, что-то не внушающее доверия. Они молчали, следя друг за другом, напряженно выжидая, а щетка Тейседра грохотала вдали.

— Недурно...— заметил Поль.

Мать подняла голову.

— Что именно?

Концом веера, бесцеремонно, как это принято в мастерской художника, он указал на голые руки, на линию покатых плеч под тонким батистом. Г-жа Астье рассмеялась.

— Да, а вот это?..— Она рукой коснулась длинной шеи, на которой морщины изобличали возраст женщины.— И потом еще...

Она подумала: «Какое это имеет значение, если человек красив...» — но ничего не сказала. Эта женщина, известная своим умением поддержать любой разговор, искушенная в светской болтовне, во всякой лжи, владевшая искусством все сказать прямо или обиняками, не находила слов для выражения единственного искреннего чувства, которое она испытала за всю свою жизнь.

Собственно говоря, г-жа Астье не принадлежала к числу тех женщин, которые не могут решиться стареть. Еще задолго до то-

го, как в ней угас огонь страстей,— по-видимому никогда и в молодые годы не пылавший особенно ярко,— она все свое кокетство, все стремление покорять и пленять, все честолюбивые мечты светской женщины перенесла на своего сына, этого высокого красивого молодого человека двадцати восьми лет, учтивого и сдержанного, с маленькой бородкой и коротко подстриженными спереди волосами, как подобает современному художнику, в походке, во всех движениях которого чувствовались ловкость и выправка, приобретаемые нынешней молодежью на военной службе.

— Бельэтаж у тебя сдан? — наконец спросила мать.

— Да, как же... сдан!.. Ни одна собака не является. Ни реклама, ни объявления — ничто не помогает... Невольно вспоминаются слова Ведрина на его выставке: «Я не знаю почему, но они не идут».

Поль тихонько рассмеялся: он представил себе Ведрина, спокойного и уверенного в себе, среди своих эмалей и скульптур, удивляющегося без тени досады отсутствию публики. Но г-же Астье было не до смеха: роскошный бельэтаж пустует уже два года!.. Улица Фортюни, прекрасный квартал, дом в стиле Людовика XII... построенный ее сыном! Чего же им еще нужно?.. «Им», «они» — это, должно быть, те самые, которые не шли к Ведрину... Перекусывая зубами нитку, она сказала:

— А ведь это дело хорошее.

— Превосходное! Нужны только деньги, чтобы выждать... Все уходит на проценты по закладной... А тут еще покоя нет от подрядчиков: необходимо уплатить за столярную работу десять тысяч франков к концу месяца, а у него нет ни единого луидора.

Мать, надевавшая лиф перед зеркалом, побледнела и заметила, что бледнеет. По телу побежала дрожь, как перед дуэлью, когда противник поднял пистолет и нацелился.

— Ты получил за реставрацию Муссо?

— Муссо! Когда это было!..

— А гробница Розена?

— Все на том же месте... Ведрин никак не может кончить статую.

— Почему же ты связался с Ведрином? Ведь отец тебе говорил...

— Старые песни! Ведрин просто пугало для них, для Бессмертных...

Поль встал и заходил по комнате.

— Ты, кажется, меня знаешь! Я человек практический... И если я поручил статую Ведрину, значит, у меня были к тому основания.

Внезапно повернувшись лицом к матери, он спросил:

— У тебя не найдется десяти тысяч франков?

Вот чего она ожидала с самого его прихода, только за этим он и заезжал к ней.

— Десять тысяч франков!.. Откуда?..

Больше она не произнесла ни слова, но рот ее и глаза, выражавшие бесконечное страдание, казалось, говорили: «Ты же отлично знаешь, что я тебе все отдала, что на мне тряпье, что вот уже три года, как я не покупала себе шляпки, что Корантина стирает мое белье на кухне, потому что мне совестно такую рвань отдавать прачке, и ты ведь знаешь, что тяжелее всего для меня отказать тебе. Зачем же ты меня об этом просишь?»

Немой упрек матери был так красноречив, что Поль Астье поспешил ответить:

— Разумеется, я не тебя имел в виду. Если бы они у тебя были!..

А затем, с обычной для него холодной насмешливостью, продолжал:

— Мэтр там, наверху... Может быть, тебе удастся вытянуть из него?.. Ведь ты умеешь подойти к нему!

— Это было раньше, теперь уж не то...

— Однако он работает, книги его продаются, вы ничего не тратите...

Он окинул взглядом обветшавшую меблировку комнаты, окутанной полумраком, полинялые занавески, вытертые ковры, не обновлявшиеся в течение тридцати лет, со дня свадьбы родителей. Куда же уходят отцовские деньги?

— Уж не кутит ли мой родитель?..

Но столь чудовищно, столь невероятно было представить себе Леонара Астье-Рею кутилой, что жена его, несмотря на свои печальные мысли, не могла удержаться от смеха. Нет, на этот счет можно не беспокоиться.

— Но что прикажешь делать? Он таится, не доверяет... Мужик припрятывает денежки, уж и без того ему от нас солоно пришлось.

Они говорили шепотом, как сообщники, не подымая глаз.

— А дедушка? — неуверенно спросил Поль.— Что, если бы ты попыталась?..

— Дедушка? Да ты с ума сошел!..

Он ведь хорошо знал старого Рею, знал беспощадный эгоизм этого почти столетнего старика, который скорее дал бы им всем умереть, нежели лишил себя понюшки табаку или одной из булавок, воткнутых в отвороты его сюртука. Бедный мальчик!

Значит, он дошел до последней крайности, если у него явилась такая мысль.

— Может быть, мне попросить?..

— У кого?

— На улице Курсель... аванс за гробницу.

— И заикаться об этом не вздумай!

Он говорил повелительно, губы у него побелели, в глазах сверкнул недобрый огонек, но, тут же овладев собой, он с обычной насмешливостью добавил:

— Не беспокойся... Это просто временное затруднение... Я бывал и не в таких переделках.

Госпожа Астье протянула ему шляпу, которую он искал, собираясь уехать, так как ничего не смог добиться от матери. Чтобы задержать сына еще на несколько минут, она заговорила об одном выгодном дельце, одном сватовстве, которое ей поручено.

При слове «сватовство» Поль вздрогнул и искоса взглянул на мать.

— И кого это ты собираешься сватать?

Она поклялась никому не говорить, но ему...

— Князя д' Атис.

— Сами́!.. И кому же?

Она повела своим хитрым носиком.

— Ты ее не знаешь... Иностранка... Очень богатая. Если мне удастся, я сумею тебе помочь... Все обусловлено, подтверждено письмами...

Поль улыбнулся, совершенно успокоенный.

— А герцогиня?

— Ну, само собой, она и не подозревает.

— Ее князь, ее Сами... Связь, которая длится пятнадцать лет!

Госпожа Астье пожала плечами с таким ужасающим равнодушием, с каким только женщина может отнестись к другой.

— Тем хуже для нее! В ее годы...

— Сколько же ей лет?

— Она родилась в двадцать седьмом году... Теперь у нас восьмидесятый... Считай. На год старше меня.

— Герцогиня?..— воскликнул в изумлении Поль.

Мать рассмеялась.

— Ну да, невежа ты этакий... Чему ты удивляешься? Ты, наверное, думаешь, что она на двадцать лет моложе меня... Что там ни говори, а даже самого прожженного из вас нетрудно провести. Во всяком случае, сам понимаешь: бедный князь ведь не может всю жизнь нести на себе это ярмо, тем более что недалек день, когда старый герцог умрет и придется жениться на вдове. Представляешь себе Сами женатым на этой старухе...

— Однако! Недурно иметь тебя своим другом!

Она вскипела. Герцогиня — друг!.. Нечего сказать!.. Женщина, у которой шестьсот тысяч франков годового дохода, прекрасно знающая их тяжелое положение, она, несмотря на их близость, никогда даже не подумала прийти им на помощь... Изредка какое-нибудь платьице, шляпка от своей модистки... Практичные подарки, не доставляющие удовольствия.

— Новогодние подношения дедушки Рею,— поддакнул Поль,— атлас, географическая карта...

— О, я думаю, что Антония еще скупее!.. Помнишь, в Муссо, в самый разгар фруктового сезона, когда Сами не бывало в замке, какие нам подавали сливы к десерту? А уж там ли нет плодовых садов и огородов?! Но фрукты и овощи отсылаются на базары в Блуа и Вандом... Это уж у них в крови. Ее отец, маршал, прославился скупостью при дворе Луи-Филиппа... А слыть скрягой при этом дворе!.. Все они одинаковы, эти знатные корсиканские семьи, все скаредны и чванливы. На серебряной посуде с фамильными гербами едят каштаны, от которых свиньи воротят рыла... Герцогиня! Да она сама ведет расчеты со своим дворецким... Каждое утро ей приносят показать говядину для стола... А вечером, лежа в постели, вся в кружевах — мне сам князь это рассказывал,— чуть ли не в его объятиях, она подсчитывает дневные расходы.

Госпожа Астье отводила душу. Ее пронзительный шипящий голос напоминал крик морской птицы, раздающийся с корабельной мачты. Сын слушал — вначале охотно, потом с нетерпением, мысли его были уже далеко.

— Мне пора,— прервал он ее,— деловой завтрак... Очень важно...

— Заказ?

— Нет... На этот раз архитектура ни при чем.

Она стала расспрашивать, ей хотелось все знать.

— Потом... Я тебе расскажу... Дело на мази...

Прощаясь с матерью, целуя ее на лету, он шепнул ей на ухо:

— Все-таки подумай о десяти тысячах.

Если бы не взрослый сын, предмет их скрытого раздора, Астье-Рею, согласно понятиям светским и особенно академическим, могли почитаться образцовой супружеской четой. После тридцати лет брачного сожительства их чувства друг к другу оставались неизменными, сохраняясь под снегом в температуре «холодных парников», как говорят садовники. Когда в 1850 году профессор Астье, лауреат Академии, просил руки м-ль Аделаиды

Рею, проживавшей у своего деда во дворце Мазарини, молодого ученого привлекли не тонкий, стройный стан невесты, не ее нежный румянец, да и не состояние м-ль Аделаиды: родители ее, скоропостижно скончавшиеся от холеры, оставили ей скудное наследство, а дед, креол, уроженец Мартиники, знаменитый красавец времен Директории, игрок, кутила, мистификатор и дуэлист, заявлял во всеуслышание, что не добавит ни одного су к более чем скромному приданому внучки. Нет, сына овернских крестьян, гораздо более честолюбивого, чем жадного к деньгам, соблазняла только Академия. Два огромных двора, которые он ежедневно пересекал, направляясь с букетом к невесте, величественные длинные коридоры с выходящими на них пыльными лестницами были для него скорее путем к славе, чем к любви. Полен Рею, член Академии надписей и изящной словесности, Жан Рею, автор «Писем к Урании», весь дворец Мазарини, его львы, купол, этот храм, притягательный, как Мекка,— все это он держал в своих объятиях в первую брачную ночь.

Подобного рода красота не увядает. Страсть, не поддающаяся влиянию времени, овладела им настолько, что он сохранил к жене отношение смертного мифологических времен, которому боги даровали руку одной из своих дочерей. И даже приобщенный после четырех баллотировок к этому сонму богов, он продолжал благоговеть перед супругой. Что же касается г-жи Астье, она согласилась на этот брак, только чтобы избавиться от деда с его анекдотами, эгоизмом и черствостью, и очень скоро убедилась, какой ограниченный ум трудолюбивого крестьянина, какая скудость мысли скрываются за высокопарностью лауреата Академии, выпускающего один за другим толстенные тома, за этим голосом, звучным, как труба, словно созданным для поучений с высоты кафедры. Тем не менее, когда с помощью интриг, хлопот и унизительных просьб ей удалось сделать его академиком, она стала относиться к нему с известным почтением, забывая, что она сама облекла его в украшенный пальмами мундир, который скрывал его ничтожество.

В этом безупречном супружеском союзе, лишенном радостей, душевной близости и взаимопонимания, могла бы прозвучать одна человеческая, естественная нота — ребенок, но именно эта нота и нарушила гармонию. Прежде всего, не осуществилось ни одного из желаний отца, мечтавшего для сына о школьных лаврах, о победах на конкурсных испытаниях, о Высшей нормальной школе, о педагогической карьере. В лицее Поль получал награды только за гимнастику и фехтование, выделялся исключительной, упорной ленью, отличаясь в то же время практической сметкой и преждевременным знанием жизни. Он очень заботился о своем

костюме и наружности и, отправляясь на прогулку, громогласно заявлял товарищам, что надеется «подцепить какую-нибудь богачиху». Несколько раз отец, возмущенный непреодолимой ленью сына, готов был расправиться с ним круто, по-овернски, но тут вмешивалась мать, всегдашняя покровительница и заступница. Астье-Рею ворчал, щелкал челюстью — той знаменитой, выдающейся вперед челюстью, которая снискала ему в бытность его учителем прозвище «Крокодил»,— и в виде крайней меры грозил уложить свой сундук и вернуться на родину сажать виноградные лозы.

— О Леонар! Леонар! — говорила слегка насмешливо г-жа Астье.

И дело на этом кончалось.

Но однажды отец действительно чуть было не уложил свой сундук — когда Поль Астье, пробыв три года в архитектурном отделении Школы изящных искусств, отказался участвовать в конкурсе на соискание Римской премии. Отец, задыхаясь от гнева, кричал:

— Несчастный, ведь это Рим!.. Разве ты не понимаешь? Рим... путь в Академию!

Но юноша пренебрег этим. Стремился он только к богатству, чего Академия не давала, доказательство тому — его отец, дед и прадед, старик Рею. Занять положение, ворочать делами, крупными делами, немедленно зарабатывать деньги — вот о чем он мечтал, а вовсе не о пальмах на зеленом мундире.

Леонар Астье выходил из себя. Слышать, как сын произносит эти кощунственные речи и как жена, дочь и внучка Рею, одобряет их!.. На этот раз сундук был унесен с чердака — старый сундук провинциального учителя, обитый гвоздями, на тяжелых петлях, какие бывают у соборных дверей, настолько объемистый и глубокий, что он вмещал в свое время толстенную рукопись, посвященную Марку Аврелию, вместе со всеми честолюбивыми мечтами молодого историка, стремившегося взять приступом Академию. И сколько г-жа Астье ни твердила, поджав губы: «О Леонар, Леонар!..» — ничто не помешало ему уложить сундук. В течение двух дней сундук загромождал кабинет, потом его вытащили в переднюю, где он и остался, превратившись в ящик для дров.

Нельзя не признать, что Поль начал свою деловую карьеру чрезвычайно успешно. При содействии матери и ее связей в высшем свете, а также благодаря своей ловкости и обаянию он получил заказы, обратившие на него внимание. Герцогиня Падовани, супруга бывшего посла и министра, поручила ему реставрацию своего замечательного замка Муссо на Луаре, старинного королевского дворца, заброшенного с давних пор, и Поль сумел вос-

становить дворец во всем его своеобразии с таким искусством и изобретательностью, каких нельзя было ожидать от заурядного молодого архитектора.

Удачной реставрации Муссо он был обязан получением заказа на постройку особняка турецкого посольства, и, наконец, княгиня Розен поручила ему возведение мавзолея князю Герберту, трагически погибшему в экспедиции Христиана Иллирийского. С тех пор молодой человек почувствовал себя хозяином положения. Старик Астье, уступая настояниям жены, дал восемьдесят тысяч франков из своих сбережений на покупку земельного участка на улице Фортюни, где Поль выстроил себе особняк, или, точнее говоря, крыло особняка, являвшееся частью красивого доходного дома. Поль был практичным молодым человеком: желая иметь особняк, какой должен быть у всякого преуспевающего художника, он в то же время рассчитывал, что этот особняк будет приносить ему доход.

К несчастью, доходные дома не всегда легко сдаются, а образ жизни молодого архитектора — пара лошадей в конюшне (одна упряжная, другая верховая), клуб, светские обязанности и сильная задержка платежей — лишал его возможности выжидать. К тому же старик Астье неожиданно заявил, что впредь ничего не будет давать Полю, и старания матери что-либо сделать или сказать в защиту нежно любимого сына наталкивались на непоколебимое решение, на упорное сопротивление ее воле, которой прежде все в доме подчинялось. С тех пор завязалась непрекращавшаяся борьба: мать хитрила, плутовала в расходах, как нерадивый управляющий, лишь бы не отказать в деньгах сыну. Леонар же, подозревая ее и защищая свои интересы, проверял каждый счет. В этих унизительных столкновениях жена, будучи более утонченной натурой, сдавалась первая, и только мысль, что Поль доведен до крайности, заставила ее решиться на новую попытку.

Войдя в столовую, длинную, унылую комнату, куда свет едва проникал сквозь узкие высокие окна, к которым вели две ступеньки (до того как они сюда переехали, здесь помещалась трапезная для духовных особ), г-жа Астье застала своего мужа за столом; он, видимо, был чем-то озабочен и даже рассержен. Обычно за едой мэтру не изменяли благодушное настроение и аппетит, и его крепким, как у горной собаки, зубам не могли противостоять ни черствый хлеб, ни жесткое мясо, ни невзгоды, которыми приправлен каждый день нашей жизни.

«Должно быть, из-за Тейседра»,— подумала г-жа Астье и, шурша платьем, надетым для приема, села на свое место, несколько удивленная, что не слышит от мужа комплиментов своему

наряду — в сущности, весьма жалкому,— которыми он неизменно встречал ее по средам. Рассчитывая, что дурное настроение мэтра рассеется с первым же глотком, она выжидала, готовясь начать атаку. Но Леонар, хотя и уплетал все, что ему подавали, распалялся все больше: и вино отзывало пробкой, и биточки подгорели.

— Все это потому, что господин Фаж надул вас сегодня! — сердито крикнула Корантина из кухни, расположенной рядом, выставив свое лоснящееся рябое лицо в окошечко, проделанное в стене, через которое во времена трапезной подавались кушанья. Когда оконце с шумом захлопнулось, Леонар Астье пробормотал:

— Экая грубиянка!

В сущности, он был чрезвычайно смущен упоминанием имени Фажа при жене. И, без сомнения, в другое время г-жа Астье не преминула бы заметить: «Ага!.. Опять этот Фаж... Опять ваш переплетчик...» — после чего последовала бы семейная сцена, на которую и рассчитывала Корантина, бросая свою ехидную фразу. Но сегодня нельзя было сердить мэтра,— напротив, следовало умело подготовить почву, чтобы добиться своей цели; нужно, например, завести с ним разговор о здоровье Луазильона, непременного секретаря Академии, дни которого сочтены. Пост Луазильона, его казенная квартира должны были перейти к Леонару Астье, как бы в компенсацию за утраченную им должность, и хотя он сочувствовал умирающему собрату, но надежда на хорошее жалованье, просторное и удобное помещение и на ряд других преимуществ связывала эту близкую кончину с весьма приятными видами на будущее, которые Леонар, быть может, не без некоторого чувства неловкости, простодушно обсуждал в семейном кругу. Так нет же! И эта тема сегодня не отвлекла его от мрачных мыслей.

— Бедный господин Луазильон! — шипела г-жа Астье.— Он уже начал забывать слова. Лаво рассказывал нам вчера у герцогини, что он с трудом лепечет: «Бе-без-делушка, бе-безделушка!» — Поджав губы и вытянув длинную шею, она обратилась к мужу с вопросом: — А ведь Луазильон — член комиссии по составлению словаря?

Астье-Рею и бровью не повел.

— Не лишено остроумия,— промолвил он поучительным тоном, щелкая челюстями.— Где-то в одной из своих книг я писал: «Во Франции только преходящее устойчиво».— Астье-Рею говорил с сильным овернским акцентом.— Вот уже десять лет Луазильон при смерти... И он переживет всех нас.

Он повторял, злобно грызя кусочек черствого хлеба:

— Всех!.. Всех!..

Решительно, Тейседр не на шутку его расстроил.

Госпожа Астье заговорила о торжественном объединенном заседании пяти Академий, которое состоится в ближайшие дни в присутствии великого князя Леопольда Финляндского. Астье-Рею — дежурный член в текущем квартале — должен председательствовать на этом заседании, открыть его речью, обратившись с приветствием к его высочеству. Отвечая на умелые расспросы жены об этой речи, план которой он уже составил, Леонар в общих чертах сообщил, о чем будет говорить: он разгромит современную литературную школу, он даст публичную отповедь этим глупцам, этим обезьянам бесхвостым!..

Расширенные зрачки обжоры на сильно покрасневшем топорном лице загорелись под нависшими мохнатыми, черными, как смоль, бровями, составлявшими резкий контраст с седой бородой.

— Кстати,— вдруг вспомнил Леонар,— а мой мундир?.. В порядке ли он?.. Когда я его надевал в последний раз на похороны Монрибо...

Но разве женщина заранее обо всем не подумает! Г-жа Астье еще утром тщательно осмотрела его парадный мундир. Шелковое шитье обтрепалось, подкладка никуда не годится. Совсем старый мундир!.. Служит он Астье-Рею, слава тебе господи, с самого дня приема в Академию — с 12 октября 1866 года. Следовало бы заказать себе новый к предстоящему заседанию. Ведь соберутся пять Академий, прибудет великий князь, сбежится весь Париж. Придется уж на это пойти.

Леонар слабо возражал, ссылаясь на слишком большой расход. К новому мундиру пришлось бы заказать и жилет — правда, только жилет, так как форменных брюк теперь не носят.

— Это необходимо, мой друг.

Она настаивала. Сами того не замечая, они становятся смешны со своей экономией. В доме много вещей приходит в негодность, хотя бы, например, мебель в ее комнате... Просто совестно делается, когда заглядывает кто-нибудь из приятельниц... И сумма-то нужна сравнительно ничтожная...

— Как бы не так, из-за всякого дурака...— вполголоса пробормотал Астье-Рею, охотно заимствовавший выражения из репертуара классиков. Морщина на лбу резче обозначилась, замыкая, как засов на ставнях, его лицо, еще за минуту такое открытое. Сколько раз он давал деньги на уплату по счетам модистки и портнихи, на покупку новой обивки, столового и постельного белья — и ничего не приобреталось, никому не уплачивалось, деньги уплывали на улицу Фортюни, как в прорву. Нет, довольно, больше уж он не даст себя провести... Старик сгорбился, уткнулся в тарелку, на которой лежал огромный кусок овернского сыра, и умолк.

Госпоже Астье было хорошо знакомо это упорное молчание, это сопротивление мягкого тюка хлопка, как только речь заходила о деньгах, но на этот раз она дала себе слово добиться от него ответа.

— Ах, вы ощетинились?.. Знаем, что это значит, когда вы топорщитесь ежом... Нет денег, не так ли? Совсем, совсем нет?

Спина горбилась все больше и больше.

— Однако для Фажа у вас деньги находятся...

Леонар Астье вздрогнул, выпрямился и с тревогой взглянул на жену... Деньги... у него... для Фажа!

— Я думаю, недешево обходятся ваши переплеты,— продолжала она, довольная тем, что сломила его молчаливое сопротивление.— Скажите на милость, для чего они нужны! Для каких-то бумажонок!

Он успокоился. Очевидно, она ничего не знала и пускала стрелы наугад, но слово «бумажонки» задело его за живое: ведь это автографы, не имеющие себе равных, письма за подписью Ришелье, Кольбера, Ньютона, Галилея, Паскаля, редкости, приобретенные за понюшку табаку и стоившие целое состояние.

— Да, сударыня, состояние!

Он горячился, приводил цифры, перечислял предложения, которые ему делали. Бос, знаменитый Бос с улицы Аббатства — он-то уж кое-что смыслит в таких делах,— готов уплатить двадцать тысяч франков за три документа из его коллекции, за три письма Карла V к Франсуа Рабле.

— Бумажонки!.. Нечего сказать, бумажонки!

Госпожа Астье слушала его с изумлением. Правда, ей было известно, что уже два-три года Леонар собирает старинные документы. Случалось, он рассказывал ей о своих находках, но она пропускала это мимо ушей, как женщина, которая изо дня в день в течение тридцати лет слышит все тот же надоевший ей мужской голос, но никогда ей и в голову не могло прийти... Двадцать тысяч франков за три документа!.. Почему же он не соглашается?

Старик вспыхнул, как порох:

— Продать письма Карла Пятого!.. Никогда!.. Хоть бы вы все голодали и пошли по миру, я никогда этого не сделаю, слышите?

Он стучал кулаком по столу, бледный, выпятив губы, озверев, превратившись в маньяка; это был какой-то невиданный доселе Астье-Рею, которого жена не знала. Так в минуты, когда внезапно разгораются страсти, в человеке проявляются черты, неведомые даже близким. Впрочем, тут же опомнившись и слегка конфузясь, академик пояснил, что без этих документов он не может обойтись в своей работе, в особенности теперь, когда он

лишен архивов министерства иностранных дел. Продать эти материалы значило бы перестать писать! Наоборот, он подумывает о том, чтобы еще увеличить свою коллекцию. В заключение горькая и трагическая нота прозвучала в его голосе, в котором слышалась вся скорбь, все разочарование его незадачливого отцовства:

— После меня мой сын может продать все, что ему вздумается. Он ведь мечтает только о богатстве, и я могу вас заверить, что он будет богат.

— А пока что...

Это «пока» было сказано таким мелодичным, приятным голоском, так чудовищно естественно и спокойно, что Леонар, охваченный ревностью к сыну, вытеснившему его из сердца жены, ответил, зловеще щелкая челюстью:

— Пока же, сударыня, пусть и другие живут, как я... У меня нет особняка, лошадей и английского кабриолета. Я довольствуюсь конкой для своих поездок и квартирой на четвертом этаже, где мне еще приходится терпеть от Тейседра. Я работаю день и ночь, выпускаю по два, по три тома в год, состою в двух комиссиях Академии, не пропускаю ни одного заседания, присутствую на всех похоронах и даже летом не принимаю приглашений за город, чтобы не лишиться хотя бы одного жетона. От души желаю моему милейшему сынку сохранить такую же бодрость к шестидесяти пяти годам.

Впервые за много лет он так резко говорил о Поле. Мать, потрясенная, молчала, но в злом взгляде, брошенном ею исподлобья на мужа, сквозило уважение, которого за минуту не было и в помине.

— Звонят!..— воскликнул Леонар, вскочив со своего места и бросив салфетку на спинку стула.— Это, верно, ко мне.

— Какой-то господин к барыне... Раненько начинают собираться сегодня!..

Корантина положила визитную карточку на край стола, наспех вытерев о передник свои толстые, загрубевшие от кухонной работы пальцы. Г-жа Астье взглянула на карточку: «Виконт де Фрейде», и огонек блеснул в ее глазах... Скрыв свою радость, она ровным, спокойным голосом спросила:

— Господин Фрейде разве в Париже?

— Да, из-за своей книги.

— Боже мой, его книга!.. Она у меня даже не разрезана... О чем там говорится?..

Она торопливо доела последний кусок, окунула в чашечку кончики белых пальцев, а муж тем временем рассеянно, думая о другом, сообщил ей в общих чертах, о чем идет речь в новой

книге Фрейде... «Бог в природе», философская поэма... Автор добивается премии Буассо.

— И он ее получит, не правда ли?.. Он так внимателен к несчастной парализованной девушке!

Астье развел руками. Поручиться, конечно, нельзя, но он, разумеется, поддержит Фрейде, тем более что тот действительно сделал значительные успехи.

— Если он пожелает узнать мое личное мнение, передайте ему, что, на мой взгляд, там еще слишком много такого, с чем нельзя согласиться, но гораздо меньше, чем в других книгах. И скажите, что его старый учитель им доволен.

Чего было слишком много? Чего гораздо меньше? Г-жа Астье, должно быть, это знала, потому что, не спрашивая объяснений, она выпорхнула в кабинет, превращенный на этот день в гостиную.

Оставшись один, Леонар Астье, погруженный в свои мысли, принялся ножом крошить на тарелке остатки овернского сыра, затем, потревоженный Корантиной, которая, не обращая на него внимания, спешно убирала со стола, с трудом встал и, поднявшись по деревянной лестнице к себе на антресоли, снова взял лупу и принялся за старую рукопись, разбором которой он занимался с утра.

II

— Хэп, хэп!..

В двухколесном кабриолете, которым он сам правит, держась спокойно и прямо, высоко подняв вожжи, мчится Поль Астье на таинственный деловой завтрак, оставляя позади Королевский мост, набережные и площадь Согласия. В этом окружении террас, зелени и воды он мог бы при некоторой игре воображения представить себе, что несется на крыльях Фортуны: так ровен путь, так восхитительно утро. Но у Поля нет склонности к мифологии; он осматривает во время езды новую кожаную упряжь и осведомляется о поставщике овса у сидящего рядом с ним молодого коренастого грума с дерзкой и надутой физиономией конюшенного хлыща.

— Вот и этот торговец, видно, плюет на покупателя.

— М-да,— машинально отвечает Поль, думая уже о чем-то другом. Речи матери не выходят у него из головы. Красавице Антонии пятьдесят три года!.. А какая спина, какие плечи, самое красивое декольте во всем их кругу!.. Просто невозможно поверить...

— Хэп!.. Хэп!..

Он помнит ее в Муссо прошлым летом: она вставала раньше всех, выводила собак и гуляла в парке по росе, свежая, с развевающимися волосами. Ее красота отнюдь не казалась искусственной. И однажды в ландо как она его осадила, да, осадила, точно лакея, без единого слова, одним мимолетным взглядом, когда он только осмелился прикоснуться к ноге, достойной Гебы, длинной, тонкой и крепкой... Пятьдесят три года — и такая нога! Никто не поверит!..

— Хэп!.. Хэп!.. Берегись!.. Беда на этом повороте с площади на авеню д'Антэн...

Как бы там ни было, мать замышляет страшную подлость против несчастной женщины, собираясь женить ее князя. Ведь что ни говори, а они многим ей обязаны. Разве отец был бы академиком без герцогини? А он сам, Поль, все его заказы... И наследство Луазильона, надежда получить чудесную квартиру во дворце Мазарини...

Нет, решительно, на такую мерзость способны только женщины!.. Но и мужчины тоже хороши... Взять хотя бы этого князя д'Атиса. Чего только не сделала для него герцогиня! К тому времени, когда они встретились, он разорился, обнищал, какое-то отребье, а не человек. А сейчас это министр, член Академии нравственных и политических наук — благодаря книге, в которой он не написал ни единого слова: «О назначении женщины»! И вот в то время как она старается выхлопотать для него место посла, он только и ждет постановления в «Офисьель», чтобы удрать «по-английски». После пятнадцати лет безоблачного счастья так отблагодарить герцогиню! Вот он уж действительно понял назначение женщины! Нужно только не зевать, быть не глупее его...

— Хэп!.. Хэп!.. Отворите, будьте любезны.

Монолог окончен, экипаж остановился у особняка на улице Курсель. Высокие ворота растворяются медленно, с трудом, словно они уже давно от этого отвыкли.

Здесь жила княгиня Колетта Розен, отрешившаяся от мира после своей безвозвратной утраты, после того трагического события, которое сделало ее вдовой в двадцать шесть лет. Газетные хроникеры в свое время немало писали о наделавшем столько шума отчаянии молодой вдовы, о том, как она коротко остригла золотистые косы и бросила их в гроб, о комнате, превращенной в часовню, об одиноких трапезах за столом, накрытым для двоих, и, наконец, о том, что в передней на своем обычном месте лежали трость, перчатки и шляпа князя, словно он был дома и собирался

выйти на прогулку. Но никто не говорил о нежнейшем внимании, почти материнской заботливости, которой окружала г-жа Астье «бедняжку» в эти тяжелые минуты.

Добрые отношения между дамами начались несколькими годами раньше, когда князю Розену была присуждена Академией премия за историческое сочинение, причем докладчиком был Астье-Рею, но разница в возрасте и положении создавала преграды, и только теперь их уничтожил траур княгини. В ее безоговорочном разрыве со светом было сделано исключение для одной лишь г-жи Астье: ей одной разрешалось переступать порог особняка, превращенного в монастырь, где проливала слезы бедная кармелитка в черных одеждах, с коротко остриженной головкой; она одна была допущена к панихидам, которые два раза в неделю служились в церкви св. Филиппа за упокой души Герберта, и одной ей читала Колетта свои письма, которые каждый вечер писала безвременно ушедшему возлюбленному супругу, рассказывая ему о том, как она проводит дни. При всяком, даже самом строгом трауре нельзя обойтись без материальных забот, оскорбляющих истинное горе, но неизбежных в силу требований света,— тут и заказ ливрей, обивка экипажей, встреча с поставщиками, вызывающими отвращение своим лицемерным участием,— всем этим занялась г-жа Астье. С неиссякаемым терпением приняла она на себя все заботы об огромном доме, за которым не могли уже следить прелестные глазки, затуманенные слезами. Молодая вдова была избавлена от всего, что могло помешать ее скорби, потревожить ее в часы, посвященные слезам, молитве и переписке с потусторонним миром или поездкам с огромными охапками редких цветов на кладбище Пер-Лашез, где Поль Астье воздвигал гигантский мавзолей из каменных плит, привезенных, по желанию княгини, с места катастрофы.

К сожалению, добывание и перевозка далматинских скал, трудность обработки твердого гранита, тысяча планов вдовы, которой все казалось недостаточно грандиозным и величественным, недостойным ее почившего вечным сном героя, послужили причиной стольких проволочек и помех, что к маю 1880 года — спустя два года после катастрофы и начала работ — памятник еще не был закончен. Два года — слишком большой срок для бурной, безудержной, ни на минуту не ослабевающей скорби. Траур, разумеется, внешне все так же строго соблюдался, особняк был по-прежнему нем и замкнут, как склеп, но вместо живой статуи, погруженной в молитву и проливающей слезы в глубине мавзолея, там жила теперь молодая хорошенькая женщина; пушистые и тонкие волосы ее, отрастая, своевольно вились и кудрявились.

Черные вдовьи одежды, озаренные золотистой головкой, казались менее темными и мрачными, они воспринимались как каприз элегантной женщины. В походке, в голосе княгини чувствовалась весенняя бодрость, лицо ее приобрело спокойное и мягкое выражение, какое обычно бывает у молодых вдов, уже переживших острые минуты горя. Чудесное состояние! Женщина впервые начинает вкушать сладость свободы, право располагать собой, до сих пор ею не изведанное,— ведь еще совсем юной перешла она из-под родительской опеки к мужу; она избавлена от грубости самца и особенно от страха перед беременностью — этого жестокого страха, отравляющего минуты любви и столь характерного для современных женщин. И переход — такой естественный — от безграничного отчаяния к полному умиротворению лишь подчеркивался внешними атрибутами безутешного вдовства, которыми продолжала окружать себя княгиня Колетта. Не из лицемерия, конечно! Но как могла она, не вызывая усмешек у прислуги, приказать убрать эту шляпу, ожидавшую в передней, трость, оставленную на видном месте, этот прибор для покойного? Как сказать: «Князь не обедает сегодня дома!»? Лишь мистическая переписка — «Герберту на небеса» — с каждым днем сокращалась, превратившись в простой дневник, который велся в очень спокойных тонах, чем весьма забавлялась про себя умная приятельница Колетты.

Ведь у г-жи Астье был свой план, зародившийся в ее хитроумной голове в один из вторников во Французской комедии, когда князь д'Атис в минуту откровенности шепнул ей:

— Ах, дорогая Аделаида, ну и каторга!.. Если бы вы только знали, как я скучаю!..

Тотчас же она решила женить его на княгине, и началась новая игра, противоположная первой, но такая же тонкая и внимательная. Теперь уже не следовало твердить о нерушимости супружеских клятв, отыскивать у Жубера и других высоконравственных философов изречения, под стать следующему, вписанному княгиней в молитвенник, подаренный ей ко дню ее свадьбы: «Достойной супругой и вдовой женщина может быть только единожды...» — или восторгаться мужественной красотой юного героя, изображения которого, скульптурные или писанные маслом, во весь рост, поясные, в профиль и вполоборота, красовались во всех комнатах особняка.

Надлежало, напротив, умалять его достоинства, постепенно и умело.

— А не находите ли вы, моя милая, что на портретах у князя подбородок тяжеловат? Конечно, нельзя не признать, что и в жизни нижняя часть лица у него была массивна, великовата.

Легкими ядовитыми уколами, с бесконечной мягкостью и ловкостью, поправляясь, когда она заходила слишком далеко, подстерегая улыбку Колетты при каком-нибудь удачном сравнении, г-жа Астье доводила до сознания молодой вдовы, что от ее Герберта всегда отзывало солдатчиной, что аристократом он был скорее по имени, чем по манере себя держать, что он был лишен той благородной осанки, присущей, ну, скажем, князю д'Атису, которого они встретили в прошлое воскресенье на пороге церкви св. Филиппа.

— Если только надумаете... Чем не жених для вас, дорогая?..

Это говорилось вскользь, в шутливом тоне; потом г-жа Астье к этому возвращалась и выражалась яснее. А почему бы и нет? Партия отличная: знатное имя, прекрасное положение в дипломатическом мире, и никаких изменений ни в короне, ни в титуле, что тоже имеет немаловажное практическое значение. Наконец, дорогая, если говорить откровенно, князь питает к вам нежнейшие чувства.

Слово «чувства» вначале задевало княгиню, как тяжкая обида, но потом она к нему привыкла. Дамы встречались с д'Атисом в церкви. Тщательно скрываясь от всех на Бонской, Колетта вскоре призналась, что он один мог бы заставить ее отказаться от вдовства. Но только как же это? Ведь бедный Розен любил ее так преданно, так безраздельно!

— Ну, уж и безраздельно,— цедила г-жа Астье, улыбаясь всезнающей улыбкой; затем следовали намеки, иносказательные замечания, которыми женщина может ужалить женщину.— Ах, друг мой, на свете нет однолюбов, нет верных мужей!.. Порядочные, благовоспитанные мужчины стараются не огорчать, не оскорблять жену, не нарушать семейного согласия...

— Значит, вы думаете, что и Герберт?..

— Боже мой, как и все!..

Княгиня возмущалась, дулась, заливалась слезами, не вызванными горем, слезами, которые только успокаивают и освежают женщину, как дождик лужайку. Однако она не сдавалась, к великой досаде г-жи Астье, не подозревавшей о действительной причине этого сопротивления.

Дело же заключалось в том, что в то время, когда Поль и Колетта вместе рассматривали проекты мавзолея, склонившись над папками и эскизами склепов и надгробных памятников, руки их и волосы невольно соприкасались, и между ними возникла дружеская симпатия, постепенно перешедшая в более нежное чувство. И вот однажды Поль Астье уловил во взгляде, обращенном к нему, какое-то смятение, порыв, почти признание. Возможность,

мечта, чудо представились ему — стать мужем Колетты, которая принесет ему в приданое двадцать — тридцать миллионов. О, не теперь, позднее, после терпеливого выжидания, после правильной осады крепости! Главное — остерегаться маменьки, хитрой и ловкой, но слишком усердной, особенно когда дело касалось ее Поля. Она способна была все погубить из желания ускорить счастливую развязку. Итак, он таился от г-жи Астье, не подозревая, что она ведет подкоп на том же участке, но в противоположном направлении, и действовал в одиночку, исподволь, очаровывая княгиню своей молодостью, изяществом, жизнерадостностью, своим насмешливым умом, но тщательно прятал при этом когти, зная, что женщины, подобно простонародью, детям и всем вообще существам наивным и непосредственным, ненавидят иронию, которая приводит их в замешательство и в которой они чуют злейшего врага увлечения и любовных грез.

В это весеннее утро молодой Астье прибыл на улицу Курсель еще более уверенный в себе, чем обычно. Впервые он был приглашен княгиней к завтраку под предлогом совместного посещения кладбища Пер-Лашез для ознакомления на месте с ходом работ. По молчаливому уговору была выбрана среда — приемный день г-жи Астье,— чтобы не оказаться втроем. Вот почему, несмотря на свою сдержанность, рассудительный молодой человек, поднявшись на крыльцо особняка, окинул небрежным взглядом вступающего во владение хозяина обширный двор и роскошные службы. Но пыл его охладел, когда он оказался в прихожей, где швейцар и лакеи в парадных траурных ливреях дремали на скамьях, точно справляя похоронное бдение вокруг шляпы покойного, чудесной серой шляпы, возвещавшей о наступлении весны и об упорном желании княгини вечно чтить память мужа. Поль был этим раздосадован, словно встречей с соперником; он не представлял себе, как трудно самой Колетте избавиться от закрепостившего ее траура. Взбешенный, он подумал: «Уж не заставит ли она меня завтракать с ним?..», но тут, принимая у него из рук шляпу и трость, лакей доложил, что ее сиятельство ожидает г-на Астье в маленькой гостиной. Войдя на застекленную террасу, уставленную редкими растениями, он успокоился, заметив два прибора на маленьком столике, который накрывали под наблюдением самой княгини Розен.

— Мне пришла эта фантазия при виде такого чудесного солнца... Мы будем здесь совсем как за городом...

Всю ночь она ломала себе голову над тем, чтобы не завтракать с красивым молодым человеком перед пустым прибором «того».

И, не зная, как отвести глаза слугам, она решила изменить своему обыкновению и неожиданно, словно повинуясь капризу, велела:

— Накройте в оранжерее.

В общем, деловой завтрак обещал быть приятным: в бассейне маленького грота, среди папоротников и трав, охлаждалось белое бургонское вино; солнечные блики играли на хрустале и блестящей зелени зубчатых листьев. Молодые люди сидели друг против друга, почти прикасаясь коленями, он — спокойный и сдержанный, с горевшими холодным блеском светлыми глазами, она — румяная и белокурая, с тонкими, точно волнистый пух, отрастающими волосами, которые обрисовывали ее маленькую головку без намека на прическу. Они говорили о безразличных вещах, скрывая свои сокровенные мысли, а Поль Астье торжествовал: ему был виден там, в опустевшей столовой, двери в которую раскрывали сновавшие взад и вперед молчаливые слуги, прибор покойного, впервые обреченный на тоскливое одиночество.

III

«М-ль Жермен де Фрейде
Кло-Жалланж
Через Муссо (Луар-э-Шер)

Вот, дорогая сестра, точное описание моего времяпрепровождения в Париже. Собираюсь писать тебе каждый вечер и отправлять письма два раза в неделю в течение всего моего пребывания в столице.

Итак, приехал я сегодня утром, в понедельник. Остановился, как обычно, в тихой маленькой гостинице на улице Сервандони, куда со всего огромного Парижа ко мне доносится только колокольный звон из церкви св. Сульпиция да непрекращающийся стук в соседней кузнице; я люблю эти мерные удары молота по железу, напоминающие мне деревню. Тотчас побежал к издателю:

— Когда выйдет?

— Ваша книга? Да она вышла неделю тому назад.

Вышла и уже исчезла в безднах этого страшного горнила Маниве, которое всегда дымит и пыхтит, в муках рожая новую книгу. В этот понедельник как раз появился в свет большой роман Эрше «Лесная нимфа», вышедший тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров, сложенных грудами, тюками во всю вышину книжной лавки. Представляешь себе недоуменные лица приказчиков и оторопелый вид добрейшего Маниве, который, казалось, спустился с луны, когда я заговорил о своем несчастном томике стихов и о моих шансах на получение премии

Буассо? Захватив с собой несколько экземпляров своей книги, предназначенных для членов комиссии, я направился по улицам, настоящим улицам между стен из «Лесной нимфы», доходивших до самого потолка. В экипаже я рассмотрел, перелистал книгу, и она мне понравилась внушительностью названия: «Бог в природе». Пожалуй, жидковаты буквы заглавия, надо бы шрифт пожирнее, чтобы он бросался в глаза. Ну да это пустяки! Твое милое имя «Жермен» в посвящении принесет нам счастье. Два экземпляра завез на Бонскую к Астье, которые, как ты знаешь, лишились своей квартиры в доме министерства иностранных дел. Г-жа Астье, однако, сохранила свой приемный день. Заеду к ним в среду, чтобы узнать мнение мэтра о моей книге, а теперь спешу во дворец Мазарини, где работа идет полным ходом.

В самом деле, кипучая деятельность Парижа просто изумительна, в особенности для тех, кто, подобно нам, живет круглый год в тиши, среди простора полей. Разыскал Пишераля — знаешь, того любезного господина из секретариата, который так удачно усадил тебя на заседании три года тому назад, когда мне была присуждена премия? Я застал Пишераля и его сотрудников среди шума и суеты: выкрикивались фамилии и адреса, всюду лежали пачки билетов, голубых, желтых, зеленых,— на трибуну, в галерею, в амфитеатр, вход с подъезда «А», с подъезда «Б». Рассылка приглашений на ежегодное торжественное заседание была в полном разгаре. На этот раз заседание должен почтить своим присутствием находящийся здесь проездом его высочество великий князь Леопольд. «Извините меня, господин виконт,— так меня постоянно величает Пишераль, должно быть, по традиции, сохранившейся со времен Шатобриана,— но придется подождать...» — «Не беспокойтесь, господин Пишераль».

Презабавен этот Пишераль и очень обходителен, он мне напоминает Боникара во время наших уроков хорошего тона в крытой галерее у бабушки в Жалланже, и раздражителен он так же, когда ему противоречат, как наш старый учитель танцев. Жаль, что тебе не привелось слышать его разговор с герцогом де Бретиньи, бывшим министром, одним из вельмож Академии, приехавшим, пока я дожидался, за пожетонным вознаграждением. Нужно тебе сказать, что каждый жетон присутствующего на заседании академика приравнивается к шести франкам, то есть к старинному экю стоимостью в шесть ливров. Всех академиков сорок; ассигнованные на заседание двести сорок франков распределяются между присутствующими; стало быть, каждый получает тем больше, чем малочисленнее собрание. Выплата производится помесячно шестифранковыми монетами, уложенными в мешочки из толстой бумаги, к которым приколот точный перечень

заседаний, словно счет от прачки. Бретиньи был не согласен с расчетом,— по его словам, ему недодали двух жетонов. Трудно себе представить что-либо более забавное, чем этот богач из богачей, председатель невесть скольких правлений акционерных обществ, приехавший в своей карете требовать двенадцать франков. Получил он только шесть, которые Пишераль после бесконечных препирательств швырнул ему, как рассыльному, что, однако, не помешало Бессмертному сунуть их себе в карман с неописуемым удовольствием. Что может быть приятнее денег, добытых в поте лица своего! Не следует думать, что в Академии бездельничают: завещания, пожертвования, количество которых увеличивается из года в год, просмотр бесконечного количества произведений, составление докладов... А словарь, а речи!.. «Доставьте им свою книгу, но сами их не тревожьте,— посоветовал мне Пишераль, узнав, что я собираюсь участвовать в соискании премии,— господа академики не любят кандидатов, которые обременяют их еще одной обязанностью».

Действительно, я вспоминаю, как меня принимали Рипо-Бабен и Ланибуар, когда я добивался премии в прошлый раз. Совсем другое дело, когда является хорошенькая просительница. Ланибуар становится весьма игривым, Рипо-Бабен, все еще пылкий, несмотря на свои восемьдесят лет, потчует кандидатку пастилкой от кашля, шамкая: «Поднесите только к губкам... а я ее доем». Все эти сплетни я узнал в секретариате, где судачат о Бессмертных с милой непринужденностью. «Премия Буассо!.. Позвольте... Значит, вашу судьбу решают два «князя», три «книжных червя» и два «лицедея». Так в тесном кругу канцелярских служащих подразделяются члены Французской академии. «Князья» — это лица, принадлежащие к знати и к высшему духовенству, «книжные черви» — профессора и ученые, «лицедеи» — адвокаты, театральные деятели, журналисты и писатели.

Получив адреса своих судей — «князей», «лицедеев» и «книжных червей», я преподнес надписанный мною экземпляр милейшему Пишералю, другой, как полагается, просил передать бедному г-ну Луазильону, непременному секретарю, который, как я слышал, сейчас при смерти, затем поспешил развезти остальные во все концы Парижа. Погода стояла прекрасная. Булонский лес, который я проехал, возвращаясь от Рипо-Бабена — «Поднесите только к губкам»,— благоухал боярышником и фиалками, и мне почудилось, что я дома в самые первые дни ранней весны, когда в воздухе еще свежо, а солнце уже сильно греет, и у меня явилось желание бросить все и вернуться в Жаллапж, к тебе. Пообедал на бульваре в полном одиночестве, тоскуя; закончил вечер во Французской комедии, где давали «Последнего Фронтена» Деминь-

ера. Деминьер — член жюри по присуждению премии Буассо, поэтому только тебе я признаюсь, как бездарны показались мне его стихи. От жары и газовых ламп кровь приливала у меня к голове. Актеры играли точно при дворе Людовика XIV, и в то время как они тянули александрийские стопы, будто разматывали длинные пелены, окутывающие мумию, запах жалланжского терновника продолжал преследовать меня, и я твердил про себя чудесные стихи Дю Белле, почти что нашего земляка:

И крепких мраморов на кровле шифер скромный,
И Тибра галльская Луара мне милей,
И палатинских круч мой маленький Лирей,
И влажности морской — анжуйский воздух томный[1].

Все утро бегал по городу, останавливался у книжных магазинов, стараясь отыскать в витринах свою книгу. «Лесная нимфа»... «Лесная нимфа»...— только и видишь эту «нимфу», опоясанную бандеролью с надписью «Новинка», и лишь кое-где — мой томик «Бог в природе», жалкий, затерянный... Когда на меня не смотрели, я клал его сверху на груду книг, на самом виду, но никто не обращал на него внимания. Впрочем, нет, на Итальянском бульваре какой-то негр, весьма почтенный, с умной физиономией, минут пять перелистывал мою книжку, потом ушел, так и не купив ее. Мне хотелось подарить ему свои стихи.

За завтраком в уголке английской таверны я пробежал газеты. Ни слова обо мне, ни единого объявления. До чего небрежен этот Маниве! Разослал ли хоть книги, как он мне клятвенно обещал? Столько появляется новинок! Париж просто наводнен ими. А все же грустно становится, когда вспомнишь, с каким восторгом, с каким лихорадочным трепетом писались эти стихи, как они жгли тебе пальцы, какими казались прекрасными, способными потрясти и озарить мир,— и вот они явились в этот мир и стали еще более неведомыми, чем в то время, когда только складывались в твоем мозгу; это напоминает те бальные туалеты, которые надеваются при восторженном одобрении всей семьи, в полной уверенности, что они всё затмят, всё превзойдут, а при ярком свете люстр теряются в нарядной толпе. Какой счастливец этот Эрше! Его читают, его понимают. Мне попадались навстречу женщины с только что вышедшим желтым томиком, спрятанным в складках накидки... Горе нам!.. Как мы ни стараемся поставить себя вне толпы, возвыситься над нею, все же пишем мы только для нее. Разлученный с людьми, оставаясь на своем острове, утратив надежду увидеть когда-либо парус на необозримом горизонте, стал бы Робинзон,— будь он даже гениальным поэтом,—

[1] Перевод Ю. Верховского.

писать стихи? Долго я об этом размышлял, шагая по Елисейским полям, затерянный так же, как и моя книга, в этом огромном, ко всему равнодушном людском потоке.

Я возвращался к обеду в гостиницу в весьма мрачном настроении, о чем ты сама можешь догадаться, и вдруг на набережной Орсе у заросших зеленью развалин Счетной палаты столкнулся с рассеянным, загородившим мне дорогу верзилой. «Фрейде!» — «Ведрин!» Ты, наверное, помнишь моего приятеля, скульптора Ведрина, который в дни, когда он работал в Муссо, приезжал как-то к нам в Кло-Жалланж со своей молоденькой очаровательной женой. Он не изменился, только виски его слегка поседели. Ведрин держал за руку прелестного мальчугана с лихорадочно блестевшими глазами, так пленившего тебя, и шествовал медленно, выразительно жестикулируя, высоко подняв голову, словно он парил в недосягаемых высотах, совершая прогулку по Елисейским полям, а за ним, несколько поодаль, следовала г-жа Ведрин, толкая перед собою колясочку, в которой весело смеялась девчурка, родившаяся после их поездки в Турень.

— Итого у нее трое на руках, включая меня,— сказал Ведрин, указывая на жену.

И это была сущая правда. В ее взгляде, покоившемся на муже, сквозила тихая, нежная материнская любовь фламандской мадонны, охваченной восторгом перед своим сыном, своим божеством. Долго беседовали мы, прислонившись к парапету набережной. Мне стало легче на душе, когда я встретился с этими славными людьми. Вот кто равнодушен к успеху, к суждениям публики и академическим премиям! Ведрин в родстве с Луазильоном, с бароном Юшенаром, и стоило ему только захотеть, стоило разбавить водой свое слишком крепкое вино, и он получил бы заказы, премию, выдаваемую раз в два года, не сегодня-завтра был бы академиком. Но ничто не манит его, даже слава.

— Славу,— сказал он мне,— я вкушал уже несколько раз и знаю ей цену... Скажи: случалось ли тебе, куря сигару, взять ее в рот не тем концом? Вот такова и слава. Сигара хороша, но во рту ее горящий кончик и пепел...

— Однако, Ведрин, если ты работаешь не ради славы, не ради денег...

— А!..

— Да, я знаю, с каким благородным пренебрежением ты к этому относишься... Но для чего же в таком случае тратить столько сил?

— Для самого себя, для собственного наслаждения, чтобы выразить свои мысли, из потребности творить.

Не подлежит сомнению, что этот человек и на необитаемом

острове продолжал бы свой труд. Это истинный художник, беспокойный, ищущий новые формы и во время передышки в работе стремящийся создать из других материалов, иными способами нечто могущее удовлетворить его влечение к неизведанному. Он занимался керамикой, эмалями, его чудесные мозаики украшают кордегардию в Муссо. Завершив один труд, преодолев препятствия, он берется за другой; сейчас он мечтает заняться живописью. Как только его паладин — огромная бронзовая статуя для гробницы де Розена — будет закончен, он предполагает «приняться за масло», как он говорит. Его жена, во всем согласная с ним, сроднившаяся с его химерами, настоящая жена художника, молчаливая, благоговеющая перед мужем, заботливо отстраняет от взрослого ребенка все, что может оскорбить его мечту, на чем он может оступиться на своем пути к звездам. Вот женщина, дорогая Жермен, заставляющая мечтать о браке. Да, если бы мне удалось встретить подобную ей, я привез бы ее в Кло-Жалланж, я убежден, что ты бы ее полюбила. Но не пугайся: такие женщины, как г-жа Ведрин, очень редки, и мы с тобой по-прежнему до конца наших дней будем жить вдвоем.

Мы расстались, условившись встретиться в следующий четверг, но не у них, в Нейли, а в мастерской на набережной Орсе, где они целые дни проводят вместе. Мастерская эта представляет собой, по-видимому, нечто в высшей степени своеобразное — это уголок в бывшей Счетной палате, где скульптор добился разрешения работать среди обваливающихся камней и дикорастущей зелени. Отойдя от них, я обернулся, чтобы взглянуть на отца, мать и малыша, шедших рядом вдоль набережной под безмятежными лучами заходящего солнца, которое озаряло их золотым светом, словно картину святого семейства. Под впечатлением этой встречи я вечером в гостинице набросал несколько строк, но не решился прочесть их вслух — соседи стесняли меня. Мне нужен мой просторный кабинет в Жалланже, с тремя окнами, выходящими на реку и на склоны холма, покрытого виноградными лозами.

И вот наконец наступила среда, день великих новостей, о котором я намерен рассказать тебе со всеми подробностями. Признаюсь, я с замиранием сердца готовился к посещению Астье, и волнение мое еще усилилось, когда я поднимался по старой лестнице, величественной и сырой, на Бонской улице. Что скажут о моей книге? Успел ли мой бывший учитель хотя бы раскрыть ее? Мнение этого прекраснейшего человека так важно для меня, он все еще сохранил в моих глазах обаяние наставника, перед которым я всегда буду чувствовать себя школьником. Его бес-

пристрастная и верная оценка будет, без сомнения, разделена и Академией при присуждении премии Буассо. Поэтому понятно, с какой тревогой и нетерпением ждал я его в большом рабочем кабинете, предоставляемом мэтром в распоряжение г-жи Астье для ее еженедельных приемов.

Увы! Это уже не прежняя квартира в министерстве. Стол историка задвинут куда-то в угол и заставлен большой ширмой из старинной материи, закрывающей и часть книжного шкафа. Напротив него, на почетном месте, портрет г-жи Астье в молодости поражает своим сходством с сыном и со старым Рею, с которым я в тот же день имел честь познакомиться. От портрета веет скучным, холодным, словно напускным, достоинством, как и от этой большой комнаты без ковра, с темными драпировками на окнах, выходящих на еще более темный двор. Но вот вошла г-жа Астье, и ее радушный прием преобразил все вокруг. Что за свойство у парижского воздуха — сохранять вопреки годам прелесть женского лица, точно под стеклом картину, писанную пастелью! Хозяйка дома — блондинка с тонким лицом и острым взглядом — показалась мне помолодевшей года на три. Она сначала заговорила о тебе, о твоем здоровье, участливо осведомилась о нашей с тобой дружбе и потом, оживившись, спросила:

— А ваша книга?.. Поговорим же о вашей книге!.. Какая прелесть!.. Я не могла от нее оторваться всю ночь...

За этим последовали похвалы, обличающие тонкое понимание, два-три стиха, безошибочно процитированные, уверения, что мой учитель Астье в восторге от книги; он просил ее передать мне это, в случае если не сможет прервать работу.

И без того не отличаясь бледностью, я, вероятно, стал багровым, словно к исходу охотничьего обеда. Однако мое радужное настроение тут же исчезло, когда бедная женщина проговорилась мне об их тяжелом положении. Денежные затруднения, опала, мэтр, работающий дни и ночи над своими историческими книгами, которые отнимают бесконечное количество времени, требуют больших затрат — и не продаются. А тут еще дед, старик Рею, которому приходится помогать: ведь его единственный доход — это академические жетоны, а в таком возрасте, в девяносто восемь лет, он требует немало забот и внимания! Поль, конечно, хороший сын, деловой человек и сумеет добиться своего, но начало карьеры сопряжено с трудностями. И г-жа Астье скрывает от него, в каких они тисках, скрывает это и от мужа, дорогого ей, столь далекого от жизни большого ученого, тяжелые, размеренные шаги которого раздавались над моей головой, в то время как жена его просила меня дрожащим голосом, подыскивая слова, делая над собой огромное усилие, не могу ли я... Ах, чудная, чудная женщина,

я готов был целовать кружева ее платья!.. Тебе понятна теперь, дорогая сестричка, только что полученная тобою депеша, и ты догадываешься, для кого я прошу тебя прислать десять тысяч франков обратной почтой. Думаю, что ты тотчас же написала Гобино. Если я прямо не обратился к нему, то только потому, что у нас с тобой все «пополам» и что наши порывы великодушия и сострадания тоже должны быть общими, как и все остальное... Но, друг мой, разве не ужасно, что за лицевой стороной парижской жизни, полной блеска и славы, таится столько страданий?

Через пять минут после этих тяжких признаний, когда явились гости и комната наполнилась людьми, г-жа Астье поддерживала разговор, как ни в чем не бывало. По ее лицу и голосу можно было подумать, что перед вами счастливая женщина, а у меня мороз пробегал по коже. Встретился я там и с г-жой Луазильон, женой непременного секретаря. Лучше было ей сидеть у постели больного мужа, чем надоедать всем рассказами о прелестях своей чудесной квартиры, самой удобной в Академии, к которой со времен Вильмена добавили еще три комнаты. И повторила она это, по крайней мере, раз десять резким голосом аукционного оценщика, к тому же в присутствии приятельницы, которая живет стесненно, в помещении бывшей ресторации.

Госпожа Анселен, имя которой часто упоминается в светской хронике, уж конечно, не позволит себе ничего подобного. Эта славная толстая дама, круглая, как шар, с румяным детским лицом, цедит слова или, вернее, словечки, которые она всюду подбирает и потом разносит по городу,— премилая особа! И она тоже всю ночь не могла оторваться от моей книги. Впрочем, не простая ли это любезность? Она радушно пригласила меня посещать ее салон, один из трех, где собираются и шумят академики. Пишераль сказал бы, что г-жа Анселен, обожающая театр, принимает преимущественно «лицедеев», г-жа Астье — «книжных червей», а герцогиня Падовани завладела «князьями» — академической знатью. Но, в сущности, эти три приюта интриг и славы не разделены стеной, и в среду на Бонской передо мной предстал разнообразнейший ассортимент Бессмертных всех категорий: драматург Данжу, Русс, Буассье, Дюма, де Бретиньи, барон Юшенар — из Академии надписей и изящной словесности, князь д'Атис — из Академии моральных и политических наук. Сейчас возникает четвертый салон — салон г-жи Эвиза́, круглолицей еврейки с продолговатыми прищуренными глазами; она флиртует со всей Французской академией, носит ее цвета, зеленые вышивки на весеннем жакете, и маленькую шапочку с крылышками Меркурия. Но флиртует она просто до неприличия... Я слышал, как она говорила Данжу, приглашая его к себе:

— О доме госпожи Анселен можно сказать: здесь обедают. О моем — здесь любят.

— Мне требуется и то и другое... И постель и пища,— холодно ответил Данжу.

Я думаю, что это отъявленный циник, хотя у него бесстрастное, суровое лицо и густая черная шевелюра — точь-в-точь итальянский пастух.

Госпожа Эвиза очень красноречива; у нее огромная эрудиция. Она цитировала старому барону Юшенару целые фразы из его «Пещерных людей» и спорила о Шелли с молоденьким критиком, сдержанным и торжественно молчаливым, в высоченном воротничке, подпиравшем его остроконечный подбородок.

Во времена моей молодости всегда начинали со стихов, даже те, что впоследствии подвизались в прозе или занимались делами или адвокатурой. Теперь начинают с критики, и преимущественно со статьи, посвященной Шелли. Г-жа Астье представила меня этому юнцу, с мнением которого считаются в литературном мире. Мои усы и загорелая физиономия скромного хлебопашца, очевидно, не пришлись ему по вкусу: мы обменялись с ним всего несколькими словами, и я стал наблюдать за комедией, разыгрываемой кандидатами в академики и их женами и родственниками, которые явились сюда, чтобы о себе напомнить, чтобы нащупать почву, ибо Рипо-Бабен уже совсем одряхлел, а Луазильон протянет недолго,— значит, в перспективе два кресла, и вокруг них уже скрещиваются злобные взгляды и ядовитые слова.

Дальзон, твой любимый романист, тоже был там: хорошее, открытое, умное лицо, такое же, как и его талант. Но до чего неприятно было бы тебе видеть, как он унижался и юлил перед таким ничтожеством, как Бретиньи, не сделавшим ничего путного за всю свою жизнь и занимающим в Академии место, специально отведенное для великосветского человека, место «нищего» за ужином в крещенский сочельник где-нибудь в провинции! Дальзон лебезил не только перед Бретиньи, но и перед каждым появлявшимся у г-жи Астье академиком, внимал анекдотам старого Рею и неизменно отзывался на остроты Данжу подленьким смехом школьника, который Ведрин еще в коллеже Людовика XIV называл «подлизыванием к учителю». А все для того, чтобы вместо двенадцати голосов, полученных им в прошлом году, добиться необходимого большинства.

Старый Жан Рею ненадолго заглянул к своей внучке; он изумительно бодр, держится прямо, затянут в длинный сюртук; его маленькое лицо сморщено, как печеное яблоко, а короткая пушистая бородка напоминает мох на старом камне. У него живые

глаза, поразительная память, только он глух, и это его очень печалит и вынуждает ограничиваться монологами из личных, весьма интересных воспоминаний. Сегодня он рассказывал нам об императрице Жозефине в интимной обстановке ее дворца Мальмезон и называл ее «землячкой», так как оба они креолы, уроженцы Мартиники. Он изображал ее нам в легких муслиновых платьях и в чудесных шалях, надушенной мускусом до одурения, окруженной тропическими цветами, которые даже во время войны галантно пропускались из колоний неприятельским флотом. Старик описывал также мастерскую Давида во времена Консульства, представлял нам художника со вздутой щекой и кривым ртом, точно набитым кашей, обращавшегося к ученикам на «ты» и покрикивавшего на них. И неизменно в конце каждого рассказа старец, свидетель стольких событий, кивая головой, глядя куда-то вдаль, громким голосом произносил: «Я сам это видел», словно скрепляя своей подписью подлинность картины.

Должен заметить, что, кроме Дальзона, лицемерно упивавшегося словами старика, один только я из всех присутствующих со вниманием слушал рассказы этого патриарха, интересовавшие меня несравненно более, чем побасенки некоего Лаво — не то журналиста, не то библиотекаря, во всяком случае, чрезвычайно болтливого и осведомленного человека. Едва он успел показаться, как со всех сторон послышалось:

— А вот и Лаво!.. Лаво!..

Его окружают, раздаются возгласы, смех. Лица самых угрюмых академиков проясняются, когда они внимают анекдотам этого толстяка, похожего на святошу-каноника, бритого, с красной физиономией и глазами навыкате. Свои были и небылицы он пересыпает фразами: «Я говорил об этом Брольи... Дюма рассказывал мне вчера вечером... Я знаю это от герцогини...»; он ссылается на самые громкие имена, на всякого рода знаменитостей; он обласкан здешними дамами, которых вводит в курс всех интриг — академических, дипломатических, литературных и светских. Он на дружеской ноге с Данжу — тот говорит ему «ты»,— в коротких отношениях с князем д'Атисом, с которым прибыл сюда, относится свысока к Дальзону, а также и к молодому критику, написавшему статью о Шелли; одним словом, он представляет собой авторитет, силу, для меня совершенно необъяснимую.

В ворохе забавных историй, которыми он так и сыпал из своего неистощимого запаса,— по большей части это были загадки для меня, простодушного провинциала,— только одно происшествие остановило мое внимание: молоденький офицер папской гвардии граф Адриани, приехав в Париж вместе с папским легатом для вручения, не помню кому именно, кардинальской

шапки и скуфьи, забыл эти знаки кардинального достоинства у какой-то ночной дивы, встреченной им на вокзале по выходе из вагона; несчастный юноша в чужом городе не знал ни ее адреса, ни имени. Ему пришлось написать в Ватикан, прося заменить кардинальские головные уборы, с которыми девица, должно быть, не знала, что делать. Но лучше всего то, что юный граф Адриани — родной племянник нунция и что на последнем вечере у герцогини,— здесь говорят просто «герцогиня», как в Муссо,— он по простоте душевной рассказал о происшествии на очаровательном жаргоне, которому мастерски подражает Лаво:

— «На вокзале его высокопреосвященство говорит мне: «Пепино! Возьми шапку...» А у меня уже была в руках скуфья... Значит, обе руки заняты».

И Лаво изображает, как молодой, горячий папский птенец закатывает глаза, остановившись словно вкопанный перед уличной сиреной:

— «*Cristo*[1], как она была хороша!..»

Среди смеха и восклицаний: «Прелестно!.. Ох уж этот Лаво!.. Ох уж этот Лаво!..» — я обратился к г-же Анселен, сидевшей рядом со мною:

— Кто такой этот господин Лаво? Чем он занимается?

Милейшая дама, по-видимому, была крайне изумлена.

— Лаво?.. А вы его не знаете? Да ведь это «зебра» герцогини!

Она вскочила и бросилась к Данжу. Я ничего не понял. Общество Парижа весьма своеобразно, словарь его обновляется каждый сезон. Зебра, зебра! Что означает это слово? Но мой визит и до того непозволительно затянулся, а мэтр так и не спустился вниз. Пора уходить. Я пробираюсь между креслами, чтобы проститься с хозяйкой дома, и, проходя, замечаю м-ль Мозер, плачущую в белую жилетку Бретиньи. Вот уже в течение десяти лет бедняга Мозер выставляет свою кандидатуру и, не решаясь теперь уже хлопотать лично, подсылает свою дочь, некрасивую перезрелую девицу, которая, жертвуя собой, как настоящая Антигона, подымается по лестницам, состоит на побегушках у академиков и их жен, всегда готова исполнить любое поручение, правит корректуры, ухаживает за ревматиками — убивает свою безрадостную жизнь старой девы в погоне за креслом в Академии, которого ее отец никогда не добьется. Вся в черном, скромно одетая, причесанная не к лицу, она загородила выход. Неподалеку от нее Дальзон, очень взволнованный, распинается перед двумя академиками с лицами неумолимых судей и, задыхаясь, протестует:

---

[1] Боже *(итал.)*.

— Неправда!.. Клевета!.. Никогда я этого не писал.

Новая загадка... Г-жа Астье, которая могла бы мне это разъяснить, поглощена конфиденциальной беседой с Лаво и князем д'Атисом.

Ты, сестра, наверное, не раз видела на дорогах Муссо в экипаже с герцогиней этого д'Атиса, Сами, как его называют, высокого худого человека, сутулого, лысого, с помятым, бледным, словно восковым лицом и черной бородой, которая доходит чуть не до самой груди, точно все его выпавшие волосы ушли в бороду. Он ни с кем не говорит, и когда смотрит на вас, то будто возмущается, что вы осмеливаетесь дышать одним воздухом с ним. Министр, сдержанный и проницательный дипломат английской складки, внучатый племянник лорда Пальмерстона, князь д'Атис на очень хорошем счету и во Французской академии, и в министерстве иностранных дел. Говорят, что он единственный из наших поверенных в делах, которому Бисмарк не решался смотреть прямо в глаза. По слухам, он скоро будет возглавлять одно из наших крупнейших посольств. Как поступит герцогиня? Последует за ним, покинет Париж? Это весьма серьезный вопрос для такой светской дамы. И как еще отнесутся в чужих краях к их связи? У нас она признана всеми, рассматривается как настоящее супружество благодаря их умению держать себя и соблюдать приличия, а также из-за тяжелого положения герцога: ведь он разбит параличом и на двадцать лет старше своей жены, которая к тому же приходится ему племянницей.

По-видимому, князь беседовал об этих весьма серьезных вещах с Лаво и г-жой Астье, когда я к ним подошел. Впервые попадая в какое-нибудь общество, ты вскоре замечаешь, как мало ты с ним связан, не понимаешь ни речей, ни мыслей,— словом, сознаешь себя лишним. Я собрался уже уходить, как вдруг добрейшая г-жа Астье подозвала меня:

— Подымитесь к нему... Он будет так рад!..

И вот я поднимаюсь к моему старому учителю по узенькой внутренней лестнице. Из глубины коридора я слышу его громкий голос:

— Это вы, Фаж?

— Нет, дорогой мэтр.

— Да это Фрейде! Осторожно, нагнитесь...

В самом деле, на этих антресолях невозможно выпрямиться. Какая разница по сравнению с архивом министерства, где я видел его в последний раз в высокой галерее, сплошь заставленной полками с делами!

— Собачья конура, не правда ли? — сказал, улыбаясь, милейший старик.— Но если бы вы знали, какие тут сокровища!..

Он показал на высокий шкафчик для дел, заключавший в себе, по крайней мере, десять тысяч оригинальных редчайших документов, собранных им за последние годы.

— Вот откуда можно черпать историю,— твердил он, воодушевляясь и размахивая лупой для разбора рукописей.— И сколько здесь нового и бесспорного, не в обиду будь им сказано!

Он показался мне, однако, мрачным и расстроенным. Как жестоко с ним обошлись! Как грубо отрешили от должности, а затем, когда он продолжал выпускать исторические труды с прекрасной документацией, разве не стали распускать о нем слухи, будто он изъял материалы из архива Бурбонов? И откуда исходила эта клевета? Из самой Академии, от барона Юшенара, считающего себя крупнейшим собирателем автографов во Франции, которому коллекция Астье не дает спокойно спать. Вот из-за чего ведется эта война, лицемерная и беспощадная, в которой прибегают к вероломству и ударам из-за угла.

— Не щадят даже писем Карла Пятого... Подумать только: писем Карла Пятого! Пытаются оспаривать их подлинность... И почему, позвольте спросить? Из-за описки, из-за сущего пустяка: «мэтр Рабле» — вместо «брат мой Рабле»... Как будто императоры не могут обмолвиться!.. Придирка! Просто придирка!..

Видя, что я разделяю его негодование, мой добрый учитель, пожимая мне руки, сказал:

— Оставим эти мерзости... Госпожа Астье, наверное, говорила вам о вашей книге. На мой взгляд, там есть кое-что лишнее... Ну, не беда, я доволен.

То, что он считает лишним в моих стихах, то, что он называет сорной травой,— это воображение, фантазия. Еще в лицее он воевал с нами по этому поводу, вырывая плевелы, очищая от них наши головы. Слушай же теперь, дорогая Жермен, что было дальше, передаю тебе слово в слово конец нашей беседы.

Я.— Полагаете ли вы, дорогой мэтр, что у меня есть некоторые шансы на получение премии Буассо?

Мэтр.— После этой книги, голубчик, вы достойны не премии, а места среди нас. Луазильон дышит на ладан. Рипо долго не протянет... Сидите смирно, предоставьте все это мне... С этой минуты я считаю вашу кандидатуру выдвинутой...

Что я ответил? Не помню. Такое радостное волнение охватило меня, что мне еще и теперь кажется, будто я грежу. Я, я — член Французской академии! Лечи свои бедные ноги, дорогая сестра, выздоравливай и приезжай в Париж к этому великому дню посмотреть, как твой брат при шпаге, в зеленом мундире, расшитом пальмами, займет место среди наиболее прославленных

людей Франции. Даже голова кружится. Спешу поцеловать тебя и ложусь в постель.

Горячо любящий тебя брат

Абель де Фрейде.

Ты, конечно, понимаешь, что из-за таких событий я позабыл о семенах, о соломенных матах, о ягодных кустах, вообще о всех поручениях. Но я займусь этим в ближайшие дни. Я останусь здесь еще некоторое время. Астье-Рею настоятельно советовал мне ничего не говорить о моем деле, но вращаться в академических кругах. Бывать повсюду, напоминать о себе — это главное!»

IV

— Берегись, милый мой Фрейде!.. Я знаю такие приемы — это просто вербовка... В сущности, люди эти чуют, что их песенка спета, что они покрываются плесенью под своим куполом... Академия выходит из моды, она больше не является предметом честолюбивых вожделений... Ее слава — одна видимость... Поэтому вот уже несколько лет, как эта корпорация знаменитостей не ждет клиентов, а выходит на улицу и зазывает их. Повсюду — в обществе, в мастерской художника, у издателей, за кулисами театров, во всех литературных и артистических кругах — вы встретите академика-вербовщика, улыбающегося молодым, подающим надежды талантам: «Академия не теряет вас из виду, молодой человек!» Если же автор приобрел известность, если у него выходит третья или четвертая книга, как у тебя, например, приглашение делается в более прямой форме: «Подумайте о нас, уже настало время...» Или грубовато, словно журя: «Да что вы, в самом деле, пренебрегаете нами?..» Так же, хотя более вкрадчиво и мягко, поступают они по отношению к человеку из высшего круга, переводчику Ариосто или сочинителю салонных комедий: «Знаете... кроме шуток... Не думаете ли вы...» И если светский человек начинает возражать, ссылаясь на отсутствие заслуг, на незначительность своей персоны и скудость литературного багажа, вербовщик отвечает ему набившей оскомину фразой: «Академия — это салон...» Черт подери! И потрудилась же эта фраза на своем веку: «Академия — это салон... Она принимает не только произведение, но и человека...» А пока что вербовщика приглашают к себе, оказывают ему всевозможные любезности, зовут на обеды и торжества... Пробудив надежды и старательно их поддерживая, он становится паразитом, за которым всячески ухаживают...

Тут уже добряк Фрейде не выдержал. Никогда его учитель Астье не пойдет на такие низости. Ведрин, пожав плечами, продолжал:

— Он? Да он худший из них: это убежденный, бескорыстный вербовщик... Он верует в Академию, он живет ею, и когда он восклицает: «Если бы вы знали, как это прекрасно!», причмокивая при этом языком, словно смакует спелый персик,— он говорит вполне искренне, и приманка его действует тем сильнее, тем она опаснее. Как только рыбка клюнула и попалась на крючок, Академия перестает заниматься своей жертвой, предоставляя ей метаться и барахтаться в грязи... Ты вот страстный рыболов; когда тебе случается поймать большого окуня или щуку и ты тянешь рыбу за своей лодкой, как это у вас называется?

— Водить рыбу...

— Правильно! Посмотри хотя бы на Мозера. Разве он не похож на пойманную рыбу?.. Десять лет его тащат на буксире... И де Селеля, и Герино, и мало ли еще таких, которые уже и сопротивляться перестали.

— Но позволь: ведь попадают же в Академию, достигают этой цели...

— Только не на буксире! А если ты и добьешься этого великого счастья, подумаешь!.. Что это дает?.. Деньги? Ты получаешь несравненно больше за свое сено... Известность? Разве что где-нибудь в уголке сельской церкви величиною в мою ладонь... Если бы еще этим приобретался талант, если бы тот, кто им наделен, не утрачивал его, попав туда — в ледяной холод дворца Мазарини! «Академия — это салон». Понимаешь, что это значит? Приходится подчиняться общему тону, не касаться определенных вопросов или смягчать их. Прощайте, вдохновенные порывы, прощайте, смелые дерзания! Самые пылкие стихают, не смеют пошевельнуться из боязни за свой зеленый мундир — все равно что дети, которых нарядят в воскресный день, а потом скажут: «Играйте, забавляйтесь, но только, упаси боже, не перепачкайтесь». Можно себе представить, как они забавляются... Бессмертным остается, конечно, лесть, расточаемая им в академических кухнях, и обожание прекрасных дам, которые там подвизаются. Но до чего же это скучно! Я знаю это по собственному опыту. Меня не раз туда таскали. Да, как говорит старик Рею: «Я сам это видел...» Напыщенные дуры произносят фразы, заимствованные из журналов и плохо ими переваренные, которые вылетают у них изо рта, точно ленточки с надписями у персонажей ребуса. Я слышал, как госпожа Анселен, эта толстая кумушка, глупая, как гусыня, гоготала от восторга, внимая остротам Данжу, театральным репликам, состряпанным на скорую руку и столь же малоестественным, как завитки его парика...

Фрейде был ошарашен: Данжу, этот итальянский пастух, и вдруг в парике!

— О, не настоящий парик, а только накладка!.. Я выдерживал у госпожи Астье чтения по этнографии, способные убить гиппопотама, а у герцогини, надменной и строгой в обхождении, встречал эту старую обезьяну Ланибуара, занимающего почетное место, который вел себя столь непристойно, что всякому другому — не Бессмертному — давно бы указали на дверь каким-нибудь словечком, во вкусе Падовани, уверяю тебя... Забавнее всего, что Ланибуар попал в Академию только благодаря герцогине; он униженно ползал у ее ног, молил и клянчил, чтобы она ему помогла... «Выберите его,— говорила герцогиня моему кузену Луазильону,— выберите, чтобы мне от него избавиться...» Теперь же она чтит его, как бога, сажает за столом рядом с собой, заменив былое презрение самым пошлым поклонением — точь-в-точь как дикарь, который преклоняет колени и трепещет перед идолом, сделанным его же руками. О, я знаю эти академические салоны: глупость, пошлость, мерзкие интрижки!.. И ты стремишься туда? Скажи на милость,— зачем? Живешь ты так, что лучше и желать нельзя. Я ведь ничем не дорожу, а чуть не позавидовал тебе, глядя на вас с сестрой в Кло-Жалланже: чудесный дом на пригорке, высокие потолки, огромные камины, в которых может поместиться человек, кругом дубы, поля, виноградники и река. Словом, привольная жизнь барина-помещика, как ее описывает в своих романах Толстой: рыбная ловля, охота, хорошие книги, не очень глупые соседи, не слишком плутоватые фермеры, наконец — чтобы не отупеть в этом постоянном благополучии,— улыбка твоей больной сестры, такой утонченной, такой живой, несмотря на недуг, приковавший ее к креслу, такой счастливой, когда ты, возвратясь с прогулки на вольном воздухе, читаешь ей хороший сонет или стихи, навеянные природой, льющиеся из самой глубины души, которые ты набросал карандашом, сидя верхом на лошади или лежа ничком в траве, вот как мы сейчас, только без этого страшного грохота ломовых телег и воя труб...

Ведрину пришлось умолкнуть. Тяжелые подводы, груженные железным ломом, сотрясавшие землю и дома, оглушительный звук рожка в соседней драгунской казарме, хриплый рев буксирной сирены, шарманка, звон колоколов церкви св. Клотильды — все слилось в ужасную какофонию, рождаемую порой гулом большого города. Контраст был поистине разителен между этим ошеломляющим шумом столпотворения вавилонского, грохотавшим поблизости, и лужком, поросшим дикими злаками и папоротником, под тенью высоких зеленых деревьев, где два бывших воспитанника коллежа Людовика XIV курили и вели задушевную беседу.

Происходило это на углу набережной Орсе и улицы Бельшасс, на разрушенной террасе бывшей Счетной палаты, наводненной душистыми, буйно растущими травами и похожей на каменоломню среди лесной чащи ранней весной... Широко раскинувшиеся кусты уже отцветавшей сирени, купы платанов и кленов тянулись вдоль обвитой плющом и повиликой каменной балюстрады, образуя зеленый тенистый приют, где летали голуби и кружились пчелы, где пробившийся сквозь листву солнечный луч озарял спокойный, прекрасный профиль г-жи Ведрин, кормившей грудью свою малютку, меж тем как старший сынишка камнями отгонял разномастных кошек — серых, черных, рыжих, населявших, точно тигры, эти джунгли в самом сердце Парижа.

— И уж если речь зашла о твоих стихах,— ведь с тобой можно говорить откровенно, дружище? — от твоей книги, по правде сказать, от твоей новой книги,— хотя я в нее только заглянул,— на меня не повеяло тем чудесным ароматом ландыша и дикой мяты, которым напоены были другие. «Бог в природе» пахнет академическими лаврами, и я боюсь, что присущие тебе прелестные нотки в духе Бризё, вся свежесть лесов на этот раз принесены в жертву, брошены, как взятка, в пасть Крокодила.

Эта кличка «Крокодил», отысканная в дебрях школьных воспоминаний, на минуту позабавила друзей. Им ясно представился Астье-Рею на кафедре, с вспотевшим лбом, сдвинутой на затылок ермолкой, с красной лентой, длиною в целый фут, на черной тоге, сопровождающий величественным взмахом рук в широких рукавах свои избитые остроты: «Гоните, гоните их прочь, они везде напакостили», или прибегающий в своих поучениях к округлым периодам в стиле Вик д'Азира, кресло которого он впоследствии занял. Но тут совесть стала укорять Фрейде за глумление над старым учителем, и он принялся превозносить его исторические труды,— Астье перетряхнул ведь столько архивов, впервые сдунул с них пыль.

— Вздор! — ответил Ведрин с величайшим презрением.

По его мнению, самые любопытные архивные материалы в руках глупца значат так же мало, как ценнейший человеческий документ, которым воспользовался дурак романист. Золотой червонец, обращенный в сухой лист!

— Посуди сам,— продолжал Ведрин, оживляясь.— Разве заслуживает звания историка всякий, кто собирает неизданные документы в объемистые тома, которых никто не читает и которые красуются только на полках книжных шкафов в разделе общеобразовательной литературы? Книги, которые выставляются напоказ, перелистываются, но ими не пользуются. Лишь французское легкомыслие может принимать всерьез такие компиляции.

Издеваются же над нами англичане и немцы. «*Vir ineptissimus Astier-Réhu*»,— говорит Момзен в одной из своих заметок.

— И это ты, чурбан, заставил несчастного Астье прочесть заметку Момзена, да еще при всем классе!

— Ну и досталось же мне тогда на орехи, не меньше, чем в тот день, когда, устав слушать его излюбленное изречение, что воля — это домкрат, что при помощи такого домкрата можно всего достигнуть, я крикнул со своей скамьи, передразнивая его: «А крылья, господин Астье, а крылья!»

Фрейде рассмеялся и, оставив в стороне заслуги историка, перешел к педагогической деятельности мэтра, пытаясь защитить его как преподавателя. Но Ведрин распалился еще больше:

— Толкуй! Хороший педагог! Вся жизнь этого ничтожества ушла на то, чтобы удалить, вырвать из умов «сорную траву», то есть все оригинальное и самобытное, те ростки жизни, которые учитель прежде всего должен поддерживать и охранять... А этот негодяй — вспомни, как он нас подчищал, ощипывал, подравнивал... Были и такие, которые не поддавались его заступу и скребку, но старик не щадил ни ногтей, ни орудий и добивался того, что мы становились чистенькими и гладенькими, как школьная скамья. Полюбуйся на тех, кто прошел через его руки, за исключением некоторых бунтарей, как, например, Эрше, который в своей ненависти к рутине доходит до крайности и непристойности. Или я — я, обязанный этому старому шуту своей страстью ко всему угловатому и несуразному, даже своей скульптурой, напоминающей, как говорят, мешки, набитые орехами... Остальные отупели, выхолощены, подстрижены под одну гребенку.

— Ну, а я? — воскликнул Фрейде, до смешного волнуясь.

— Тебя пока что спасала природа, но если ты снова попадешь в лапы Крокодила, то берегись. Подумать только: существуют государственные школы, одаряющие нас такими педагогами, и за все это платят жалованье, дают ордена, выбирают даже в академики...

Растянувшись на буйно растущей траве, подперев рукой голову, размахивая папоротником, которым он защищался от солнца, Ведрин спокойно произносил эти резкие слова. Ни один мускул не дрогнул на его широком лице индийского идола, одутловатом и бледном, безучастно-задумчивое выражение которого оживляли маленькие смеющиеся глазки.

Его друг, привыкший чтить авторитеты, был совсем сбит с толку.

— Как же ты умудряешься быть в дружбе с сыном, когда ты так ненавидишь отца?

— Я дружен с ним не более, чем с отцом. Поль Астье занимает меня своим апломбом отъявленного нахала и рожицей хорошенькой негодницы... Хотелось бы пожить подольше, чтобы посмотреть, что из него выйдет...

— Ах, господин Фрейде! — вмешалась г-жа Ведрин.— Если бы вы знали, как он эксплуатирует моего мужа!.. Ведь всю реставрацию Муссо, новую галерею, выходящую на реку, музыкальный павильон, часовню — все это сделал Ведрин, и гробницу князя Розена тоже! А заплатят ему только за статую, тогда как и замысел, и весь проект — все, до последней мелочи, сделано мужем.

— Оставь, оставь! — сказал художник по-прежнему невозмутимо.— Черт возьми! Муссо! Никогда бы этому шалопаю не удалось отыскать ни одного старинного орнамента под толстым пластом благоглупостей, который так называемые «архитекторы» накладывали на здание в течение тридцати лет. Местность там чудесная, герцогиня любезна и проста в обхождении, а тут еще мы нашли в Кло-Жалланже нашего друга Фрейде... И потом... ну как бы тебе сказать?.. Я полон замыслов, они теснят и гложут меня... Освободить меня от некоторых из них — значит оказать мне услугу... Мой мозг напоминает узловую станцию, на которой паровозы разводят пары на всех путях, снуют во всех направлениях... Молодой человек это понял. У него не хватает выдумки, и он меня обкрадывает, приспособляет мои мысли к вкусам публики,— он уверен, что я не буду протестовать... Но чтобы меня обмануть!.. Я вижу, когда он собирается что-нибудь стибрить у меня... Лицо его становится насмешливым, глаза смотрят безучастно, и вдруг едва уловимая нервная гримаса подернет уголок рта. Готово!.. Сцапал!.. Про себя он, наверное, думает: «Боже мой! Ну и дурак же этот Ведрин!» Он и не подозревает, что я вижу его насквозь, что я восхищаюсь им... А теперь,— сказал скульптор, вставая,— я покажу тебе паладина, потом мы осмотрим всю эту трущобу... Здесь прелюбопытно, вот увидишь.

Они вошли во дворец, поднялись на полукруглое крыльцо, куда вело несколько ступенек, и миновали квадратную залу — бывшую канцелярию Государственного совета — без паркета и без потолка: вся верхняя часть постройки обвалилась, между разделявшими этажи огромными железными балками, скрючившимися от огня, проглядывала синева неба. В углу, у самой стены с нависшими на ней длинными чугунными трубами, сплошь увитыми ползучими растениями, валялся в крапиве и мусоре разбитый на три куска гипсовый слепок гробницы князя де Розена.

— Видишь? — спросил Ведрин.— Нет, ты так ничего не разберешь...

И он принялся описывать памятник. Нелегко было угодить капризам молодой вдовушки; пришлось делать эскизы, обращаться к египетским и ассирийским образцам, прежде чем дойти до проекта Ведрина. Архитекторы, узрев проект, подняли бы вой, но все же ему нельзя отказать в величии. Настоящая гробница воина — открытая палатка с приподнятыми по́лами, внутри, перед алтарем, широкий низкий саркофаг, высеченный в виде походной кровати; на ней покоится добрый рыцарь-крестоносец, сложивший голову за своего короля и за веру, рядом с ним сломанный меч, у его ног разлеглась борзая собака.

Из-за твердости далматинского гранита, которым княгиня особенно дорожила, Ведрин принужден был взяться за молот и резец и трудиться под брезентовым навесом на кладбище Пер-Лашез как чернорабочий. Наконец после долгого и упорного труда мавзолей был закончен.

— А вся слава достанется молодому мерзавцу Полю Астье,— добавил скульптор, улыбаясь без малейшей горечи.

Он приподнял старый ковер, которым было завешено отверстие в стене, где когда-то была дверь, и провел Фрейде в огромный вестибюль, служивший ему мастерской, с дощатым потолком, с циновками и кусками различных тканей, наброшенными на разрушающийся пол и стены. Своим видом и царившим здесь беспорядком мастерская напоминала амбар или, вернее, крытый двор, ибо в залитом солнцем углу росла чудесная смоковница с переплетавшимися ветвями и декоративными листьями, а рядом с ней остов лопнувшей печи имел вид старого колодца, увитого плющом и жимолостью. Здесь скульптор работал уже два года, зиму и лето, не смущаясь ни туманами, поднимавшимися над рекой, ни ледяными убийственными ветрами. «Ни разу не чихнул»,— уверял Ведрин, невозмутимо спокойный и могучий, подобно великим художникам Ренессанса, похожий на них и широким лицом, и неистощимым воображением. Вот и сейчас он по горло сыт скульптурой и архитектурой, будто только что кончил писать скучнейшую трагедию. Как только он сдаст свою статую и получит деньги, он уедет, поднимется по Нилу в дахабиэ со своим многочисленным семейством и будет писать маслом, писать с утра до вечера... Он отставил скамейку и табурет и подвел своего друга к огромной, еще не окончательно обработанной глыбе.

— Вот мой паладин... Скажи откровенно, как ты его находишь?

Фрейде был несколько озадачен и смущен колоссальными размерами распростертого перед ним воина, превосходившего нормальные масштабы, изваянного в соответствии с высотой

шатра. В этой неотделанной гипсовой фигуре резко бросалась в глаза ее атлетическая мускулатура, которая придавала произведению Ведрина, ненавидевшего все приглаженное, вид чего-то незаконченного, громоздкого, доисторического, вид прекрасного творения, еще не получившего окончательной формы. Однако чем дольше Фрейде смотрел, чем глубже он вникал, тем сильнее веяло на него от огромной статуи силой лучезарной и притягательной — самым прекрасным, что есть в искусстве.

— Превосходно,— произнес он убежденно.

Его друг прищурился.

— Но не с первого взгляда, не так ли? — сказал он, добродушно посмеиваясь.— Надо привыкнуть к моей скульптуре, и я очень боюсь, что княгиня, увидев это чудище...

Поль Астье обещал привести ее на днях, как только статуя будет закончена, отделана, готова к отливке. Это посещение тревожило художника, знавшего вкусы светских женщин. Не раз слышал он на вернисаже, когда за вход платят пять франков, шаблонную, пошлую болтовню, беспощадную к скульптуре. И как лгут эти дамы, как лезут из кожи! Искренен только их интерес к весенним нарядам, заказанным для Салона, где им представляется случай блеснуть.

— Впрочем, старина,—продолжал Ведрин, уводя своего друга из мастерской,— из всех гримас парижской жизни, из всей лжи общества нет ничего более нелепого и комичного, чем это благоговение перед произведениями искусства. Кривлянье, от которого можно лопнуть со смеху. Все соблюдают ритуал, хотя никто не верует. Точно так же и с музыкой... Посмотрел бы ты на этих прелестниц в воскресенье!..

Друзья пошли по длинному сводчатому коридору, тоже заполненному странной растительностью, семена которой, занесенные сюда со всех концов света, разбухали и покрывали зеленью взрыхленную землю; ростки пробивались между живописью на разрушенных и почерневших от огня стенах. Отсюда Ведрин и Фрейде повернули на главный двор, когда-то усыпанный песком, а теперь превратившийся в поле, где вперемешку росли дикий овес, подорожник, люцерна и крестовник, колосясь и спутывая свои бесчисленные чашечки. Посреди двора досками были отгорожены грядки, на которых цвел подсолнух, зрела клубника и тыква,— садик переселенца на опушке девственного леса, и в довершение иллюзии к нему примыкало маленькое кирпичное строение.

— Сад переплетчика и его мастерская,—заметил Ведрин, указывая на выведенную огромными буквами надпись над полуоткрытой дверью:

Фаж, переплетчик Счетной палаты и Государственного совета, получивший разрешение остаться в своем домишке, уцелевшем после пожара, да еще привратница были единственными обитателями дворца.

— Зайдем к нему на минутку,— предложил Ведрин.— Ты увидишь: это прелюбопытный субъект...

Подойдя ближе к домику, он крикнул:

— Эй, дядюшка Фаж!

Скромная мастерская переплетчика была пуста. На верстаке у окна валялись обрезки и большие ножницы для разрезания картона, а под прессом лежали зеленые шнуровые книги с медными наугольниками. Особенность обстановки этого жилища заключалась в том, что швальный станок, стол на козлах, пустой стул перед ним, этажерки с наваленными на них книгами, даже зеркало для бритья — все было очень малых размеров, все рассчитано на рост и пределы досягаемости двенадцатилетнего ребенка. Можно было подумать, что это домик карлика, переплетчика в стране лилипутов.

— Это горбун,— шепнул Ведрин своему другу,— но горбун-юбочник, который душится и помадится...

Противный запах парикмахерской, розовой эссенции и духов от Любена смешивался с запахом клея, так что становилось не по себе. Ведрин еще раз окликнул хозяина, повернувшись в ту сторону, где была спальня переплетчика; потом друзья вышли. Фрейде очень забавляла мысль об этом горбатом ловеласе.

— Быть может, он пошел на свидание...

— Смейся, смейся! Должен тебе сказать, дорогой мой, что этот горбун добывает себе самых хорошеньких женщин Парижа, если верить стенам его комнаты, увешанным фотографиями с собственноручными надписями: «Милому моему Альбену», «Дорогому крошке Фажу». И не какие-нибудь потаскушки, а певички, шикарные кокотки. Сюда он их никогда не приводит, но время от времени, исчезнув на два-три дня, он козырем входит ко мне в мастерскую и рассказывает, отвратительно осклабившись, что преподнес себе «объемистый том» или «очаровательный томик» — так он называет побежденных им красоток в зависимости от их роста и сложения.

— Ты говоришь, он безобразен?

— Урод.

— Без средств?

— Ничтожный, мелкий переплетчик и картонажник, который живет только своей работой и своими овощами... Но он очень умен, начитан, обладает редкой памятью... Мы, наверно, встретим его в каком-нибудь закоулке, он любит бродить по дворцу... Дядюшка Фаж — большой мечтатель, как и все люди со страстями. Иди за мной и смотри под ноги, здесь надо ходить с опаской.

Они начали подыматься по широкой лестнице, первые ступеньки которой еще сохранились, как и перила, заржавевшие, местами покоробленные. Друзьям пришлось перейти по шаткому деревянному мостику, державшемуся на поперечных брусьях, между высокими стенами, на которых еще уцелели остатки огромных, покрытых трещинами фресок, стертых и закоптевших,— круп лошади, обнаженный женский торс,— с едва заметными надписями на виньетках, утративших позолоту: «Созерцание», «Тишина», «Торговля сближает народы».

Во втором этаже длинный коридор под круглым сводом, как на цирковых аренах Арля и Нима, терялся между почерневшими, потрескавшимися стенами, освещенный лучами солнца, кое-где пробивавшимися в широкие щели, заваленный штукатуркой и чугунным ломом, заросший бурьяном. При входе в коридор на стене красовалась надпись: «Помещение для дежурных чиновников». Коридор этот походил на нижний, только кровля здесь обвалилась, и он превратился в длинную площадку, заросшую частым кустарником, который поднимался к уцелевшим сводам и спускался до уровня главного двора, словно разросшиеся косматые лианы. Отсюда виднелись крыши соседних домов, белые стены казармы на улице Пуатье, высокие платаны перед особняком Падовани, на вершине которых качались гнезда ворон, покинутые и опустевшие до зимы, а внизу — безлюдный двор, залитый солнцем, сад переплетчика и его домик.

— Посмотри, дружище, какое изобилие, какое изобилие!..— говорил Ведрин, указывая другу на дикую растительность, такую богатую и разнообразную, заполонившую весь дворец.— Если бы Крокодил это увидел, вот бы рассвирепел!

И вдруг, отступив на несколько шагов, воскликнул:

— Ну, это уже слишком!..

Внизу возле домика переплетчика появился Астье-Рею. Его легко было узнать по длиннополому сюртуку серовато-зеленого цвета, по широкому плоскому цилиндру. На левом берегу Сены эта шляпа, сдвинутая на затылок, на седые кудри, образовывавшие ореол вокруг головы этого архангела бакалавров, самого Крокодила, пользовалась широкой известностью. Академик оживленно беседовал с маленьким человечком, стоявшим с непокрытой головой, блестевшей от помады, одетым в светлый, плотно обле-

гавший его фигурку пиджак, под которым выделялась, точно из особого кокетства, его уродливая спина. Слов нельзя было разобрать, но Астье казался очень взволнованным: он размахивал тростью, нагибался всем корпусом к самому лицу человечка, а тот, очень спокойный, с сосредоточенным видом, стоял, заложив большие руки за спину, под самый горб.

— Значит, он, этот ублюдок, работает для Академии? — спросил Фрейде, припомнив, что мэтр называл имя Фажа.

Ведрин ничего не ответил,— он следил за мимикой собеседников, спор которых, однако, внезапно оборвался. Горбун пошел к себе, пожимая плечами, словно говоря: «Как вам угодно», а Астье-Рею, видимо, взбешенный, быстрым шагом направился к выходу из дворца на улицу Лилль, затем, будто передумав, вернулся в мастерскую, и дверь ее за ним захлопнулась.

— Странно,— прошептал скульптор.— Отчего же Фаж мне никогда ничего не говорил?.. Ну и скрытен же этот человек!.. Кто их знает: может быть, они вместе занимаются этой игрой — охотятся за томами и томиками.

— Что ты, Ведрин!..

Фрейде, простившись с приятелем, шел, не торопясь, по набережной Орсе, думая о своей книге, об Академии, о своих честолюбивых мечтах, значительно, впрочем, охладев к ним после тех жестоких истин, которые ему пришлось сейчас выслушать. Как люди, однако, мало меняются!.. Уже в раннем возрасте проявляются наши характерные черты... Спустя двадцать пять лет, с морщинами на лицах, поседевшие, под тем гримом, который накладывает на людей жизнь, однокашники из коллежа Людовика XIV остались такими же, какими были на школьной скамье: один — резкий, увлекающийся, вечно бунтующий, готовый к борьбе; другой — послушный, преклоняющийся перед авторитетами, с ленцой, еще развившейся в тиши полей. В конце концов Ведрин, может быть, и прав: даже при уверенности в успехе стоит ли тратить столько усилий? Особенно он тревожился за больную сестру,— бедняжке придется в полном одиночестве оставаться в Кло-Жалланже, пока он будет хлопотать о кресле в Академии и делать необходимые визиты. А разлука с ним даже на несколько дней всегда волновала ее и печалила; еще сегодня утром он получил от нее душераздирающее письмо.

Проходя мимо драгунских казарм, Фрейде отвлекся от своих мыслей, увидев на другой стороне мостовой голодных людей, ожидавших раздачи остатков солдатской похлебки. Явившись спозаранку из боязни потерять свою порцию, они сидели на скамейках или стояли вдоль парапета набережной, с землистыми лицами,

чумазые, с давно не стриженными волосами и бородами, напоминая одичавших псов, ободранные, точно после кораблекрушения. Они не двигались с места, не говорили друг с другом, толпились, как стадо, подстерегая в глубине большого двора казармы появление солдатских котелков и знак сержанта, разрешающий им приблизиться. Как страшен был в такой чудесный день ряд этих безмолвных людей с глазами хищников, голодных, тянущихся с одинаковым животным выражением на лицах к раскрытым настежь воротам!

— Что вы тут делаете, голубчик?

Астье-Рею, сияя от удовольствия, взял под руку своего ученика. Он взглянул в направлении, указанном поэтом, и увидел на противоположном тротуаре эту потрясающую картину парижской жизни.

— Да, да... Конечно... конечно...

Но его близорукие глаза педагога умели читать только в книгах, они не воспринимали живой действительности, смотрели мимо жизни. Даже в том, как он увлекал отсюда Фрейде, в тоне, которым он сказал, уводя его за собой: «Проводите меня до Академии» — чувствовалось, что мэтр не одобряет ротозейства на улице, требует большей степенности. Слегка опираясь на руку своего любимого ученика, он поделился с ним своей радостью, своим восторгом по случаю изумительной находки, которую ему только что посчастливилось сделать: он приобрел письмо Екатерины II к Дидро касательно Академии, и как раз теперь, когда ему в ближайшие дни предстоит обратиться с приветствием к великому князю. Он предполагал огласить на заседании это чудо из чудес, возможно, даже преподнести его высочеству от имени Академии автограф его прабабки! Барон Юшенар, наверно, лопнет от зависти.

— Кстати, вы что-нибудь слыхали по поводу моих писем Карла Пятого? Все это клевета, чистейшая клевета... У меня здесь есть нечто такое, что приведет в замешательство этого зоила.

Своей толстой рукой с короткими пальцами он ударил по туго набитому кожаному портфелю, а затем, охваченный радостным волнением, желая, чтобы и Фрейде был счастлив, снова вернулся к вчерашнему разговору, к его кандидатуре на первое же вакантное академическое кресло. Это будет чудесно — учитель и ученик, сидящие рядом под куполом дворца Мазарини!

— Вы увидите, до чего это прекрасно, как у нас хорошо... Этого нельзя себе даже и представить, пока сам не испытаешь.

Казалось, стоит только войти туда — и настанет конец горестям и житейским невзгодам. Они теснятся у порога, не смея его переступить. Высоко парят избранники в мире и тишине, в сиянии, недосягаемом для зависти, для осуждения. Все им дано, все,

и желать уже больше нечего... Ах, Академия, Академия! Ее хулители говорят о ней, не зная ее, или из злобной зависти, не имея возможности в нее попасть. Обезьяны бесхвостые!

Его зычный голос гремел, заставляя оборачиваться прохожих на набережной. Некоторые узнавали его, произносили его имя. Стоя на пороге лавок, книгопродавцы и торговцы редкостями и гравюрами, привыкшие видеть Астье-Рею в определенное время дня, приветствовали его, почтительно пятясь назад.

— Фрейде! Смотрите сюда...

Мэтр указал на дворец Мазарини, к которому они приближались.

— Вот она, Французская академия. Такой она предстала передо мной в ранней юности, когда я увидел ее на фирменном знаке изданий Дидо, и тогда еще я сказал себе: «Я войду туда...»— и вошел... Теперь ваша очередь желать этого, друг мой... До свиданья!..

Бодрым шагом поднялся он на левое крыльцо главного здания и двинулся по тянувшимся один за другим большим, мощеным, погруженным в безмолвие величественным дворам, где его длинная тень стлалась по земле.

Он уже скрылся из виду, а Фрейде все еще смотрел ему вслед, не двигаясь с места, вновь охваченный волнением, и на его славном загорелом полном лице, в его кротких глазах навыкате застыло то же молящее выражение, что и на лицах бездомных бродяг, ожидавших там, у казармы, солдатской похлебки. И с тех пор, когда он смотрел на дворец Мазарини, лицо его всегда принимало это выражение.

V

Сегодня вечером в особняке Падовани парадный обед, потом прием для друзей. Великий князь за столом своего «очаровательнейшего друга» — как он называет герцогиню — принимает академиков из разных секций Французской академии, платя, таким образом, любезностью за их прием, за фимиам, воскуренный в его честь президентом. Как всегда, у бывшей посланницы дипломатический мир представлен блестяще, но Академия первенствует, и само размещение гостей за столом указывает на значение этого обеда. Великий князь сидит напротив хозяйки дома, по правую руку от него г-жа Астье, по левую — графиня Фодер, жена первого секретаря финляндского посольства, исполняющего обязанности посла. Место справа от герцогини занимает Леонар Астье, слева — папский нунций Адриани. Затем следуют член Академии надписей и изящной словесности барон Юшенар, турецкий посланник

Мурад-бей, академик Дельпеш, химик, бельгийский посол, член Академии изящных искусств композитор Ландри, драматург Данжу, один из «лицедеев» Пишераля, и, наконец, князь д'Атис — министр и член Академии моральных и политических наук, который своими двумя званиями еще более подчеркивает оба оттенка этого салона. В конце стола сидят адъютант его высочества, рядом с ним папский гвардеец юный граф Адриани, племянник нунция, и Лаво — непременный участник всех празднеств.

Женский пол не блещет красотой. Маленькая, рыжая, вертлявая, укутанная кружевами до кончика своего остренького носика, графиня Фодер похожа на простуженную белку. Баронесса Юшенар, усатая, неопределенного возраста, производит впечатление старого жирного декольтированного мужчины. Г-жа Астье, в бархатном полузакрытом платье (подарок герцогини), жертвует ради своей дорогой Антонии удовольствием обнажить еще хорошо сохранившиеся руки и плечи. Благодаря этой любезности герцогиня Падовани кажется единственной женщиной за столом: высокая, в белоснежном платье от знаменитого портного, с маленькой головкой, с прекрасными лучистыми глазами, гордыми и живыми, то бесконечно добрыми и нежными, то сверкающими гневом из-под густых, почти сросшихся черных бровей, с небольшим носом, чувственным, своевольным ртом и ослепительным, как у тридцатилетней женщины, цветом лица, который герцогиня не утратила благодаря привычке проводить в постели послеобеденные часы, если вечером она принимала у себя или выезжала в свет. Прожив долгое время за границей, когда ее муж был послом в Вене, Санкт-Петербурге и Константинополе, привыкшая задавать тон в качестве официальной представительницы французского общества, она сохранила и доныне манеру поучать и наставлять, чего ей не могут простить парижанки. Говорит она с ними слегка наклонившись, как с иностранками, объясняет то, что они сами знают не хуже ее. Герцогиня в своем салоне на улице Пуатье продолжает представлять Париж у курдов — пожалуй, единственный недостаток этой благородной и блестящей женщины.

Несмотря на почти полное отсутствие женщин в светлых туалетах с обнаженными руками и плечами, приятно нарушающих переливами своих бриллиантов и цветов однообразие черных фраков, обеденный стол все же оживляют фиолетовая сутана нунция с широким муаровым поясом, красная феска Мурад-бея и красный мундир графа Адриани с золотым воротом, голубым шитьем и золотым галуном на груди, на которой красуется огромный крест Почетного легиона, полученный сегодня утром молодым итальянцем: в Елисейском дворце сочли необходимым вознаградить его за блестяще выполненную миссию по доставке знаков кардинальского

достоинства. Всюду выделяются яркими пятнами зеленые, синие и красные ленты; матовым серебром светятся ордена, лучатся звезды.

Десять часов. Обед подходит к концу, но цветы, благоухающие в массивных вазах посреди стола и перед каждым прибором, все так же свежи, ни один лепесток не помят, не произнесено ни одного громкого слова, не допущено ни одного резкого движения. А между тем стол у герцогини изысканный, погреб отличный, что теперь большая редкость в Париже. Чувствуется, что в особняке Падовани кто-то придает этому огромное значение,— конечно, не сама герцогиня, настоящая светская француженка, довольная обедом, когда на ней платье к лицу, когда стол богато сервирован и уставлен цветами, но возлюбленный хозяйки, князь д'Атис, крайне привередлив: желудок у него, отравленный кухнями клубов, не варит, и князь не согласен питаться лишь видом серебряной посуды и лакеев в парадных ливреях и в белоснежных, облегающих икры гетрах. Ради него забота о меню занимает большое место в жизни прекрасной Антонии, ради него подаются остро приправленные блюда, крепкие, выдержанные вина, которые, по правде сказать, сегодня не подняли настроения гостей.

Та же натянутость, та же чопорная сдержанность царит за десертом, как и во время закуски, лишь едва заметно покраснели щеки и носики женщин. Настоящий обед восковых кукол, официальный и торжественный. Торжественность вызвана прежде всего размерами парадной столовой, высотой потолков, большими промежутками между стульями, благодаря чему устраняется возможность какой-либо фамильярности. Ледяным, пронизывающим холодом, холодом погреба, веет за столом, несмотря на теплую июньскую ночь, дыхание которой проникает из сада сквозь полуоткрытые ставни и слегка надувает шелковые шторы. Обращаются друг к другу изредка, церемонно, едва шевеля губами, с неподвижно застывшей на устах улыбкой, и все, что здесь говорится, все это одна ложь, все банально и пошло, слова бесследно исчезают на белоснежной скатерти среди изысканного десерта. Фразы облекаются в личину, как и лица, и если бы кто-нибудь приподнял маску и дал заглянуть в свои сокровенные мысли, какой бы поднялся переполох в этом избранном обществе!

Великий князь с широким бледным лицом, обрамленным слишком черными бакенбардами, подрезанными кружочком, как газон на лужайке,— типичный портрет царствующей особы из иллюстрированного журнала,— с большим интересом спрашивает барона Юшенара о его последней работе, а сам думает:

«Боже! Как мне надоел этот ученый со своими первобытными хижинами! Насколько было бы приятнее смотреть балет «Роксе-

лана», когда танцует крошка Деа,— я без ума от нее. Автор «Рокселаны», мне говорили, здесь, за столом, но это старый, противный и прескучный господин... Ах, эти ножки, эти пачки маленькой Деа!..»

Нунций, с умным лицом римского патриция, желтым, точно после разлития желчи, с длинным носом, тонким ртом и черными глазами, слушает, склонив голову набок, повествование об истории человеческого жилища и думает, глядя на свои блестящие, как раковинки, ногти:

«Утром я съел в нунциатуре чудеснейшее фрито-мисто, и теперь у меня болит под ложечкой... Джоакимо слишком сильно затянул мне пояс... Хоть бы поскорее встать из-за стола!..»

Турецкий посланник, губастый, смуглолицый, обрюзгший господин с жирным затылком, в феске, надвинутой на глаза, наливает вина баронессе Юшенар, а сам думает:

«До чего гнусны эти европейцы! Как можно приводить своих жен в общество в таком отталкивающем виде! Я бы скорее согласился сесть на кол, чем позволил кому-нибудь подумать, что эта толстая дама лежала со мной в постели!»

А под жеманной улыбкой баронессы, которая рассыпается в благодарностях его превосходительству, можно прочесть:

«Этот турок гадок донельзя, противно смотреть на него».

То, что говорит вслух г-жа Астье, тоже не имеет ничего общего с занимающими ее мыслями:

«Только бы Поль не забыл заехать за дедом!.. Какое впечатление произведет маститый старец, опирающийся на руку правнука!.. Ах, если можно было бы выудить заказ у его высочества!..»

Потом, нежно взглянув на герцогиню:

«Она очень хороша сегодня... Верно, получила добрые вести о назначении ее князя... Радуйся напоследок, душенька! Через месяц Сами будет женат...»

Госпожа Астье не ошиблась. Великий князь, прибыв к своему «очаровательнейшему другу», сообщил герцогине о полученном в Елисейском дворце обещании относительно назначения д'Атиса — это вопрос нескольких дней. Герцогиня с трудом сдерживает радостное волнение, от которого она вся так и светится и которое придает необычайный блеск ее красоте. Вот что она сделала для любимого человека, чего он достиг благодаря ей!.. И герцогиня уже рисует себе, как она устроится в Петербурге и снимет особняк на Невском проспекте, недалеко от посольства. В то время как герцогиня увлеклась этими мыслями, князь, мертвенно-бледный, с помятым лицом, устремляет куда-то неподвижный взгляд — тот испытующий взгляд, которого не мог выдержать Бисмарк,— его презрительно сжатые губы кривятся загадочной и снисходи-

тельной улыбкой, подобающей дипломату и академику; он думает:

«Теперь нужно, чтобы Колетта решилась... Она приедет туда, мы обвенчаемся без помпы в капелле Пажеского корпуса, и когда об этом узнает герцогиня, все уже будет кончено».

В голове каждого гостя, сидящего за столом, бродит множество мыслей, неуместных, забавных и бессвязных, прикрытых все тем же светским лоском. Леонар Астье утопает в блаженстве: он получил сегодня утром орден Станислава второй степени в благодарность за преподнесенный великому князю экземпляр своей речи, к первой странице которой было подколото собственноручное письмо Екатерины II; текст его он чрезвычайно ловко вставил в приветствие именитому гостю по случаю его прибытия. Этим письмом, снискавшим высокую оценку всего собрания, газеты были заняты в течение двух дней; оно прогремело по всей Европе, прославляя имя Астье, его коллекцию, его труды с тем оглушительным и несоразмерным резонансом, который многочисленные органы печати создают всем современным событиям. Пусть барон Юшенар теперь попробует подкапываться, жалить и елейным голосом бормотать: «Обращаю ваше внимание, мой дорогой собрат...» Никто уже не станет слушать его. И как ясно это сознает знаменитый собиратель автографов, каким злобным взглядом окидывает он «любезного коллегу» между двумя фразами своей научно-шарлатанской болтовни, сколько яда в каждой морщине его длинного перекошенного лица, ноздреватого, словно пемза!

Красавец Данжу тоже взбешен, но по другой причине: герцогиня не пригласила его жену. Такое невнимание задевает его супружеское самолюбие — эту вторую печень, более чувствительную, чем настоящая. И, несмотря на желание блеснуть перед великим князем, весь запас острот, специально приготовленных и почти не бывших в обращении, застревает у него в горле. Еще один гость тоже не в своей тарелке — это химик Дельпеш; когда его представляли великому князю, тот очень лестно отозвался о трудах, посвященных клинообразным письменам, смешав химика с его однофамильцем из Академии надписей. Нужно сказать, что, кроме как о Данжу, комедии которого пользуются известностью и за границей, великий князь ничего не слышал о знаменитых академиках, присутствующих на обеде. Лаво еще утром вместе с адъютантом князя сочинил памятку, в которой значились имя каждого гостя и перечень его главных трудов. То, что его высочество сбился только раз в целом ряде произнесенных им сегодня любезностей, служит доказательством его находчивости и чисто княжеской памяти. Притом вечер еще не кончился, другие академические светила скоро должны сюда прибыть — уже у подъезда

слышен грохот колес подъезжающих карет и стук захлопывающихся дверец,— и его высочеству еще представится случай загладить свою неловкость.

А пока что великий князь, невнятно растягивая и подыскивая слова, произнося их по большей части в нос, так что добрая половина вообще теряется, обсуждает с Астье-Рею один исторический факт в связи с письмом Екатерины II. Уже давно кувшины с водой для омовения рук обнесены вокруг стола, никто больше не ест и не пьет, никто и не дышит из боязни помешать беседе, весь стол загипнотизирован, он словно приподнялся, как на спиритическом сеансе, присутствующие буквально прикованы к движению княжеских губ. Внезапно августейшее гнусавое бормотание прекращается, и Леонар Астье, споривший только для вида, чтобы сделать еще более блестящей победу своего противника, опускает руки, точно сломанное оружие, и говорит тоном глубокого убеждения:

— Вы меня посрамили, ваше высочество.

Чары рассеялись, стол снова стоит на своих ножках, все поднимаются среди слитного гула восхищения, двери распахиваются, герцогиня берет под руку великого князя, Мурад-бей — баронессу. Шуршат юбки, стучат отодвигаемые стулья, гости один за другим переходят в гостиные, а дворецкий Фирмен, с важным видом задрав голову, прикидывает в уме:

«На таком обеде во всяком другом доме я нажил бы, по крайней мере, тысячу франков... Ну, а тут держи карман... Хоть бы триста франков-то набралось».

А затем уже громко, точно плевок на шлейф надменной герцогини, бросает ей вслед:

— У-у, выжига!..

— Позвольте вам представить, ваше высочество: мой дед, Жан Рею, старейший член пяти академий.

Пронзительный голос г-жи Астье звенит в больших гостиных, залитых светом, почти пустых, куда уже начали собираться друзья, приглашенные на этот вечер. Она кричит громко, чтобы дедушка понял, кому его представляют, и ответил что-нибудь соответствующее обстоятельствам. Старый Рею на вид хоть куда — он выпрямляется во весь свой огромный рост, высоко поднимает головку креола, потемневшую от возраста, всю в морщинах. Маститый старец опирается на руку Поля Астье, элегантного и очаровательного, по другую сторону стоит его внучка, позади — Астье-Рею. Семейство сгруппировалось таким образом, образуя сентиментальную сцену в духе Греза, гармонирующую со светлой обивкой стен гостиной, которым Жан Рею приходится чуть ли не ровесником. Великий князь растроган, пытается сказать что-нибудь подобаю-

щее случаю, но автор «Писем к Урании» не фигурирует в памятке, составленной Лаво. Его высочество выходит из затруднения, отделываясь общими фразами, на которые старик Рею, думая, что его, как обычно, спрашивают относительно возраста, отвечает:

— Девяносто восемь лет исполнится через две недели, ваше высочество...

Потом столь же невпопад добавляет:

— Я не был там, ваше высочество, с восемьсот третьего года, город, наверное, очень изменился...

Во время этого своеобразного диалога Поль шепчет матери:

— Сама уж его отвези... А я слуга покорный... Он зол, как черт... Всю дорогу в карете лягался, чтобы успокоить себе нервы, как он говорил.

Голос молодого человека звучит раздраженно и резко, лицо, обычно приветливое, хмурится, искажается гримасой. Мать прекрасно знает это выражение, она сразу заметила его, как только вошла в комнату. Что случилось? Она следит за сыном, пытается что-нибудь прочесть в его светлых глазах, но они избегают ее, остаются непроницаемыми, только взгляд их становится еще более колючим и жестким.

А холод, царивший за обедом, этот торжественный холод не рассеивается,— им веет среди приглашенных, собравшихся группами. Женщины, здесь весьма малочисленные, уселись кружком в низких креслах, мужчины стоят или расхаживают по гостиным, делая вид, что заняты содержательной беседой, а на самом деле заботясь только о том, чтобы привлечь к себе внимание его высочества. Ради князя композитор Ландри мечтает у камина, закинув голову с гениальным лбом и бородою апостола. Ради него же в другом углу погружен в раздумье ученый Дельпеш; он подпер рукой подбородок, нахмурил брови, вид у него озабоченный, словно он наблюдает за опытом со взрывчатым веществом.

Философу Ланибуару, знаменитому своим сходством с Паскалем, не сидится на месте: он бродит взад и вперед мимо дивана, где великого князя терзает Жан Рею. Философа забыли представить августейшему гостю, и он этим весьма огорчен, его длинный нос еще больше вытягивается, как бы молит на расстоянии: «Да посмотрите же! Разве это не нос Паскаля?» К тому же самому дивану из-под едва разомкнутых век устремлены взоры г-жи Эвиза, которые обещают все, что только его высочеству будет угодно, когда и как ему будет угодно, только бы его высочество побывал у нее, почтил бы своим присутствием ее следующий понедельник. Сколько бы ни меняли декорации, пьеса остается та же: тщеславие, подлость, низкопоклонство, лакейская потребность холуйствовать и

пресмыкаться. Пусть жалуют к нам высокие иноземные гости: в наших старых кладовых сохранилось все необходимое для их приема.

— Генерал!

— Чего изволите, ваше высочество?

— Я так и не попаду на балет...

— А зачем же мы тогда здесь, ваше высочество?

— Право, не знаю... Готовится какой-то сюрприз... Ждут только, чтобы нунций уехал...

Они чуть слышно произносят слова, едва шевеля губами, не глядя друг на друга, ни один мускул не дрогнул на их напряженных лицах. Адъютант рядом со своим властелином, которому он старательно подражает, так же гнусавя и лишь изредка жестикулируя, сидит неподвижно на краешке дивана, округло положив руку на бедро, окаменев, словно на параде или у барьера императорской ложи в Михайловском театре. Старик Рею стоит перед ними и ни за что не соглашается сесть, не соглашается перестать говорить, перестать ворошить покрытые пылью воспоминания своей столетней жизни. Он знавал стольких людей, следовал стольким модам! И чем отдаленнее событие, тем лучше он его помнит. «Я сам это видел». Он останавливается на минуту, окончив очередной рассказ, и устремляет глаза вдаль, к исчезающему прошлому, потом приступает к следующей истории. То он у Тальма в Брюнуа, то в будуаре Жозефины, заставленном музыкальными шкатулками и клетками со сверкающими колибри, которые щебечут и хлопают крыльями. Вот он завтракает с г-жой Тальен на Вавилонской улице. Ее чудесные обнаженные бедра своими очертаниями похожи на лиру, длинная кашемировая ткань ниспадает с них и ложится у ее ног, стоящих на котурнах, плечи прикрыты вьющимися распущенными волосами. Он сам видел это полное матово-бледное тело испанки, вскормленное на миндальном пирожном, и при этом воспоминании загораются его маленькие, глубоко запавшие глазки без ресниц.

А на террасе, в теплом сумраке сада, беседа ведется вполголоса. Приглушенный смех звучит в темноте, полукругом сверкают красные огоньки сигар.

Лаво, чтобы позабавить Данжу и Поля Астье, расспрашивает молодого итальянца о случае с кардинальской шапкой и скуфьей.

— Его высокопреосвященство говорит мне: «Пепино!..»

— Но дама, граф, та дама, там, на вокзале?..

— *Cristo*, как она была хороша! — глухим голосом произносит итальянец.

И тут же, словно желая исправить впечатление от плотоядного признания, он добавляет елейным голосом:

— И *simpatica*[1], главное, *simpatica*...

Все парижанки кажутся ему красивыми и симпатичными. Ах, если бы ему не нужно было возвращаться на службу!.. Разгорячившись от выпитых французских вин, граф рассказывает, как живется папским гвардейцам, о прелестях этой службы, о надеждах, которые питают все туда поступающие, на выгодную женитьбу, на возможность прельстить во время одной из папских аудиенций богатую англичанку-католичку или фанатичную испанку, прибывшую из Южной Америки с приношениями Ватикану.

— Мундир у нас красивый, понимаете? Да и бедствия святого отца придают нам, его солдатам, романтическое, рыцарское обаяние, что обычно нравится дамам.

В самом деле, своим молодым мужественным лицом, золотыми нашивками, тускло мерцающими при свете луны, белыми кожаными лосинами в обтяжку юный граф напоминает героев Ариосто или Торквато Тассо.

— Но, милый Пепино,— говорит толстяк Лаво деланно ворчливым тоном,— зачем далеко ходить, когда выгодное дело у вас здесь, под руками?

— *Come?*[2] Как это под руками?..

Поль Астье вздрогнул и насторожился. Как только речь заходит о богатой невесте, ему представляется, что посягают на ту, которую он себе наметил.

— Да герцогиня же, черт возьми!.. Старый Падовани долго не протянет...

— Н-но... князь д'Атис?

— Он на ней никогда не женится...

Лаво можно поверить: он приятель князя, правда, и герцогини, но в предвидении будущего разрыва он становится на ту сторону, которая кажется ему более прочной.

— Действуйте смело, любезный граф!.. Денег здесь много, очень много... И связи... Да и женщина еще не совсем состарилась...

— *Cristo*, как хороша..— вздыхает граф.

— И симпатична, главное, симпатична,— ухмыляется Данжу.

Папский гвардеец как будто слегка озадачен, но тут же, обрадовавшись, что сходится во взглядах с умным академиком, добавляет:

— Да, да, симпатична!.. Верно, я это и хотел сказать...

— А затем,— продолжает Лаво,— если вы любите краску для волос, накладные локоны, бандажи, набрюшники, то будете

---

[1] Симпатична *(итал.)*.

[2] Как? *(итал.)*

вполне удовлетворены... Рассказывают, будто она крепко затянута, что она носит под платьем настоящий панцирь из кожи и железа... Лучшая заказчица Шарьера...

Он говорит громко, без всякого стеснения, сидя напротив столовой. Свет, падающий сквозь полуоткрытую дверь на террасу, освещает его скуластое багрово-красное циничное лицо вольноотпущенника, паразита. В эту дверь еще доносится запах горячих трюфелей, рагу из жареной дичи, всего того роскошного обеда, которым он только что насладился и сейчас отрыгивает подлой и низкой клеветой. Вот тебе твои фаршированные трюфели, рябчики, вина по двадцать франков бокал! Вдвоем, наперебой с Данжу, они так и сыплют грязными сплетнями, столь принятыми в обществе. И чего они только не знают, о чем только не рассказывают! Лаво швыряет какую-нибудь гнусность, Данжу подхватывает ее на лету, а юный папский гвардеец, не зная хорошенько, чему следует верить, стараясь смеяться, с замиранием сердца думает о том, что герцогиня может застать их врасплох. Он чувствует настоящее облегчение, когда с другого конца террасы раздается голос дяди, который зовет его:

— Пепино! Идем!..

Нунций привык рано ложиться и заставляет своего племянника благонравным поведением искупить злоключение с кардинальской шапкой.

— Спокойной ночи, господа!

— Желаем удачи, молодой человек!

Нунций отбыл. Скорей же сюрприз! По знаку герцогини автор «Рокселаны» садится за рояль и, проводя бородой по клавиатуре, берет два сочных аккорда. И тотчас же там, в глубине, раздвигаются высокие портьеры, и по анфиладе сверкающих огнями гостиных на носках пробегает прелестная брюнетка в балетном трико, пышной юбочке и золоченых туфельках, которую ведет, держа за кончики пальцев, мрачный субъект с завитыми волосами и хмурым лицом, пересеченным длинными усами, словно выточенными из потемневшего дерева. Это Деа, волшебница Деа, модная сейчас игрушка, а с ней ее учитель Валер, танцмейстер Большой оперы. Сегодня вечером представление в театре начали с «Рокселаны», и, разгоряченная успехом сарабанды, малютка будет сейчас танцевать ее вторично для августейшего гостя герцогини.

Более приятного сюрприза нельзя было и придумать. Видеть перед собой, почти у самого лица, этот очаровательный тюлевый вихрь, проносящийся ради него, слышать порывистое, молодое, свежее дыхание, чувствовать, как напрягаются все нервы этого восхитительного существа, как они дрожат и трепещут, точно снасти парусника... Какое наслаждение! И не один великий князь

упивается им. После первых пируэтов мужчины приблизились и бесцеремонно тесным кольцом черных фраков окружили прелестное видение, так что немногочисленные здесь дамы, очутясь за этим кольцом, принуждены смотреть издали. Великого князя затерли в толпе, его толкают. По мере того как ускоряется темп сарабанды, круг сжимается настолько, что мешает движению танца. Наклонившись вперед, тяжело дыша, вытянув шеи, академики и дипломаты, украшенные звездами и орденами, болтающимися у них, как колокольчики, осклабились от восторга; влажные губы в плотоядной улыбке раздвинулись, обнажив беззубые челюсти, вырываются смешки, напоминающие конское ржание. Даже презрительный профиль князя д'Атиса становится более человечным перед этим чудом юности и грации, которое своими пуантами срывает все светские маски. И турок Мурад-бей, за весь вечер не проронивший ни слова, развалясь в кресле в первом ряду, размахивает руками, раздувает ноздри, закатывает глаза и издает гортанные звуки, точно обезумевший и перешедший всякие границы Карагез. Под восторженные восклицания и бешеные крики «браво» малютка кружится, порхает, так гармонично скрывая напряжение мускулов всего тела, что танец кажется шуткой, развлечением стрекозы. Только капельки пота, выступившие на нежной и полной шейке, да улыбка одними уголками рта, колючая, своевольная, почти злая, выдают напряжение и усталость очаровательного зверька.

Поль Астье не любил балета, поэтому он остался курить на террасе. Аплодисменты, нежные аккорды рояля доносятся до него издалека, словно составляя аккомпанемент его глубокому раздумью. Мало-помалу он начинает разбираться в своих сокровенных мыслях, подобно тому как глаза его, свыкаясь с темнотой, все яснее различают высокие стволы деревьев, их трепещущую листву, тонкую и частую решетку на фронтоне дома в античном вкусе, примыкающего к стене в глубине сада... Трудно добиться успеха, много нужно усилий, чтобы достигнуть цели, кажется, вот она уже в руках, а между тем ускользает все дальше, все выше... Колетта! Ведь она как будто уже готова упасть в его объятия, а при новом свидании хоть начинай все с начала, сызнова веди атаку,— можно подумать, что в его отсутствие кто-то нарочно разрушает всю его постройку. Кто же?.. Покойник! Черт возьми! Этот гнусный покойник... Надо быть при ней с утра до ночи, а разве это возможно? Жизнь тяжела, столько забот, вечная погоня за деньгами!

Слышатся легкие шаги, шуршание тяжелого бархатного платья: мать ищет его и беспокоится. Отчего он не идет в залу, где теперь собрались все? Она облокотилась на перила возле него, хочет знать, что его тревожит.

— Да ничего... ничего!..

Но она настаивает, расспрашивает. Ну так вот... так вот... Ему надоела жизнь впроголодь. Постоянно векселя, протесты... Заткнешь одну дыру, рядом другая... Нет, хватит с него, нет больше сил!..

Из залы доносятся громкие крики, раскаты смеха и бесцветный голос танцмейстера Валера, который вместе с Деа исполняет пародию на старинный балет: «Один батман, два батмана... Амур замышляет шалость...»

— Сколько тебе нужно? — шепчет, вся дрожа, мать. Никогда еще не видала она его в таком состоянии.

— Не стоит говорить... Все равно ты не сможешь... Слишком большая сумма.

Она настаивает:

— Сколько?

— Двадцать тысяч!.. Завтра же внести судебному приставу не позднее пяти часов, иначе опись и продажа имущества, куча всяких пакостей. Нет, лучше, чем такой срам...— Он в бешенстве кусает сигару.— Лучше пустить себе пулю в лоб.

Большего и не требовалось.

— Молчи, молчи!.. Завтра, не позднее пяти...

Горячие дрожащие руки зажимают ему рот, чтобы вдавить, вогнать туда страшные слова о смерти.

VI

Всю ночь она не сомкнула глаз, в голове неотступно вертелась цифра — двадцать тысяч франков. Двадцать тысяч франков! Где их достать? К кому обратиться? И в такой короткий срок! Имена, лица проносились вихрем, пробегали по потолку в голубоватом свете ночника и спустя мгновение исчезали, уступая место другим именам, другим лицам, которые пропадали с такой же быстротой. Фрейде? Она только что воспользовалась его услугами... Д'Атис? До женитьбы он сам без гроша... Да к тому же разве можно занять двадцать тысяч франков, разве кто-нибудь одолжит такую сумму? Надо было напасть на этого поэта-провинциала... В Париже, в «обществе», деньги имеют сокровенный смысл. Предполагается, что их имеешь и живешь, как в благородных комедиях, на высоте, недоступной таким мелочам. Нарушить эти условности — значит самому исключить себя из хорошего круга.

Меж тем как г-жа Астье изнывала в лихорадочной тревоге от этих мыслей, рядом с ней невозмутимо покоилась широкая спина ее мужа, вздымаемая ровным дыханием. Одной из скорбных сто-

рон их совместной жизни была эта мещанская двуспальная кровать, которую они делили вот уже тридцать лет, не имея ничего общего, кроме простынь. Но никогда еще равнодушие ее угрюмого сожителя так не возмущало, не выводило ее из себя. Разбудить его? Что толку? Заговорить с ним о сыне, доведенном до отчаяния, о его угрозе? Она прекрасно знала, что муж ей не поверит, что он даже не повернет своей огромной спины, за которой он укрывается, точно за заслоном. У нее явилось желание накинуться с кулаками на мужа, осыпать его ударами, вцепиться в него ногтями, кричать во весь голос, чтобы прервать этот тяжелый эгоистический сон. «Леонар! Архивы горят!» Эта мысль об архивах, блеснувшая, как молния, в мозгу, чуть было не заставила ее вскочить с постели. Найдены двадцать тысяч франков! Там, наверху, в шкафчике для дел... И как это ей раньше не приходило в голову?.. До рассвета, до последней вспышки ночника она спокойно обдумывала свой план, лежа неподвижно, с широко раскрытыми глазами, глядя так, как глядят воровки.

Оделась она рано и все утро блуждала по комнатам, следя за мужем, который должен был уйти, но, передумав, до самого завтрака занимался разборкой документов. Леонар ходил из кабинета на антресоли и обратно, перетаскивал охапки бумаг, бодро напевал что-то себе под нос; он был слишком толстокож, чтобы заметить накаленную атмосферу, царившую в их тесной квартире и передававшуюся, словно электрическим током, даже мебели, даже дверным створкам и ручкам. Молчавший во время работы, он разболтался за столом, рассказывал какие-то идиотские истории, которые она уже знала наизусть, столь же нескончаемые, как нескончаемо было крошение кончиком ножа неизменно подаваемого ему за десертом овернского сыра. Он все подкладывал и подкладывал себе сыру, сыпал все новыми анекдотами. Как невыносимо он мешкал, прежде чем отправиться в Академию на заседание, которому сегодня должно было предшествовать собрание комиссии по составлению словаря! Сколько времени возился он со всякой мелочью, словно назло жене, не знавшей, как бы поскорее вытолкать его за дверь!

Но только он завернул за угол Бонской, она, не прикрыв даже окна, подбежала к форточке на кухню и крикнула Корантине:

— Бегите за фиакром!

Оставшись наконец одна, г-жа Астье бросилась по лестнице в архив.

Нагибаясь из-за низкого потолка, г-жа Астье подбирала из связки ключ к замку, запиравшему поперечники шкафчика, но дело не ладилось, время уходило, и она уже, не колеблясь, решила сломать один из косяков. Но руки у нее дрожали, она ломала ног-

ти. Нужен напильник или что-нибудь в этом роде. Она выдвинула ящик ломберного стола, и ее глазам представились три письма Карла V, которые она искала, неразборчиво написанные, пожелтевшие. Бывают же такие чудеса!.. Она поднесла их к низкому окну и убедилась, что не ошиблась. «Франсуа Рабле, прославленному в науках и словесности...» Она не стала читать дальше, выпрямилась, сильно ударилась головой, но почувствовала боль только сидя в фиакре, который уносил ее на улицу Аббатства к Босу.

Она сошла в самом начале этой улицы, короткой и тихой, приютившейся под сенью Сен-Жерменского аббатства и старинного кирпичного здания Хирургического института, возле которого стояли экипажи профессоров с лакеями в богатых ливреях. Прохожих здесь было мало. Голуби, мирно клевавшие зерно у самого тротуара, разлетелись при ее приближении к магазину, полукнижному, полуантикварному, находящемуся как раз напротив института, под архаической вывеской, очень подходящей к этому уголку старого Парижа:

БОС
АРХИВАРИУС-ПАЛЕОГРАФ

И чего только не было здесь на витрине: старые рукописи, приходо-расходные книги с изъеденными плесенью краями, старинные требники с потускневшей позолотой, застежки для книг, суперобложки, наклеенные на больших стеклах, ассигнации, старые афиши, планы Парижа, уличные песенки, военные почтовые бланки, закапанные кровью, автографы всех эпох, стихотворение г-жи Лафарж, два письма Шатобриана сапожнику Пертузе, приглашения на обед за подписью современных или прежних знаменитостей, просьбы ссудить денег, скорбные признания и объяснения в любви, способные внушить ужас и отвращение к переписке. На всех этих автографах была обозначена цена, и г-жа Астье, задержавшись на минуту у витрины, увидела рядом с письмом Рашели, оцененным в триста франков, записку Леонара Астье своему издателю Пти-Секару с пометкой: два с половиной франка. Но не это искала она за зеленой ширмой, скрывавшей внутреннюю часть магазина, а самого архивариуса-палеографа, человека, с которым ей придется иметь дело. Страх овладел ею в последнюю минуту: только бы застать его!

Мысль, что Поль ждет, заставила ее наконец войти в пыльную и затхлую лавку, и, как только ее провели в заднюю комнату, она принялась объяснять г-ну Босу, краснорожему всклокоченному толстяку, их временные денежные затруднения и сказала, что муж не мог решиться лично приехать. Бос не дал ей окончить эту заранее придуманную ложь:

— Помилуйте, сударыня!

Он сразу же вручил ей чек на Лионский кредит и с почтительными расшаркиваниями и поклонами проводил ее до фиакра.

«Приятная дама!» — довольный своей покупкой, решил Бос.

А она, развертывая чек, засунутый в перчатку, глядя на указанную на нем необходимую ей сумму, подумала: «Какой любезный человек!»

И никаких угрызений совести, даже легкого замирания сердца, которое обычно вызывается дурным поступком! Женщине незнакомы такие чувства, ею всецело владеет желание данной минуты, на нее надеты природные шоры, мешающие видеть, что творится вокруг, и избавляющие ее от рассуждений, которые мужчине затрудняют любой решительный шаг. Правда, время от времени г-жа Астье представляла себе ярость мужа, когда он обнаружит кражу, но это казалось ей неясным, далеким; быть может, ей было даже отрадно добавить еще одно испытание ко всем мукам, пережитым со вчерашнего дня. «И это я перенесла ради сына!»

Под внешним спокойствием, под выдержкой супруги академика в ней таилось нечто свойственное каждой женщине — и светской львице, и простолюдинке: страсть. Муж не всегда находит педаль, приводящую в действие клавиатуру женской души, любовник порой тоже терпит неудачу, сын — никогда. В скорбной повести без любви, так часто являющейся уделом женщины, сын — всегда герой, ему отводится первая, главная роль. Только Полю, особенно с тех пор, как он возмужал, обязана она была тем, что испытала настоящие чувства, сладостную тоску ожидания, страхи и замирания сердца, жар в руках, тем, что у нее появилось сверхъестественное чутье, которое позволяет безошибочно сказать: «Вот он» — прежде, чем остановится экипаж, всем, что не было изведано ею прежде, ни в первые годы замужества, ни в те времена, когда светская молва обвиняла ее в легкомыслии, а Леонар простодушно говорил: «Странно!.. Я не курю, а вуалетки моей жены пахнут табаком...»

Смертельная тревога овладела ею у подъезда особняка на улице Фортюни, когда на ее первый звонок никто не откликнулся. Немой, наглухо закрытый, под высокой кровлей с цинковым коньком, маленький особняк в стиле Людовика XII, так восхищавший ее, вдруг показался ей зловещим. Не менее зловеще выглядел и доходный дом, построенный в том же стиле, в двух верхних этажах которого пестрели ярлыки «Сдается...», «Сдается...», наклеенные поперек высоких окон с переплетами. На второй звонок, дребезжащий и громкий, Стэн, надутый грум, в полном параде, затянутый в небесно-голубую ливрею, показался наконец на пороге и смущенно забормотал что-то невнятное:

— Барин дома... Но... но...

Несчастная мать, терзаемая со вчерашнего дня мыслью о катастрофе, представила себе сына, окровавленного, в предсмертной агонии, опрометью бросилась по коридору, перескочила три ступеньки и, едва переводя дух, очутилась в мастерской.

Поль работал, стоя за чертежным столом в амбразуре огромного чудесного окна. Свет, падавший в отворенную створку, освещал начатый тушью рисунок, раскрытую коробку с акварельными красками, меж тем как глубина комнаты утопала в благоухающем, сладострастном полумраке. Поль был так погружен в свою работу, что, казалось, не слышал, как остановился экипаж, не слышал двух звонков и торопливого шелеста женского платья в коридоре. Не это жалкое, поношенное черное платье поджидал он, не ради него приготовил букеты нежных цветов на длинных стеблях — ирисов и тюльпанов, а на раздвижном столике — вазочку с конфетами и граненые графины.

Он обернулся, и его восклицание: «Ах, это ты!» — сразу было бы понято всякой другой женщиной, кроме матери.

Она не обратила внимания на его слова, счастливая тем, что он все такой же элегантный, красивый, живой и невредимый. Не говоря ни слова, она расстегнула перчатку и с торжествующим видом протянула ему чек. Он не спросил, откуда эти деньги, чего стоило ей раздобыть их,— он нежно прижал ее к своему сердцу, стараясь все же не помять бумагу.

— Мама, мамочка!..

И все. Она была вполне вознаграждена, хотя и почувствовала в нем вместо большой радости смущение.

— Куда ты едешь отсюда? — спросил он задумчиво, все еще держа в руке чек.

— Отсюда?

Она посмотрела на него недоуменно и печально. Ведь она только успела войти, она рассчитывала хоть немного побыть с ним, но в конце концов, если ее присутствие стесняет его...

— Куда я еду?.. К княгине... Но это не к спеху... Такая тоска с ней, вечный плач по Герберту... Уж кажется, она о нем позабыла,— нет, все начинается сызнова.

С его губ готовы были сорваться слова правды, однако он их не произнес.

— Окажи мне услугу, мамочка... Я тут жду кое-кого... Получи за меня деньги и выкупи у судебного пристава мои векселя... Согласна?

Как же не согласиться? Занимаясь его делами, она все время будет с ним. Пока он подписывал бумагу, мать окинула взглядом его покрытую коврами и вышивками мастерскую, где только ста-

ринный складной табурет орехового дерева, несколько древних отливок и образцы антаблементов, висевшие тут и там, обличали профессию хозяина. Вспоминая только что пережитый страх, окидывая взглядом цветы на длинных стеблях, вино и закуску, сервированную на столике у дивана, она невольно подумала, что это весьма странные приготовления к самоубийству. Она улыбнулась без малейшей досады: «Ах ты, очаровательный изверг!» — и только заметила, указывая зонтом на вазу с конфетами:

— Лучше пустить себе пулю... Как ты это сказал?

Он тоже рассмеялся.

— О, все изменилось со вчерашнего дня!.. Мое дело... Знаешь, то выгодное дело, о котором я тебе говорил?.. Ну, на этот раз, кажется, успех обеспечен...

— Вот как! И у меня тоже.

— Ах да, женитьба Сами...

Их красивые и одинаково лживые глаза стального цвета, слегка выцветшие у матери, на минуту встретились, словно стараясь что-то выведать друг у друга.

— Вот увидишь, мы еще будем несметно богаты,— произнес наконец Поль и, тихонько подталкивая мать к выходу, добавил: — Ну иди же!.. Иди!

Утром княгиня Розен запиской известила Поля, что заедет за ним, чтобы отправиться «туда». «Туда» означало кладбище Пер-Лашез. В последнее время Герберт снова «вылез на сцену», как говорила г-жа Астье. Два раза в неделю вдова ездила с цветами на кладбище, отвозила подсвечники и скамеечки для молитвы, торопила и наблюдала за ходом работ — новый прилив супружеской преданности... Долго длилась мучительная борьба между тщеславием и увлечением, соблазном остаться княгиней и чарами обворожительного Поля Астье, борьба тем более жестокая, что молодая женщина никому ее не поверяла, за исключением бедного Герберта, к которому каждый вечер она обращалась в своем дневнике, и только назначение Сами заставило ее принять решение. Ей казалось благопристойным, прежде чем выйти за второго мужа, окончательно похоронить первого и покончить с мавзолеем и опасной близостью с чересчур очаровательным архитектором.

Поль Астье забавлялся треволнениями этого мятущегося сердечка, не понимая их подлинной причины и видя в них добрый знак, высшее напряжение душевных сил перед великим решением; только все это затягивалось, а он спешил. Нужно ускорить развязку, воспользоваться посещением Колетты, давно обещанным и все откладываемым, словно княгиня, несмотря на желание познакомиться с мастерской молодого человека, боялась остаться

с ним с глазу на глаз без присмотра своей челяди, всегда присутствовавшей при их свиданиях и в ее особняке, и в карете. Не то чтобы он разрешал себе какую-либо вольность; пленительный и чарующий — вот все, что можно было о нем сказать. Но она боялась самой себя, оправдывая тем самым мнение этого дерзкого молодого человека, который, как весьма искусный стратег в делах любви, с первого взгляда отнес Колетту к разряду «открытых городов». Так определял он светских женщин, с виду защищенных и окруженных крепостной стеной, огражденных, как говорится, рекой и горами, якобы недосягаемых и неприступных, но которых на самом деле можно взять смелой атакой. На этот раз, однако, он не намеревался предпринимать решительный штурм,— несколько более смелых прикосновений, час или два настойчивого ухаживания, чтобы почувствовать женщину в своей власти, не оскорбляя ее, добиться окончательной отставки покойника, потом брак и тридцать миллионов. Вот те прерванные приходом г-жи Астье блаженные мечты, в которые он вновь погрузился, стоя у того же стола, в той же задумчивой позе, как вдруг по всему дому прозвенел резкий звонок. Длительные переговоры. Поль, потеряв терпение, открыл дверь.

— Что там такое?

Высокий выездной лакей в траурной ливрее, силуэт которого выделялся на фоне мокрой от дождя улицы, стоя на пороге, отвечал ему с почтительной наглостью, что княгиня ожидает господина Астье в карете. У Поля хватило самообладания крикнуть сдавленным голосом:

— Иду.

Как он был взбешен! Какие только оскорбления не бормотал он по адресу покойника, память о котором, без сомнения, ее удержала! Но тут же мелькнувшая надежда на реванш, по всей вероятности, очень забавный, который не заставит себя долго ждать, вернула его лицу обычное выражение, и когда он спустился к княгине, то уже вполне владел собой, только от пережитого волнения щеки его слегка побледнели.

В карете, в которой окна пришлось поднять из-за внезапного ливня, было очень жарко. Огромные букеты фиалок, тяжелые венки, как большие круглые торты, громоздились на подушках вокруг княгини Розен, лежали на ее коленях.

— Может быть, цветы вам мешают... Хотите, я велю опустить окна? — спросила она с той лицемерной ласковостью, которая свойственна женщине, когда она сыграла с вами злую шутку и все-таки хочет сохранить дружеские отношения.

Поль ответил неопределенным, полным достоинства жестом. Опустить или поднять окна — ему решительно все равно. Румя-

ная, в ореоле золотистых волос под длинной вдовьей вуалью, которую она надевала в дни посещения кладбища, княгиня чувствовала себя неловко, она предпочла бы упреки. Она была так жестока к этому молодому человеку,— увы, гораздо более жестока, чем он мог предполагать!.. Коснувшись руки Поля, она спросила:

— Вы на меня сердитесь?

Сердится? О, нет! За что он может на нее сердиться?

— За то, что я не поднялась к вам... Правда, я вам обещала, но в последнюю минуту... Я никак не думала, что так огорчу вас.

— Неизмеримо больше, чем вы полагаете.

Ох эти сдержанные светские люди! Когда у них вырывается чувствительное слово, какую цену оно приобретает для сердца женщины! Оно способно почти так же растрогать их, как вид плачущего офицера в мундире.

— Нет, нет, прошу вас! Только не расстраивайтесь из-за меня! Скажите, что вы больше не сердитесь...

Она говорила, совсем близко наклонившись к нему, не обращая внимания на падавшие с сиденья цветы, защищенная от всякой опасности двумя черными фигурами, восседавшими на козлах под большим зонтиком, в цилиндрах с траурными кокардами.

— Послушайте! Я обещаю вам приехать один раз, по крайней мере, один раз, прежде чем...

И тут она в ужасе остановилась. В искреннем порыве она чуть было не проговорилась об их близкой разлуке, о своем отъезде в Петербург. Спохватившись, она поклялась, что навестит его как-нибудь в послеобеденное время, когда не поедет «туда».

— Но вы ежедневно туда ездите,— сказал он с такой комичной интонацией еле сдерживаемого бешенства, что улыбка мелькнула под вуалью вдовы, и, чтобы соблюсти приличие, она опустила окна.

Ливень прекратился. На бедной и веселой улице предместья, куда въехала карета, яркое, почти летнее солнце словно возвещало окончание всех бедствий; его лучи играли на товарах, выставленных в грязных лавчонках, на ручных тележках, расположившихся возле сточных канав, на разноцветных афишах и на лохмотьях, развевавшихся в окнах. Княгиня равнодушно смотрела на окружающее,— ведь ничто из повседневной жизни улицы не привлекает внимания людей, привыкших видеть ее только с подушек кареты, с высоты двух футов от земли. Мерное покачивание, зеркальные стекла создают особое представление о действительности у баловней судьбы, безучастных ко всему, что не лежит на уровне их взгляда.

«Как он меня любит, как он хорош собою!..— думала г-жа Розен.— У того, другого, конечно, более аристократический вид,

но насколько с этим было бы приятнее! Увы! Жизнь, самая счастливая,— разрозненный сервиз, полного комплекта не подберешь никогда».

Они подъезжали к кладбищу. С двух сторон тянулись склады мраморщиков с выставленными напоказ белоснежными плитами, статуями и крестами вперемежку с золотистыми иммортелями, белым и черным стеклярусом надгробных венков и другими предметами, с помощью коих чтут память усопших.

— А как же Ведрин?.. Его статуя?.. На чем мы порешим? — внезапно спросил Поль тоном человека, который желает говорить только о деле.

— Видите ли...— начала Колетта и чуть ли не со слезами воскликнула: — Боже! Я опять вас огорчу.

— Меня?.. Чем же?

Накануне они ездили в последний раз осмотреть рыцаря перед тем, как его отправить в отливку. Уже при первом посещении на княгиню произвела дурное впечатление не столько скульптура Ведрина, на которую она едва взглянула, сколько эта странная мастерская, где росли деревья, где по стенам бегали ящерицы, мокрицы, все эти руины: обвалившиеся потолки, следы пожара и революции. После второй поездки бедняжка вернулась буквально больной. «Мерзость из мерзостей, моя милая»,— так выразила она в тот же вечер свое впечатление г-же Астье, но не решилась сказать об этом Полю, зная, что он приятель скульптора, а еще по той причине, что имя Ведрина принадлежало к трем-четырем именам художников, которых светское общество отметило наперекор своим вкусам и воспитанию и которыми оно безмерно восторгается неизвестно почему, из претензии на оригинальность. Эта бесформенная грубая статуя на могиле ее Герберта!.. Нет! Нет!.. Но вот предлог она никак не могла найти.

— Послушайте, господин Поль, но это между нами... Без сомнения, это чудесная вещь... одно из лучших произведений Ведрина... Но, согласитесь, от нее слишком веет печалью...

— Возможно. Но ведь это же для могилы...

— И потом, если говорить откровенно...

Она призналась с немалыми колебаниями, что этот голый человек на походной кровати кажется ей, право, не совсем приличным. Могут подумать о сходстве.

— Нет, вы представьте себе: бедный Герберт, такой воспитанный, такой корректный... На что это похоже?..

— Если вдуматься, то пожалуй...— глубокомысленно ответил Поль.

Спокойно выкинув за борт своего друга, как выкидывают котенка, он добавил:

— В конце концов, если статуя вам не нравится, можно заменить ее другой или вовсе не ставить. Это будет еще эффектнее: пустая палатка, кровать раскинута — и никого...

Княгиня пришла в восторг при мысли, что больше не увидит этого голого урода.

— Как я рада!... Какой вы милый!.. Теперь я могу вам признаться, что проплакала из-за этого всю ночь.

Карета, как обычно, остановилась у главных ворот. Выездной лакей, взяв венки, следовал на почтительном расстоянии за Колеттой и Полем, которые шли под знойным солнцем по дорожке, размягченной только что прошедшим дождем. Молодая женщина опиралась на руку своего спутника и время от времени, словно извиняясь, спрашивала: «Вам не тяжело?..» — на что он отрицательно качал головой, печально улыбаясь. На кладбище было мало народа. Садовник и сторож, попавшиеся им навстречу, почтительно поклонились княгине, частой посетительнице этих мест. Когда же княгиня и Поль миновали главную аллею, стало совсем безлюдно и тенисто, только птицы щебетали в листве, и пение их сливалось с визгом пилы и стуком металлических инструментов, обтесывающих камень и никогда не смолкающих на кладбище Пер-Лашез, словно это вечно строящийся город, который никогда не будет закончен.

Время от времени г-жа Розен подмечала сердитый взгляд своего спутника, обращенный на высокого лакея в долгополой ливрее, с траурной кокардой на цилиндре, их постоянного и мрачного провожатого. Желая угодить Полю, она вдруг остановилась и приказала лакею:

— Подождите.

Княгиня взяла цветы и венки, отпустила слугу, и они остались совсем одни на змеившейся дорожке. Несмотря на это милое внимание, лицо Поля не прояснилось; ему пришлось надеть на свободную руку несколько венков из царских фиалок, иммортелей и персидской сирени, и его злоба на покойного все нарастала.

«Ты мне за это заплатишь!» — думал он в бешенстве.

Она же чувствовала себя необычайно счастливой под наплывом эгоистического ощущения здоровья и жизненной силы, которое иногда овладевает нами в местах вечного упокоения. Или, быть может, таково было действие жаркого дня, одуряюще пахнувших цветов, сливавших свое благоухание с еще более сильным ароматом тисовых кустов и самшита, с испарениями влажной земли, нагретой солнцем, а также с тем особым запахом, едким, притор-

ным, навязчивым, хорошо ей знакомым, который сегодня не вызывал у нее тошноты, как обычно, а скорее пьянил ее.

Она вздрогнула от неожиданности. Молодой человек схватил ее маленькую ручку, покоившуюся на сгибе его локтя, у ручки недостало смелости вырваться, и он сдавил ее и прижал к себе так, словно прижимал не одну ручку, а все тело женщины. Он пытался разнять ее нежные пальцы, чтобы сплести их со своими, овладеть ими, но маленькая ручка сопротивлялась, сжималась в перчатке: «Нет, нет... Ни за что!»

Они продолжали идти рядом, молча, не глядя друг на друга, охваченные волнением,— ведь все относительно в страсти, сопротивление рождает желание. Наконец она отдалась, раскрылась, эта маленькая сжавшаяся ручка, и пальцы их сплелись, едва не порвав перчатку. Чудесный миг безоговорочного признания, полного обладания!.. Но в Колетте тотчас же проснулась гордость женщины. Ей захотелось прервать это тягостное молчание, доказать, что она остается безупречной, что все происходит где-то вне ее, неведомо для нее, и, не находя слов, она прочла вслух надгробную надпись на могиле, заросшей бурьяном:

«Огюста — 1847 год».

А он, задыхаясь, прошептал:

— Какая-нибудь романтическая история.

Над их головами пели скворцы и синицы, вдали не смолкал визг пил и стук непрерывной стройки.

Они дошли до двадцатого отделения, до той части кладбища, которая является как бы старым Парижем в Пер-Лашезе. Дорожки здесь суживаются, деревья становятся выше, могилы лепятся одна к другой, беспорядочно теснятся решетки, колонны, греческие храмы, пирамиды, бюсты, духи и ангелы с широко раскрытыми или сложенными крыльями. Среди этих могил, заурядных и причудливых, оригинальных и простых, вычурных, претенциозных и скромных, как и жизнь тех, которые здесь покоятся, одни были покрыты надгробной плитой, заново отделанной, уставленной цветами, статуэтками святых и другими предметами культа, окружены садиками, изящными и миниатюрными, как китайские садики, а на других плиты, заросшие бурьяном и высокой травой, позеленели от плесени, мха и потрескались. Но всюду бросались в глаза имена, известные всему Парижу, имена нотариусов, чиновников, видных коммерсантов, имена, выстроившиеся в ряд, словно на вывесках в торговых или старинных судейских кварталах. Нередко попадались и двойные фамилии — знак соединения двух семей, союза богатства и положения в свете, названия преуспевавших фирм, уже исчезнувших из справочника Боттена, из банковских реестров, но сохранившихся на могильных склепах.

— Смотрите!.. Вот здесь лежит такой-то!..— восклицала г-жа Розен с удивлением, чуть ли не с радостью, с какой она обычно приветствовала знакомых в Булонском лесу.— Марио!.. Уж не певец ли?..— И все это только для того, чтобы сделать вид, будто она не замечает, что руки их тесно сплелись!

Неподалеку от них скрипнула дверца склепа, и показалась дебелая дама в трауре, круглолицая и румяная. Держа в руках лейку, она наводила на могиле порядок, прибирала в садике и в усыпальнице так спокойно, словно находилась где-нибудь на даче в окрестностях Марселя. Она взглянула поверх решетки и улыбнулась им приветливой и доброй улыбкой, выражавшей покорность судьбе и словно говорившей: «Любите друг друга, жизнь коротка, только любовь прекрасна». Смутившись, они разняли руки, и княгиня, внезапно освободясь от злых чар, прошла вперед, слегка сконфуженная, выбирая дорогу между могилами, чтобы поскорее добраться до мавзолея князя.

Мавзолей занимал на самом верху двадцатого отделения большую площадку, обсаженную травой и цветами, окруженную низкой тяжелой решеткой из кованого железа, похожей на решетку у гробницы Скалигеров в Вероне. Общий вид памятника, согласно замыслу художника, был суровый: настоящий первобытный низкий шатер из грубого дубленого холста в больших, тяжелых складках; далматский гранит придавал ему красноватый оттенок. Три широкие ступеньки из такого же камня вели к входу, по бокам стояли на пьедесталах высокие погребальные треножники из черной, будто покрытой лаком, бронзы. Над входом герб князей де Розен в большой бронзовой виньетке красовался как щит доблестного, навек уснувшего рыцаря.

Войдя за ограду и всюду разложив венки — у пьедесталов, на слегка наклоненных тумбах, изображавших длинные шесты у цоколя шатра,— княгиня опустилась на колени у алтаря, в самой глубине склепа, где блестела серебряная бахрома на молитвенных скамеечках, тусклая позолота готического креста и массивных канделябров. Хорошо здесь было молиться в прохладе, исходившей от каменных плит и облицованных черным мрамором стен, на одной из которых сверкало имя князя Герберта со всеми его титулами, а на противоположной были высечены стихи из Екклезиаста и «Песни Песней». Но княгиня не могла сосредоточиться, она машинально повторяла слова молитвы, суетные мысли отвлекали ее, и ей становилось стыдно. Молодая женщина поднималась с колен, то подходила к вазам для цветов, то отходила, чтобы судить о впечатлении, производимом саркофагом в виде кровати. Подушка из черной бронзы с серебряным вензелем уже лежала на ней — Колетта нашла, что это жесткое пустое ложе

благородно и прекрасно. Тем не менее необходимо было посоветоваться с молодым архитектором, нетерпеливый звук шагов которого доносился из усыпанного гравием садика. Одобряя его деликатность, она все же решила позвать его, но в склепе вдруг стало темно. Дождь забарабанил по застекленному в виде трилистников куполу.

— Господин Поль... Господин Поль!

Он сидел неподвижно на краю одного из пьедесталов под проливным дождем и сначала ответил молчаливым отказом.

— Войдите!

Он тихо, скороговоркой произнес:

— Не хочу... Вы его слишком сильно любите...

— Войдите же, войдите!..

Она потянула его за руку, но брызги дождя заставили их отступить до самого саркофага, и они прислонились к нему, стоя рядом и глядя на спускавшийся перед ними уступами, под нависшим, покрытым тучами небом, старый Париж смерти, точно низвергавший свои минареты, серые статуи и многочисленные камни, торчавшие, как дольмены, среди блестящей зелени. Ни единого звука не доносилось до них — ни щебета птиц, ни скрипа инструментов, только шумела вода да из-под навеса воздвигаемого памятника слышались монотонные голоса двух рабочих, жаловавшихся на свой тяжелый труд. Цветы благоухали в этой духоте, особенно ощутимой внутри помещения во время дождя, и неизменно к этому аромату примешивался тот, другой запах, от которого нельзя было избавиться. Княгиня подняла вуаль; она изнемогала, губы у нее пересохли, как там, в аллее. Неподвижные, безмолвные, они оба так слились с памятником, что какая-то птичка с красновато-ржавым оперением, подпрыгивая, приблизилась к ним, отряхнула свои перышки и поймала червяка между плитами.

— Это соловей,— чуть слышно прошептал Поль среди тишины, гнетущей и сладостной.

Она хотела спросить:

«Разве они еще поют в это время?»

Но тут он схватил ее, привлек к себе на колени, на край гранитного ложа, и, запрокинув ей голову, приник к ее полуоткрытым губам жадным, долгим поцелуем, на который она ему так же страстно ответила. «Ибо сильна, как смерть, любовь»,— гласил стих Суламифи, высеченный над ними на мраморной стене.

Вернувшись на улицу Курсель, где ждала ее г-жа Астье, княгиня долго плакала, припав к плечу своей подруги. Перейдя из объятий сына в объятия матери, не заслуживавшей большего

доверия, чем сын, она разразилась потоком жалобных, бессвязных слов, прерываемых рыданиями:

— Ах, дорогая, как я несчастна!.. Если б вы знали!.. Если б вы только знали!..

Ее отчаяние было столь же велико, как и ее замешательство. Положение действительно было запутанное: формально обещав свою руку князю д'Атису, она только что связала себя с этим околдовавшим ее чародеем, которого она теперь проклинала от всей души. Но всего тяжелее была невозможность поверить свою слабость лучшей подруге: княгиня отлично понимала, что мать сейчас же станет на сторону сына против Сами, на сторону чувства против разума и, быть может, уговорит ее согласиться на этот неравный брак, на это немыслимое унижение.

— Да что с вами?.. Что с вами?..— повторяла г-жа Астье, потрясенная этим взрывом отчаяния.— Наверно, опять с кладбища, опять зря расстроились. Перестаньте же, бедная моя Артемисия...

Зная тщеславие молодой вдовы, она высмеяла эти бесконечные проявления горя, недопустимые в глазах света и, во всяком случае, опасные для ее хорошенького личика. Если бы еще речь шла о новом браке по любви, но ведь ее замужество с Сами — скорее союз двух знатных родов, двух титулов... Сам Герберт, если бы он мог это видеть с неба, остался бы доволен.

— Вы правы, он все понимал,— вздохнула Колетта де Розен, урожденная Совадон, которой представлялось весьма заманчивым стать посланницей и в особенности сохранить титул княгини.

— Хотите, милочка, послушаться доброго совета? Уезжайте отсюда, бегите... Сами отправится через неделю... Не дожидайтесь его, возьмите Лаво, он знает Петербург и устроит вас на первых порах... Это избавит вас от тягостной сцены с герцогиней. От корсиканцев всего можно ожидать...

— Уехать? Да... может быть...

Княгиня Розен видела в отъезде прежде всего возможность спастись от новых безумств... Уйти от того, что случилось «там», от минутного заблуждения.

— А что до памятника...— добавила г-жа Астье, по-своему толкуя нерешительность Колетты.— Вас беспокоит памятник? Поль закончит его без вас... Довольно плакать, душенька! Поливка вам к лицу, но в конце концов можно ведь и плесенью покрыться.

Уйдя с наступлением сумерек и направляясь к стоянке рульского омнибуса, почтенная дама вздыхала:

«Уф!.. Д'Атис и представить себе не может, каких трудов мне стоит его брак!»

Крайняя усталость и потребность в отдыхе после сегодняшних хлопот напомнили ей, что самое трудное еще впереди. Приезд домой, сцена с мужем... До сих пор г-жа Астье не имела времени даже подумать об этом, но теперь она двигалась навстречу тяжкому испытанию, приближалась к нему с каждым оборотом колес неуклюжего омнибуса. Она заранее содрогалась — не от страха, нет, но эти крики, бешенство мужа, его зычный грубый голос, необходимость отвечать и, наконец, сундук, сундук, который снова появится на сцену! Боже, какая мука! Она так устала за ночь и за день! Ах, если бы можно было все это отложить до завтра!.. И у нее явилось искушение: вместо того чтобы сразу признаться: «Это я...» — отвести на кого-нибудь подозрение, к примеру, на Тейседра, хотя бы до утра, тогда, по крайней мере, ночь она проведет спокойно.

— А вот и барыня... У нас новости! — крикнула Корантина, отворяя двери; она была сама не своя, рябины еще резче выступали у нее на лице, как это с ней всегда бывало от волнения.

Госпожа Астье хотела пройти к себе в комнату, но дверь кабинета приоткрылась и повелительный окрик: «Аделаида!» — заставил ее направиться к мужу.

Лицо Леонара, освещенное лампой под стеклянным колпаком, показалось ей необычным. Он взял ее за руки, подвел к свету, дрожащим голосом произнес:

— Луазильон умер...

И поцеловал ее в обе щеки.

Он еще ничего не знал, он не поднимался к себе в архив. Два часа ходил он по кабинету, поджидая ее с нетерпением, чтобы сообщить ей эту столь важную для них новость, чтобы сказать эти два слова, в корне менявшие их жизнь:

— Луазильон умер!

VII

«М-ль Жермен де Фрейде
Кло-Жалланж

«Твои письма огорчают меня, дорогая сестра! Ты тоскуешь, страдаешь, ты хотела бы, чтоб я был с тобой, но ничего не поделаешь! Вспомни совет моего учителя: «Бывать всюду, напоминать о себе...» Посуди сама: разве, сидя в Кло-Жалланже, в охотничьей куртке и кожаных гетрах, я смогу содействовать успеху своей кандидатуры? А ведь решительная минута близка, Луазильон дышит на ладан, и я пользуюсь длительностью этой агонии, чтобы заручиться в Академии симпатиями, которые должны превратить-

ся в избирательные голоса. Леонар Астье уже представил меня некоторым из этих господ. Я часто захожу за ним к концу заседаний. Выход из Академии просто великолепен: эти мужи, увенчанные и годами и славой, расходятся под руку по три, по четыре человека, оживленные, сияющие, громко разговаривают, занимают весь тротуар, глаза у них еще влажные от смеха, вызванного веселыми шутками в зале заседаний.

«До чего остроумен этот Пайерон!», «А как ему ответил Данжу!..»

Я шествую под руку с Астье-Рею среди хора Бессмертных, как будто принадлежу уже к их числу. Постепенно группы тают, академики расстаются у моста, кричат друг другу: «До четверга! Непременно приходите...» А я провожаю дорогого мэтра до Бонской, и он ободряет меня, дает советы и, уверенный в моем успехе, говорит, расплываясь в улыбке: «Когда там побываешь, чувствуешь, что помолодел на двадцать лет».

В самом деле, кажется, что годы проходят для них бесследно под куполом дворца Мазарини. Где еще найти такого бодрого старца, как Жан Рею, девяностовосьмилетие которого мы вчера вечером отпраздновали у Вуазена? Торжество было организовано по предложению Лаво, и если эта затея и обошлась мне в пятьдесят луидоров, зато она позволила подсчитать число моих сторонников. Нас было двадцать пять человек за столом, все академики, за исключением Пишераля, Лаво и меня. Из них я могу твердо рассчитывать на семнадцать — восемнадцать голосов, остальные еще колеблются, но, видимо, расположены в мою пользу. Обед был отличный и прошел очень оживленно...

Ах да, кстати! Я пригласил Лаво в Кло-Жалланж на время каникул в Академии, где он занимает должность библиотекаря. Мы поместим его в большой угловой комнате, которая выходит на фазаний двор. Я не считаю Лаво хорошим человеком, но пригласить его следует: это «зебра» герцогини. Не знаю, писал ли я тебе, что наши светские дамы так называют холостого друга, ничем не занятого, неболтливого и исполнительного, всегда готового к услугам, способного выполнить любое щекотливое поручение, которое не доверишь слуге. Являясь чем-то вроде дипломатического курьера, «зебра», если он молод, исполняет порой и более приятные обязанности, обычно же это животное воздержанное, неприхотливое, оно довольствуется незначительными знаками благосклонности: местом в конце стола, возможностью поважничать за счет своей дамы и ее салона. Думаю, однако, что Лаво сумел извлечь из этого положения и нечто другое. Он очень ловкий человек, и его побаиваются, несмотря на его кажущееся добродушие; это «старший поваренок в двух кухнях», как он сам себя

называет,— в академической и дипломатической. Он предостерег меня от рытвин и капканов, которыми усеян путь в Академию, до сих пор неведомых моему учителю Астье. Этот большой наивный ребенок поднимался вверх по прямой дороге, не подозревая об опасностях, не сводя глаз с купола, веря в свою силу и в свои книги, но он уже сто раз свернул бы себе шею, если бы не его жена, женщина крайне ловкая, руководившая им без его ведома.

Лаво мне тоже отсоветовал публиковать до первого вакантного кресла в Академии мои «Думы сельского жителя». «Нет, нет,— сказал он мне,— вы уже достаточно преуспели... Если бы вы еще могли намекнуть, что больше не будете творить, что вы выдохлись, исписались, что вы просто светский человек... Академики это обожают». Следует присоединить эти слова к ценному совету Пишераля: «Не приносите им ваших книг». Видно, чем меньше у тебя трудов, тем больше возможностей. Весьма влиятельный человек этот Пишераль; он тоже приедет к нам летом, ему можно будет отвести комнату в третьем этаже, хотя бы бывшую кладовую, там видно будет. Сколько предстоит тебе хлопот, бедная моя Жермен, да еще при твоем слабом здоровье!.. Но ничего не поделаешь! И без того уже досадно, что у нас нет открытого дома зимою в Париже, что мы не можем принимать у себя, как Дальзон, Мозер и другие мои конкуренты. Лечись же, выздоравливай, ради бога!..

Возвращаюсь, однако, к торжественному обеду. Разумеется, там много говорилось об Академии, о тех, на ком останавливается ее выбор, о ее значении, о хороших и дурных толках на ее счет. По мнению Бессмертных, все хулители этого высокого учреждения просто неудачники, которым не удалось туда попасть; что же касается некоторых случаев забывчивости, на первый взгляд непонятных, то для каждого имеется веская причина. Когда я робко назвал имя Бальзака, нашего великого земляка, беллетрист Деминьер, ставивший когда-то шарады в Компьенском дворце, вышел из себя: «Бальзак! А вы его знали? Имеете ли вы понятие, милостивый государь, о ком вы говорите?.. Беспорядочнейший субъект, форменная богема! Человек, у которого никогда двадцати франков не водилось... Мне это известно от его друга Фредерика Леметра. У него никогда не было двадцати франков... И вы хотите, чтобы Академия...» Старый Рею, трубочкой приложив руку к уху, вообразил, что говорят о жетонах, и сообщил нам забавный случай с его другом Сюаром, который, явившись в Академию 21 января 1793 года, в день казни короля, воспользовался отсутствием коллег и забрал себе все двести сорок франков, отпускаемых на каждое заседание.

Этот старик с его неизменным: «Я сам это видел...» — хороший рассказчик, и если бы не глухота, он был бы блестящим собеседник

ником. В ответ на несколько строф, произнесенных мною в честь его изумительного долголетия, Жан Рею ответил чрезвычайно благосклонно, назвав меня «дорогой собрат». Мой учитель Астье поправил его: «Будущий собрат». Смех, крики «браво», а потом, при прощании, они все величали меня «будущим собратом», крепко и многозначительно жали мне руку и говорили: «До свидания, до скорой встречи!» — как бы намекая на мой предстоящий визит. Сущее мытарство эти академические визиты, но раз всем приходится через это пройти... Астье-Рею рассказал мне после обеда у Вуазена, что перед его избранием старый Дюфор заставил его прийти десять раз и ни разу не принял. Астье упрямо явился в одиннадцатый и был принят как нельзя лучше. Нужна настойчивость. «В настоящее время я занимаюсь самым унизительным и скучным делом: добиваюсь кресла в Академию»,— говорит в своих письмах Мериме. И уж если такие люди гнули спину, подавая нам этим пример, то имеем ли мы право быть горделивее их?

В сущности, если Рипо-Бабен или Луазильон умрут — жизнь обоих в опасности, хотя Рипо-Бабен внушает мне больше доверия,— моим единственным серьезным конкурентом будет Дальзон. Талантлив, богат, в прекрасных отношениях с «князьями», к тому же у него превосходный винный погреб. Против Дальзона только недавно обнаруженный грешок молодости: «Обнаженная», книжонка в шестьсот стихотворных строк, выпущенная анонимно в издательстве «Эрополис», весьма двусмысленная! Уверяют, что он скупил весь тираж и уничтожил его, но что еще осталось в обращении несколько экземпляров с собственноручной надписью автора. Бедняга Дальзон протестует, открещивается, как может, но Академия воздерживается от суждения, пока не будет выяснен вопрос; вот почему мой учитель, не входя в подробности, определенно заявил мне в прошлый вечер: «Я не стану голосовать за Дальзона». Академия — это салон, вот что нужно понять прежде всего. Туда можно войти только в приличном виде, с незамаранными руками. Как бы там ни было, я слишком порядочный человек и слишком уважаю своего противника, чтобы нанести ему удар из-за угла. А Фажа, переплетчика Счетной палаты, этого странного маленького горбуна, осведомленного о всех библиографических редкостях, которого я иногда встречаю в мастерской Ведрина, я решительно осадил, когда он вздумал предложить мне один из надписанных экземпляров «Обнаженной». «Ну что ж, возьмет господин Мозер»,— невозмутимо заметил он.

По отношению же к Ведрину мое положение становится затруднительным. В пылу первых встреч я пригласил его к нам в деревню с женой и детьми, а теперь уж не знаю, как и быть, если в то же время приедут супруги Астье и Лаво, которые его не пере-

носят. Это такой резкий, такой оригинальный человек! Представь себе: он дворянин, маркиз де Ведрин, а еще в коллеже скрывал свой титул, свое дворянское происхождение, чему очень многие позавидовали бы в наше демократическое время, когда все можно купить, за исключением родовитости. И какая тому причина? Он хочет, чтобы его любили ради него самого,— вот и понимай, как знаешь. Княгиня Розен меж тем отказалась от паладина, изваянного для княжеской усыпальницы. Об этой статуе много разговоров было в семье художника, в которой с трудом сводят концы с концами. «Когда мы продадим паладина, мне купят заводную лошадку»,— говорил сынишка, а бедная мать тоже рассчитывала на рыцаря, чтобы заткнуть дыры в хозяйстве, тогда как сам Ведрин видел в деньгах, следуемых ему за этот шедевр, только возможность три месяца пространствовать на дахабиэ по Нилу. Ну, а теперь рыцарь не продан и оплачен будет бог знает когда, после судебного процесса и экспертизы. Но не думай, что их это смутило: ничуть не бывало. Придя к ним в Счетную палату на следующий день после этого неприятного известия, я застал Ведрина за мольбертом: счастливый и довольный, он делал на большом холсте набросок девственного леса, наступающего на развалины разрушенного пожаром дворца. Сидевшие сзади жена и сынишка с восторгом смотрели на него, и г-жа Ведрин тихо и вполне серьезно сказала мне, баюкая свою девочку: «До чего мы рады! Ведрин взялся наконец за живопись!..» Право, не знаешь, смеяться тут или плакать!

Милая сестра. Из того, как нескладно написано мое письмо, ты можешь заключить, в каком лихорадочном волнении протекает моя жизнь с тех пор, как я добиваюсь кресла в Академии. Я бываю в «приемные дни» то у одних, то у других — на обедах и вечерах. Меня даже считают «зеброй» милейшей г-жи Анселен, потому что я усердно посещаю ее пятницы, а по вторникам захожу к ней в ложу во Французской комедии. Во всяком случае, я еще весьма неотесанная «зебра», несмотря на некоторые изменения, которым я подверг свою персону соответственно канонам академическим и светским. Ты будешь немало удивлена, когда меня увидишь. В прошлый понедельник состоялся интимный прием у герцогини Падовани, где я удостоился быть представленным великому князю Леопольду. Его высочество в самых лестных выражениях отозвался о моей последней книге, о всех моих книгах, которые он знает не хуже меня самого. Замечательные люди эти иностранцы! Но лучше всего я себя чувствую у супругов Астье, в патриархальной семье, дружной и простой. На днях после завтрака мэтру принесли новый академический мундир, и мы его примерили; я говорю «мы», потому что мэтр захотел посмотреть на меня в этом одеянии, расшитом пальмами. Я надел мундир, треуголку и

прицепил шпагу, настоящую шпагу, моя дорогая, которая вынимается из ножен и даже имеет посредине желобок для стока крови. Признаюсь, я показался себе весьма представительным. Пишу тебе об этом, чтобы ты уяснила себе степень этой ценнейшей для меня дружбы.

Возвращаясь в тишину своей маленькой кельи — если уж слишком поздно, чтобы писать тебе,— я принимаюсь за подсчеты. В полном списке академиков я отмечаю тех, кто будет голосовать за меня, а затем сторонников Дальзона. Я произвожу вычитание, сложение — увлекательнейшее занятие! Я тебе потом покажу. Как я уже говорил, за Дальзона стоят «князья», но автор «Орлеанского дома», принятый в Шантильи, должен меня привести туда и представить в ближайшее время. Если я понравлюсь,— с этой целью я заучиваю наизусть описание битвы при Рокруа; видишь, каким ловким становится твой брат? — итак, если я понравлюсь, автор «Обнаженной», вышедшей в издании «Эрополис», потеряет самую верную опору. Что же касается моих убеждений, то я от них не отрекаюсь. Я республиканец, бесспорно, но теперь заходят уж слишком далеко. К тому же я прежде всего кандидат в академики. Сразу после этой непродолжительной поездки я рассчитываю вернуться к моей милой Жермен. Молю тебя не расстраиваться и думать о радости великого дня. Да, дорогая сестра, мы, без сомнения, попадем на «пастбище гусаков», как выражается эта бесшабашная голова Ведрин, нужно только мужество и терпение.

Любящий тебя брат

Абель Фрейде.

Вскрываю свое письмо. Утренние газеты сообщают о смерти Луазильона. Такие удары судьбы волнуют нас, даже когда их ожидаешь и предвидишь. Какое печальное событие, какая утрата для французской литературы!

Бедная моя Жермен! Отъезд мой, видимо, опять откладывается. Рассчитайся с арендаторами. В ближайшие же дни напишу тебе».

VIII

Так уж было предопределено, что Луазильону повезет во всем, даже умрет он вовремя. Неделей позже салоны были бы закрыты, весь Париж разъехался бы, наступили бы каникулы и в палате депутатов, и в Академии, и только делегаты от многочисленных обществ, в которых покойный состоял председателем или секретарем, поплелись бы за гробом позади стяжателей академических жетонов, и больше никого. Но Луазильон показал себя ловкачом и

после смерти: он отправился на тот свет как раз накануне розыгрыша первого приза на скачках, выбрал безмятежно спокойную неделю, без преступлений, без дуэлей и сенсационных процессов, без политических скандалов, когда торжественные похороны непременного секретаря Академии должны были явиться единственным развлечением Парижа.

В полдень было назначено отпевание, но еще задолго до этого часа огромная толпа собралась у Сен-Жерменского аббатства. Движение было приостановлено, только экипажи приглашенных имели доступ на огромную площадь, окруженную суровым кордоном полицейских, расставленных цепью. Чем был Луазильон, что сделал он в течение своего семидесятилетнего пребывания на этом свете, что означала шитая серебром заглавная буква на высокой черной траурной драпировке — все это очень немногим было известно в толпе, привлеченной обилием полиции и обширностью отведенного покойнику места. Соблюдение расстояния, ширь и простор всегда говорят о почете и о величии! Распространились слухи, что будут актрисы и другие знаменитости; парижские зеваки, теснясь и болтая перед церковью, называли известных им лиц.

На паперти, задрапированной черным сукном, можно было услышать надгробное слово Луазильону, правдивое слово, а не то, которое сейчас будет произнесено на Монпарнасском кладбище, а также правдивый некролог о человеке и его творчестве, совсем непохожий на статьи, заготовленные для завтрашних газет. Творчество это состояло из «Путешествия в Андорскую долину» и из двух докладов, изданных Национальной типографией и относящихся ко времени, когда Луазильон был главным смотрителем Академии изящных искусств. Сам он был типичным пройдохой, гаденьким, пришибленным стряпчим, с раболепно согнутой спиной, с виноватыми ужимками, молящим о прощении за свои ордена, за расшитый пальмами мундир, за свое положение в Академии, где его пронырливость дельца являлась связующим звеном между различными группами, ни к одной из которых его нельзя было отнести,— о прощении за необыкновенную удачу, за поддержку, оказанную его ничтожеству, его пресмыкающейся низости. Вспоминали его остроту на одном официальном обеде. Суетясь с салфеткой на руке вокруг стола, он с гордостью воскликнул: «Какой превосходный вышел бы из меня лакей!» Подходящая эпитафия для его могилы.

Меж тем как люди философствовали о никчемности его существования, это ничтожество торжествовало даже после смерти. Кареты подъезжали к церкви одна за другой, долгополые ливреи лакеев, коричневые и синие, появлялись, разлетались, сгибались,

подметали церковную площадь под грохот захлопывавшихся дверец и стук подножек роскошных экипажей. Журналисты почтительно расступались перед герцогиней Падовани, проходившей горделивой поступью с высоко поднятой головой, перед г-жой Анселен с густым румянцем под траурным крепом, перед г-жой Эвиза, миндалевидные глазки которой, сверкая сквозь вуаль, способны были смутить любого блюстителя нравов, перед всей корпорацией академических дам, страстных почитательниц Бессмертных, их яростных поклонниц, явившихся сюда не столько из уважения к памяти усопшего Луазильона, сколько для того, чтобы полюбоваться на своих идолов, созданных, вылепленных их ловкими ручками, на это настоящее дамское рукоделие, в которое они вложили свои бездействующие силы — гордость, честолюбие, лукавство и волю. К академическим дамам присоединились актрисы под предлогом, что покойный состоял председателем сиротского приюта для детей артистов, на деле же снедаемые ненасытной потребностью присутствовать на таких сборищах. По заплаканным, трагическим лицам их можно было принять за ближайших родственниц. Вот останавливается карета, из нее выходит женщина в глубоком трауре, взволнованная, потрясенная горем. Посмотришь на нее — сердце надрывается. Это, конечно, супруга покойного? Нет! Это Маргарита Оже, красавица, драматическая актриса. Ее появление вызывает во всех концах площади долго не смолкающий гул голосов и толкотню любопытных. Какой-то журналист бросается ей навстречу с паперти, пожимает руки, поддерживает, ободряет.

— Да, вы правы, надо быть мужественной.

Глотая слезы, как бы вдавливая их платком, она входит, точно на сцену, в большой темный храм, где в глубине мерцают свечи, преклоняет колени на скамеечке среди других дам и простирается ниц, предаваясь неутешной скорби. Потом, поднявшись, убитая горем, она спрашивает у подруги, стоящей рядом:

— Какой сбор был вчера в Водевиле?

— Четыре тысячи двести,— отвечает ей товарка тоном, свидетельствующим о том, что и она в безысходном отчаянии.

Затерянный в толпе на самом краю площади, Абель Фрейде слышал вокруг себя:

— Маргарита!.. Это Маргарита! Какой эффектный выход!..

Маленький рост мешал ему, и он тщетно пытался пробраться вперед, как вдруг кто-то хлопнул его по плечу.

— Ты все еще в Париже?.. Твоя бедная сестра вряд ли от этого в восторге...

Ведрин увлек его за собой, работая здоровенными локтями, расталкивая толпу, над которой он возвышался на целую голову.

— Родственники покойного, господа!..

Он провел провинциала в первые ряды; тот был очень рад встрече, но вместе с тем сконфужен, так как скульптор, по своему обыкновению, говорил громко, не стесняясь.

— Как тебе нравится этот счастливчик Луазильон? Народу не меньше, чем на похоронах Беранже. Вот что может пришпорить молодежь...

Взглянув на Фрейде, обнажившего голову при появлении траурной процессии, он заметил:

— Позволь, в тебе какая-то перемена... Да повернись же!.. Несчастный! Ты похож на Луи-Филиппа!..

Поэт с церемонной важностью выпрямился во весь свой маленький рост. Усы свисали у него вниз, на голове у него был кок, его румяное загорелое лицо, обрамленное бакенбардами с проседью, расплылось в добродушной улыбке.

— А, понимаю! — рассмеялся Ведрин.— Прическа и усы для «князей», для Шантильи! Все еще не оставил мысли об Академии?.. Посмотри на этот маскарад!..

При ярком солнечном свете зрелище на огромной площади было поистине отталкивающее: за катафалком шли члены президиума, которых, словно ради злой шутки, выбрали среди самых нелепых старцев Французской академии, еще более обезображенных костюмом по рисунку Давида,— зеленым мундиром с шитьем, треуголкой и парадной шпагой, ударявшей по уродливым ногам, чего Давид уже никак не мог предусмотреть. Первым шел Газан в треуголке, надетой криво из-за шишек на черепе; ярко-зеленый мундир еще резче оттенял его жирное, землистого цвета лицо с шелушащейся кожей и огромным, как хобот, носом. Рядом с ним шествовал мрачный, долговязый Ланибуар, с лиловыми прожилками на щеках и перекошенным ртом параличного петрушки, прятавший свои пальмы под кургузым пальто, из-под которого торчали кончик шпаги и фрачные фалды, что придавало ему, особенно в треуголке, вид факельщика, гораздо менее представительного, чем академический педель с булавой черного дерева, выступавший впереди. Далее следовали Астье-Рею, Деминьер, сконфуженные, смущенные, словно сознававшие свою комичность и со смиренным видом извинявшиеся за свой наряд, более или менее приемлемый под холодным, так сказать, историческим светом высоко подвешенных люстр академического купола, но в гуще жизни, на многолюдной площади, вызывавший улыбки. То была выставка мартышек.

— Право, так и хочется швырнуть им пригоршню орехов, чтобы посмотреть, как они побегут на четвереньках...

Но Фрейде не слышал этой новой дерзости своего ни с чем не считавшегося спутника. Он незаметно улизнул от Ведрина, смешался с процессией и пробрался в церковь между двумя рядами солдат с опущенными дулом вниз ружьями. В сущности, он был несказанно рад смерти Луазильона, которого никогда не видел, не знал и не мог любить за его труды по одному тому, что никаких трудов у него и не было. Он испытывал к нему чувство благодарности за его кончину, за кресло, освободившееся как раз вовремя. Тем не менее весь этот погребальный церемониал, приглядевшийся старым парижанам, стоявшие шпалерами солдаты с ранцами за спиной, дружный стук ружей о плиты по команде шустрого офицерика, совсем еще юного, сердитого, с застегнутой подбородью, для которого эти похороны были, очевидно, первым серьезным делом, а главное — печальная музыка и приглушенный бой барабанов растрогали Фрейде. Он проникся бесконечным благоговением, и, как всегда, когда его охватывало сильное чувство, к нему слетели рифмы. Начало было очень удачное: широко и образно передавалась душевная тревога, грусть, тоска, потрясение, переживаемые страной при утрате великого человека. Но он остановился на полуслове, чтобы предложить место Данжу, который, явившись с большим опозданием, проходил по храму, сопутствуемый шепотом и взглядами женщин. Он шел, высоко закинув свою гордую суровую голову, привычным жестом проводя по ней ладонью, вероятно, для того, чтобы убедиться, на месте ли парик.

«Он меня не узнал,— подумал Фрейде, озадаченный уничтожающим взглядом, которым академик смерил эту козявку, дерзнувшую подать ему знак,— должно быть, мои бакенбарды...»

Отвлекшись от своих стихов, кандидат принялся обдумывать план атаки, визиты, официальное письмо на имя непременного секретаря. Но ведь секретарь умер... Назначат ли Астье-Рею еще до каникул? А когда состоятся выборы? Его заботило все, вплоть до мелочей, до заказа мундира. Обратиться ли к портному мэтра? Можно ли у того же портного получить треуголку и шпагу?

Pie Iesu Domine...[1]

Прекрасный голос профессионального певца раздался за алтарем, моля даровать покой Луазильону, которого милосердный бог, казалось, собирался жестоко терзать, потому что вся церковь

[1] Господи Иисусе милостивый *(лат.)*. *(Из католической заупокойной службы.)*

во всех тонах, во всех регистрах взывала соло и хором: «Упокой его, упокой, господи! Да почиет он с миром после стольких интриг и треволнений!»

Этому печальному, проникавшему в душу напеву вторили из глубины собора рыдания женщин, покрывавшиеся трагическим воплем Маргариты Оже, ее страшным воплем из четвертого акта «Мюзидоры». Вся эта скорбь глубоко взволновала добродушного кандидата, пробудила в нем воспоминания о других утратах, о других горестях: он думал о своих покойных родителях, о сестре, заменившей ему мать, приговоренной всеми врачами, которая знала это и во всех письмах об этом говорила. Увы! Доживет ли бедняжка до торжественного дня?.. Слезы застилали глаза, и ему пришлось утереть их.

— Это уж слишком... Это уж слишком... Вам все равно не поверят,— ехидно пробурчал над самым его ухом толстяк Лаво.

Фрейде обернулся в гневе, но в это самое время молоденький офицер яростно скомандовал:

— На... плечо!..

Лязгнули ружья, и орган загремел «Марш на смерть героя».

Процессия двинулась к выходу. Во главе, как и прежде, президиум: Газан, Ланибуар, Деминьер, и добрый учитель Фрейде Астье-Рею. Теперь они были великолепны. Попугаечно-зеленый цвет их расшитых золотом мундиров тонул в полумраке высоких сводов. Они выходили из глубины храма парами и медленно, точно нехотя, направлялись к огромному, сияющему квадрату — к открытым настежь высоким дверям. За президиумом следовала вся корпорация, пропуская вперед старейшего, достойного изумления Жана Рею, который казался еще выше в своем долгополом сюртуке; он шел, высоко подняв смуглую головку, точно выдолбленную из кокосового ореха, с видом пренебрежительным и рассеянным, означавшим, что он уже «это видел» несметное число раз. И в самом деле: за шестьдесят лет, в течение которых почтенный старец получал жетоны в Академии, он, надо полагать, наслышался псалмов и не раз кропил святой водой катафалки прославленных покойников.

Но если Жан Рею прекрасно играл Бессмертного, то следовавшие за ним «праотцы» представляли собой смешную, жалкую пародию на это звание. Дряхлые, сгорбленные, кривобокие, точно старые фруктовые деревья, они еле волочили ноги, спотыкались, моргали, как ночные птицы; те, которых никто не поддерживал, двигались ощупью. Имена их, произносимые шепотом в толпе, вызывали воспоминания об их трудах, которые канули в Лету, которые были давным-давно позабыты. Рядом с этими выходцами

с того света, с этими «отпускниками с Пер-Лашез», как их назвал какой-то остряк из конвоя, остальные академики казались молодыми; они пыжились, выпячивали грудь под восторженными взглядами женщин, сверкавшими сквозь черные вуали, среди теснившейся толпы, среди киверов и ранцев одуревших солдат.

И на этот раз поклон Фрейде двум-трем «будущим собратьям» был встречен холодной и презрительной усмешкой, вызывавшей в памяти дурные сны, когда лучшие друзья не узнают нас. Но не успел поэт этим опечалиться, как оказался в водовороте толпы, двигавшейся в противоположных направлениях: внутрь церкви и к выходу.

— Ну, дорогой виконт, придется нам теперь поддать пару.

Этот совет, сказанный ему на ухо любезным Пишералем среди гула голосов и стука передвигаемых стульев, ободрил несчастного кандидата, но когда он проходил мимо помоста, на котором стоял гроб, Данжу протянул ему кропило и, не глядя на него, прошептал:

— Сами не действуйте... Плывите по течению.

У Фрейде ноги подкосились. Поддать пару!.. Не действовать!.. Какому совету следовать, какой лучше? Его учитель Астье, наверное, ему это разъяснит. Поэт попытался выбраться из храма, чтобы отыскать мэтра. Но сделать это было нелегко на запруженной народом церковной площади в то время, как размещалась процессия и устанавливали гроб, заваленный бесчисленными венками. Нет ничего оживленнее выхода из церкви после отпевания на простор улицы в прекрасный солнечный день. Слышатся приветствия, светские любезности, не имеющие ничего общего с печальной церемонией, люди чувствуют облегчение, им хочется вознаградить себя за долгий час, проведенный в полной неподвижности, под звуки печального пения. Знакомые делятся своими планами, уславливаются о встрече — все говорит о том, что после краткого перерыва жизнь торопится вновь вступить в свои права, отбрасывая бедного Луазильона далеко в прошлое, которому он отныне принадлежит.

— Во Французской комедии, вечером... Только не забудьте... Это последний вторник,— лепетала г-жа Анселен.

— Вы будете до конца? — спросил Поль толстяка Лаво.

— Нет, я провожу госпожу Эвиза.

— Значит, в шесть у Кейзера — это будет недурно после речей.

Траурные кареты приближались длинной вереницей, между тем как другие экипажи стремительно уносились в разные стороны. Из всех окон, обращенных на площадь, высовывались люди. На конках, прекративших движение вдоль Сен-Жерменского буль-

вара, пассажиры стояли на империале, и головы их возвышались в несколько рядов, черными нитями прорезая синеву неба.

Фрейде, ослепленный солнечным светом, низко надвинув шляпу, смотрел на огромную толпу и чувствовал прилив гордости: он относил к Академии эту посмертную славу, которую никак нельзя было приписать автору «Путешествия в Андорскую долину». В то же время он, к своему великому прискорбию, убеждался, что его дорогие «будущие собратья» явно держали его на почтительном расстоянии, делали вид, когда он приближался, что они чем-то заняты, или же просто отворачивались, давая понять, что он лишний. Так поступали даже те, которые третьего дня у Вуазена обласкали его: «Когда же вы будете одним из наших?» Но горше всего ему было, что и Астье-Рею отступился от него.

— Какое несчастье, дорогой мэтр! — обратился к нему с соболезнующим видом кандидат, только чтобы что-нибудь сказать, чтобы почувствовать человеческое тепло.

Астье, стоя возле катафалка, не ответил, он перелистывал свою речь, которую ему предстояло произнести.

Фрейде повторил:

— Какое несчастье!

— Вы ведете себя неприлично, милый Фрейде,— произнес мэтр громко и резко. Щелкнув челюстью, он снова углубился в чтение.

Неприлично?.. Почему?.. Несчастный инстинктивно стал ощупывать, все ли пуговицы у него на месте, с тревогой осмотрел себя с головы до ног, не будучи в состоянии понять, чем вызваны эти резкие слова осуждения. Что случилось? Что он сделал?

У него потемнело в глазах. Он смутно видел, как катафалк с колыхавшейся на нем пирамидой цветов и зелеными мундирами по четырем углам тронулся с места. Сзади следовали тоже зеленые мундиры, потом вся корпорация, а за нею на почтительном расстоянии шла другая группа людей, среди которых очутился и он, сам не зная, как он туда попал. Молодые люди и старики, унылые, печальные, с глубокой складкой посреди лба, которая свидетельствовала о снедавшей их мысли, смотрели на своего соседа подозрительным, ненавидящим взглядом. Оправившись от пережитого волнения, Фрейде мог назвать каждого из них: он увидел увядшее, озабоченное лицо папаши Мозера — вечного кандидата, открытое лицо Дальзона, автора двусмысленной книжонки, забаллотированного на последних выборах, Салеля, Герино. Все они тащились на буксире; ими Академия больше не занималась, она предоставляла им плыть по волне, оставляемой победоносным судном, поймавшим их на надежный крючок. Все они были здесь налицо,

несчастные пойманные рыбы: одни уже дохлые, под водой, другие еще продолжали биться и бросали страдальческие, алчные взгляды, просящие, молящие, вечно молящие. Давая себе клятву избежать этой участи, Абель Фрейде шел на ту же приманку, тянулся за удочкой, так крепко попавшись на крючок, что вырваться ему не было уже никакой возможности.

Вдали, на улицах, очищенных от толпы, по пути следования процессии, приглушенная барабанная дробь, чередуясь с рокотом труб, привлекала прохожих, толпившихся на тротуарах, и любопытных, высовывавшихся из окон. Потом снова раздались протяжные звуки «Марша на смерть героя». И при виде этих необычайных почестей, этих национальных похорон, этого горделивого протеста униженного в своем достоинстве человека, побежденного смертью, но сумевшего возвысить и украсить свое поражение, отрадно было сознавать, что все это делается для Луазильона, непременного секретаря Французской академии, то есть для ничтожнейшего из ничтожных.

IX

Ежедневно между четырьмя и шестью, то несколько раньше, то позднее, смотря по времени года, Поль Астье приезжал принимать душ в водолечебницу д-ра Кейзера, находившуюся в конце предместья Сент-Оноре. Двадцать минут фехтования, бокса или упражнения на палках, затем холодный душ и плавание в бассейне. По выходе оттуда минутная остановка у цветочницы на улице Цирка, чтобы вдеть себе гвоздику в петлицу, а затем прогулка для моциона до Триумфальной арки на площади Звезды. Стэн в кабриолете следовал за ним вдоль тротуара. Потом катание по аллее акаций, где Поль возбуждал зависть женщин своим ярким цветом лица и нежной, как у девушки, кожей, чего он добился, неукоснительно соблюдая вошедшие в моду правила гигиены. Посещение водолечебницы избавляло его от чтения газет: сплетни передавались здесь из кабины в кабину, облетали фехтовальный зал, где завсегдатаи Кейзера болтали, сидя на диванах в замшевых куртках для стрельбы или во фланелевых халатах, не переставая судачить даже у дверей докторского кабинета в ожидании очереди на душ. Громко, без стеснения оглашались здесь последние новости: клубные, салонные, парламентские, биржевые и судебные,— среди лязга рапир и стука палок, подзывания служителей, резких похлопываний по голому телу, среди скрипа кресел на колесиках для ревматиков, фырканья пловцов в бассейне под гулкими сводами и покрывавших шум рассекаемой и струящейся

воды возгласов добрейшего д-ра Кейзера, который, стоя на своем помосте, беспрестанно повторял, как припев, одно и то же слово:

— Повернитесь!

В этот день Поль Астье с наслаждением «поворачивался» под благодатной струей воды, оставляя здесь свою мигрень и пыль, привезенные с похорон, а заодно и звучавшие в его ушах надгробные академические сетования в стиле Астье-Рею: «Часы его были сочтены... Хладная рука Луазильона... Испита до дна чаша счастья...» О, папаша! О, дорогой мэтр! Действительно, требовалось много воды — дождя, струй и каскада,— чтобы смыть воспоминание об этом мрачном пустословии. Еще весь мокрый, Поль столкнулся с каким-то высоким субъектом, вылезавшим из бассейна; субъект кивнул ему, дрожа от холода, согнувшись в три погибели; широкий резиновый капюшон закрывал ему голову и часть лица. Глядя на это мертвенно-бледное худое тело, на эту неестественную, деревянную походку, Поль принял его за одного из тех несчастных неврастеников — пациентов Кейзера, которые приходят для взвешивания в фехтовальный зал, безмолвные, словно ночные птицы, составляя разительный контраст с жизнерадостным смехом и избытком сил окружающих. Но презрительная горбинка длинного носа и брезгливо опущенные углы рта смутно напомнили ему кого-то из общества. В кабине, в то время как служитель массировал его, Поль спросил:

— Кто это поклонился мне, Раймон?

— Князь д'Атис, сударь,— ответил Раймон, подобострастно произнося слово «князь».— Он с некоторых пор принимает душ, и всегда по утрам... Только сегодня он запоздал из-за чьих-то похорон — так он сказал Жозефу.

В полуоткрытую дверь кабины виден был на противоположной, четной стороне коридора толстый, заплывший белым бесформенным жиром Лаво — голый, он пристегивал под коленями подвязки к длинным чулкам, какие обычно носят женщины и духовные лица.

— Ну, что скажете, Поль? Видели, как Сами набирается сил?

Лаво лукаво подмигнул.

— Набирается сил?..

— Ну да! Он женится через две недели, вы же знаете. Чтобы не ударить лицом в грязь, бедняга смело взялся за холодный душ и прижигания.

— А когда же он собирается в посольство?

— Очень скоро. Княгиня уже уехала. Там они и повенчаются.

Поль Астье почуял беду.

— Княгиня?.. Да на ком же он женится?

— Что вы, с луны свалились, что ли? Вот уже два дня весь Париж только об этом и говорит... На Колетте, черт возьми, на безутешной Колетте! Хотелось бы мне знать, как это приняла герцогиня... На похоронах Луазильона она держалась прекрасно, но не подняла вуали, никому не сказала ни слова... Нелегко проглотить такую пилюлю!.. Подумать только: не далее как вчера мы с ней вместе ездили выбирать обивку для петербургской спальни изменника.

Лаво говорил гнусавым, злым, как у светской кумушки, голосом, продолжая застегивать свои подвязки, а в виде аккомпанемента к этому жестокому рассказу через две кабины от них среди гулких похлопываний по голому телу раздавался голос князя, подбадривавшего служителя:

— Крепче, Жозеф, крепче! Не бойтесь!

Разбойник действительно набирался сил.

Поля Астье, который при первых словах Лаво пересек коридор, чтобы лучше слышать, охватило безумное желание вышибить ногой дверь в кабину к князю и наброситься на него, грубо потребовать объяснений от этого негодяя, вырвавшего у него из рук богатство. Но он счел свой гнев неуместным и вернулся к себе, чтобы одеться и немного успокоиться,— он понимал, что прежде всего ему нужно поговорить с матерью, узнать от нее действительное положение вещей.

Петлица его в этот вечер, сверх обыкновения, осталась без цветка, и, меж тем как женщины под ленивое покачивание растянувшихся вереницей экипажей искали глазами красивого молодого человека в аллее, где его привыкли видеть, он несся на Бонскую. Там его встретила Корантина, неряшливо одетая, с засученными рукавами. Пользуясь отсутствием барыни, она принялась за большую стирку.

— Вы не знаете, где мама обедает?

Нет, барыня ей ничего не сказала, но барин наверху, копается в бумагах.

Лестница жалобно заскрипела под тяжелыми шагами Леонара Астье.

— Это ты, Поль?

Полумрак коридора и душевное смятение, в котором он находился, помешали молодому человеку заметить растерянный вид отца и взволнованный тон, каким тот отвечал на вопросы.

— Как поживает мэтр?.. Мамы нет дома?..

— Нет, она обедает у госпожи Анселен и собирается с ней в театр... Попозже и я поеду туда.

Отцу и сыну нечего было больше сказать — они стояли лицом к лицу, чужие и враждебные друг другу. Сегодня, однако, Поль

сгорал от нетерпения и готов был спросить Леонара, что́ ему известно относительно брака Сами, но он тут же спохватился:

«Он слишком глуп, мама не могла с ним об этом говорить».

Отец, тоже терзаемый желанием задать какой-то вопрос, со смущенным видом обратился к сыну:

— Послушай, Поль... Представь себе, что у меня пропали... Я вот сейчас ищу...

— Что ты ищешь?

Астье-Рею на минуту заколебался, вглядываясь в красивое лицо сына, неизменно сохранявшее из-за слегка искривленного носа выражение неискренности, потом угрюмо и печально сказал:

— Нет, ничего, это бесполезно... Можешь идти.

Полю Астье оставалось только встретиться с матерью в театре, в ложе г-жи Анселен. Предстояло убить два-три часа. Он отослал экипаж, приказав Стэну приехать одевать его в клуб, сам же медленным шагом пошел бродить по Парижу, тающему в вечерних сумерках, когда кругло подстриженные кусты в тюильрийских садах загораются яркими красками на фоне темнеющего неба. Этот час восхитительной неопределенности словно создан для людей, погруженных в мечты или деловые комбинации. Экипажи попадаются все реже. Тени прохожих мелькают, слегка задевая вас; можно без помехи отдаваться своим думам. Молодой честолюбец размышлял, вновь обретя самообладание и ясность мысли. Он размышлял, как Наполеон в последние часы сражения при Ватерлоо: в течение целого дня неизменный успех, а вечером — неожиданное поражение. Почему? Какая была совершена ошибка? Он расставлял по местам фигуры на шахматной доске, искал и не мог понять. Быть может, он поступил неосторожно, что целых два дня не виделся с ней, но ведь самая элементарная тактика требовала после эпизода на кладбище дать женщине справиться с угрызениями совести. Можно ли было предвидеть такое поспешное бегство? Внезапно у него явилась надежда, что княгиня, эта легкомысленная птичка, меняющая свои решения, как жердочки, еще не уехала, что он застанет ее за приготовлениями к отъезду, безутешной, в нерешимости, вопрошающей портрет Герберта: «Посоветуй мне!..» — и он вернет ее, заключив в свои объятия. Теперь он понимал и ясно представлял себе, как складывались в ее маленькой головке все перипетии пережитого ею романа.

Он приказал отвезти себя на улицу Курсель. Особняк опустел! Ему сказали, что княгиня отбыла сегодня утром. Совсем упав духом, Поль вернулся домой, только чтобы не быть в клубе, где ему пришлось бы болтать и отвечать на вопросы. Вид огромного, в средневековом стиле дома, с фасадом, походившим на Башню

голода и облепленным ярлычками, заставил его сердце болезненно сжаться, напомнив о ворохе неоплаченных счетов. Ощупью он вошел к себе в особняк, пропахший запахом жареного лука: в те вечера, когда хозяин обедал в клубе, несносный маленький грум готовил себе тушеную говядину. Мастерская еще не погрузилась во мрак. Поль бросился на диван, раздумывая о том, что это за полоса неудач преследует его, расстраивая его замыслы, его хитроумнейшие комбинации, и заснул на два часа, после чего проснулся преображенным. Подобно тому как память обостряется во время сна, его воля, его интриганские способности не оставались бездейственными во время этого краткого отдыха. У него созрел новый план, к нему опять вернулась холодная и твердая решимость, которую французская молодежь проявляет гораздо реже, чем склонность к бряцанию оружием.

Поль быстро оделся, подкрепил силы парой яиц и чашкой чаю, слегка провел щипцами по бороде и усам, и, когда на контроле во Французской комедии он назвал имя г-жи Анселен, самый наблюдательный человек не мог бы в этом до кончиков ногтей светском щеголе подметить хотя бы намек на озабоченность и угадать, что́ заключает в себе эта очаровательная салонная вещица, покрытая черным и белым лаком и запертая на крепкий замок.

Культ официальной французской литературы, созданный г-жой Анселен, имел два храма: Французскую академию и Французскую комедию, но так как первый бывал открыт только для вознесения ревностных молитв верующих, то она усердствовала во втором, с необычайной пунктуальностью посещая все службы, не пропуская ни одной премьеры, ни одной генеральной репетиции, ни одного абонементного спектакля по вторникам. Книги она читала только с маркой Академии и с благоговением внимала только артистам Французской комедии, которых, еще не пройдя контроля, одаряла словами, полными умиления и неистового восторга. В своем воображении почтенная дама воздвигала две огромные кропильницы из белого мрамора у входа в дом Мольера, перед статуями Рашели и Тальма.

— Ах, какой порядок!.. Какие швейцары!.. Какой театр!..

Размахивая своими короткими ручками, с трудом переводя дыхание, толстая дама наполняла коридор экспансивной, шумной радостью, вызывавшей со всех сторон восклицания: «Вот и госпожа Анселен!» В особенности по вторникам равнодушие светской, чопорной публики составляло разительный контраст с ложей, где ворковала и млела от наслаждения, чуть не перевесившись через барьер, добродушная толстая горлица с розовыми глазками, трещавшая без умолку: «О, этот Коклен! О, этот Дело-

не! Что за молодежь!.. Какой театр!..» Ни о чем ином в этой ложе не разрешалось говорить, во время антракта знакомых встречали восторженные возгласы о таланте автора-академика или о прелестях актрисы из труппы любимого театра.

Когда вошел Поль Астье, занавес был поднят, и он, зная обряды этого культа, строжайший запрет произносить хотя бы одно слово во время действия, здороваться, двигать креслом, выжидал, стоя неподвижно в аванложе, отделенной одной ступенькой от самой ложи, где ее хозяйка предавалась восторгам, восседая между г-жой Астье и г-жой Эвиза; Данжу и Фрейде с физиономиями висельников сидели позади. При характерном щелканье затворяемой двери в ложу, за которым последовало грозное «Тшш!», обращенное к непрошеному гостю, дерзнувшему нарушить богослужение, мать слегка обернулась и вздрогнула, увидев сына. Что случилось? Что за важное и неотложное дело привело его сюда, в это осиное гнездо скуки,— его, способного скучать только ради какой-нибудь цели? Наверно, опять деньги, проклятые деньги. К счастью, они скоро у нее будут: женитьба Сами обогатит их. Несмотря на желание подойти к сыну, успокоить, сообщить радостную новость, которой он, возможно, еще не знает, она принуждена была оставаться на месте, смотреть на сцену и подпевать хозяйке: «О, этот Коклен!.. О, этот Делоне!.. Ох!.. Ах!..» Ожидание было для нее мучительной пыткой, как и для Поля, ничего не видевшего, кроме ослепительно яркого, раскаленного барьера рампы и отражавшейся в боковом зеркале части зрительного зала. Казалось, что окутанные голубоватой дымкой кресла, ложи и партер, ряды человеческих лиц, женские наряды и головные уборы находятся под водой — такие они были бесцветные, призрачные. В антракте — обязательное выслушивание похвал:

— А платье Рейшамбер? Вы заметили, милый Поль?.. Передник из розового стекляруса, а полосы по бокам из ленты. Заметили? Нет, право, только здесь и умеют одеваться.

Начали появляться знакомые. Мать добралась наконец до сына, села с ним на диван, и там, среди мехов и вечерних манто, они заговорили шепотом, наклонившись друг к другу.

— Отвечай коротко и ясно,— начал Поль.— Сами женится?

— Да, герцогиня знает об этом со вчерашнего дня... Но она все-таки сюда явилась... Эти корсиканцы так горды!

— А имя богатой иностранки... Теперь ты можешь его назвать?

— Боже мой, Колетта! Точно ты не догадывался!

— И в голову не приходило... Сколько ты за это получишь?

— Двести тысяч...— прошептала она торжествующе.

— А мне твои интриги обошлись в двадцать миллионов... Я потерял двадцать миллионов и женщину...

В бешенстве стиснув ей руки, он бросил ей в лицо:

— Ловкачка!

Она замерла на месте, словно оглушенная. Так это он был причиной того сопротивления, того противодействия, которое она встречала в иные дни, это из-за него вздыхала дурочка: «Если б вы только знали!» — безутешно рыдая в объятиях старшей подруги! И вот по окончании подкопа, который каждый со своей стороны вел к заветному кладу так хитро, терпеливо и таинственно, они при последнем ударе заступом очутились лицом к лицу, но с пустыми руками. Мать и сын молчали и искоса поглядывали друг на друга. Глаза их, такие схожие, злобно горели в полумраке. А знакомые меж тем приходили и уходили, оживленная беседа не прекращалась. И сильна же эта дисциплина, эта светская выдержка, заставившая обоих подавить в себе переполнявшее их желание кричать, топать ногами, вопить, разнести все вокруг!

Госпожа Астье первая прервала молчание:

— Если бы еще княгиня не уехала...

Рот ее исказился от злобы — ведь этот внезапный отъезд был тоже делом ее рук!

— Заставим вернуться! — сказал Поль.

— Каким образом?

Вместо ответа он спросил:

— Сами в театре?

— Не думаю. Куда ты? Что ты хочешь делать?

— Оставь меня в покое... Слышишь? Только не вмешивайся... У тебя несчастливая рука.

Он вышел из ложи с толпой посетителей, удалявшихся по окончании антракта, а мать вновь заняла свое место слева от г-жи Анселен, по-прежнему восторженной, благоговеющей, в состоянии вечного экстаза.

— О, этот Коклен!.. Да посмотрите же, милая!

Но «милая» была очень рассеянна. С блуждающим взглядом и страдальческой улыбкой освистанной балерины, она под предлогом, что свет рампы слепит ей глаза, поминутно оборачивалась к зрительному залу, отыскивая сына. Пожалуй, он еще затеет ссору с князем, если тот здесь... И все по ее вине, из-за ее чудовищной недогадливости...

— О, этот Делоне! Вы видели? Видели?..

Нет, она видела только ложу герцогини, куда кто-то вошел, такой же изящный и молодой, как ее Поль, но это был юный граф Адриани, узнавший вместе со всем Парижем о разрыве и уже пустившийся по свежим следам. До самого конца спектакля

мать терзалась страхом, тысячи смутных планов роились в ее голове. Она припоминала все, что случилось, даже мелкие эпизоды, которые должны были насторожить ее. Ах, дура, дура!.. Как это она не сообразила?..

Наконец-то разъезд! Но до чего все это медленно, остановки на каждом шагу, обмен приветствиями, улыбки, рукопожатия!

— Где вы проводите лето? Приезжайте к нам в Довиль.

В узком коридоре, где теснится толпа, где женщины укутываются в меха и шали, проверяя грациозным движением, на месте ли их сережки, на широкой мраморной белой лестнице, внизу которой ожидают слуги, мать, продолжая разговаривать, зорко всматривается, прислушивается, старается уловить в гуле огромного светского пчелиного роя, разлетающегося на несколько месяцев, словцо, намек на какое-нибудь столкновение. Но вот показалась герцогиня, гордая и величественная, в длинном белом манто, затканном золотом,— она спускалась под руку с папским гвардейцем. Она знает, какую подлость учинила ей приятельница, и обе женщины, проходя, обмениваются холодным взглядом, лишенным всякого выражения, но более опасным, чем самая отчаянная ругань прачек на мостках. Они знают теперь, чего можно ждать друг от друга, знают, что в этой войне, сменившей их задушевную близость, противники вооружены отравленными стрелами и каждый удар будет метко направлен искусной рукой в самое чувствительное место. Но обе находятся при исполнении светских обязанностей, обе прикрываются личиной хладнокровия, и их злобные чувства, у одной — глубокие и сильные, у другой — полные яда, могут соприкоснуться, столкнуться, не угрожая вспышкой.

Внизу, в толпе выездных лакеев и молодых щеголей, ждал Леонар Астье, заехавший за женой, как он ей и обещал.

— А вот и мэтр! — воскликнула г-жа Анселен.

В последний раз, смочив пальцы святой водой, она окропила ею всех — академика Астье-Рею, академика Данжу, и Коклена, и Делоне. Ох!.. Ах!.. Леонар молча следовал за нею, ведя под руку жену, сердито подняв от сквозняка воротник. Шел дождь. Г-жа Анселен предложила подвезти супругов, правда, без особой настойчивости, как обычно поступают люди, имеющие собственные экипажи, но боящиеся утомить лошадей, а пуще всего прогневать кучера, разумеется, лучшего кучера в Париже. Впрочем, мэтра ждал фиакр; он резко прервал поток любезностей, расточаемых толстой дамой.

— Ну, конечно, конечно,— щебетала она,— знаем мы вас... Чтобы побыть вдвоем... Ах, эти счастливые супруги!..

По мокрым проходам Леонар Астье увел жену.

Когда светская чета по окончании бала или вечера уезжает в карете, невольно возникает вопрос: «О чем они теперь будут говорить?» По большей части ни о чем особенном. Муж обычно покидает такого рода празднества раздраженный, усталый, а жена старается еще продлить их в темноте экипажа, сравнивая все мелочи своего наряда, своей внешности с тем, что она сейчас видела, припоминая особенности туалетов и убранства комнат. Но надетая в обществе маска столь бесстыдна, лицемерие света столь велико, что было бы любопытно понаблюдать за тем, как будет отброшена светская рисовка, уловить правду в звуках голоса, в самом существе этих людей, увидеть подлинные отношения между супругами, внезапно освободившимися от стеснений и условностей в своей карете, которая мчится по пустынному Парижу между отблесками фонарей.

Что касается супругов Астье, то их возвращения были особенно характерными. Оставшись наедине с мужем, г-жа Астье тотчас отбрасывала всякую почтительность и внимание, которыми она окружала мэтра в обществе, говорила резко, словно вымещая свой вынужденный интерес к его рассказам, прослушанным уже сотни раз и наводящим на нее смертельную скуку. Леонар, благодушный от природы, неизменно довольный собой и другими, возвращался обычно в самом радужном настроении и каждый раз бывал озадачен теми гадостями, которые его жена принималась рассказывать про хозяев дома — их друзей и про гостей, только что встреченных там. В своем злословии она спокойно доходила до самых чудовищных обвинений, с той легкостью, с тем бессовестным преувеличением, которыми проникнуты все взаимоотношения парижского общества. Чтобы не раздражать жену, он молчал, нахохлившись, или же дремал в своем углу. В этот вечер, не в пример прочим, мэтр развалился в экипаже, не обращая внимания на окрик жены: «Нельзя ли поосторожнее с моим платьем!» — пропустив мимо ушей этот пронзительный крик женщины, у которой помяли ее наряд. Но ему было наплевать на ее платье.

— Меня обокрали, сударыня! — крикнул он так громко, что стекла зазвенели.

Ах, боже мой!.. Автографы!.. Она совсем о них позабыла, в особенности в эту минуту, снедаемая более серьезной тревогой, и в удивлении ее не было ни малейшего притворства.

Обокрали, унесли письма Карла V, три ценнейших документа... Но голос его уже утратил уверенность, необходимую при атаке, подозрения его были поколеблены искренним изумлением Аделаиды. А она тем временем оправилась:

— Кого же вы подозреваете?

В честности Корантины, по ее мнению, сомневаться не приходится... Вот разве Тейседр... Но как можно предположить, что такой неотесанный болван...

Тейседр!.. Леонар даже завопил, настолько ему это показалось очевидным. Движимый ненавистью к человеку со щеткой, он как нельзя лучше объяснил себе преступление, проследив его от самых истоков, с той минуты, когда за столом зашла речь о ценности манускрипта. Слова мэтра, подхваченные Корантиной, были в простоте душевной повторены ею на кухне... Ах, негодяй, у него и вид настоящего преступника! Что за безумие было противиться этому безотчетному чувству недоверия! Разве естественна, в самом деле, эта антипатия, ненависть, которую внушил полотер ему, Леонару Астье, академику? Получит же он по заслугам, этот мерзавец, живо отправится на каторгу!

— Письма Карла Пятого! Ты только подумай...

Он решил, не заезжая домой, подать жалобу полицейскому комиссару. Жена пыталась отговорить его:

— Да вы с ума сошли!.. К комиссару после полуночи!

Но он заупрямился и высунулся под дождь, чтобы отдать приказание кучеру. Г-же Астье пришлось резко потянуть его назад. Усталая, измученная, не имея больше сил поддерживать эту ложь, вывертываться и хитрить, она призналась во всем:

— Это не Тейседр... Это я!..

Не переводя дыхания, она рассказала про поездку к Босу и про полученные деньги — двадцать тысяч франков, которые ей надо было достать во что бы то ни стало... Последовавшее затем молчание было столь продолжительным, что она подумала, не случился ли с мужем обморок или не хватил ли его удар. Нет. Но, подобно упавшему или сильно ударившемуся ребенку, бедный Крокодил так широко раскрыл рот, чтобы дать выход своему гневу, набрал такое количество воздуха, что не мог издать ни единого звука. Но вот наконец раздался неистовый рев на всю площадь Карусель, через которую ехал по лужам фиакр:

— Обокрали! Меня обокрали... Жена обокрала меня ради сына...

Его исступленный бред прерывался бранными словами из лексикона овернских крестьян вперемежку с воплями Гарпагона, оплакивающего украденную шкатулку: «О, где ты, справедливость! Праведное небо!.. Я погиб!..» — и с восклицаниями из других избранных произведений в том же роде, которые он не раз цитировал своим ученикам.

На огромной площади, по которой в этот час театрального разъезда сновали во всех направлениях омнибусы и экипажи,

было светло, как днем, от яркого света высоких электрических фонарей.

— Да замолчите же наконец! — остановила его г-жа Астье.— Ведь вас все знают.

— Кроме вас, сударыня.

Ей казалось, что он вот-вот прибьет ее, и в том состоянии нервного напряжения, в каком она находилась, она была бы, пожалуй, этому рада. Но Леонар внезапно притих из боязни скандала, только клялся прахом своей матери, что по приезде домой тотчас уложит свой сундук и отправится прямехонько в Сованья, а его супруга со своим сынком, прожорливой акулой, пусть наслаждаются плодами своего грабежа.

И еще раз высокий старый сундук, подбитый большими гвоздями, был перенесен из передней в кабинет. В нем еще оставалось несколько поленьев с прошлой зимы, но это не остановило Бессмертного, и в течение целого часа на весь дом раздавался грохот от швыряния дров и от хлопанья дверцами шкафов, из которых он все выкидывал, сваливая в опилки, на сухую кору белье, платье, ботинки, даже зеленый мундир и вышитый парадный жилет, аккуратно завернутые в салфетку. Но гнев его, нашедший себе выход в этой возне, постепенно стихал, по мере того как наполнялся сундук, и если от бури оставалась еще легкая зыбь и глухие раскаты, то лишь потому, что он чувствовал себя слабым, связанным по рукам и ногам, всеми своими корнями вросшим в эту жизнь. А г-жа Астье, присев на краешек кресла, в капоте и в ночном кружевном чепчике, смотрела на эти сборы и, позевывая, повторяла спокойно и насмешливо:

— Леонар! Ну полно!.. Леонар!..

X

— ...Для меня люди, как и вещи, имеют только одно значение, интересуют только с той стороны, с которой к ним можно подойти, чтобы вертеть ими как вздумается, чтобы крепко держать их в руках... Эту сторону найти я умею, и в этом моя сила!.. Кучер, к «Черной Голове»!..

По приказанию Поля Астье открытое ландо, в котором он вместе с Фрейде и Ведрином выехал за город, остановилось направо от моста Сен-Клу, перед указанной им гостиницей. Все трое были в черных, словно траурных, цилиндрах, резко выделявшихся на ярком послеобеденном солнышке. При каждом толчке тяжелого наемного экипажа о булыжники площади был виден зловещий длинный футляр из зеленой саржи, торчавший из-под

откинутого верха. Готовясь к дуэли с д'Атисом, Поль сначала наметил секундантами виконта де Фрейде, из-за его титула и частицы «де», и графа Адриани, но нунциатура побоялась нового скандала после истории с кардинальской шапкой, и Полю пришлось заменить юного Пепино скульптором, но его не покидала надежда, что, быть может, в последнюю минуту, для протокола дуэли, который будет опубликован в газетах, Ведрин не откажется раскрыть свой титул маркиза. Впрочем, ничего серьезного, судя по видимости, не произошло — просто пререкание в клубе за карточным столом, к которому князь присел в последний раз перед своим отъездом из Парижа. Недоразумение тем не менее уладить не удалось ввиду крайней несговорчивости Поля Астье, снискавшего себе громкую славу в фехтовальных залах: пробитые им мишени выставлялись напоказ в тире на бульваре д'Антэн.

В то время как коляска стояла у террасы ресторана, привлекая многозначительные взгляды молчаливых официантов, из круто спускавшегося переулка выкатился толстый человечек. Вертлявый и приветливый, как курортный врач, в белых гетрах, белом галстуке и в цилиндре, он издали махал зонтиком.

— Вот и Гомес...— сказал Поль.

Доктор Гомес, студентом успешно работавший в парижских больницах, а потом опустившийся из-за пристрастия к картам и давнишней сомнительной связи, искатель приключений низкого пошиба, человек не злой, но беспринципный, сделал своей специальностью участие в такого рода делах, получая за труды два луидора и завтрак. Девицы легкого поведения звали его дядюшкой. В настоящее время он отдыхал у Клокло в Вилль-д'Авре и прибыл к назначенному месту запыхавшись, держа в руках дорожный мешок с набором хирургических инструментов, аптечкой, бинтами, лубками в таком количестве, что их хватило бы на целый перевязочный пункт.

— Укол или рана? — спросил он, усевшись в ландо против Поля.

— Укол... укол, доктор. На академических шпагах... Французская академия против Академии моральных и политических наук.

Гомес улыбнулся, пристроив мешок между ногами.

— Я не знал... Я подготовился к серьезному делу.

— Нужно будет все это выложить, чтобы произвести впечатление на противника,— промолвил Ведрин своим обычным, спокойным тоном.

Гомес прищурился, видимо смущенный присутствием двух секундантов, неизвестных на парижских бульварах. Поль Астье

относился к доктору как к слуге и даже не соизволил их познакомить.

Когда ландо тронулось с места, во втором этаже отворилось окно «отдельного кабинета», и в нем показалась любопытная парочка: высокая хрупкая девушка с светло-голубыми, цвета льна, глазами, в корсете, с обнаженными руками, прикрывшись салфеткой, которая, однако, не закрывала груди и плеч, и бородатый уродец, настоящий балаганный карлик. Снизу была видна только его напомаженная, едва возвышавшаяся над подоконником голова и несоразмерно большая рука, охватившая, словно щупальцами, склонившийся стан Марии Донваль, инженю театра Жимназ.

Доктор узнал ее и назвал по имени.

— С кем это она?

Его спутники оглянулись, но женщина исчезла — у окна осталась только длинная голова горбуна, будто срезанная и посаженная на край подоконника.

— Скажите на милость! Да это дядюшка Фаж!..

Ведрин махнул ему рукой, потешаясь возмущением Фрейде.

— А что я тебе говорил?.. Самые хорошенькие девочки Парижа...

— Какая мерзость!

— Вас это удивляет, господин де Фрейде?

Поль Астье подверг женщин злобной критике... Это испорченные дети, со всеми извращениями и недостатками детей, с природными склонностями к обману и лжи, заносчивости и трусости... Кроме того, женщины жадны, тщеславны и любопытны! Болтают бойко и самоуверенно, но ни одной мысли в голове. В споре юлят, вертятся, скользят, точно ходят в потемках по льду... Разве можно о чем-нибудь поговорить с женщиной?.. У женщины ничего нет — ни доброты, ни жалости, ни ума, даже чувственности. Изменяет мужу с любовником, которого тоже не любит, пуще всего боится стать матерью, только один ее любовный возглас не лжет: «Будь осторожен!» Вот какова современная женщина... За фасон шляпки, за новое платье от Шприхта она способна украсть, готова на всякую низость, потому что, в сущности, любит только наряды!.. Чтобы представить себе, до какой степени женщины влюблены в наряды, нужно сопровождать, как это ему неоднократно приходилось, светских дам — самых шикарных, самых знатных — к знаменитому портному... Они дружат со старшими мастерицами, приглашают их на завтрак к себе в замок, благоговеют перед старым Шприхтом, как перед папой римским... Маркиза де Рока-Нова привозила к нему своих дочек — не хватало только, чтобы она попросила его благословить их.

— Совершенно верно,— подтвердил доктор, автоматически кивая головой, как человек на жалованье, у которого вывихнута шея от постоянного одобрения.

После неожиданной, прервавшей мирное течение беседы, резкой и необъяснимой выходки молодого человека, обычно такого холодного и сдержанного, наступило недоуменное, неловкое молчание. Солнце невыносимо пекло, накаляя сложенные из камня стены, окаймлявшие крутую дорогу, по которой с трудом тащились лошади; гравий скрипел под колесами.

— Как милосердна и сострадательна может быть женщина — этому я был свидетелем...— Ведрин заговорил, откинув голову, убаюканный движением экипажа, полузакрыв глаза, словно видя то, что недоступно другим...— Не у знаменитого портного, нет! В городской больнице, в отделении Бушеро... Заново оштукатуренная конура, железная кровать в беспорядке, одеяла сброшены на пол, и на ней безумец в предсмертном припадке, голый, покрытый потом, с пеной у рта, в страшных судорогах, извивается, как клоун в цирке, корчится и воет так, что по всему больничному двору слышно. У его изголовья две молодые женщины по обе стороны кровати: монахиня и совсем юная студентка, слушательница Бушеро... Обе наклонились без отвращения и страха к несчастному, к которому никто не решается подойти; они отирают ему лоб и губы, выступивший от страданий пот и пену, которая его душит... Монахиня все время читает молитву, студентка не молится, но у обеих глаза светятся той же любовью, и с одинаковой нежностью их маленькие мужественные ручки стирают слюну чуть ли не во рту у страдальца. И в них обеих, не знающих усталости, в их героической, чисто материнской самоотверженности чувствовалось столько женственного! Вот настоящие женщины!.. Хотелось пасть перед ними на колени и рыдать.

— Спасибо, Ведрин! — прошептал Фрейде; он задыхался от волнения, думая о своей милой сестре.

Доктор хотел было опять кивнуть головой: «Совершенно верно...», но Поль Астье нервно и сухо остановил его:

— Ну, понятно, сиделки, я не спорю... Сами хворые, они обожают ходить за больными, перевязывать, натирать, греть простыни, подносить тазы... К тому же их увлекает власть над страждущими, измученными болезнью...

Голос у него становился пронзительным, как у матери, в его холодных глазах сверкал злой огонек, удививший его спутников, которые невольно подумали: «Что с ним такое?» У доктора явилась вполне обоснованная мысль: «Сколько там ни толкуй об уколах и академических шпагах, а я бы не хотел быть на месте князя».

— Что касается материнского инстинкта женщины,— усмехнулся Поль Астье,— я мог бы в соответствии с картиной, нарисованной нашим другом, указать на госпожу Эвиза — беременная на восьмом месяце, она разозлилась на своего мужа-банкира за то, что он отказался купить ей какой-то драгоценный убор, била себя изо всех сил кулаками по животу и, наталкиваясь на мебель, старалась больнее ударить свой плод: «Вот тебе твой ребенок, подлец! Вот тебе твой ребенок!» А как пример стыдливости и супружеской верности можно привести случай с миленькой вдовушкой, которая в склепе, на надгробной плите покойного...

— Да ведь ты об эфесской матроне нам рассказываешь,— перебил его Ведрин.

И под тряску экипажа разгорелся спор, вековечный спор между мужчинами о женщине и о любви.

— Внимание, господа! — крикнул доктор; он, сидя спиной к кучеру, увидел два экипажа, быстро поднимавшиеся в гору вслед за ними.

Впереди, в открытой коляске, находились секунданты князя. Гомес, приподнявшись, вполголоса, с большим подобострастием назвал их имена:

— Маркиз д'Юрбен... Генерал де Боннейль, из Жокей-клуба... Вот это я понимаю! И мой коллега Обуи.

Тоже в своем роде неудачником был этот доктор Обуи, но только с орденом в петлице, потому и гонорар его доходил до ста франков. За коляской следовала собственная карета князя, в которой скрывался вместе со своим неизменным Лаво сам д'Атис, весьма раздосадованный всем этим делом. В продолжение пяти минут три экипажа поднимались в гору, один за другим, вереницей, как на свадьбе или на похоронах, слышался лишь стук колес, тяжелое дыхание и фырканье лошадей, потряхивавших удилами.

— Обгоните,— прогнусавил чей-то высокомерный голос.

— Вот и прекрасно,— сказал Поль,— пусть они приготовят нам расквартировку.

На узкой дороге экипажи чуть не задели друг друга колесами, секунданты обменялись поклонами, врачи — улыбками соучастников. Потом ландо Поля Астье обогнала карета, в которой за зеркальными стеклами, поднятыми, несмотря на жару, виднелось угрюмое, неподвижное лицо, бледное, как у мертвеца.

«Едва ли он будет бледнее через час, когда его повезут обратно с проколотым боком...» — думал Поль. Мысленно он прекрасно рассчитал удар: секундная финта, потом прямо вглубь, между третьим и четвертым ребром.

На пригорке стало прохладнее, воздух был напоен ароматом, цвели липы, акации, первые розы, за низкими оградами парков

волнами расстилались широкие лужайки, на которые ложились узорчатые тени деревьев. В тиши полей прозвенел колокольчик у какой-то калитки.

— Приехали,— объявил доктор Гомес, хорошо знавший эту местность. Здесь находился бывший конский завод маркиза д'Юрбена, распродававшийся два года кряду. Лошадей отсюда увезли, осталось только несколько молоденьких кобыл, скакавших по лугу, отделенному высокой изгородью.

Дуэль должна была состояться на большой площадке, в самом низу участка, перед белой каменной конюшней — туда пришлось добираться по спускавшимся вниз тропинкам, заросшим травой и мхом. Оба отряда шли вместе, молча, соблюдая все правила приличия. Один только Ведрин, не выносивший светских условностей, к великому огорчению Фрейде, выглядевшего особенно торжественно в своем туго накрахмаленном воротничке, то восторгался: «Смотрите, вот ландыш!..» — то срывал с ветки листок. Пораженный неподвижным величием природы, столь не соответствовавшим нелепой людской суете, глядя на густой лес, покрывавший склоны горы, на прекрасные дали, тонувшие в синеватой мгле жаркого дня, на сгрудившиеся крыши и сверкавшую на солнце реку, он твердил, машинально указывая на горизонт: «Какая красота! Какая тишина!» — не оборачиваясь и не видя, кто шел следом за ним, поскрипывая изящными ботинками.

О, каким презрением был обдан неучтивый Ведрин, а заодно и пейзаж, и само небо, ибо князь д'Атис был на это мастер,— он умел презирать, как никто! Он презирал взглядом, тем знаменитым взглядом, блеск которого не мог выдержать Бисмарк; презирал своим большим, лошадиным носом, ртом с опущенными углами; презирал, сам не зная за что, ничего не говоря, не слушая, не читая и не понимая. Вся его дипломатическая карьера, успех у женщин и в свете — все пришло к нему благодаря этому всепоглощающему презрению. Но, в сущности, этот Сами был пустым бубенцом, марионеткой,— умная женщина из сострадания вытащила его из мусорного ящика, в который бросают устричные раковины в ночных ресторанах, поставила на ноги, подняла на огромную высоту, нашептывая ему, что следует говорить и — что еще важнее — о чем следует умолчать, подсказывая каждое движение, каждый шаг до тех пор, пока, почувствовав себя на коне, он не отшвырнул ногой скамейку, ставшую ему ненужной. Свет обычно весьма одобряет подобного рода поступки. Иного мнения держался Ведрин. Ему пришли на память сказанные о Талейране слова «шелковый чулок, набитый грязью», когда он смотрел вслед величественно опередившему его, надменному, достойному всяческих похвал почтенному господину. Герцогиня, несомненно, ум-

ная женщина, если она, желая скрыть ничтожество своего любовника, сделала его дипломатом и академиком, нарядив его таким образом в два домино официального карнавала, одетые одно на другое, оба одинаково потрепанные, но сохранившие обаяние, перед которым по старой памяти продолжает преклоняться общество. Но как могла она полюбить этого опустошенного человека, этого бездушного шута, Ведрин не понимал. За княжеский титул? Она сама не менее знатного рода. За английский шик, за сюртук, плотно облегающий спину висельника, за брюки цвета лошадиного помета, особенно уродливые среди зеленой листвы? Пожалуй, прав был этот мерзавец Поль Астье, издеваясь над тяготением женщин ко всему низменному, к уродству моральному и физическому!

Князь подошел к доходившей ему до пояса изгороди, которая отделяла тропинку от лужайки, и, потому ли, что он не понадеялся на свои расслабленные ноги, потому ли, что перешагнуть ее считал недостойным столь важной особы, остановился в нерешительности. Особенно смущал его этот высоченного роста художник, присутствие которого он чувствовал за спиной. Наконец д'Атис решился сделать крюк, дойти до калитки. А Ведрин прищурил свои и без того маленькие глазки.

«Ступай, ступай, голубчик,— думал он,— выбирай хоть самую длинную дорогу, все равно придется дойти до конюшни. Кто знает, может быть, там тебя и ждет справедливая кара за все твои мерзости... Потому что в конце концов всегда наступает расплата...»

Успокоенный такими рассуждениями, художник, даже не коснувшись рукою плетня, одним прыжком перемахнул через него без всякой претензии на благовоспитанность и присоединился к группе секундантов, занятых бросанием жребия относительно места и шпаг. Глядя, как они, нагнувшись с серьезными и важными лицами, следят за падением монеты, как кидаются поднять ее, чтобы определить, орел это или решка, можно было бы принять их за школьников на перемене, но только морщинистых и с пробивающейся сединой. В то время как обсуждался вопрос о каком-то внушавшем сомнение ударе, Ведрин услышал, что его тихонько зовет Астье, переодевшийся за домиком и с полным хладнокровием опорожнявший свои карманы.

— Что там городит этот генерал?.. Он, кажется, намерен держать свою трость наготове, чтобы предотвратить несчастье!.. Я не хочу этого, понимаешь?.. Мы ведь не новички, оба мы люди бывалые, тренированные...

Астье шутил, но, сказав это, он плотно сжал губы, лицо приняло свирепое выражение.

— Стало быть, дело серьезное? — спросил Ведрин, глядя на него в упор.

— Как нельзя более серьезное.

— Странно! Я так и думал.

Скульптор подошел к генералу, командиру кавалерийской бригады, воинственному от пят до торчавших, как у фавна, ушей, которые по яркости цвета могли поспорить только с ушами Фрейде. От заявления скульптора они еще больше побагровели,— казалось, вот-вот из них брызнет кровь.

— Согласны, м-ст-вый г-с-дарь! Отлично, м-ст-вый г-с-дарь!

Слова хлестали, как удары бича. Слышал ли их Сами, которому доктор Обуи помогал засучить рукава рубашки? Или на него повлияло появление стройного, ловкого, как кошка, сильного молодого человека, который, обнажив круглую шею и руки, шел ему навстречу, устремив на него беспощадный взгляд? Как бы то ни было, приехав сюда ради соблюдения светских приличий, без тени беспокойства, как приезжает на дуэль дворянин, который уже не раз участвовал в подобного рода делах и знает, что́ значат в таких случаях два дельных секунданта, он сразу изменился, стал землистого цвета, нижняя челюсть под бессильно свисавшей бородой начала у него дрожать, лицо исказилось отвратительной гримасой страха. Тем не менее он овладел собой и довольно храбро стал в позицию.

— Господа, начинайте!

Да, за все бывает расплата. Он ощутил это всем своим существом перед направленным на него неумолимым острием, которое еще издали искало его и, казалось, щадило в первую минуту, чтобы тем вернее нанести удар. Его собирались убить... В этом не было сомнений. Вытянув длинную, худую руку, отступая под звяканье шпажных чашек, он впервые почувствовал угрызения совести, что так подло бросил свою любовницу, ту, которая вытащила его из грязи и вновь ввела в свет. Ему представилось также, что справедливый гнев этой женщины и вызвал эту грозящую ему сейчас, настигающую его опасность, которая словно взбаламутила все кругом, так что само небо, раскинувшееся над его головой, стало вращаться и отступать в каком-то фантастическом освещении. Он видел встревоженные лица секундантов и врачей, даже растерянные жесты двух конюхов, размахивавших фуражками, чтобы отогнать прыгавших лошадей, которым тоже хотелось посмотреть. Вдруг послышались громкие, резкие голоса:

— Довольно!.. Довольно!.. Остановитесь!..

Что случилось? Опасность уже далеко, небо снова стало неподвижно, все приняло обычное положение и окраску. Только у его ног, на истоптанной, взрытой земле, большая лужа крови,

от которой почернел желтый песок, и в ней лежит распростертый Поль Астье с проткнутой насквозь шеей, заколотый, как боров. В безмолвии оцепенения, вызванного катастрофой, на лужайке продолжают чуть слышно жужжать насекомые, а лошади, оставленные без присмотра, сгрудились в отдалении и любопытно тянутся мордами к неподвижному телу побежденного.

А ведь Поль мастерски владел шпагой. Под его пальцами, как бы слившимися с эфесом, клинок победно сверкал, взметался, спускался стремглав, со свистом рассекая воздух, и устремлялся вперед, тогда как у того, кто стоял против него, рука беспомощно и трусливо махала шпагой, как вертелом. Как же это могло получиться? Секунданты скажут, за ними сегодня вечером повторят газеты, а завтра и весь Париж, что Поль Астье, делая выпад, поскользнулся и сам наткнулся на шпагу! Все это будет разъяснено обстоятельно и точно. Но когда дело касается решающих событий человеческой жизни, разве точность наших слов не находится в противоречии с нашим внутренним убеждением? Даже для тех, кто был очевидцем, для самих участников дуэли навсегда останется неясной, покрытой туманом та критическая минута, когда вмешалась судьба и вопреки ожиданиям, наперекор логике нанесла последний удар, прикрывшись темным облачком, всегда окутывающим исход героических сражений.

Перенесенный в квартирку конюха, примыкавшую к конюшне, Поль Астье, лежа на железной кровати, раскрыл глаза после длительного обморока и прежде всего заметил литографию наследного принца, висевшую на стене над комодом, на котором были разложены хирургические инструменты. Придя в себя при виде предметов внешнего мира, Поль посмотрел на это жалкое, грустное лицо с тусклыми глазами, выцветшие от сырости стены, и несчастная участь этого юноши опечалила его как дурное предзнаменование. Но его душе, сотканной из честолюбия и хитрости, не чужда была смелость. С трудом подняв туго забинтованную голову, он спросил изменившимся, слабым, но все таким же насмешливым голосом:

— Рана или укол, доктор?

Гомес, свертывая пропитанную карболкой марлю, сделал ему знак молчать:

— Укол, счастливчик вы этакий... Самой малости недоставало... Мы с Обуи думали, что задета сонная артерия...

Щеки, молодого человека слегка порозовели, глаза заблестели. Как хорошо жить! В нем тотчас же проснулось честолюбие, он захотел узнать, долго ли ему придется пролежать в постели и когда он поправится окончательно.

Недели три — месяц, так сказал доктор, отвечавший небреж-

но, с оттенком забавного презрения, но, в сущности, раздосадованный, задетый за живое неудачей своего пациента.

Поль, уставясь в стену, размышлял. Д'Атис уедет, Колетта выйдет замуж прежде, чем ему удастся выздороветь... Значит, сорвалось, нужно подыскивать что-нибудь другое!

Дверь распахнулась, и в каморку широкой волной хлынул свет. О, жизнь! О, яркое солнце!.. Ведрин, войдя с Фрейде, приблизился к кровати и радостно протянул Полю руку:

— Ну и напугал же ты нас!

Он любил этого стервеца, он дорожил им, как произведением искусства.

— Да, очень напугал,— подтвердил виконт, вытирая лоб и чувствуя огромное облегчение.

Он только что видел свое избрание, свои надежды на академическое кресло лежащими на земле в крови. Никогда старик Астье не стал бы оказывать содействие человеку, причастному к такой катастрофе! Фрейде был добряк, но навязчивая мысль об Академии намагничивала его, как стрелку компаса: сколько его ни трясти, сколько ни поворачивать, он неизменно возвращался к академическому полюсу. И меж тем как раненый улыбался друзьям, слегка, однако, смущенный тем, что он, такой ловкий, такой сильный, лежит в постели и не может пошевельнуться, Фрейде не переставал восторгаться учтивостью секундантов, с которыми сразу удалось договориться относительно протокола поединка, учтивостью доктора Обуи, предложившего остаться со своим коллегой, наконец, учтивостью самого князя, уехавшего в коляске и предоставившего Полю Астье, чтобы отвезти его домой, свою карету, очень покойную, в одну лошадь, которая сможет подъехать к домику конюха. О, все это было так учтиво!

— Ну и надоел же он со своей учтивостью,— сказал Ведрин, подметив гримасу на лице Поля, которой тот не мог скрыть.

— Однако как все это странно!..— прошептал молодой человек чуть слышно, словно в раздумье.

Итак, за стеклом медленно возвращающейся кареты, рядом с доктором, все увидят его бледное, окровавленное лицо, а не лицо того, другого. Да, удар был неудачный!.. Вдруг он приподнялся, несмотря на увещевания врача, и быстро, дрожащей рукой написал карандашом на своей визитной карточке: «Судьба так же коварна, как и люди. Я хотел отомстить за Вас — и не смог... Простите...» Затем подписался, перечитал, подумал, снова перечел, вложил в дешевенький конверт с цветочками из деревенской мелочной лавочки, отысканный в пыли комода, написал на нем: «Герцогине Падовани» — и попросил Фрейде как можно скорее лично передать письмо.

— Ровно через час будет доставлено, дорогой Поль.

Поль жестом поблагодарил своих друзей, простился с ними, потом вытянулся, закрыл глаза и пролежал молча, без движения, до самого отъезда, прислушиваясь к раздававшемуся на залитой солнцем лужайке неумолчному тихому жужжанию насекомых, которое он воспринимал как начало лихорадки, и сквозь опущенные ресницы ему представлялось, как развернется новая интрига, столь отличная от прежней, чудесным образом, экспромтом явившаяся его воображению тут, пока он, поверженный, еще лежит на кровати конюха.

Но был ли это экспромт? Молодой честолюбец мог сам в этом ошибиться. Побудительный мотив часто ускользает от нас, затерянный, сокрытый среди того, что нас тревожит в критические минуты, подобно тому как растворяется в толпе вожак, который взбудоражил ее. Человеческое существо — это толпа. Такой же многогранный и сложный, как и она, человек поддается безотчетным порывам, но вожак тут же, сзади, и сколь неожиданными, ничем не обусловленными ни кажутся нам наши поступки, они, как и действия уличной толпы, всегда подготовляются заранее. С того самого вечера, когда Лаво на балконе особняка Падовани обратил внимание папского гвардейца на герцогиню, у Поля зародилась мысль, что в случае неудачи с г-жой Розен остается прекрасная Антония. Он подумал об этом еще третьего дня в театре, увидев графа Адриани в ложе герцогини, но не задержался на этой мысли, потому что все его усилия были направлены в другую сторону и он верил еще в возможность победы. Теперь же, когда он потерпел полное поражение, его первой мыслью с возвратом к жизни была герцогиня. Итак, почти неведомо для него самого, это решение, казавшееся ему внезапным, уже издавна, медленно и тайно зрело в нем.

«Я хотел отомстить за Вас — и не смог...»

Несомненно, добрая, пылкая и мстительная, какой он ее знал, герцогиня Падовани, которую ее соотечественники — корсиканцы называли Мари-Анто, завтра утром будет у его изголовья. И от него самого теперь уже зависит удержать ее навсегда.

Возвращаясь вдвоем в ландо, опередившем карету Сами, двигавшуюся медленно, чтобы не потревожить раненого, Ведрин и Фрейде философствовали перед пустым сиденьем, где в саржевом футляре лежали шпаги, которыми противники пользовались на дуэли.

— Присмирели небось, голубчики, а ведь не то было, когда ехали туда,— сказал Ведрин, пнув их сапогом.

Фрейде задумчиво произнес:

— И дрался-то он на своих шпагах.— Снова став торжественным и сдержанным, как подобает секунданту, он добавил: — Все преимущества были на нашей стороне — и место и шпаги... К тому же и фехтовальщик он первоклассный... Действительно, странно, как сказал Поль...

На минуту они примолкли, залюбовавшись красотой освещенной закатом реки, горевшей изумрудно-золотистым багрянцем.

Миновав мост, лошади рысью понеслись по Булонской улице.

— В сущности говоря,— продолжал Ведрин так, словно их беседа не была прервана долгим молчанием,— при всех его кажущихся успехах молодой человек все-таки неудачник. Я несколько раз наблюдал его в схватках с жизнью, когда ему приходилось пускать в ход все свои возможности при обстоятельствах, которые служат как бы пробным камнем, позволяющим судить о судьбе человека. И что же? Как он ни хитрит, как ни рассчитывает, как ни обдумывает все детали, наилучшим образом смешивая краски на палитре, в последнюю минуту что-то дает трещину и, не сломив его вконец, все же препятствует достижению намеченной цели... Почему? Может быть, только потому, что у него слегка искривлен нос... Уверяю тебя, что такие отклонения почти всегда служат признаком внутренней фальши, не совсем прямого пути. Незадачливый игрок!

Мысль эта позабавила их. Продолжая говорить об удаче и неудаче, Ведрин рассказал об одном странном случае, происшедшем чуть не на его глазах, когда он был на Корсике у герцогов Падовани. Жил он в Барбикалья на берегу моря, как раз против маяка на Сангинерских островах. На этом маяке был старый смотритель, отличный служака, которому уже недолго оставалось до выхода на пенсию. Однажды ночью во время дежурства старик заснул; он продремал ровно пять минут, ни одной минуты больше, остановив, однако, своей вытянутой ногой движение сигнального фонаря с вращающимся огнем, который должен был ежеминутно менять свой цвет. В ту же минуту, в ту же ночь главный инспектор, совершающий раз в год объезд, проходил на вестовом судне мимо Сангинерских островов; он удивился неподвижности сигнального света, приказал остановиться, стал следить, удостоверился, и на следующий день дозорная шлюпка доставила на остров нового смотрителя вместе с распоряжением о немедленном увольнении несчастного старика.

— Мне кажется,— заметил Ведрин,— что такое совпадение во времени и пространстве случайного взгляда инспектора и краткого сна старика — действительно редкий пример неудачи.

Когда они подъезжали к площади Согласия, художник широким, спокойным жестом указал на раскинувшееся над ними темно-зеленое небо, на котором в мерцании угасавшего чудесного дня загорались звезды.

Спустя несколько минут ландо въехало на короткую и уже темную улицу Пуатье и остановилось перед высокими, украшенными гербом воротами особняка Падовани. Жалюзи были спущены, только щебет птиц доносился из сада. Герцогиня уехала в Муссо на все лето. Фрейде колебался, держа в руках большой конверт. Думая, что он предстанет перед прекрасной Антонией, он приготовился сделать трогательное описание дуэли, ввернуть, быть может, словечко о своей кандидатуре на ближайших выборах и теперь не знал, передать ли письмо слуге или же лично отвезти его герцогине через три-четыре дня, как только он возвратится в Кло-Жалланж. В конце концов он оставил письмо привратнику и, садясь снова в экипаж, сказал:

— Бедняга!.. Он уверял, что это крайне спешно.

— Ну, понятно,— заговорил Ведрин, в то время как ландо катило по набережным, испещренным симметрично расположенными желтыми огоньками, к условленному месту, где должно было состояться составление протокола поединка.— Ну, понятно... Я не знаю содержания этого письма, но, судя по тому, что он написал его в такую минуту... Надо полагать, это какой-нибудь мастерский ход, что-то чрезвычайно искусное и тонкое... А вот поди ж ты... Крайне спешно, а герцогиня-то в отъезде!

С серьезным видом, теребя пальцами кончик носа, он добавил:

— Вот как обстоят дела, друг мой.

XI

Удар шпаги, от которого чуть не умер сын, заставил супругов Астье позабыть семейные раздоры. Потрясенный до глубины своего родительского сердца, Леонар расчувствовался и простил. А так как в течение трех недель г-жа Астье не отходила от постели Поля, забегая на Бонскую только чтобы взять белье или переменить платье, то устранялась опасность слышать косвенные, вскользь брошенные намеки, способные возобновить ссору между людьми, живущими вдвоем, даже после взаимного прощения и водворения мира. Потом, когда Поль выздоровел и уехал в Муссо, куда его настойчиво призывала герцогиня, окончательному примирению идеальной академической четы — по крайней мере, приведению ее к обычной, ровной температуре «холодных парников» — способствовали переезд супругов Астье во дворец Мазарини, вступление

мэтра в должность и водворение в квартиру покойного Луазильона, вдова которого, назначенная директрисой Экуэнского института, своим поспешным отъездом дала возможность новому непременному секретарю перебраться туда чуть ли не на следующий день после его избрания.

Для устройства на новой квартире, так долго служившей предметом зависти, ожидания, чаяний и надежд, где известен был каждый закоулок, все удобства для жильцов, времени потребовалось немного. Глядя, с какой точностью здесь размещалась мебель с Бонской, можно было подумать, что вещи возвращаются с дачи и сами становятся, как бы врастая, на свои места по оставленным ими следам на полу и стенах. Не было произведено никаких улучшений. Только немного привели в порядок спальню Луазильона, в которой тот умер, да оклеили новыми обоями бывшую гостиную Вильмена, превращенную Леонаром в кабинет, чтобы иметь для работы спокойную комнату, выходящую на залитый светом двор; к кабинету примыкало небольшое помещение, высокое и светлое, его отвели для автографов, перевезенных в три приема на фиакре с помощью переплетчика Фажа.

Каждое утро приносило историку новую усладу. Его «архив» был почти так же удобен, как в министерстве иностранных дел. Он входил туда, не сгибаясь, не карабкаясь по лестнице, не то что в собачью конуру на Бонской; об этой конуре он вспоминал теперь со злобой и отвращением, с той упорной, беспощадной злобой, с какой человек обычно относится к месту, где он страдал. Примирение возможно с живыми людьми, способными меняться, принимать то один, то другой облик, но по отношению к вещам, сохраняющим свою каменную неподвижность, это немыслимо. В радостном чаду переезда Астье-Рею позабыл свой гнев, вину жены, даже неприязнь к Тейседру, который, как и прежде, должен был являться в среду утром. Но стоило ему подумать о клетке на антресолях, куда еще так недавно его загоняли раз в неделю, как историк начинал скрежетать зубами, нижняя челюсть у него выступала вперед, и он снова превращался в Крокодила.

Но каков был этот Тейседр! Честь натирать полы во Французской академии, во дворце Мазарини, не производила на него никакого впечатления; он относился к этому с непостижимым равнодушием и продолжал с тем же спокойным высокомерием уроженца Риома взирать на простого «Шованья» и бесцеремонно толкать стол непременного секретаря, заваленный бумагами и бесчисленными докладами. Астье-Рею, не сознаваясь в том, был смущен этим подавлявшим его презрением и порой пытался разъяснить деревенщине величие того места, где он орудовал своим восковым кругом.

— Тейседр! — обратился он однажды к полотеру.— Здесь когда-то была гостиная великого Вильмена... Обращаю на это ваше внимание.

И тут же, чтобы смягчить гордого овернца, он малодушно приказал Корантине:

— Принесите стаканчик вина этому славному малому.

Изумленная Корантина принесла вино, и полотер, с широко раскрытыми сияющими глазами, выпил его залпом, опершись на свою щетку, потом, обтерев обшлагом рот, поставил на поднос пустой стакан, на котором остался след от его жадных губ.

— Что там ни говори, гошподин Аштье, нет ничего лучше на швете, чем штаканчик холодненького винца.

В его голосе звучало такое непоколебимое убеждение, бородавки на его лице излучали столько блаженства, что непременному секретарю осталось только удалиться в свой «архив», громко хлопнув дверью. В конце концов не стоило выбиваться из сил, подниматься из ничтожества на такую высоту, на вершину литературной славы, становиться историком Орлеанского дома, главной пружиной Французской академии, если не меньшее счастье может доставить этому неучу стакан холодного вина. Услыхав, однако, как через минуту полотер, посмеиваясь, говорил Корантине, что «плевать ему на бывшую гостиную Вильмена», Леонар Астье пожал плечами, и зависть его исчезла перед лицом подобного невежества, уступив место глубокой благодушной жалости.

А г-же Астье, выросшей и воспитанной во дворце Мазарини, связанной воспоминаниями детства с каждой плитой на дворе, с каждой ступенькой почтенной и пыльной лестницы Б, казалось, что после долгого отсутствия она наконец вернулась домой. Неизмеримо больше, чем ее муж, могла она оценить материальные преимущества их настоящего положения: не надо было больше платить за квартиру, за отопление и освещение — большая экономия во время зимних приемов! — не говоря уже об увеличенном окладе, знакомствах в высшем свете, влиятельных связях, столь нужных ее сыну в погоне за заказами. Восхваляя в прежнее время прелести своей квартиры, г-жа Луазильон всегда с пафосом присовокупляла: «Я принимала в ней даже царствующих особ...» «Без сомнения, но только в «известном месте»,— ехидно поясняла милейшая Аделаида, вытягивая свою длинную шею. Действительно, в дни торжественных заседаний, томительных и бесконечно долгих, нередко случалось, что по окончании их какая-нибудь путешествующая принцесса крови или светская дама, пользовавшаяся влиянием в министерских кругах, наносила жене непременного секретаря не совсем бескорыстный визит. Именно такого рода гостеприимству обязана была г-жа Луазильон получением

теперь поста директрисы, а г-жа Астье, разумеется, не хуже своей предшественницы сумеет воспользоваться «известным местом». Только ссора с герцогиней, помешавшая г-же Астье последовать за Полем в Муссо, омрачала ей торжество. Но тут весьма кстати подоспело приглашение из Кло-Жалланжа, расположенного по соседству с замком герцогини, что давало Аделаиде возможность быть неподалеку от сына, и она надеялась мало-помалу снова войти в милость к прекрасной Антонии, к которой она почувствовала прилив нежности за ее доброту к Полю.

Леонара задерживали в Париже служба и дела Луазильона, сильно запущенные за последние месяцы, и он согласился на отъезд жены, пообещав приехать на несколько дней к их друзьям Фрейде, но в глубине души твердо решив не покидать дорогой его сердцу Академии. Там так хорошо, так покойно! Два заседания в неделю — причем Леонару надо было только перейти двор,— летние заседания, происходившие запросто, по-семейному, на которых дремали пять-шесть «жетонщиков» под нагретым солнцем стеклянным куполом. В остальные дни недели — полнейшая свобода. Трудолюбивый старец пользовался досугом, чтобы выправить корректуру своего наконец дописанного «Галилея», который должен был выйти в свет к началу осени. Леонар полол сорную траву, подчищал, следил за тем, чтобы там не оставалось чего-нибудь такого, чтобы ничего такого не осталось, а кроме того, готовил к печати второе издание «Орлеанского дома», обогащенное новыми, еще не изданными материалами, вдвойне увеличивавшими ценность исследования. Мир дряхлеет. История — это память человечества, и, как таковая, она подвержена всем недугам, страдает пробелами, слабеет, а потому должна всегда и неизменно опираться на подлинные, оригинальные документы, обновляться, обращаться к первоисточникам во избежание ошибок и пустозвонства. Какую гордость, какой сладостный трепет испытывал поэтому Астье-Рею, перечитывая в знойные августовские дни эту столь достоверную, столь оригинальную документацию, прежде чем отослать издателю Пти-Секару драгоценные страницы вместе с заглавным листом, на котором впервые красовалось под его фамилией: «Непременный секретарь Французской академии»! Его глаз еще не привык к этому званию, и оно всякий раз ослепляло его, как и сверкавший белизною на солнце перед его окнами двор, огромный второй двор Академии, величественный и безмолвный, лишь изредка оглашаемый щебетанием ласточек и чириканьем воробьев и казавшийся еще более внушительным благодаря бронзовому бюсту Минервы и десяти колоннам, возвышавшимся вдоль задней стены, над которой поднималась гигантская труба Монетного двора, расположенного по соседству.

Около четырех часов, когда тень от бюста богини в шлеме начинала заметно удлиняться, по плитам двора раздавались беспокойные, быстрые шаги старого Жана Рею. Он жил над квартирой четы Астье и ежедневно в определенный час выходил на большую прогулку, сопровождаемый — правда, на значительном расстоянии — слугой, опираться на руку которого он упорно отказывался. Летом, очень жарким в этом году, он еще хуже стал слышать, еще более замкнулся в себе, умственные способности его ослабели, особенно память, которой уже больше не могли помочь булавки, вколотые в отвороты его сюртука. Он путался в своих рассказах, блуждал в своих воспоминаниях, как старый Ливингстон среди болот Центральной Африки, топтался на месте, сбивался, пока кто-нибудь не приходил ему на помощь. Это обижало старика, приводило его в мрачное настроение, он сторонился людей, разговаривал сам с собой во время прогулок, отмечая неожиданной остановкой и кивком головы конец какой-нибудь истории и неизбежно следовавшее затем: «Я сам это видел». Впрочем, старец все еще держался прямо, и, как и во времена Директории, был столь же склонен к мистификациям и забавлялся тем, что лишал вина и мяса, заставляя следовать самой разнообразной и нелепой диете, толпу глупцов, жаждавших продлить жизнь и осаждавших его письмами, дабы узнать, какому режиму обязан он своим необычайным долголетием. Предписывая одним овощи, молоко или сидр, другим — одни только устрицы, себе он ни в чем не отказывал, изрядно выпивал за обедом, после чего всегда ложился отдыхать, а по вечерам бодрым шагом расхаживал взад и вперед, словно отбывая вахту, над головой Леонара Астье.

Прошли два месяца — август и сентябрь — после переезда непременного секретаря на новую квартиру, два месяца, исполненных счастливого и плодотворного покоя,— таким затишьем в честолюбивых замыслах Леонар Астье, быть может, не наслаждался за всю свою долгую жизнь. Г-жа Астье уведомляла о своем скором возвращении из Кло-Жалланжа. Парижское небо уже серело первыми туманами, академики начали съезжаться, заседания утратили семейный характер, и в бывшей гостиной Вильмена Леонару Астье уже не надо было за работой опускать шторы, защищаясь от палящего солнца на дворе. Однажды после полудня, когда ученый, сидя за столом, писал милейшему своему Фрейде, сообщая ему добрые вести относительно его кандидатуры, старинный надтреснутый колокольчик резко задребезжал в передней. Корантина куда-то отлучилась. Леонар Астье сам пошел отворять и, к величайшему своему удивлению, оказался лицом к лицу с бароном Юшенаром и Босом, архивариусом-палеографом, который, ворвавшись с растерянным видом в кабинет мэтра, вздымая руки

к небу и тряся своей рыжей бородкой и всклокоченной головой, прохрипел:

— Документы фальшивые... У меня есть доказательства... Доказательства!..

Астье-Рею, ничего не понимая, смотрел на барона, уставившегося на карниз, затем, уяснив себе из воплей палеографа, что оспаривается подлинность писем Карла V, проданных г-жой Астье и уступленных Босом Юшенару, свысока улыбнулся и выразил полную готовность выкупить эти три автографа, бесспорность которых ничто не могло поколебать в его глазах.

— Позвольте мне, господин непременный секретарь, обратить ваше внимание.

Говоря это, барон Юшенар неторопливо расстегнул свое пальто цвета мастики и вытащил из большого конверта три письма Карла V, совершенно преображенные, ставшие неузнаваемыми под действием щелочей, сменившие свой дымчатый цвет на ослепительно белый, обнаруживая даже для невооруженного глаза фабричное клеймо, удобочитаемое и явственное, посреди страницы, под подписью короля:

Б. Б.
Ангулем
1836 г.

— Это химик Дельпеш, наш ученый собрат, из Академии наук...

Объяснения барона неясным гулом отдавались в сознании злополучного Леонара. Он стоял без кровинки в лице, побледнев до кончиков толстых волосатых пальцев, в которых дрожали три автографа.

— Двадцать тысяч франков будут у вас сегодня вечером, господин Бос,— с трудом двигая пересохшими губами, произнес Астье-Рею.

— Господин барон заплатил мне за них двадцать две тысячи,— жалобным тоном возразил Бос.

— Двадцать две тысячи, согласен,— сказал Астье-Рею и нашел в себе силы проводить посетителей. Но в полумраке темной передней он задержал своего коллегу из Академии надписей и стал смиренно молить его ради чести Французской академии не предавать огласке это злополучное дело.

— Охотно, дорогой мэтр, но с условием...

— Говорите, говорите!..

— В ближайшие дни вы получите от меня письмо относительно моей кандидатуры на кресло Луазильона...

Крепкое рукопожатие было ответом непременного секретаря, поручившегося за себя и за своих друзей.

Оставшись один, несчастный рухнул в кресло у заваленного корректурой стола, где лежали развернутыми три подложных письма к Рабле. Он тупо смотрел на них, ничего не понимая, и машинально читал: «Мэтр Рабле! Вы, чей ум столь тонок и проницателен...» Буквы плясали, вихрем кружились перед ним, неясные и расплывшиеся под действием железного купороса в большие пятна, которые на его глазах росли, ширились и готовы были поглотить всю его коллекцию, все его двенадцать тысяч автографов, так как все они, увы, происходили из одного и того же источника... Если эти три документа поддельные... Стало быть, и его «Галилей», и «Орлеанский дом», и письмо Екатерины, поднесенное великому князю, и письмо Ротру́, которое он публично принес в дар Академии!.. Стало быть... стало быть... Необычайным усилием воли он заставил себя встать. Фаж! Немедленно к Фажу!

Его знакомство с переплетчиком началось несколько лет назад, с того дня, когда маленький человечек явился в архив министерства иностранных дел, чтобы испросить мнение прославленного и ученого директора архива относительно письма Марии Медичи к папе Урбану VIII, в котором она ходатайствовала за Галилея. Как раз в это время Пти-Секар, издавая серию занимательных исторических повествований под общим заглавием «Школьные досуги», объявил о предполагаемом выходе в свет «Галилея», принадлежащего перу академика Астье-Рею. Поэтому, когда на основании своего долголетнего опыта маститый историк определил и удостоверил подлинность манускрипта и когда узнал, что у Фажа имеется также ответ папы Урбана, благодарственное письмо Галилея королеве и другие документы, у него возникла мысль написать серьезный исторический труд вместо предполагавшегося пустячка. Но в то же время у него, как у человека честного, зародились сомнения относительно происхождения этих документов, и он пристально посмотрел на уродца, изучая с таким же вниманием, как если бы это был автограф, его длинное, мертвенно-бледное лицо с красными моргающими веками, затем, строго щелкнув челюстью, спросил:

— Эти манускрипты принадлежат вам, господин Фаж?

— О нет, дорогой мэтр!

Он, Фаж, являлся только посредником одной особы... одной престарелой девицы знатного происхождения, вынужденной распродавать по частям богатую коллекцию, являющуюся достоянием ее семьи еще со времен Людовика XVI. Он даже не решался взять на себя посредничество, не спросив предварительно мнения известнейшего и беспристрастнейшего ученого; теперь же, заручив-

шись одобрением мэтра, он предполагает обратиться к богатым коллекционерам, к барону Юшенару, например, но тут Астье-Рею прервал его:

— Незачем! Принесите мне все, что относится к Галилею. Я сумею пристроить эти документы.

Люди приходили и садились у маленьких столиков — это были завсегдатаи архивов, охотники покопаться в бумагах и разнюхать что-нибудь новое, похожие на молчаливых, покрытых пылью землекопов, разрывающих катакомбы и пахнущих плесенью, затхлостью, трупами, извлеченными из могил.

— Наверху!.. В моем кабинете... Не здесь,— шепнул архивариус, нагнувшись к огромному уху горбуна, напомаженного, в перчатках, с пробором посредине, удалявшегося с горделивым самодовольством, столь характерным для такого рода калек.

Сущий клад была эта коллекция семейства Мениль-Каз — фамилию старой девы Альбен Фаж сообщил под строжайшим секретом — неисчерпаемый клад автографов XVI и XVII веков, разнообразных и любопытных, являвших прошлое в новом свете, ниспровергавших иногда одним словом, одной датой сложившиеся представления о фактах и людях. Как бы дорого они ни стоили, Леонар Астье не упускал ни одного из этих документов, почти всегда оказывавшихся необходимыми для его работ, которыми он был занят или которые задумывал. И ни тени сомнения не возбуждали в нем рассказы горбуна о непочатых связках автографов, валявшихся в пыли на чердаке старого особняка в Менильмонтане. Если после некоторых ядовитых намеков «великого собирателя автографов» подозрение и рождалось у историка, то как он мог устоять перед невозмутимостью переплетчика, сидевшего за своим станком или поливавшего салат в тиши зеленого скита, в особенности слушая его объяснения, совершенно правдоподобные, по поводу ошибок или подчисток на иных листах, его рассказы о том, как коллекция семейства Мениль-Каз пострадала от шторма, когда ее перевозили в Англию во времена эмиграции? Успокоенный и довольный, Астье-Рею бодрым шагом проходил через двор, каждый раз унося с собой какое-нибудь новое приобретение, оставляя взамен чек на пятьсот, на тысячу или даже на две тысячи франков, в зависимости от важности исторического документа.

В сущности, какими бы соображениями ни старался он успокоить свою совесть, причиной этой расточительности, о которой никто из окружающих его не подозревал, были не столько научные интересы историка, сколько страсть коллекционера. Как бы ни было темно в чуланчике на Бонской, как бы ни приглушались здесь всякие звуки, человек наблюдательный не мог бы ошибиться: голос, нарочито равнодушный, пересохшие губы, шептавшие: «По-

кажите-ка...» — алчная дрожь пальцев обличали всепоглощающую страсть, грозившую превратиться в манию, в эгоистическую, жестокую кисту, которая в своем чудовищном развитии захватывает и пожирает всего человека. Астье превращался в классического Гарпагона, свирепого, безжалостного к себе и своим близким, готового кричать о бедности и тащиться на конках, тогда как за два года сто шестьдесят тысяч франков его сбережений тайком от всех перешли в карман горбуна. Чтобы оправдать в глазах г-жи Астье, Корантины и Тейседра частые посещения маленького человечка, академик давал ему переплетать свои дела, приносимые и уносимые для отвода глаз. Между собой они пользовались иносказаниями, условным паролем. Альбен Фаж извещал открытым письмом: «Могу предложить вам интереснейший образчик тиснения на коже, переплет XVI века в полной исправности: очень редкий...»

Леонар Астье колебался: «Благодарю вас, пока не нужно, время терпит...» Снова послание: «Не беспокойтесь, дорогой мэтр. Я предложу в другом месте!» На что академик неуклонно отвечал: «Завтра рано утром... Принесите переплет...» Одно только отравляло его радости коллекционера: необходимость покупать, все время покупать, из боязни, что изумительная коллекция уйдет к Босу, к Юшенару, к другим любителям. Порой, думая о том дне, когда у него не хватит денег, Леонар приходил в непостижимую ярость и набрасывался на уродца, бесившего его своим безмятежным и самодовольным видом.

— Свыше ста шестидесяти тысяч франков за два года!.. И вы говорите, что она опять нуждается в деньгах!.. Какую же жизнь ведет ваша благородная девица?

В такие минуты он желал смерти старой девы, гибели переплетчика, войны или Коммуны, какой-нибудь социальной катастрофы, которая поглотила бы коллекцию семейства Мениль-Каз вместе с теми, кто так бессовестно на ней наживался.

И вот теперь приближается катастрофа, не та, которой он желал,— судьба не располагает именно тем, чего мы у нее просим,— но неожиданная зловещая развязка, грозящая погубить его труды, его имя, состояние, славу — все, чем он был и что имел. Глядя, как он большими шагами шел по направлению к Счетной палате, мертвенно-бледный, громко разговаривая сам с собой, не отвечая на поклоны, которые прежде различал даже в глубине лавок, книгопродавцы с набережной и торговцы гравюрами не узнавали своего Астье-Рею. Он ничего и никого не видел. Ему казалось, что он держит горбуна за горло, трясет его за щегольской, заколотый булавкой галстук и тычет ему в нос письма Карла V, опозоренные реактивами Дельпеша;

«Ну, что вы скажете на этот раз?»

Дойдя до улицы Лилль, он толкнул дощатую необструганную калитку, проделанную в заборе, окружающем дворец, затем, перешагнув порог, позвонил у решетки, потом еще раз позвонил; он был потрясен мрачным видом здания, лишенного цветов и зелени, настоящих руин, оголенных, обвалившихся, согнутых железных балок, увитых засохшими лианами. Шлепанье стоптанных башмаков послышалось во дворе. Показалась привратница, толстая женщина с метлой в руке; не открывая, она крикнула через решетку:

— Вы к переплетчику? Он у нас больше не живет...

Уехал дядюшка Фаж! Выехал, не оставив адреса. Она теперь убирает его домишко для того, кто поступает на его место в Счетной палате, а горбун уволился.

Астье-Рею пробормотал из приличия еще несколько слов, но стая черных птиц, спустившаяся во двор, покрыла его голос резкими, зловещими криками, гулко раздававшимися под сводами.

— Ишь ты!.. Вороны с особняка Падовани,— сказала женщина, почтительным жестом указывая на высившиеся напротив, над крышами, платаны с посеревшими ветвями.— Нынче вороны прилетели раньше герцогини. Наверно, зима будет ранняя.

Леонар Астье в ужасе удалился.

XII

На другой день после того спектакля, на котором герцогиня Падовани, несмотря на постигший ее удар, пожелала присутствовать с улыбкой на устах, давая женщинам своего круга величайший урок искусства держать себя, она, как всегда в это время года, отбыла в Муссо. С внешней стороны ничто не изменилось в ее жизни. Приглашения, разосланные на лето, не были отменены. Но до прибытия первой партии гостей, в те дни, которые обычно красавица Антония посвящала мельчайшим заботам о размещении и устройстве приглашенных, она, как раненый, затравленный зверь, с утра до вечера металась по своему парку, необозримо раскинувшемуся на холмистых берегах Луары, останавливалась на минуту, изнемогая от усталости, потом снова устремлялась вперед, гонимая душевной мукой.

— Подлец!.. Подлец!.. Негодяй!..

Она бранила отсутствующего, словно он был рядом с ней, словно он шел тем же лихорадочным шагом по змеившимся зеленым аллеям, которые спускались к реке длинными тенистыми зигзагами. Это была уже не герцогиня, не светская дама. Отбро-

сив все условности, став наконец просто женщиной, она вся отдавалась своему отчаянию, быть может, не столь сильному, как ее гнев, потому что громче всего кричала в ней гордость, и слезы, выступавшие на ее ресницах, не катились по щекам, а брызгали и жгли, как раскаленное железо. Отомстить! Отомстить! Она выискивала кровавый способ мести, порой представляла себе, как один из ее егерей — Бертоли или Сальвиатто — всадит изменнику пулю в лоб в день его свадьбы... Или нет! Самой нанести удар, почувствовать радость отмщения, совершенного своей рукой... Она завидовала женщинам из простонародья, подстерегающим мужчину за дверью, чтобы плеснуть ему в лицо серной кислотой и осыпать его при этом отборной бранью. О, почему не знает она этих зазорных слов, приносящих облегчение, не может крикнуть оскорбительнейшее ругательство изменившему ей, презренному возлюбленному, который так и стоит перед ее глазами, каким он явился к ней на последнее свидание, с бегающим взглядом, лживой и натянутой улыбкой! Но даже на местном корсиканском наречии уроженцев Иль-Русса патрицианка не знала таких бранных слов, и после того, как она тысячу раз повторяла: «Подлец!.. Подлец!.. Негодяй!..» — ее красивый рот искажался от бессильной злобы.

По вечерам, после одинокого обеда в огромной столовой, обтянутой старинной кожей, которую золотили лучи заходящего солнца, снова начинался бег дикого зверя. Она ходила взад и вперед по висевшей над самой рекой галерее, превосходно реставрированной Полем Астье, украшенной прозрачными, кружевными арками и двумя прелестными, выступавшими вперед башенками. Внизу, подобно озеру, расстилалась Луара, сверкая чистым серебром в меркнувшем свете дня. По направлению к Шомону заросли ивняка перемежались с песчаными косами, образованными ленивым течением реки. Но бедная Мари-Анто не любовалась природой; измученная бесплодными попытками убежать от своего горя, она, облокотясь на перила, смотрела вдаль. Жизнь представлялась ей пустой и разбитой, и это в том возрасте, когда трудно начать ее сызнова! Слабые голоса доносились из ютившихся на откосе неподалеку от замка невысоких домиков, якорная цепь скрипела в ночном прохладном воздухе. Как легко дать волю своему отчаянию, стоит только немного податься вперед!.. Но что скажет свет? Женщина в ее возрасте, в ее положении кончает самоубийством, точно покинутая гризетка!

На третий день пришло письмо от Поля, в газетах появился подробный протокол поединка. Ей стало тепло и радостно на душе. Значит, кто-то еще любит ее, кто-то пожелал ценой своей жизни за нее отомстить. Впрочем, она не приписывала это любви, а лишь

признательности молодого человека, помнящего услуги, оказанные ему и его семье, а быть может, и потребности загладить вероломный поступок матери. Благородный, смелый юноша! В Париже она тотчас же бы к нему поехала, но гости извещали уже о своем приезде, и она могла только написать ему и послать своего врача.

С каждым часом прибывали все новые и новые приглашенные, через Блуа или через Онзен,— Муссо находился на одинаковом расстоянии от обеих станций. Двор непрерывно оглашался звонками. Ландо, коляска и два огромных фаэтона подвозили к парадному крыльцу именитых завсегдатаев салона Падовани, академиков и дипломатов: графа и графиню Фодер, обоих Бретиньи, герцога и виконта — секретаря одного из наших посольств, г-на и г-жу Деминьер, философа Ланибуара, приехавшего сюда писать доклад о премиях за добродетель, юного критика, автора статьи о Шелли, выдвигаемого герцогиней, и Данжу, красавца Данжу, явившегося без жены, которая хотя и получила приглашение, но могла помешать планам, роившимся под завитками его новой накладки. И жизнь в Муссо потекла по примеру прошлых лет. Утром навещали друг друга или работали в комнатах, завтракали, собирались вместе, отдыхали. Потом, когда спадала жара, предпринимали дальние прогулки в экипажах в лес или по реке на лодках, стоявших на причале в конце парка. Закусывали на каком-нибудь островке, отправлялись компанией вытаскивать сети, всегда полные плескавшейся рыбы,— речной сторож накануне такой поездки заботливо наполнял их доверху. По возвращении — переодевание к обеду, всегда чрезвычайно парадному, после которого мужчины, покурив в биллиардной или в галерее, присоединялись к обществу в великолепной гостиной, бывшей когда-то «Залом совета» Екатерины Медичи.

На шпалерах этой комнаты были изображены во всех подробностях любовные похождения Дидоны и ее отчаяние при виде удаляющихся троянских галер. Странное, полное иронии совпадение! Его, впрочем, никто не замечал, ибо в светском кругу не уделяют внимания окружающей обстановке, и происходит это не столько от отсутствия наблюдательности, сколько оттого, что каждый постоянно и всецело занят самим собой, интересуется лишь производимым им впечатлением, соблюдением всех правил этикета. А контраст тем не менее был разителен между преисполненным трагизма гневом покинутой царицы с воздетыми к небу руками и глазами, полными слез, какой она была изображена на поблекшей вышивке, и герцогиней, с невозмутимым спокойствием главенствовавшей среди собравшихся, неизменно сохраняя свое превосходство над присутствовавшими здесь женщинами, руководя ими по части туалетов и выбора книг, вмешиваясь в спор

Ланибуара с юным критиком, в оживленные дебаты Деминьера и Данжу относительно кандидатур на кресло Луазильона. Если бы князь д'Атис, изменник Сами, о котором все присутствовавшие думали, но никто не говорил, мог видеть прекрасную Антонию, его гордость была бы уязвлена тем, сколь малый след оставило его бегство в жизни этой женщины и в этом царственном замке, полном оживления и шума. На всем его длинном фасаде закрытыми оставались только ставни трех окон в так называемой «половине князя».

— Она держится как нельзя лучше,— заявил Данжу в первый же вечер.

Маленькая графиня Фодер, снедаемая любопытством, всюду совавшая свой остренький носик, торчавший из вороха кружев, и сентиментальная г-жа Деминьер; приготовившаяся к сетованиям и сердечным излияниям, не могли прийти в себя от такого поразительного мужества. В глубине души они досадовали на прекрасную Антонию, словно она была повинна в «отмене» ожидавшегося с нетерпением спектакля, тогда как мужчинам это спокойствие Ариадны казалось поощрением к соисканию освободившегося места. Знаменательная перемена произошла в жизни герцогини, изменилось отношение к ней всех или почти всех мужчин, они стали свободнее в обращении, настойчивее стремились ей понравиться, увивались вокруг ее кресла, домогались уже самой женщины, а не ее влияния.

Правда, Мари-Антония никогда еще не была так прекрасна. Когда она в светлом декольтированном летнем платье появилась в столовой, матовая белизна ее лица и плеч озарила весь стол даже в присутствии маркизы де Рока-Нова, приехавшей из своего замка, расположенного по соседству, на другом берегу Луары. Маркиза была моложе, но кто бы мог это подумать, глядя на них! К тому же внезапный отъезд любовника придавал красавице Антонии необъяснимую прелесть, наделял ее какими-то бесовскими чарами. От нее исходила притягательная сила, которая всегда влечет мужчин к только что покинутой женщине. Философ Ланибуар, докладчик о премиях за добродетель, оказался во власти этого таинственного и опасного наваждения. Вдовый, пожилой, с багровыми щеками и меланхолическим выражением лица, он старался пленить владелицу замка своими мужественными спортивными талантами, что не раз доводило его до беды. Однажды во время прогулки на лодке, напрягшись, чтобы повернуть кормовое весло, он упал в Луару. В другой раз, когда он гарцевал верхом на коне у дверец ландо, лошадь так прижала его к колесу, что потом он несколько дней пролежал в постели, обложенный пластырями. Но особенно хорош он бывал в гостиной, когда, по

меткому выражению Данжу, «пускался в пляс перед ковчегом», сгибал и расправлял свое долговязое тело, вызывая на полемическое единоборство юного критика, двадцатитрехлетнего отъявленного пессимиста, которого старый философ подавлял своим непоколебимым оптимизмом. Почтенный академик действительно имел все основания считать, что жизнь хороша, что жизнь прекрасна,— жена его умерла, заразившись крупом у постели больных детей, скончавшихся в одно время с матерью. Восхваляя земное существование, старик постоянно заканчивал изложение своих доктрин наглядным доказательством их справедливости, указывая льстивым жестом на сильно декольтированный корсаж герцогини: «Можно ли не восхищаться жизнью, глядя на такие плечи!»

Молодой критик ухаживал тоньше, пожалуй, даже с некоторым оттенком коварства. Большой поклонник князя д'Атиса, находясь еще в том юном возрасте, когда поклонение переходит в подражание, он с первых же шагов в свете стал копировать все повадки князя, его походку, манеру держать голову, его сутуловатость, даже загадочную, едва уловимую, полную молчаливого презрения улыбку. Теперь же он подчеркивал это сходство мельчайшими деталями туалета, которые он подметил и по-ребячьи перенял, начиная с галстука, заколотого булавкой под разрезом воротника, и кончая клетчатыми брюками английского покроя. К несчастью, слишком много волос на голове и ни волоска на подбородке! Поэтому все его старания пропадали даром, не пробуждали никаких воспоминаний о прошлом, которые должны были взволновать бывшую любовницу князя, оставшуюся столь же равнодушной к юному критику и его английским клетчатым брюкам, как и к закатыванию глаз Бретиньи-сына и крепким пожатиям руки Бретиньи-отца, когда он вел ее к столу. Однако все это поддерживало вокруг нее приятную атмосферу поклонения и галантности, к которой издавна приучил ее д'Атис, разыгрывавший до изнеможения роль внимательного кавалера, и уязвленная гордость покинутой женщины меньше страдала.

Среди всех этих вздыхателей Данжу держался особой тактики: он забавлял герцогиню театральными сплетнями и смешил ее, а у некоторых женщин это иногда имеет успех. Затем он решил, что красавица уже достаточно подготовлена. И вот однажды утром, когда герцогиня в сопровождении собак совершала одинокую прогулку по парку, эту безостановочную гонку, чтобы развеять свой гнев в лесной чаще, полной щебета пробуждающихся птиц, чтобы смягчить и успокоить его среди росистых лужаек под каплями, падавшими с ветвей, Данжу неожиданно появился на повороте аллеи и отважился на решительный шаг. В белом шерстя-

ном костюме, в высоких сапогах, в берете, с тщательно расчесанной бородой, он искал развязку для трехактной пьесы, заказанной ему к зимнему сезону Французской комедией. Заглавие — «Мишура», сюжет — из великосветской жизни, очень хлесткий. Написано все, не найдена только заключительная сцена.

— Ну, так поищем вместе...— весело сказала герцогиня, щелкнув длинным арапником на короткой ручке с серебряным свистком, которым она пользовалась, чтобы сзывать свою свору.

Но Данжу заговорил о любви, о том, как тоскливо ей будет в одиночестве, и предложил себя, без обиняков, цинично, как это ему было свойственно. Герцогиня гордым и нетерпеливым движением откинула голову; она сжимала ручку арапника, готовая хлестнуть наглеца, осмелившегося вести себя с нею, как с фигурантской за кулисами оперного театра. Но оскорбление, нанесенное ее достоинству, было данью восхищения ее увядающей красоте, поэтому выступивший на щеках герцогини румянец был вызван столько же негодованием, сколько и удовольствием. А Данжу меж тем продолжал настаивать, старался ослепить ее искрящейся речью, силясь представить их сближение скорее союзом умов и общностью интересов, чем делом чувства. Такой мужчина, как он!.. Такая женщина, как она!.. Да они вдвоем завоюют весь мир!

— Благодарю вас, дорогой Данжу. Мне знакомы эти прекрасные рассуждения. Я еще и сейчас плачу от них...

Высокомерным, не допускающим возражений жестом она указала драматургу на тенистую аллею:

— Ищите развязку, а я иду домой.

Он не двигался с места и смущенно глядел ей вслед, любуясь ее легкой походкой, ее длинными красивыми ногами.

— Даже в качестве «зебры»? — спросил он жалобно.

Она обернулась, сдвинула свои черные брови:

— Ах да, в самом деле... Место свободно.

Она подумала о Лаво, об этом подлом холопе, которому она сделала столько добра... И, уже не шутя, усталым голосом сказала:

— «Зеброй» — пожалуй, если хотите...

А потом исчезла за кустом чудесных желтых, пышно распустившихся роз, готовых рассыпать лепестки при первом дуновении ветра.

Хорошо было уже одно то, что гордая Мари-Анто выслушала его до конца! Наверное, никогда еще ни один мужчина не говорил с ней таким тоном, даже ее князь. Полный надежды и воодушевления, вдохновленный только что произнесенными блестящими тирадами, драматург не замедлил найти заключительную сцену.

Он поднимался к себе, чтобы написать ее до завтрака, как вдруг остановился в изумлении: он увидел сквозь листву деревьев, что окна в апартаментах князя открыты настежь и что в них вливается солнечный свет. Для кого это? Какому счастливцу предназначаются удобные роскошные апартаменты, выходящие на Луару и в парк? Данжу осведомился — и успокоился. Для архитектора герцогини, приехавшего в замок поправляться после болезни. При добрых отношениях между семейством Астье и хозяйкой дома кого могло удивить, что Поля приняли как родного в замке Муссо, который был отчасти его творением? Однако, когда новый гость явился к завтраку, его красивое похудевшее лицо, его бледность, подчеркнутая белой, из китайского шелка косынкой, его романтическое обаяние, связанное с поединком и ранением, произвели, казалось, такое сильное впечатление на женщин, а сама герцогиня отнеслась к нему с такой заботливостью, с таким сердечным участием, что красавец Данжу, один из тех ненасытных людей, которые каждый успех другого считают посягательством на свое достояние, чуть ли не кражей, почувствовал прилив ревности. Опустив глаза в тарелку, пользуясь своим почетным местом за столом, он начал вполголоса чернить красивого молодого человека, которого, к несчастью, мол, портит нос, унаследованный от матери. Данжу поднимал на смех его дуэль, рану, а заодно и репутацию, приобретаемую в фехтовальных залах, которая от малейшего укола, при первом же серьезном столкновении лопается, как мыльный пузырь. Он добавил, не представляя себе, насколько его слова совпадают с истиной:

— Их ссора за картами — только для отвода глаз... Все это из-за женщины...

— И дуэль?.. Вы думаете?..

Данжу кивнул головой: «Да, я в этом убежден!»

В восторге от своей коварной выдумки, он привлек к себе внимание всего общества, сыпал словечками и анекдотами, которые у него всегда были наготове, как маленький карманный фейерверк. По этой части Поль Астье был не силен, и женские симпатии быстро вернулись к знаменитому своим красноречием академику, в особенности когда он объявил, что развязка найдена, пьеса закончена и что он прочтет ее в гостиной в часы полуденного зноя. Единодушным изъявлением восторга встретили дамы столь редкое развлечение в их однообразной жизни. Какая удача для этих избранниц, гордых уже самой возможностью помечать свои письма «Муссо-на-Луаре», пересказать в них добрым приятельницам содержание неизданной пьесы Данжу, прочитанной им самим, а зимой во время репетиций небрежно заметить:

— Пьеса Данжу? Я знаю, он нам читал ее в замке.

Гости поднялись, возбужденные этим приятным сообщением. Герцогиня подошла к Полю Астье и взяла его под руку со свойственной ей слегка деспотичной грацией.

— Пройдемтесь по галерее... Здесь нечем дышать...

Духота была нестерпима даже на такой высоте, куда с Луары, казавшейся оловянной, поднимались, точно из нагретого бассейна, испарения, в которых тонули зеленые берега и островки, наполовину залитые водой. Герцогиня увела молодого человека в самый конец галереи, к последней арке, подальше от курильщиков, и, пожимая ему руку, спросила:

— Значит, это я?.. Значит, это из-за меня?

— Из-за вас, герцогиня,— ответил Поль и, искривив губы, добавил: — Дело еще не кончено... Мы возобновим...

— Не смейте об этом и думать, милый мой мальчик!

Услыхав осторожные, подкрадывающиеся шаги, она умолкла.

— Данжу!

— Что прикажете, герцогиня?

— Принесите веер, я его забыла на кресле в гостиной... Пожалуйста!.. Будьте любезны!..

Когда он отошел, она продолжала:

— Я запрещаю вам, Поль... Хотя бы потому, что с таким негодяем не дерутся... Ах, если бы мы были одни!.. Если бы я могла вам сказать...

В нервной дрожи ее голоса и рук чувствовалось сильное волнение, и это поразило Поля Астье. Теперь, спустя месяц, он надеялся, что она примирилась со своей участью. Волнение герцогини раздосадовало его, помешало произнести слова, которым нельзя противостоять: «Я люблю вас... Я всегда вас любил...» — слова, приготовленные им для первого же разговора. Он удовольствовался тем, что рассказал ей о дуэли, которая, казалось, очень ее интересовала. Тем временем академик принес веер.

— Добрая вы «зебра», Данжу...— промолвила герцогиня в знак благодарности.

Тот, с кислой миной, но таким же шутливым тоном, вполголоса ответил:

— Да, но вы мне обещали повышение... Иначе...

— Как! Уже претензии?..

Она слегка ударила его веером и, желая, чтобы к предстоящему чтению он пришел в хорошее расположение духа, вернулась с ним под руку в гостиную. Рукопись уже лежала на ничем не накрытом кокетливом ломберном столике, залитая светом, падавшим из высокого полураскрытого окна, в которое были видны цветущие луга и купы деревьев в парке.

— «Мишура»... Пьеса в трех действиях... Действующие лица...»

Дамы уселись кружком, придвинувшись как можно ближе, и повели плечами тем грациозным зябким движением, которое свойственно женщинам, когда они предвкушают удовольствие. Данжу читал, как настоящий «лицедей» Пишераля, делал остановки, чтобы смочить губы, прикасаясь ими к краю стакана с водой, отирал их тонким батистовым платком и по окончании чтения каждой страницы, большой и широкой, исписанной его мелким почерком, ронял ее небрежно к своим ногам на ковер. И всякий раз г-жа Фодер, иностранка, преклонявшаяся перед знаменитостями, бесшумно нагибалась, поднимала упавший лист и с благоговением клала его на кресло рядом с собой в должном порядке. Скромный, восхитительный прием, приближавший ее к мэтру и к его произведению! Как будто Лист или Рубинштейн сидели за роялем, а она переворачивала ноты. Все шло превосходно до конца первого действия. Увлекательные, забавные положения вызывали бурю одобрительных возгласов, крики «браво», взрывы хохота. Потом, после долгого молчания, во время которого явственно слышалось звонкое гудение мошкары в листве деревьев, доносившееся из глубины парка, автор, отерев усы, снова принялся за чтение.

— «Действие второе... Сцена представляет...»

Но голос чтеца с каждой репликой менялся, становился все глуше. Данжу заметил опустевшее кресло в первом ряду, где сидели дамы, кресло Антонии, и глаза его блуждали поверх пенсне, обшаривая огромную гостиную, уставленную зелеными растениями и ширмами, за которыми укрывались слушатели, чтобы удобнее было слушать или удобнее дремать... Наконец, во время одной из частых, размеренных пауз, к которым он прибегал, отпивая из стакана, послышался шепот, промелькнуло светлое платье, и в самой глубине комнаты, на диване, Данжу увидел герцогиню, а рядом с ней Поля Астье, по-видимому продолжавших беседу, прерванную в галерее. Для такого избалованного успехом человека, каким был Данжу, обида была очень чувствительна. У него хватило, однако, мужества дочитать действие, но он с такой злобой бросал страницы на ковер, что они разлетались во все стороны, и маленькой г-же Фодер приходилось поднимать их, ползая на четвереньках. В конце концов, так как шушуканье не прекращалось, он перестал читать, сославшись на то, что внезапно потерял голос и вынужден отложить чтение до завтра. Герцогиня, всецело поглощенная дуэлью, о которой она не уставала расспрашивать, думая, что пьеса дочитана до конца, крикнула издали, всплеснув своими малепькими ручками:

— Браво, Данжу!.. Развязка превосходная!

К вечеру у великого человека разболелась печень,— или это было только предлогом? — и на рассвете он покинул Муссо, не попрощавшись ни с кем. Следовало ли приписать это бегство только оскорбленному авторскому самолюбию? Вообразил ли он, что Поль Астье на самом деле займет место князя? Как бы там ни было, но и неделю спустя после отъезда Данжу Полю удавалось только вскользь ввернуть какое-нибудь нежное слово. Герцогиня окружила его необычайным вниманием, почти материнской заботой, постоянно осведомлялась о его здоровье, расспрашивала, не слишком ли жарко в башне, обращенной окнами на юг, не утомляет ли его тряска в экипаже и не вредно ли ему так поздно оставаться на реке, но как только он пытался заговорить о любви, она ускользала от него, делая вид, что не понимает. А между тем как далека была гордая Антония прежних лет от той, какую он застал сейчас! Та, высокомерная, неприступная, одним движением бровей ставила на свое место смельчака. Невозмутимое спокойствие прекрасной реки, которую перегородила плотина! А теперь же плотина стала неустойчивой, в ней чувствовалась трещина, через которую прорывалась подлинная женская натура. Иногда герцогиней овладевали порывы возмущения общепринятыми обычаями, условностями, с которыми она прежде так считалась, у нее являлась потребность беспрестанно двигаться, уставать до изнеможения. Она собиралась устраивать празднества, иллюминации, осенью большие псовые охоты, хотела вести их сама, хотя уже несколько лет не садилась на лошадь. Красивый молодой человек внимательно следил за проявлениями ее душевной тревоги. Зорко всматривался он во все острым взглядом хищной птицы, твердо решив на этот раз не тянуть два года, как с Колеттой Розен.

В один из вечеров, проведя целый день в утомительных поездках в экипажах, в далеких экскурсиях, общество разошлось рано. Поль, поднявшись к себе, освободившись от фрака и крахмальной сорочки, в шелковой рубашке и ночных туфлях, с дорогой сигарой во рту, писал матери, подыскивая и взвешивая каждое слово. Необходимо было убедить маменьку, которая гостила в Кло-Жалланже и все глаза проглядела, стараясь различить на горизонте, за излучиной реки, четыре башни Муссо,— нужно было убедить ее, что пока немыслимо не только примирение, но даже свидание с ее бывшей приятельницей. Благодарю покорно! Очень уж все не ладилось у этой милой женщины; он предпочитал, чтобы она была подальше от его личных дел... Следовало напомнить ей, что в конце месяца наступает срок векселю, а также о ее обещании послать деньги маленькому Стэну, оставшемуся на улице Фортю-

ни единственным стражем недвижимости в стиле Людовика XII. Если деньги от Сами еще не получены, придется занять их у Фрейде, которые, без сомнения, не откажутся выручить на несколько дней, так как сегодня утром парижские газеты в отделе заграничной хроники известили о бракосочетании нашего посла в Петербурге, сообщили о присутствии на нем великого князя, о туалете новобрачной, назвали имя польского епископа, благословившего супругов. Маменька легко может себе представить, как была воспринята в замке за завтраком эта новость, которую все знали, которую хозяйка дома читала во всех взглядах, в преднамеренном старании гостей говорить о другом. Бедная герцогиня не произнесла за столом ни слова, а после завтрака, несмотря на ужасающий зной, ощутив настоятельную потребность встряхнуться, увезла все общество в трех колясках в замок Пуассоньер, где родился Ронсар. Шесть миль под палящим солнцем, в облаках белой, хрустевшей на зубах пыли, ради удовольствия послушать, как, взобравшись на старый цоколь, такой же дряхлый, как и он сам, отвратительный Ланибуар декламирует: «О милая, пойдем взглянуть на розу!..» На обратном пути — посещение земледельческого сиротского приюта, основанного старым Падовани,— маменька, наверно, там бывала,— осмотр дортуара, прачечной, сельскохозяйственных орудий, школьных тетрадей. Какое там было зловоние и до чего было там жарко, а тут еще Ланибуар стал поучать юных землепашцев с жалкими физиономиями каторжников, внушать им, что жизнь прекрасна! И в довершение всего утомительная остановка у доменных печей близ Онзена. Пришлось целый час пробыть под жгучим солнцем, клонившимся к горизонту, в дыму и угольной копоти, изрыгаемой тремя исполинскими кирпичными трубами, спотыкаться о рельсы, сторониться вагонеток и ковшей с раскаленным добела чугуном в виде огромных глыб, пышущих огнем, похожих на пласты красноватого льда, начинающего таять. А герцогиня, взвинченная, неутомимая, ни на что не смотрела, ничего не слушала, идя под руку с Бретиньи-отцом, с которым она, казалось, о чем-то горячо спорила, столь же чуждая кузнечным горнам и доменным печам, как и Ронсару, и сиротскому приюту.

Когда Поль дошел до этого места в письме, стараясь, насколько возможно, ослабить огорчение матери, изобразив удручающую скуку в Муссо в этом году, кто-то постучал в дверь. Он подумал, что это юный критик, или Бретиньи-сын, или, наконец, Ланибуар, чем-то чрезвычайно взволнованный в последнее время. Они нередко поздно засиживались вечером в апартаментах Поля, самых просторных и уютных, к которым примыкала прелестная курительная комната. Отворив дверь, Поль, к своему удивлению, увидел,

что длинная галерея второго этажа с цветными стеклами, переливавшимися радугой, безмолвна и пуста на всем своем протяжении вплоть до массивного входа в кордегардию, скульптурные украшения которого резко очерчивались в лунном свете. Он вернулся и хотел уже сесть, но стук раздался снова. Стучали в курительной комнате, которая дверцей, замаскированной обоями, сообщалась через узенький коридорчик, пробитый в толще башни, с покоями герцогини. Это устройство, существовавшее задолго до реставрации Муссо, было неизвестно молодому архитектору, и теперь, припомнив некоторые разговоры в мужской компании за последние дни, в особенности скабрезные истории дядюшки Ланибуара, молодой зубоскал про себя подумал:

«Черт возьми, а если она нас слышала?..»

Заперев за собой дверь, герцогиня молча прошла мимо него и, положив на стол, за которым он писал, пачку пожелтевших бумаг, стала нервно теребить их своей тонкой рукой.

— Посоветуйте мне,— сказала она деловым, серьезным тоном.— Вы мой друг! Вам одному я верю.

Ему одному! Несчастная женщина! Но разве ни о чем не предупреждал ее этот хищный взгляд, настороженный и подстерегающий, скользящий от письма, легкомысленно оставленного открытым на столе, которое она могла прочесть, к ее прекрасным обнаженным рукам, выступавшим из широкого кружевного пеньюара, к ее тяжелым косам, заколотым на ночь!

«Чего она хочет? Зачем она пришла?» — спрашивал он себя.

А она, обуреваемая гневом, бешено клокотавшей в ней злобой, которая душила ее с самого утра, говорила, задыхаясь, отрывисто, почти шепотом:

— За несколько дней до вашего приезда он прислал ко мне Лаво... Да, он осмелился... Чтобы попросить свои письма... Я так приняла этого проходимца, что отбила у него охоту еще раз явиться ко мне... Его письма,— полноте, не в этом дело! Вот что ему было нужно.

Она протянула Полю связку бумаг — историю и «дело» их любви, доказательство того, во что обошелся ей этот человек, сколько она за него уплатила, вытаскивая из грязи.

— Возьмите, посмотрите... Право, это любопытно.

И пока он перелистывал эти странные бумажонки, пропитанные запахом ее духов, достойные фигурировать на витрине Боса, фиктивные счета торговцев редкостями, ювелиров-заимодавцев, белошвеек, строителей яхт, маклеров по продаже туренских шипучих вин, векселя по сто тысяч франков, выданные знаменитым кокоткам, теперь уже умершим, исчезнувшим или удачно вышедшим замуж, расписки метрдотелей, клубных официантов —

все виды документов парижского ростовщичества и расплаты по долгам промотавшегося кутилы, Мари-Анто глухим голосом продолжала:

— Как видите, реставрация Муссо не стоила мне так дорого, как реставрация этого господина!.. Это лежало у меня в шифоньерке в течение многих лет, потому что я храню все, но, клянусь богом, я никогда не думала этим воспользоваться... Теперь я рассудила иначе. Он богат... Я хочу получить обратно мои деньги и проценты с моих денег, иначе я подам в суд... Разве я не права?

— Тысячу раз правы... Только...— Он пощипывал свою рыжеватую бородку.— Разве князь д'Атис не был под опекой, когда он подписывал эти обязательства?

— Да, да, я знаю... Бретиньи мне это говорил... Ничего не добившись через Лаво, он написал Бретиньи, прося о посредничестве... Ну, понятно, ведь оба академики...

Она презрительно усмехнулась, поставив на одну доску по части академических заслуг посла и бывшего министра, и, пылая негодованием, продолжала:

— Разумеется, я могла бы и не платить, но я предпочла, чтобы он не был замаран... Я не нуждаюсь ни в каком посредничестве... Я платила — теперь мне должны возместить, иначе я обращусь в суд, и пусть будет скандал, пусть запачкается его имя, его звание французского посла в Петербурге. Если мне удастся опозорить этого негодяя, я сочту, что я выиграла дело.

— Безусловно,— сказал Поль Астье и, собрав документы, спрятал стеснявшее его письмо маменьке.— Безусловно! Но как он мог оставить в ваших руках эти улики?.. Такой ловкий человек...

— Ловок? Он?..

Она умолкла, выразив красноречивым пожатием плеч все, чего недосказала.

А Поль забавлялся тем, что подзадоривал ее,— ведь никогда не знаешь, до чего может договориться разъяренная женщина.

— Но ведь это один из наших лучших дипломатов...

— Это я его гримировала. Знает он по этой части только то, чему его научила я.

— А как же легенда о Бисмарке?

— Который не мог смотреть ему в глаза?.. Ха, ха, ха! Какая ерунда!.. Невольно отвернешься, когда он с вами заговорит... У него не рот, а клоака!

Словно стыдясь, она закрыла лицо руками, сдерживая рыдания, потом в бешенстве крикнула:

— Подумать только!.. Двенадцать лет жизни отдать такому человеку... И теперь он меня бросает, он больше не хочет, он, он!..

При этой мысли в ней возмущалась гордость. Шагая взад и вперед по комнате, доходя до широкой, низкой кровати, прикрытой старинной материей, и возвращаясь к светлому кругу, который отбрасывала лампа, она искала причины их разрыва, спрашивала себя вслух:

— Почему?.. Почему?..

Двусмысленность положения?.. Но ведь он прекрасно знал, что это должно скоро измениться, что не пройдет года, как они будут повенчаны. Состояние, миллионы этой дуры?.. Но разве она, герцогиня Падовани, менее богата, а ее связи, ее влияние, которых недостает урожденной Совадон?.. В чем же дело? Молодость? Она злобно рассмеялась... Ха, ха, ха! Бедняжка!.. Что он сумеет сделать с ее молодостью!..

— Так я и думал,— прошептал с улыбкой Поль, приближаясь к герцогине.

Тут-то и было больное место. А она словно нарочно старалась растравить свою рану... Молода! Молода!.. Разве возраст женщины определяется по календарю?.. Посла, может быть, ждут разочарования... Быстрым движением обеих рук она распахнула кружева своего пеньюара, обнажив круглую, без единой морщинки, шею, точеный затылок.

— Вот где молодость женщин...

О, это длилось одно мгновение! Горячие умелые руки продолжали ее едва намеченное движение: застежки, пеньюар — все трещало, все разлеталось по комнате. Они обвились вокруг нее, эти руки, подняли, бросили на раскрытую постель, какой-то пламенный вихрь охватил ее, что-то могучее, сладостное, неотразимое, о чем до этой минуты она не имела ни малейшего понятия, увлекало ее за собой, окутывало, затихало, чтобы снова вспыхнуть, обволакивало, поглощало вновь и вновь, без конца... Этого ли она ожидала, входя к нему? Не подумал ли он, что это привело ее сюда? Нет! Ее привело исступление, оскорбленная гордость, бешенство, гадливость, отвращение — то, что испытывает покинутая женщина, когда все рушится вокруг нее. Ей всегда были чужды низменные побуждения, мелочный расчет.

Вот она уже на ногах, снова овладела собой, сама себе не верит и спрашивает себя: «Я?.. С этим юношей? И так быстро!.. Хоть плачь от стыда». А он, припав к ее коленям, вздыхает:

— Я люблю вас... Я всегда вас любил... Вспомните...

И она опять чувствует, как по ее рукам, охватывая все ее существо, летят, несутся пламенные волны. Но вдали звенят колокола, гул голосов слышится в утренней тиши... Она вырывается и убегает в полной растерянности, не захватив даже бумаг — орудия своей мести.

Мстить? Кому? Для чего? Сейчас в ее сердце уже не было ненависти: она любила. И это было так ново, так необычно для этой светской львицы — любовь, настоящая любовь, с ее самозабвением и восторгами,— так неожиданно, что в пылу первых объятий она в простоте душевной подумала, что умирает. С этого времени наступило успокоение. Она словно выздоровела, ее походка и голос изменились, она стала другой женщиной, одной из тех, про которых в народе говорят, когда они медленно, словно убаюканные, идут под руку с возлюбленным или мужем: «Вот у этой есть все, что ей нужно». Такого рода женщины встречаются реже, чем обычно думают, особенно в «обществе». В данном случае положение осложнялось светскими условностями, обязанностями хозяйки дома, которая должна была провожать уезжающих, приветствовать и заботиться о размещении второй партии гостей, более многочисленных и менее близких. Явилась вся академическая знать: герцог де Курсон-Лоне, герцог и герцогиня Фицрой, супруги де Сиркур, барон и баронесса Юшенар, министр Сент-Аволь, Мозер с дочерью, г-н и г-жа Генри из американской дипломатической миссии. Нелегкая задача — накормить и развлечь всех этих людей, объединить такое разнородное общество! Никто не умел это сделать лучше герцогини, но теперь все казалось ей скучной и тягостной обязанностью. Ей хотелось не двигаться, наслаждаться своим счастьем, не помышляя ни о чем другом, и она ничего не могла придумать для развлечения своих гостей, кроме неизменных поездок на реку к рыболовным сетям, в замок Ронсара и в сиротский приют, счастливая уже тем, что, оказавшись рядом в коляске или в лодке, могла коснуться своей рукой руки Поля.

В одну из таких скучнейших поездок по Луаре лодочная флотилия замка под шелковыми навесами, с герцогскими гербами на развевавшихся по ветру флагах, на которых играли солнечные блики, заплыла дальше, чем обычно. Поль Астье, который находился в лодке, шедшей впереди лодки его любовницы, сидел на корме рядом с Ланибуаром, поверявшим ему свои сердечные тайны. Получив дозволение продлить свое пребывание в Муссо до окончания доклада, старый безумец вообразил, что его ухаживания благосклонно принимаются и что он имеет шансы занять место Сами, и, как это постоянно бывает в таких случаях, он делился с Полем своими надеждами, передавал ему то, что он сказал и что ему ответили, со всеми подробностями.

— Что бы вы сделали на моем месте, молодой человек?

Чистый и звонкий голос прозвучал над водой с лодки, следовавшей за ними:

— Господин Астье!..

— Да, герцогиня?

— Посмотрите, вон там, в камышах... Это не Ведрин?

В самом деле, на старой плоскодонке, привязанной к суку ольхи у зеленого островка, где заливались трясогузки, Ведрин писал пейзаж. Жена и дети были с ним. Флотилия герцогини приблизилась и стала борт о борт с его челном,— все представлялось развлечением для вечно скучающего светского общества, и пока герцогиня с самой очаровательной улыбкой здоровалась с г-жой Ведрин, которая когда-то гостила в Муссо, женщины с любопытством рассматривали художника и его жену, их прелестных, взлелеянных любовью и солнцем детей, всю эту семью, приютившуюся под сенью зеленого свода, на прозрачной и спокойной реке, в которой отражалась картина их безмятежного счастья. Ведрин, поздоровавшись, не выпуская из рук палитры, сообщил Полю новости в Кло-Жалланже, в этом длинном, низком и белом здании, что виднелось на косогоре сквозь туман, поднимавшийся с реки.

— Все там с ума сошли, милый мой, помешались на том, кто займет кресло Луазильона. Весь день они только и делают, что подсчитывают голоса: все — твоя мать, Пишераль и несчастная калека в кресле на колесиках... Бедняжка тоже схватила академическую лихорадку. Она собирается переехать в Париж, устраивать празднества и приемы, чтобы способствовать успеху брата.

И вот, чтобы убежать от этого помешательства, он на целый день перебирается сюда со своим семейством, работает на вольном воздухе. Показав на старый челн, художник, посмеиваясь, без тени досады добавил:

— Это моя дахабиэ, мое путешествие по Нилу...

Вдруг маленький мальчик, не сводивший глаз с дядюшки Ланибуара и не обращавший внимания на многочисленное общество, на красивых дам в нарядных туалетах, звонким голоском спросил академика:

— Скажите: вы тот господин из Академии, которому скоро будет сто лет?

Почтенный докладчик, собравшийся было щегольнуть своими мореходными талантами перед прекрасной Антонией, чуть не свалился на скамейку. Как только стихли раскаты неудержимого смеха, Ведрин рассказал о странном интересе ребенка к Жану Рею, которого он не знал, никогда не видел, но который занимал мальчугана только потому, что приближался к ста годам. Каждое утро прелестный малыш справлялся об академике: «Как он поживает?» Это крохотное существо было проникнуто каким-то почти эгоистическим уважением к долголетию, бессознательной

надеждой тоже дотянуть до этого возраста, раз это удалось другому.

Свежело, ветер играл вуалями дам и пестрыми флажками судов. Огромные тучи надвигались с Блуа, а со стороны Муссо, где в темном небе сверкали четыре фонаря на высоких башнях замка, дождевая завеса закрыла горизонт. Началась спешка, суета. Лодки удалялись между желтыми песчаными отмелями, следуя одна за другой из-за узости фарватера, а Ведрин в это время любовался игрой красок на грозовом небе, живописными силуэтами лодочников, стоящих на носу и напиравших на длинные шесты. Затем он обернулся к жене, которая, опустившись на колени в челноке, закутывала детей и убирала ящик с красками и палитру.

— Взгляни, мамочка... Когда я говорю о каком-нибудь товарище, что мы с ним с одной лодки... Вот тебе наглядный пример: все эти лодки, идущие вереницей по ветру, спасающиеся от надвигающейся ночи,— это прекрасный образ смены поколений в искусстве. Как мы ни церемонимся друг с другом в одной лодке, все мы друг друга знаем, сидим бок о бок, все дружны поневоле, не сознавая этого, потому что плывем на одном судне... Но те, что впереди,— как они медлят, как они задерживают нас! Между их лодкой и нашей нет ничего общего. Слишком далеки мы друг от друга, слишком мы разные люди. Мы обращаемся к ним только с возгласом, полным нетерпения: «Да двигайтесь же, чего встали!» — тогда как лодке, которая следует за нами, полной молодого задора, готовой налететь на нас и пройти по нашим телам, мы сердито кричим: «Тише вы!.. Куда спешите?..» Что касается меня,— продолжал художник, выпрямившись во весь свой высокий рост и, казалось, подчиняя себе и берег и реку,— я, конечно, нахожусь в своей лодке и люблю ее, но мое внимание привлекают и те, которые удаляются, и те, которые приходят нам на смену... Я окликаю их, подаю им знаки, стараюсь поддержать связь со всеми... Потому что всем — и тем, кто впереди нас, и тем, кто следует за нами,— грозят одни и те же беды, для каждой из наших лодок течения опасны, небо изменчиво и вечер наступает слишком быстро... А теперь в путь, мои дорогие,— сейчас хлынет дождь.

XIII

«Молитесь за упокой души высокородного владетельного сеньора герцога Шарля-Анри-Франсуа Падовани, князя Ольмюц, бывшего сенатора, посла и министра, кавалера большого креста ордена Почетного легиона, скончавшегося 20 сего сентября

1880 года в своем поместье Барбикальй, где и преданы земле его останки. Заупокойная обедня будет отслужена в следующее воскресенье в часовне замка. Вас просят на оную пожаловать».

Чувство радости и упоительной гордости охватило Поля Астье, когда, спускаясь из своей комнаты к полуденному завтраку, он услышал это известие, странным образом оглашаемое от Муссо до Онзена на обоих берегах Луары служащими похоронного бюро Вафлар в цилиндрах, обвитых крепом, ниспадающим до земли, с колокольчиками в руках, которыми они позванивали на ходу.

Весть о смерти герцога, скончавшегося четыре дня тому назад, переполошила всех в Муссо и, как ружейный выстрел, вспугивающий выводок куропаток, заставила разлететься всех гостей второй очереди — кого на берег моря, кого в совершенно непредвиденное для отдыха место, а герцогиню — немедленно уехать на Корсику, оставив в замке лишь нескольких добрых друзей.

Как бы там ни было, эти печальные голоса, беспрерывный звон колокольчиков, который врывался вместе с речным ветром в стрельчатое окно лестницы, это сообщение о смерти, возвещаемое на королевский, устаревший лад, придавали феодальному замку Муссо своеобразное величие, еще выше поднимали его четыре башни и верхушки его столетних деревьев. Итак, все это будет принадлежать ему. Его любовница, уезжая, умоляла его остаться в замке, чтобы по ее возвращении совместно решить серьезнейшие вопросы, и этот погребальный речитатив, казалось, возвещал его близкое вступление во владение имуществом: «Молитесь... за упокой...» Наконец-то богатство у него в руках, и на сей раз он не даст себя обобрать... «...За упокой души бывшего сенатора, посла и министра...»

— Как заунывно звучат колокола, правда, господин Астье?— обратилась к нему м-ль Мозер, сидевшая за столом между своим отцом и академиком Ланибуаром.

Герцогиня удержала их в Муссо отчасти для того, чтобы Поль не скучал в одиночестве, отчасти же, чтобы несчастная Антигона — раба отцовского честолюбия — могла еще немного отдохнуть и побыть на свежем воздухе. Во всяком случае, бедняжка Мозер, с глазами как у побитой собаки и с выцветшими волосами, вечно в хлопотах, постоянно вымаливавшая недостижимое академическое кресло, не представляла опасности как соперница. В это утро, однако, она принарядилась, навела на себя красоту, надела свежее платье с вырезом в форме сердечка. То, что виднелось в этом вырезе, было крайне жалко и убого, но за неимением лучшего... И Ланибуар, придя в веселое настроение, заигрывал с ней, не скупясь на двусмысленности... Он не находил зауныв-

ными ни похоронный звон, ни эти призывы: «Молитесь за упокой души», раздававшиеся далеко вокруг. Напротив, жизнь в силу контраста казалась ему еще прекраснее, вуврейское вино в графинах — еще золотистей, и он продолжал отпускать свои сальные шутки, звучавшие диссонансом в величественной, огромной столовой. Кандидат Мозер с помятым подобострастным лицом угодливо хихикал, хотя и был несколько смущен присутствием дочери, но что делать — философ так влиятелен в Академии!

После кофе, который пили на террасе, Ланибуар стал красным как рак.

— Идемте работать, мадемуазель Мозер, я чувствую себя в ударе!..— воскликнул он.— Думаю, что закончу сегодня свой доклад.

Маленькая кроткая Мозер, исполнявшая иногда у академика обязанности секретаря, поднялась с места не без некоторого сожаления. В такой чудесный день, окутанный первым осенним туманом, она предпочла бы большую прогулку или охотно осталась бы поболтать в галерее с Полем Астье, таким красивым, воспитанным молодым человеком, вместо того чтобы писать под диктовку дядюшки Ланибуара похвальное слово старым преданным нянькам и образцовым больничным служителям. Но отец торопил ее:

— Иди, иди, дочка, мэтр тебя ждет...

Она повиновалась и пошла вслед за философом в сопровождении отца, отправлявшегося вздремнуть после завтрака. Что произошло потом? Какая драма разыгралась в комнате Ланибуара, который хотя и унаследовал нос Паскаля, но его добродетелью похвалиться не мог? Возвращаясь с продолжительной прогулки по лесам, предпринятой, чтобы успокоить свое нетерпение — нетерпение честолюбца, Поль Астье увидел на дворе фаэтон, стоявший у подъезда и запряженный парой горячих лошадей. М-ль Мозер уже сидела в нем среди саквояжей и чемоданчиков, а на крыльце старик Мозер растерянно рылся в карманах, раздавая чаевые ухмылявшимся лакеям. Поль подошел к фаэтону.

— Вы покидаете нас, мадемуазель?

Она протянула ему руку, длинную, потную, холодную руку, на которую позабыла натянуть перчатку, и молча, не отнимая от глаз платка, вытирая слезы под вуалью, кивнула ему головой. Ничего он не добился и от старого Мозера, печально и сердито бурчавшего себе под нос, стоя одной ногой на подножке:

— Это она... Это она решила уехать... Говорит, будто с ней обошлись непочтительно... Но я не могу допустить...

Он тяжело вздохнул, и его глубокая морщина посреди лба,

«академическая морщина», красная, как рубец от сабельного удара, стала еще заметнее.

— Это очень плохо для моей кандидатуры.

За обедом Ланибуар, не выходивший все это время из своей комнаты, спросил, садясь против Поля:

— Вы не знаете, почему наши добрые друзья Мозер так внезапно нас покинули?

— Нет, дорогой мэтр... А вы?

— Странно! Очень странно!

Академик старался казаться как нельзя более спокойным в присутствии слуг, осведомленных об его похождении, но было заметно, что он смущен, что он трусит, что он пребывает в состоянии, обычном для старого сластолюбца, который, едва утихает его лихорадка, боится последствий совершенных им гнусностей. Мало-помалу он ободрился, примирился с жизнью и, понимая, что неуместно дуться за столом, в конце концов признался своему молодому другу, что, быть может, зашел далеко с этой милой девушкой...

— Но ведь отец сам ее мне навязывает, сам толкает ко мне в объятия... Можно быть докладчиком о премиях за добродетель, но все же, черт возьми!..

Он победоносно потрясал своей рюмкой, но Поль Астье одним словом прервал его красноречие:

— А герцогиня? Мадемуазель Мозер, наверное, ей написала, пожаловалась или, по крайней мере, объяснила причину своего отъезда.

Ланибуар побледнел.

— Вы думаете?

Поль, чтобы избавиться от несносного болтуна, продолжал на этом настаивать. А если сама девушка и не сообщит о случившемся, то может донести кто-нибудь из слуг. Поводя своим плутоватым носиком, Поль добавил:

— На вашем месте, дорогой мэтр...

— Пустяки! Я отделаюсь сценой, которая сильно подымет мои шансы... Женщины похожи на нас: такие истории их только подзадоривают!

Старый философ храбрился, но накануне возвращения герцогини, сославшись на приближающиеся выборы в Академию и вечернюю сырость, вредную для его ревматизма, сбежал, увозя в чемодане дописанный наконец доклад.

Герцогиня прибыла в воскресенье к обедне, отслуженной торжественно в замковой часовне в стиле Ренессанс, где многогранный талант Ведрина сумел восстановить чудесные разноцвет-

ные стекла и восхитительную резьбу запрестольной части алтаря. Огромная толпа крестьян из окрестных деревень — мужчины в допотопных сюртуках, в длинных синих засаленных блузах, женщины в белых чепцах и туго накрахмаленных косынках, коричневые от загара,— переполняли часовню и двор. Они собрались сюда не ради заупокойной службы, не для того, чтобы почтить память старого герцога, которого никто здесь не знал, а только ради поминальной трапезы на вольном воздухе после обедни в бесконечно длинной, ведущей к замку аллее, по обеим сторонам которой были расставлены длинные столы и скамьи. За этими столами после окончания богослужения легко разместились тысячи две-три крестьян. Вначале они конфузились: их смущали суетившиеся слуги в черных ливреях, егеря с крепом на фуражках,— осеняемые величавой тенью вязов, они говорили вполголоса, но мало-помалу под влиянием вина и сытной еды поминальная трапеза оживилась, превратилась в настоящую попойку.

Герцогиня и Поль Астье, сбежав от этих отвратительных поминок, ехали крупной рысью среди полей, по безлюдным, как обычно в воскресные дни, дорогам, в открытом ландо, обитом черным сукном. Высокие лакеи с траурными кокардами на шляпах и длинная вдовья вуаль его спутницы напоминали молодому человеку такие же поездки.

«Покойники вечно путаются в моих делах»,— думал он, с легкой грустью вспоминая о хорошенькой головке в кудряшках — головке Колетты Розен на черном фоне.

Герцогиня, утомленная путешествием, утратившая отчасти свое изящество в сделанном наспех траурном наряде, все же сохраняла величественную осанку, которой совершенно была лишена Колетта. К тому же в данном случае покойник был не обременителен; Мари-Анто была женщина искренняя и не напускала на себя скорбь, которую в подобных обстоятельствах сочла бы для себя обязательной всякая заурядная женщина, даже ненавидевшая умершего мужа и изменявшая ему направо и налево. Под громко стучавшими копытами лошадей дорога вилась лентой с небольшими подъемами и спусками то между дубовыми рощами, то по обширным равнинам, где над разбросанными там и сям скирдами хлеба кружились стаи ворон. Дождливое, серое, низко нависшее небо лишь изредка озарялось бледным солнечным светом. Колени герцогини и Поля, укрытые от ветра меховой полостью, соприкасались. Герцогиня говорила о своей Корсике, об удивительном *vocero*[1], которое импровизировала на похоронах ее горничная.

---

[1] Причитание в стихах *(корсиканск.)*.

— Матеа?

— Да, Матеа! Представьте, она замечательный поэт.

Герцогиня прочла несколько стихотворений поэтессы-плакальщицы на благородном корсиканском наречии, которое удивительно гармонировало с ее контральто. О серьезных решениях пока не было сказано ни одного слова.

А только это и интересовало Поля, гораздо больше, чем стихи камеристки. Вероятно, Антония откладывает разговор до вечера. Вполголоса, чтобы позабавить ее, он рассказал ей о приключении Ланибуара и о том, как он ловко выпроводил академика.

— Бедняжка Мозер! — смеясь, сказала герцогиня.— На этот раз ее отец должен непременно попасть в Академию... Она это заслужила...

Они обменялись потом лишь несколькими короткими фразами, наслаждаясь близостью друг к другу, как бы убаюканные мерным покачиванием ландо, а между тем на поля спускались вечерние сумерки и доменные печи вдали выбрасывали снопы пламени, искрами разлетавшиеся по небу. Жаль только, что обратный путь был испорчен криками и песнями пьяных крестьян, толпами возвращавшихся с поминок; они чуть не лезли под колеса, валились в канавы, тянувшиеся по обеим сторонам дороги, оттуда слышались храп и отборная ругань. Так молились они за упокой души вельможи.

Во время обычной прогулки по галерее, где между массивными колоннами еще смутно вырисовывался горизонт, герцогиня, прижавшись к Полю, вглядывалась в темноту ночи, шептала:

— Как хорошо! Мы вдвоем... Совсем одни...

И все же не заговаривала о том, чего ожидал от нее молодой человек.

Он пытался навести ее на этот разговор и, нагнувшись совсем близко к ней, касаясь губами ее волос, спрашивал о том, где она намерена провести зиму. Думает ли она вернуться в Париж? О, конечно, нет! Ей опротивел Париж с его изолгавшимся обществом, где все обманывают и предают друг друга. Только она еще не решила, запереться ли в Муссо или предпринять большое путешествие в Сирию и в Палестину. Что он об этом думает?.. Значит, в этом и заключались важные вопросы, решить которые следовало сообща: в сущности, это был лишь предлог, придуманный женщиной, чтобы его удержать, боявшейся, что кто-нибудь его отнимет у нее, если он во время ее отсутствия вернется в Париж. Поль, считая, что его дурачат, кусал себе губы. «Ах, вот как, голубушка!.. Ну хорошо, посмотрим!..»

Утомленная дорогой и целым днем, проведенным на воздухе, герцогиня поднялась к себе усталой походкой, обменявшись с мо-

лодым человеком многозначительным рукопожатием, за которым обычно следовали сказанные им украдкой нежные слова: «Я жду вас». Она пришла бы, он был бы там, за дверью, прислушивался бы к ее шагам... И они вознаградили бы себя за мучительный день. Целая ночь блаженства в этих словах, сказанных шепотом: «Я жду вас». Но этих слов Поль Астье не произнес в этот вечер, и, несмотря на свое неудовольствие, Мари-Анто усмотрела в этой сдержанности уважение к ее трауру, к обтянутой черным сукном часовне и, засыпая, решила, что он проявил большую деликатность.

Утром повидаться не удалось: герцогиня была занята делами, проверяла счета дворецкого и расчеты с фермерами, вызвав восторг нотариуса Гобино, который говорил Полю за завтраком, лукаво улыбаясь каждой морщинкой своего старого высохшего лица:

— Ну, эту не проведешь!

«Много ты смыслишь!» — думал подстерегающий зверя молодой охотник, пощипывая свою белокурую бородку. Тем не менее, слыша, как резко и сухо звучало чудесное, страстное контральто во время этих деловых разговоров, он понимал, что игра предстоит нешуточная.

После завтрака прибыли из Парижа ящики с туалетами от Шприхта вместе со старшей закройщицей и двумя мастерицами. Наконец к четырем часам герцогиня спустилась в дивном костюме, делавшем ее совсем молодой и стройной, и предложила Полю прогуляться по парку. Они шли рядом по аллеям, нога в ногу, бодрым шагом, стараясь уйти от стука граблей, которыми садовники три раза в день вели борьбу с опавшими листьями. Но, сколько ни хлопотали рабочие, час спустя дорожки вновь покрывались красочным восточным ковром богатых оттенков — пурпурных, золотистых, зеленых,— и он шуршал под ногами герцогини и ее спутника во время их прогулки под косыми лучами ласкающего осеннего солнца. Герцогиня говорила о своем муже, причинившем ей так много страданий в дни ее молодости, старательно подчеркивая, что траур она носит лишь из приличия, ради соблюдения светских условностей, что сердцем она не скорбит. Поль прекрасно понимал, в чем дело, улыбался, но твердо решил не изменять своей тактики, быть по-прежнему холодным и сдержанным.

В самом конце парка они присели на скамейку возле скрытой кленами и бирючиной беседки, где хранились сети и весла маленькой флотилии. Отсюда виднелись сбегавшие под гору лужайки, высокие и низкорослые старые деревья, освещенные солнцем, местами словно позолоченные, а за ними глазам открывался замок; с закрытыми по большей части окнами, с опустевшими тер-

расами, с возносившимися ввысь фонарями и башнями, он казался еще величественнее, еще более погруженным в прошлое.

— Как грустно расставаться со всем этим! — со вздохом сказал Поль.

Герцогиня взглянула на него в недоумении, нахмурившись, сдвинув брови... Уехать? Он хочет уехать?.. Но почему?

— Такова жизнь, увы! Ничего не поделаешь...

— Расстаться?.. А я?.. А это большое путешествие, которое мы собирались предпринять вместе?

— Я вам не противоречил...

Но разве такой бедный художник, как он, может себе позволить поездку в Палестину? Мечты!.. Несбыточные мечты!.. Дахабиэ Ведрина — дырявый челн на Луаре.

Она пожала плечами — прекрасными плечами патрицианки.

— Оставьте, Поль, это — ребячество! Разве всем, что я имею, вы не владеете наравне со мной?

— В качестве кого же?

Слово было сказано! Но она еще не понимала, куда он клонит. А он, боясь, что поторопился, добавил:

— Да, в качестве кого перед лицом узкого в своих суждениях света я буду путешествовать с вами?

— В таком случае останемся в Муссо.

Он склонился с любезной иронией:

— Вашему архитектору здесь больше нечего делать.

— Не беспокойтесь, мы найдем ему работу... даже если бы мне пришлось ночью поджечь замок...

Она смеялась своим чудесным, сладострастным смехом, прижималась к нему, хватала его руки, гладила себе ими лицо, льнула к нему. Но того слова, которого ожидал Поль, которого он от нее добивался, она так и не произнесла.

— Если вы меня любите, Мари-Антония,— резко сказал он,— позвольте мне уехать, я должен подумать о своем будущем, о своих близких... Мне никогда не простят зависимости от женщины, которая мне не жена и никогда ею не будет.

Она поняла, закрыла глаза, точно перед пропастью, и в наступившей тишине слышно было, как под дуновением ветерка падают в парке листья — одни, еще напоенные соками, скользили с ветки на ветку, другие, совсем невесомые, шуршали еле слышно, как женское платье: казалось, будто безмолвная толпа крадучись бродит вокруг беседки под кленами. Герцогиня, вся дрожа, поднялась.

— Холодно, пойдемте домой.

Жертва была принесена. Ей этого не пережить, но свет не увидит унизительного превращения герцогини Падовани в г-жу

Поль Астье, герцогини, вышедшей замуж за своего архитектора.

Поль весь вечер без малейшей рисовки занимался приготовлениями к отъезду: велел уложить вещи, осведомился о расписании поездов, по-царски одарил слуг, был непринужден и разговорчив, но не сумел добиться ни единого слова от прекрасной Антонии, молчаливой, нахмуренной, поглощенной чтением журнала, страницы которого она забывала перелистывать. Только когда Поль стал прощаться с нею и благодарить за длительное сердечное гостеприимство, он увидел при свете лампы под большим кружевным абажуром выражение бесконечной муки на ее гордом лице и молящую нежность в прекрасных глазах — мольбу пораженного насмерть зверя.

Поднявшись к себе, молодой человек убедился, что курительная комната заперта. Он погасил свет и стал ждать, замерев на диване у маленькой двери. Если она не придет, значит, он ошибся, и надо будет все начинать сызнова. Но вот в потайном коридоре послышался легкий шорох шелкового пеньюара. Казалось, невозможность войти вызвала удивление, потом последовал даже не стук, а скорее легкое прикосновение пальцем к замку. Поль не шелохнулся, не двинулся с места, даже когда раздалось легкое покашливание. Затем он услышал, как она удаляется неспокойными, неравномерными шагами.

«Ну, теперь попалась,— подумал молодой человек.— Что захочу, то с ней и сделаю...»

И он спокойно лег спать.

«Если бы меня звали князем д'Атисом, согласились ли бы вы стать моей женой по окончании траура?.. А ведь д'Атис не любил вас, а Поль Астье вас любит и, гордясь своей любовью, хотел бы заявить об этом громко, во всеуслышание, а не скрывать, как что-то постыдное. Ах, Мари-Анто, Мари-Анто!.. Какой чудесный сон мне приснился!.. Прощайте навеки!..»

Она читала это письмо с трудом — глаза у нее опухли от слез, пролитых ночью.

— Господин Астье уехал?

Камеристка, высунувшись из окна, чтобы укрепить ставни, увидела коляску с г-ном Астье уже в конце главной аллеи — далеко, не вернешь. Герцогиня соскочила с кровати и подбежала к часам.

— Девять часов!

Экспресс проходил через Онзен в десять.

— Скорее верхового!.. Бертоли!.. Оседлать лучшую лошадь!..

Прямиком через лес можно приехать раньше. Пока ее приказания спешно исполнялись, она писала стоя, даже не одевшись:

«Вернитесь!.. Все будет так, как вы хотите...» Нет, слишком холодно, он не вернется. Она разорвала записку и написала другую: «Твоей женой, твоей любовницей, чем хочешь, только твоей!.. твоей...» — и подписала: «Герцогиня Падовани». И вдруг, испугавшись при мысли, что он все же не вернется, решила:

— Я поеду сама... Амазонку, скорей!

Она крикнула в окно уже готовому к отъезду Бертоли и приказала ему оседлать для нее Мадемуазель Оже.

Пять лет она не ездила верхом. Амазонка трещала на ее располневшей талии, недоставало застежек.

— Оставь, Матеа, оставь...

С помертвевшим лицом она спустилась по лестнице, закинув на руку шлейф, среди остолбеневших выездных лакеев, и помчалась по аллее. Решетка, дорога. И вот она, овеваемая лесной прохладой, несется под сенью зеленых деревьев, по длинным аллеям, вспугивая своей бешеной скачкой птиц и зверей. Она хочет его догнать, он нужен ей во что бы то ни стало, только он, мужчина, возлюбленный, в чьих объятиях она умирает и возрождается вновь. Теперь, когда она познала любовь, какое ей дело до всего остального!.. Пригнувшись к седлу, она прислушивается, не слышно ли пыхтения паровоза, которое так легко различить в сельской тиши. Лишь бы поспеть вовремя!.. Безумная! Пусти она лошадь шагом, все равно она нагонит очаровательного беглеца — ведь он ее злой рок, которого избежать невозможно.

XIV

«М-ль Жермен де Фрейде
Вилла Босежур
Париж — Пасси

Кафе Орсе, одиннадцать часов.
За завтраком.

Через каждые два часа и даже чаще, если только сумею, буду посылать тебе депеши, чтобы умерить твое волнение, дорогая сестричка, и чтобы чувствовать себя неразлучным с тобой в течение этого великого дня, который, я надеюсь, закончится моим избранием, несмотря на отступничество некоторых в последнюю минуту. Пишераль только что передал мне остроту Ланибуара: «В Академию входят со шпагой на перевязи, а не в руке» — намек на дуэль Астье. Дрался, правда, не я, но мерзавец для красного словца готов забыть о данном мне обещании. Не следует рассчитывать и на Данжу. Сколько раз он твердил: «Будьте одним из наших...»,— а сегодня утром в секретариате шепнул мне: «По-

старайтесь стать желанным»,— вероятно, это лучшая острота из его репертуара. Но все равно! Успех мне обеспечен. Конкурентов бояться нечего. Барон Юшенар, автор «Пещерных людей»,— член Французской академии! Да весь Париж бы взбунтовался. Что же касается г-на Дальзона, то я удивляюсь его смелости. У меня в руках его книга, его знаменитая книга... Я не решаюсь воспользоваться ею, но пусть он будет поосторожней!

Двенадцать часов.

Я во дворце Мазарини, у моего доброго учителя,— здесь буду дожидаться исхода выборов... Недурно придумано! Мне кажется только, что мой приход, хотя я о нем и предупредил заранее, вызвал переполох. Друзья наши кончали завтракать. Поднялась суматоха, захлопали двери. Корантина, вместо того чтобы провести в гостиную, втолкнула меня в архив, куда вскоре вслед за мной вошел и мэтр. Он казался смущенным, говорил, понизив голос, советовал мне держаться как можно тише. И до чего он был печален!.. Неужели у него дурные вести?.. «Нет, нет, голубчик...» Затем, крепко пожав мне руку, добавил: «Не падайте духом...» С некоторых пор бедняга сильно изменился. Видимо, у него какое-то горе, он с трудом удерживает слезы. Его снедает тайная глубокая скорбь, не имеющая, конечно, никакого отношения к моей кандидатуре, но я нахожусь в таком состоянии...

Придется ждать еще час с лишним. Чтобы скоротать время, рассматриваю на другой стороне двора через большую застекленную дверь, ведущую в зал заседаний, бюсты академиков. Уж не предзнаменование ли это?

Без четверти час.

Только что видел, как прошли один за другим мои судьи — тридцать семь, если я правильно сосчитал. Эпеншар в Ницце, Рипо-Бабен прикован к постели, а Луазильон покоится на кладбище. Как величественны эти знаменитые мужи, входящие в судилище! Те, кто помоложе, идут медленно и степенно, склонив голову, словно под гнетом тяжелой ответственности, а старики держатся прямо, бодро шагают вперед. Подагрики и ревматики, как, например, Курсон-Лоне, подъезжают в каретах к самому подъезду и опираются на руку кого-нибудь из собратьев. Бессмертные останавливаются, прежде чем подняться, оживленно беседуют небольшими группами, пожимая плечами, откидываясь назад, энергично жестикулируя. Чего бы только я не дал, чтобы услышать, как обсуждаются в последний раз мои шансы! Тихонько приотворяю окно. Коляска, нагруженная чемоданами, с гро-

хотом въезжает во двор, из нее выходит путешественник в шубе и меховой шапке. Это Эпеншар, моя дорогая, Эпеншар, нарочно прибывший из Ниццы, чтобы подать за меня голос. Добрейшая душа!.. Потом прошел и мой учитель, сгорбленный, в широкополой шляпе, перелистывая экземпляр «Обнаженной», который я решился передать ему на всякий случай... Что делать, надо защищаться!

Двор опустел, остались две кареты, поджидающие хозяев, да бюст Минервы, стоящей на своем посту. Заступись за меня, богиня! А там, наверху, начинается перекличка и опрос: каждый академик обязан подтвердить председателю, что он никому не обещал своего голоса. Простая формальность, разумеется, на которую все отвечают, улыбаясь и отрицательно качая головой, как китайские болванчики.

Что-то неслыханное! Передав свою депешу Корантине, я подошел к окну, чтобы подышать свежим воздухом, и попытался прочесть в возвышающемся напротив мрачном здании решение моей участи, как вдруг у соседнего, тоже открытого, окна увидел Юшенара, почти бок о бок со мной... Юшенар, мой соперник, злейший враг Астье-Рею, в его кабинете!.. Оба в одинаковой степени изумленные, мы поклонились друг другу и тут же отпрянули... Однако он здесь, я слышу его, чувствую его за перегородкой. Без сомнения, он, так же как и я, ждет решения Академии, только со всеми удобствами, в бывшей гостиной Вильмена, а я задыхаюсь в этой дыре, заваленной старыми бумагами. Теперь я понимаю, почему мой приход вызвал переполох... Но в чем же дело? Как это случилось?.. Дорогая сестра! У меня голова идет кругом. Над кем же здесь смеются?

Полное поражение и измена! Подлая академическая интрига, которую я еще не могу разгадать.

Первый тур

Барон Юшенар	17 голосов
Дальзон	15 —«—
Виконт де Фрейде	5 —«—
Мозер	1 голос

Второй тур

Барон Юшенар	19 голосов
Дальзон	15 —«—
Виконт де Фрейде	3 голоса
Мозер	1 голос

Третий тур

Барон Юшенар	33 голоса
Дальзон	4 —«—
Виконт де Фрейде	0 голосов
Мозер	1 голос

Очевидно, между вторым и третьим туром экземпляр «Обнаженной» ходил по рукам, но в интересах барона Юшенара... Объяснений!.. Я хочу, я требую объяснений!.. Я не выйду отсюда, прежде чем не получу их...

Половина третьего.

Можешь себе представить, дорогая сестра, что́ я испытал, когда вслед за доносившимися до меня из соседней комнаты поздравлениями и приветствиями, которые г-н и г-жа Астье, старик Рею и целый ряд посетителей приносили автору «Пещерных людей», дверь в архив раскрылась и вошел мой учитель, протягивая ко мне руки.

— Простите меня, дорогой друг!..— От жары, от волнения он задыхался.—Простите... Этот человек держал меня за горло... Я вынужден был... вынужден был... Я думал предотвратить грозящую мне страшную беду, но от судьбы не уйдешь даже ценою подлости.

Он раскрыл мне свои объятия, и я бросился к нему, не помня зла, хорошенько даже не понимая, что за мука, скрываемая от всех, его гложет.

В конце концов все это скоро удастся поправить. Превосходные вести о Рипо-Бабене: вряд ли он протянет эту неделю. Предстоит еще одна кампания, дорогая сестрица. К несчастью, салон Падовани будет закрыт всю зиму по случаю траура. Полем действия для нас остаются только приемные дни у г-жи Астье, г-жи Анселен и г-жи Эвиза, понедельники которой стали пользоваться успехом с легкой руки великого князя. Но прежде всего, дорогая сестрица, надо будет переехать. Пасси слишком отдален от центра, академики не станут там бывать. Ты скажешь, что я тебя совсем замучаю, но что делать, это вопрос первостепенной важности! Посмотри на Юшенара — никаких оснований попасть в Академию, кроме его приемов...

Я обедаю у моего добрейшего учителя, не жди меня.

Нежно любящий тебя брат

Абель де Фрейде.

Единственный голос за Мозера на всех турах — это голос Ланибуара, докладчика о премиях за добродетель. По этому поводу ходит анекдот, весьма игривый!.. Ну, да об этом не стоит и говорить... Кулисы дворца Мазарини... Что за комедия!»

— Какая мерзость!

— Необходимо ответить. Академия не может быть под ударом...

— Что вы! Напротив, Академия должна...

— Господа, господа! Настоящее мнение Академии...

В зале закрытых заседаний, у большого камина, над которым висит портрет кардинала Ришелье во весь рост, Бессмертные горячо спорят, прежде чем начать заседание.

Сумрачный, холодный свет парижского зимнего дня, проникающий сквозь застекленный потолок, еще усиливает ледяную торжественность мраморных бюстов, расставленных вдоль стен. Огромной раскаленной топке камина, красной, как сутана кардинала, не удается согреть этот своего рода маленький парламент или трибунал с зелеными кожаными креслами и длинным подковообразным столом перед кафедрой, не удается согреть педеля, стоящего у входа неподалеку от секретаря Пишераля.

Обыкновенно эти четверть часа, предоставляемые запоздавшим,— самая приятная часть заседания: академики, собравшись небольшими группами, вполголоса дружески судачат, повернувшись спиною к огню и подняв фалды фраков. Но сегодня разговор становился общим, приобретая характер резких публичных дебатов, в которых вновь прибывшие принимали участие, как только входили в зал, едва расписавшись на листе присутствующих. Иные, даже не переступив порога, снимая шубы, кашне и калоши в пустынном зале Академии наук, уже приоткрывали дверь, выражая возмущение этой подлостью, этим гнусным поступком.

Причина переполоха — появление в одной утренней газете очень резкого отзыва Флорентийской академии о «Галилее» Астье-Рею и о приложенных к нему исторических документах, явно подложных и нелепых. Отзыв этот, сообщенный конфиденциально председателю Французской академии, уже в течение нескольких дней тайно волновал всех Бессмертных, с лихорадочным нетерпением ожидавших решения Астье-Рею, но тот ограничивался неопределенными ответами:

— Знаю, знаю... Я все сделаю.

И вдруг этот самый отзыв, который, как они полагали, был известен только им, напечатан сегодня утром на первой странице самой распространенной в Париже газеты с оскорбительными комментариями по адресу непременного секретаря и всей Академии.

Вот чем вызвано это волнение, этот взрыв негодования, это возмущение беззастенчивостью журналиста и глупостью Астье-Рею, подавшего повод к таким нападкам, от которых они давно отвыкли — с тех пор, как Академия стала благоразумно откры-

вать свои двери «газетчикам». Пылкий Ланибуар, искушенный во всех видах спорта, готов отрезать уши дерзкому писаке. Два-три собрата с трудом удерживают его.

— Перестаньте, Ланибуар!.. Шпага должна быть на перевязи, а не в руке... Ведь это ваша острота, черт возьми, хотя у нас вся Академия ею пользуется.

— Вам известно, господа, что Плиний Старший в тринадцатой книге своей «Естественной истории»...— крикнул Газан, который вошел, запыхавшись, ступая неуклюже, как слон,— что уже Плиний говорит о поддельных документах, в частности о подложном письме Приама на папирусе!..

— Господин Газан еще не расписался! — прервал его резким фальцетом Пишераль.

— Ах, виноват!..

Толстяк расписался, а затем продолжал рассказывать о папирусе, о царе Приаме, но речь его была заглушена гулом раздраженных голосов, среди которых явственно слышалось только одно слово: «Академия... Академия...» Все говорили о ней как о вполне реальном, живом существе, и каждый был убежден, что он один только знает и может выразить ее настоящее мнение. Внезапно шум затих: вошел Астье-Рею. Он расписался, совершенно спокойно положил на свое обычное место — место непременного секретаря — свой тяжелый портфель и, подойдя к коллегам, заявил:

— Господа! Я должен сообщить вам чрезвычайно неприятную новость... Я послал в Национальную библиотеку на экспертизу пятнадцать тысяч автографов, составляющих то, что я называл своей коллекцией... И вот, милостивые государи, все они оказались подложными, все!.. Флорентийская академия права. Я стал жертвой чудовищного обмана.

Он отирал крупные капли пота, выступившие у него на лбу после тяжкого признания.

— Ну, и что же дальше, господин непременный секретарь?— вызывающе спросил кто-то.

— Что дальше, господин Данжу? Мне оставалось только обратиться в суд... что я и сделал...

Все начали протестовать, заявляя, что такой процесс невозможен, что посмешищем станет сама Академия, но Астье-Рею добавил:

— Искренне сожалею, дорогие коллеги, но решение мое бесповоротно... Впрочем, преступник уже в тюрьме, и следствие начато...

Никогда еще зал закрытых заседаний не оглашался таким ревом, каким были встречены эти слова. И, как всегда, среди самых неистовых выделялся Ланибуар. Он орал, что Академии

следует избавиться от столь опасного сочлена. В первом порыве гнева некоторые академики принялись громко обсуждать его предложение. Исполнимо ли оно? Может ли Академия, скомпрометированная одним из своих членов, сказать ему: «Уходите, я беру назад свое решение... Бессмертный! Я возвращаю вас в лоно простых смертных».

И вдруг, расслышав ли что-либо из этого препирательства или по какому-то наитию, которое порой озаряет совершенно глухих людей, старик Рею, державшийся из боязни удара в стороне, вдали от камина, изрек громко и монотонно:

— При Реставрации по мотивам чисто политическим мы исключили не менее одиннадцати членов...

Старец подтвердил эти слова кивком головы, словно призывая в свидетели своих современников — белые бюсты с пустыми глазами, расставленные на пьедесталах вдоль стен зала.

— Одиннадцать, черт возьми!..— в наступившей тишине пробормотал Данжу.

А Ланибуар с обычным для него цинизмом воскликнул:

— Все организации, управляемые не единолично, трусливы, таков закон природы!.. Жить-то ведь надо!..

Тут Эпеншар, замешкавшийся у входа, где он толковал о чем-то с Пишералем, подошел к своим коллегам и, не повышая голоса, откашлявшись, заявил, что непременный секретарь не один виновен в этом деле, доказательством служит протокол от 8 июня 1879 года, который сейчас будет оглашен.

Пишераль тоненьким голоском, весело и скороговоркой прочел:

— «8 июня 1879 года Леонар-Пьер-Александр Астье-Рею принес в дар Французской академии письмо Ротру кардиналу Ришелье о статуте Высокого собрания. Академия, ознакомившись с этим доселе не опубликованным и в высшей степени любопытным документом, изъявляет дарителю свою признательность, постановляет включить письмо Ротру в настоящий протокол. Приводим его текстуально...»

Здесь секретарь замедлил чтение, весьма язвительно делая ударение на каждом слове:

— ...«текстуально, то есть со всеми описками, встречающимися в частной переписке и только подтверждающими подлинность документа».

Озаренные тусклым светом, падавшим с застекленного потолка, все стояли неподвижно, избегая смотреть друг на друга, и слушали в полном замешательстве.

— Письмо тоже прочесть? — с улыбкой спросил Пишераль; его все это явно забавляло.

— Читайте и письмо,— ответил Эпеншар.

Но при первых же словах послышалось:

— Довольно!.. Довольно!.. Перестаньте!..

Теперь они краснели из-за послания Ротру, подложность которого бросалась в глаза. Просто школьническая подделка: неправильные обороты, половина слов в то время неизвестных... Какое ослепление! Как они могли!..

— Итак, вы видите, господа, что было бы крайне несправедливо обвинять нашего несчастного собрата...— заговорил Эпеншар и, повернувшись к непременному секретарю, стал заклинать его отказаться от скандального процесса, который затронет честь всей Академии и даже великого кардинала.

Но ни пылкость этой речи, ни эффектность жеста, которым оратор указал на пелерину кардинала-основателя, не могли сломить дикое упрямство Астье-Рею; выпрямившись во весь рост, он стоял посреди зала у столика, служившего трибуной для сообщений и докладов, и, непоколебимый, сжав кулаки, словно опасаясь, что его волю могут вырвать у него из рук, твердил:

— Ничто, слышите, ничто не изменит моего решения!

И его толстые сдвинутые пальцы гневно стучали по дереву стола.

— О господа! Я и так медлил, я сделал слишком много уступок такого рода соображениям... Поймите же, что мой «Галилей» меня душит, у меня не хватает средств скупить его, и я вижу его на витринах книгопродавцев под моим именем, свидетельствующим о моем сообщничестве с подделывателем документов.

Так чего же он хотел? Собственными руками вырвать эти запятнанные страницы из своей книги, предать их публичному сожжению. Возможность к этому предоставит ему процесс.

— Вы говорите, что нас подымут на смех, но Академия стоит высоко, ей это не страшно. А я, разоренный, осмеянный, смогу гордиться тем, что сберег свое имя, свой труд и достоинство истории. На большее я и не претендую.

Сквозь напыщенность его речи слышались искренность и прямота, звучавшие диссонансом в этой среде, привыкшей сглаживать острые углы мягкими, как вата, компромиссами и условностями.

Внезапно педель объявил:

— Четыре часа, господа!..

Четыре часа! А относительно похорон Рипо-Бабена еще ничего окончательно не решено.

— В самом деле!.. Бедный Рипо-Бабен!..— насмешливым тоном заметил Данжу.

— Он-то умер вовремя! — мрачно изрек Ланибуар.

Но его острота пропала даром. Педель кричал: «По местам,

господа!..», председатель звонил в колокольчик, по правую руку от него занял место хранитель печати Деминьер, а по левую — непременный секретарь Астье-Рею, овладев собой, спокойно читал отчет похоронной комиссии под несмолкавшее шушуканье присутствующих и под стук бившего по стеклам града.

— Как вы сегодня поздно! — проворчала Корантина, открывая барину дверь. На нее дворец Мазарини не производил никакого впечатления.— Ваш сынок у вас в кабинете, и барыня с ним... Проходите через архив... В гостиной полно народу.

Зловеще выглядел этот архив с разобранными полками, словно после кражи или пожара. Астье-Рею в последнее время избегал входить туда, теперь же он прошел через него, высоко подняв голову, гордясь принятым решением, своим заявлением, только что сделанным в Академии. После такого огромного напряжения воли и проявленного мужества ему стало отрадно и тепло на душе при мысли, что сын ждет его. Он не видел Поля со дня дуэли, когда, охваченный тревогой, смотрел на своего мальчика, лежавшего в постели, белее простыни, и теперь он шел к нему с радостным чувством, готовый широко раскрыть объятия, привлечь его к себе и крепко-крепко молча прижать к своему сердцу. Но как только он вошел и увидел сына рядом с матерью, заметил, что они шепчутся, не поднимая глаз, с обычным для них таинственным видом сообщников, порыв его мгновенно утих.

— Да входите же, боже мой! — крикнула г-жа Астье; она уже надела шляпу: видимо, собиралась уходить. Потом полушутя-полусерьезно, точно представляя незнакомца, добавила: — Мой друг... граф Поль Астье!

— Здравствуйте, дорогой мэтр! — произнес Поль и поклонился.

Астье-Рею смотрел на них обоих, хмуря свои мохнатые брови.

— Граф Поль Астье?

Молодой человек, все такой же красивый, загоревший после полугодового пребывания на свежем воздухе, сообщил, что он приобрел титул римского графа, не столько для себя, сколько ради той особы, которая согласилась носить его имя.

— Ты женишься?..— спросил отец с возрастающим недоверием.— На ком?

— На герцогине Падовани.

— Ты с ума сошел!.. Герцогиня на двадцать пять лет старше тебя!.. А потом... А потом...— Он колебался, подыскивая более учтивое выражение, и наконец резко сказал: — На женщине, которая, как всем известно, в течение нескольких лет принадлежала другому мужчине, не женятся.

— Но это не мешало нам, кстати сказать, регулярно обедать в ее доме и пользоваться ее услугами,— прошипела, закинув голову, готовая к атаке г-жа Астье.

Не отвечая жене, даже не глядя на нее, словно считая, что она не может быть судьей в вопросах чести, старик приблизился к сыну и сказал убежденно и сердечно, причем от волнения щеки у него прыгали:

— Не делай этого, Поль!.. Ради имени, которое ты носишь, не делай этого, мой мальчик, прошу тебя!

Он схватил сына за плечо и в порыве нежных чувств стал трясти его. Но молодой человек высвободился: он не любил проявлений чувствительности.

— Я не нахожу... Я держусь иного мнения...— защищался он общими фразами.

Перед непроницаемостью этого лица, перед этим бегающим взглядом, чувствуя, как далек от него сын, старик на правах главы семьи невольно повысил голос. Но, подметив улыбку, которой обменялись сын с матерью,— новое доказательство их соучастия в совершаемой подлости! — Леонар окончательно вышел из себя. Он гремел, неистовствовал, угрожал, что будет протестовать публично, напишет в газетах, что заклеймит их обоих, и мать и сына, в своих книгах. Эта угроза, по его мнению, была самой страшной. Когда он говорил о каком-нибудь персонаже давно минувших лет: «Я заклеймил его в моих книгах!» — ему казалось, что ни одна кара не идет в сравнение с этой. Однако на обоих союзников эта угроза не подействовала. Г-жа Астье, привыкшая к ней почти так же, как к перетаскиванию сундука по коридорам, ограничилась тем, что сказала, застегивая перчатки:

— Не забывайте, что рядом все слышно.

И действительно: несмотря на закрытую дверь и спущенные портьеры, из гостиной доносился гул голосов.

С трудом сдерживая гнев, Леонар Астье протянул указательный палец к самому лицу сына и прохрипел:

— Слушай меня внимательно, Поль: если то, о чем ты говоришь, свершится, мы с тобой больше не увидимся! Я не буду у тебя на свадьбе и не желаю видеть тебя у своего смертного ложа... Ты мне больше не сын... Я запрещаю тебе переступать порог моего дома, я проклинаю тебя!

Поль, отодвинувшись, потому что палец почти дотрагивался до него, невозмутимо ответил:

— Знаете, дорогой отец, проклинать, благословлять — это уже не принято в домашнем быту. Даже в театре больше не проклинают и не благословляют.

— Но зато еще бьют, негодяй! — зарычал старик и занес руку.

Послышался гневный окрик матери: «Леонар!..» — а между тем Поль ловким приемом боксера отклонил удар так же спокойно, как если бы это происходило в зале Кейзера, и, не выпуская отведенной вниз руки отца, прошептал:

— Нет, нет, этого уж я не позволю!

Старый овернец в бешенстве пытался высвободиться, но, как он ни был еще силен, его противник оказался сильнее. И в эту страшную минуту, когда отец и сын стояли друг против друга с лицами, искаженными ненавистью, обмениваясь взглядами убийц, дверь из гостиной приоткрылась и в ней показалось младенчески добродушное, улыбающееся лицо дородной дамы, разукрашенной перьями и цветами.

— Простите, дорогой мэтр! Мне нужно вам сказать два слова... Ах, и Аделаида здесь!.. И господин Поль!.. Очаровательно!.. Божественно!.. Ох!.. Ах!.. Семейная картина!..

В самом деле, это была семейная картина, вернее, картина современной семьи, расколотой глубокой трещиной. Эта трещина проходит сверху донизу сквозь все европейское общество, подрывая принципы иерархии и авторитета, и она особенно грозна здесь, под величественным куполом дворца Мазарини, где производится оценка семейных и всяких иных традиционных добродетелей, где за них выдаются награды.

XVI

В восьмой камере, где должно было слушаться дело Альбена Фажа, после бесконечного следствия и вмешательства влиятельных лиц, которые ставили всяческие препоны судопроизводству, давка была необычайная. Никогда в этой зале уголовного суда с выцветшими голубыми стенами и полинявшей позолотой на карнизах, пропитанной запахом нищеты и человеческого пота, не теснилось на грязных скамьях, не толпилось в проходах столько нарядной светской публики, ни разу не видели здесь столько отделанных цветами шляп, столько весенних нарядов от знаменитых портных, выделявшихся среди черных тог и беретов судей и адвокатов. Люди все прибывали, двери не переставали хлопать под напором бурного потока любопытных, тусклый свет, падавший на площадку лестницы, освещал головы, прижатые одна к другой, высоко поднятые и все же тянувшиеся вверх.

Везде знакомые, архизнакомые, надоевшие так, что хоть плачь, завсегдатаи парижских празднеств, пышных похорон и первых представлений: и Маргарита Оже в авангарде, и малень-

кая графиня Фодер, и красавица Генри из американской миссии. А за ними академические жрицы: г-жа Анселен, вся в лиловом, под руку со старейшиной адвокатов Равераном; г-жа Эвиза — настоящий куст роз, окруженная черным жужжащим роем молодых начинающих адвокатов, а позади трибунала, на местах, отведенных для избранной публики,— Данжу. Он стоял, скрестив руки, возвышаясь над собранием и судьями, выставляя напоказ на фоне окна свой резко очерченный профиль старого актера, который сорок лет подряд мелькает всюду,— образец светской банальности в ее самом скучном выражении. Кроме Астье-Рею и барона Юшенара, вызванных в качестве свидетелей, он был единственным академиком, имевшим смелость явиться в суд, не убоявшимся даже речи защитника Альбена Фажа, заядлого насмешника Маржери, который одним своим гнусавым голосом возбуждал хохот публики и судей.

Будет над чем посмеяться! Это чувствовалось в воздухе, угадывалось в шаловливо склоненных судейских беретах, в блеске глаз, в многозначительных взглядах и улыбках, которыми издали обменивались между собой присутствующие. Столько забавных историй передавалось в публике относительно любовных похождений горбуна, только что занявшего место на скамье подсудимых! Уродец, подняв длинную напомаженную голову, из-за решетки окинул зал одним из тех ястребиных взглядов, в значении которых никогда не ошибаются женщины. Рассказывали о каких-то компрометирующих письмах, об объяснениях, представленных обвиняемым, о том, что он назвал имена двух-трех светских львиц,— имена, всем известные, фигурирующие во всех грязных делах. Один экземпляр этой объяснительной записки переходил из рук в руки на скамье журналистов: то была наивная и претенциозная автобиография, в которой глупое бахвальство уродца переплеталось с тщеславием самоучки, но в которой не было ни намека на ожидавшиеся разоблачения.

Фаж сообщал господам судьям, что родился он близ Васси (Верхняя Марна) и был прямой, как все люди,— это утверждает каждый горбун,— но в пятнадцать лет упал с лошади, повредил себе позвоночник и стал горбатым. Как большинство калек, он медленно развивался в половом отношении, влечение к женщинам явилось у него поздно, но овладело им с невероятной силой. Это было в то время, когда он работал у одного книгопродавца в пассаже Панорам. Уродство мешало его победам, и он стал искать способ заработать много денег. История его похождений, чередуясь с повествованием о подлогах, о приемах, к которым он прибегал, о составе чернил, обработке пергамента, пестрела следующими названиями глав: «Моя первая жертва», «Анжелика-брошюров-

щица», «За пунцовую ленту», «Деревенская ярмарка», «Знакомство с Астье-Рею», «Таинственные чернила», «Вызов химикам Французской академии».

Чтение этой записки вызвало недоумение: как мог непременный секретарь Французской академии, а вместе с ним официальная наука и литература позволить так себя дурачить в продолжение двух-трех лет невежественному калеке, набившему себе голову всяким библиотечным хламом, обрывками плохо переваренных книг? В этом-то и заключался комизм дела Альбена Фажа и причина такого стечения публики. Люди явились сюда посмотреть на Академию, пригвожденную к позорному столбу в лице Астье-Рею, которого все присутствующие искали глазами в первом ряду свидетелей. Он сидел неподвижно, погруженный в свои мысли, еле отвечал, не поворачивая головы, на льстивые пошлости Фрейде, стоявшего сзади него в черных перчатках, с широким крепом на шляпе: он носил траур по только что умершей сестре. Вызванный в качестве свидетеля со стороны защиты, милейший кандидат боялся, как бы это не повредило ему во мнении учителя, и он оправдывался, объясняя, что встречал этого прохвоста у Ведрина. Но шепот его тонул в шуме залы, в монотонном гудении суда, вызывающего стороны и сбывающего с рук одно дело за другим под непрестанно повторяющиеся возгласы: «Отложить на неделю, отложить на неделю!..» Эти восклицания падали, как удары гильотины, обрывая возражения адвокатов и жалобные мольбы несчастных, раскрасневшихся, утиравших пот со лба перед решеткой: «Но позвольте, господин председатель...» «Отложить на неделю!..»

Порой в глубине залы раздавался отчаянный вопль, руки растерянно поднимались.

— Я здесь, господин председатель!.. Только не могу подойти!.. Очень много народа!

— Отложить на неделю!

Кому довелось быть свидетелем таких проявлений усердия, такой быстроты в работе символических весов, тот навсегда сохранит высокое мнение о правосудии. Словно присутствуешь при отпевании «на почтовых» какого-нибудь нищего священником чужого прихода.

Наконец председатель провозгласил:

— Дело Альбена Фажа!

Мертвая тишина водворилась не только в зале, но и на лестнице, где люди влезали на скамейки, чтобы лучше видеть. Затем после краткого бормотания перед судейским столом свидетели один за другим потянулись между тесными рядами тог в отведенную для них унылую залу, пустую и мрачную, с каменным стер-

шимся полом, выходившую окнами в узенький переулок. Астье-Рею, которого должны были вызвать первым, не вошел туда, он шагал взад и вперед по темному коридору между залами. Фрейде хотел остаться с ним, но он глухо сказал:

— Нет, нет!.. Оставьте меня... Я хочу побыть один!..

Сконфуженному кандидату пришлось присоединиться к другим свидетелям: разбившись на маленькие группы, они беседовали между собой. Здесь были барон Юшенар, палеограф Бос, химик Дельпеш, эксперты-графологи и хорошенькие девицы, чьи портреты украшали стены в комнате Альбена Фажа,— они безмерно радовались рекламе, которую создаст им этот процесс, громко хохотали, демонстрировали свои умопомрачительные шляпки, составлявшие резкий контраст с полотняным чепцом и вязенками находившейся тут же привратницы Счетной палаты. Ведрин был тоже вызван в суд; Фрейде подсел к нему на широкий подоконник открытого окна. Попав в круговорот, унесенные двумя встречными потоками, которые так легко разлучают в Париже людей, товарищи не видались с прошлого лета и свиделись только на похоронах бедняжки Жермен. Ведрин пожимал руки своему другу, расспрашивал о здоровье, душевном состоянии после постигшего его несчастья. Кандидат пожал плечами:

— Тяжко, конечно, но что прикажешь делать! Я примирился...

Ведрин вытаращил глаза, потрясенный таким диким эгоизмом.

— Черт возьми! Ты только подумай: два раза за год они меня проваливают!..

Единственным настоящим постигшим Фрейде несчастьем был его провал при баллотировке на кресло Рипо-Бабена, ускользнувшее от него так же, как и кресло Луазильона... Наконец он догадался и глубоко вздохнул... Ах да!.. Его Жермен... Много ей было хлопот в последнюю зиму из-за этих злополучных выборов... Два званых обеда в неделю; до двенадцати, до часа ночи она разъезжала на своем кресле с одного конца гостиной на другой. Она положила на это свои последние силы, она отдалась борьбе с еще бóльшим увлечением, с еще большим подъемом, чем брат. И перед смертью, перед самой смертью, когда она уже не могла говорить, ее бедные, сведенные судорогой пальцы еще что-то подсчитывали, теребя простыню.

— Да, милый мой, она скончалась, занимаясь подсчетами, взвешивая мои шансы на это проклятое кресло... Боже мой! Хотя бы только ради нее я добьюсь этого кресла, попаду в Академию наперекор им, в память дорогой покойницы.

Он внезапно остановился, затем изменившимся, упавшим голосом добавил:

— Впрочем, я не знаю, для чего я тебе это говорю... Но, с тех пор как они вбили мне это в голову, я уже ни о чем другом не могу думать... Сестра моя умерла, а я почти ее не оплакивал... Надо было делать визиты, «вымаливать кресло в Академии», как кто-то выразился. Я сохну... я гибну... Это настоящее безумие...

Резкость слов, взволнованный тон, придававший им еще бо́льшую едкость,— все это было так не похоже на Фрейде, обычно такого кроткого, любезного, жизнерадостного. Растерянный взгляд, страдальческая морщина на лбу, горячие ладони изобличали страсть, манию. Однако встреча с Ведрином, казалось, подействовала на него благотворно, он стал расспрашивать приятеля с неподдельной сердечностью:

— Что поделываешь?.. Как поживаешь?.. Как жена, дети?

Художник отвечал со своей обычной спокойной улыбкой. Слава богу, все семейство чувствует себя прекрасно. Малютку собираются отнять от груди. Мальчишка все так же красив и с прежним нетерпением ждет столетия старика Рею. А сам он работает. Две картины выставил в Салоне в этом году. Их там неплохо поместили, и проданы они были довольно выгодно. Зато один из кредиторов, столь же неосторожный, сколь и свирепый, сцапал за долги паладина, и паладин, перекочевывая с места на место, загромоздив сперва нижний этаж великолепного дома на Римской, переехав потом на конюшню в Батиньоль, теперь попал в коровник в Левалуа, куда они всей семьей время от времени ходят навещать его.

— Вот она, слава! — добавил, смеясь, Ведрин, но тут пристав вызвал свидетеля Астье-Рею.

Силуэт непременного секретаря на мгновение обрисовался в пыльной полосе света, падавшего из окна судейской залы. Астье держался прямо и спокойно, только спина его, за которой он не следил, и широкие вздрагивающие плечи выдавали его глубокое волнение.

— Бедный Крокодил! — прошептал скульптор.— Он проходит через тяжкие испытания... Эта история с автографами, женитьба сына...

— Поль Астье женился?

— Три дня тому назад, на герцогине... Нечто вроде морганатического брака. Присутствовали мамаша молодого человека, четыре свидетеля, а больше никого не было. Без меня, разумеется, не обошлось: какой-то рок заставляет меня быть участником всех событий в семье Астье.

Ведрин рассказал, как он был потрясен, увидев в зале мэрии герцогиню Падовани, бледную как смерть, отчаявшуюся, в ореоле седых волос, своих чудесных волос, которые она уже не счи-

тала нужным красить. Рядом с ней его сиятельство Поль Астье, улыбающийся, холодный и все такой же красивый... Все молча смотрят друг на друга, не знают, что сказать. Наконец один из чиновников мэрии, взглянув на старых дам, счел своим долгом заметить, расшаркиваясь с любезной улыбкой: «Мы ждем невесту...» «Невеста здесь»,— ответила герцогиня, приближаясь с высоко поднятой головой.

— Из мэрии, где дежурный помощник мэра был настолько тактичен, что воздержался от какой-либо речи, мы поехали в монастырь на улице Вожирар. Аристократическая церковь, вся вызолоченная, убранная цветами, залитая светом ярко горящих люстр,— и ни одной души. Только новобрачные и свидетели, разместившиеся в одном ряду стульев, слушали, как его высокопреосвященство папский нунций Адриани бормотал под нос длиннейшую проповедь, читая ее по книге с раскрашенными картинками. И до чего было забавно, когда этот светского вида прелат, с длинным носом и тонкими губами, в лиловой, обтягивающей его худые плечи пелерине, говорил о «чести супруга», о «юных прелестях супруги», искоса бросая ехидный и злобный взгляд на жалкую чету, преклонившую колена на бархатной скамейке! Потом — выход из церкви, холодное прощание под сводами монастырька и вздох облегчения, вырвавшийся у герцогини: «Слава богу! Кончилось!» — вырвавшийся с такой безнадежностью, словно она измерила глубину пропасти и бросается в нее с открытыми глазами, только чтобы сдержать данное ею слово.

— Да, немало я видел на своем веку мрачного и прискорбного,— продолжал Ведрин,— но ничто меня так не потрясло, как свадьба Поля Астье.

— Ну и негодяй же наш молодой друг! — сквозь зубы процедил Фрейде.

— Да, это один из наших красивых *struggle for lifer*'ов.

Скульптор повторил это слово и сделал на нем ударение: *struggle for lifer*'ов — так он называл новую породу мелких хищников, для которых «борьба за существование», это замечательное открытие Дарвина, служит лишь научным обоснованием всякого рода подлостей.

— Как бы то ни было, а теперь он богат... Его желание исполнилось. На этот раз нос не свел его с прямого пути! — заметил Фрейде.

— Подождем — увидим... Герцогиня не из покладистых, а у него, когда он был в мэрии, взгляд предвещал недоброе!.. И если старая жена будет ему в тягость, мы еще, быть может, увидим на скамье подсудимых сына и внука Бессмертных.

— Свидетель Ведрин! — во весь голос крикнул пристав.

Взрыв хохота шумливой толпы, теснившейся в зале, донесся из раскрывшихся дверей.

— Ну и весело у них там! — заметил полицейский, стоявший в коридоре на карауле.

В комнате свидетелей, мало-помалу опустевшей во время беседы двух друзей, остались теперь только Фрейде и привратница Счетной палаты, совсем растерявшаяся от предстоящего вызова в залу суда и все время машинально теребившая завязки своего чепца. Что касается кандидата, то он, напротив, ждал этого единственного случая публично воскурить фимиам Французской академии и ее непременному секретарю в кратком слове, которое будет напечатано в газетах и явится как бы вступлением к его речи при приеме в Академию. Оставшись один — старуху уже вызвали,— кандидат ходил большими шагами по комнате и останавливался у окна, округляя периоды, плавно вытягивая руки в черных перчатках. А напротив суда, в мрачном и ветхом, с обвалившейся штукатуркой домишке, от которого так и несло ютившимся там отвратительным, постыдным ремеслом, его жесты истолковали совсем по-иному... Голая жирная рука отдернула розовую занавеску и ответила едва уловимым двусмысленным приглашением... «Ох уж этот Париж!..» Лицо будущего академика залила краска стыда. Он поспешил отойти от окна и укрылся в коридоре.

— Теперь говорит прокурор,— прошептал полицейский, меж тем как в душной до одурения зале гремел притворно негодующий голос:

— Вы злоупотребили невинной страстью старика...

— Как же это?.. А меня?..— невольно воскликнул Фрейде.

— Про вас они, должно быть, забыли...

«Вот так всегда!..»— с грустью подумал бедняга.

Громовым хохотом встретила собравшаяся публика разбор подложной коллекции Мениль-Каз: письма королей, пап, императриц, маршала Тюрена, Бюффона, Монтеня, Ла Боэси, Клемансы Изор, и при каждом новом имени из этого фантастического списка, свидетельствовавшего о чудовищной наивности официального историка, о глупейшем положении всей Французской академии, одураченной гномом, веселье все росло. Фрейде не в состоянии был выносить глумливый хохот толпы, насмехавшейся над его покровителем и учителем Астье-Рею, тем более что этот смех задевал и его самого, наносил тяжкий удар его кандидатуре. Он выбежал из коридора, спустился вниз, долго бродил по дворам, по тротуару у ограды и наконец смешался с толпой, выходившей из суда. Здесь уже суетились выездные лакеи и слышался стук экипажей. В догорающем свете чудесного июньского дня открывающиеся розовые, белые, лиловые и зеленые зонтики казались

гигантскими цветами всевозможных оттенков. Взрывы хохота слышались отовсюду, как при выходе из театра после забавной пьесы... Ну и влип же этот горбун — пять лет тюрьмы и возмещение убытков! А его адвокат! Всех уморил!.. Маргарита Оже заливалась своим знаменитым смехом из второго действия «Мюзидоры»: «Ах, дети мои!.. Ах, дети мои!..» А Данжу, провожая до кареты г-жу Анселен, заявил громко и цинично:

— Это плевок в лицо Академии... Прямо в лицо... И до чего ловко пущенный!..

Леонар Астье уходил один, не поворачивая головы. Он слышал все разговоры, хотя люди предостерегали друг друга:

— Тише, он здесь!

Он понимал, что теряет уважение окружающих,— весь Париж знал, как его осмеяли, и потешался над ним.

— Обопритесь на мою руку, дорогой учитель.

Повинуясь порыву своего доброго сердца, Фрейде догнал старика.

— О друг мой! Как мне дорого ваше участие! — сказал Астье глухим растроганным голосом.

Некоторое время они шли молча. Деревья на набережной бросали тени, и тени эти играли на камнях мостовой. Уличный шум и всплески воды весело звучали в воздухе. Это был один из таких дней, когда казалось, что для человеческих страданий не остается места.

— Куда мы идем? — спросил Фрейде.

— Куда хотите... только не ко мне,— ответил старик, охваченный детским страхом при мысли о сцене, которую ему закатит жена.

Они пообедали вдвоем в Пуэн-дю-Жур после продолжительной прогулки по берегу реки. Сочувственные слова ученика и прелесть летнего вечера благотворно повлияли на Астье-Рею. Он возвращался домой поздно ночью, успокоенный, оправившийся после пятичасовой пытки на скамье восьмой камеры, после пяти часов, в течение которых ему, связанному по рукам и ногам, пришлось сносить оскорбительный смех толпы и едкое, словно серная кислота, красноречие адвоката.

— Смейтесь, смейтесь, обезьяны бесхвостые!.. Потомство нас рассудит...

Так утешал он себя, проходя по длинным дворам дворца Мазарини, где все уже спало. Огни были потушены, пролеты лестниц зияли справа и слева большими черными прямоугольниками. Поднявшись ощупью, он бесшумно пробрался в свой кабинет, не зажигая света, как вор. Со времени женитьбы Поля и своего

разрыва с сыном он спал здесь на каком-то импровизированном ложе, чтобы избежать этих непрекращающихся ночных разговоров, которые всегда кончаются победой женщины, даже если она перестала быть женщиной; у нее более крепкие нервы, поэтому мужчина в конце концов готов уступить, все обещать, лишь бы его оставили в покое, дали уснуть!

Спать!.. Никогда еще он не чувствовал такой потребности в сне, как по окончании этого бесконечного, утомительного, полного волнений дня. Он вошел в свой кабинет, как в тихую обитель, в надежде успокоиться и уснуть, но вдруг различил у окна чью-то фигуру.

— Ну что ж! Теперь вы довольны...

Его жена! Она ждала его, подстерегала, ее змеиное шипение, послышавшееся во мраке кабинета, приковало его к месту.

— Ну вот, вы добились этого процесса... Вы хотели, чтобы вас подняли на смех, и достигли своей цели: вы стали всеобщим посмешищем, вам показаться нигде нельзя... Стоило кричать, что ваш сын позорит имя Астье! Это имя по вашей милости стало теперь синонимом невежества и тупоумия, его нельзя произнести без смеха... И чего ради, скажите на милость?.. Чтобы спасти ваши труды... Дурак вы, дурак! Кому известны ваши труды? Кого может интересовать, подложны ваши материалы или нет... Вы же отлично знаете, что вас не читают...

Слова у нее так и сыпались, так и сыпались, ее визгливый голос доходил до самых высоких нот. А для него это было продолжением только что пережитых терзаний, и, как тогда, в суде, он и теперь выслушивал оскорбления молча, без угрожающих жестов, словно находясь перед лицом недосягаемого, непререкаемого авторитета. Но как жесток был этот невидимый рот, как он кусал, как ранил, выискивая самые чувствительные места, впиваясь зубами в его достоинство человека и писателя!.. Нечего сказать, его книги!.. Да неужели он воображает, что благодаря им он попал в Академию? Ей одной он обязан своим зеленым мундиром! Какие только интриги, какие хитрости она не пускала в ход, чтобы преодолевать препятствия одно за другим!.. Она пожертвовала своей молодостью, она выслушивала объяснения в любви и принимала ухаживания чересчур предприимчивых шамкающих старичков, возбуждавших в ней отвращение...

— Ничего не поделаешь, милый мой, пришлось на это пойти... Ведь чтобы попасть в Академию, нужен талант, а у вас его нет... Или знатное имя, блестящее положение... Всего этого вы были лишены... Тогда за это взялась я!..

Боясь, как бы он не усомнился в ее словах, как бы не подумал, что они вызваны раздражением выведенной из себя женщины,

оскорбленной в своем супружеском достоинстве, в слепой любви к сыну, она ставила все точки над «i», указывала все подробности его избрания, напомнила мужу его знаменитую остроту об ее вуалетках, пахнувших табаком, тогда как он никогда не курил...

— Эта острота прославила вас больше, чем все ваши книги...

У него вырвался тяжкий, глубокий стон, глухой стон человека, у которого распорот живот и который обеими руками пытается удержать свои внутренности. А визгливый голос продолжал, как ни в чем не бывало:

— Ну и уложите, боже мой, раз навсегда ваш сундук, чтобы духу вашего здесь не было!.. Поль, к счастью, богат... Он будет высылать вам на кусок хлеба. Надеюсь, вы сами понимаете, что теперь не найдется ни одного издателя, ни одного журнала, который согласился бы печатать ваши благоглупости, и только мнимое бесчестье Поля позволит вам не умереть с голода.

— Нет, это уж слишком! — пробормотал несчастный старик, уходя, убегая от этой бичующей его ярости.

Хватаясь за стены, пробираясь по коридорам, по лестницам, по гулким, пустым дворам, он повторял, чуть не плача: «Это уж слишком... Это уж слишком...»

Куда он идет?

Прямо, все прямо, как во сне. Он пересекает площадь, останавливается на середине моста. Ночная прохлада бодрит его. Он садится на скамейку, снимает шляпу и засучивает рукава, чтобы легче было рукам. Мало-помалу мерный плеск воды успокаивает его, он приходит в себя, но лишь для того, чтобы все припомнить, и от этого душевная боль еще усиливается. Что это за женщина! Что это за чудовище! Он прожил с ней тридцать пять лет и так и не узнал ее до конца! Дрожь отвращения пробегает по его телу при воспоминании о тех гнусностях, которые он только что услышал. Она ничего не пощадила, ничего не оставила в нем живого, даже его гордости, которая его поддерживала, веры в свои труды, благоговения перед Академией. При мысли об Академии он невольно оборачивается. В конце безлюдного моста, простирающегося, подобно широкой аллее, до подножия исторического здания, дворец Мазарини казался неясной громадой, выделяясь в сумраке ночи своим портиком и куполом, как на переплетах изданий Дидо, приковавших его внимание в дни молодости... О, этот собор, эта каменная глыба — обманчивая цель, причина всех его несчастий!.. Здесь он нашел себе спутницу жизни, на которой женился без любви, без радости, только за обещание кресла в Академии. И он получил это столь желанное кресло! Теперь он знает, какими средствами... Какая мерзость!..

Шаги и смех раздаются на мосту: это возвращаются в Латинский квартал студенты со своими возлюбленными. Старик, боясь, что его узнают, встает и облокачивается на перила. Шумная ватага, проходя мимо, нечаянно задевает его, а он с горечью думает, что никогда не веселился, никогда не проводил так вечера, беззаботно распевая под звездным небом. Гонимый честолюбием, он тянулся к куполу этого храма — и что получил взамен? Ничего. Ни-че-го!.. Уже давно, в день избрания, после речей и обмена любезностями, у него появилось ощущение пустоты и обманутой надежды. Возвращаясь в фиакре домой, он говорил себе: «Неужели? Значит, я туда попал?.. И это все?» С тех пор, постоянно обманывая себя, повторяя вместе со всеми коллегами, что это хорошо, чудесно, что лучше и быть не может, он в конце концов уверовал в Академию... Но завеса спала, он прозрел, и теперь ему хотелось во всю силу легких крикнуть французской молодежи:

— Не верьте!.. Вас обманывают!.. Академия — это только приманка, мираж! Идите своим путем, творите вне ее. Главное — не жертвуйте ей ничем, потому что она не в силах дать вам то, чего у вас нет,— ни таланта, ни славы, ни чувства удовлетворения... Академия не опора, не пристанище. Это пустой внутри кумир, религия, не дающая утешения! Тяжкие житейские невзгоды настигают вас там так же, как и всюду... Люди кончали с собой под этим куполом, сходили с ума! Тот, кто взывал к ней из глубины своей скорбной души, простирал руки, утратив веру в любовь или устав проклинать, обнимал только тень и пустоту... пустоту.

Старый педагог произносил это вслух, с непокрытой головой, впившись обеими руками в парапет, как когда-то в классе впивался в край кафедры. Внизу струится река, она чернеет во мраке между двумя рядами фонарей, которые беспрерывно мигают живым, но безмолвным светом, тревожным, как все, что движется, пристально смотрит и не подает голоса. С берега доносится голос пьяного — он проходит мимо моста и, фальшивя, орет во всю глотку: «Как поутру *прошнется* Купидон...» Должно быть, подгулявший овернец возвращается на свою баржу с углем. Старый академик вспоминает полотера Тейседра и его стаканчик холодного вина. Ему ясно представляется, как тот утирает рукавом губы: «Ничего нет лучше на *швете*, чем *штаканчик* холодненького винца!..» Даже такой скромной, безыскусственной радости он не знал и думает сейчас о ней с завистью. Одинокий, беспомощный, лишенный отрады поплакать у кого-нибудь на плече, он понимает, что эта мерзавка права и что нужно раз навсегда уложить сундук.

Под утро полицейские нашли на скамейке Моста искусств широкополую шляпу — одну из тех шляп, которые сохраняют

на себе отпечаток личности владельца. В ней лежали массивные золотые часы и визитная карточка, на которой значилось: «Леонар Астье-Рею, непременный секретарь Французской академии», а поперек шла строчка карандашом: «Я умираю по доброй воле...» О да, по доброй воле!.. Когда утром, после долгих поисков, лодочники вытащили его из широких петель металлической сетки, окружавшей женские купальни неподалеку от моста, еще яснее, чем эти несколько слов, написанных крупным, твердым почерком, говорили о бесповоротном решении умереть выражение его лица, его стиснутые зубы, его упрямо выдающаяся вперед челюсть. Тело академика отнесли сначала на спасательную станцию, куда явился правитель канцелярии Французской академии, чтобы опознать его. Не первого непременного секретаря вытаскивали из Сены: то же случилось и во время Пишераля-отца и почти при таких же обстоятельствах. Поэтому и Пишераль-сын не был очень взволнован, а скорее с любопытством смотрел, как на широком берегу реки блестит, точно академический жетон, голый череп одетого в сюртук утопленника.

Куранты дворца Мазарини пробили час, когда служители спасательной станции тяжелым шагом вошли с носилками под арку, оставляя на дороге зловещие мокрые следы. У лестницы Б они остановились, чтобы перевести дух. Над двором, залитым солнцем, сиял большой квадрат голубого неба. Они приподняли холст, накрывавший носилки, и лицо Леонара Астье-Рею в последний раз предстало глазам его коллег из комиссии по составлению словаря, прервавших заседание в знак траура. Они стояли вокруг, обнажив головы, не столь опечаленные, сколь потрясенные и негодующие. Останавливались и рабочие, мелкие служащие, подмастерья, пересекавшие в этот час проходные дворы Академии, соединяющие улицу Мазарини с набережной. Среди них оказался и кандидат Фрейде,— утирая глаза, оплакивая своего учителя, своего дорогого учителя, он не без стыда должен был признаться себе, что думает сейчас о вновь освободившемся кресле в Академии.

В это самое время старик Рею выходил на свою обычную прогулку после завтрака. Он ничего не знал; он как будто удивился, с последних ступенек лестницы увидев толпу, и подошел посмотреть, хотя растерявшиеся академики пытались преградить ему дорогу. Понял ли он? Узнал ли? Лицо его осталось неподвижным, глаза ничего не выражали, как и глаза Минервы во дворе под бронзовой каской. Потом, насмотревшись на покойника, пока опускали полосатый холст на его жалкое лицо, он удалился, прямой и гордый, сопровождаемый своей огромной тенью,— настоящий Бессмертный! — покачивая головой и как бы говоря:

«И это я тоже видел!»

ПРИМЕЧАНИЯ

ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРТАРЕНА ИЗ ТАРАСКОНА

«Есть в языке Мистраля словцо, которое кратко и полно определяет одну из характерных черт местных жителей: *galéja* — подтрунивать, подшучивать. В нем виден проблеск иронии, лукавая искорка, которая сверкает в глазах провансальцев. Это *galéja* по всякому поводу упоминается в разговоре — и в виде глагола, и в виде существительного: *Vesés—pás?.. Es uno galéjado...*» («Неужели ты не понимаешь?.. Ведь это только шутка...») Или же: *Taisote, galéjaïré!*» («Замолчи, противный насмешник!») Но быть *galéjar*'ом — это вовсе не значит, что ты не можешь быть добрым и нежным. Люди просто развлекаются, хотят посмеяться! А в тех местах смех вторит каждому чувству, даже самому страстному, самому нежному... И я тоже ведь *galéjaïre.* Среди парижских туманов, забрызганный парижской грязью и парижской тоской, я, может быть, утратил способность смеяться, но читатель «Тартарена» заметит, что в глубине моего существа был еще остаток веселости, который распустился сразу, едва я попал на яркий свет тех краев... Ведь «Тартарен» — это взрыв хохота, это *galéjade*».

Так Доде характеризовал первую часть своей трилогии спустя пятнадцать лет после ее выхода («История моих книг», очерк «Тартарен из Тараскона»). Однако в основе этой «галейяды», как и в основе всех книг Доде, лежал жизненный материал. Корни ее уходят в тот период времени, когда молодой писатель побывал в Алжире. «В один прекрасный ноябрьский день 1861 года мы с Тартареном, вооруженные до зубов, с «шешьями» на макушках, отбыли в Алжир охотиться на львов. По правде говоря, я ехал туда не специально с этой целью: мне прежде всего нужно было прокалить на ярком солнце мои слегка подпорченные легкие. Но ведь недаром, черт побери, я родился в стране охотников за фуражками! Едва ступив на палубу «Зуава», куда как раз погружали наш огромный ящик с оружием, я, больше Тартарен, чем сам Тартарен, стал воображать, будто отправляюсь именно затем, чтобы истребить всех атласских хищников».

«Тартареном», с которым Доде отправился в Алжир, был его сорокалетний кузен Рейно, коренной житель Нима, мечтатель и фантазер, страстный любитель приключенческих романов и охотник за фуражками; он был так силен, что сограждане утверждали, будто у него «двойные мускулы», а в доме его рос карликовый баобаб в горшке из-под резеды... Едва прибыв в Алжир, кузены, смущавшие переселенцев своим экзотическим видом, а арабов — своим оружием, убедились, что на львов им охотиться не придется — надо ограничиться газелями и страусами. Тем не менее Доде, позабыв предписание врача о необходимости покоя, за три месяца исколесил весь Алжир вслед за своим неугомонным спутником, «преданный ему, как верблюд из моей повести», по собственному выражению писателя. Он встречался с французскими чиновниками и продажными арабскими шейхами, видел всю нелепость и жестокость колониальной администрации, нищету населения, задавленного двойным гнетом — французов и местной знати.

В конце февраля 1862 года Доде вернулся во Францию. Привыкнув во время путешествия записывать свои впечатления, он создает на основе этих записей несколько очерков, которые печатает в газетах. 18 июня 1863 года в «Фигаро» появился рассказ «Шапатен, истребитель львов» — о похождениях провансальского «тэрка» в Алжире; кузен Рейно уже приобрел в нем черты будущего Тартарена.

Несколько лет спустя Доде вновь обратился к этой вещи, поняв, что тема далеко не исчерпана. «Восемь лет назад я напечатал «Приключения Шапатена из Тараскона»; они появились в «Фигаро». Из-за них у меня вышла ссора с кузеном Рейно. Вещь была коротенькая, поместилась в одном номере тогдашнего «Фигаро». Но потом я решил, что в ней есть отличный веселый сюжет, зарисовки юга и особенно зарисовки Алжира, Алжира комического, поскольку именно так позволял мне рассказать о нем характер моего героя. Я взял свой старый рассказ и развил его, но из-за того, что имя Шапатен стало в Ниме прозвищем Рейно, мне не хотелось снова им пользоваться... Я стал искать другое имя, и один мой приятель подсказал мне раскатистое имя Барбарен (я знал Барбаренов в Эксе и в Тулоне), и я воспользовался им»,— писал Доде своему кузену и другу Тимолеону Амбруа.

Но герою-южанину необходим был достойный фон, и таким фоном явился Тараскон — этот обобщенный образ юга Франции. «Тараскон был для меня лишь псевдонимом, подобранным на дороге Париж — Марсель,— вспоминает Доде,— это слово южане произносят так раскатисто, что оно, когда выкрикивают названия станций, звучит победно, точно воинственный клич индейцев. В действительности «родина Тартарена и охотников за фуражками» находится в пяти-шести милях от Тараскона, по другую сторону Роны». Это Ним. Ему «Тараскон» обязан многими деталями. «Там видел я в детстве баобаб, чахнувший в горшке из-под резеды,— образ моего героя, стесненного рамками маленького города; там семейство Ребюффа пело дуэт из «Роберта Дьявола».

В 1868 году роман стал печататься в газете «Пти монитер» без подписи, под заголовком «Барбарен из Тараскона». После опубликования двенадцати фельетонов печатание прекратили. Доде и позже, когда писал «Историю моих книг», объяснял это отсутствием успеха у читателя, однако его сын Люсьен приводит более правдоподобную причину: «Подтрунивание над администрацией (алжирской.— *С. О.*) было плохо воспринято в высших сферах». Доде передал «Барбарена» в «Фигаро», однако и тут ему не повезло. «Секретарем редакции «Фигаро» был в ту пору Александр Дювернуа... По странному стечению обстоятельств, я встретил Александра Дювернуа девять лет назад во время моей веселой экспедиции: он был тогда скромным чиновником гражданской администрации в Милианахе и с тех пор сохранил воистину благоговейное отношение к нашей колонии. Раздраженный, рассерженный тем, как я описал дорогой его сердцу Алжир, он, хотя и не мог помешать публикации «Тартарена», устроил так, что вещь была разорвана на куски, которые под ужасающим стереотипным предлогом «обилия материала» печатались так редко, что маленький роман растянулся в газете на столько же времени, что и «Агасфер» или «Три мушкетера»... Потом новые волнения. Герой моей книги именовался тогда Барбарен из Тараскона. И надо же так случиться, что в Тарасконе жило старинное семейство Барбаренов, которое пригрозило мне жалобой в суд, если я не изыму их имя из этого оскорбительного фарса. Мой суеверный страх перед судами и правосудием заставил меня согласиться заменить Барбарена на Тартарена уже в корректуре, которую пришлось пересматривать строчку за строчкой, скрупулезнейшим образом охотясь за литерой «Б». Несколько штук на трехстах страницах, должно быть, ускользнуло от моего взгляда, и в первом издании можно найти и Бартарена, и Тарбарена...» («История моих книг»).

Отдельной книгой «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» вышли после франко-прусской войны, в 1872 году, в издательстве Дантю с посвящением нимскому приятелю Доде Гонзагу Привá. Книга расходилась хорошо, хотя и не имела сначала такого шумного успеха, как последующие романы Доде. Далеко не все читатели поняли то, что составляло предмет гордости автора,— типичность главного героя. А между тем именно ее ставил Доде во главу угла; это он подчеркнул эпиграфом, об этом писал в «Истории моих книг»: «Должен признаться, что, при всей моей любви к красивому слогу, к гармонической и яркой прозе, я не считаю, что в них заключено для романиста все. Его истинной радостью остается иное: создавать живые существа, силой правды пустить по земле типы, которые потом сами начинают бродить среди людей с тем именем, с теми жестами и ужимками, которыми наделил их автор и которые заставляют говорить о них,— любимы ли они или презираемы,— вне связи с их создателем. Я сам всегда испытываю одно и то же чувство, когда при мне говорят об одном из прохожих на жизненном пути, об одной из марионеток в комедии политической, художественной или светской жизни: «Это настоящий Тартарен, настоящий Монпавон или Делобель». Меня охватывает трепет, трепет гордости, какую испытывает спрятав-

шийся в толпе отец, когда аплодируют его сыну и когда бедняге каждую минуту хочется крикнуть: «Это мой мальчик!»

По-русски «Необычайные приключения» были впервые опубликованы в 1880 году в журнале «Мысль» (№ 5, 6, 7). В 1886 году его печатает журнал «Русская мысль» (№ 7, 8, 9), постоянно популяризировавший в России творчество Доде. В 1888 году редакция этого журнала выпускает «Необычайные приключения» вместе с «Тартареном на Альпах» отдельной книгой. В дальнейшем «Необыкновенные приключения Тартарена из Тараскона» становятся самой популярной книгой Доде в России. До революции они входили в собрания сочинений писателя, выпущенные издательством Пантелеевых (1894—1895 гг.) и издательством И. Маевского (1913—1914 гг., не окончено), и выдержали около десяти отдельных изданий. В советское время «Необычайные приключения» — отдельно и в составе трилогии — выходили пятнадцать раз. Перевод трилогии, выполненный Н. М. Любимовым, впервые увидел свет в 1956 году и с тех пор многократно переиздавался. Для настоящего издания он заново пересмотрен переводчиком.

Стр. 23. *Савояр* — житель Савои, французской провинции в Альпах. Маленькие савояры странствовали по всей Франции в качестве чистильщиков обуви и уличных музыкантов.

Стр. 25. *...стон стоит от... воя хорьков...*— Хорьки во Франции используются при охоте на кроликов.

Стр. 26. *...Нимрод и Соломон в одном лице.* — Нимрод — упоминаемый в Библии царь вавилонский, охотник и зверолов; его имя стало нарицательным для охотника, как имя царя Соломона — для мудрого судьи.

Стр. 28. «*Роберт Дьявол*» — опера Джакомо Мейербера на либретто Скриба и Делавиня (1831 г.). Упомянутый ниже «дуэт», а вернее, арию сопрано с репликами тенора, поет сицилийская принцесса Изабелла своему жениху Роберту, сыну посланца Сатаны и норманнской королевы.

Стр. 29. *Лорд Сеймур* Генри (1805—1859) — английский лорд, всю жизнь проживший во Франции, основатель парижского Жокей-клуба; приобрел своими чудачествами большую популярность среди народа, который прозвал его «милорд подонок».

Стр. 30. *...под знаменем тигра...*— В армии Китая воинские соединения различались по эмблемам на знаменах.

Стр. 33. *...диалог, достойный пера Лукиана и Сент-Эвремона...* — Лукиан (ок. 120—ок. 180) — греческий писатель, создавший жанр сатирического диалога; жанр этот был распространен в литературе, его разрабатывал Шарль де Сент-Эвремон (1613—1703), французский маршал и писатель.

Стр. 34. *...античный храм в Ниме...*— римский храм в Ниме, известный под именем «Квадратный дом» и построенный в 16 году до н. э.; он имеет 25 метров в длину и 12 метров в ширину.

Стр. 38. *Камбиз* (VI в. до н. э.) — второй царь Персидской державы, покоривший Египет и погибший на обратном пути.

...путевые очерки Мунго Парка, Кайе, доктора Ливингстона и Анри Дюверье.—Шотландский путешественник Мунго Парк (1771—1806), обошедший пешком Центральную Африку, написал книгу «Путешествие по Центральной Африке» (Лондон, 1798). Рене Кайе (1799—1838) — французский путешественник, первым из европейцев проникший в Тимбукту на Нигере, издал в Париже в 1830 году отчет о своем многолетнем путешествии. Великий путешественник Дэвид Ливингстон (1813—1873) — автор двух книг: «Популярный отчет о миссионерских поездках и исследованиях в Южной Африке» (Лондон, 1861) и «Рассказ об экспедиции к Замбези» (Лондон, 1865); изданы были и дневники его последнего путешествия. Анри Дюверье (1840—1892)—французский исследователь Сахары, написал книгу «Северные туареги» (Париж, 1864).

Стр. 39. *...по обычаю древних, держа во рту два белых камешка.*— По преданию, знаменитый афинский оратор Демосфен (384—322 гг. до н. э.), чтобы излечиться от косноязычия, произносил на берегу моря речи, держа во рту камешки. Тартарен спутал цель этого упражнения.

Жюль Жерар (1817—1864) — знаменитый охотник на львов, офицер, служивший в Алжире; автор книг «Охота на львов» и «Истребитель львов».

Стр. 45. *...участник Африканской кампании 1830 года...*— Кампания 1830 года — первый этап захвата Алжира французами: армия под командованием генерала де Бурмона заняла город Алжир и несколько пунктов на побережье, которые стали потом плацдармами для дальнейшего завоевания страны.

Спокойный и кроткий, точно Сократ, принимающий цикуту...— Греческий философ Сократ (V в. до н. э.) был несправедливо приговорен к смерти афинским судом. По свидетельству его учеников, он, принимая по приговору яд—цикуту, был спокоен и утешал оплакивавших его друзей.

Стр. 47. *Жан Барт* (1651—1702), *Дюге-Труэн* (1673—1736) — французские военные моряки.

Стр. 49. *Равель* Пьер-Альфред (1814—1881) — знаменитый французский комик, актер театра Пале-Рояль в Париже.

Жиль Пере — актер театра Водевиль.

Стр. 51. *...Сервантес под палками алжирских надсмотрщиков...*— Сервантес в 1575 году был захвачен алжирскими пиратами и пять лет пробыл рабом в Алжире.

Стр. 52. *...к латыни Пурсоньяка...*— Имеется в виду герой комедии Мольера «Господин де Пурсоньяк» (1660).

Макадамова мостовая — дорога, вымощенная крупным щебнем; названа по имени изобретателя — англичанина Мак-Адама (1756—1836).

Стр. 57. *Дуро* — провансальское и испанское название золотой монеты.

Ванве, Пантен — городки под Парижем.

Стр. 61. *Бюлье* — танцевальный зал в Париже; *Казино* — парижский игорный дом.

Стр. 63. *Мазарини* Джулио (1602—1661) — уроженец Сицилии; кардинал и первый министр Франции.

Стр. 66. *...подобно Ганнибалу в Капуе, утопал в неге...*— После разгрома римской армии при Каннах (214 г. до н. э.) карфагенский полководец Ганнибал, вместо того чтобы брать Рим дал своим войскам отдых в Капуе — городе в Кампании. По преданию, зимуя там, карфагеняне изнежились и потеряли боеспособность.

Стр. 71. *...у вас во Франции это называется «алжирские железные дороги»*.— В 60-х годах прошлого века во Франции появилось множество компаний, получавших у правительства концессии и крупные ссуды на постройку в Алжире телеграфа, железных дорог и т. п. Однако деньги чаще всего использовались не по назначению, и никаких работ в Алжире не велось.

Стр. 74. *Бомбонель* Шарль-Лоран (1816—1890) — знаменитый охотник, автор книги «Бомбонель, или Истребитель пантер. Его охоты, описанные им самим» (1860).

Шассен Жак (1821—1871) — знаменитый французский охотник.

Стр. 77. *...шляпа Гесслера.*— По преданию, австрийский наместник кантонов Швиц и Ури, Герман Гесслер, заставил швейцарцев кланяться своей шляпе, повешенной на шест; из-за этого он и был убит Вильгельмом Теллем (1307 г.).

Стр. 80. *Дуар* — арабское селение в Алжире.

...помесь Авраама с Зузу — то есть библейской патриархальности кочевников с французским солдафонством (зузу — кличка зуавов).

Башага — вожди кочевых племен, подчинившиеся колониальным властям. *Кадий* — судья у арабов. *Каид* — старейшина рода у арабов.

Генерал Юсуф (1805—1866) — французский генерал; ребенком был захвачен турками и воспитан среди них, но в 1830 году перешел на сторону французов и до 1864 года участвовал в завоевании Алжира.

Стр. 81. *Новый мост* — находится в самом центре Парижа.

ТАРТАРЕН НА АЛЬПАХ

Со дня выхода в свет «Необычайных приключений Тартарена из Тараскона» прошло тринадцать лет; книга приобрела огромную популярность, выдержала тридцать одно издание, была переведена на многие языки; инсценировка «Необычайных приключений» была поставлена в театре. Только Тараскон не мог простить писателю его насмешек. «Достойные доверия путешественники сообщали мне, что каждое утро, в час, когда провансальский городок открывает ставни своих лавок и вытрясает ковры на ветру, дующем с Роны, на всех порогах, во всех окошках мелькает все тот же сотрясаемый кулак, сверкает все то же пламя в черных глазах и слышится все тот же гневный вызов Парижу: «У, этот Доде! Если он только остановится здесь когда-нибудь...» — шутил писатель в «Истории моих книг».

Мысль повести́ своего героя в горы пришла Доде во время его второго путешествия в Швейцарию, в 1883 году. Еще предыдущим летом Доде посетил все те места, в которых потом побывал его герой: он осмотрел озеро Четырех

кантонов, поднимался на фуникулере, который презрел Тартарен, в отель «Риги-Кульм», где не мог из-за плохой погоды видеть знаменитый солнечный восход, но зато стал свидетелем импровизированного бала, затем через озеро Ури он отправился на «площадку Вильгельма Телля», после целого ряда экскурсий приехал в Гриндельвальд, к подножию Юнгфрау, а оттуда — к Малой Шейдек, где, несмотря на то что у него болели ноги, пошел осматривать ледник; за вход ему, к величайшему его изумлению, пришлось заплатить пятьдесят сантимов.

В следующем году Доде с сыновьями и с издателем Лемерром снова едет в Альпы, на сей раз — в Романскую Швейцарию. Его маршрут: Монтре, Женевское озеро, Аннеси, потом Шильонский замок, Кларанс, Веве, Лозанна.

Написал Доде вторую часть «Тартарена» лишь в 1885 году, за несколько летних и осенних месяцев. Работал он над ней главным образом в курортном местечке Ламалу, куда ему приходилось теперь ездить ежегодно. В конце года книга вышла в издательстве Леви, а в 1886 году — в издательстве Фламмариона и имела огромный успех. Любопытно отметить, что описания восхождения были настолько убедительными, что автора приняли за заправского альпиниста: Французский альпийский клуб избрал его своим почетным членом, а знаменитый английский альпинист лорд Вимпер прислал ему свою книгу с автографом.

Во второй части Тартарен встречается с персонажами других произведений писателя: с профессором Шванталером, героем «Часов из Буживаля», с Астье-Рею, будущим героем «Бессмертного», и, наконец, с Бомпаром, изображенным в романе «Нума Руместан». Рядом с замороженной чопорностью туристов непринужденность Тартарена выигрывает, кажется теплой и искренней. Точно так же выигрывает Тартарен с его рыцарскими иллюзиями от сопоставления с Экскурбаньесом и Бомпаром, в которых южная шумливая бравада и южная фантазия доведены до крайних пределов карикатуры. «Доброта и нежность» начинают проступать у Тартарена сквозь смех и шутку.

Но есть в книге подлинные «герои дела», в столкновении с ними раскрывается вся неспособность Тартарена на истинный подвиг. Это русские революционеры — «нигилисты». По свидетельству Люсьена Доде, его отец, всегда повторявший, что он «ненавидит политику», вместе с тем постоянно следил за газетами и был в курсе политических дел в самых отдаленных странах; при этом интересовали его больше всего люди, делавшие политику. Нет ничего удивительного, что внимание его привлекли террористы-народовольцы, героические дела которых, особенно после цареубийства 1 марта 1881 года, стали известны всему миру. И не случайно в «Тартарене на Альпах» Доде приписал Соне Васильевой подвиг Веры Засулич, стрелявшей 24 января 1878 года в петербургского градоначальника Трепова, Манилову — покушение Степана Халтурина, устроившего 5 февраля 1880 года взрыв в Зимнем дворце.

По-русски «Тартарен на Альпах» был напечатан в 1887 году в журнале «Русская мысль» (№ 1, 2, 3, 5). Однако «русская линия» романа мешала его

распространению в России. В журнальном варианте часть эпизодов, связанных с русскими революционерами, изъята, в других эпизодах они превращены в таинственных «анархистов» без имен и национальности. В том же варианте текст вышел и отдельной книгой вместе с «Необычайными приключениями» — в издании редакции «Русской мысли» (1888). Затем «Тартарен на Альпах» не переиздается; даже в Полном собрании сочинений издательства братьев Пантелеевых напечатаны только «Необычайные приключения» и «Порт-Тараскон». Лишь в 1927 году в издании «Универсальной библиотеки» был напечатан сокращенный текст романа, в котором, однако, присутствует «русская линия». Полный текст был выпущен в 1928 году издательством «Земля и фабрика» под редакцией М. Зенкевича.

Стр. 98. *...песенку своего родного края... «Севера звезда, графиня!..»* — Слова песни принадлежат Ф. Мистралю (1830—1914).

Стр. 105. *Тиберий* (I в.), *Каракалла* (III в.) — римские императоры.

Стр. 106. *...поселиться... у вольсков...*— Намек на предание о римском полководце Гае Марции Кориолане: недовольный новыми порядками в Риме, он перешел на сторону враждебного Риму племени вольсков.

Вимпер Эдвард (1840—1911) — английский альпинист, исследователь Гренландии и Анд.

Стр. 107. *Тиндаль* Джон (1820—1893) — английский физик, изучавший альпийские ледники, книгу о которых он выпустил в 1860 году; несколько лет прожил в хижине на одном из ледников в Швейцарии.

Стефан д'Арв — псевдоним французского географа и этнографа Камиля де Катлена, автора ряда книг о Южной Франции, Италии и Швейцарии, в том числе «Отчета о научном восхождении на Монблан в августе 1861 г.».

Стр. 110. *Писарро* Франсиско (1475—1541) — один из главарей конкистадоров (завоевателей Америки), покоривший державу инков в Перу.

Стр. 118. *Ульстер* — длинное пальто свободного покроя.

Юнгфрау означает по-немецки «Дева».

Стр. 122. *Фен* — теплый ветер с гор.

Стр. 123. *«Винкельрид».*— Пароход назван в честь полулегендарного героя борьбы за освобождение Швейцарии от ига Австрии, Арнольда Винкельрида, который в битве при Земпахе (1386 г.) первым бросился на копья австрийцев.

Стр. 124. *Компания Кука* — туристское агентство, основанное в 1832 году американцем Томасом Куком (1806—1892).

Стр. 125. *...Мельхталь, Фюрст и Штауффахер поклялись освободить свою отчизну.*— Согласно преданию, эти представители подвластных Австрии швейцарских кантонов Унтервальд, Ури и Швиц, собравшись в ночь с 7 на 8 ноября 1307 года на поле Рютли, дали клятву освободить свои земли от ига австрийцев.

...прыгнул из лодки Гесслера Вильгельм Телль.— По преданию, Телль отказался поклониться шляпе Гесслера и за это был задержан в городе

Альтдорфе. Наместник обещал отпустить его, если Телль — самый меткий стрелок в Швейцарии — собьет стрелой яблоко с головы своего сына. Теллю удалось это сделать, но он поклялся убить Гесслера стрелой, которую спрятал на груди. Гесслер заметил это и арестовал Телля, но по дороге в тюрьму Телль бежал, выпрыгнув из лодки. Вскоре он убил Гесслера. Это послужило сигналом к восстанию трех кантонов.

...великой драмы...—то есть драмы Шиллера «Вильгельм Телль» (1804).

Стр. 128. *Саксон Грамматик* — датский летописец XII века.

«Вилькина-сага» — немецкая компиляция, созданная в XIII веке на основе героических саг исландского эпоса «Эдда».

Стр. 135. *...ветеран, служивший еще при Карле X...*—Начиная с XVII века швейцарская гвардия охраняла французских королей. В 1815 году она была восстановлена, и четыре полка швейцарцев служили в охране последних Бурбонов — Людовика XVIII и Карла X — вплоть до Июльской революции 1830 года.

Стр. 138. *...между Дувром и Кале* — то есть через Ла-Манш, между Англией и Францией. Доде намекает на грубость, которая якобы была свойственна английским туристам во Франции.

Стр. 143. *...член братства святого Губерта* — то есть охотник. Святой Губерт считался покровителем охоты.

Стр. 152. *Дюгазон* Роза (1755—1821)—знаменитая певица, выступавшая в Комической опере в Париже. Ее имя передается по наследству актрисам этого театра, с успехом исполнившим роли, в которых блистала Дюгазон.

Стр. 153. *Верцингеторикс* (умер в 46 г. до н. э.)—предводитель восстания галлов против римлян, разбитый Цезарем и казненный в Риме. Его внешность нам неизвестна, но на памятнике (1865 г.) скульптор Милле изобразил его усатым.

...спасся во время гибели «Медузы».— «Медуза» — французский корабль, потерпевший крушение 2 июля 1817 года по пути в Сенегал. Пассажиры и экипаж пытались спастись на огромном плоту, на котором они двенадцать дней носились по морю без пищи и воды. Когда бриг «Аргус» подобрал плот, из ста сорока девяти человек в живых осталось двенадцать.

Стр. 154. *Двуликий Янус* — бог дверей у древних римлян; его изображали с двумя лицами, обращенными в разные стороны.

Стр. 157. *Никер-бокеры* — широкие шаровары до колен.

Стр. 165. *Орифламма* — знамя французских королей.

Стр. 166. *...лихого вояку звали Пласидом, а Спиридионом—этого толстокожего буйвола...*— Пласид (ф р а н ц.) — значит «мирный, кроткий». Спиридион — персонаж одноименного романа Жорж Санд (1839), монах-мыслитель и правдоискатель, разочаровывающийся в религиозной догме.

Стр. 175. *Ветиверия* — сорт сухих духов, представляющий собой высушенные корни индийского растения.

Стр. 184. *...темницей, в которой некогда томился... Бонивар и которую прославили Байрон и Делакруа.* — Бонивар Франсуа (1493—1570) принимал

участие в борьбе Женевы против герцога Савойского, Карла III, и за это был заточен им на семь лет (1530—1536 гг.) в замке Шильон. Байрон сделал этот эпизод сюжетом поэмы «Шильонский узник» (1816); Делакруа изобразил на одноименной картине (1835 г.) тот момент, когда прикованный Бонивар видит, как в той же темнице умирает его младший брат.

Ваад (Во) — один из кантонов Швейцарии.

Стр. 187. *Абенсераг*—герой повести Шатобриана «Похождения последнего из Абенсерагов» (1827).

Стр. 200. *Христиания* — старое название Осло.

...проникшись идеями Шопенгауэра и Гартмана... — Артур Шопенгауэр (1788—1860) рассматривал реальный мир как царство несовершенства и страдания, а выход из него видел в отказе от жизненных интересов, от деятельности. Немецкий философ Эдуард фон Гартман (1842—1906) учил, что всякий человек обречен на страдания, ибо существует как индивидуум; избавить от страданий может только «несуществование».

Стр. 214. *Германик* (15 г. до н. э.—19 г. н. э.) — приемный сын императора Тиберия, полководец, победитель германцев, любимец римского народа.

ПОРТ-ТАРАСКОН

29 марта 1880 года французское правительство приняло декрет о роспуске многих монашеских конгрегаций и о закрытии ряда монастырей. На католическом Юге этот декрет был встречен враждебно. Вскоре газеты сообщили о том, что жители Тараскона воспротивились закрытию соседнего аббатства Фриголе и даже попытались защищать его. Правительству пришлось выслать в Тараскон войска. Этого было достаточно, чтобы сломить сопротивление. Прочитав это сообщение, Доде сразу подумал, что душой такого предприятия мог бы быть Тартарен...

В 1887 году, уже после выхода в свет «Тартарена на Альпах», Доде по дороге из Ламалу проехал вместе со старшим сыном Леоном и поэтом Мистралем через «вражескую территорию» Тараскона (этот визит описан в начале предисловия). Однако, по свидетельству Леона, «старый лев с клювом и когтями не проявил ни малейшей враждебности»; наоборот, пока Доде ждал поезда, многие тарасконцы явились на вокзал пожать руку знаменитому писателю.

13 июня 1889 года Э. Гонкур записал, что Доде сообщил ему о своей работе над «Порт-Тарасконом». «Затея, по-моему, ненужная,— добавляет Гонкур,— у Доде всегда столько замыслов, а он занимается третьим изданием типа, и так более чем достаточно показанного публике в первых частях». Однако пессимизм Гонкура был неоправдан: Доде сумел найти и новый материал, и новые краски для своего излюбленного героя.

Оборона аббатства Фриголе дала материал лишь для первого эпизода, но и в основе истории переселения тарасконцев лежит факт, хотя и не связанный непосредственно с Тарасконом. Это скандальная история колонии, именовав-

шейся Порт-Бретон. В конце 70-х годов некий бретонский дворянин, маркиз де Рэй, долгое время живший в Австралии и в Южной Америке, стал убеждать своих земляков переселиться на один из островов Тихого океана. Были выпущены акции, в колонию было отправлено четыре корабля с эмигрантами. Однако вместо обещанного земного рая колонисты нашли болота, непригодные для освоения и грозившие им лихорадкой. По возвращении незадачливых переселенцев маркиз де Рэй был арестован и приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве.

«Порт-Тараскон» вышел в 1890 году в издательстве Фламмариона и имел шумный успех. Вся Франция смеялась над новыми похождениями незадачливого героя. А между тем создавалась эта книга во время страшных физических мук: болезнь спинного мозга, временами почти парализовывавшая Доде, в 1889 году обострилась от неправильного лечения.

В третьей книге Доде настойчиво проводит новую аналогию—аналогию между Тартареном и Наполеоном. Дело не только в том, что это дает писателю возможность блестяще пародировать «Мемориал Св. Елены» Лас-Каза и развенчать еще одну бонапартистскую легенду. Корни такого сближения лежат глубже. Доде давно, еще со времени пребывания на Корсике, привлекал образ Наполеона, причем несколько необычными сторонами: писателя интересовал прежде всего Наполеон как воплощение типического характера южанина. Доде даже хотел написать о Наполеоне, изобразив его именно с этой точки зрения, но так и не осуществил своего намерения. И все же нельзя сказать, чтобы замысел его остался невоплощенным: Доде не показал читателю Наполеона-Тартарена, но зато дал ему Тартарена-Наполеона.

В «Порт-Тарасконе» еще заметнее та перемена отношения автора к своему герою, которая наметилась во второй части: он становится все более и более симпатичным и трогательным. Его буйная фантазия, легковерие и легкомыслие, нелепая рыцарственность выигрывают в глазах читателя, когда они сопоставляются с буржуазным делячеством, скучной трезвостью чистогана, воплощением которых является мнимый герцог Монский. Дух самой необдуманной авантюры для Доде более приемлем, чем дух буржуазного предпринимательства. Поэтому так грустно звучат последние страницы романа: ведь смерть Тартарена — это смерть последнего Дон Кихота в европейской литературе.

«Порт-Тараскон» был впервые напечатан по-русски в 1890 году в журнале «Русская мысль» (№ 11, 12). В том же году он вышел в двух номерах приложений к журналу «Правда» (№ 1 и № 2).

Стр. 221. *...одна из которых — поэзия, а другая — правда.*— Намек на автобиографию Гете «Поэзия и правда. Из моей жизни» (1809—1830).

Стр. 225. *Паскаль сказал: «Нужно, чтобы было и утешительное и истинное...»* — Цитата из книги французского физика и философа Блеза Паскаля (1623—1662) «Мысли».

Стр. 225. *...изданной Дрейфусом...* — Имеется в виду не Альфред Дрейфус, обвиняемый в знаменитом процессе, а Поль Дрейфус, издатель «Журнала морской торговли и колоний».

Стр. 232. *Вобан* Себастьян ле Претр (1633—1707) — крупнейший французский военный инженер, строитель пограничных укреплений Франции, восемь раз осаждавший города и трижды победоносно защищавший осажденные крепости.

Стр. 235. *Петр Пустынник* (умер в 1115 г.) — французский монах, проповедовавший во Франции крестовый поход.

Стр. 240. *Бугенвиль* Луи-Антуан (1729—1811) — французский мореплаватель, открывший многие острова Полинезии; опубликовал в 1771 году книгу «Кругосветное путешествие».

Дюмон-Дюрвиль Жюль-Себастьян-Сезар (1790—1842) — французский мореплаватель, исследователь Новой Гвинеи, Новой Зеландии и Полинезии, где он разыскивал экспедицию Лаперуза.

Стр. 266. *Гарский мост* — римский водопровод (акведук), построенный в 19 году и переброшенный через реку Гар. Представляет собой три ряда стоящих друг на друге арок, длина его около 270 метров.

Стр. 281. *Д'Антркасто* Антуан-Реймон-Жозеф де Брюни (1737—1793) французский мореплаватель, возглавлявший первую экспедицию, отправленную на поиски Лаперуза в 1791 году. Исследовал ряд островов Полинезии и Меланезии; заболел во время плавания и умер в море.

Стр. 299. *...Наполеон, когда его взяли в плен англичане и когда его оставила Мария-Луиза.*— 15 июля 1815 года Наполеон сдался на милость англичанам и был доставлен на судно «Беллерофонт». Мария-Луиза, вторая жена Наполеона (1791—1847), после разгрома Наполеона покинула мужа и сына и отправилась к отцу, австрийскому императору Францису I.

Стр. 300. *Лас-Каз* Эммануэль (1766—1842) — морской офицер, последовавший за Наполеоном на остров Св. Елены. На этом острове он пробыл до ноября 1816 года, а затем вынужден был покинуть его из-за конфликта с английским губернатором Гудсоном Лоу (1769—1844). Лас-Каз записывал высказывания Наполеона; эти записи послужили ему материалом для книги «Мемориал Св. Елены» (1823).

Стр. 301. *Бонапарт в Леобене!..*—Имеются в виду мирные переговоры, которые Наполеон, тогда еще генерал Бонапарт, вел с австрийцами в Леобене (Штирия) после победоносного итальянского похода.

Стр. 303. «*Нортумберленд*» — фрегат, на котором англичане доставили Наполеона на остров Св. Елены.

Разве Наполеон... скрывал, что он вспоминает Фемистокла? — Фемистокл (525—461 гг. до н. э.), политический руководитель Афин, победитель персов, из-за разногласий с консервативной партией был изгнан в 472 году из Афин и поселился у своих былых врагов — персов. Наполеон, вступив на палубу «Беллерофонта», сказал: «Я как Фемистокл: я буду греться у очага британского народа».

Стр. 304. *«Я очень популярен в Англии».*— Тартарен утверждает это с полным основанием: первые две книги его приключений выдержали в Англии несколько изданий. Английское издание «Порт-Тараскона» появилось одновременно с французским; перевод был сделан известным англо-американским писателем Генри Джеймсом, приятелем Доде.

Стр. 316. *Договор в Кампо-Формио* — мирный договор между австрийцами и генералом Бонапартом, заключенный после его похода в Италию и отдававший в руки французов северную часть страны (1797 г.).

Стр. 326. *Палликар* (г р е ч. — молодец, богатырь) — солдат греческих народных отрядов, боровшихся против Турции за независимость своей страны.

Стр. 328. *Шато-д'Иф* — крепость на острове у входа в марсельскую гавань.

Стр. 333. *...шутки в духе Пургона.*— Пургон — врач из комедии Мольера «Мнимый больной» (1673).

БЕССМЕРТНЫЙ

29 января 1635 года кардинал Ришелье узаконил уже существовавшее объединение писателей и эрудитов, дав ему название «Французская академия»; перед новым ученым обществом была поставлена задача «усовершенствовать французский язык», создав его словарь, грамматику, а также риторику и поэтику. В 1795 году Конвент создал Французский институт, куда наряду с Французской академией вошли Академия надписей, Академия моральных и политических наук, Академия изящных искусств и Академия наук (естественных и точных). Но «святая святых» была по-прежнему Французская академия; считалось, что сорок ее кресел могут занимать лишь величайшие писатели и ученые страны, по достоинству носящие официальный титул академика — «Бессмертный».

И все же, по существу, в эпоху Доде Академия была учреждением мертвым. В год ее двухсотпятидесятилетия, в 1885 году, когда умер академик Виктор Гюго, в академических креслах из сколько-нибудь значительных писателей и мыслителей сидели только Дюма-сын, Ипполит Тэн и Ренан, а из ученых — великий Луи Пастер. Имена остальных б е с с м е р т н ы х давно уже канули в Лету. Живые силы французской литературы и искусства не вливались в дряхлые вены Академии: Роден, Эдмон Гонкур, Флобер пренебрегали ею, Мопассан отверг предложение выставить свою кандидатуру, Золя проваливали несколько раз при баллотировке.

Доде разделял пренебрежительное отношение друзей к Академии. После того как 15 ноября 1876 года его роман «Фромон и Рислер» получил академическую премию, стали поговаривать о возможности избрания писателя. Г-жа Доде ничего не имела против, но Доде отмалчивался и так и не выставил своей кандидатуры.

Отношение Доде к Академии определилось уже давно. Он выразил его и в новелле «Признания академического мундира», и в очерке, опубликованном в «Журналь офисьель», где рассказывал об унижениях, ценой которых Альфред де Виньи домогался академического кресла, и в заключение писал: «Но в наши дни вряд ли кто-нибудь даст за это такую цену». В 1883 году, после выхода «Евангелистки», многие академики снова предложили Доде выставить свою кандидатуру, но писатель насторожился. Одна, казалось бы, незначительная деталь задела его самолюбие. Встретившись с ним на одном литературном обеде, знаменитый водевилист, «бессмертный» Эжен Лабиш, больше всех уговаривавший Доде занять академическое кресло, вдруг начал бегать от писателя. «Это было нелепо: я ковылял за ним, а он от меня удирал. Мы были похожи на клоунов!» — рассказывал позже Доде. Оказывается, автор «Соломенной шляпки» испугался, что Доде станет просить поддержать его кандидатуру.

Вскоре шансы Доде начали обсуждать и газеты. Литератор Альбер Дельпи, добивавшийся академического «мундира с пальмами», напечатал 22 мая в газете «Пари» статью под заглавием «Диалог портретов». В ней портреты Шатобриана, Ламартина и других знаменитостей обсуждали, достоин ли Доде войти в Академию. Эта желчная стряпня окончательно рассердила обычно добродушного писателя. Теперь уже и главная сторонница Академии, г-жа Доде, советовала мужу не выставлять своей кандидатуры. Но этим Доде не удовольствовался.

«По поводу статьи, появившейся 22 мая в газете «Пари» и подписанной Альбер Пти, г-н Альфонс Доде, сочтя себя оскорбленным, обратился к своим друзьям, г. г. Полю Арену и Морису Гуве, с просьбой, чтобы те от его имени потребовали у г-на Дельпи удовлетворения с оружием в руках.

Г-н Дельпи назвал своими свидетелями г.г. Шарля Лорана и Гастона Жоливе. Эти господа от имени г-на Дельпи согласились на требуемое удовлетворение.

Встреча состоялась вчера в Везине.

В качестве орудия были выбраны шпаги.

При первом же выпаде г-н Дельпи получил удар шпагой, которая прошла через его предплечье; свидетели и врачи после совещания объявили, что продолжать поединок невозможно.

Париж, 26 мая 1883 г.

От имени г-на Доде — Гуве, Поль Арен.

От имени г-на Дельпи — Ш. Лоран, Гастон Жоливе».

Таков протокол этой дуэли — единственного следствия всех соблазнов, какими манила Доде Академия. Однако в следующем году драматург Дусе, историк Буассье и критик Брюнетьер опять стали предлагать Доде выставить свою кандидатуру. Но как раз в это время Академия совершила очередную бестактность, официально отказавшись прислать своих представителей на

открытие статуи Жорж Санд в Люксембургском саду — под тем предлогом, что писательница не принадлежала к числу Бессмертных. Доде высоко чтил замечательную романистку и, возмущенный действиями Академии, напечатал в «Фигаро» письмо:

«Я не выставлял, не выставляю и никогда не выставлю своей кандидатуры в Академию.

Альфонс Доде.

Париж, 31 октября 1884 г.».

Среди всех этих перипетий Доде приходит в голову замысел романа, в котором отразилось бы его отношение к Академии, и даже возникает название будущей книги — «Бессмертный».

Эдмон Гонкур записывает в дневнике 18 января 1884 года: «Вчера, в четверг, Доде рассказывал про роман, который он хочет написать об Академии и который предполагает назвать «Бессмертный». Вот его замысел. Дурак, посредственность, его блестящая карьера академика от начала до конца будет сделана,— причем он об этом и не подозревает,— его умницей женой. Между ними вспыхнет ссора, во время которой она откроет ему женскую правду о нем,— историю возвеличения ничтожества, после чего — вероятно, по примеру своего коллеги Оже (посредственного критика, покончившего с собой из-за издевательств прессы над его избранием в Академию по прямому приказу короля Карла X.— *С. О.*) — он бросится с Моста искусств в Сену». Таким образом, первоначально Доде хотел лишь развить сюжет рассказа «Признания академического мундира». Однако основные идеи романа ясны были писателю с самого начала. В черновой тетради, относящейся к роману, он делает такую заметку: «В академическом романе прежде всего дать почувствовать ничтожность всего этого. Полную ничтожность. А ведь это стоило стольких усилий, низостей, мешало говорить, думать, писать. И все, едва они туда попадут, испытывают то же чувство пустоты, но скрывают его от самих себя, строят из себя счастливцев, твердят повсюду: «Даже представить себе нельзя, как это прекрасно» — и подыскивают, вербуют новых приспешников. Комедия, которую они ломают для окружающих. Это и еще идолопоклонство женщин, которые создали их, ползанье на брюхе перед куском дерева, из которого они своими руками вырезали бога».

Однако, обдумывая замысел, Доде подвергал его изменениям. Уже 9 апреля того же года Гонкур записывает: «Он стал говорить о замысле своего романа, план которого он, к моему большому сожалению, переделал; роман называется теперь уже не «Бессмертный», он превратился в «трехэтажную махину» и получил наименование «Развод в великосветском обществе».

Однако ни в 1884 году, ни в последующие годы Доде, отвлеченный работой над «Сафо» и «Тартареном на Альпах», не приступил к осуществлению своего замысла. Затем его отвлек план создать книгу о «новой породе мелких хищников, которые воспользовались законом Дарвина... для оправдания всевозможных низостей... Я работал над этим уже несколько

месяцев, но тут во Франции вышел перевод замечательного романа Достоевского «Преступление и наказание», и оказалось, что это именно та книга, которую я собирался написать, да еще принадлежащая перу гения...» (Предисловие к драме «Борьба за существование»). Но работа над ненаписанной вещью подарила Доде образ циничного «борца за существование» Поля Астье — «сплав нескольких молодых искателей удачи, которых я знавал», по словам автора. Так тема Академии сплелась с темой алчности и цинизма, разъедающих общество. Доде отлично понимал значение этой второй темы. Позднее он заметил в интервью, данном по поводу шума, поднятого критиками вокруг «Бессмертного»: «В книге не хотят видеть ничего, кроме Академии. Почти совсем упускают из виду остальное, все, что касается «общества», «света» и его верхов».

В основу своей фабулы Доде, как и позднее, в «Порт-Тарасконе», положил подлинные события. Известный геометр, член Академии наук Мишель Шаль много занимался историей математики; его страстью к историческим исследованиям воспользовался мошенник Врен-Люка́, который продал ученому по частям «коллекцию» поддельных автографов многих знаменитостей XVI—XVII веков, выманив у него общим счетом двести тысяч франков. Шаль воспользовался «новыми документами» с лжепатриотической целью: он вознамерился приписать Паскалю многие открытия, сделанные Ньютоном. Фальсификация была разоблачена, судебный процесс, который возбудил Шаль, наделал много шуму. В интервью Доде говорил: «История с автографами восходит к нашумевшему делу, происшедшему с Мишелем Шалем в 1868 году, и воспроизводит его до такой степени точно, что даже упомянутое в «Бессмертном» подложное письмо Ротру — это то самое письмо, которое Мишель Шаль пожертвовал Академии и оригинал которого до сих пор находится в ее архивах».

Весной 1888 года роман был напечатан в газете «Иллюстрасьон», а летом вышел отдельной книгой с посвящением Филиппу Жилю, сотруднику газеты «Фигаро» и драматургу. Критика встретила «Бессмертного» в штыки: в нем пытались усмотреть «роман с ключом», то есть памфлет на определенных лиц, скрывающихся под именами персонажей. Доде категорически это отрицал. Безусловно, герои книги имеют своих прототипов. Так, например, Люсьен Доде пишет, что история герцогини Падовани и князя д'Атиса воспроизводит историю некоей весьма высокопоставленной дамы времен империи; прототипом старика Рею был восьмидесятитрехлетний художник Ленуар, который на курорте Нери много рассказывал Доде об императрице Жозефине, о великом трагическом актере Тальма, о своем учителе Давиде и после каждого рассказа прибавлял: «Я сам это видел». Однако никаких карикатур на определенных лиц в романе нет, и Доде говорил в интервью чистую правду: «Я ни за кем не иду на буксире. Я люблю литературу ради нее самой».

Лишь немногие критики отдали должное роману, но среди них были такие, как Анатоль Франс, который в своей статье в газете «Тан» назвал книгу

Доде «остроумной и трагической, живой, энергичной, изысканной, очаровательной, полной силы и изящества».

По-русски роман выходит почти одновременно с французским изданием. В 1888 году его печатают два журнала: «Русская мысль» (№ 5, 6, 7) и «Северный вестник» (№ 6, 7, 8), а журнал «Русский вестник» публикует его в трех выпусках своих приложений (кн. VI—VIII, под названием «Один из бессмертных»). В том же году появляются пять книжных изданий: напечатанный в журнале перевод М. Н. Ремезова выпускает отдельным томом редакция журнала «Русская мысль», в серии «Книги недели» роман выходит под названием «Ученый муж», в издательстве товарищества «Общественная польза» — под названием «Один из бессмертных» и, наконец, под названием «Бессмертный» — в издательствах С. Добродеева и В. В. Комарова. В дальнейшем роман входил в оба предреволюционных Собрания сочинений А. Доде и многократно переиздавался. В настоящем томе БВЛ текст печатается по Собранию сочинений А. Доде под редакцией Н. М. Любимова, т. 7, М., изд-во «Правда», 1965.

Стр. 343. *Высшая нормальная школа* — учебное заведение в Париже (основано в 1794 г.), выпускает главным образом историков и филологов.

Де Сальванди Нарсис-Ашиль (1795—1856) — политический деятель и публицист, при короле Луи-Филиппе — министр просвещения.

Стр. 345. *Кардинал Ла-Балю* Жан (1421—1491) — любимец Людовика XI; арестованный за измену, 11 лет просидел в клетке, которую сам изобрел для наказания преступников.

Стр. 350. *...прославился скупостью при дворе Луи-Филиппа...* — Луи-Филипп, «король буржуа» (1830—1848), неоднократно подвергался насмешкам за свою скаредность.

Стр. 352. *Римская премия* — трехлетнее пребывание в Риме на казенный счет, которого удостаивались лучшие из окончивших музыкальные и художественные высшие учебные заведения.

Стр. 356. *Кольбер* Жан-Батист (1619—1683) — государственный деятель эпохи Людовика XIV, генеральный контролер финансов; основатель Академии надписей и Академии наук.

Стр. 361. *Жубер* Жозеф (1754—1824) — философ-моралист; его произведения были опубликованы посмертно Шатобрианом («Мысли, очерки, изречения и письма», 1842).

Стр. 367. *Александрийские стопы* — основной размер французской классической драмы: двенадцатисложный стих с цезурой и парной рифмой, с чередованием мужских и женских окончаний.

Дю Белле Иоахим (1522—1560) — один из крупнейших поэтов Плеяды (объединения поэтов, группировавшихся вокруг Ронсара); цитата взята из его цикла «Сожаления».

Стр. 368. *Счетная палата* — высший финансово-административный орган Франции; ее здание было разрушено во время франко-прусской войны.

Стр. 371. *Вильмен* Абель-Франсуа (1790—1870) — историк литературы, политический деятель, министр просвещения; с 1821 года — академик, с 1834 года — непременный секретарь Академии.

...Бессмертных всех категорий... — Доде наряду с именами своих персонажей называет имена действительно существовавших академиков: Эдмона Русса (1817—1906) — известного юриста, Гастона Буассье (1823—1908) — крупнейшего историка Древнего Рима, Александра Дюма-сына (1824—1895).

Стр. 373. *Де Брольи* Альбер (1821—1901) — историк, автор трудов по истории дипломатии.

Стр. 380. *Бризе* Огюст (1803—1858) — поэт, автор идиллий и поэм из сельской жизни, воспевавший свою родную Бретань.

Вик д'Азир Феликс (1748—1794) — врач и анатом, академик, автор риторических «Восхвалений медицины».

Стр. 381. *Момзен* Теодор (1817—1903) — великий немецкий ученый, автор монументальной «Истории Древнего Рима».

Стр. 383. *Дахабиэ* — туземная лодка.

Стр. 389. *...на фирменном знаке изданий Дидо...*—Фирменный знак издательства Дидо (основано в 1713 г., выпускало главным образом книги греческих и римских классиков) — круглый медальон с изображением купола дворца Мазарини.

Стр. 393. *Орден Станислава второй степени* — один из орденов Российской империи.

Стр. 394. *Грез* Жан-Батист (1725—1805) — художник, автор сентиментальных жанровых картин.

Стр. 396. *Михайловский театр.*— В Михайловском театре в Петербурге (ныне в его помещении находится Малый оперный театр) постоянно играла французская труппа.

Тальен Тереза (1773—1835) — испанка родом, маркиза де Кабаррус, стала любовницей, а потом и женой Тальена, одного из видных деятелей послеякобинской реакции; известна легкомысленным поведением.

Стр. 397. *...бедствия святого отца...*— В эпоху объединения Италии папа Пий IX (1792—1878) лишился своих владений (Папской области) и объявил себя в 1871 году «Ватиканским пленником». Этот маневр нужен был мнимопреследуемому папе для поднятия престижа католической церкви.

Стр. 399. *Карагез* — крайне непристойный персонаж турецкого театра марионеток.

Стр. 402. *Г-жа Лафарж.*— В 1840 году г-же Лафарж (1815—1852) — предъявили обвинение в отравлении мужа. В тюрьме, где она просидела двенадцать лет, г-жа Лафарж писала стихи, составившие небольшой томик.

Стр. 410. *Справочник Боттена* — ежегодный официальный «Указатель торговли и промышленности»; Себастьен Боттен (1764—1853) основатель этого издания.

Стр. 411. *Гробница Скалигеров в Вероне* — мраморный мавзолей герцогов Скала, строившийся с 1273 по 1370 год; один из наиболее выдающихся памятников итальянской готики.

Стр. 413. *Артемисия* (IV в. до н. э.) — жена Мавзола, царя Галикарнасса. Овдовев, воздвигла над прахом мужа гробницу, считавшуюся одним из «семи чудес света». Название гробницы — Мавзолей — стало нарицательным.

Стр. 415. *...у Вуазена.*— Вуазен — владелец одного из самых дорогих парижских ресторанов.

Стр. 416. *«Бальзак! А вы его знали?»*— Доде приводит подлинные слова, которыми ответил ему на вопрос о Бальзаке драматург, академик Дусе.

Фредерик Леметр (1800—1876) — знаменитый актер, исполнитель характерных ролей.

Сюар Жан-Батист (1734—1813) — французский публицист; описанный случай приводится в его «Мемуарах».

Стр. 419. *...автор «Орлеанского дома», принятый в Шантильи...*—В описываемую эпоху дворец Шантильи принадлежал отпрыску Орлеанского дома, герцогу Омальскому, четвертому сыну короля Луи-Филиппа Орлеанского, академику.

Битва при Рокруа.— В 1643 году в битве при Рокруа французский полководец принц Конде одержал победу над испанцами. Конде был предком герцога Омальского, написавшего его историю.

Стр. 431. *Коклен.*— Имеется в виду Коклен Старший, Констан (1841—1909) — знаменитый комический актер, прославившийся исполнением роли Сирано де Бержерака в пьесе Ростана.

Стр. 431—432. *Делоне* Луи-Арсен (1826—1903) — актер театра Французской комедии, исполнитель ролей молодых людей в комедиях Мольера и в пьесах современного репертуара.

Стр. 436. *...Гарпагона, оплакивающего украденную шкатулку...* — Имеется в виду IV действие, VI явление комедии Мольера «Скупой» (1668).

Стр. 441. *...об эфесской матроне...*— Имеется в виду непристойная новелла об эфесской матроне, дошедшая до нас в книге римского писателя Петрония (I в.) «Сатирикон». Стала популярной во Франции благодаря переложению Лафонтена

Стр. 442. *Шелковый чулок, набитый грязью...*— Так Наполеон назвал Талейрана во время бурной сцены, разыгравшейся 20 июня 1809 года; Талейран вызвал гнев императора неодобрительным отношением к испанской войне.

Стр. 455. *Ротру* Жан (1609—1650)—драматург, автор многих трагедий.

Мария Медичи (1573—1642) — французская королева, вторая жена Генриха IV и регентша в начале правления своего сына, Людовика XIII.

Стр. 459. *Иль-Русс* — городок на побережье Корсики.

Стр. 460. *Екатерина Медичи* (1519—1589) — французская королева, жена Генриха II Валуа, мать Франциска II, Карла IX и Генриха III.

Стр. 460. *Дидона* — мифическая основательница Карфагена. Она полюбила героя Энея, бежавшего из разрушенной Трои, но была покинута им и покончила с собой на костре. Ее любовь к Энею является сюжетом IV книги «Энеиды» Вергилия.

Стр. 461. *Ариадна* — царевна Крита, покинутая на пустынном острове своим возлюбленным Тесеем.

Стр. 462. *...пускался в пляс перед ковчегом...*— Намек на библейского царя Давида, плясавшего во славу божию перед ковчегом завета (ларцом, где якобы хранились скрижали Моисея).

Стр. 468. «*О милая, пойдем взглянуть на розу!..*» — Ронсар, «Оды к Кассандре», XVII.

Стр. 488. *Плиний Старший* (23—79 гг.)—римский натуралист и писатель, автор «Естественной истории» — свода всех знаний древних о природе, ремеслах, искусствах.

Стр. 499. *Бюффон* Жорж-Луи-Леклер (1707—1788)— знаменитый натуралист, один из основоположников научной биологии.

Ла Боэси Этьен (1530—1563) — мыслитель, друг Монтеня, автор двух книг, направленных против тирании.

Клеманса Изор (XIV в.) — легендарная основательница Консистории веселой науки — объединения поэтов, возникшего в Тулузе в 1323 году и ежегодно проводившего поэтические состязания под названием «Цветочные игры».

С. Ошеров

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пузиков. Альфонс Доде, юморист и сатирик 5

ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА. *Перевод Н. Любимова*

Необычайные приключения Тартарена из Тараскона . . . 21
Тартарен на Альпах. Новые подвиги тарасконского героя 91
Порт-Тараскон. Последние приключения славного Тартарена 219

БЕССМЕРТНЫЙ. *Перевод Э. Шлосберг* 341

Примечания *С. Ошерова* 505

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 81

Альфонс Доде

ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА
БЕССМЕРТНЫЙ

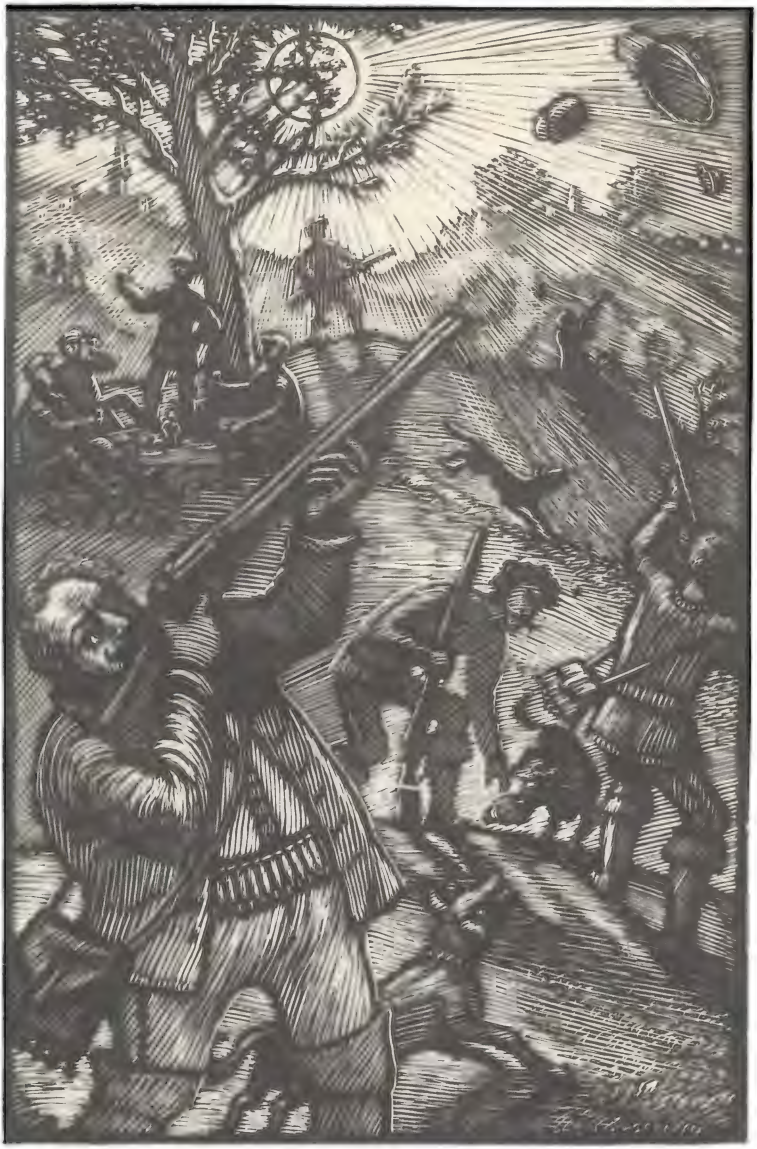
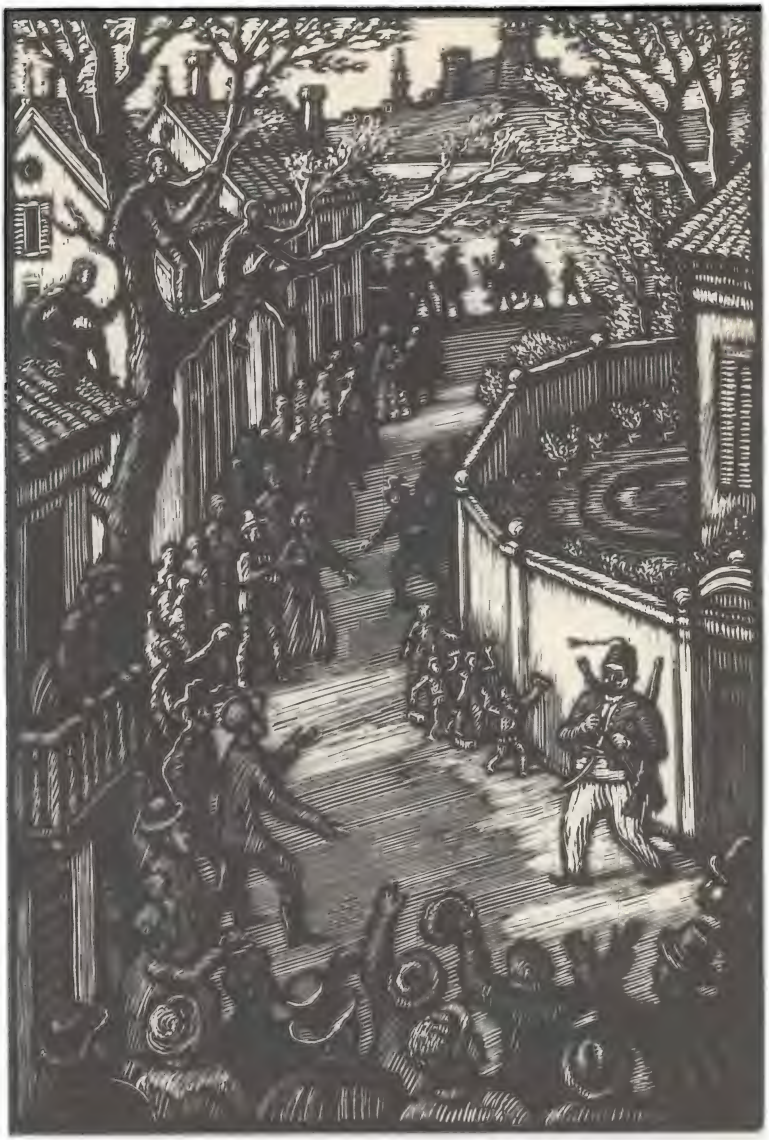
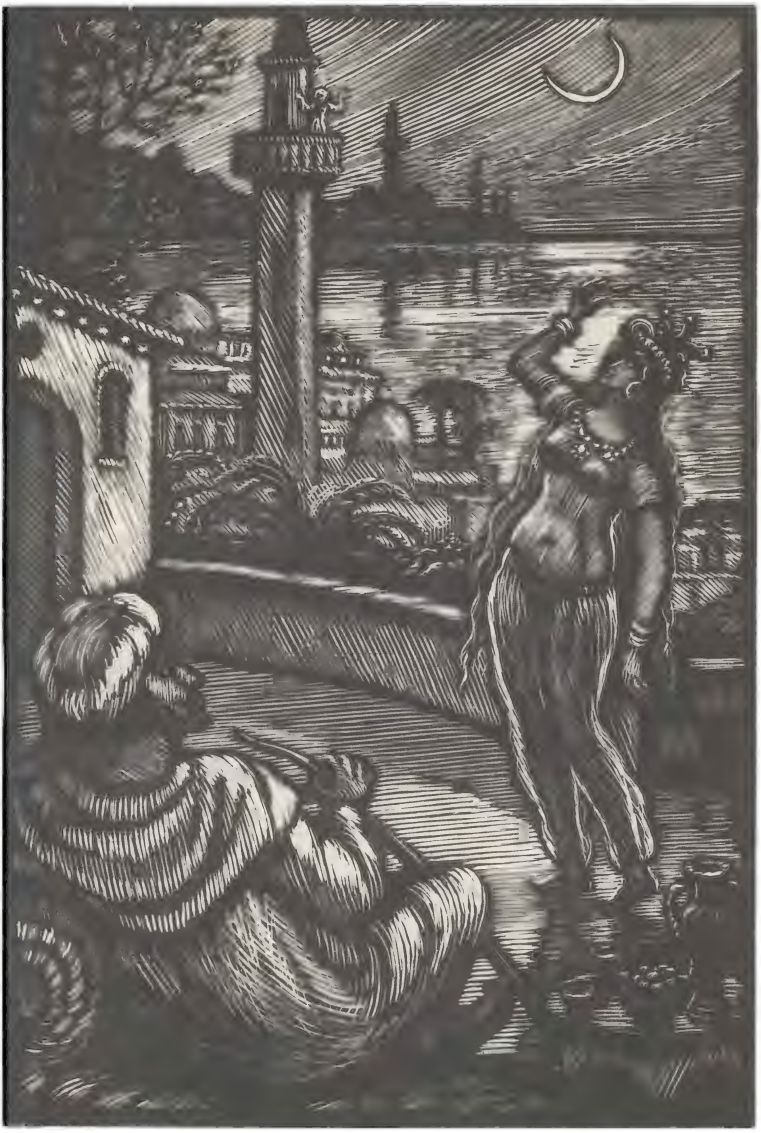
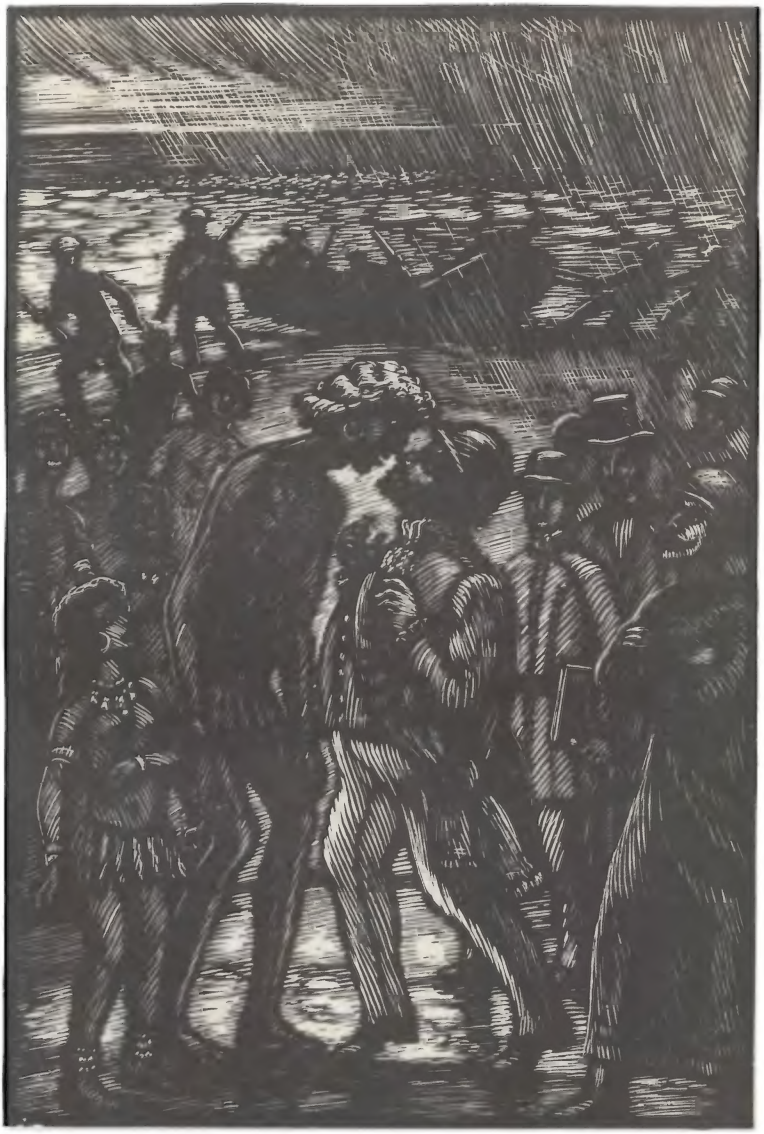
*

Редактор М. Ваксмахер
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
В. Кулагина
Корректоры
Г. Киселева
и О. Наренкова

*

Сдано в набор 18/X 1973 г. Подписано к печати 9/IV 1974 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 33 печ. л. 30,789 усл. печ. л. 32,95 уч.-изд. л.+1 вкл.+4 нак.=33,9 л. Тираж 303 000. Заказ № 785. Цена 1 р. 74 коп.

Издательство «Художественная литература». Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28